

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра истории русской литературы
Семинар «Русский XVIII век»

РЕТРА PHILOLOGICA

Литературная культура России XVIII века

Выпуск 6

Нестор-История
Санкт-Петербург
2015

ББК (2Рос=Рус)1
Л 64

*Рекомендовано к публикации
научной комиссией филологического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета*

Ответственные редакторы:

*Н. А. Гуськов (СПбГУ, Санкт-Петербург),
Е. М. Матвеев (ИЛИ РАН / СПбГУ, Санкт-Петербург),
М. В. Пономарева (СПбГУ, Санкт-Петербург)*

Редколлегия:

*А. Ю. Веселова (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург),
С. С. Волков (ИЛИ РАН / СПбГУ, Санкт-Петербург),
Е. И. Кислова (МГУ, Москва),
U. Jekutsch (Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald),
M. Levitt (University of South California, Los Angeles),
А. Ю. Тираспольская (СПбГУ, Санкт-Петербург)*

Л 64 **Petra Philologica: профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину
ко дню шестидесятилетия / отв. ред. Н. А. Гуськов, Е. М. Мат-
веев, М. В. Пономарева. — СПб.: Нестор-История, 2015 (Лите-
ратурная культура России XVIII века. Выпуск 6). — vi, 626 с.
ISSN 2310–5569**

Шестой выпуск периодического сборника «Литературная культура России XVIII века», посвященный 60-летию профессора кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета Петра Евгеньевича Бухаркина, подготовлен учеными из Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, России, США, Украины. В статьях сборника рассмотрены проблемы, связанные с научными интересами П. Е. Бухаркина, в том числе с историей русской литературы, языка и культуры XVIII века. Публикуется также библиографический указатель научных трудов П. Е. Бухаркина.

Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов, а также для всех интересующихся проблемами истории русского языка, литературы и культуры.

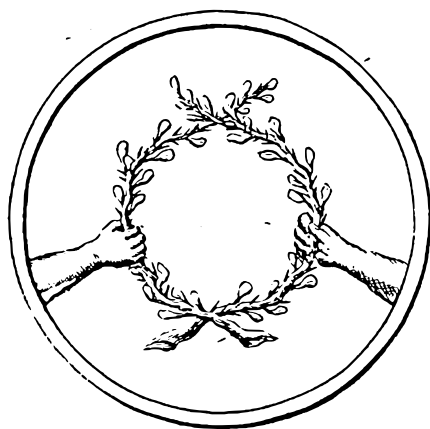
ББК (2Рос=Рус)1

ISSN 2310–5569 © Авторы статей, 2015

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2015



**ПРОФЕССОРУ ПЕТРУ
ЕВГЕНЬЕВИЧУ БУХАРКИНУ
КО ДНЮ
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ**



ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ОТ РЕДАКТОРОВ

Любезный читатель! Выданная ныне в свет к пользе и удовольствию друзей чтения поучительного и замысловатого Шестая книжка нашего Альманаха «Литературная культура России XVIII века» посвящена знаменательному и праздничному событию — шестидесятилетию ПЕТРА ЕВГЕНЬЕВИЧА БУХАРКИНА, профессора кафедры истории русской литературы славного Петербургского университета. Он — почтеннейший ПЕТР равно есть и глава ученой дружины, «Русский XVIII век» именуемой.

Вопреки обыкновению, Шестая книжка нашего Альманаха, гласящая радостные восклицания Муз, получила особое название, и притом многозначное. Оно заключает в себе имя многоуважаемого юбиляра, поприще, на коем подвизается сей ученый муж, а посредством ассоциаций с известной алхимической химерою, претворявшей все в золото, намекает и на благодатные плоды, которыми увенчаны его многочисленные труды.

О, сколь они велики, многообразны, удивления и признательности нашей достойны! «Скорее всего, а возможно, и точно, у ПЕТРА не было какого-либо заранее продуманного плана», — некогда признался сей просветитель своим воспитанникам. И подлинно — в какую область наук словесных ни обратим мы свое око, узрим тамо признаки его усердного упражнения в оных. Должно ли дивиться, что ученый сей, нареченный ПЕТРОМ, подобен редкому камню многогранному? Еще в младых летах, движимый любовью к отечественной словесности, приступил он к постижению ея истории. Облетая по аеру, яко пернат, успел он явить себя в экспликации сочинений, к многообразным периодам оной относящимся. Но более всего сердце его прилежало к осьмнадцатому столетию, прославлению коего он и поныне споспешествует. Минуло уж боле трех десятков лет, как взошел он на университетскую кафедру. И поныне нельзя вообразить, чтоб в условленное время в отведенном аудиториуме не вперялся бы взор благодетельных девиц и пытливых юношей в уже посе-

ребренную бороду сего витии. С избранным кругом молодых почитателей и единомышленников своих уединяется он не в тиши вечерних библиотек, а под сенью прохладных куш Олимпа и Катакомб. Се отверзает ПЕТР им врата учености. Кто из прошедших такое посвящение о том позабудет среди толп варварских на торжище мирском?

Множайшие его познания и дивное красноречие давно почитаются и знатнейшими российскими ревнителями Просвещения и словесных наук, купно и преславными иноземными университетами и учеными собраниями. Чувствие сие взаимно: понеже и ПЕТР, будучи верен заветам своих Учителей и сочинителей тех книг филологических, кои за образцовые всеми признаются, также и нынешним авторам русским и иностранным отдает свой респект и во все новейшие хитроумные измышления с приличной горячностью входит: и в риторику, и в неориторику, и в топику, и в рецептивную эстетику, и в междисциплинарные штудии. Как остроумно при-
молвил о том один пребойкий стихотворец, он из Германии туманной привез учености плоды. Оныя плоды запечатлены для любопытствующего потомства напечатанными на многих бумажных кипах, переплетенных в увесистые томы, а равно в различных ежемесячных ученых ведомостях. Переворотя страниц немного, зри реестр трудам его.

Муж сей отменными добродетелями души своей премного известен: кроток и незлобив, вопреки имени своему, к ближне-
му отзывчив и не жестокосерд, раздорам предпочитает согла-
сие и тишину, ежели то до защищения главнейших убеждений не касается, в вере тверд, не чуждается веселостей и приятных жизненных удовольствий, любезному семейству своему отрада и утешение. Всесильная Вышнего десница да покроет и укрепит

его вовеки, умножит его здравие и благополучие

для пользы и славы Петербургского университета,

Российской Академии наук, Петербургской

Духовной Академии, благословенного

града святого ПЕТРА и всего

рода филологического!



Разговор,
случившийся во Полях Елисейских
в славный и высокаторжественный день
трехсотлетия Михайлы Ломоносова,
по земному юлианскому календарю бывший ноября 19-го
в лето 2011-е от Рождества Христова,
после издания в свет
в некогда царствующем граде Санктпетербурге
книги
«Михаил Васильевич Ломоносов в истории русского слова»

МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ
Мастер в живописстве красный,
Напиши ПЕТРОВ образ,
Чтоб его увидев ясно,
Мог взлететь я на Парнас.

ЭДГАР ДЕГА
Коль изображенье точно,
Вижу здесь себя заочно,
Вижу здесь себя, мой свет:
Молвиж, дорогой портрет...



Писания сего почтенного витии
Прославлены везде, не токмо лишь в России:
Великого ПЕТРА мы зрим перед собой!
Он добродетельми украшен и брадой —
В заботах праведных как дед, супруг, родитель,
Премудрых книг творец и юных душ учитель
В собранья многие мужей ученых вхож
И на художника Дега лицом похож.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Петр Евгеньевич Бухаркин. Библиографический указатель	5
<i>Виролайнен М. Н.</i> Продуктивность непереводимости	30
I. Словесность осемнадцатого столетия	
<i>Левитт М.</i> О «великости» Екатерины II	41
<i>Алексеева Н. Ю.</i> Пример из риторики Ломоносова в стихах Державина	57
<i>Веселова А. Ю.</i> Духовная поэзия А. Т. Болотова	68
<i>Кукушкина Е. Д., Симанков В. И.</i> Трагедия Н. Н. Сандунова «Сидней и Энии» и репертуарная политика Петровского театра в 1780-е годы	83
<i>Росси Л.</i> Утаенная любовь М. Н. Муравьева	100
<i>Соловьев А. Ю.</i> «Чувствительный эпизод» в русских сентиментальных путешествиях	108
<i>Тираспольская А. Ю.</i> Этюд Н. М. Карамзина «Ночь»: некоторые наблюдения над поэтикой лирической прозы	116
<i>Шнайдер Н.</i> «Ума забавы»: женское образование и литературное творчество в России XVIII века	125
<i>Федорак Н.</i> Некоторые особенности перехода от барокко к романтизму в украинской литературе	141
II. Языковедческие изыскания	
<i>Водолазкин Е. Г.</i> Палея Гурия Рукинца и «подпоручик Киже» отечественной лексикографии	154
<i>Круглов В. М.</i> О характере нормы в русском языке первой четверти XVIII века	167

<i>Карева Н. В.</i> Первые издания в России грамматики французского языка и их источники (трактовка категории глагольного времени в «Новой французской грамматике» В. Е. Теплова и «Explication de la Grammaire Françoise» П. де Лавалья) . . .	181
<i>Руднев Д. В.</i> Связочные глаголы со значением общего мнения в русском языке XVIII века	200
<i>Чердаков Д. Н.</i> Проблема именования и этимологическая рефлексия в докомпаративистском русском языкознании	214

III. De locis communibus

<i>Кочеткова Н. Д.</i> Топос «тишины» в поэзии Карамзина	231
<i>Гуськов Н. А.</i> «Свобода и покой»: к истории возникновения поэтической формулы	243
<i>Зубков К. Ю.</i> «Солнце правды»: метафорика поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» и литературный контекст	261
<i>Пономарева М. В.</i> Державинская «река времен» в стихотворении А. Кушнера: трансформация образа	273

IV. Русско-европейские связи

<i>Николаев С. И.</i> Жить по Плутарху	282
<i>Власов С. В.</i> «Слово о витийстве» В. К. Тредиаковского в сопоставлении с античной и западноевропейской риторической традицией XVI–XVIII веков	287
<i>Волков С. С., Матвеев Е. М.</i> Об одной иллюминации середины XVIII века: Я. Штелин — В. И. Лебедев — М. В. Ломоносов	297
<i>Дёмин А. О.</i> Вокруг державинского перевода «Федры» Расина	319
<i>Хольцц Б.</i> «Весна» Томсона в поэзии А. Волковой, Е. Урусовой и А. Бунинной	330
<i>Екуч У.</i> Литературный перевод между поэзией и прозой. О переводе «Неожиданного свидания» И. П. Гебеля Василием Жуковским	342

<i>Ланно-Данилевский К. Ю.</i> Из наблюдений над рукописями переводов Вяч. Иванова	358
<i>Düring M.</i> Canon formation in the Soviet Union: The case of Swift as author of a children's classic	371

V. Постриторическая литература

<i>Карнов А. А.</i> «Медный всадник» Пушкина в переложении Платона Смирновского	388
<i>Марсграфф У.</i> Образ самозванца в пьесе А. С. Пушкина «Борис Годунов»: формирование и функция авто- и гетеростереотипов	400
<i>Отрадин М. В.</i> «Забавное» сделать комическим. Юмор в романе И. А. Гончарова «Обрыв»	416
<i>Тверьянович К. Ю.</i> «Блистательный Санкт-Петербург» Николая Агнивцева: о тривальности и настоящей поэзии	435
<i>Илчева Р.</i> Меч и лира. К вопросу о поэтическом творчестве в среде русской военной эмиграции в Болгарии	458
<i>Рубинс М.</i> «Мысль семейная», инфантицид и десакрализация материнства в литературе русского зарубежья: ответ Л. Толстому	470
<i>Мейер-Фраатц А.</i> Неоднозначность и амбивалентность как эстетическое самоутверждение: русская литература XX века в свете диалогизма М. Бахтина	488
<i>Аникина Т. Е.</i> Об эвфонии в верлибре	507

VI. De chronica et epistolario

<i>Яковлев В. В.</i> Погодинская летопись — памятник новгородского летописания XVIII века	517
<i>Вачева А.</i> Россия в переписке Валентина Жамре Дюваля и Анастасии Соколовой (1761–1774)	534

<i>Александров К. М.</i> «Вы — достойнейший из всех». Неизвестные письма 1933 г. протопресвитера Георгия Шавельского и генерала от кавалерии Петра Николаевича Краснова профессору Николаю Николаевичу Головину	546
<i>Рождественская М. В., Рождественская Т. В.</i> «На палубе разбойничьего брига...»: романтическая нота в творчестве Всеволода Рождественского (из эпистолярного наследия 1920–1930-х гг.)	555

VII. Богословие

<i>Протоиерей Георгий Митрофанов.</i> «Три разговора» В. С. Соловьева — антитолстовский манифест или эсхатологическое прозрение	573
<i>Протоиерей Евгений Горячев.</i> «Крест — хранитель всея вселенная...»	583
Сведения об авторах	595
Аннотации и ключевые слова	600
Summaries	614
Список сокращений	625

**ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ БУХАРКИН.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ**

— СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ —

* I. Монографии и диссертации *

1982

Письма русских писателей XVIII века и развитие прозы (1740-ые — 1780-ые гг.) / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л.: Ленинградский государственный университет, 1982. 21 с. (на правах рукописи)

1996

Православная Церковь и русская литература в XVIII–XIX веках: Проблемы культурного диалога. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 170 с.

1997

Русская литература XVIII–XIX вв. в контексте православной культуры (Проблемы культурного диалога) / Дисс. в форме научного доклада ... докт. филол. наук. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 1997. 46 с. (на правах рукописи)

1999

Н. М. Карамзин — человек и писатель — в истории русской литературы: научный доклад. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 26 с.

2001

Риторика и смысл: Очерки. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. 168 с. *Из содержания:* Поэтический стиль М. В. Ломоносова как факт истории литературного языка. Язык А. С. Пушкина и проблемы секуляризации русской культуры. Стилистические проблемы «Обломова». Элен и ожившая статуя (К вопросу о роли топки в реалистическом дискурсе). О функции

цитаты в повествовательной прозе. Об одной евангельской параллели к «Шинели» Н. В. Гоголя (К проблеме внетекстовых факторов смыслообразования в повествовательной прозе). Об одной параллели к письму Татьяны («Евгений Онегин» А. С. Пушкина и «Демон» М. Ю. Лермонтова). Текст, подтекст и смысл (Стихотворение К. К. Случевского «Пред великою толпою...»).

2011

Михаил Васильевич Ломоносов в истории русского слова. СПб.: Нестор-История, 2011. 172 с.

* II. Учебники и учебные пособия *

1984

Программа курса «История русской литературы XVIII века» для студентов II курса заочного отделения (ЛГУ, Филологический факультет). Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.

1994

«Русская идея» в русской литературе (Методическое пособие к курсу лекций). Göttingen: Seminar für Slavische Philologie der Georg-August-Universität, 1994. 32 с.

2000

История русской литературы XVIII века *ℳ* Кафедра истории русской литературы: Учебные программы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 59–73.

Проблемы исторической поэтики (спецкурс) *ℳ* Кафедра истории русской литературы: Учебные программы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 371–373.

Русская литература XVIII века (спецсеминар) *ℳ* Кафедра истории русской литературы: Учебные программы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 396–398.



Теория литературы. Ч. 2: Риторика *ℳ* Кафедра истории русской литературы: Учебные программы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 250–258.

2008

История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. 448 с.

2009

История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха. Издание второе, исправленное и дополненное. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. 498 с.

История русской литературы XVIII века. Программа курса, методические рекомендации и учебные задания. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. 52 с.

2013

История русской литературы XVIII века (1700–1750-е гг.): учебник для высших учебных заведений Российской Федерации. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. 482 с.

2014

«Русская идея» в русской литературе: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбДА, 2014. 48 с.

* III. Статьи *

1977

Любовно-трагедийный цикл в лирике Ф. И. Тютчева *ℳ* Русская литература. 1977. № 2. С. 118–121.



1979

Стиль «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова *ℳ* Вопросы русской литературы. 1979. Вып. I (33). С. 69–76.

1980

Метод А. В. Чичерина в исследованиях творчества Л. Н. Толстого *ℳ* Вопросы русской литературы. 1980. Вып. I (35). С. 150–153.

Образ адресата в письмах Д. И. Фонвизина из Франции *ℳ* Вестник Ленинградского университета. Сер. 2: История, литература, язык. 1980. Вып. 4. № 20. С. 40–45.

1981

Эпистолярный стиль как поведение *ℳ* Всесоюзная научная конференция молодых ученых-филологов: Тезисы докладов. Тбилиси, 1981. С. 19–21.

1982

Актуальные проблемы изучения документальной прозы *ℳ* Задачи коммунистического строительства и перспективы развития советской филологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. С. 13–16.

Письмо *ℳ* Литературная учеба. 1982. № 1. С. 237–239.

Частная переписка и литература *ℳ* Вторая Всесоюзная научная конференция молодых ученых-филологов: Тезисы докладов. Тбилиси, 1982. С. 35–37.

1983

Поэт и переводчик Н. В. Стефанович *ℳ* Третья Всесоюзная научная конференция молодых ученых-филологов: Тезисы докладов. Тбилиси, 1983. С. 36–38. (совместно с Л. Л. Стречень)

1984

К вопросу о генезисе жанра эпистолярного «путешествия» в русской литературе второй половины XVIII в. // Художественно-документальная литература. Иваново: Изд-во Ивановского университета, 1984. С. 12–16.

1985

Словесная культура XVIII века и эпистолярный стиль // Стиль и время: развитие реалистического повествования. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского университета, 1985. С. 31–43.

1986

О философской проблематике «Недоросля» // Вестник Ленинградского университета. Сер. 2: История, языковедение, литературоведение. 1986. № 3. С. 32–38.

Письма М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова в истории русской литературы // Малые жанры в русской и советской литературе. Киров: Изд-во Кировского педагогического института, 1986. С. 31–40.

Человек и время в трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский» // Язык, литература, общество: Проблемы развития. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 97–106.

1988

Трагедия В. А. Озерова «Дмитрий Донской» // Анализ драматического произведения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. С. 28–45.

Die Salieri-Gestalt in A. S. Puškin Tragödie „Mozart und Salieri“ (Vorschlag einer Interpretation) // Alexander Puschkin in unserer Zeit. Leipzig: Karl-Marx-Universität, 1988. S. 71–77.

1990

О функции цитаты в повествовательной прозе *Вестник Ленинградского университета. Сер. 2: История, языковедение, литература. 1990. Вып. 3. С. 29–36.*

Об А. В. Чичерине и его трудах *Русская литература. 1990. № 4. С. 161–166.*

Памяти А. В. Чичерина *Иноземна филологія. 1990. Вып. 100. С. 4–9.* (совместно с Г. М. Фридендером)

1992

«Образ мира, в слове явленный» (Стилистические проблемы «Обломова») *От Пушкина до Белого. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992. С. 118–135.*

Одическая поэзия М. В. Ломоносова *Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История, языковедение, литература. 1992. Вып. 2. С. 62–69.*

Петр I и М. В. Ломоносов (К вопросу о рецепции русской культурой петровских преобразований) *Труды Всероссийской научной конференции, посвященной 300-летию юбилею отечественного флота. Вып. 2. Переяславль-Залесский, 1992. С. 118–125.*

1993

Классицизм в литературе *«Осьмнадцатое столетие»: проспект энциклопедии. СПб.: Независимая Гуманитарная Академия, 1993. С. 24–27.*

Предисловие *«Осьмнадцатое столетие»: проспект энциклопедии. СПб.: Независимая Гуманитарная Академия, 1993. С. 3–8.* (совместно с В. А. Кузнецовым)

Проблема комического в русской комедии середины XVIII века *XVIII век. Сб. 18. СПб.: Наука, 1993. С. 313–321.*

Старчество и смена писательского типа в русской литературе *Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История, языковедение, литература. 1993. Вып. 2. С. 70–78.*



Церковная словесность и проблема единства русской культуры // Культурно-исторический диалог. Традиция и текст. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. С. 3-15.

1995

Геттингенский семинар славистики и серия «Der Blaue Turm» (К проблеме университетской филологии в связи с опытом немецкой русистики) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История, языкознание, литература. 1995. Вып. 2. С. 123-128.

Д. И. Фонвизин и его комедии // Фонвизин Д. И. Комедии. СПб.: Лениздат, 1995. С. 133-142.

Мечта в русской традиции: Историческое и трансисторическое в развитии имени // Имя — Сюжет — Миф. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. С. 178-194.

Образ «другого» в русской культуре и мифологема Империи // Вече. 1995. Вып. 4. С. 5-19.

Образът на другия в руската култура и митологемата империя // Lettre Internationale (София). 1995. № 2.

«Человек на всякое время»: А. В. Чичерин и «последние философы» // Мѣра. 1995. № 3. С. 156-161.

1996

Автор в трагедии классицизма (Предварительные замечания) // Автор и текст. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. С. 84-104.

Об одной евангельской параллели к «Шинели» Н. В. Гоголя: К проблеме внетекстовых факторов смыслообразования в повествовательной прозе // Концепция и смысл: Сб. статей в честь проф. В. М. Марковича. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. С. 197-211.

Православная Церковь и светская литература в новое время: Основные аспекты проблемы // Христианство и русская литература. Вып. 2. М.: Наука, 1996. С. 32-60.



Топос «тишины» в одической поэзии М. В. Ломоносова // XVIII век. Сб. 20. СПб.: Наука, 1996. С. 3-12.

1997

Поэтический стиль М. В. Ломоносова как факт истории русского литературного языка // Russian Linguistics. 1997. Vol. 21. № 1. P. 63-77.

Текст, подтекст и смысл: Стихотворение К. К. Случевского «Пред великою толпою...» // Ars Philologiae: Профессору Аскольду Борисовичу Муратову ко дню шестидесятилетия. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. С. 216-234.

1999

Мифологема Империи и русская культура // Империи нового времени: Типология и эволюция (XV-XX вв.). Вторые Петербургские Кареевские чтения по новистике: Краткое содержание докладов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 47-50.

О «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина (Эраст и проблемы типологии литературного героя) // XVIII век. Сб. 21. СПб.: Наука, 1999. С. 318-326.

От редактора // Материалы XXVIII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып. 23: Секция украинистики. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 3-4.

Поэтический язык А. С. Пушкина и проблемы секуляризации русской культуры // Христианство и русская литература. Вып. 3. М.: Наука, 1999. С. 92-104.

«Стихами жить...» (О поэзии Евгения Юркова) // Юрков Е. Не рифмуется жизнь. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 3-5.

2000

Алексей Владимирович Чичерин — человек, мыслитель, ученый // Олексій Чичерин: Біобібліографічний покажчик. Львів: Видавничий центр Львівського Нац. Ун-ту, 2000. С. 123-134.

Больше статьи, но меньше монографии *ℳ* Санкт-Петербургский университет. 2000. № 14. С. 15–16.

Об одной параллели к письму Татьяны («Евгений Онегин» А. С. Пушкина и «Демон» М. Ю. Лермонтова) *ℳ* Памяти Георгия Пантелеймоновича Макогоненко: Сб. статей, воспоминаний и документов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 79–97.

Die Lyrik Ivan Ignatovs (D. E. Maksimovs): Zur Frage der „Philologischen Kultur“ der Sowjetepoche *ℳ* Zeitschrift für Slawistik. 2000. Bd. 45. H. 1. S. 24–32.

2001

Барокко *ℳ* Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 1. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. С. 109–110.

Классицизм *ℳ* Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 1. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. С. 459–461.

Массовая беллетристика *ℳ* Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 1. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. С. 587–589.

«Нам не дано предугадать...» *ℳ* Петербургский книжный вестник. 2001. № 1 (20). С. 8–9.

От редакционной коллегии *ℳ* Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 1. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. С. 5–7.

Эпистолярная литература *ℳ* Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 2. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. С. 558–559.

2002

От редактора *ℳ* Арнольд И. В. *Стилистика: Современный английский язык*. М.: Флинта; Наука, 2002. С. 3–6.

Українські барочні риторики і розвиток російської культури на межі XVII–XVIII століть *ℳ* Українська культура в європейському контексті. *Ukrainische kultur im europaischen context*. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 2002. S. 53–57.

2003

Барокко *ℳ* Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 1. 2-е изд., испр. М.; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Издательский центр «Академия», 2003. С. 109–110.

Классицизм *ℳ* Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 1. 2-е изд., испр. М.; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Издательский центр «Академия», 2003. С. 459–461.

Массовая беллетристика *ℳ* Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 1. 2-е изд., испр. М.; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Издательский центр «Академия», 2003. С. 587–589.

От редакционной коллегии *ℳ* Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 1. 2-е изд., испр. М.; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Издательский центр «Академия», 2003. С. 5–7.

Предисловие *ℳ* Риторическая традиция и русская литература. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 3–7.

Судьбы петербургского текста русской литературы *ℳ* Мир русского слова. 2003. № 1 (14). С. 87–90.

Элен и «ожившая статуя» (к вопросу о роли топики в реалистическом дискурсе) *ℳ* Риторическая традиция и русская литература. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 221–235.

Эпистолярная литература *ℳ* Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 2. 2-е изд., испр. М.; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Издательский центр «Академия», 2003. С. 558–559.

2004

Вместо предисловия *ℳ* Беседы любителей русского слова: Писатели о языке. СПб.: Политехника, 2004. С. 3–6.

Об одном письме Д. И. Фонвизина: Опыт культурологического комментария (к вопросу о формировании «Петербургского текста» русской литературы) *ℳ* XVIII век. Сб. 23. СПб.: Наука, 2004. С. 104–118.

Слово о Геннадии Владимировиче Иванове *ℳ* Геннадий Владимирович Иванов. Памяти филолога. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2004. С. 51–59.

2005

Бог говорит с нами на родном языке *ℳ* Мир русского слова. 2005. № 3–4. С. 16–57. (совместно с прот. Кириллом Копейкиным)

Патриарх Никон и европеизация русской культуры во второй половине XVII века (Несколько культурологических замечаний) *ℳ* О древней и новой русской литературе. Сб. статей в честь проф. Н. С. Демковой. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. С. 87–95.

Петербургская боль (трагедия классицизма и Петербургский текст русской литературы) *ℳ* Петербургский сборник. Вып. 4: Существует ли Петербургский текст? СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. С. 106–123.

2006

Иван Киреевский и Василий Розанов *ℳ* Зерно горчичное. 2006. № 6. С. 8–18.

О Алексее Владимировиче Чичерине *ℳ* Зерно горчичное. 2006. № 4. С. 66–68.

О поэзии Д. Е. Максимова (несколько предварительных замечаний) *℘* Обретение смысла. Сб. статей в честь проф. К. А. Роговой. СПб.: Осипов, 2006. С. 243–255.

Предисловие *℘* Современность: поэтическая или прозаическая эпоха в истории русской литературы? Материалы научно-практической конференции. СПб.: Осипов, 2006. С. 4–6.

Риторическое смыслообразование в «Вечернем размышлении о Божием величестве при случае великого северного сияния» М. В. Ломоносова: между однозначностью логики и полисемией языка *℘* XVIII век. Сб. 24. СПб.: Наука, 2006. С. 35–56.

Церковь и язык: беседа с прот. Кириллом Копейкиным *℘* Беседы любителей русского слова: Православное духовенство о языке. Материалы круглого стола. СПб.: Осипов, 2006. С. 16–25.

2007

Вспоминая протоперяя Василия Ермакова *℘* Зерно горчичное. 2007. № 7. С. 27–41.

Изучение русской литературы XVIII века на кафедре истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета *℘* Литературная культура XVIII века. Материалы XXXVI Международной филологической конференции. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2007. С. 5–16.

О Дмитрие Евгеньевиче Максимове, каким он остался в моей душе *℘* Памяти Дмитрия Евгеньевича Максимова. М.: Наука, 2007. С. 187–200.

О. Павел Флоренский — в начале нового века *℘* Зерно горчичное. 2007. № 10.

Украинские барочные риторика и развитие русской культуры на рубеже XVII–XVIII веков *℘* Грани русистики. Филологические этюды. Сб. статей, посвященный 70-летию проф. В. В. Колесова. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007. С. 243–249.

Украинские риторика и развитие русской культуры на рубеже XVII–XVIII веков *Литературная культура XVIII века. Материалы XXXVI Международной филологической конференции.* СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2007. С. 17–24.

2008

Изучение русской литературы XVIII века на кафедре истории русской литературы СПбГУ *Philologica. LXIV: Ruska literature v súčasnej literarnovednej reflexii.* Bratislava, 2008. С. 47–59.

Полет, воплощенный в слове *Арнольд И. В. Жизнь и наука: Воспоминания и научные труды.* СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 6–п. (совместно с Л. Л. Стречень)

Предисловие *Наталья Дмитриевна Кочеткова. Библиографический указатель.* СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. С. 5–9.

Предисловие *Русско-европейские литературные связи. Энциклопедический словарь. Статьи.* СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. С. 5–8.

Предисловие (современная проповедь глазами филолога) *Протоиерей Георгий Митрофанов. Проповеди.* М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2008. С. 8–16.

Русская литература XVIII века: хронологические границы и проблема периодизации *Литературная культура России XVIII века. Вып. 2.* СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. С. 5–40.

2009

Несколько слов о книге Н. А. Гуськова *Гуськов Н. А. Русская литература XVIII века. Учебная книга.* СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. С. 3–4.

О разработке новой теоретической модели репрезентации истории литературы (на материале русской литературы XVIII века) *Литературная культура России XVIII века. Вып. 3.* СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. С. 303–310. (совместно с А. В. Андреевым, Е. М. Матвеевым, М. В. Пономаревой)

Петербургский миф: Слово и бронза («Сад современной скульптуры» и судьба «Петербургского текста» русской литературы на рубеже столетий) *Номо universitatis. Памяти Аскольда Борисовича Муратова (1937–2005): Сборник статей.* СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. С. 382–393.

Послесловие *Протоиерей Георгий Митрофанов. Трагедия России: «запретные» темы истории XX века.* М.: МОБИ ДИК, 2009. С. 235–240.

Свобода и традиционализм [Презентация кн.: Протоиерей Георгий Митрофанов. Трагедия России: «запретные» темы истории XX века в церковной проповеди и публицистике. М.: МОБИ ДИК, 2009. 240 с.]. Вступ. заметка *Звезда.* 2009. № 11. С. 179–180.

Стефан Яворский и культурное движение петровской эпохи *Литературная культура России XVIII века. Вып. 3.* СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. С. 43–66.

Феофан Прокопович и духовно-интеллектуальные движения петровской эпохи *Христианские чтения.* 2009. № 9–10. С. 104–120.

2010

Наследие Павла Флоренского в исторической ретроспективе *Судьбы литературы серебряного века и русского зарубежья.* СПб.: Петрополис, 2010. С. 133–146.

Предисловие *Окказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века.* СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2010. С. 9–11.

Церковное красноречие петровской эпохи: барочное слово между Церковью и Империей *Окказиональная литература в контексте празд-*

ничной культуры России XVIII века. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2010. С. 19–32.

2011

Духовная ода М. В. Ломоносова: литературный контекст и религиозное содержание // Христианское чтение. 2011. № 3 (38). С. 6–18.

К вопросу о месте А. Д. Кантемира в литературном движении его времени // Актуальные проблемы изучения и преподавания русской литературы: взгляд из России — взгляд из зарубежья: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 190-летию кафедры истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Санкт-Петербург, 7–9 окт. 2010. СПб.: Скрипторium, 2011. С. 229–241.

Литературная позиция М. В. Ломоносова // Русская литература. 2011. № 1. С. 24–38.

М. В. Ломоносов: позиция в культуре и поэтическое слово // Ломоносов. Сборник статей и материалов. Вып. X. СПб.: Наука, 2011. С. 106–119.

Поэзия М. В. Ломоносова: стилистика и проблематика торжественной оды // Литературная культура России XVIII века. Вып. 4. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. С. 33–48.

Поэма П. Буслаева «Умозрительство душевное» в литературном движении Петровской эпохи // XVIII век. Сб. 26. СПб., 2011. С. 4–19.

Поэтическое творчество М. В. Ломоносова // Сборник материалов, посвященных 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2011. С. 201–259.

2012

«Краткое руководство к красноречию...» М. В. Ломоносова как явление литературы // Varietas delectans: Сб. статей к 70-летию Н. Л. Сухачева. СПб.: Нестор-история, 2012. С. 106–116.

Стефановича — сейчас и прежде ❧ Стефанович Н. В. Стихотворения и поэмы. М.: Летний сад, 2012. С. 26–36.

Филолог как хранитель исторической памяти языка ❧ *Litterarum fructus*: Сб. статей в честь С. И. Николаева. СПб.: Альянс-Архео, 2012. С. 327–338.

Юбилейное заседание семинара «Русский XVIII век» в рамках ХLI Международной филологической конференции ❧ ЯЛИК. 2012. № 86. С. 3–5. (совместно с Е. М. Матвеевым)

2013

В. К. Тредиаковский: литературный облик и литературная репутация ❧ Мир русского слова. 2013. № 4. С. 61–68.

Иван Киреевский и Василий Розанов ❧ Верующий разум. 2013. № 1 (1). С. 35–42.

«Краткое руководство к красноречию» М. В. Ломоносова: литературный статус и некоторые проблемы филологического изучения ❧ Филологическое наследие М. В. Ломоносова: коллективная монография. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 36–72.

Лексикографическое описание риторической терминологии М. В. Ломоносова. Риторика М. В. Ломоносова: Проект словаря. СПб.: Геликон Плюс, 2013. С. 5–34. (совместно с С. С. Волковым, Е. М. Матвеевым)

Несколько слов о книге Н. А. Гуськова ❧ Гуськов Н. А. Русская литература XVIII века. Учебная книга. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. С. 3–4.

[О деятельности Отдела] ❧ Энциклопедический Отдел Института Филологических Исследований Санкт-Петербургского государственного университета. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2013. С. 89–92.

«Опыт Российского сословника» в контексте литературной деятельности Д. И. Фонвизина ❧ Аониды. Сб. статей в честь Н. Д. Кочетковой. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2013. С. 24–35.

От научного редактора ❧ Тверьянович К. Ю. Русский стих 1735–1810-х годов. Метрика и строфика: Антология. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. С. 3–4.

Поэзия Николая Стефановича — сейчас и прежде ❧ Текст и традиция. Альманах. Вып. 1. СПб.: Росток, 2013. С. 381–391.

Предисловие ❧ Филологическое наследие М. В. Ломоносова: коллективная монография. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 7–14. (совместно с С. С. Волковым)

Проблемы лексикографического описания риторической терминологии М. В. Ломоносова ❧ Индоевропейское языкознание и классическая филология — XVII (чтения памяти И. М. Тронского). Материалы Международной конференции, проходившей 24–26 июня 2013 г. СПб.: Наука, 2013. С. 137–159. (совместно с С. С. Волковым и Е. М. Матвеевым)

Св. Димитрий Ростовский и духовно-интеллектуальная жизнь Украины и России на рубеже XVII–XVIII веков ❧ Музей и Церковь в контексте сохранения национального наследия. СПб.: Философский факультет СПбГУ, 2013. С. 106–118.

Смех и утверждение идеала. Инвектива и панегирик в сатирах А. Д. Кантемира ❧ Herrscherlob und Herrscherkritik in der russischen Literatur. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013. S. 59–68. (Opera Slavica. Neue Folge. 55)

2014

О проблематике духовных од М. В. Ломоносова ❧ Russian literature. 2014. Vol. 75. Issue 1/4. P. 57–73.

От редакции ❧ Литературная культура России XVIII века. Вып. 5. СПб., 2014. С. 5–6. (совместно с Е. М. Матвеевым)

Риторика М. В. Ломоносова и классическая традиция в русской литературе ❧ Индоевропейское языкознание и классическая филология — XVIII (чтения памяти И. М. Тронского). Материалы Международной конференции, проходившей 23–25 июня 2014 г. СПб.: Наука, 2014. С. 98–118.

Терминологический словарь «Риторика М. В. Ломоносова»: актуальность, новизна, особенности метаязыка ❧ Структурная и прикладная лингвистика. 2014. Вып. 10. С. 237–250. (совместно с С. С. Волковым и Е. М. Матвеевым)

* IV. Подготовка текстов и комментарии *

Русская литература: Век XVIII. Трагедия. М.: Художественная литература, 1991. Разделы: Я. Б. Княжнин. Владимир и Ярополк. Вадим Новгородский. С. 491–592, 711–713.

* V. Научное редактирование *

1993

«Осьмнадцатое столетие»: проспект энциклопедии. СПб.: Независимая Гуманитарная Академия, 1993. 33 с. (совместно с В. А. Кузнецовым)

1996

Концепция и смысл: Сб. статей в честь проф. В. М. Марковича. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 380 с.

1997

Ars Philologiae: Профессору Аскольду Борисовичу Муратову ко дню шестидесятилетия. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 379 с.

1998

Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. 443 с.

1999

Материалы XXVIII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып. 23: Секция украинистики. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 58 с.

2001

Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. А-М. Кн. 1. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. 672 с.

Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Н-Я. Кн. 2. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. 640 с.

2002

Арнольд И. В. Стилистика: Современный английский язык. М.: Флинта; Наука, 2002. 383 с.

2003

Риторическая традиция и русская литература. Межвузовский сборник. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 250 с.

Русское слово в мировой культуре. Круглые столы: Сборник докладов и сообщений. Материалы X Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. СПб.: Политехника, 2003. 480 с. (совместно с Н. О. Рогожиной и Е. Е. Юрковым)

Русское слово в мировой культуре. Художественная литература как отражение национального и культурно-языкового развития. Т. 1: Развитие русского самосознания и история литературы XIX–XX веков. Материалы X Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. СПб.: Политехника, 2003. 328 с. (совместно с Н. О. Рогожиной и Е. Е. Юрковым)

Русское слово в мировой культуре. Художественная литература как отражение национального и культурно-языкового развития. Т. 2: Русская литература в общекультурном и языковом развитии. Материалы X Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. СПб.: Политехника, 2003. 363 с. (совместно с Н. О. Рогожиной и Е. Е. Юрковым)

Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 1: А-М. 2-е изд., испр. М.; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Издательский центр «Академия», 2003. 672 с.

Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие. Кн. 2: Н-Я. 2-е изд., испр. М.; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Издательский центр «Академия», 2003. 640 с.

2004

Беседы любителей русского слова: Писатели о языке. СПб.: Политехника, 2004. 159 с. (совместно с С. И. Богдановым, Н. О. Рогожиной и Е. Е. Юрковым)

2006

Беседы любителей русского слова: Православное духовенство о языке. СПб.: Осипов, 2006. 201 с. (совместно с С. И. Богдановым, прот. Кириллом Копейкиным, Н. О. Рогожиной и Е. Е. Юрковым)

Материалы I научной конференции сотрудников и слушателей ЦППК ФЛ СПбГУ. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2006. 104 с. (совместно с А. С. Асиновским и М. В. Борисовой)

Материалы II научной конференции сотрудников и слушателей ЦППК-ФЛ СПбГУ. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2006. 162 с. (совместно с А. С. Асиновским и М. В. Борисовой)

Современность: поэтическая или прозаическая эпоха в истории русской литературы? Материалы научно-практической конференции. СПб., 2006.

2007

Литературная культура XVIII века. Материалы XXXVI Международной филологической конференции. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2007. 208 с. (совместно с Е. М. Матвеевым)

Русская литература в формировании современной языковой личности. Материалы международного конгресса. Вып. 1: Литература в формировании языковой личности: Этапы и варианты. СПб.: Осипов, 2007. 560 с. (совместно с Н. О. Рогожиной и Е. Е. Юрковым)

Русская литература в формировании современной языковой личности. Материалы международного конгресса. Вып. 2: Современная языковая личность: проблемы и функционирование. Языковая личность в иноязычной среде: литературные традиции и новации. СПб.: Осипов, 2007. 544 с. (совместно с Н. О. Рогожиной и Е. Е. Юрковым)

2008

Литературная культура России XVIII века. Вып. 2. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. 160 с. (совместно с Е. М. Матвеевым, М. В. Пономаревой)

Наталья Дмитриевна Кочеткова. Библиографический указатель. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. 36 с. (совместно с Е. М. Матвеевым, М. В. Пономаревой)

Русско-европейские литературные связи. Энциклопедический словарь. Статьи. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. 432 с.

2009

Литературная культура России XVIII века. Вып. 3. СПб., 2009. 311 с. (совместно с Е. М. Матвеевым, А. Ю. Тираспольской)

2010

Окказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2010. 448 с. (совместно с У. Екуч, Н. Д. Кочетковой)

2011

Литературная культура России XVIII века. Вып. 4. СПб., 2011. 280 с. (совместно с Е. М. Матвеевым, А. Ю. Тираспольской)

Хронологический каталог слов и речей XVIII века / сост. Е. И. Кислова, Е. М. Матвеев. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. 264 с.

2013

Риторика М. В. Ломоносова: Проект словаря. СПб.: Геликон Плюс, 2013. 132 с. (совместно с С. С. Волковым и Е. М. Матвеевым)

Тверьянович К. Ю. Русский стих 1735–1810-х годов. Метрика и строфика: Антология. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. 320 с.

Филологическое наследие М. В. Ломоносова: коллективная монография. СПб.: Нестор-История, 2013. 480 с. (совместно с С. С. Волковым, Е. М. Матвеевым)

2014

Литературная культура России XVIII века. Вып. 5. СПб., 2014. 306 с. (совместно с Е. М. Матвеевым)

* VI. Рецензии *

1980

Дружеское письмо «Арзамаса» [Рец. на кн.: Todd W. M. The Familiar Letter as a Literary Genre in the Age of Pushkin. Princeton, 1976. 327 pp.] / Русская литература. 1980. № 1. С. 226–228.

1990

Первый том нового словаря русских писателей [Рец. на кн.: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. А-Г. М.: Советская энциклопедия, 1989. 672 с.] / Русская литература. 1990. № 1. С. 149–155.

1996

Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма. [Рец. на кн.: Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма. СПб.: Наука, 1994. 282 с.] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История, языкознание, литература. 1996. № 1. С. 118–120.

Постижение Гончарова [Рец. на кн.: Отрадин М. В. Проза И. А. Гончарова в литературном контексте. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994] // Русская литература. 1996. № 3. С. 260–264.

2008

Собеседник русской литературы [Рец. на кн.: Бочаров С. Г. Филологические сюжеты. М.: Языки славянских культур, 2007. 653 с.] // Русская литература. 2008. № 3. С. 227–232.

— РЕЦЕНЗИИ НА ТРУДЫ П. Е. БУХАРКИНА —

1995

Дмитриев А. П. Тема «Православие и русская литература» в публикациях последних лет // Русская литература. 1995. № 1. С. 256–257.

1998

Erdmann M. Petr Evgenevic Bucharkin. Pravoslavnaja Cerkov i russkaja literatura v XVIII — XIX vekach. Problemy kulturnogo dialoga. S.-Peterburg, 1996. 169 S // Ostkirchliche Studien. 1998. Bd. 47. H. 1. S. 66–68.

2006

Рычаловский Е. Е., Шаркова Е. Б. Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Оснадцатое столетие // отв. ред. П. Е. Бухаркин // Век Просвещения. Вып. 1: Пространство европейской культуры в эпоху Екатерины II. М.: Наука, 2006. С. 492–499.

2008

Дёмин А. О. Литературная культура XVIII века [Рец. на сб.: Литературная культура XVIII века. СПб., 2007] // Русская литература. 2008. № 2. С. 212–214.

Самарин А. Ю. Путеводитель по творчеству видного историка русской литературы [Рец. на кн.: Наталья Дмитриевна Кочеткова: Библиографический указатель. СПб., 2008] // Университетская книга. № 10. М., 2008. С. 60–61.

2009

Schneider N. Russko-evropejskie literaturnye sviazi: XVIII vek. Enciklopedičeskij slovar'. Stat'i. / hrsg. von Petr Bucharkin. SPb.: Fakul'tet filologii i iskusstv SPbGU, 2008. 432 S. // Zeitschrift für Slawistik. 2009. Bd. 55. H. 3. S. 372–374.

Vatcheva A. P. E. Boukharkin (éd.), Les Relations littéraires entre la Russie et l'Europe, XVIII e siècle, Dictionnaire encyclopédique, Articles, [Russko-evropejskie literaturnye svjazi. XVIII vek. Encyclopedičeskij slovar'. Stat'i. Otv. red. P. E. Boukharkin], Saint-Petersbourg, Faculté de Philologie et d'Art de l'Université de S.-Petersbourg, 2008, 426 p., + résumés en anglais, français, allemand, + nb. ill // Revue Dix-Huitième Siècle (Paris). 2009. № 41. P. 798–799.

2012

Данилевский Р. Ю. «Мерцающие смыслы» (новая книга о поэзии М. В. Ломоносова) [Рец. на кн.: Бухаркин П. Е. Михаил Васильевич Ломоносов в истории русского слова. СПб., 2011] // Русская литература. 2012. № 3. С. 213–214.

Кукушкина Е. Д. М. В. Ломоносов в контексте литературной культуры XVIII века [Рец. на сб.: Литературная культура России XVIII века. Вып. 4. СПб., 2011] // Русская литература. 2012. № 2. С. 213–217.

Хворостьянова Е. В. Оказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века *✓* под ред. Петра Бухаркина, Ульрике Екуч, Натальи Кочетковой. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2010 *✓* Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2012. № 2. С. 171–176.

2013

Jekutsch U. Bukharkin P. E. M. V. Lomonosov v istorii russkogo slova *✓* Zeitschrift für Slawistik. 2013. Bd. 58. H. 1. S. 109–111.

Malek E. Bucharkin P., Jekutsch U., Kočetkova N. (Hg.). Оказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века. Gelegenheitsdichtung im Rahmen der russischen Festkultur des 18. Jahrhunderts. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2010 *✓* Kritikon Litterarum. 2013. Bd. 40. H. 3/4. S. 237–243.

— ЛИТЕРАТУРА О П. Е. БУХАРКИНЕ —

Бухаркин Петр Евгеньевич *✓* Профессора Санкт-Петербургского государственного университета. Библиографический словарь *✓* сост. Г. А. Тишкин; отв. ред. Л. А. Вербицкая. СПб.: Изд. Дом СПбГУ, 2004. С. 91–92.

Бухаркин Петр Евгеньевич *✓* Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Материалы к истории факультета *✓* автор-составитель И. С. Лутовинова; отв. ред. С. И. Богданов. 4-е изд. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2008. С. 353.

Павликова П. Бухаркин Петр Евгеньевич *✓* Литературный Санкт-Петербург. XX век. Энциклопедический словарь. Т. 1. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2015. С. 350–353.

ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕПЕРЕВОДИМОСТИ

Рассматривая факт непереводимости не в узко лингвистическом смысле, а в контексте языков культуры, можно выделить три самых общих способа отношения к этому факту. Первый заключается в простом признании непереводимости, и, разумеется, не содержит ничего продуктивного. Так, Коран, написанный на священном языке, не может быть переведен ни на какой другой язык, поскольку при переводе он перестанет быть священной книгой. Языковые границы затворены, и дальнейшее обсуждение вопроса бессмысленно. Второй способ, столь же непродуктивный и столь же простой, заключается в игнорировании того факта, что языковые границы в принципе непроходимы. Тот же Коран переведен на многие языки, но любые его переводы обречены оставаться не чем иным как суррогатами, через которые взаимодействие со священной книгой невозможно. Оба эти случая — затворенности границ между языками и игнорирования этих границ — не дают ничего интересного с точки зрения продуктивности. Но возможен третий вариант, он-то и представляет интерес.

Однажды в Бухаре мне довелось присутствовать при разговоре русского молодого человека с мусульманином, преподававшим в медресе. Молодой человек попросил разрешения подержать в руках Коран. Мусульманин ответил, что для этого надо совершить омовение рук. Русский с готовностью согласился. Мусульманин сказал: «Ну что ж, хорошо, но для того, чтобы совершить омовение рук, надо сначала сделать обрезание». Иными словами, для того, чтобы контакт с непереводимой священной книгой действительно произошел, нужно перейти границу собственной культуры, нарушить самоидентичность, перестать быть собой. И это — условия непереводимости.

Собственно говоря, на очень близких условиях основана наша речь. Если непереводимость понимать как отсутствие эквивалента сказанному, как единственность сказанного, сли-

того со своей языковой оболочкой, то окажется, что вся наша речь основана на постоянном переводе непереводаемого. Об этом свидетельствует простейший классический пример — утверждение «Сократ — человек». Сократ — это Сократ, единственный, уникальный и самотождественный. Слово «человек» совсем не тождественно ему, не эквивалентно. Точно так же любой логический предикат выводит субъект из состояния равенства себе и вовлекает в новые связи, разрушая его непереводаемость. Но это и есть продуктивное основание речи, принцип ее порождения, который описывается формулой «А есть Б». Разумеется, это далеко не единственная граница, которую преодолевает наша речь, но для дальнейшего рассуждения достаточно указать хотя бы на нее.

Обычно мы этой границы не замечаем, проскальзываем сквозь нее нечувствительно, бессобытийно. Фиксация же ее может иметь двоякий результат. С одной стороны, такая фиксация может привести к сбоям речи, ее функциональным нарушениям, когда человек замечает границу и перед ней останавливается. С другой стороны, обнаруженная, зафиксированная граница может быть взята приступом, преодолена, перейдена как значимое препятствие. В последнем случае возникает продуцирование обновленной речи. Например, именно так возникает метафора, которая сопрягает несопрягаемое, одновременно акцентируя как наличие границы между субъектом и предикатом, субъектом и его определением, так и преодоленный характер этой границы. Как только преодоление границы автоматизируется, перестает ощущаться, метафора становится стертой.

Взаимодействие языков культуры во многом строится по тем же законам. Продуктивность возникает там, где граница непереводаемости и отмечена, и преодолена. Потенциально продуктивным оказывается само наличие границы. Отсюда следует очевидный вывод: одним из залогов продуктивности культуры является неоднородность, гетерогенность ее языкового поля.

Характеризуя

Характеризуя языковую ситуацию Московской Руси, Б. А. Успенский предложил различать два феномена: диглоссию и двуязычие. Диглоссию он определил как «такой способ сосуществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива, когда функции этих двух систем находятся в дополнительном распределении», то есть когда они не эквиваленты друг другу и не подлежат взаимному переводу (Успенский 1994: 26). Так, в Московской Руси церковнославянский и русский языки находятся в отношениях диглоссии: церковнославянский обладает сакральным статусом, который утрачивается при переводе на русский. Система значений церковнославянского языка не может транслироваться за его пределы. Понятно, что здесь, как и в случае с Кораном, речь идет не о лингвистической невозможности перевода, а о непереводаемом языке культуры. При двуязычии языки, наоборот, легко обмениваются своим содержанием. Примером двуязычия Успенский считает функционирование русского и французского языков в России первой трети XIX в. Вопрос о том, насколько точен этот пример, как кажется, еще подлежит обсуждению. Но пока существенно само выделение феномена диглоссии на фоне двуязычия, то есть противопоставление легко проходимых границ между языками культуры — границам неприступным. Потому что именно там, где граница проведена и отрефлексирована со всей жесткостью и определенностью, возникает потенциальная возможность преодоления, взятия этой границы — возможность, которая может и не реализоваться, но в случае, если она реализуется, становится залогом продуктивности.

Именно эта возможность была с необычайной интенсивностью проэксплуатирована в период петровских реформ, причем культурная стратегия одновременно стремилась сразу к двум целям: и к подчеркиванию границы, и к ее преодолению. Это сочетание разнонаправленных усилий можно считать формулой петровской культуры, которая сознательно создавала гетерогенное языковое пространство с резко

прочерченными границами. Унаследованную со времен Московского царства ситуацию диглоссии усугубило введение гражданского шрифта, предназначенного для печати светских изданий. Два разных языка теперь и графически, зримо были отделены друг от друга, но укрепление границ между ними сопровождалось тем более дерзновенным пересечением этих границ. Когда Феофан Прокопович назвал Петра I Христом, казалось бы, он всего лишь совершил лингвистически допустимую процедуру. Христос значит помазанник. Царь — тоже помазанник. Значит, царь может быть назван Христом. Но эта игра слов возникла как нарушение неприступной доселе границы. Царское имя и имя Христа не подлежат взаимному переводу, для которого имя Христа должно быть исторгнуто из Священного писания, извлечено из состава церковнославянских текстов, возвращено к своему греческому значению, в этом значении использовано как нарицательное и лишь после всего этого передано царю. Одной подобной процедуры достаточно, чтобы понять, ради чего Московская Русь замыкала границы церковнославянского языка. А словесная игра Феофана Прокоповича построена таким образом, чтобы границы оказались не только нарушенными, но и подчеркнутыми.

По той же логике, нарушающей непереваемость церковнославянского священного текста, возникли наименования Петербурга каменным градом и парадизом. Имя апостола Петра, возвращенное к своему греческому значению, вынесенному за скобки сакрального текста, приобщило к этому тексту строительный камень новой столицы, противопоставленной старой деревянной России. Здесь, правда, можно было опереться на раскрывающую значение имени Петра евангельскую фразу. Но эта возможность никоим образом не удерживала законное положение границ между сакральным и профанным, скорее, наоборот. Раз камень-Петр владеет ключами от Царствия Небесного, каменный Петербург именуется парадизом. Профанное земное пространство названо небесным

небесным именем, а акт перевода зафиксирован иноязычным по отношению к русской традиции словом.

Петровскую эпоху можно обвинять в кощунстве, в нарушении традиций, в неверно избранном историческом пути. Но есть упрек, который бросить ей невозможно: эту культуру нельзя назвать непродуктивной.

Следующий всплеск поразительной продуктивности русской культуры приходится на первую треть XIX в., на эпоху Золотого века. Рисуя картину истории русского литературного языка, В. В. Виноградов старался продемонстрировать, что это была эпоха синтеза, осуществленного прежде всего Пушкиным (Виноградов 2000: 497–498). Следуя заветам гегелевской диалектики, он полагал, что именно синтезом должен быть ознаменован наивысший подъем культуры. Однако причина продуктивности Золотого века была, как кажется, едва ли не противоположной и заключалась в том ярко выраженном качестве гетерогенности языкового поля культуры, которое характерно далеко не для всякого исторического периода.

В самом деле, в пределах первой трети XIX столетия в русской культуре сосуществует сразу множество разных языков, достаточно резко противопоставленных друг другу. Все еще актуальным остается описанное Б. А. Успенским функциональное различие церковнославянского и русского языков, в одном языковом коллективе сосуществуют французский и русский, многоязычна и внутрилитературная реальность. Пускай теория трех штилей стремительно отходит в прошлое — привитая ею привычка к дифференциации языковых слоев еще несомненно работает, литературный слух явственно различает их. Сосуществование на литературной арене приверженцев сентиментализма, классицизма и того направления, которое мы привыкли называть романтизмом, — это и есть сосуществование разных языков. Жанровое мышление несомненно остается актуальным — и почти каждый жанр тяготеет к собственному языковому ядру. Обычно все это трактуется как всего лишь стилевые различия, но такая трактовка будет

верна только в том случае, если язык мы будем понимать как явление чисто лингвистическое. Если же речь идет о языках культуры, каждый из которых обладает собственной системой различения реальности, становится очевидным, что к стилистике здесь дело не сводится. И, может быть, самая резко проведенная граница проходит между языком поэзии и общеупотребительным языком. Поэтическое уныние, поэтическая лень, поэтический пир отсылают к совершенно иным семантическим комплексам, чем те же самые слова, употребленные в разговорной речи или в прозе. Здесь ситуация диглоссии проявляется в самой парадоксальной форме: перевод невозможен, хотя для его осуществления не требуется даже перемены словарного состава. В эпоху Некрасова ничего подобного наблюдаться уже не будет. Начиная с 40-х гг. ведущей становится тенденция к нивелированию языкового поля. Показательна в этом отношении языковая эволюция чуткого к литературным тенденциям Гоголя: первая редакция «Вечеров на хуторе близ Диканьки» откровенно предстает перед читателем в одеждах двух языков, а при подготовке издания 1842 г. он уже хочет устранить украинизмы из собственных ранних текстов.

До тех пор, пока языковое поле остается гетерогенным, элементы непереводаемости сосуществующих в нем языков создают достаточно мощный потенциал продуктивности. Как уже было сказано, остается вопросом, насколько прав Успенский, утверждая, что русско-французская языковая ситуация пушкинской эпохи была двуязычием, а не диглоссией. Вполне очевидно, что барьер непереводаемости, пусть и не тотальной, здесь в ряде случаев возникал, и именно он вызывал повышенный интерес. Известно, какие большие надежды возлагались на предпринятый Вяземским перевод «Адольфа» Бенжамена Констан. И причина заключалась не только в репутации самого романа, но и в том, что русский язык заведомо не имел эквивалентов для передачи французского «метафизического» языка. Не будем сейчас останавливаться на том, чем отличалось

чалось понимание метафизического языка во Франции и в России — это прекрасно продемонстрировано В. А. Мильчиной (Мильчина 2006: 131–132). Особое внимание исследовательница обратила на шероховатости перевода Вяземского, которые возникали в тех случаях, когда он точно следовал за оригиналом. Чаще всего это выражения, в которых абстрактное резко и неожиданно соединялось с конкретным (Там же: 133). Эти же фрагменты текста смущали и французских пуристов, чье недовольство объяснялось, в частности, тем, что в целом французский язык того времени обладал уже большим опытом гладкого, так сказать, соединения конкретного и абстрактного, физического и метафизического. Именно такого опыта и не хватало в России. Стоит, однако, обратить внимание и на другого рода шероховатости, возникающие в переводе Вяземского как раз не там, где он близко следует за Констаном, а также и не в тех случаях, где возникают кальки и галлицизмы. Приведу несколько примеров. Выражение «se soumettre à la conversation» Вяземский переводит как «поработаться разговору», фразу «Je ne me trouvais à mon aise que tout seul» — как «мне было просторно только в одиночестве», выражение «au fond de mon coeur» — как «на дне сердца моего», выражение «n'ayant que son esprit pour ressource» — как «имея подмогою себе единый ум свой», выражение «la vie semble d'autant plus réelle» как «жизнь кажется глазам нашим тем действительнее», выражение «la société pèse sur nous» как «общество налегает на нас» (Constant 1884: 14–17, 22; Констан 1831: 9–11, 13, 18)¹. Все это как раз те случаи, когда в слова, отсылающие к физической реальности, вмещаются оттенки смысла отнюдь не физического, то есть метафизического, изначально этим словам не присущего.

¹ Орфографические и пунктуационные принципы воспроизведения текстов XVIII — начала XX в. в настоящем сборнике не унифицированы. Цитаты, заглавия произведений и изданий (в том числе в списках литературы) приводятся в соответствии с решением автора каждой статьи (прим. ред.).

Словам приписывается метафорическое значение по той самой формуле «А есть Б». И это происходит уже не потому, что того требуют данные фрагменты французского оригинала. Заметим, что выражения, использованные Вяземским, не привились в языке. Продуктивность здесь заключалась не в насыщении языка новыми словосочетаниями, а в совсем другом и, если угодно, более важном. Языку прививалась сама способность к сопряжению физических и метафизических смыслов, к метафоризации слов, имеющих узкофизическую референцию, а это означало серьезнейшую качественную трансформацию языка, происходившую за счет того, что на русский переводилась неперебиваемая его средствами особенность французского языка.

Картину перехода границ между принципиально разграниченными языками можно было бы продемонстрировать и на примере взаимодействия жанров в эпоху Золотого века. Напрасно мы иногда называем это взаимодействие смешением жанров. При смешении жанровые признаки, включая языковые, стираются — между тем в пушкинскую эпоху дифференциация этих признаков остается отчетливой. Гоголь надеялся, что в финале «Ревизора» произойдет катарсис не потому, что путал (или «смешивал») трагедию с комедией, а потому что сознательно пытался привить комедии некоторые свойства трагедии. Когда Пушкин в рамках одного произведения сводит разные жанры (как в «Медном всаднике») или роды (как в «Цыганах» и «Анджело») или направления (как в «Моцарте и Сальери»), столкнувшиеся в рамках одного текста языки остаются различными, узнаваемыми. Приведение различных языков во взаимодействие вообще является характерной чертой пушкинской поэтики. Другое дело, что в отличие от приемов, типичных для петровской культуры, у Пушкина это взаимодействие гармонизировано, конфронтация языков обычно не подчеркнута — но это не значит, что нарушая положенные им границы, они не перестраивают друг друга.

Впрочем,

Впрочем, и у Пушкина есть случаи достаточно эпатирующего столкновения непереводаемых, неэквивалентных друг другу языков. Чаще всего это происходит при столкновении стихов и прозы. Достаточно вспомнить хотя бы пронию прозаических примечаний к стихотворной патетике «Подражаний Корану». Непереводаемость Корана Пушкин хорошо ощущал — правда, не потому, что считал священную мусульманскую книгу в принципе не подлежащей переводу, а потому, что в ней передана прямая речь Аллаха. Поэзия энергично справляется с этим обстоятельством, а проза примечаний останавливается перед ним и выводит стихотворный текст из состояния равенства себе.

В заключение совсем коротко упомяну еще об одной эпохе, продуктивность которой была непосредственно связана с переходом границы непереводаемости. Это, как легко догадаться, многоязыкая эпоха Серебряного века. Зарождение символизма, взломавшего монолитность сложившегося к концу XIX в. языка культуры, теснейшим образом связано с восприятием идей Шопенгауэра, которые самым кратким образом можно сформулировать как абсолютную непереводаемость жизни мировой воли на язык представлений, то есть на какой бы то ни было язык культуры. И именно к взятию этого барьера были направлены все усилия символистов старшего поколения. Что же касается младших символистов, больше впечатленных Владимиром Соловьевым, который отрицал наличие указанной Шопенгауэром пропасти, то преодоление границ между языком и недоступными для него областями все равно оставалось для них самой насущной задачей. Так, Андрей Белый не случайно начал с симфоний — взаимного вторжения языков музыки и слова на территорию друг друга. Создание языка символистов, резко выделенного на общем языковом фоне, положило начало чему-то вроде цепной реакции дальнейшего дробления языкового поля, возникновению целой множественности неэквивалентных друг другу языков, вплоть до заузного.

Итак, присутствие в рамках одной культуры нескольких непередаваемых друг на друга языков, гетерогенность языкового поля культуры очевидным образом увеличивает потенциал ее продуктивности в том случае, если языковые границы, с одной стороны, признаются мощным барьером, с другой стороны, берутся приступом.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Виноградов 2000 — Виноградов В. В. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка. 2-е изд., доп. М., 2000.
- Констан 1831 — Констан Б. Адольф. СПб., 1831.
- Мильчина 2006 — Мильчина В. А. «Адольф» Бенжамена Констан в переводе П. А. Вяземского: поиски «метафизического языка» // Вестник истории, литературы, искусства. Т. 2. М., 2006. С. 128–138.
- Успенский 1994 — Успенский Б. А. Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 2. М., 1994. С. 26–49.
- Constant 1884 — Constant B. Adolphe: Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu. Paris, 1884.



ЧАСТЬ I

СЛОВЕСНОСТЬ

ОСЬМНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ



О «ВЕЛИКОСТИ» ЕКАТЕРИНЫ II

Почти с самого начала царствования Екатерины II предмет спора стал вопрос о её «великости», который актуален и сегодня. В нашей статье мы сосредоточимся на том, как «величие» этой монархини мыслилось в контексте культуры ее эпохи. Для самой Екатерины II (Екатерина Алексеевна, ранее София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская) статус «Великая» являл собой культурный императив середины XVIII в. и вместе с тем острую политическую необходимость, а также важный элемент ее *self-image*.

Большой интерес к «величию» и к «великим людям» был характерен для эпохи Просвещения, и в особенности для философов середины XVIII в., чьи идеи, по словам Франко Вентури, «стали душой России в то время» (Venturi 1971: 127). Поэтому материал, иллюстрирующий такой интерес и его место в биографии Екатерины, огромен. Логичнее всего начать с официального обозначения «Великая», которое, вопреки господствующему мнению, никогда не было частью официального титула Екатерины. Единственный русский император, который носил титул «Великий» — это Пётр I. 22 октября 1721 г., во время торжеств по случаю победы над Швецией в Великой Северной войне, Сенат и Синод даровали Петру тройное наименование «Император всея Руси», «Отец отечества» и «Великий». Этот же тройной титул (*Pater patriæ, Imperator* и *Maximus*) римляне присваивали своим величайшим императорам, в том числе Августу Цезарю. Применение этого титула четко указало на имперское римское наследие, на которое Петр в известной мере претендовал, создавая новую империю (De Madariaga 1998: 15–39)¹.

¹ Де Мадариага также обсуждает византийские элементы в петровской титулатуре; см. также: (Успенский, Живов 1994: 224–225). Б. А. Успенский анализирует православный контекст титула (Успенский 2000; Успенский, Живов 1994: 182–189). Уиттакер (Whittaker 1992: 83–84), напротив, подчеркивает мирское значение новых названий, в то время как Бушкович (Bushkovitch 2008) преуменьшает значение римского влияния на Петра.

Для Екатерины связь с Петром I и претензии на «великость» служили не только знаком почета, но и жизненно важным элементом ее правления. Ведь она взшла на трон как узурпатор, возможная цареубийца, не говоря уже о том, что она была женщиной, немка и родилась в чужой вере. Как писал Энтони Лентин,

Хорошая репутация не просто льстила ее амбициям; она была необходима для ее безопасности. Именно по этой причине Екатерина была одной из первых правительниц современности, которая активно занималась пропагандой и преднамеренным культивированием, и была первой правительницей, которая использовала прессу в континентальном масштабе в поддержку этого имиджа (Lentin 1974: 11).

Практически всё царствование Екатерины отмечено стремлением оправдать свое право на власть: на основании идеалов Просвещения, на утверждении того, что заслуги и добродетели выше всех других «преимуществ», и что заслуги эти должны быть видны всем. К тому же, самореклама служила не только функции легитимации: ее также можно рассматривать как ключ к пониманию нравственных ценностей эпохи, как заявление о праве на бессмертие (Гриффитс 2013; Левитт 2015: 230–231).

Один из факторов, который придает «поискам бессмертия» Екатерины (эта фраза принадлежит Дэвиду Гриффитсу) особое обаяние — это личная тональность, в которой она сама говорит о себе как о правительнице. Наказ Уложенной комиссии (1767), который занял центральное место в «целенаправленном культивировании ее общественного имиджа», заканчивается следующей внеочередной декларацией:

Все сие не может понравиться ласкателям, которые по вся дни всем земным обладателям говорят, что народы их для них сотворены. Однако же МЫ думаем и за славу Себе вменяем сказать, что МЫ сотворены для НАШЕГО народа, и по сей причине МЫ обязаны говорить о вещах так, как они

быть должны. Ибо, Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земле: намерение законов НАШИХ было бы не исполнено — несчастье, до которого Я дожить не желаю (Екатерина II 1849: 16).

Согласно одному современнику-очевидцу, делегаты, которые слушали чтение Наказа, были «в восхищении» и при этих словах многие зарыдали (Соловьев 1965: 74)². Екатерина не только определяет ее цели и славу в терминах Просвещения как служение общему благу установлением хороших законов, но она и выдвигает эту задачу как движущую силу своей жизни. Показательно, как она смещает акцент с торжественного королевского «МЫ / НАШ» на ревностное, эмоциональное «Я».

Впервые Екатерине предложили тройной титул «Великая, премудрая, мать отечества» в первые дни заседания Законодательной комиссии. Примечательно, что Петр получил свое тройное название только после окончания Северной войны, которая длилась 21 год; это был тридцать девятый год его царствования. В противоположность этому, предложение Екатерине было сделано уже на пятом году с момента ее воцарения. Соловьёв рассказывает, что относительно принятия предлагаемого титула ответила сама императрица:

О званиях же, кои вы желаете, чтоб я от вас приняла, — на сие отвечаю: 1) на *великая* — о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить; 2) *премудрая* — никак себя таковою назвать не могу, ибо един Бог премудр, и 3) *матери отечества* — любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимую от них есть мое желание (Там же: 74).

Биограф Екатерины Джон Александр комментирует, что этот случай подал повод к артистизму Екатерины в полном расцвете: витиеватое восхваление спонтанно выражено пылкими

² Это соотносится с томом 27, главой 2 в более ранних изданиях.

подданными в великолепном общественном месте. Ее тактичный отказ лишь добавил скромность к списку ее достоинств. Кто бы мог сомневаться в стабильности и широкой поддержке такого способного, просвещенного государя? (Alexander 1989: 13).

В 1780 г. петербургское дворянство снова предложило дать Екатерине тройной титул, но она опять отказалась (Там же: 190). Тем не менее, к этому времени эпитет «Великая» широко применялся к Екатерине, и совершенно ясно, что это было важной частью ее собственного имиджа³. Очевидно, что это были «тактичные отказы» и что Екатерина безусловно хотела и ожидала титула «Великой», но смирение было одним из традиционных, ожидаемых маркеров величия.

Важным источником «Наказа» была «Encyclopédie...», которую Екатерина через несколько дней после ее воцарения щедро предложила опубликовать в России. Восьмой том, который вышел в 1765 г., включал в себя рассуждение Шевалье Луи де Жокур о различиях между великим человеком и героем:

Определяем *героя* как сильного человека, который твердо стоит против трудностей, бесстрашный в опасности и очень смелый в бою, носителя качеств, которые в большей степени зависят от темперамента и от строения органов, нежели от благородства души. Великий человек есть нечто большее; он сочетает в себе большую часть моральных добродетелей с талантом и нет ничего в его поведении, кроме благородных и красивых мотивов; он рассматривает только общественное благо, славу

³ Как пишет Гриффитс, «хоть она была женщина, Екатерина несомненно думала о себе, как один из этих великих мужчин (great men)» (Griffiths 1988: 45). Можно привести множество мест в переписке императрицы, где она пишет о себе как о «grand homme», даже в период до ее восхождения на трон. Количество ссылок на Екатерину как на «Великую» ее современниками не менее многочисленно. Как отметил один англичанин, посетивший Россию в 1793, «говоря о императрице, очень модно говорить „это — великий человек“». Цит. по: (Dixon 2009: 6), где приведены и другие примеры.

своего государя, процветание государства и благосостояния народа. <...>

Звание *героя* зависит от успеха, в то время как звание великого человека не всегда зависит от него. Его принципом является добродетель, которая так же непоколебима в процветании, как и в несчастье; звание *героя* может принадлежать только воинам, но нет никакого занятия, которое не могло быть направлено на возвышенное название великого человека («il n'est point d'état qui ne puisse prétendre au titre sublime de grand-homme». — М.Л.). Наконец, человечность, доброта, патриотизм, вместе с талантом суть качества великого человека; храбрость, мужество, часто безрассудство, знание военного искусства и военный гений больше характеризуют *героя*, но совершенный *герой* — это тот, который добавляет ко всему этому достоинство великого лидера, любовь и искреннее желание общественного блага (Encyclopédie 2015: 2, 182, здесь и далее — перевод автора статьи).

Эта аргументация вызывает некоторые вопросы, которые непосредственно связаны с проблемой статуса Екатерины как великого человека. В частности, они относятся к Петру I и к спорам вокруг знаменитого конного памятника Фальконе, который воздвигла Екатерина.

Отношение Екатерины к наследию Петра — сложное. Петр представлял собой стандарт, с которым Екатерина постоянно соизмеряла себя (Riasanovsky 1985: 35; Rasmussen 1978; ср.: Проскурина 2006: 147–194). В XVIII в. Петр Великий являлся наиболее известным, хотя и не бесспорным, образцом Великого Человека. Вспомним, в частности, известный панегирик Петру Бернарда де Фонтенеля, прочитанный в «Académie Française» в 1725 г., или «Историю Российской империи при Петре Великом», дискуссионное сочинение Вольтера (Wilberger 1976). Историк Синтия Уиттакер утверждает, что главное новшество образа Петра как лидера заключалось в распространении по всей Европе нового представления о монархе как о «царе-реформаторе», что соответствовало предписаниям

писаниям мыслителей Г. Гроция и С. Пуфендорфа. Этот вид правления «был основан на популярном согласии народа, а не на божественном праве, и на принципиальной, сокровенной обязанности радения за общее благо» (Whittaker 1996: 79–80). Хвала Петру «обозначала, что русская монархия была оправдана своей осознанной способностью совершать реформы; такой была суть переопределения самодержавного долга в XVIII веке» (Там же: 90). Однако, как Уиттакер утверждает далее, Екатерина «стремилась подкрепить его (своё право на власть. — *М.Л.*), проецируя образ царя-реформатора, но в рамках (ценностей — *М.Л.*) своего собственного поколения» (Там же: 92), и это важная оговорка. С одной стороны, Екатерина претендовала на мантию Петра, а с другой — её представление о царе-реформаторе повлекло за собой более или менее явную девальвацию образа Петра⁴.

В значительной степени эта переоценка Петра соответствует различию героя и великого человека по определению Жокура, поскольку Петр мог быть обвинен в слишком большом интересе к военным акциям и в том, что он использовал излишне жестокие и принудительные методы. Большинство русских историков середины века также переоценили царствование Петра; для них Екатерина оказалась образцом «недеспотического царя» по сравнению с отрицательным примером Петра (Там же: 156, 161–166). Эта схема, которая была во многом обязана воззрениям самой Екатерины, восходила к известному утверждению Монтескье, который заявил в «Духе законов», что

Лёгкость и быстрота, с которыми этот народ приобрелся к цивилизации, неопровержимо доказали, что его государь <Петр I — *М.Л.*> был о нем слишком дурного мнения и что его народы

⁴ В определенной мере этот процесс может напомнить манипуляции Сталина культом Ленина как способ его собственного прославления. В книге «Культе Сталина» Ян Плампер приводит параллель между отказом Екатерины принимать название «Великая» и мнимой «скромностью» Сталина (Plamper 2012: 120 и сл.).

вовсе не были скотами, как он отзывался о них. Насильственные средства, которые он употреблял, были бесполезны: он мог бы достигнуть своей цели и кротостью (Монтескье 1999: 265).

Это, вспомним, было одним из основных положений «Наказа...», который начался с утверждения, что «Россия является европейским государством». Русские «антидеспотические» историки прославляли Екатерину как «образец мудрого и великого государя», так как в её «золотой век» насилие, использованное Петром, уже не применялось (Whittaker 1996: 165; Болтин 1788).

В этом духе можно интерпретировать и известную надпись на памятнике Фальконе: «PETRO primo CATHARINA secunda — ПЕТРУ первому ЕКАТЕРИНА вторая». Надпись не только утверждает прямую преемственность между ними, но и, пожалуй, намекает на то, что Екатерина превзошла достижения Петра. Как кокетливо заметил Вольтер,

Мадам, позвольте мне поцеловать статую Петра Великого и подол платья Екатерины более Великой (Lentin 1974: 166; Rasmussen 1978: 51).

Теория «величия» не только требовала признания великого человека, но и предполагало, что «великий человек» должен оказать честь другим. Чествование памяти великих стало главным занятием как Академии Франции, так и французской короны, так что это учение сыграло важную роль в художественной продукции и покровительстве по всей Европе (Bell 2001: 109). Девиз Académie Française был (и есть) «à l'immortalité» и ее членов называли (и называют) «les immortels». Каждый новоизбранный «бессмертный» должен был увековечить память того, которого он заменил. В 1758 г., под влиянием философов, Академия изменила тему для своих соревнований по красноречию; где раньше были религиозные темы, теперь читали хвалебные речи великих и прославлен-

ных французов (*hommes illustres*) (Bell 2001: 11)⁵. Эта практика постоянно рекламировала «культ великого человека». Она также ясно иллюстрирует механизм самовосхваления — определение себя как великого путем присвоения этого звания другим.

Это «обратное» отражение величия интересно разыгрывалось в случае с памятником Фальконе, проектом, который был начат уже в 1767 г., когда Екатерине впервые предложили звание «Великой». В прославлении Петра Екатериной можно усмотреть отражение ее собственного, даже большего, величия (Державин 1866: 327). Возвеличение Петра также содействовало славе Фальконе, который считал комиссию от Екатерины поводом к проявлению своего собственного величия⁶.

Интересно в этой связи противопоставить мнения Фальконе и Екатерины о величии. Как известно, во время работы над памятником Петру, Фальконе принял участие в серии бурных споров о скульптуре и об этом памятнике, в которых участвовал его бывший друг Дени Дидро (Dieckmann, Seznes 1952; 1959; Venot 1958; Weinshenker 1966; Krauss 1983). Речь шла о ключевых проблемах, связанных с понятием величия, в частности, о роли его древних (классических) моделей и идеалов. Для Екатерины, как мы уже видели, вопрос о величии был связан как с подражанием великому Петру, так и с еще более высоким уровнем «просвещенного» величия. Фальконе отстаивал право на отклонение от классических образцов, например, от знаменитой конной статуи Марка Аврелия в Риме как от самого важного памятника, «который выжил непогрешенным с древних времен» (Schenker 2003: 188)⁷.

⁵ Ср.: (Robertson 1910: 51–52). О разнице между «прославленными» и «великими» см.: (d’Alembert 1799: 113).

⁶ Фальконе писал в письме Дидро: «Мрамор, на котором я работаю, несомненно, сам я», цит по: (Grosskurth 2000: 41).

⁷ Кстати, конная статуя Марка Аврелия служила моделью для памятника Петру I, который Елизавета заказала у Растрелли. Однако она не

Фальконе резко отверг то, что он считал вынужденными, неестественными и ложными стандартами (то есть стандартами неоклассицизма) в пользу подражания «природе в качестве основного источника и образца для художника» (Dieckmann, Seznes 1952: 204). Он обращался к авторитету собственной гениальности и понимания искусства.

Таким образом, Фальконе ставил вопрос об авторитете, на который должно опираться при решении таких эстетических вопросов. Екатерина полагалась на авторитет философов и «сознательно формировала свою политику так, чтобы она соответствовала нормам, установленным Вольтером и его единомышленниками» (Griffiths 1988: 448). Фальконе был не вполне последователен в своей ориентации, но оспаривал и мудрость классических авторитетов (в том числе Плиния Старшего и Павсания), и современных *hommes de lettres*, таких как Дидро, которому (по его мнению) были присущи крайне ошибочные представления об искусстве. Фальконе вопрошал: была ли на самом деле забота о потомстве, которая вдохновляла людей предпринять благородные дела и создавать великие произведения искусства? Дидро утверждал, что уверенность, что человек и его творение будут жить в памяти будущих поколений (единственная форма бессмертия, которую философ может признавать), была мощным стимулом в нравственной и интеллектуальной жизни и источником вдохновения для художника. Фальконе это отрицал и утверждал, что даже если бы он знал, что в ближайшее время комета столкнётся с Землей и уничтожит ее, то он бы не только продолжил свою работу

успела поставить этот памятник, и (как предполагает Бишофф) Екатерина «отвела его в сарай не потому, что он был недостаточно хорош, а потому, что он был заказан ее предшественником <...> Если имя какого-то правителя было бы связано с Петром, это было бы имя Екатерины, а не Елизаветы» (Bischoff 1965: 369). Павел I, наконец, возводил этот памятник в 1800 г., чтобы «символически отменить и екатерининский памятник Петру, и все ее царствование в целом» (Проскурина 2006: 133). О сравнении памятников Растрелли и Фальконе см.: (Evdokimova 2006).

работу над статуей, но занялся ею с той же серьезностью и стремлением к совершенству. Один только гений, по его мнению, является побуждением к великим делам (Dieckmann, Seznec 1952: 201; ср.: Schenker 2003: 52–57).

Хотя императрица не занимала ничью сторону в споре и открыто покровительствовала Фальконе, ее симпатии были, несомненно, на стороне Дидро: она также считала, что стремление к бессмертию является фундаментальной человеческой мотивацией (Гриффитс 2013; Schenker 2003: 57). Эта идея бессмертия была важным наследием древних (ведущим начало от Горация, Цицерона, Тацита, Плутарха и т.д.) и получила отражение в концепции человеческих ценностей эпохи Просвещения. По словам Гриффитса,

Среди всех русских государей XVIII в., Екатерина одна стремилась достичь бессмертия путем регулирования ее действий, чтобы они согласовались с ценностями, распространяемыми прогрессивным европейским общественным мнением (Griffiths 1988: 458–459).

Она разделяла мнение Вольтера, которое описала Де Мадариага:

История была создана людьми и особенно великими людьми. <...> Стандарты самых просвещенных людей его времени были единственными допустимыми, и они повсеместно имели силу, во всех временах и во всех местах (De Madariaga 1998: 217; ср.: Lentin 1974: 6).

Тем не менее, философы разделили некоторые из опасений Фальконе, касающиеся принятия «литераторов» в качестве арбитров величия. С одной стороны, по Мармонтелю,

Литераторы определяют мнение одного века о другом; именно через них оно устанавливается и передается; из-за того, что они могут быть арбитрами славы, они, следовательно, являются самыми полезными или самыми вредными людьми. <...> Слава наций находится в руках литераторов. Но мы должны признавать,

что они слишком часто забывают достоинства своего положения и их протитуированные похвалы (*éloges*) наносят огромный вред миру (*Encyclopédie* 2015: 7, 717)

С другой стороны, само стремление к величию может вырождаться в «ложную славу» (*la fausse gloire*) или тщеславие, которое не стремится к добродетели и общему благу, но омрачено мелочностью, тщетой и другими низкими страстями. По словам Вольтера,

Тщеславие — это малая амбиция, которая удовлетворяется внешними видами, которая занята помпой и никогда не поднимается до уровня великих дел (Там же: 7, 716).

Мармонтель в «*Encyclopédie...*» пишет:

Отвергать в человеке предчувствие потомства и желание выжить — эта философия так же опасна, как и напрасна. Тот, кто ограничит себя поиском славы, в короткий промежуток своей жизни является рабом мнения и похвалы; смущенный, если его век обращается с ним несправедливо, обескураженный, если люди неблагодарны, он полон страстного желания наслаждаться — он хочет собрать то, что он сеет, и предпочитает сиюминутную и преходящую славу славе запоздалой и прочной: он не предпримет ничего великого (Там же: 7, 720).

Это и подсказывает причины сдержанности Екатерины, когда ей предложили титул «Великая». Искать признания своего величия при жизни не только самонадеянно, но и опасно — такое возвеличивание монархии «может привести к повреждению её посмертной репутации», поскольку оно «предрешает приговор потомства» (Dixon 2001: 6). Неслучайно, что на предложение Вольтера поставить ей памятник «непосредственно перед Петром» (*Documents* 1971: 145; цит. по: Проскурина 2006: 126), она ответила:

Кто может поручиться за свои достоинства (*répondre de leurs bontés*)? Это потомство, а не мы, по правде говоря, будет

иметь

иметь перспективу (*qui serons à portée*), чтобы решить этот вопрос (Voltaire 1968: пб, 146; цит. по: Griffiths 1988: 451)².

Преждевременное утверждение собственного величия было осознано ею как явная опасность.

Таким образом, Екатерина находилась в плену двух конкурирующих культурных императивов. С одной стороны, ей нужно было заявить о своей добродетели, чтобы утвердить монаршую власть. С другой стороны, ей угрожало обвинение в «ложной славе», в желании наслаждаться хорошей репутацией при жизни. Эти два императива и определили судьбу наследия «величия» Екатерины на протяжении последующих столетий.

Завершить размышления о «великости» Екатерины хотелось бы строками из «Фелицы» Г. Р. Державина, где поэт тонко уловил самую суть вопроса и нашел оптимальный выход из этой дилеммы. Он ссылается на то, что императрица отвергала титулы «Мудрой» и «Великой», и именно это является для автора доказательством, что она вполне их заслуживает:

Стыдишься слыть ты тем великой,
Чтоб страшной, нелюбимой быть <...>

и

Слух идет о твоих поступках,
Что ты нимало не горда;

² Екатерине бывало неудобно, когда к ней обращались, как к боже-
ству. В переписке с Вольтером это частый предмет для шуток. В 1766 г.,
например, Вольтер писал: «Есть три из нас, Дидро, Даламбер и я, кото-
рые возводят алтари для вас», а в 1773 г.: «Мы — миряне миссионеры,
которые проповедуют культ Святой Екатерины <...>» (Lentin 1974: 13).
Корреспонденты также шутили над ролью Екатерины в качестве главы
Русской Церкви. Уиттакер и другие историки подчеркивают процесс
секуляризации царской власти в XVIII в., но это было также время, когда
сакрализация монарха была сильно распространена, и императрица нахо-
дилась в центре «королевского культа» (Успенский, Живов 1994: 56–58).
См. также о католицизме как об источнике культа великого человека во
Франции (Bell 2001: 119).

Любезна и в делах и в шутках,
 Приятна в дружбе и тверда;
 Что ты в напастях равнодушна,
 А в славе так великодушна,
 Что отреклась и мудрой слыть
 (Державин 1957: 103, 101).

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Болтин 1788 — Болтин И. Примечания на историю древняя и нынешняя России. Т. 2. СПб., 1788.
- Гриффите 2013 — Гриффите Д. Жить вечно: Екатерина II, Вольтер и поиски бессмертия // Гриффите Д. Екатерина II и ее мир. Статьи разных лет // пер. с англ. Е. Леменовой, А. Митрофанова. М., 2013. С. 38–59.
- Державин 1866 — Державин Г. Р. Сочинения // с объяснит. примеч. Я. Грота: в 9 т. Т. 3. СПб., 1866.
- Державин 1957 — Державин Г. Р. Стихотворения // вступ. ст., подготовка и общ. ред. Д. Д. Благого; примеч. А. В. Западова. Л., 1957. (Б-ка поэта. Большая серия)
- Екатерина II 1849 — Екатерина II, императрица. Сочинения: в 2 т. Т. 1. СПб., 1849.
- Левитт 2015 — Левитт М. Визуальная доминанта в России XVIII века. М., 2015.
- Монтескье 1999 — Монтескье Ш. Л. О духе законов. М., 1999.
- Проскурина 2006 — Проскурина В. Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006.
- Соловьев 1965 — Соловьев С. М. История России с древнейших времен: в 15 кн. Кн. 14. М., 1965.
- Успенский 2000 — Успенский Б. А. Царь и император: помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000.
- Успенский, Живов 1994 — Успенский Б. А., Живов В. М. Царь и Бог. Семантические аспекты сакрализации монарха в России // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. М., 1994.

- Alexander 1989 — Alexander J. T. Catherine the Great: Life and Legend. New York, 1989.
- Bell 2001 — Bell D. A. The Cult of the Nation in France: Inventing Nationalism, 1620–1800. Cambridge, 2001.
- Benot 1958 — Diderot et Falconet: Le pour et le Contre; Correspondance polemique sur le Respect de la Posterite, Pline et les anciens Auteurs qui ont parle de Peinture et de Sculpture / avec introduction et notes par Y. Benot. Paris, 1958.
- Bischoff 1965 — Bischoff I. Etienne Maurice Falconet-Sculptor of the Statue of Peter the Great // Russian Review. 1965. Vol. 24. № 4. Oct. P. 369–386.
- Bushkovitch 2008 — Bushkovitch P. The Roman Empire in the Era of Peter the Great // Rude and Barbarous Kingdom Revisited: Essays in Russian History and Culture in Honor of Robert O. Crummey / ed. by C. S. L. Dunning, R. E. Martin, D. Rowland. Bloomington, 2008. P. 155–172.
- d’Alembert 1799 — d’Alembert J. R. Select Eulogies of the Members of the French Academy: With Notes. Vol. 1 / trans. by J. Aikin. London, 1799.
- De Madariaga 1998 — De Madariaga I. Politics and Culture in Eighteenth-Century Russia: Collected Essays. London; New York, 1998.
- Dieckmann, Sez nec 1952 — Dieckmann H., Sez nec J. The Horse of Marcus Aurelius: A Controversy between Diderot and Falconet // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1952. Vol. 15. № 3/4. P. 198–228.
- Dieckmann, Sez nec 1959 — Diderot et Falconet. Correspondance: les six premieres lettres / ed. by H. Dieckmann, J. Sez nec. Frankfurt am Main, 1959.
- Dixon 2001 — Dixon S. Catherine the Great. Harlow, 2001.
- Dixon 2009 — Dixon S. Catherine the Great. New York, 2009.
- Documents 1971 — Documents of Catherine the Great: The Correspondence with Voltaire and the Instruction of 1767 in the English Text of 1768. New York, 1971.
- Encyclopédie 2015 — Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 17 vols. Paris, 1751–1765. [Электронный

- документ] / ed. by R. Morrissey / University of Chicago: ARTFL Encyclopédie Project. URL: <http://encyclopedie.uchicago.edu/> (дата обращения 02/27/2015).
- Evdokimova 2006 — Evdokimova S. *Sculptured History: Images of Imperial Power in the Literature and Culture of St. Petersburg (From Falconet to Shemiakin)* / Russian Review. 2006. Vol. 65. № 2. Apr. P. 208–229.
- Griffiths 1988 — Griffiths D. M. *To Live Forever: Catherine II, Voltaire, and the Pursuit of Immortality* / Russia and the World of the Eighteenth Century / ed. by R. P. Bartlett, A. G. Cross, K. Rasmussen. Columbus, 1988. P. 446–468.
- Grosskurth 2000 — Grosskurth B. *Shifting Monuments: Falconet's Peter the Great between Diderot and Eisenstein* / Oxford Art Journal. 2000. Vol. 23. № 2. P. 31–48.
- Krauss 1983 — Krauss D. *The Voices of the Hydra: Diderot Versus Falconet* / The Eighteenth Century. 1983. Vol. 24. № 3. Fall. P. 211–226.
- Lentin 1974 — *Voltaire and Catherine the Great; Selected Correspondence* / trans. by, notes, with a comment. by and with an intro. by A. Lentin. Cambridge, 1974.
- Plamper 2012 — Plamper J. *The Stalin Cult: A Study in the Alchemy of Power*. Stanford, 2012.
- Rasmussen 1978 — Rasmussen K. *Catherine II and the Image of Peter I* / Slavic Review. 1978. Vol. 37. № 1. P. 51–69.
- Riasanovsky 1985 — Riasanovsky N. V. *The Image of Peter the Great in Russian History and Thought*. New York, 1985.
- Robertson 1910 — Robertson D. M. *A History of the French Academy, 1635–1910, With an Outline Sketch of the Institute of France, Showing Its Relation to Its Constituent Academies*. New York, 1910.
- Schenker 2003 — Schenker A. M. *The Bronze Horseman: Falconet's Monument to Peter the Great*. New Haven, 2003.
- Venturi 1971 — Venturi F. *Utopia and Reform in the Enlightenment*. Cambridge, 1971.
- Voltaire 1968 — Voltaire. *The Complete Works*. Vol. 116 / ed. by Th. Besterman. Geneva, 1968.

- Weinshenker 1966 — Weinshenker A. B. *Falconet: His Writings and His Friend Diderot*. Geneva, 1966.
- Whittaker 1992 — Whittaker C. H. *The Reforming Tsar: The Redefinition of Autocratic Duty in Eighteenth-Century Russia* *Slavic Review*. 1992. Vol. 51. № 1. Spring. P. 77–98.
- Whittaker 1996 — Whittaker C. H. *The Idea of Autocracy among Eighteenth-Century Russian Historians* *Russian Review*. 1996. Vol. 55. № 2. Apr. P. 149–171.
- Wilberger 1976 — Wilberger C. H. *Voltaire's Russia: Window on the East*. *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*. Vol. 164. Oxford, 1976.



ПРИМЕР ИЗ РИТОРИКИ ЛОМОНОСОВА В СТИХАХ ДЕРЖАВИНА

К числу неизученных вопросов, связанных с «Кратким руководством к красноречию» (1747) М. В. Ломоносова, принадлежит ее значение для литературного образования второй половины XVIII в. Наши суждения об этом, основанные на смутном знании ее участия в учебном процессе и на немногочисленных отзывах узкого круга ученых литераторов, носят спекулятивный характер. Мы не знаем, как читали и что усваивали из риторики Ломоносова поэты и писатели. Мы даже не знаем, что для них было важнее, теоретическая ли ее часть или включенные в нее примеры, среди которых были авторские переводы поэтических фрагментов из Гомера, Вергилия и Овидия. Следы одного из таких фрагментов в творчестве Г. Р. Державина — свидетельство живого восприятия поэтом труда предшественника. И хотя они оставлены в знаменитых его одах, они не были до сих пор отмечены в научной литературе.

Речь идет о фрагменте из «Метаморфоз» Овидия (I, 264–269), завершающем рассказ о начале всемирного потопа¹, предложенном Ломоносовым в качестве примера в главе «О вымыслах»:

Уже Юг влажными крылами вылетает,
Вода с седых волос и дождь с брады стекает,

¹ «...Madidis Notus evolat alis, ∫ terribilem picea tectus caligine vultum; ∫ barba gravis nimbis, canis fluit unda capillis; ∫ fronte sedent nebulae, rorant pennaeque sinusque. ∫ Utque manu late pendentia nubila pressit, ∫ fit fragor: hinc densi funduntur ab aethere nimbi...» («...И Нот на влажных выносятся крыльях, — ∫ Лик устрашающий скрыт под смольно-черным туманом, ∫ Влагой брада тяжела, по сединам потоки струятся, ∫ И облака на челе; и крылья и грудь его в каплях. ∫ Только лишь сжал он рукой пространно нависшие тучи, ∫ Треск раздался, и дожди, дотоль запертые, излились...»; пер. С. В. Шервинского).

Туманы на лице, в росе перната грудь.
Он облаки рукой едва успел давнуть,
Внезапно дождь густой повсюду зашумел (Ломоносов 1952: 236).

Это место Державин использовал в первой строфе оды «Осень во время осады Очакова» (1788):

Спустил седой Эол Борея
С цепей чугунных из пещер;
Ужасные криле расширя,
Махнул по свету богатырь;
Погнал стадами воздух синий,
Сгустил туманы в облака,
Давнул — и облака расселись,
Пустился дождь и восшумел (Державин 1957: 121).

Сохранение Державиным в двух последних стихах строфы глаголов *давнуть* и с измененной приставкой (*за-/вос-*) *шуметь* при описании начала дождя не оставляют сомнений в ломоносовском, а значит, и Овидиевом происхождении строфы. Встает вопрос: кому подражал Державин в этой строфе, Ломоносову или Овидию? Первые шесть стихов прямого воздействия перевода Ломоносова не испытали, тогда как следы Овидия в них различимы. Первые два стиха восходят к месту «Метаморфоз», непосредственно предшествующему фрагменту, переведенному Ломоносовым («Protinus Aeoliis Aquilonem claudit in antris / et quaecumque fugant inductas flamina nubes / emittitque Notum...»; ст. 262–264)². Распространяя контекст перевода Ломоносова, Державин мог опираться на неизвестное, возможно, немецкое, подражание этим стихам Овидия или на немецкий перевод «Метаморфоз». Мог он и использовать неизвестный нам русский перевод-подстрочник. Овидиевский текст прорывается в стихах Державина фрагментарно, он им вольно преобразуется. Заменяя бога южного

² «Он Аквилона тотчас заключил в пещерах Эола / И дуновения все, что скопления туч отгоняют. / Выпустил Нота...» (пер. С. В. Шервинского).

ветра Нота (у Ломоносова — Юг) на бога северного ветра Борея, Державин приспособливает к русской метеорологии мифологию древних, у которых бог южного ветра Нот был суровым богом ветра, насылающим дожди и холод. Юпитер, прямо в этом фрагменте не названный, заменяется Державиным на Эола, непосредственного начальника ветров. Но сохраняются пещеры Эола. Содержание в них сурового бога ветра на цепях и спускание его с них, как собаки — вольное домысливание Державина. Державин передает Эолу седину («*canis capillis*») Овидиева Нота, а крылья Борея наделяет пропущенной Ломоносовым характеристикой Нота («*terribilem vultum*») — «ужасные». Овидиево описание Нота и нагнетания им дождя преобразовано Державиным в картину небесных хозяйственных работ в предварении ливня. Из перевода Ломоносова Державин сохранил с изменениями лишь два последних стиха (7 и 8), их правка требует комментария.

Давнуть (глагол совершенного вида однократного действия от глагола *давить*) принадлежит к числу глаголов, в письменной речи XVIII в., можно сказать, не употреблявшихся. Сам Ломоносов его не использовал более ни разу ни в одном из своих литературных, научных или эпистолярных трудов³. Картотека Отдела Словаря русского языка XVIII в. ИЛИ РАН фиксирует, как и сам словарь (Сл. РЯ XVIII в. 6, 24), лишь два употребления глагола: указанное державинское и сумароковское в притче «Рябятя и рак» («Давнул у одного, прогневався, он пальчик...»; Сумароков 1781: 206), — можно быть уверенными, что оба они отражают влияние ломоносовского перевода фрагмента Овидия. Отсутствие глагола в «Словаре Академии Российской», а также в словарях церковнославянского языка, отсутствие специальной отметки в словаре В. И. Даля о регионе употребления глагола, сведение в «Словаре русских народных говоров» о фиксации глагола

В

³ Выражаю благодарность за эти сведения сотруднику ИЛИ РАН К. Н. Лемешеву.

в Курганской области только в 1930 г. с несвойственным ему значением ‘ударить’ (СРНГ 7, 300) — затрудняют решение вопроса о его стилистической характеристике. Между тем в «Российской грамматике» Ломоносов использует *давнуть* в числе постоянных примеров глаголов однократного действия (Ломоносов 1952: 513, 515).

Давнуть переходный глагол, требующий прямого дополнения. У Ломоносова, как и у Овидия, Юг (Нот) надавил на облака («*manu... nubila pressit*»). Так здесь и у Державина, правда, с пропуском указания на инструмент действия *рукой*. Его Борей надавил на облака, после чего они «расселись», то есть дали трещину, разверзлись⁴. Ранее это место Овидия-Ломоносова он представил иначе. В начале оды «На рождение в Севере порфирородного отрока» (1779), которое также восходит к фрагменту Овидия в переводе Ломоносова, Овидиева формула «*manu nubila pressit*» и ломоносовская «облака давнуть рукой» превращается в стискивание облаков рукой, в сдавливание их:

С белыми Борей власами
И седую бородой,
Потрясая небесами,
Облака сжимал рукой... (Державин 1957: 87)

К этим хрестоматийным строкам восходят державинские Борей, родоначальником которых, как ясно из приступа оды «Осень во время осады Очакова», был Овидиевый Нот. В контексте оды «На рождение в Севере порфирородного отрока», отличающейся особым смешением русского и античного колорита, замена Нота на Борей нечувствительна. Впрочем, и в оде «Осень во время осады Очакова» она выглядит смелой лишь при узнавании в ее первых строках Овидия. Обе оды,

⁴ «Словарь Академии Российской» первым значение слова *расседаюся* дает ‘разверзаюся, растрескиваюся, расщеливаюся’ и приводит следующие иллюстрации: «*Расседется камень и потечет вода*. Исаян. XLVIII, 21. *От засухи земля расседаяся*» (САР 5, 1040).

при всей их разности, основаны на изображении русской природы через призму антиклизированного (горацианского) пейзажа. Схожее начало обеих од определило их близкую тональность.

Влияние перевода Ломоносова из Овидия простирается и на стиховую форму первой строфы оды «Осень во время осады Очакова». Только первые ее четыре стиха связывают перекрестные рифмы, хотя и весьма вольные, даже для Державина. Последние четыре стиха не зарифмованы. По своему рисунку первая строфа выделяется из всех последующих строф оды, рифмованных (2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15) и нерифмованных (4, 7, 10, 13), музыкально между собой чередующихся. Вплетение Державиным в строфу двух последних стихов перевода Ломоносова, выполненного белым стихом, определило, по-видимому, свободу от рифмы второй половины строфы. Отсутствие рифмы подготавливает неожиданность звучания последнего стиха, финального и в ломоносовском переводе. Хотя Державин и заменяет шестистопный ямб на одический четырехстопный, он явно стремится сохранить ломоносовскую интонацию последнего стиха, в которой различимы удивление и испуг. Но он упрощает звучание, делая его явным и лишая внутреннего драматизма.

Насколько бережен Державин в сохранении звучания стиха, настолько вандалически небрежен в отношении его стиля. Ясная, антиклизированная простота последнего стиха Ломоносова (он мог бы без изменения войти в сообщение о наводнении неискушенного очевидца XIX–XX вв.), Державину глубоко чужда, а может быть и неприятна. И он, вынужденный сокращать число слов стиха из-за его усечения, отказывается от ломоносовских обстоятельств и образа действия (*внезапно*), и места (*повсюду*) и от определения *густой*, оставляя лишь подлежащее (*дождь*) и сказуемое (*за-/вос-шумел*), но добавляет при этом стилистически мутное, грамматически неверное сказуемое *пустился*. Сохранить после этого нейтральное сказуемое *зашумел* уже не возможно, получится тавтология,

тавтология, и оно легко заменяется Державиним эффектным *восшумел*. В одном стихе соединяются низкое просторечие с высоким славянизмом. Если Ломоносов строго экономен в словах, Державин расточителен. Риторика учила стилю. Державин принципиально глух к ломоносовскому антикизирующему стилю, в заимствованных двух стихах он, где только мог, его испортил. Но, как показывает последний стих, он учился у Ломоносова слуху. Не к последнему ли стиху перевода Ломоносова восходят державинские шумы при описании явлений природы?

Включение в свое произведение такого большого фрагмента (в два стиха) чужого текста, пусть с изменениями, для зрелого Державина уникально. По-видимому, оно связано с представлением о подражании Овидию или Горацию как о деле почтенном, и сам Державин полагал, что заимствует не у Ломоносова, а у Овидия. В своих великолепных одах конца 1770–1780-х гг. он менее всего стремился к подражанию Ломоносову. Однако включение в оду стихов из перевода Ломоносова свидетельствует о любви к ним Державина. Можно предполагать, что он познакомился с переводом по «Краткому руководству к красноречию», которое, вероятно, изучал тогда же, когда и «Способ к сложению российских стихов» В. К. Тредиаковского, то есть уже в Петербурге в 1762–1763 гг., и с тех пор знал его наизусть. Этим можно объяснить, что перевод отозвался и в первой из новых од Державина «На рождение в Севере порфиородного отрока» и в его зрелой оде «Осень во время осады Очакова». Отзвук его находим и у позднего Державина.

В rose перната грудь — так передает Ломоносов в третьем стихе своего перевода Овидиево *rorant pennæque sinusque...*⁵ Воображению рисуется оперенная грудь, подобная

⁵ Выражаю глубокую признательность своим коллегам по Отделу русской литературы XVIII в. ИРЛИ РАН А. О. Дёмину, А. А. Костину и С. И. Николаеву за помощь в толковании этого места Ломоносова.

килю птицы. Но ведь боги ветров имели мужской облик с крыльями за спиной. Несоответствие перевода привычному образу вызывает недоумение. Между тем это полустиише центральное в переведенном Ломоносовым фрагменте, именно оно должно было иллюстрировать в 156 параграфе «Краткого руководства к красноречию» «второе правило» изображения вымышленных созданий,

Когда части, свойства или действия вещам придаются от иных, которые суть другого рода. Таким образом прилагается бессловесным животным слово, людям — излишние части от других животных, как сатирам — рога и хвост, медузе — ужи и змеи на голову, Персею и Пегазу — крылья... (Ломоносов 1952: 236).

В разбираемом полустииши как раз и соединены мужская грудь и крылья. Возможно, потому, что в правиле уже объяснен принцип соединения, и даже как один из примеров «излишней части от животных» названы крылья, Ломоносов избегает прямого повтора слов в образце, не сомневаясь, что читатель поймет его правильно. При переводе он использовал одно из редких значений церковнославянского слова *пернатый* — ‘крылатый’⁶ и слово *грудь* в редком для него значении ‘верхняя часть туловища’⁷. «Словарь русского языка XVIII века», как и картотека Отдела Словаря русского языка

⁶ Фёдор Поликарпов переводит *пернатый* как *pennatus, pinnatus* (Поликарпов 1704), аналогично дается и в Лексиконе Целлария: *pennatus* — *перистый, пернатый, geflügelt* (Целларий 1746: 239).

⁷ Такое значение дает «Словарь русского языка XVIII века» (Сл. РЯ XVIII в. 5, 250) как основное, не приведя при этом ни одного примера, где бы слово *грудь* использовалось несомненно в таком значении, а не как «передняя, по большей части возвышенная часть человеческого или животного тела, начинающаяся от шеи и продолжающаяся до преградной перепонки», как толкует в первом значении слово «Словарь Академии Российской» (САР 2, 375). И только во втором значении, по свидетельству «Словаря Академии Российской», слово *грудь* ‘иногда берется за самую внутреннюю полость, окруженную спереди наружною грудью, с боков ребрами, сзади спинными позвонками, и содержащиеся в ней внутренности, сердце и легкие’. Это толкование иное, чем ‘верхняя часть туловища’ (САР). Для понимания слова *грудь* в стихах Ломоносова имеет

XVIII в. фиксирует единичные употребления слова *пернатый* до середины 1760-х гг., и притом только в значение «имеющий оперенье» (Сл. РЯ XVIII в. 19, 168). «Словарь русского языка XI–XVII вв.» приводит пример его употребления в том же значении, что и у Ломоносова, из «Великих Миней-Четых» (сер. XVI в.) митрополита Макария:

Что нам шесть крыл показывают? Высокое... и легкое и скоростное естество онех [серафимов]. Сего ради и Гавриил пернат сходит... (Сл. РЯ XI–XVII вв. 14, 308).

Как бы мы не справлялись в словарях, доказывая, что Ломоносов перевел это место точно, при переводе поэзии важнее не академическая правота, а возникающий из ассоциаций словесный образ. Он великолепен, если воспринять его непосредственно, и разрушается после изучения строения человеческого тела. Без словарей и начетничества в старой духовной литературе это полустышие понятно лишь в контексте 156 параграфа «Риторики», вырванное из него, оно становится абсурдным.

Так показалось уже А. П. Сумарокову, обыгравшему его в последнем стихе «Дифирамба Пегасу» (1766), написанного по поводу оды В. П. Петрова «На великолепный карусель...» (1766): «Да здравствует пернатый тигр!» (Сумароков 1957: 294). Стрела попала в перевод из «Метаморфоз» недавно скончавшегося Ломоносова. Видимо, использование Петровым в 131 стихе оды еще не вошедшего в поэтический язык слова *пернатый*: «Подобный здесь царю пернатых / Полет в героях вижу двух...» (Петров 1972: 329) — напомнило Сумарокову стих Ломоносова. Возможно, благодаря «Дифирамву Пегасу» примерно с этого времени слово начинает входить в язык поэзии. В 1780-е гг. «пернатый шлем» и «пернатая стрела» уже устойчивые фразеологизмы, в начале 1790-х гг.

значение, что латинское *sinus* в Лексиконах и Поликарпова, и Целлария переводилось как *пазуха*, т. е. грудь.

прилагательное *пернатый* начинает употребляться самостоятельно, постепенно становясь стилиобразующим. В одном из стихотворений Г.Р. Державина из «Описания Потёмкинского праздника» «Не так ли лира восхищена...» (1791) изображается орёл, который сидит, «Хребтом пернатым тихо зыблется...» (Державин 186 $\frac{1}{4}$: 401). В начале XIX в. слово излюблено С.С. Бобровым, додумавшегося до «громопернатого вестника» (Бобров 1971: 108). Державин, конечно, отстаёт от Боброва, но и он все чаще употребляет эпитет *пернатый*, иногда в причудливом контексте. Так, осётр, «Пернатой лыстью вокруг струясь, / Сквозь водну дверь глядит, гуляет...» (Державин 1957: 293). *Лысть*, рыба чешуйчатая кожа, перната оттого, что имеет плавники, которые в старину назывались перьями (Сл. РЯ XI–XVII вв. 1 $\frac{1}{4}$, 309). Это из «Фонаря», датируемого концом 1803 — началом 180 $\frac{1}{4}$ г. В 180 $\frac{1}{4}$ г. Державин напишет «Лебедя».

В центральном его месте описывается превращение поэта после его смерти в лебедя:

И се уж кожа, зрю, перната
 Вкруг стан обтягивает мой;
 Пух на груди, спина крылата,
 Лебязьей лоснюсь белизной... (Державин 1957: 30 $\frac{1}{4}$)

Займствуя, как известно, идею и сюжет оды у Горация (II, 20), Державин наряду с прочим существенно изменяет описание превращения. У Горация оно начинается с ног, затем перья покрывают руки и плечи, о груди специально не говорится:

Iam iam residunt cruribus asperæ
 pelles et album mutor in alitem
 superne nascunturque leves
 per digitos umerosque plumæ...²

² «Уже я чую, как утончаются / Под грубой кожей голени, по пояс / Я белой птицей стал, и перья / Руки и плечи мои одели» (пер. Г.Ф. Церетели).

Горацием превращение изображено графически беспокойно, Державиным — живописно, с поражающим своей неуместностью жизнелюбием. Как описанное Горацием превращение перекликается с многочисленными описаниями превращений человека в птицу из «Метаморфоз» Овидия, так и Державин возвращается к Овидию, к переводу Ломоносова, к столь странной пернатой груди бога ветра. Память о чудном полустииши помогает созданию зрительного образа. О ней свидетельствует упоминание груди, сразу после стана в пернатой коже. При этом Державин очищает эпитет *пернатый* от уже ставшей к 1804 г. устойчивой экзотичности, возвращая ему простой смысл, обычный смысл возвращается и ломоносовскому в этом месте слову *грудь*. А вместе с тем и образ, созданный некогда Ломоносовым, проясненный и освобожденный от искусственности, пролепляется державинским шедевром.

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

- Бобров 1971 — Бобров С. С. Предчувственный отзыв века *П* Поэты 1790–1810-х годов *В* вступ. ст. и сост. Ю. М. Лотмана; подгот. текста М. Г. Альтшуллера. Л., 1971. С. 103–108. (Б-ка поэта. Большая серия)
- Державин 1864 — Державин Г. Р. Сочинения *С* с объяснит. примеч. Я. К. Грота: в 9 т. Т. 1. СПб., 1864.
- Державин 1957 — Державин Г. Р. Стихотворения *В* вступ. ст. и подгот. текста Д. Д. Благого; примеч. В. А. Западова. Л., 1957. (Б-ка поэта. Большая серия)
- Ломоносов 1952 — Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.; Л., 1950–1983. Т. 7: Труды по филологии, 1739–1758 гг. М.; Л., 1952.
- Петров 1972 — Петров В. П. Ода на великолепный карусель ... *П* Поэты XVIII века. Т. 2 *В* сост. Г. П. Макогоненко, И. З. Сермана; подгот. текста и примеч. Н. Д. Кочетковой. Л., 1972. С. 326–332. (Б-ка поэта. Большая серия)

- Поликарпов 1704 — [Федор Поликарпов]. Лексикон треязычный. М., 1704.
- САР — Словарь Академии Российской, производным путем расположенный. Ч. I–VI. СПб., 1789–1794.
- Сл. РЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29-. М., 1975–2011-.
- Сл. РЯ XVIII в. — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1–6. Л., 1984–1991. Вып. 7–20-. СПб., 1992–2013-.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–26. Л., 1965–1991. Вып. 27–47-. СПб., 1992–2014-.
- Сумароков 1781 — Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе *с* собраны и изданы Н. Новиковым: в ют. М., 1781–1782. Т. 4. М., 1781.
- Сумароков 1957 — Сумароков А. П. Избранные произведения *с* вступ. ст., подгот. текста и примеч. П. Н. Беркова. Л., 1957. (Б-ка поэта. Большая серия)
- Целларий 1746 — [Целларий Х.] Христофора Целлария краткой латинской лексикон с российской и немецким переводом, для употребления Санктпетербургской гимназии. СПб., 1746.



ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ А. Т. БОЛОТОВА

Среди обширного поэтического наследия Болотова, в основном неопубликованного¹, значительную часть занимают духовные стихотворения. Определение духовной поэзии применительно к стихам Болотова представляет некоторую сложность: подавляющее большинство его поэтических произведений так или иначе обращены к Богу или посвящены ему. Тем не менее, следует выделить значительную группу поэтических текстов, которые сам Болотов именовал «духовными» и «христианскими». Сохранилось шесть сборников разного времени, составленных из ранее написанных стихов (Болотов б.г. ГИМ, РНБ; 1808; 1811; 1822; 1992). Принцип работы над поэтическими произведениями у Болотова был тот же, что и над прозаическими текстами. Сначала он записывал то, что приходило ему в голову, в хронологическом порядке в тетрадки, которые сшивал в книжечки по годам. Так были созданы 12 томов «Собраний мелких сочинений в стихах и в прозе» (Болотов 1793–1824; 1824) и два тома под заголовком «Ни то ни се, или кое-что могущее служить в пользу тому, кто иметь ее похочет» (Болотов 1820, 1; Болотов 1820, 2)². В них находятся первые варианты большинства стихов, позднее вошедших в названные выше шесть сборников. Формируя такие сборники, Болотов создавал рукописные книги: томики в формате в 1/2 листа обычно переплетены, иногда с кожаным корешком, в них есть виньетки и рисунки тушью, оглавление и даже тематические указатели. Состав этих сборников отчасти пересекается, ряд стихов встречается сразу в нескольких книжках. Наконец, томик «Некоторые назидательные чувствования в стихах от женского лица» (Болотов 1822) является

¹ Несколько публикаций см.: (Болотов 1887; 1992; 2006).

² Частично опубликованы: (Болотов 2006).

почти полным переложением сборника «Чувствования и вздохи ко Творцу» (Болотов 1808), с минимальными изменениями, касающимися грамматического рода. Вероятно создание такого «женского» варианта Болотов предусматривал сразу. В частности, в сборнике «Духовных песен» ряд стихов имеет соответствующие сноски, как, например, в стихотворении «Чувствования при конце дня тщетно провожденного» к стихам:

Вот я паки знатным шагом
Ближе к смерти подался

дана сноска:

Ближе к смерти подалась (Болотов б.г. ГИМ: л. 29).

Следует отметить, что помимо духовных стихотворений, только один сборник был составлен Болотовым по тематическому принципу — это «Стихотворения натурологические» (Болотов 1798).

Свои ранние поэтические опыты 1760-х гг. сам Болотов признавал неудачными и омраченными затруднениями с «приискиванием рифм» (Болотов 1871–1873: 1, 812). Но в 1793 г. он открыл для себя возможности нерифмованного стиха, что повлекло всплеск поэтической активности, в дальнейшем постепенно снижавшейся, но не угаснувшей, вероятно, до самой смерти автора. Период наиболее интенсивного стихотворчества Болотова относится ко второй половине 1790-х гг.: 1–3 тома «Собрания мелких сочинений...» 1793–1799 гг. наполнены преимущественно стихами, в более поздних томах соотношение прозы и стихов почти равное. Общий объем написанного в стихах в период с 1793 по 1824 гг. (этим годом датирован последний томик «Собрания мелких сочинений...») позволяет предположить, что Болотов, вообще чрезвычайно много писавший, именно в области поэтического испытывал настоящие приливы вдохновения, пусть даже и графоманского, тогда как в других сферах руководствовался скорее рациональными побудительными мотивами.

Помимо

Помимо полного отсутствия рифм, болотовскую поэзию отличает использование только двусложных размеров, преимущественно четырехстопных, иногда трехстопных, причем довольно точное их соблюдение. В своих первых опытах белого стиха Болотов даже помечал размер: «ямб» или «хор.», то есть хорей (Болотов 1793–1824: 2). Чаще всего болотовские стихотворения в белых автографах записаны четверостишиями, но очевидно Болотов имел и некоторое упрощенное представление об одической строфе: стихи, озаглавленные как «ода» («Ода в похвалу искусству увеселяться красотами природы», «Ода к человеку хотящему быть счастливым») написаны четырехстопными ямбом или хореем и делятся на восьмистишия (впрочем, такое же деление часто имеют и «песни», наиболее вариативные в формальном отношении).

Вторым открытием, стимулировавшим болотовский поэтический энтузиазм, стало писание стихов «на голос» известных песен. Болотов не только не скрывал того, что пишет «на мотив» популярных песен (то есть заимствуя их ритмическую структуру), но и специально указывал, какая именно песня легла в основу того или иного текста. Так, одно из своих первых стихотворений, написанных в этот период, Болотов в мемуарах комментирует так:

Петь ее <песнь — *A. B.*> можно хотя на многие и все те голоса, какими поются песни, сочиненные по примеру сей хорешескими стихами, но и чувствительнейшим казался мне, и приличнейшим к тому всегда голос известной песни «Звук унылой фортопьяна» (Болотов 1871–1873: 4, 1093).

Опорой на чужой «голос», вероятно, объясняется принцип черновой записи стихов, которые часто идут как проза, с переносом не только внутри стиха, но и внутри слова (в некоторых случаях встречается стихораздел — косая черта, возможно, проставленная позднее для удобства переписывания). Например, первая строфа «Стихов к спасителю господу Иисусу» написана так:

О господи, царю небес-
ный! О буди милос-
тив ко мне! О сох-
рани от муки веч-
ной и жизнью веч-
ной одари (Болотов 182 $\frac{1}{4}$: 5).

Внутри корпуса духовных стихотворений Болотова можно выделить несколько жанрово-тематических разновидностей, ориентируясь на наименования, которые давал им сам автор. К первой из них можно отнести так называемые «вздохи» (Болотов б.г. РНБ; 1808; 1992), наиболее четко определяемые по формальным признакам. Это законченные четверостишия, отражающие различные эмоции и модальности, обращенные к Творцу и соответственно озаглавленные. Например, в сборник «Дюжина сотен вздохов...» включены вздохи «благодарительные», «просительные», «утешительные», «раскаяния и покаянные», «ободрительные и подкреплятельные», «увещательные и убеждательные», «укорятьельные», «хвалебные», «наставительные», «увеселительные», «устрашательные» и, наконец, «смешанные и разнообразные» (Болотов 1992). В композиции сборника наблюдается определенная продуманность и даже стройность: четверостишия, то есть отдельные «вздохи» пронумерованы, первые две части включают по 55 «вздохов», последняя 522, остальные по 63. Каждое четверостишие представляет собой завершённое высказывание, как грамматически, так и содержательно, что позволяло Болотову их бесконечно «тасовать». Большинство «вздохов» выражают переживания общего характера:

4

К тебе, о боже, воссылаю
Из глубины души моей
Хвалебный вздох и благодарность
За милости твои ко мне! (Там же: 471).

2

О, чтоб со всеми нами было,
 Когда бы ты, спаситель наш,
 Не пострадал за нас и умер?
 К чему годились бы мы все? (Болотов 1992: 477).

Но встречаются и очень частные, особенно в последней части:

423

О, не хотелось бы среди лета
 Мне кончить здешню жизнь свою,
 Чтобы мерзить не стали люди
 Ах, грешным телом и моим.

424

В сей день опять я поскользнулся
 И чуть было чуть не упал,
 И был едва я в состояньи
 Остаться без вреда себе (Там же: 533).

Стихотворения духовного содержания второго типа, встречающиеся у Болотова, имеют авторское наименование «чувствования», часто с добавлением «христианские» или «христианина». Это более развернутые и иногда даже весьма большие по объему тексты, содержащие рассуждения о Боге и связанных с ним материях, но приуроченные к определенным событиям или времени года и суток, например: «Чувствования по препровождении благополучно ночи», «Чувствования при сиденье в беседке нижнего сада» и т. д. (Болотов б.г. ГИМ). Стоит отметить, что в 1781 г. Болотов напечатал сборник прозаических «Чувствований...» (Болотов 1781), и его позднейшие поэтические опыты во многом являются переложением этого сборника. «Чувствования» формально трудно отделимы от «песен», наиболее часто встречающегося у Болотова жанрового определения поэтического текста. Различия их скорее содержательного свойства: «чувствования» в большей степени ориентированы на самоанализ, а песни обращены к

внешнему миру и непосредственно Богу, что отчасти может быть подтверждено двумя примерами из стихотворений, объединенных общим поводом, но имеющих разные жанровые обозначения.

Песнь утренняя

Ночь спокойно проводивши,
Утра нашего дожив,
Первые душевны чувства
Посвящаю я тебе,

Всемогущий! Милосердый!
Царь всей твари и господь!
Обладатель всей вселенной
И небесный мой отец (Болотов б.г. ГИМ: л. 5 об.-6).

Чувствования по препровождению благополучно ночи

О, как много я обязан
Всемогущему за то,
Что спокойно и здорово
Ночь сию я проводил.
И теперь, от сна восставши,
Жив здоров и весел так,
Я как был вчера ложася,
Предавая сну себя (Там же: л. 17 об.)

Кроме того, именно песни чаще всего написаны «на голос», то есть являются переделками известных песен в прямом смысле слова.

По формальным признакам к «песням» и «чувствованиям» примыкают «молитвы», также обычно написанные «на случай», например, «Молитва утренняя о вспоможении прожить день как должно», «Молитва вечерняя при отхождении ко сну», «Молитва утренняя в случае ожидания в тот день какого-нибудь зла и противности» и т. д. (Болотов б.г. ГИМ: л. 8 об.-15; б.г. ГИМ: л. 21-26). По содержанию они представляют собой частный случай «чувствования», обязательно содержащего просьбы

просьбы к Богу о неоставлении своим покровительством. О близости и взаимозаменяемости этих произведений свидетельствует, в частности, эпизод из мемуаров Болотова, в котором он пишет о цитированной выше «Песни утренней»:

«Она» сделалась со временем тем достопамятна, что я ее многожды употреблял, да и ныне, при старости моей употребляю между прочими моими молитвами по утрам (Болотов 1871–1873: 4, 1093).

Следует также отметить, что в сборники духовных стихотворений не включена ни одна ода, этот жанр, вообще редкий у Болотова, он использовал для натурфилософской поэзии. В целом же можно сказать, что для Болотова его собственная типология была в известной мере произвольна и в этом отношении, вероятно, вторична. Содержательно и даже текстологически все вышеперечисленные тексты не только очень близки друг другу, но и пронизаны перекличками и внутренними заимствованиями. При написании нового поэтического текста Болотов часто брал за основу старый и распространял его или частично заменял.

Пафос болотовской духовной поэзии отражает его жизненную философию, неоднократно изложенную им в ряде прозаических сочинений, в частности в «Детской философии» (1776) и «Путеводителе к истинному человеческому счастью» (1784). В этом отношении справедливо замечание А. И. Лященко о том, что болотовская поэзия (к которой публикатор относился весьма снисходительно) интересна отразившейся в ней философией и идеологией (Болотов 1887: 59). В основе этой философии, компилятивной по своей сути, лежит увлечение «телематологией», то есть учением о воле немецкого философа Х. А. Крузиуса. Болотов познакомился с «крузианской философией» еще в 1760 г. в Кенигсберге и всю жизнь отдавал ей «первенство и преимущество в сравнении со всеми прочими» (Болотов 1808–1809: л. 38 об.). Идея свободы волеизъявления, выражающаяся, прежде всего, в сознатель-

ном подчинении Творцу, отношения с которым строятся не на страхе или ожидании милости, а на основании сознания морального долга, оказались чрезвычайно близки Болотову и получили в его системе практическое преломление. Проблема свободы выбора, в свою очередь, оказалась тесно связана с гносеологическими вопросами, так как для правильного жизненного выбора необходимо познание божественной воли. И в этом аспекте Болотов предпочитает следовать за Крузиусом, утверждавшим существование непознаваемой субстанции залогом верховного положения Бога. Но непостижимость Творца не отменяет возможности познать, хотя бы отчасти, его волю. Сделать это можно через доступные познанию божественные творения: мир и человека.

Эта, чрезвычайно кратко и упрощенно изложенная философская концепция, к тому же испытывавшая на себе следы влияний и других учений³, определяет не только содержательный диапазон болотовской поэзии (восхваление Бога, благодарности ему, просьбы о неоставлении, уверение в своей покорности, а также рассуждения об устройстве мира и непостижимости Творца), но и ее ведущую интонацию. Эта интонация не просто доверительна, она иногда на грани фамильярности и не содержит ни тени сомнения в важности и значимости для Творца собственных мелких человеческих переживаний. В отличие от настоящих поэтов XVIII столетия, таких как М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков или Г. Р. Державин, Болотов идет от частного к общему, то есть допускает возможность проекции его личных «отношений» с Богом на другого человека, а не рассматривает их как частный случай метафизических проблем (механизм «размышления над внутренними событиями человеческого бытия вообще» в духовной поэзии Ломоносова подробно рассмотрен П. Е. Бухаркиным⁴).

В

³ Подробнее см.: (Артемьева 1996: 163–185; Веселова 2000: 19–56; Жучков 1996: 90–113); предисловия к: (Болотов 2006; 2012).

⁴ См.: (Бухаркин 2014).

В мемуарах Болотов не раз упоминает о том, что действительно читал свои собственные стихи вслух в предназначенных для этого ситуациях. Как уже было показано выше, стихи духовного содержания нередко заменяли ему канонические молитвы. Но он допускал и более широкое применение своих произведений. У Болотова, очевидно, был свой круг читателей, состоявший из родственников и друзей, и иногда он переписывал стихи в книгу, ориентируясь на конкретного человека. О хождении болотовских сборников в кругу близких людей свидетельствуют владельческие надписи на одном из них, хранящемся в РГАЛИ⁵. Это сборник «Дюжина сотен вздохов, чувствований и мыслей христианских», принадлежавший дочери Болотова, Анастасии Андреевне, в замужестве Воронцовой-Вельяминовой. На рукописной книге несколько владельческих надписей, кроме того, в нее вложен листочек, на котором описано, кто кому и как этот сборник передавал по наследству: Анастасия Андреевна оставила его своей дочери, та подарила племяннику, он своему брату, который передал сыну. Одна из владельческих надписей была сделана в Варшаве в 1882 г. Последним владельцем сборника был Михаил Павлович Воронцов-Вельяминов, в 1921 г. эмигрировавший во Францию и продавший этот сборник в 1935 г. в Париже советской закупочной комиссии. Безусловно, в первую очередь эта рукописная книга представляла собой семейную реликвию, которую берегли и возили с собой. Но нельзя исключать, что по крайней мере у первых владельцев она выполняла ту функцию, которую в нее вложил Болотов: быть читаемым при любом удобном случае собранием «чувствований и мыслей христианских» на каждый день.

К сожалению, исследователи творчества Болотова избегают вопроса о влиянии на него протестантской этики, хотя вопрос этот был поставлен еще А. А. Блоком (Блок 1934). Между тем, Болотов, со времен своего пребывания в Кенигсберге,

⁵ Опубликовано: (Болотов 1992).

сохранил приверженность к немецкой образовательной модели, в том числе в области религиозного воспитания. Убежденность Болотова в необходимости более простого и личного аналога каноническим церковным текстам для христианского просвещения отражает его статья 1825 г. «Письмо другу о славенском языке и следствиях производимых им»⁶. В статье он пишет о том, какие молитвы полезнее «напечатанных в церковных книгах»:

А именно молитвы недлинные, немногословные, не затверженные наизусть, не читаемые слишком скоро и так бегло, что ум не успевает значение всех слов обнимать, а сердце иметь нужные и такие чувствования, какие собеседованию с Богом приличны. А произносимые не на славянском, а на простом нашем природном языке и таким образом, чтобы они растрогивали ум и сердце... (Веселова 2014: 288).

Далее Болотов рассуждает о простом народе, не понимающем богослужебных текстов, и о духовенстве, которое, будучи просвещенным и даже читающим на иностранных языках, упорствует в своей приверженности традиции:

О Господи! Как глубоко впечатлелось в умы и сердца многих людей предубеждение в пользу славенского языка и то совсем неосновательное мнение, что все моления и просьбы, воссылаемые ко Господу, не на ином каком языке, как на славенском одни только к нему доходны и ему приятны (Там же: 288).

Духовная поэзия Болотова — это попытка говорить с Богом, во-первых, на своем родном языке (и, что немаловажно, дать эту возможность другим — не случайно один из сборников называется «Ни то ни се, или кое-что, могущее служить в пользу тому, кто иметь ее похочет»), а во-вторых, говорить о сугубо личном и важном для автора.

Болотов особенно много думал и писал о вопросах религиозного просвещения в последние два десятилетия своей жизни.

⁶ Опубликовано: (Веселова 2014).

жизни. В русле этих размышлений следует рассматривать и переложения молитв и псалмов, которые появляются среди его поэтических произведений с начала 1820-х гг. Болотов не перевел всю Псалтырь, вероятно, руководствуясь тем же вдохновением, которое заставляло его обращаться к конкретным псалмам, по той или иной причине актуальным для него в определенный момент (по разным сборникам, в том числе черновым, устанавливается около 20 переложений псалмов и молитв). Его переложения написаны тем же четырехстопным ямбом и средним, лишенным славянизмов стилем, кажущимся даже сознательно упрощенным. В качестве примера можно привести начальные строфы переложения 91 псалма («Благо есть исповедоватися господеву»):

О как нам нужно и полезно
 Господне имя прославлять,
 И песнями хвалы своими
 Всевышнего превозносить.

Во всяко утро возвещая
 Твои к нам милости, господь,
 И истину твою святую
 В ноши устами прославлять! (Веселова 2014: 292)

Ср. с переложенной Болотовым «Молитвой пресвятой Троице»:

О Троица! О пресвятая!
 Яви нам милость ты свою!
 Господь и бог наш вседержитель,
 Очисти от грехов ты нас.
 Владыко наш, господь, спаситель,
 Вины нам наши отпусти,
 А ты приди, о дух святейший,
 И в немощах нас исцели.
 И все для имени святого
 Соделай с нами своего,
 Дабы мы оное вовеки
 Хвалить и славить возмогли (Болотов 1793–1824: 5, л. 158).

Для Болотова, в отличие от Ломоносова или Сумарокова, не существовало противоречий между «истинностью» и «священностью» (Алексеева 2014: 5)⁷. Даже при поверхностном рассмотрении его переложений можно с большой долей уверенности утверждать, что он не обращался ни к отечественным, ни к иностранным поэтическим образцам (хотя сам факт их существования был, вероятно, важен для него, как средство легитимизации собственных произведений). Он следовал выбранной им некогда стратегии прояснения темной материи и перевода ее в понятную и легко запоминающуюся форму.

Болотов был весьма начитанным человеком, в том числе в области поэзии. В мемуарах, письмах и различных статьях он обнаруживает неплохое знание современной ему русской поэзии, как минимум до 1810-х гг. Он часто переписывал полюбившиеся ему произведения, следил за новинками, выписывал журналы, и в его архиве можно найти упоминание и оценку большинства значимых поэтов эпохи. Но, вероятно, он не соотносил их стихи, которые читал и переписывал, со своей поэзией, так как они не выполняли функцию, предназначенную его собственным стихам. Прагматика поэзии Болотова в наименьшей степени была направлена на создание эстетического впечатления, это была форма относительно краткого и запоминающегося выражения мысли или идеи для повторяющихся ситуаций. Поэтому допускалось варьирование одних и тех же фрагментов, повторы, использование чужих «голосов», облегчавших запоминание и воспроизведение, а также поэтическое дублирование крупных прозаических произведений («Путеводителю к истинному человеческому счастью» соответствует ода «К человеку, хотящему быть счастливому», «Живописателю природы» (1794) стихотворная «Наука увеселяться красотами природы», а «Чувствования истинного христианина

⁷ Подробно о русской парафрастической поэзии см.: (Луцевич 2002; Донская 2003).

стианина на каждый день недели», как уже было отмечено, существуют под тем же названием в прозаическом и стихотворном вариантах). Собственная поэзия, особенно духовная, существовала для Болотова вне эстетических категорий и выполняла прежде всего мнемоническую функцию.

При обращении к творчеству Болотова, а особенно к его поэтическому наследию, неизменно встает вопрос об оправданности изучения этих образцов очевидно графоманской литературы (помимо всего сказанного, стихи Болотова очень длинные, многословны и создают тягостное ощущение бесконечности), особенно на фоне подлинной поэзии от Ломоносова до Пушкина: и тому, и другому Болотов был современником. Но обращение к такому большому и однородному корпусу текстов поэта-дилетанта позволяет выявить некоторые механизмы текстопорождения, важные для понимания психологии творчества с одной стороны, и эволюции поэтической системы национальной поэзии — с другой. Принципы работы с поэтическими образцами, выбор тех или иных формальных приемов, то есть поэтическая «мастерская», скрытая и преображенная силой поэтического гения, отчетливо просматривается в творчестве графомана, каким, несомненно, был Болотов, по крайней мере в поэзии.

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

- Алексеева 2014 — Алексеева Н. Ю. Поздний Сумароков как переводчик псалмов // Russian Literature. 2014. Vol. 75. Issues 1/4. P. 3–31.
- Артемьева 1996 — Артемьева Т. В. История метафизики в России XVIII века. СПб., 1996.
- Блок 1934 — Блок А. А. Болотов и Новиков // Блок А. А. Собрание сочинений: в 12 т. Т. II. Л., 1934. С. 7–81.

- Болотов 1871-1873 — Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. 1-4 / предисл. М. Семейского. СПб., 1871-1873.
- Болотов б.г. ГИМ — Болотов А. Т. Духовные песни и стихотворения Андрея Болотова. ОПИ ГИМ. Ф. 349. № 15.
- Болотов б.г. РНБ — Болотов А. Т. Чувствования и вздохи покаянные ко Творцу и Богу. РО РНБ. Ф. 89. № 101.
- Болотов 1781 — Болотов А. Т. Чувствования христианина при начале и конце каждого дня в неделе, относящиеся к самому себе и к Богу. М., 1781.
- Болотов 1793-1824 — Болотов А. Т. Собрание мелких сочинений в стихах и прозе. Т. 1-п. 1793-1824. РО РНБ. Ф. 89. № 65-75.
- Болотов 1798 — Болотов А. Т. Стихотворения натурологические или живописующие природу. 1798. РО РНБ. Ф. 89. № 96.
- Болотов 1808 — Болотов А. Т. Чувствования и вздохи ко Творцу. 1808. НИОР БАН. Ф. 69. № 17.
- Болотов 1808-1809 — Болотов А. Т. Переписка двух родственников живущих в отдалении и не знающих друг друга лично. 1808-1809. НИОР БАН. Ф. 69. № 12.
- Болотов 1811 — Болотов А. Т. Чувствования и мысли утешительные и увеселительные. 1811. РО БАН. Ф. 69. № 18а.
- Болотов 1820, 1 — Болотов А. Т. Ни то ни се, или кое-что, могущее служить в пользу, кто иметь ее похочет. Т. 1. 1820. РО РНБ. Ф. 89. № 99.
- Болотов 1820, 2 — Болотов А. Т. Ни то ни се, или кое-что, могущее служить в пользу тому, кто иметь ее похочет. Т. 2. 1820. НИОР БАН. Ф. 69. № 28.
- Болотов 1822 — Болотов А. Т. Некоторые назидательные чувствования в стихах от женского лица. 1822. РО ИРЛИ. Ф. 537. № 16.
- Болотов 1824 — Болотов А. Т. Собрание мелких сочинений в стихах и прозе Андрея Болотова. Т. 12. 1824. НИОР БАН. Ф. 69. № 29.
- Болотов 1887 — Болотов А. Т. Стихотворения / Русская поэзия. Вып. 5. СПб., 1887. С. 59-65.
- Болотов 1992 — Болотов А. Т. Дюжина сотен вздохов, чувствований и мыслей христианских ... / Российский архив. История Отечества

- чества в свидетельствах и документах. Т. 2-3. М., 1992. С. 471-539.
(публикация Е. Бронниковой)
- Болотов 2006 — Болотов А. Т. О душах умерших людей / вступ. ст.,
подгот. текста и коммент. Т. В. Артемьевой. СПб., 2006. (Артемьева
Т. В. Жизнь после жизни. С. 5-30)
- Болотов 2012 — Болотов А. Т. Детская философия. Путеводитель к
истинному человеческому счастью / вступ. ст., подгот. текста и
коммент. Т. В. Артемьевой, М. И. Микешина. СПб., 2012.
- Бухаркин 2014 — Бухаркин П. Е. О проблематике духовных од
М. В. Ломоносова // Russian Literature. 2014. Vol. 75. Issues 1/4.
P. 57-71.
- Веселова 2000 — Веселова А. Ю. Эстетика А. Т. Болотова: лите-
ратурная критика и садово-парковое искусство / Дисс. ... канд.
филол. наук. СПб., 2000.
- Веселова 2014 — Веселова А. Ю. Из неопубликованного наследия А.
Т. Болотова // Литературная культура России XVIII века. Вып. 5.
СПб., 2014. С. 285-294.
- Донская 2003 — Донская Н. А. Русская псалмодическая поэзия
XVII — XVIII веков / Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2003.
- Жучков 1996 — Жучков В. А. Из истории немецкой философии
XVIII века (предклассический период). М., 1996.
- Луцевич 2002 — Луцевич Л. Ф. Псалтырь в русской поэзии. СПб.,
2002.



*Елена Дмитриевна Кукушкина,
Виталий Иванович Симанков*

ТРАГЕДИЯ Н. Н. САНДУНОВА «СИДНЕЙ И ЭННИ»
И РЕПЕРТУАРНАЯ ПОЛИТИКА ПЕТРОВСКОГО
ТЕАТРА В 1780-Е ГОДЫ

В одной из своих статей П. Е. Бухаркин отметил, что в связи с образами отрицательных персонажей в некоторых драматических произведениях XVIII в. «явственно начинала звучать тема inferнального зла» (Бухаркин 1993: 316). Это касалось и комедии, сближая ее с трагедией. Герой-злодей наделялся не одной, а многими отрицательными чертами. Он мог быть богохульником и ханжой одновременно и попирать все нормы человеческого общения. Но если в комедии, по наблюдению П. Е. Бухаркина, изображение социальных и нравственных уродов уравнивалось комизмом, то в трагедии они приобретали поистине демонические черты. С одним из таких персонажей европейской литературы познакомил русского зрителя Н. Н. Сандунов.

«Сидней и Энни» — одно из недостаточно изученных драматических сочинений XVIII в. Его автор долгое время оставался неизвестен исследователям. Он был установлен в связи с опубликованием «Реестра сочинениям, оставшимся по смерти Николая Николаевича Сандунова», составленного Евгением Болховитиновым, где пьеса значится под номером 11. О ней сказано:

«Сидней и Энни». Трагедия в 3-х действиях. Перев. с нем. 1789 г. Смотрена и к печатанию пропущена в С.-Петербурге 8 октября 1817 г. за подписем (так!) секретаря [Василия] Соца¹.

¹ РНБ. Ф. 528 Погодина. № 20092. Л. 20–21. Текст «Реестра» воспроизведен С. А. Переселенковым (Описание дел 1921: 69).

Однако в печати трагедия не появилась. Единственный ее список сохранился в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке.

Ошибочными оказались сведения о том, что пьеса не попала на сцену (Кряжимская 1960: 139). 27 марта 1790 г. в «Московских ведомостях» в разделе «От Петровского театра» было опубликовано объявление, сообщающее читателям:

Сего дня откроется театр спектаклем № 30, в котором будет новая и никогда еще не играная трагедия, называемая «Сидней и Энни», а после ней балет «Цветочник».

Те же пьеса и балет были представлены во второй раз 10 апреля в спектакле № 33. Счет спектаклям начинался в сентябре, когда открывался новый сезон, продолжавшийся до конца мая с перерывом на время Великого поста. За редким исключением, пьеса не могла идти более чем два или три раза, так как состав зрителей в Петровском театре в то время практически не менялся.

Анализируя рукописное наследие Н. Н. Сандунова, И. А. Кряжимская предположила, что в основе трагедии «Сидней и Энни» лежит немецкий перевод с английского оригинала, так как «судьбы вымышленных героев очень тесно связаны с судьбами исторических личностей — Карла I, Кромвеля, Якова II, Джемса Монмута и др.» (Там же: 139). В действительности история создания трагедии оказалась несколько иной и более сложной.

Знакомство с рукописным текстом пьесы заставило усомниться в ее датировке. Вслед за Болховитиновым И. А. Кряжимская относит ее к 1789 г., не приняв во внимание надпись на титульном листе рукописи: переведена с немецкого 1787 г.²

Список пьесы представляет собой скоропись двух почерков на 62 листах. Первым почерком, четким и мелким,

² Сидней и Энни. Трагедия в трех действиях. СПбГТБ. Шифр: л. 20. 3. 45. 1787 г. Далее при цитировании этой трагедии в скобках указываются листы рукописи.

заполнены листы 1-38 и 5/4 об.-62. Бумага этой части рукописи датируется 1782-1784 гг. (Клепиков 1952: № 8 (1782-1784); 1959: № 536 (1784)). После названия пьесы на титульном листе указан порядковый номер списка (№ 7), а в перечень действующих лиц вписаны фамилии актеров Московского театра. На листах 39-5/4 почерк более крупный, существенно отличающийся от первого в написании букв. Голубоватая бумага этой части рукописи имеет водяной знак «1789» (Uchastkina 1962: № 390 (1789)). Таким образом, есть веские основания предполагать, что работа над переводом велась в 1787 г. и тогда же пьеса готовилась к постановке, которая по какой-то причине не осуществилась. В 1789 г. часть рукописи подверглась переработке, и пьеса приобрела тот окончательный вид, в котором была представлена на сцене Московского театра. В таком случае, «Сидней и Энни» — один из ранних переводов Н. Н. Сандунова, работа над которым началась в пору его учебы в Московском университете или вскоре после его окончания³.

Московский университет сыграл громадную роль в создании театрального репертуара Москвы. С конца 1770-х гг. университетская молодежь «переводила несметное количество пьес» (Чаянова 1927: 117). На 1780-1785 гг. пришелся период расцвета Петровского театра Медокса и его наивысшей популярности. В это время

работы масонских лож, семинарии и лекции Шварца и, главным образом, широкая по размаху книгоиздательская деятельность создавали в Москве литературные кадры молодежи, которая следила за движением западной литературы, переводила, писала оригинальные вещи и создавала в Москве крупный центр умственной жизни (Там же: 143-144).

Однако

³ Первым переводом Н. Н. Сандунова была драма для детей Х.-Ф. Вейссе «Добрые дети». Перевод был опубликован в новиковском журнале «Детское чтение» (Детское чтение 1786) без указания имени переводчика. Об атрибуции перевода Н. Н. Сандунову см.: (Берков 1952: 430).

Однако после пятилетнего расцвета в театре начался длительный период упадка, связанный с открытием публичного русского театра в Петербурге и уходом туда лучших актеров. Чтобы окончательно не потерять зрителей, театр постоянно нуждался в обновлении репертуара.

Сюжет, который лег в основу трагедии Сандунова «Сидней и Энни», получил известность в России в 1786 г., когда был опубликован его перевод из многотомного сочинения Ж.-Б.-К. Делиля де Саля (1741–1816) «О философии природы».

Издательская судьба «De la Philosophie de la Nature» и последствия, которые настигли ее автора, подробно изучены (Malandain 1982)⁴. Первое трехтомное издание книги вышло в Амстердаме в 1770 г., а в 1773–1774 гг. там же явилось и продолжение (и снова в трех томах); второе издание, уже шеститомное, вышло предположительно в Париже в 1774 г. (в крупнейших библиотеках мира оно отсутствует); третье — якобы в Лондоне в 1777 г., а на самом деле, вероятно, в Париже. Последнее (седьмое) издание вышло в Париже в 1804 г. в 10 томах. Небольшую часть второго тома занимала «Повесть Иеннии Лиллии»⁵, которая, по мысли автора, изложенной в предисловии к повести и в «размышлении» в конце ее, служила сильным нравственным доводом в доказательстве бессмертия души.

Трагическая история любви юных Иеннии и Сиднея происходит в повести на фоне исторических событий в Англии начала правления Якова II, после подавления мятежа Джеймса Монмутского (1685). Есть в ней и другие реальные персонажи — судья Джефрейс и полковник Кирк. Именно Кирк становится основным персонажем, движущим сюжет и приводящим его к трагическому финалу.

⁴ Библиографическая роспись многочисленных изданий «De la Philosophie de la Nature», имеющих крайне запутанную историю, приводится во втором томе (Malandain 1982: 2, 564–567).

⁵ «Démonstration de l'immortalité de l'âme [= Histoire de Jenny Lille]» (Delisle 1770: 2, 317–351).

Полковник и судья жестоко расправляются с оставшимися в живых мятежниками. В это мрачное время в городе расцветает любовь Сиднея и Иеннии Лиллии. Девушка, оставшаяся сиротой после казни отца, поддерживавшего мятежников, и смерти матери, живет, скрывая свое происхождение. Молодые люди открываются друг другу в любви и уже готовы соединить жизни, как Сидней оказывается в тюрьме. В письме к невесте, написанном, за неимением чернил, кровью, он сообщает, что приговорен к смертной казни. Иенни бросается на колени перед полковником Кирком и умоляет его пощадить Сиднея. Сладострастный Кирк обещает выполнить ее просьбу за одно ночное посещение. В душе девушки борются добродетель и любовь к Сиднею. Побеждает любовь. Перед сном она выпивает снотворное зелье. Наутро Кирк показывает ей в окно виселицу с трупом жениха. Со словами «Ах! Чудовище!» Иенния умирает.

Как это бывает с отрицательными персонажами литературных произведений, Кирк в повести получился более ярким и убедительным, чем двое добродетельных влюбленных. Он изображен безбожником, шантажистом, циником, от слов которого веет угрозой не только для героини, но и для нравственности вообще. Повесть не имела поучительного финала. Иенния жертвует своей честью и погибает, а Кирк остается безнаказанным.

Критиками пороки персонажа были отнесены на счет автора. Его ссылки на то, что он заимствовал свой сюжет из «Истории Англии» Д. Юма остались без внимания (Ните 1766: 6, 199–200). П. Маланден подробно освещает судебный процесс 1777 г. над Делилем де Салем. За богохульные идеи и вольнодумство автор «Философии природы» был приговорен к позорному столбу и публичному наказанию, однако ему удалось избежать беды благодаря вмешательству Вольтера.

История о злодействе полковника Кирка (Кирке) получила широкое распространение в европейской литературе, став
основой

основой многих повестей, драматических произведений и даже поэм, хотя сомнения в ее исторической правдивости стали появляться в английской печати уже в конце XVIII — начале XIX в. (Toulmin 1791: 166–167 (Note †); D'Israeli 1824: 2, 169–179)⁶.

На родине Делиль де Саль не снискал славы. В России же его главное сочинение «Философия природы» получило чрезвычайно широкую известность. Первый русский перевод из французского сочинения появился уже в 1778 г. (Сон 1778)⁷. Особенно много переложений было напечатано в периодических изданиях⁸.

Перевод, опубликованный под названием «Путь мыслить о бессмертии души» (Делиль де Саль 1786), был выполнен поручиком Смоленского драгунского полка А. И. Глебовым, который в 1785 г. оставил военную службу (Список служащих 1908: 34, № 278; см. также: Лепехин 1988: 196). В него вошли повесть, а также предисловие автора и его «размышления» о повести. Позже эта повесть издавалась в России в других переводах и уже вне своего контекста (Повесть 1791; Элли 1802; Женни 1810).

Воспользовавшись переводом Глебова, Н. Сандунов придал повести Делиля де Салья драматическую форму. Не исклю-

⁶ Современную попытку реабилитации полковника Кирке см.: (Childs 2014).

⁷ Источник русского перевода впервые раскрыт А. К. Гавриловым (Гаврилов 1985: 126). Другой русский перевод: (Сон 1779). Об идентификации источника см.: (Рак 1969: 154).

⁸ Вставные новеллы или выдержки из «Философии природы» печатались в «Модном ежемесячном издании», «Покоящемся трудолюбце», «Уединенном пешехонце», «Зеркале света», «Растущем винограде», «Лекарстве от скуки и забот», «Новых ежемесячных сочинениях», «Приятном препровождении времени», «Санкт-Петербургском журнале», «Иппокрене», «Новостях русской литературы», «Минерве», «Вестнике Европы» и т. д. Особенной популярностью у русских переводчиков пользовалась новелла «Смерть Сократа» (известно, по меньшей мере, пять различных ее переводов).

чено, однако, что Сандунов мог использовать ту или иную немецкую версию французской новеллы, опубликованную либо в составе отдельных книжных изданий, либо на страницах периодики (*Philosophie* 1773–1774; 1787; *Sydnei* 1787). На Медокса в разные годы работали более тридцати переводчиков, и не всегда выбор пьес принадлежал ему: «часть переводчиков сами выбирали понравившиеся пьесы, привезенные из-за границы или купленные на Кузнецком у Риса и Редигера» (Чаянова 1927: 159). Вряд ли Медокс предложил бы для переложения повесть. Выбор принадлежал, по-видимому, самому Сандунову. Эта работа не потребовала от него большого труда, так как повесть на две трети состояла из прямой речи персонажей, а в эпизоде с арестом Сиднея и его допросом у Кирка их реплики были расписаны, как в драматическом произведении. Однако пьеса не могла ограничиться историей о шантаже и обмане. Для усложнения сюжета и достойного завершения трагического конфликта в пьесе появляются новые персонажи: Лилли — чудом избежавший смерти отец Энни, ее слуга Вилмон, горничная Полли и лорд Монтроз. Имя Монтроз носил реальный исторический персонаж. Но к событиям, изображаемым в пьесе, он не мог иметь отношения. Грем Джеймс 1-й, маркиз Монтроз, полководец, командовавший войсками Карла I в период гражданской войны в Шотландии, был казнен в 1650 г., то есть за 35 лет до изображаемых событий.

Сандунов перелагает текст повести, то сокращая реплики персонажей, то дополняя их. В повести о короле говорится кратко:

Иаков не был по природе своей зол, но имел весьма слабый дух и робкое сердце <...> Иаков второй поручил своему канцлеру Джефрею и полковнику Кирке казнить всех бунтовщиков...

Сандунов в первой же сцене погружает зрителей в атмосферу жизни напряженной, полной опасности. Устами лорда Монтроза

Монтроза дается гневная характеристика Кирке, Джефрея и короля, получающая политическое звучание:

[Письмо] От полковника Кирке? От такого человека, в душе которого вечность и должность, сердце и чувства давно уже погашены, в душе которого добродетель и закон никогда не имели места (*вздолнув*), и однако ж пользуется он милостями монарха и ничего не стоящий Джефрейс, подобный ему в злобе и превосходящий его в слабостях, отдает ему в руки меч справедливости — несчастная та страна, где истинному патриоту запрещен доступ к монарху, к монарху, которого слабая душа совсем обессиливает в подобных оборотах окружающих его льстецов, которого мало видящее око ослепляется ложным блеском доказательства! (л. 2)

Сандунов эмоционально усилил сцену ареста Сиднея и сцену допроса, что придало этому образу индивидуальные черты. Сидней ведет себя с достоинством и предельной откровенностью. Это отражено в его репликах и сценическом поведении, диктуемом авторскими ремарками: «входит с благородным видом и кланяется суду», «с усмешкою и спокойным великодушием», «с крайним презрением». Существенно расширен в трагедии трогательный эпизод, в котором Энни читает письмо Сиднея из тюрьмы (речи о том, что оно написано кровью, нет). Сандунов словно следует замечанию Делиля:

Если бы я имел слог руссов и дарование рихардзоново, то все слабо еще изобразил бы порывистые смятения, обладавшие Пеннию при чтении сего злосчастного любовникова письма (Делиль де Саль 1786: 33).

Радость Энни сменяется тревогой, затем она «при первом слове пришла в содрогание и упадает без чувств на руки Вилмона» (л. 23). Придя в себя, она хочет читать, но не может и отдает письмо Вилмону, чтобы он закончил чтение. До конца чтения она «одержима отчаянием и скорбью, потом встает с решительным видом» (л. 25).

Разговор Энни с Кирке разработан с особой обстоятельностью. Он напоминает диалог Врума и Луизы из трагедии Ф. Шиллера «Коварство и любовь» и вмещает исчерпывающую характеристику всех пороков Кирке. Сандунов включил в пьесу выразительный эпизод из повести, когда Кирке, усадив девушку на стул подле себя, пододвигается к ней и пытается ее обнять, а она, «закрасневшись», отодвигает стул.

В гневных репликах Энни, оскорбленной предложением Кирке, а затем в размышлениях Сиднея накануне казни, звучат мысли о неизбежном наказании за грехи и о блаженном утешении, которое найдет добродетельная душа, соединившись с Богом. Они созвучны размышлениям Делиля из предисловия и послесловия к повести. Его рассуждения о нравственности, заложенной в каждом человеке, подтолкнули Сандунова к решению усложнить характер Кирке. Как видно из его монологов, иногда этот злодей чувствует нечто похожее на угрызения совести, но сам восстает против этих чувств.

В конце второго действия измученная сомнениями Энни находится на грани безумия. Ей кажется, что она видит Сиднея, который зовет ее и просит о помощи. Девушка выпивает сонный напиток, велит слугам уйти и не запирает двери на ночь.

Часть третьего действия пьесы (явления 1–6) дошла до нас в редакции 1789 г. Очевидно, что правке, а возможно, и существенной переработке подверглись кульминационные эпизоды. Сообразуясь с духом времени и необходимостью соблюдать благопристойность на сцене, Сандунов внес изменения в сюжет. При этом он довольно долго сохраняет интригу для зрителей. Они видели Энни, сидящую «в беспорядке в креслах» (л. 40 об.). Она в растерянности и не знает, что произошло ночью. Полли и Вилмон смотрят на неё с жалостью и со слезами на глазах. Она готова к любому известию. Однако ее опасения напрасны. С большой осторожностью слуги готовят Энни к встрече с отцом. После трогательной сцены свидания Лилли сообщает дочери, что, благодаря

благодаря заступничеству лорда Монтроза, король простил Сиднея. Когда появляется Кирке, его судьба уже предрешена. Он погибает от меча Лилли, успев показать Энни в окно тело Сиднея на эшафоте. Воскликнув «Чудовище!» (л. 60), Энни умирает.

В финале трагедии Монтроз рассказывает, что пытался остановить казнь, имея в руках «милостивую грамоту» короля, и «при великом народном стечении» достиг эшафота, но было уже поздно. Народ, призванный «к отмщению за сие тайное убийство», разоряет дом Кирке. Этот финал пьесы и сцена, описывающая народное возмущение, обнаруживает возможное знакомство Сандунова с трагедией И. А. Феслера «Сидней», написанной на тот же сюжет.

Ординарный профессор Львовского университета (с 1784 г.) и доктор богословия, в прошлом ученик иезуитской коллегии, монах, а затем священник капуцинского монастыря, Игнатий Аврелий Феслер (1756–1839) начал работу над трагедией «Сидней», по-видимому, в том же году, что и Сандунов над своим переложением. К этому времени Феслер пережил тяжелый духовный кризис, вызванный его неудачными попытками добиться церковных реформ, которые смягчили бы жестокие монастырские порядки. Задумав написать историко-психологическое сочинение в диалогической форме о Марке Аврелии как мудром правителе, Феслер решил сначала испытать свои литературные способности в драматическом произведении. Позже, в геттингенском периодическом издании «Stats-Anzeigen» (1790) он назвал источник своего вдохновения: «la Philosophie de la Nature, T. II, p. 236» (Stats-Anzeigen 1790: 81), то есть «третье» (а фактически четвертое) издание «De la Philosophie de la Nature» (Londres, 1778), — в других изданиях «История Дженни Лилль» начинается с иных страниц.

Феслер сохранил ключевые эпизоды дельлевского сюжета: письмо Сиднея, написанное кровью, суд над ним, встреча Дженни с Кирке и сцену с придвигаемым стулом, demonstra-

цию тела Сиднея за окном. Однако наполнено это другими смыслами. События происходят на фоне борьбы радикальных религиозных движений и католицизма. Главным действующим лицом стал Сидней, борец за свободу нации от угнетения и жестокостей, враг короля. Его монологи полны патетики. Пьеса разрослась до пяти действий, в ней 18 действующих лиц: кроме основных персонажей — офицеры, сторонники Сиднея, соратники и слуги Кирке. Появились шекспировские и шиллеровские мотивы. Дженни оказывается дочерью заклятого врага отца Сиднея, но это не разрушает их любовь. Девушке не приходится принимать трудного решения, она становится жертвой Кирке под действием опия, подсыпанного ей в питье. На суде, в ответ на вопрос Кирке о его вероисповедании, Сидней заявляет, что не принадлежит ни к какой церкви, но он христианин: «Человечество есть мой Бог, и любовь к людям — моя религия» (Fessler 1788: 58). В финале трагедии Кирке получает известие, что Сидней помилован королем и что возмущенная толпа собирается напасть на его дом и убить его. Однако он умирает от кинжала графа Гаррингтона, который берет Дженни под свою опеку. Реплика Гаррингтона «Так торжествует добродетель раз в тысячу лет!» (Там же: 124) подводит итог трагедии.

Свою пьесу Феслер прочел друзьям, и по их настоянию передал ее в театр. Пьеса была представлена 26 января 1788 г. (Fessler 1824: 223) заезжей труппой Карла-Людвига Тоскани (1760–1789), который был директором Лембергского (Львовского) театрального общества в 1787–1789 гг.⁹ Трагедия имела шумный успех у публики, которой понравились резкие высказывания о тирании Якова II и религиозном фанатизме в Англии. Но иезуиты, присутствовавшие в театре, увидели в ней «множество соблазна, возбуждение к мятежу, нападение на католическую церковь и порицание ее священников» (Попов 1879: 61). Пьеса была запрещена, рукописи с текстом сожжены

⁹ Подробнее о лембергском театре 1780-х гг. см.: (Got 1971: 15–30; 1997: 1, 16–34).

сожжены (Neues Theater-Journal 1788: 85). Феслер вынужден был бежать в прусскую Силезию, в Бреславль. Здесь он нашел дружеский прием в доме книгопродавца Корна. Часть рукописей, по-видимому, все-таки сохранилась. Стараниями Корна трагедия «Сидней» была напечатана в феврале или марте 1788 г. с фиктивными выходными данными и с ошибкой в датировке театральной премьеры (Fesler 1788). Немецкий печатный текст получил довольно широкое распространение. Неизвестным до сих пор оставался тот факт, что 26 сентября 1788 г. «Сидней» был представлен и в Бреславле. Роль Сиднея исполнил Иоганн-Христоф Каффка (1754–1815) (Neues Theater-Journal 1789: 40).

Завершение пьесы прощением Сиднея и описанием народного волнения сближает тексты Феслера и Сандунова. Есть в них и другие, хотя и незначительные, сходства в эпизоде, когда Энни приходит к Кирке. Однако последние восемь листов рукописи театральной библиотеки, как и первые 38 листов, датируются 1787 г. Мог ли Сандунов познакомиться с текстом «Сиднея» Феслера до его опубликования в 1788 г.? Все доводы в пользу этого предположения — косвенные, включая, как мы убедились, указание на титульном листе «переведена с немецкого». Однако таких доводов несколько.

Других пьес на тот же сюжет, кроме феслеровской, на немецком языке написано не было.

Исследователями отмечен случай, когда Сандунов перевел пьесу по суфлерской рукописи, имевшей хождение среди немецких антрепренеров и, очевидно, завезенной ими в Москву. Это была одна из редакций «Разбойников» Шиллера, вольно переработанная К. М. Плюмике (Harder 1975: 85–106; Данилевский 2013: 70).

«Сидней» был представлен в начале 1788 г. Очевидно, что работу над трагедией Феслер начал в 1787 г., а может быть и раньше, так как не имел опыта в написании пьес. После завершения работы над рукописью потребовалось какое-то время для получения цензурного разрешения, для перегово-

ров с Тоскани, для подготовки копий текста восемнадцати актерам, для разучивания ролей. Возможно, существовало несколько редакций пьесы. Объем ее печатного текста невелик, а на сцене она шла, по некоторым сведениям, три часа, по другим пять или шесть часов (Stats-Anzeigen 1788: 302). На протяжении всего подготовительного периода какие-то списки пьесы могли попасть в руки людей, заинтересованных в расширении репертуара Петровского театра.

Очевидно, что Петровский театр был в это время как-то связан с бреславльской сценой. 12 сентября 1788 г. в Бреславле была поставлена опера Готлиба Стефани-мл. с музыкой Диттерсдорфа «Аптекарь и доктор» («Der Apotheker und der Doktor»). Сандунов перевел ее на русский язык уже в 1789 г.¹⁰ В 1790 г. он перевел комедию «Завещание», оригиналом которой могла послужить комедия графа фон Брюля «Die Erbschaft, oder das wunderliche Testament» (Brühl 1788), поставленная в Бреславле в 1789 г.

Не исключена возможность университетских связей между Львовом и Москвой. Сослуживцем Феслера по университету некоторое время был П. Д. Лодий, преподававший логику и метафизику. Затем он переехал в Россию и позже способствовал знакомству Феслера с М. М. Сперанским (Попов 1879: 631).

Нельзя исключить также масонские связи. Феслер был принят в ложу «Феникс к Круглому столу» («Phoenix zur runden Tafel») в мае 1783 г. во Львове. Московские масоны были частыми посетителями Петровского театра. Видный масон князь Г. П. Гагарин с 1783 г. входивший в «Дружеское ученое общество», возникшее по инициативе И. Г. Шварца и Н. И. Новикова, был одним из директоров «редута», своеобразного театрального клуба, учрежденного в 1785 г. Медоксом (Чаянова 1927: 89–90).

Как бы там ни было, не вызывает сомнений то, что «Сидней и Энни» Сандунова восходит к новелле Делиля де Саяя.

К

¹⁰ Русская премьера состоялась 29 января 1791 г. См. также рецензию Н. М. Карамзина (Московский журнал 1791: 77–78).

К этой же новелле восходит и «Сидней» Феслера. Знал ли Сандунов трагедию Феслера или нет — ответить со всей убедительностью на этот вопрос пока нельзя.

В декабре 1789 г. Медокс вынужден был передать свой театр в управление Опекунскому совету, оставшись лишь в должности директора. На сцене Петровского театра время от времени еще шли старые трагедии, но постепенно они уступали место драмам.

Жизнь Феслера с 1809 г. была связана с Россией, но и здесь она складывалась не просто. В 1811–1813 гг. он преподавал в пансионе «Пропилен», открытом К. В. Злобиным в городе Вольске Саратовской губернии (Степанов 1988: 340; см. также: Горбачев 2010: 88–92), и был похоронен на Волковском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Берков 1952 — Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952.
- Бухаркин 1993 — Бухаркин П. Е. Проблема комического в русской комедии середины XVIII века // XVIII век. Сб. 18. СПб., 1993. С. 313–321.
- Гаврилов 1985 — Гаврилов А. К. Марк Аврелий в России // Марк Аврелий Антонин. Размышления. Л., 1985. С. 116–169.
- Горбачев 2010 — Горбачев Д. В. И. А. Феслер в Поволжье: о чем «забыл» автор мемуаров // Известия Саратовского университета. 2010. Т. 10. Вып. 2. С. 88–92.
- Данилевский 2013 — Данилевский Р. Ю. Фридрих Шиллер и Россия. СПб., 2013.
- Делиль де Саль 1786 — [Делиль де Саль Ж.-Б.-К.] Путь мыслить о бессмертии души. Взято из «De la Philosophie de la Nature» («О любомудрии природы»). Из сочинения Z* // перевел с франц. С. Д. П. П. А. Г. [Смоленского драгунского полка поручик А. Глебов]. СПб., 1786.

- Детское чтение 1786 — [Вейссе Х.-Ф.] Добрые дети. Драма для детей; в двух действиях / [Перевел с нем. Н. Н. Сандунов] / Детское чтение для сердца и разума. 1786. Ч. 7. № 29-30 [=33]. С. 37-101.
- Женни 1810 — [Делиль де Саль Ж.-Б.-К.] Женни Лиль. СПб., 1810.
- Клепиков 1952 — Клепиков С. А. Филигранные и штемпели бумаг русского производства XVIII-XX вв. / Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 13. М., 1952. С. 57-122.
- Клепиков 1959 — Клепиков С. А. Филигранные и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVIII-XX века. М., 1959.
- Кряжимская 1960 — Кряжимская И. [А.] Рукописное наследие Н. Сандунова / Русская литература. 1960. № 3. С. 137-144.
- Лепехин 1988 — Лепехин М. П. Глебов Александр / Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988. С. 196.
- Московский журнал 1791 — [Карамзин Н. М.] Московский театр / Московский журнал. 1791. Ч. 2. Апр. С. 77-78.
- Описание дел 1921 — Описание дел Архива Министерства народного просвещения. Т. 2 / под ред. А. С. Николаева, С. А. Переселенкова. Пг., 1921.
- Повесть 1791 — [Делиль де Саль Ж.-Б.-К.] Повесть о Энии Лиллии / Перевел с франц. из книги под заглавием «De la Philosophie de la Nature» М. Судаков / Новые ежемесячные сочинения. 1791. Ч. 64. Окт. С. 83-95. Ч. 66. Дек. С. 45-60.
- Попов 1879 — Попов Н. [А.] Игнатий-Аврелий Феслер. Биографический очерк / Вестник Европы. 1879. Т. 6. Кн. 12. С. 526-643.
- Рак 1969 — Рак В. Д. Библиографические заметки о переводных книгах XVIII века / Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Т. II. М., 1969. С. 145-156.
- Сон 1778 — [Делиль де Саль Ж.-Б.-К.] Сон Марка Аврелия / [перевел с франц.] Ив. Т. [= И. П. Тургенев] / Утренний свет. 1778. Ч. 4. Ноябрь. С. 195-208.
- Сон 1779 — [Делиль де Саль Ж.-Б.-К.] Сон Марка Аврелия / [перевел с франц. Н. Левицкий]. СПб., 1779.

- Список служащих 1908 — Список служащих 3-го Уланского Смоленского Императора Александра III полка. 1708–1908 г. / сост. В. Годунов, А. Королев. Либава, 1908.
- Степанов 1988 — Степанов В. П. Злобин Константин Васильевич // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988. С. 338–340.
- Чаянова 1927 — Чаянова О. [Э.] Театр Маддокса в Москве, 1776–1805. М., 1927.
- Энни 1802 — [Делиль де Саль Ж.-Б.-К.] Энни / переведена с франц. [П. Домогацким]. М., 1802.
- Brühl 1788 — [Brühl A.-F. Graf von]. Die Erbschaft, oder das wunderliche Testament. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen von A. F. Gr. v. B. Dresden, 1788.
- Childs 2014 — Childs J. General Percy Kirke and the Later Stuart Army. London; New York, 2014.
- Delisle 1770 — [Delisle de Sales J.-B. C.] De la Philosophie de la Nature. Т. 1–3. Amsterdam, 1770.
- D’Israeli 1824 — D’Israeli I. A Second Series of Curiosities of Literature. Vol. 1–3. 2nd ed., corrected. London, 1824.
- Feßler 1788 — [Feßler I.-A.] Sydney. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen / so auf dem Lemberger Theater in Gallicien mit Censur am 9 ten Febr. 1788. von der Toscanischen Gesellschaft aufgeführt, nach der Aufführung aber gleich unterdrückt worden — und dann wichtige Folgen für den Verfasser [= Ignaz-Aurelius Feßler] gehabt. Gedruckt zu Cölln [= Breslau], 1788.
- Feßler 1824 — [Feßler I.-A.] Dr. Fessler’s Rückblicke auf seine siebenzigjährige Pilgerschaft. Ein Nachlass an seine Freunde und an seine Feinde. Breslau, 1824.
- Got 1971 — Got J. Na wyspie Guaxary: Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789–1799. Kraków, 1971.
- Got 1997 — Got J. Das österreichische Theater in Lemberg im 18. und 19. Jahrhundert: Aus dem Theaterleben der Vielvölkermonarchie. Bd. 1–2. Wien, 1997.
- Harder 1975 — Harder H.-B. Zur Textvorlage der ersten russischen Übersetzung von Schillers „Räubern“ // Festschrift für Alfred Rammelmeyer / hrsg. von H.-B. Harder. München, 1975. S. 85–106.

- Hume 1766 — Hume D. Histoire de la Maison de Stuart sur le Trône d'Angleterre. T. 1-6. Londres, 1766.
- Malandain 1982 — Malandain P. Delisle de Sales, philosophe de la nature (1741-1816). Vol. 1-2. Oxford, 1982. (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Vol. 203-204)
- Neues Theater-Journal 1788 — Briefauszüge *ſ* Neues Theater-Journal für Deutschland. H. 1. Leipzig, 1788. S. 80-85.
- Neues Theater-Journal 1789 — Vom Breslauer Theater *ſ* Neues Theater-Journal für Deutschland. H. 2. Leipzig, 1789. S. 38-46.
- Philosophie 1773-1774 — [Delisle de Sales J.-B.C.] Die Philosophie der Natur: Aus dem Französischen. Bd. 1-2. Frankfurt; Leipzig, 1773-1774.
- Philosophie 1787 — [Delisle de Sales J.-B.C.] Philosophie der Natur <...>. Bd. 1-6. Berlin [= Ulm], 1787.
- Stats-Anzeigen 1788 — Lemberg in RotRußland, Apr. 1788: hauptsächlich die dortige neue Universität betreffend *ſ* Stats-Anzeigen. Bd. 12. H. 47. Göttingen, 1788. S. 301-310.
- Stats-Anzeigen 1790 — Auszug der Ehren Rettung des Hrn. D. Feßlers; gegen oben, Stats-Anz. [1788. Bd 12]. H. 47. S. 302 folg. *ſ* Stats-Anzeigen. Bd. 15. H. 57. Göttingen, 1790. S. 76-85.
- Sydnei 1787 — Sydnei und Jenny. Eine Englische Geschichte *ſ* Bibliothek für Jünglinge und Mädchen. Eine Monatsschrift. Hamburg, 1787. Bd. 2. H. 3. Apr. S. 131-145; Bd. 3. H. 1. Mai. S. 3-12.
- Toulmin 1791 — Toulmin J. The History of the Town of Taunton, in the Country of Somerset. Taunton, 1791.
- Uchastkina 1962 — Uchastkina Z. V. A History of Russian Hand Paper-Mills and Their Watermarks. Hilversum, 1962.



УТАЕННАЯ ЛЮБОВЬ М. Н. МУРАВЬЕВА

Тема любовных переживаний М. Н. Муравьева не часто привлекала внимание исследователей. Авторы первых изданий его сочинений отмечали «прекрасную, нежную душу» (Карамзин 1810: 2) воспитателя будущего царя Александра I и его брата Константина, «дейтельного мудреца, доброго отца семейства, истинного патриота, любителя порядка и шастия ближних» (Батюшков 1819: XXV). При этом, чувства уважения и дружбы к вдове писателя, Е. Ф. Колокольцевой (1771–1848), не позволяли даже и думать ни о предыдущих симпатиях Муравьева, ни о самом этом браке.

Он относительно поздно для эпохи (в 1794 г., 35-ти лет) женился на немолодой дочери богатейшего Ф. М. Колокольцева, тогда старшего обер-прокурора Сената, впоследствии Сенатора и барона; это было то, что недоброжелатели называли бы если не браком по расчету, то по крайней мере желанием определиться. Недавно введенные в научный оборот А. Зориным две серии писем к жене (март-май 1797 г.), представляющие собой настоящую переписку на французском языке и «литературный дневник в форме писем» по образцу «писем к Элизе» Л. Стерна, использованы им исключительно для сопоставления «социального» и «литературного» «эмоциональных сообществ», в которые включился Муравьев, русский придворный и европейский сентиментальный писатель (Зорин 2011).

В 1913 г. автор первой всесторонней монографии о Муравьеве Н. Жинкин использовал как документальный источник (тогда) неопубликованные легкие или эротические стихотворения писателя и пришел к заключению, что «до 1782–84 года любовная лирика Муравьева вообще очень бедна»: в авторе «Pièces fugitives», посвященных «какой-то Нине» «скорее виден человек, весело проводящий время в компании

молодежи, чем любовник, всецело занятый своим чувством» (Жинкин 1913: 285). И хотя «в рукописях М. Н. Муравьева имеется довольно много стихотворений эротического характера, относящихся к 1780 и к 1787 годам» исследователь должен был признаться, что «кто был на этот раз предметом его увлечений — сказать трудно, так как на это не имеется никаких положительных указаний в рукописных материалах» (Там же: 288–289). Вместе с тем, советский исследователь легкой поэзии Муравьева В. Бруханский подчеркнул условный и литературный характер любовной лирики поэта, который «либо ограничивается поверхностным, подчеркнуто легким изображением отдельных внешних сторон своих отношений с реальной, а очень вероятно, что и условной дамой сердца», либо делает любовную тему «отправным пунктом для создания своих „убегающих стихов“» (Бруханский 1959: 165–166). С тех пор стихи Муравьева, в том числе и любовные, рассматривались преимущественно с художественной и/или философской точки зрения (Муравьев 1967).

Через девяносто лет после Жинкина новую попытку усмотреть реальное переживание за трафаретными образами и выражениями предпринял В. Топоров в седьмом и восьмом «анализах» («Из любовной лирики М. Н. Муравьева»; «„Нисин“ текст Муравьева — образ Nice у Метастазियो») второй книги своей трехтомной монографии (Топоров 2003: 719–800). Автор не называет имен прототипов различных литературных имен (Нина, Алина, Розана, Белинда, Аглая, Алзора, Ниса), но определяет женские типы, вдохновляющие любовную лирику писателя. При этом большинство из муравьевских стихотворений в трактовке исследователя включается в два культурных текста — «Нинин» (ср.: Пенковский 2003) и «Нисин» (Метастазियो) тексты. Особый случай представляет, по его мнению, один из шедевров муравьевской лирики:

стихотворение «О милое мечтанье», изданное в «Модном ежемесячном издании, или Библиотеке для дамского туалета» (1779. Ч. 2 С. 35), хотя в нем и нет имени Нины (но есть Ниса); тем

не менее оно фигурировало и под названием «Станс к Нине», что в частности, и определяет его принадлежности к «„Нинину“ циклу» (Топоров 2003: 726).

В самом деле, автор напечатал стихотворение под заглавием «Станс. К Нине», но в более раннем¹ и позднем² списках именем возлюбленной является «Ниса».

Не касаясь сложного вопроса соотнесенности образов очаровательной «Нины» и коварной «Нисы» и их прототипов, настоящую заметку мы начнем с стихотворения, записанного скорописью середины 1780-х гг. рядом с первоначальной редакцией «Милого мечтания» и представляющего собой настоящую «палинодию» ее.

Я Нису пел: Александрицу
Теперь я петь хочу
Которой рабства не покину
Покуда жизнь влачу.

Покинул Нису я, унижен
Судьбой враждебницей и тьмой
В которой гибня разум мой
Был хладу общему приближен.

Я продолжал еще иль жить иль тяготеть
И сладости любить мнил быти непричастен.
Доставил случай мне Александрицу зреть
И я почувствовал, что я не так несчастен³.

«Александрине» посвящено другое стихотворение, своеобразный «исторический комплимент», приписанное скорописью в той же «Записной книге» и датированное автором «1784 года Мая 30 числа»:

¹ Ср. Алехина 1990: 42, №165.

² Опубликованном Л. И. Кулаковой (Муравьев 1967: 177–178).

³ НИОР РГБ. Ф.178. Картон 1161. Ед. хр.п. Л.46 об. Ср.: (Алехина 1990: 60, №365).

Сегодня, за сто лет родился Петр Великой⁴
 Для укрощения России дикой:
 И за пятнадцать лет,
 Сегодня ты узрела свет,
 Прекрасное дитя, моя Александрина!
 Затем моих пристрастий половина
 Одна даруется великому Царю;
 Другая, но тебя чем более я зрю,
 Тем боле мню, что ты имеешь все одина⁵.

Эти стихотворения не увидели свет, но не исключено, что той же молодой девушке посвящено короткое стихотворение, датированное 6 декабря 1784 г. (Алехина 1990: 47, № 141) и напечатанное в конце 1780-х гг. вместе с «Посланием о легком стихотворении» под заглавием «Надпись. К изображению Алины» (Муравьев 1967: 223; Западов 1999: 310). Это подтверждается тем, что такую же дату мы читаем под любовным четверостишием на французском языке, также посвященном «Александрине»:

Telle est Alexandrine, au moment du lever,
 Qu'heureux est le mortel, qui sous son doux Empire,
 La voit des jours entiers et folâtrer et rire;
 Mais plus heureux un jour qui la fera rêver⁶.

Отсылка к конкретной дате рождения во втором стихотворении заставляет предположить, что речь идет о настоящей девушке, какой-то Александре, рожденной 30 мая 1769 г. Однако шутливый тон не дает понять, что перед нами — светский

⁴ Как записал сам Муравьев в одной из своих тетрадей, на самом деле «Петр Великий родился 1672 года Мая 30 дня» (ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 37. Л. 31).

⁵ НИОР РГБ. Ф. 178. Картон п 161. Ед. хр. 1. Л. 28.

⁶ ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 30. Л. 20 об. «Такова Александрина, когда она встает, / Что блажен смертный, который под ее нежной властью / Видит ее целыми днями резвящейся и смеющейся, / Но блажен более тот, кто заставит ее когда-нибудь мечтать» (здесь и далее перевод автора статьи).

комплимент симпатичной девочке или серьезное признание в любви. А другие документы подтверждают последнее предположение.

Если рождению чувства Муравьев посвятил стихи, то через шесть лет свое разочарование он излил в письмах любимой сестре Федосье⁷, к тому времени жене С. М. Лунина и живущей в Тамбовской губернии. В письме от 14 ноября 1790 г., после известий о родственниках и знакомых Муравьев переходит к себе, уподобя себя Дон Кихоту и, как только речь идет о любви, заменяя русский язык (рифмованным) французским:

О кавалере Михаиле печального вида, что я скажу? Celle que j'aime et que j'aimai, ma belle et bonne *Alexandrine*, bientôt sans retour, ni délai, ne me sera rien, que *Cousine*. Vous connoissez bien ce *marin*, plein de feu, de *Bonhomie*: en bien! C'est ce même *cousin*, qui me ravit ma *bonne amie*⁸.

Очевидно сестра не поняла, кого Александрина предпочитает брату, а ему советовала радоваться счастьем возлюбленной. В письме от 5 декабря, после ряда шуток о своем положении «безженника», Муравьев пользуется случаем, чтобы вернуться к предмету своей любви. И в его словах звучит искреннее чувство:

Je vous suis infiniment obligée de la maniere délicate, dont vous me faites sentir mon devoir. Moi m'affliger du bonheur d'une personne aussi chère, aussi estimable! Car vous m'accorderez un peu de discernement. Et je ne suis plus aveuglé par la passion. Je ne sais, si je le fus jamais. Mais elle est faite pour rendre

⁷ Несколько лет назад мы обратили внимание на культурное значение особой любви-дружбы, связывающей Муравьева с сестрой (Rossi 2002–2003).

⁸ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Оп. 1. Ед. хр. 53. Л. 78 об. Курсив мой — Л. Р. «Та, которую я люблю и любил, моя хорошенькая и добрая Александрина, скоро бесповоротно и незамедлительно не будет для меня никем более, нежели Кузиной. Вы хорошо знаете того моряка, полного огня, хорошего нрава. Вот именно этот двоюродный брат похищает у меня мою возлюбленную».

un epoux heureux. Je l'ai vu charmante le jour de ses fiancailles. Epouse, vous lui accorderez un jour de l'amitié et de l'estime. Car ce sera une femme raisonnable, douce, bonne. Son promis, ce Nicolas, que vous n'avez pas deviné, est l'aide de camp du prince Nassau⁹.

Детали более чем достаточны, чтобы понять, что речь идет о помолвке незаурядного молодого человека, недавнего героя шведской войны Николая Николаевича Муравьева (1768–1840)¹⁰ и Александры Михайловны Мордвиновой (1769 или 1770–1809), дочери М.И. Мордвинова. Воспоминания ее второго сына Николая, генерала, известного как Муравьева-Карского показывают, что Муравьев не ошибся и не был «ослеплен страстью»:

Матушка скончалась в 1809 году Апреля 21-го дня, на 39-м году от роду. Наружность её соответствовала прелестным качествам души. Причиною кончины ее было то, что она хотела, вопреки совета врачей, сама кормить брата Сергея, дабы не обидеть его против старших пятерых детей своих, которых сама вскормила. Кончины её были ещё причиною заботы и труда, перенесённые почти на исходе беременности при постели старшего брата моего Александра, находившегося при смерти от постигшей его сильной горячки (Муравьев-Карский 1885: 23).

В ранней переписке Муравьева имя отца девушки всегда встречается в связи с именем «благодетельницы» Анны Андреевны,

⁹ Там же. Л. 26–26 об. «Я Вам бесконечно признателен за то, сколь деликатно Вы дали мне почувствовать мой долг. Но мог бы я печалиться счастьем особы, достойной любви и уважения? Ведь Вы признаете за мной пронизательность. И я уже не ослеплен страстью. Не знаю, был ли таким раньше. Но она сделана, чтобы сделать мужа счастливым. Я видел ее очаровательной в день помолвки. Когда она станет женой, Вы будете ей другом и будете уважать ее. Так как она будет женой разумной, кроткой, доброй. Ее жених, тот Николай, о котором Вы не догадались, стал адъютантом князя Нассау».

¹⁰ Он отличился и затем был взят в плен в сражении при Роченсальме 28 июня 1790 г. (Муравьев-Карский 1914: 478).

евны, вдовы Николая Ерофеевича Муравьева, матери Николая Николаевича, которая во втором браке стала женой богатого князя Александра Васильевича Урусова (Муравьев 1980: 333, 335). В этой среде Михаил Никитич познакомился и с очаровательной девушкой. Он «ждал», пока она подрастет, а он сам сделает карьеру, но был опережен более молодым и блестящим во всех отношениях кузенком. На фоне этого сопоставления следует читать и последующие иронические самоопределения «полковника без полку»¹¹ и «школьного учителя»¹².

Начало моего знакомства с юбиляром связано с изучением литературного значения писем (Бухаркин 1982;

Росси 1994). Это не мешает посвятить ему статью, где они использованы преимущественно как документальный источник.

~ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ~

- Алехина 1990 — Алехина Л. И. Архивные материалы М. Н. Муравьева в фондах Отдела рукописей // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 49. М., 1990. С. 4-87.
- Батюшков 1819 — Батюшков К. Н. Письмо к И. М. М^куравьеву-А^кпостолу // Муравьев М. Н. Полное собрание сочинений. Ч. 1. СПб., 1819. С. I-III.
- Бруханский 1959 — Бруханский А. Н. М. Н. Муравьев и «легкое стихотворство» // XVIII век. Сб. 4. М.; Л., 1959. С. 157-171.
- Бухаркин 1982 — Бухаркин П. Е. Письма писателей XVIII века и развитие прозы (1740-ые — 1780-ые гг.) // Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1982.

¹¹ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 36 (письмо от 5 июня 1791 г.).

¹² Там же. Л. 25 (письмо от 24 апреля 1791 г.).

- Жинкин 1913 — Жинкин Н. И. М. Н. Муравьев (по поводу истекшего столетия со времени его смерти) *И* Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. 1913. Т. 17. Кн. 1. СПб., 1913. С. 273–352.
- Западов 1999 — Западов В. А. Муравьев М. Н. *И* Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. СПб., 1999. С. 305–313.
- Зорин 2011 — Зорин А. Л. Разлука с семьей весной 1797 года: двойная идентичность Михаила Муравьева *И* Новое литературное обозрение. 2011. № 10. С. 188–201.
- Карамзин 1810 — Карамзин Н. М. От издателей *И* Муравьев М. Н. Опыты Истории, Словесности и Нравоучения. М., 1810. С. 1–4.
- Муравьев 1967 — Муравьев М. Н. Стихотворения *И* вступ. ст., подгот. текстов и примеч. Л. И. Кулаковой. Л., 1967.
- Муравьев 1980 — Муравьев М. Н. Письма отцу и сестре 1777–1778 годов *И* Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 259–378.
- Муравьев-Карский 1885 — Муравьев-Карский Н. Н. Записки (1811 и 1812 годы) *И* Русский архив. 1885. Кн. 3. Вып. 9. С. 5–85.
- Муравьев-Карский 1914 — М[уравьев] Николай Николаевич *И* Военная энциклопедия: в 18 т. Т. 16. СПб., 1914. С. 478–479.
- Пенковский 2003 — Пенковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 2003.
- Росси 1994 — Росси Л. К вопросу о соотношении эпистолярной и художественной прозы в России в последней четверти XVIII века *И* Slavica tergestina. 1994. Vol. 2. P. 91–115.
- Топоров 2003 — Топоров В. Н. Из истории русской литературы. Т. II: Русская литература второй половины XVIII века. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Кн. II. М., 2003.
- Rossi 2002–2003 — Rossi L. De F. N. Murav'eva à Théone: réalité et mythe littéraire dans le sentimentalisme russe *И* Revue des études slaves. 2002–2003. Т. 74. № 4. P. 777–792.



«ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭПИЗОД» В РУССКИХ СЕНТИМЕНТАЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ

Если говорить о русском сентиментальном путешествии с точки зрения генезиса жанра, то следует признать, что элементы, из которых оно строится, почти всегда восходят одновременно к Н. М. Карамзину, родоначальнику этого типа произведений в России, и к западноевропейским источникам, на которые сам Карамзин во многом и опирался. Это относится к самой форме путешествий, построенных обычно как дневник или серия писем к родным и друзьям (включая сюда многочисленные обращения к ним, разбросанные по тексту, и т. д.), к литературному пласту отсылок и цитат (апелляция к прославленным сентиментальным мастерам, сочувственные упоминания произведений искусства, литературы), к описаниям городов, встреч с выдающимися современниками, исторических эпизодов, вызываемых в памяти путешественника посещением того или иного места. Все это, безусловно, воспринималось сначала как новость (но являлось таковым только на русской почве), а в дальнейшем стерлось и вызвало отторжение, что отразилось как в оценке конкретных произведений, так и в создании пародий на жанр. Но задача, которую приходилось решать Карамзину и его последователям самостоятельно, без опоры на западноевропейскую традицию, — это задача организации повествования, вернее, голоса повествователя, того самого «русского путешественника», вынесенного в заглавие карамзинских «Писем» и иногда отождествлявшегося с биографическим автором.

Не останавливаясь подробно на «двойном кодировании» текста, исследованном Ю. М. Лотманом и им же выделенном в «Письмах русского путешественника»¹, рассмотрим использо-

¹ Ср: «Литературная поза Карамзина как автора „Писем русского

ванный Карамзиным, а в дальнейшем и авторами других путешествий: В. В. Измайловым, кн. П. И. Шаликовым, П. И. Макаровым — прием включения в повествование «чувствительного эпизода», зачатка или, напротив, квинтэссенции сентиментальной повести².

Рассматривая вклинивающиеся в основное повествование фрагменты у Карамзина, Т. А. Роболи отмечала:

В композиционном отношении «Письма русского путешественника» отличаются тщательной замотивированностью связи своих частей. <...> Обычно ввод материала сопровождается обращением к адресату для поддержания общего эпистолярного тона, который несколько нарушается от массы отнюдь не эпистолярных форм, к тому же иногда довольно больших по размеру (Роболи 2007: 112).

На наш взгляд, это «нарушение тона» — не всегда побочный эффект, который нужно замаскировать; оно входит в художественную задачу. Передача другим персонажам ожидаемого, «готового» слова делает на этом фоне нейтральным стиль повествователя.

В «Письмах...» есть разбитый на несколько частей эпизод с датчанином Б* (Беккером), увлекшимся встретившейся путешественникам дамой из Ивердона. Начало этой истории описывает сам повествователь:

Вообразите, что новый мой знакомец Б*, с которым я уговаривался вместе путешествовать по Швейцарии, умирает — умирает от любви! Здесь в трактире живет молодая дама из Ивердона. Сегодня ужинала она за общим столом, сидела подле Б* и несколько раз начинала с ним говорить. Нежное сердце моего датчанина растопилось от огненных ее взоров. <...> Б* стоял, смотрел вслед за нею и наконец сказал мне, когда я

подошел путешественника“ двоилась в расчете на два различных типа аудитории» (Лотман, Успенский 1984: 526).

² «Вот вам канева для романа», — замечает Измайлов, комментируя один из таких эпизодов (Измайлов 1202: 3, 22).

подошел к нему, что он едва ли может завтра ехать со мною в Цюрих, чувствуя себя очень нездоровым (Карамзин 1964: 213–214).

Степень серьезности чувств Б* при этом не оценивается, это предоставляется сделать читателю, которому сообщает, что уже на следующий день «датчанин Б* исцелился от любовной своей болезни» (Там же: 214). Спустя несколько страниц он показан готовым к новым сердечным впечатлениям:

Мы обедали в маленькой швейцарской деревеньке, куда в одно время с нами приехала француженка в печальном платье, с девятилетним сыном и с белкою. Печальное платье, бледное лицо и томность в глазах делали ее привлекательною для меня, а еще более для моего мягкосердечного Б*. <...> Б* в восторге вскочил со стула, схватил руку ее, которою обнимала она сына своего, и прижал ее к своим губам (Там же: 216–217).

Вся история разворачивается на фоне «счастливой Гельвеции», в которой царствуют «мир и тишина» (Там же: 218), и тон повествователя если не лишен иронии, то мягкой, потому что он сам захвачен атмосферой естественной чувствительности. Зато в третьей части писем продолжение истории Б* и дамы из Ивердона рассказывает само действующее лицо в письме к повествователю:

Прятедь мой Б* уехал в Лозанну. Сию минуту получил я от него письмо. Вот оно: «Ах, мой друг! Жалей о несчастном! <...> скажу тебе откровенно, что ивердонская красавица возбудила во мне такие чувства, которых теперь описать не умею» (Там же: 312).

Далее Б* сообщает, что отправился верхом в Ивердон, надеясь увидеться там с пленившей его дамой, но сначала встреча с ее суровым отцом, потом холодный прием самой красавицы, а затем известие о предстоящей ей свадьбе велили в него ненависть к самому городу Ивердону. Остаток письма посвящен пирушке с англичанами, провозглашавшими

«чувствительные здоровья» в честь дамы, обратному пути Б* по заснеженной дороге, в котором «хладная смерть со всеми своими ужасами вилась» над ним — и полученной в результате поездки жестокой простуде. «Вот конец моего романа!» — завершает письмо Б*, а повествователь замечает: «Так, или почти так, пишет мой Б*» (Карамзин 1964: 315).

В повторном обращении к этому сюжету знаменательна как выдержанность письма в возвышенно-поэтическом ключе, так и прозаический конец (простуда), но главное — настойчивое возвращение к литературно-цитатному слою повествования (многократно описанная в литературе сентиментализма ситуация рыцарственного увлечения чужой невестой или женой) совершается здесь при помощи повествовательной инстанции низшего уровня, чем автор (и стоящий наравне с ним читатель), что позволяет представить «литературность» лишь одним из голосов, с которым не отождествляется сам повествователь.

Подчеркнем, что важно не угадываемое ироничное отношение повествователя к конкретному эпизоду, а сама возможность описать его в разных стилях, посмотреть на него с разных сторон. Это безусловно связано с задачей освоения прозаического повествования, но кроме того — и в первую очередь — происходит из существенных свойств мировоззрения и личности Карамзина, отражая их. Можно заключить, исходя из анализа «чувствительного эпизода», что в «Письмах...» важно, *кто* говорит, но еще важнее, что говорят *разные голоса*.

Подобными эпизодами, рассказанными иными лицами, насыщены и «Путешествие в Малороссию» Шаликова, и «Путешествие в полуденную Россию» Измайлова, и даже 15-страничные «Письма из Лондона» Макарова.

Так, повествователь «Путешествия...» Измайлова сообщает со слов своего знакомого историю девушки, лишившейся дара речи после расставания с женихом (подзаголовок отрывка — «трагический анекдот»). Весь рассказ об этом происшествии

шествии оформлен как прямая речь, полон чувствительных эпитетов и образов («Время протекает; бедная сохраняет чувство нежности ко всему, что было для нее мило; живая пантомима дает чувствовать, что сердце ее еще любить умеет, но выражение сего сладкого чувства не возвращается на бледные уста ее») и в целом неотличим от стиля основного повествования. Заканчивается рассказ таким резюме: «Я не могу продолжать; глаза мои полны слез, сердце полно горести» (Измайлов 1802: 2, 20), и если бы перед ним не закрывались кавычки, чрезвычайно затруднительно было бы определить, кому принадлежат эти слова и кто именно прерывается, рассказчик или путешественник.

В «Путешествии в Малороссию» подобный эпизод помещен в отдельную главу, оформленную как рассказ друга путешественника («Торжество невинности», о девушке, несправедливо обвиненной в любовной связи с отчимом; *Ландшафт моих воображений 1990: 521–522*). Несмотря на то что повествователь «Путешествия в Малороссию» начинает этот отрывок и прерывает рассказчика в середине, он не подводит итога рассказу и не высказывает своего суждения, лишь рекомендуя его своим «чувствительным друзьям».

Итак, у Измайлова и Шаликова нет стилистических различий между речью рассказчиков и повествователя, последний не дистанцируется от них, не занимает позицию над разными точками зрения, как это было у Карамзина. При этом оба автора чувствовали остроту проблемы «возвышенно-нежного» стиля и, каждый по-своему, стремились предупредить возникающее у читателя недоверие к содержанию выдержанного в этом стиле повествования. Ср. у Измайлова:

<...> Это было не в романе. Нет нужды сказывать, что это не роман. Путешествие сего рода не терпит выдумки (Измайлов 1802: 2, 44);

у Шаликова:

В сем путешествии нет ни статистических, ни географических описаний: одни впечатления путешественника описаны в

нем <...> «На что ж издавать его?» Ответ на это почти уже есть: *сердца, образованные для чувствительности, находят под печатью ее самую безделку приятностию* (Ландшафт моих воображений 1990: 516).

Оба используют «чувствительные эпизоды» для возбуждения в читателях переживаний, сходных с теми, которые сами, по их словам, испытали, слушая эти рассказы.

У Макарова наблюдается наиболее интересное решение: рассказ о чувствительном происшествии (любезном воре, который отказался грабить даму, чей перстень был подарен возлюбленным) передан лондонской газете, причем он соседствует с другим сообщением криминальной хроники, в котором жертва была ранена в трех местах ножом (Ландшафт моих воображений 1990: 507). Это явно выраженная ирония, которая при этом подтверждается прямыми высказываниями отношения к сентиментальному стилю, чего нет у Карамзина:

Вам, конечно, странно покажется, что я по сию пору не гуляю по какому-нибудь прекрасному и пространному загородному парку, ни сижу на мягкой, зеленой траве — при меланхолическом свете луны, под шумом искусственного каскада — не слагаю в голове своей систем о строении мира или о судьбе человечества; не поручаю зephyрам нести мои чувствования, мои вздохи к богине этого *рая*, молодой, прелестной англичанке — белокурой, нежной, томной, чувствительной — с голубыми глазами, с правилами достойными героинь добренькой *Скюдери*, с сердцем мягким, как воск на солнце (Ландшафт моих воображений 1990: 505).

Нельзя говорить о том, что отсутствие речевой дифференциации персонажей-носителей чувствительности (как у Шаликова и Измайлова) или, шире, однозначно явленное отношение к этой категории (включая уже и Макарова) — безусловная слабость авторов. Если перед Карамзиным была цель продемонстрировать стилистическое и мировоззренческое

ское разнообразие, дать «образцы» молодой прозе, то его продолжатели шли каждый по своему, особо выбранному пути.

Проведенное сопоставление позволяет скорректировать мнение Роболи о конструктивной функции сентиментальной повести в путешествии:

<...> Тогда как «письмо» может влиять на основную повествовательно-описательную ткань, как бы пронизывая ее насквозь, сентиментальная повесть влияет частично и, главным образом, не стилистически, а тематически (Роболи 2007: 107).

Путешествие в целом организуется не письмом, но эпистолярным, скорее даже исповедальным, дискурсом. А письмо и чувствительная повесть («чувствительный эпизод») входят в путешествие на правах риторически организованных элементов, как бы «чужих слов», и в композиционном плане они также равноправны благодаря этому. «Полифонический» потенциал жанра мы и стремились показать на рассмотренном нами материале.

~ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ~

- Измайлов 1802 — Путешествие в полуденную Россию, в письмах, изданных Владимиром Измайловым: [в 4 ч.] М., 1802.
- Карамзин 1964 — Карамзин Н. М. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1: Письма русского путешественника. Повести / сост., подгот. текста и примеч. П. Н. Беркова. Л., 1964.
- Ландшафт моих воображений 1990 — Макаров П. И. Письма из Лондона; Шаликов П. И. Путешествие в Малороссию / Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма / сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Коровина. М., 1990. С. 500–515, 516–570. (сер. «Классическая библиотека „Современника“»)

- Лотман, Успенский 1984 — Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника // изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. С. 525–606. (сер. «Литературные памятники»)
- Роболн 2007 — Роболн Т. А. Литература путешествий // Младоформалисты. Русская проза. СПб., 2007. С. 104–127. (1-е изд.: Русская проза. Л., 1926)



ЭТЮД Н. М. КАРАМЗИНА «НОЧЬ»: НЕКОТОРЫЕ
НАБЛЮДЕНИЯ НАД ПОЭТИКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ
ПРОЗЫ

Лирический этюд «Ночь» был написан Н. М. Карамзиным, по сути, в самом начале его творческого пути. Произведение было опубликовано автором в 1792 г. в Книжке Второй (за февраль) Части Пятой «Московского журнала» за подписью «-нъ». Это произошло за несколько месяцев до появления в печати «Бедной Лизы» — повести, прославившей имя писателя и положившей начало новой эры развития не только индивидуального дарования Карамзина в области художественной повествовательной прозы, но и всей литературы русского сентиментализма¹. Однако, по иронии судьбы, именно более поздние и значительно более популярные среди читающей публики карамзинские повести на первых порах решительно оттеснили, а впоследствии и вовсе отодвинули глубоко в тень забвения многие ранние и весьма важные для понимания процесса становления Карамзина-прозаика произведения, к числу которых, вне всякого сомнения, следует отнести «Ночь».

В своё время Ф. З. Канунова справедливо отмечала, что в «Ночи», наряду с двумя другими ранними произведениями писателя сходной манеры («Посвящением куши» и «Деревней») «напряжённый, хотя во многом ещё абстрактный лиризм усиливается за счёт яркой метафоризации речи и превращает повести Карамзина в своеобразные стихотворения в

¹ Ср.: «<...> „Бедная Лиза“ стала точкой отсчёта <...> для всей русской прозы Нового времени, неким прецедентом, отныне предполагающим — по мере усложнения, углубления и тем самым восхождения к новым высотам — творческое возвращение к нему, обеспечивающее продолжение традиции через открытие новых художественных пространств» (Топоров 1995: 7).

прозе» (Канунова 1967: 43). Вместе с тем, к детальному анализу произведения Канунова, преследуя в своей монографии несколько иные цели, не обращалась. Не был осуществлён подобный анализ и в работах Ю. М. Лотмана, по не вполне понятным причинам считавшего текст лирического этюда Карамзина «отрывком»². Тем не менее, этюд «Ночь», несмотря на отсутствие на протяжении многих лет сколько-нибудь заметного внимания к нему со стороны исследователей, по праву может быть назван одним из интереснейших, хотя и малоизвестных, образцов «субъективно-лирической» прозы Карамзина, ибо данное произведение, по сути, является прямым предшественником «лирических повестей»³ писателя, характеризующихся способом изображения субъективного состояния человеческой души посредством лирического монолога героя-повествователя (иначе — диегетического нарратора⁴) — таких, как неоконченный «Лиодор» (1792), «Остров Борнгольм» (1793) и «Сиерра-Морена» (1793).

Произведение написано в форме лирического монолога — от лица «чувствительного» юноши, который сначала с нетерпением ожидает минуты любовного свидания, затем со всей пылкостью влюблённого предаётся восторгам страсти со своей возлюбленной Хлоей и, наконец, в финале воспекает «Любовь всемогущую». Молодой писатель выстраивает текст таким образом, что читатели с первых же строк оказываются полностью «втянутыми» в атмосферу тихой, безмятежной ночи, которая при этом буквально пропитана любовным томлением героя-повествователя. Происходит это в первую очередь благодаря

² Ср.: «<<...> уже во 2-й книжке журнала был напечатан отрывок „Ночи“, представляющий собой *описание чувств* влюблённого <курсив Ю. М. Лотмана. — А. Т.>» (Лотман 1997: 329).

³ Произведений, в которых, по определению Ю. М. Лотмана, у Карамзина происходит соединение бессюжетного лирического монолога с сюжетной повестью (Там же: 329–330).

⁴ Подробнее о данном термине, применяемом в сфере нарратологии, см.: (Шмид 2003: 80–88).

благодаря субъективно-лирической манере повествования от первого лица. Однако не один только выбор нарративной манеры позволяет нам при обращении к этюду не просто увидеть изображаемый мир как будто бы своими глазами, но даже почувствовать дыхание и «пульс» этой идиллически-прекрасной ночи. Иллюзия абсолютного погружения в мир произведения во многом создаётся посредством постоянного (но, вместе с тем, отнюдь не хаотичного!) переключения или же в определённых случаях параллельного использования в тексте зрительного, слухового, обонятельного, осязательного «каналов восприятия» описываемой ситуации. Использование этого, казалось бы, незамысловатого приёма приводит к тому, что ночь у Карамзина в прямом смысле слова оживает, в полной мере обретает не только характерные краски, свои неповторимые звуки и запахи, но даже ни с чем не сравнимые, только ей присущие тактильные и температурные ощущения. И поскольку ночь описывается с пространственной, перцептивной и идеологической точек зрения (см.: Шмид 2003: 122–127) юного героя, смотрящего на всё глазами влюблённого человека и к тому же пребывающего в состоянии сладостного предвкушения любовной встречи, не удивительно, что его восприятие внешнего мира, малейших его деталей и движений обострено до предела. Особенно ярко эту высочайшую интенсивность восприятия демонстрируют первая и вторая части этюда.

Первую часть «Ночи» без всякого преувеличения можно назвать чистейшим образцом лирики в прозе. В ней герой-повествователь обращается ко всему живому, что традиционно составляет прелесть ночной природы в жизни и в поэзии — к месяцу (луне), ручью, цветам, деревьям и травам, соловью — с просьбой-«заклинанием» быть сегодня его «союзниками» в любви и всячески способствовать его счастливому воссоединению с возлюбленной. Помимо глубокой лиризации, данный фрагмент произведения привлекает к себе внимание не простой объёмностью, трёхмерностью изображения

идиллически-прекрасной Натуры: вместе с лирическим героем мы также ощущаем запахи ночного мира и даже можем осязать его! Иллюзия полного проникновения читателя в таинственный мир ночной природы и гармонического слияния с ним достигается благодаря одновременному или последовательному «включению» зрительного и слухового (чаще всего эти два вида идут в паре), а также обонятельного и (несколько реже) осязательного «каналов восприятия» всего того, что на самом деле происходит на наших глазах в произведении либо же является плодом живого, яркого воображения героя-повествователя:

Явился, прекрасное светило ночи, явился на лазурном своде и пролей серебряные лучи свои на тихую долину! Рассей ночные тени и страх любезной Хлои, идущей к своему другу, — да не боится она <...> терния колючего, таящегося во мраке!

Кристалльный ручеёк, резво текущий по зелёному лугу и тонкою пеною своих маленьких волн окропляющий голубые цветочки и мягкую травку красивых бережков своих! журчи, шуми в изгибах блестящих и будь весёлым вождём любезной Хлои, идущей к своему другу! Здесь, на мураве орошённой, дожидается он прихода её.

Дышите, дышите ароматами, фиоли ночные! Цветущие древа! питайте воздух своими сладкими испарениями! Каждая травка курись благовонием! я жду моей любезной.

Пой не умолкая, первейший из певцов крылатых! Из тона в тон да возвышается песнь твоя! Безмолвные рощи внимают тебе: да услышит тебя моя любезная, и волшебные трели твои да привлекут её в мои отверстые объятия! (Карамзин 1792: 271–272).

Вслед за процитированным выше фрагментом очарованный красотой природы герой-повествователь даёт не менее поэтическое описание ночи, используя при этом особенно выразительные в контексте произведения о любви образы и сюжет из античной мифологии:

Ночь тиха и прекрасна, подобно той, в которую целомудренная Диана на горе Карийской узрела в первый раз нежного Эндимиона, в сладком сне погружённого, и, ощутив в сердце своём жар любви, дотоле ей неизвестный, испустилась с высоты небесной и девственными устами своими поцеловала счастливого юношу (Карамзин 1792: 273).

Необходимо отметить, насколько органично изложение античного сюжета вводится в ткань повествования. Как и при описании идиллического ночного мира, в котором существует лирический герой, в рассказе о чувстве Дианы аналогичным образом сперва акцентируется внимание на зрительном восприятии («узрела»), вслед за этим говорится о внутреннем духовно-физическом ощущении богини («ощутив в сердце своём жар любви») и, наконец, опосредованно сообщается об осязательном контакте (поцелуй как прикосновение).

Во второй части «Ночи» герой-повествователь обозревает окрестный пейзаж, задерживая свой взгляд на трёх «точках» пространства, каждая из которых привлекает его внимание постольку, поскольку тесно связана в его сознании с образом известного ему человека и с теми мыслями, чувствами и эмоциями, которые вызывает у него этот образ. В соответствии с задачей повествования данный фрагмент этюда практически полностью построен на передаче зрительного восприятия юноши, вот почему неотъемлемой составляющей рассматриваемого описания становится также и обозначение различными способами цвета или размера тех предметов и деталей, которые молодой человек созерцает в настоящий момент или воссоздаёт в своей памяти:

Взоры мои объемяют всё пространство долины. Там, на отдалённом холмике, за пальмовой рощей, *чернеется* хижина доброго Акаста <...>

Там, в *тёмной зелени* высоких елей, *белеется* памятник несчастной Филлиды. <...>

Там, между миртами, *возвышается* олттарь, Любви посвящённый, на котором никогда не увядают венки, счастливыми любов-

никами на него полагаемые. Там в первый раз *увидел* я Хлою; там в первый раз от *страстного взора* моего *расцвели розы любви* на *лилейных* щеках её; там в первый раз ... <курсив здесь и далее мой. — А. Т.> (Карамзин 1792: 273-275).

Важно подчеркнуть, что это достаточно протяжённое обращение исключительно к визуальному ряду восприятия внезапно прерывается и перебивается в тот самый момент, когда герою ошибочно кажется, что Хлоя уже совсем близко. От задумчивого созерцания юноша мгновенно переходит к лихорадочному состоянию нетерпеливого ожидания. Именно эту хаотичность его чувств и эмоций в такую минуту, по-видимому, должна демонстрировать быстрая трехкратная смена видов восприятия в повествовании. Сначала влюблённый герой реагирует на звук шороха, затем различает выбежавшего из кустов кролика (и даже цвет его шерсти), а после испытывает тактильно-температурное ощущение — лёгкое дуновение ночного ветерка:

Но я слышу тихий шорох в кустах лавровых — Хлоя!...
Нет, это белый кролик, зефиром пробуждённый. Но скоро она будет: зефир всегда веет перед нею (Там же: 275).

Своеобразным переходом от второй части этюда к третьей служит ещё одно поэтическое описание ночной природы, предваряющее появление Хлои. Интересно отметить, что данное изображение Натуры самым явным образом перекликается с лирическим обращением героя-повествователя к месяцу, ручью, цветам, деревьям, травам и соловью в первой части произведения и, соответственно, почти в той же степени изобилует переключениями зрительного, слухового и обонятельного «каналов восприятия». Эта «перекличка» приводит к возникновению в тексте «Ночи» некоего образно-смыслового «кольца», которое, в частности, с одной стороны, объединяет первую и вторую части лирического монолога, с другой стороны, некоторым образом обособляет первые две части от части третьей. Из второго описания читатель узнаёт,

узнаёт, что милостивая природа словно вяла настойчивым просьбам-«заклинаниям» пылкого юноши и сделала со своей стороны всё возможное, чтобы его счастливая встреча с возлюбленной состоялась:

Высоко взошёл ясный месяц; светло блистает журчащий ручей в своём течении; деревья, цветы и травы изливают свою амброзию; громко поёт соловей на ветви розмариновой (Карамзин 1792: 275).

Последние мгновения перед появлением Хлои, равно как и рассмотренный выше момент, когда герой принимает движение кролика за приход любимой, снова описываются в «калейдоскопической» манере, при которой зрительные, слуховые и осязательные образы, перемежаясь, сменяют друг друга с невероятной быстротой:

Сердце моё бьётся; я смотрю и слушаю — шорох приближается — разделяются ветви — вечерняя роса обливает меня — и Хлоя в моих объятиях (Там же: 275).

Наконец, говоря о значимости указаний на характер «каналов восприятия» изображаемого мира в повествовании «Ночи», нельзя обойти вниманием финальные строки этюда, а точнее — последнее его предложение, в котором пребывающий на вершине счастья и блаженства лирический герой сообщает читателям о своём отходе ко сну в следующих выражениях:

Но сон прикасается ко мне маковым стеблем своим, и я засыпаю вместе с моею любезною — крылатые мечты <то есть сны. — А. Т.> шумят надо мною и готовят мне новые приятности (Там же: 277).

Введённый Карамзиным в заключительном предложении произведения мифопоэтический образ Морфея приобретает функцию не просто красивого, но отвлечённого иносказательного изображения сладкого сна (Мифологический словарь 1989: 132). В «Ночи» сообщение о «прикосновении» сна к

герою маковым стеблем, сопрягаясь с множеством используемых в различных ситуациях фраз и выражений, при помощи которых описываются вполне конкретные касания и осязательные тактильные ощущения, начинает восприниматься как рассказ о столь же реальном физическом действии. Это означает, что сон-Морфей на мгновение становится почти таким же персонажем лирического этюда, как главный его герой или Хлоя. Аналогичным образом во второй части фразы перестают быть абстрактной метафорой и обретают плоть и кровь сны-«мечты», и «шум» их крыльев погружённые в мир произведения читатели слышат не менее отчётливо, чем юноша-повествователь. Так в идиллическое пространство повествуемого благостного мира «Ночи» свободно и органично вливается иной прекрасный и загадочный мир — античной мифологии.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что мифологические античные образы «обретают плоть» в лирическом этюде Карамзина не только в случае с изображением Морфея. Приблизительно то же самое происходит и в другом, предшествующем финалу эпизоде «Ночи». Рисуя картину апогея любовного свидания с Хлоей, герой-повествователь говорит следующее:

Но бог любви, который невидимо носился над нами, ниспустился и светильником своим возжѣг во внутренности нашей потухший огонь жизни — тяжѣлый вздох вылетел из моего сердца, из её сердца, и мы пришли в себя — Купидон улыбнулся и воспарил на вершину Олимпа (Карамзин 1792: 276).

Использование Карамзиным глаголов, означающих пространственное движение (носился — ниспустился — воспарил), применительно к давно успевшему стать абстрактным образом античного бога любви-страсти, в контексте «идиллического» лирического этюда приводит к поразительному эффекту: улыбающийся Купидон начинает восприниматься читателями не как отвлечѣнная аллегория, а едва ли не как полноценное действующее

действующее лицо. Происходит это в том числе и благодаря искусному слиянию «мифологического античного» и «лирико-идиллического» пластов повествования. В данном случае необходимо возвратиться к пассажу о Диане, о которой в тексте сказано, что она «*ниспустилась* с высоты небесной» к Эндимиону, подобно тому, как Купидон «*ниспускается*» к счастливому герою и его возлюбленной. Таким образом, повторённый дважды глагол «*ниспускаться*», во-первых, становится своеобразным сигналом к соотнесению и соположению описываемых ситуаций «контакта» античного бога и человека в случаях с Дианой — Эндимионом в одном фрагменте и Купидоном — героями повести в другом, а во-вторых, через это соположение подводит наше восприятие к уравниванию и слиянию «мифологического» и «идиллического» пространств повествуемого мира. Прикосновение сна-Морфея маковым стеблем к герою в финале этюда только «закрепляет» данное слияние.

~ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ~

- Канунова 1967 — Канунова Ф. З. Из истории русской повести (Историко-литературное значение повестей Н. М. Карамзина). Томск, 1967.
- Карамзин 1792 — Карамзин Н. М. Ночь *ℳ* Московский журнал. 1792. Ч. 5. Кн. 2. Февр. С. 271–277.
- Лотман 1997 — Лотман Ю. М. Эволюция мировоззрения Карамзина (1789–1803) *ℳ* Лотман Ю. М. Карамзин. СПб., 1997. С. 312–348.
- Мифологический словарь 1989 — Мифологический словарь *ℳ* ред. М. Н. Ботвинник, М. А. Коган, М. Б. Рабинович, Б. П. Селецкий. Минск, 1989.
- Топоров 1995 — Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. М., 1995.
- Шмид 2003 — Шмид В. Нарратология. М., 2003.



«УМА ЗАБАВЫ»: ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО В РОССИИ XVIII
ВЕКА

Патриархальный уклад жизни в семье сохраняет еще свое влияние в русском обществе начала XIX в., идеальная женщина посвящает себя служению своему супругу и семейным ценностям:

Благоразумная жена, большую часть жизни проводит в недрах своего семейства <...> составляет действительную помощницу мужа, когда сей часы утренние посвящает на службу отечеству. Блюдет хозяйство, содержит порядок <...> Шумные забавы, многолюдные собрания, в кои закаляют время, <...> не привлекают ее любопытства. Она любит лучше веселиться должностями своими, и в нежнейших узах невинности и любви находит для себя паче пленительное зрелище (Захаров 181: 60–61).

До екатерининского правления формы передачи знаний для девочек и мальчиков отличались друг от друга: девочек учили и воспитывали обычно дома¹. Поэтому многие родители были скептически настроены по отношению к нововведениям в области образования, в том числе к новым государственным учебным заведениям для девочек. Особенно это наблюдалось

¹ «Воспитание и образование девочек стояло еще в худших условиях, чем мальчиков. Правительственных женских учебных заведений не было. <...> Обычно ограничивались домашним образованием, при помощи почти всегда неудовлетворительных учителей и воспитательниц» (Черепнин 1914: 22). Английский посланник лорд Каскарт описывал в своей депеше от 26 сентября 1768 г. причины, побудившие императрицу организовать Смольный институт — «полный недостаток средств к образованию, особенно между женщинами, и множество французов низкого происхождения, сумевших сделаться необходимыми во всех семействах» (СИРИО 1873: 371).

в провинциальных городах. Так в 1777 г. В. Приклонский сетовал в письме к другу по поводу настороженности дворянства тверского наместничества и его решения против открытия государственного учебного заведения, несмотря на все преимущества публичного воспитания². До реформ в области образования при Екатерине II в государстве насчитывалось лишь небольшое количество частных пансионов для девочек. К концу XVIII в. количество их значительно увеличилось, особенно в крупных российских городах, в провинции же появились филиалы. В качестве примера одного из провинциальных пансионов может служить частный пансион в городе Тобольске 1790-х гг., организованный П. П. Сумароковым, внучатый племянником знаменитого А. П. Сумарокова, совместно с женой С. А. Казаб, немкой, приехавшей в Сибирь для работы в качестве гувернантки. В отличие от большого количества шарлатанов, прибывающих в российское государство, Софья Андреевна была образованная женщина, владела немецким и французским языками (Сл. РП XVIII в. 3, 202–207). Подобные частные заведения находились в руках иностранцев, причем

большинство приезжавших в Россию «гофмейстеров» и «мадамóв» <...> были людьми совершенно неподходящими для педагогической деятельности, бравшимися за чуждое им дело только потому, что спрос на него в России был чрезвычайно велик и оно было выгодно (Черепнин 1914: 17; Майков 1904: 56).

После введения обязательной аттестации в 1757 г. лиц, занимающихся педагогической деятельностью, количество их уменьшилось, а качество знаний улучшилось. В конце века преподаванием стали заниматься не только иностранки, оставшиеся без средств к существованию вдовы, но и окончившие

² «<...> о бытии сего нашего заведения <...> наше дворянство подобно овцам, все пятаются и все стоят; но одна ступила так и все за ней <...> публичное воспитание, конечно, предпочтительнее домашнему, где учителя без выбору, метода обучения несведома, воспитание не наблюдается». Цит. по: (Рак 2008: 332–333).

институты представительницы женского пола. Благодаря проведенным реформам образования число пансионатов увеличивалось: первоначально количество воспитанниц в процентном соотношении составляло всего 30%, спустя 25 лет было открыто уже 45 пансионатов только для девочек. Постепенно по всей стране, хоть порой с преодолением разных преград, появлялись учебные заведения для девочек, в первой четверти XIX в. они существовали уже в таких губернских городах, как Воронеж, Тверь, Тула, Орел, Рязань и Ярославль. К концу 1820-х гг. 3/4 воспитанниц могли черпать новые знания и вкушать плоды наук (Pietrow-Ennker 1999: 137; Пономарева, Хорошилова 2006: 21). Однако чрезмерное увлечение ими не приветствовалось, обучение девочек было все же направлено в традиционное русло подготовки их к роли хорошей жены и матери. В. В. Пономарева и Л. Б. Хорошилова приводят в своем исследовании нового женского типа XVIII–XIX вв. отрывок из письма директрисы пансиона к матери одной из воспитанниц, в котором она предостерегает мать от чрезмерного стремления дочери к знаниям, граничащего с нездоровой страстью, не присущей «девушке благородной, дворянской семьи» (Пономарева, Хорошилова 2006: 145).

С реформами в области воспитания и образования связано имя И. И. Бецкого, рассуждения его представлены в докладе «Генеральное учреждение о воспитании обоюбого пола юношества» (1764). Совместное сотрудничество Бецкого и императрицы позволило открыть Московский воспитательный дом в 1763 г., а год спустя в Петербурге Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт) для дочерей дворян. Указ о нем был подписан 5 мая 1764 г., по истечении года в открытое при институте Мещанское училище стали приниматься и девушки недворянских сословий (Черепнин 1914: 98). При разработке планов воспитательных учреждений, Смольного института и его устава учитывался опыт воспитания девиц в иностранных учебных заведениях, монастырях Германии, Франции и Италии, а так же

же просветительские и педагогические идеи Локка, Руссо, Дидро, Гельвеция, Монтеня и Фенелона (Черепнин 1914: 44–65; Майков 1904: 46–47). Особенное влияние оказала первая светская школа для дочерей обедневших дворян и сирот мадам де Ментенон Сен-Сир (основана в 1684 г.). О 500 воспитанницах и о сути образовательных мер в институте Екатерина II неоднократно сообщала Вольтеру в своих письмах 1772 г., подчеркивая отличия от французского Сен-Сира: не «монашенок» воспитать хотят из них, не кокеток либо жеманных барышень, а любезных дам, способных «воспитывать своих собственных детей и иметь попечение о своем доме» (СИРИО 1874: 226, 212; Черепнин 1914: 56–57; Пономарева, Хорошилова 2006: 28; Лотман 2002: 78–79). Окончив Александровский институт, девушки должны были оказаться подготовленными к практической жизни, обеспечивать свое существование, зарабатывая на жизнь в роли гувернанток; поэтому в первую очередь они изучали религию, домоводство, дидактику, рукоделие и арифметику для ведения книг учета доходов и расходов. За 32 года существования Смольного института в нем обучались 1316 воспитанниц (82 выпуска), 850 из которых закончили с экзаменом. Из института воспитанницы должны были выйти новыми людьми, речь шла о «новой породе», преданной двору и царской семье³. Представления о роли и дальнейшей судьбе девушек, покидающих родительский дом, изменились. Раньше все мечты заключались в выгодном замужестве, зависящем, несомненно, и от положения их семейства при дворе. Теперь, обучаясь в институте, девушки стремились к получению знаний и возможностей, благодаря которым самые способные и честолюбивые из них могли сами добиться больших успехов в обществе. Для выпускниц открывались новые горизонты,

³ Ср.: «...» Императрица Екатерина задалась мыслью посредством школы создать новую семью, уверенная, что конечным результатом предполагаемой ею педагогической реформы будет дарование ея подданным „нового бытия“ и даже создание „новой породы“» (Черепнин 1914: 24–25).

Высшей наградой для девушки становилось место фрейлины при императорском дворе — это место она получала не за заслуги родителей, не в знак почтения к древности рода — она добивалась его сама, ценой своих собственных усилий и ума (Пономарева, Хорошилова 2006: 27)⁴.

Несмотря на то, что Смольный институт был организован по образу Сен-Сирской школы, говорить о копии не приходится. Параллели видны в формальной плоскости, ведении хозяйственных дел, отличными же являются заложенные в основе института идеи воспитания «новой породы» и претворения ее на практике (Черепнин 1914: 60)⁵. Вольтер, имевший возможность познакомиться с новым заведением только через письма императрицы, считал, что с «российским Сент-Сиром» французский

Сент-Сир отнюдь не может сравниться. Наши девицы будут только с лишком <sic! — Н. Ш.> набожными и чрез чур <sic! — Н. Ш.> честными; а Ваши присовокупят <...> еще и то, что будут уметь играть комедии; что некогда и у нас дельвалось (Переписка 1802: 103).

Для хорошего воспитания и развития разума, тела и вкуса нельзя найти более подходящего занятия, чем участие в театральных постановках — в этом были убеждены и императрица, и Вольтер, и Бецкой (Переписка 1802: 78–79, 88–89, 96–99, 103, 122; Письма Бецкого 1896: 399)⁶. Преследуя вос-

⁴ Цель института, однако, не состояла в создании нового типа «ученой девицы», посвятившей себя науке, а в развитии умственных и нравственных способностей, не глубинные знания считались важными для девушек высшего света, а находчивость, остроумие, изящный вкус, любовь к чтению, умение красиво выражать свои мысли (Черепнин 1914: 287–288).

⁵ Детальное рассмотрение отличий двух систем воспитания см. у Н. П. Черепнина (Черепнин 1914: 60–62). Ср. также: (Майков 1904: 265–268).

⁶ Восторженные строки «питомцам возлюбленным муз», пленившим «пеньем и мысли и сердца», сочиняли, например, А. П. Сумароков в «Письме к девицам г. Нелидовой и г. Баршовой» (1774), А. А. Ржевский в «Стихах к девице Нелидовой» и «Стихах девице Боршовой» (1773).

питательные и обучающие цели, они должны были «придать девицам надлежащую и приличную смелость в поведеньях», развлекать и отвлекать от «меланхолических и мрачных настроений» (Черепнин 1914: 144).

Отношение в обществе к новым учебным заведениям для девиц было неоднозначным: были и сторонники, и противники. Среди иностранных защитников дела императрицы и Бецкого в первую очередь нужно назвать, несомненно, Вольтера и Гримма, чьи письма наполнены одобрением проводимых образовательных реформ и положительными оценками достигнутых успехов⁷. В своей литературной корреспонденции барон Гримм пропагандирует воспитательные ценности публичных заведений такого рода и важное значение правильного обучения в молодом возрасте для формирования новой породы патриотически настроенных подданных (Grimm 1977: 196–197, 371). Отношение представителей высших кругов русского общества отражены в том числе и в литературных произведениях, прославляющих новый тип женщины либо высмеивающих его в сатирических строчках. Так, Г. Р. Державин посвятил И. И. Бецкому оду «На кончину благотворителя» (1795), отмечая его заслуги в воспитании молодого поколения, он же воспел смолянок и их высокую покровительницу императрицу Марию Федоровну в «Возвращении весны» и «Празднике воспитанниц девичьяго монастыря» (1797). Одни считали институток слишком образованными для женского

⁷ Среди иностранных современников, положительно оценивавших институт, можно назвать Дидро, французского дипломата барона де Корберона, английского историка и педагога У. Кокса, французского историка Ж. Кастера, леди Элизабет Кравен (Черепнин 1914: 290–292). См. письмо английского путешественника Н. Раксол за 1774 г.: «Между здешними общественными заведениями <...> я видел такое, полезнее которого трудно найти другое во всей Европе, и вполне достойное ныне царствующей Императрицы, его основательницы. В прекрасной школе молодые девушки всех сословий обучаются всему полезному и изящному» (Хроника Смольнаго монастыря 1864: 99–100).

пола, другие критиковали упрощение и низкий уровень педагогического процесса, некомпетентность персонала и отсутствие реалистичных целей. Ср.: (Черепнин 1914: 120–121, 290; Лотман 2002: 78–79, 82). На Бецкого писали эпиграммы, аллюзии находим в комедии В. В. Капниста «Ябеда» (1798): «Вот по-заморскому нам воспитали дур!» (Капнист 1959: 123). Главный герой комедии Праволов ужасается «продукту» новой системы женского образования — девушке, по его мнению, абсолютно не подготовленной к роли жены, хозяйки, матери:

Возможно ль дурочку, в столице лет с шести
 Преизбалованну почти до двадцати,
 Которая приход с расходом свесть не знает,
 Шьет, на Давыдовых лишь гусях повирает
 Да по-французски врет, как сущий попугай,
 А по-природному ни здравствуй, ни прощай;
 Возможно ли в жену такую взять мне дуру!
 С ней разве запереть себя навек в конуру (Там же: 73)⁸.

Еще один недостаток, на который указывали многие современники, — оторванность от семьи, общества, создание некоего пространства, в котором и растили эту «новую породу», не приспособленную к реалиям жизни вне стен института⁹. При императрице Марии Федоровне наблюдается уменьшение

⁸ См. также комическую оперу Н. А. Львова «Сильф, или Мечта молодой женщины» (1778) или — уже в XIX в. — сатирические замечания в поэме «Граф Нулин» (1825) А. С. Пушкина о главной героине и состоянии женского образования в пансионах: «Наталья Павловна совсем / Своей хозяйственной частью / Не занималась, затем, / Что не в отеческом законе / Она воспитана была, / А в благородном пансионе / У эмигрантки Фальбала» (Пушкин 1960: 182).

⁹ На негативное влияние семьи на подрастающее поколение и необходимость отгораживания его от общения с близкими в течение всего курса обучения в институте указывает И. И. Бецкой в «Генеральном учреждении о воспитании обоего пола юношества», так как только воспитание вне влияния семейного круга дает положительные плоды, см.: (Майков 1904: 54; Переписка 1802: 99).

уменьшение интереса к умственным занятиям в области образования, больше внимания уделяется рукоделию и работам необходимым в домашнем хозяйстве, воспитанию идеальных матерей. Девочек не так рано разлучают с семьей, заботятся о сохранении семейных связей и традиций, акцент делается на воспитание религиозно-нравственных ценностей. Ср.: (Черепнин 1914: 423-443, 519-525; Pietrow-Ennker 1999: 133-134).

Уровень женского образования, качество и цель зависели и зависят не только от уровня просвещенности общества, но и от каждой конкретной семьи: от степени образованности, следования тем или иным идеям и идеалам, отношения к новым прогрессивным веяниям, принятия или неприятия современных методов образования и воспитания девочек и не в последнюю очередь от общественного положения семьи и ее финансовых возможностей. Окружение влияло в первую очередь на мироощущение молодой особы, на ее расположение к чему-то новому, до того считавшемуся лишь прерогативой мужского пола, на ее воззрения и ее видение своей роли в обществе, на интерес к умственным и литературным занятиям. Не случайно именно Е. А. Сумарокова, Е. В. Хераскова и Е. С. Урусова обнаружили в 1750-60-х гг. стремления к занятиям литературным сочинительством. Эти несвойственные женщинам стремления к занятиям литературой влекли за собой не совсем лицепрятное и полное предубеждений отношение со стороны доминировавших в литературном процессе авторов-мужчин: женщины могли лишь являться источником вдохновения и инспирировать творца¹⁰. Выставлять напоказ

¹⁰ Ср.: «И женщина должна, как слава ни прелестна, / Остаться жить в тени, быть лучше неизвестна, / Чем зависть на себя отвсюду обратить. / Нас редко за перо хвалою свет дарит; / Пол женщин и мужчин ревнует к нашей славе. / Заметят ли порок в уме или в нашем нраве, / Ошибка ль в слоге есть, завистники тотчас / Сбирают стрелы все и сыпят их на нас, / И слава дорога для нас всегда бывает. / Нам все прощает свет: таланта не прощает» (Аониды 1798-1799: 45-46).

плоды своих творческих исканий не приветствовалось, однако,

Писать для «внутреннего» употребления, чтения в салонах, оттачивать свое перо в переписке — все считалось допустимым и даже похвальным для женщины (Пономарева, Хорошилова 2006: 199).

Попытки же публикации несли с собой разрыв с ее традиционной ролью матери и примерной жены, созданной для красоты, любви и улады мужчин, и могли иметь негативные последствия для семейной жизни (Аонида 1796: 218–249). В конце XVIII в. можно говорить о благосклонном отношении мужчин к женскому письму, объясняемое позиционированием ими своих текстов как непритязательные. Женщины не заявляли о конкурировании с мужчинами в данной сфере, подчеркивая свою неопытность и ведущую роль мужчины-покровителя. Тем самым не ущемлялась мужская гордость и мужские позиции на литературном Олимпе оставались неизблевыми, особенно красноречиво это описала Анна Бунина в своем альбоме:

Стихотворец охотнее осыпает похвалами женщину-писательницу, нежели своего сотоварища; ибо он привык о себе думать, что знает больше, чем она (Бунина 1902: 503).

В 1820–40-е гг. женщины-авторы перестают быть диковинкой и начинают «претендовать на определенный статус, предлагая свои труды журналам и книгоиздателям» (Савкина 1998: 23–26; 2001: 16). В то же самое время все громче звучат заботливые призывы к сохранению традиционного социального статуса женщины, ее семейных добродетелей, при этом усиливается резкая критика женских текстов, выходящих в свет (Щепкина 2005: 164)¹¹. После 1800 г. число пронических высказываний в адрес поэтесс и писательниц

¹¹ В. Г. Белинский в своей статье «Сочинения Зенеиды Р-вой» (1834) сравнивает общественное мнение и отношение к юным поэтессам и писательницам с тысячеглавым чудовищем, объявляющим их беспутными и безнравственными и подвергающим грязной критике как «самовольно

возрастает, особенно это проявилось в кругу литературного общества «Арзамас»: стихи, послания и письма наполнены острыми замечаниями¹². В своей сатире «Видение на берегах Леты» (1809) К. Н. Батюшков высмеивает литературных противников, «Беседу», указывая и на недопустимость сочинительства представительницами женского пола, чьи сочинения годятся лишь быть брошенными в реку забвения:

Одна, прости бог эту даму,
Несла уродливую драму,
Позор себе и для мужей,
У коих сочиняют жены. <...>
О, тщетная поэтов слава! (Батюшков 1948: 239–240).

Данные строчки направлены в том числе и против трех почетных членов «Беседы любителей русского слова» — А. П. Буниной, А. А. Волковой и Е. С. Урусовой¹³. Не случайно Волкова затрагивает данную проблематику в своих «Стихах к „Беседе любителей русского слова“», помещенных в первой книге «Чтений» за 1811 г. В своего рода посвящении на открытие «отверстого музам нового храма» поэтесса благодарит «мужей отличнейших собора» за предоставленную и женщинам-авторам возможность открыто заниматься литературными упражнениями:

А здесь пииты дозволяют
Нам так же действовать пером;

вырвавшихся из сферы своего пола, из круга своих обязанностей, чтоб упоить свои разнузданные страсти и наслаждаться шумною и позорною известностью» (Белинский 1955: 648–649).

¹² См. эпиграмму П. А. Вяземского: «Красавица она, я знаю, и поэт! *∩* Но если разбираешь строго, *∩* То видишь, что в ее твореньях красок нет. *∩* А на лице их слишком много» (Русская эпиграмма 1988: 218).

¹³ См. сатирические строки К. Н. Батюшкова и А. Е. Измайлова в «Певце, или Певцах в Беседе славено-россов» (1813), высмеивающие непреодолимое влечение к сочинительству Анны Буниной, чьи «детки очень жалки», и других девиц, которые «все взапуски плодятся: *∩* Но диво в том, что чада их *∩* Полмертвые рождаются» (Арзамас 1994: 207), а также «Речь члена Старушки» (1815) С. С. Уварова (Там же: 308).

На тихие ума забавы
 Они нам право здесь дают
 И нас с собой к жилищу славы
 Стезей цветущею ведут (Поэты 1971: 496)¹⁴.

Выражая особую признательность за предоставленные привилегии, Волкова подчеркивает, однако, что данные занятия — «ума забава», опровергая тем самым присутствие какого-либо духа соревнования с прославленными мужами. Акцентируя внимание на особой роли «вождей к парнасским высотам» в налаживании творческого процесса женщин-авторов, поэтесса заверяет их в том, что они будут подражать им, покорно следовать их советам и опираться на их знания на данном поприще¹⁵. «Топос скромности» был распространен среди женщин-авторов со второй половины XVIII в. Публикуя текст (часто анонимно или под псевдонимом¹⁶), они всегда прибавляли несколько признательных слов в адрес благодетеля, родителей или семьи (Хайдер 2000: 147). В «Словаре русских писателей XVIII века» находим некоторые примеры таких посвящений молодых девушек, выполнявших переводы в рамках учебного

¹⁴ Организатор «Беседы» А. С. Шишков, не совсем однозначно относившийся к писательскому таланту прекрасных дам, помог А. А. Волковой выпустить ее сборник «Стихотворения девицы Волковой», в предисловии к которому подчеркнул важность знакомства русской публики с талантами женщин-авторов, как это давно практикуется за пределами России: «<...> сочинения сей девицы ни мало не уступают сочинениям многих немецких, английских и французских стихотвориц, которая <...> сделалась известными в свете, и которая <...> преимущественно может быть только благосостоянием своим и счастьем, а не достоинством и дарованиями» (Волкова 1807: 3).

¹⁵ Ср. поучения А. П. Сумарокова к начинающей «стихотворице московской» в «Оде анакреонтической к Елисавете Васильевне Херасковой» (1762) и послание М. М. Хераскова «К. н. ж. н. К. т. р. н. С. р. г. в. н. р. с. в.» (1773) к Е. С. Урусовой и ее ответ «М. х. л. М. т. в. в. ч. Х. р. с. к. в.» (1773).

¹⁶ Псевдонимы несли с собой иллюзию некоей защиты и предоставляли женщинам возможность спрятаться от негативно настроенного общественного мнения (Файнштейн 1992: 30).

учебного процесса московских воспитательных учреждений. Мария Базилевич, например, сборник переводов басен и повестей которой вышел в 1799 г., во вступлении выражает благодарность родителям и желает «доставить им хотя малое удовольствие сим первым опытом трудов» (Сл. РП XVIII в. 1, 47). Дамы извинялись за смелость и свое стремление к писательской или переводной деятельности, ранее считавшейся исключительно мужским занятием, делали акцент на своем неумении и незнаниях в данной сфере, подчеркивали исключительную роль наставника в создании данного труда, благодарили публику за благосклонность и снисхождение, обещали работать над устранением недостатков, прислушиваясь к замечаниям и советам наставников¹⁷.

Скромности оговорок в обращениях к публике требовал хороший тон того времени <...> от женщин, кроме того — двойственность отношений к ним: с одной стороны, издатели и критики лстивыми любезностями побуждали их смелее и громче подымать голос в печати, с другой — авторитетные представители общественного мнения <...> твердили им, что «тихость и смирение суть первые достоинства, истинные превосходства женщины» (Щепкина 2005: 203).

Образ читающей женщины был редким в первой половине XVIII в., что с появлением образовательных заведений для девушек постепенно меняется, в 70–90-е гг. столетия женщина становится читательницей (Лотман 2002: 54–58). Повышение интереса к чтению вело к первым творческим попыткам, переводам романов, написанию писем, записок. В стране распространяется «охота к чтению <...> и люди узнают эту новую потребность души, прежде неизвестную» (Карамзин 1964: 174–175)¹⁸, появляются журналы для женской аудитории: «Модное

¹⁷ Ср. предисловие А. П. Буниной к прокомической поэме «Падение Фаэтона» (1811). См. также: (Хайдер 2000: 144–146).

¹⁸ См. статью Н. М. Карамзина «О книжной торговле и любви ко чтению в России» (1802) (Карамзин 1964: 176–180). В исследовании читательской

ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» (1779), «Чтения для вкуса, разума и чувствований» (1791–1793), «Муза» (1796), «Приятное и полезное препровождение времени» (1794–1798), «Московский меркурий» (1803), «Журнал для милых» (1804), «Аглая» (1808–1812) или «Дамский журнал» (1823–1833). Начинающие поэтессы, писательницы, переводчицы находят место и в словарях, первоначально им уделяется лишь немного места среди «мужей разумных <...>, которые принесли России вечный плод», как в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772) Н. И. Новикова (Новиков 1951: 347). Но уже в XIX в. им посвящаются целые каталоги, такие как «Библиографический каталог российским писательницам» (1826) С. В. Руссова, «Материалы для истории русских женщин-авторов» (1830–1833) М. Н. Макарова, «Словарь русских писательниц. 1759–1859» (1865) Н. Книжника, «Библиографический словарь русских писательниц» (1889) Н. Н. Голицына, «Наши писательницы» (1891) С. И. Пономарева. Авторы сами признаются, что работы их не отличаются полнотой собранных данных и несовершенны, но, как написал в предисловии Н. Н. Голицын, издавший «Словарь русских писательниц» под псевдонимом Н. Книжник,

Знакомство с литературной деятельностью наших писательниц в предшествующее время может быть отчасти примирит нас немного с ея прошедшим и еще более заставит нас уважать ее в настоящем (Книжник 1865: 7).

Таким образом, вторая половина XVIII в. приносит в жизнь женщин ряд изменений, у них появляется возможность участвовать в образовательном процессе, позволившем им вырваться из круга predeterminedных обществом социальных ролей

аудитории в России второй половины XVIII в. А. Ю. Самарин, сравнивая количество абонентов мужского и женского пола приходит к выводу, что к числу подписчиц почти не принадлежат представительницы недворянских сословий, большую же часть составляют дамы титулованной аристократии и генералитета (Самарин 2000: 155).

ролей и попробовать выразить свой мир в литературной сфере, положив тем самым начало женской литературной традиции.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Аонида 1796 — Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Кн. 1. М., 1796.
- Аониды 1798-1799 — Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Кн. 3. М., 1798-1799.
- Арзамас 1994 — Арзамас: сборник в 2 кн. Кн. 1 / общ. ред. В. Э. Вацура, А. Л. Ошовата; сост., подгот. текста и коммент. В. Э. Вацура и др. М., 1994.
- Батюшков 1948 — Батюшков К. Н. Стихотворения. Кн. 1 / вступ. ст., под ред. и примеч. Б. Томашевского. М., 1948. (Б-ка поэта. Малая серия)
- Белинский 1955 — Белинский В. Г. Сочинения Зенеиды Р-вой / Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 7. М., 1955. С. 648-678.
- Бунина 1902 — Альбом Анны Петровны Буниной / Русский архив. 1902. Кн. 1. № 4. С. 500-506.
- Волкова 1807 — [Волкова А. А.] Стихотворения девицы Волковой. СПб., 1807.
- Захаров 1811 — Захаров И. С. Похвала женам. Слово, произнесенное в Беседе любителей русской словесности. СПб., 1811.
- Капнист 1959 — Капнист В. В. Сочинения / вступ. ст. Д. Д. Благого; подгот. текста и примеч. Ю. Д. Иванова. М., 1959.
- Карамзин 1964 — Карамзин Н. М. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 2 / сост., подгот. текста и примеч. П. Н. Беркова; вступ. ст. П. Н. Беркова, Г. П. Макогоненко. М.; Л., 1964.
- Книжник 1865 — Книжник Н. Словарь русских писательниц. 1759-1859. М., 1865.
- Лотман 2002 — Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). 2-е изд. СПб., 2002.

- Майков 1904 — Майков П. М. Иван Иванович Бедной. Опыт его биографии. СПб., 1904.
- Новиков 1951 — Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях / Новиков Н. И. Избранные произведения / вступ. ст., подгот. текста и примеч. Г. П. Макогоненко. М.; Л., 1951. С. 277-370.
- Переписка 1802 — Переписка российской императрицы Екатерины Второй с г. Вольтером / пер. М. Антоновский. Ч. 2. СПб., 1802.
- Письма Бецкого 1896 — Письма И. И. Бецкого к императрице Екатерине II / сообщил П. М. Майков // Русская старина. 1896. Т. 88. С. 321-420.
- Пономарева, Хорошилова 2006 — Пономарева В. В., Хорошилова Л. Б. Мир русской женщины: воспитание, образование, судьба. XVIII — начало XX века. М., 2006.
- Поэты 1971 — Поэты 1790-1810-х годов / вступ. ст. и сост. Ю. М. Лотмана; подгот. текста, вступ. заметки, биограф. справки и примеч. М. Г. Альтшуллера, Ю. М. Лотмана. 2-е изд. Л., 1971. (Б-ка поэта. Большая серия)
- Пушкин 1960 — Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 3. М., 1960.
- Рак 2008 — Рак В. Д. Статьи о литературе XVIII века. СПб., 2008.
- Русская эпиграмма 1988 — Русская эпиграмма (XVIII — начало XIX века) / вступ. ст. М. И. Гиллельсона; сост. и примеч. М. И. Гиллельсона, К. А. Кумпан; подгот. текста К. А. Кумпан. Л., 1988. (Б-ка поэта. Большая серия)
- Савкина 1998 — Савкина И. Л. Провинциалки русской литературы (женская проза 30-40-х годов XIX века). Wilhelmshorst, 1998. (FrauenLiteraturGeschichte: Texte und Materialien zur russischen Frauenliteratur)
- Савкина 2001 — Савкина И. Л. «Пишу себя...» Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века / Academic Dissertation. Tampere, 2001.
- Самарин 2000 — Самарин А. Ю. Читатель в России во второй половине XVIII века (по спискам подписчиков). М., 2000.

- СПРИО — Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб. Т.12. СПб, 1873. Т.13. СПб, 1874.
- Сл. РП XVIII в. — Словарь русский писателей XVIII века. Вып. 1: А-И. Л., 1988. Вып. 3: Р-Я. СПб., 2010.
- Файнштейн 1992 — Файнштейн М. Ш. Русские писательницы 1820–1840 годов *∕* Russland aus der Feder seiner Frauen. Zum femininen Diskurs in der russischen Literatur: Materialien des am 21./22. Mai 1992 im Fachbereich Slavistik der Universität Potsdam durchgeführten Kolloquiums *∕* hrsg. von F. Göpfert. München, 1992. S. 29–33. (Slavistische Beiträge. Bd. 297)
- Хайдер 2000 — Хайдер К. «В сей книжке есть что-то занимательное, но...» Восприятие русских писательниц в «Дамском журнале» *∕* Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования. Сб. ст. Вып. 2. М., 2000. С. 131–153.
- Хроника Смольного монастыря 1864 — Хроника Смольного монастыря в царствование императрицы Екатерины II *∕* труд одной из воспитанниц Императорского Воспитательного Общества, Нины Р-ой. СПб., 1864.
- Черепнин 1914 — Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных девиц: Исторический очерк, 1764–1914: в 3 т. СПб., 1914–1915. Т.1. СПб., 1914.
- Щепкина 2005 — Щепкина Е. Н. Из истории женской личности в России *∕* сост. и общ. ред. В. Успенская. Тверь, 2005. (Серия «Феминистская коллекция»)
- Grimm 1977 — Grimm M. Paris zündet die Lichter an. Literarische Korrespondenz. Mit 58 Abbildungen der Zeit und einer Karte. Aus dem Französischen von Herbert Kühn *∕* mit Einleitung hrsg. von K. Schnelle. Leipzig, 1977.
- Pietrow-Ennker 1999 — Pietrow-Ennker B. Russlands „neue Menschen“: die Entwicklung der Frauenbewegung von den Anfängen bis zur Oktoberrevolution. Frankfurt/Main, 1999. (Reihe Geschichte und Geschlechter. Bd. 27)



Назар Федорак

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ БАРОККО К РОМАНТИЗМУ В УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Рубеж XVIII–XIX вв. в истории украинской литературы занимает особое — поворотное — место и имеет исключительное значение для ее дальнейшего развития. На протяжении практически двух столетий — с конца XVI до конца XVIII — господствующим стилем украинской литературы, взращенной на почве таких центров просвещения, как Острожская академия, Львовская братская школа и Киевская коллегия, впоследствии ставшая Киево-Могилянской академией, был стиль барокко. Многие исследователи-культурологи (Анатолий Макаров, Леонид Ушкалов, Олег Марченко и др.) указывают на глубокое соответствие («сродность», по Григорию Сковороде) стиля барокко ментальности и духу самого украинского народа, то есть на выразительное барочное мировоззрение, органичное для разных слоев украинского раннемодерного общества — и для духовно-педагогической элиты, и для элиты военно-старшинской, и для простого крестьянства и казачества.

Украинское барочное наследие богато и разнообразно. Оно и не могло быть другим, если, согласно представлениям выдающегося византиниста Игоря Шевченко, понимать Украину (особенно Украину XVI–XVII и вплоть до XVIII в.) как пересечение влияний между Западом и Югом, а потом «по оси Север — Юг» (Шевченко 2014: 9). Музыка, архитектура, иконопись — эти виды и сферы украинского барочного искусства являются яркими и самодостаточными, однако сейчас речь о литературе.

На вторую половину XVIII в. приходится творчество самого яркого представителя богатейшей украинской бароч-

ной литературы — философа и поэта Григория Сковороды (1722–1794), которому, по уже ставшему афористичным выражению известного историка литературы, слависта, философа Дмитрия Чижевского, было суждено стать тем, с кем «литературное барокко не дотлело, а догорело сильным пламенем до конца и вдруг погасло» (Чижевский 1994: 244), то есть последним представителем этой своеобразной литературной школы, а также завершителем традиции барокко в истории украинской литературы. Как известно, научных исследований, посвященных, в частности, возможным истокам философского и поэтического творчества Г. Сковороды, начиная с трудов Александру Хашдэу и Владимира Эрна, коим уже свыше ста лет, и заканчивая современными фундаментальными работами, к примеру, Людмилы Софроновой и Элизабет фон Эрдманн, накопилось великое множество. Однако в большинстве из них крайне мало внимания обращается на «произрастание» философских взглядов Г. Сковороды, а также его художественного мировоззрения именно из всей предыдущей традиции украинской барочной литературы и высокой школы гуманистической Киево-Могилянской академии. А ведь именно на этом непрестанно акцентировал внимание практически во всех своих работах, посвященных личности и деятельности Г. Сковороды, один из самых глубоких его исследователей — Д. Чижевский. Следует подчеркнуть, что в современной украинской медиевистике (эта довольно активно развивающаяся в Украине дисциплина предметом своего исследования обозначила национальное культурное наследие XI–XVIII вв.) отчетливо проявляется тенденция к своеобразной реконструкции всей цепи литературных явлений барочного периода в их тесной генетической связи, но, к сожалению, о трудах таких современных украинских ученых, как архиепископ Игорь Исиченко, Леонид Ушкалов, Мария Кашуба, Богдана Крыса, Наталья Пыльпыюк, Валерий Шевчук, Николай Сулыма, Юрий Пелешенко и ряд других, крайне мало известно за пределами Украины.

А тем временем, единодушно убеждены они, феномен Г.Сковороды можно как следует осознать лишь на почве украинской традиции. Составитель и редактор самого полного на сегодня корпуса произведений Г.Сковороды¹ — профессор Л.Ушкалов приводит целый ряд свидетельств и фактов украинского «прозябания» Г.Сковороды — как из народной среды, так и из академической Киево-Могилянской традиции.

Сковорода, — цитирует он российского философа Николая фон Арсеньева, автора немецкоязычного труда о мистической философии Г.Сковороды, — образцовый сын Украины, украинской земли, украинской культуры, украинской жизнерадостной барочной эпохи (Arseniew 1936: 3).

Точно так же, как в его мысли, — утверждал также граф Петр Бобринской, — проявилась духовная культура, средоточием которой был Киев Петра Могилы с Академией и традиционной философией, сам образ старчика невозможно окончательно понять отдельно от тех мест, где он обитал и которые он исходил вдоль и поперек (Бобринской 1965: 50).

Польский литературовед Юзеф Третьак называл Г.Сковороду «настоящим довершением тех позитивных моральных начал, которые дремали было в груди украинского народа» (Tretiak 1912: 280), и толковал сквородинский мистицизм как органичный признак украинского духа. «Украинскость» Г.Сковороды находит свое выражение также в так называемой «кордоцентричности» и религиозной основе его философии, в практике «себяпознания» и т. д.

В целом, с позиции мотивов, жанров и образов сочинения Г.Сковороды глубоко уходят корнями в украинскую литературную традицию XVII–XVIII вв. Например, свои «божественные песни» он писал, опираясь на богатейший опыт предыдущей украинской силлабической поэзии. Это подтверждает

¹ Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів (1400 с.). Издано в Харькове в 2010 г. и переиздано с участием Издательства Канадского института украинских студий в 2011 г. (Сковорода 2011).

хотя бы цитирование Г.Сковородой поэтических произведений Феофана Прокоповича, Варлаама Лашевского, Георгия Конисского, а также общая высокая оценка философом наследия поэтов «киевской школы». Основополагающее сквородинское понятие «сродность» и сама идея человеческих «разнопутий» развертывается в русле украинской эkkлeзиoлoгии XVII–XVIII вв., а знаменитый «парадокс „неравного равенства“» (Andrusyshen 1980: 96) возникает на почве примечательных для Атанасия Кальнофойского, Лазаря Барановича, Иоанникия Галятовского, Стефана Яворского и других барочных писателей размышлений о Церкви как о мистическом Христовом Теле.

Дальнейший путь развития украинской литературы — собственно от барокко к романтизму — был довольно стремительным. Ожидаемые, согласно общей схеме стадийного развития европейских литератур, остановки на «станциях» классицизма и сентиментализма были, но явились они довольно специфическими (в случае с классицизмом) и весьма непродолжительными (касаемо сентиментализма).

Д. Чижевский справедливо отмечал слабое развитие в истории украинской литературы классицизма — особенно на фоне могучей предыдущей традиции барокко и последующей — романтизма. Конечно, главная причина этого состоит в том, что Украина на рубеже XVIII–XIX вв. не имела собственной государственности, а ведь известно, что классицизм — это, так сказать, «государствоцентрическое» направление в европейской литературе. Но все же немногочисленные образцы классицизма в истории украинской литературы имеются, и самые яркие из них — это анонимное историко-политическое произведение «История Руссов» (начало XIX в.), а также творчество Ивана Котляревского (1769–1838). Примечательно, что автор «Энеиды» и «Наталки Полтавки» с большим пиететом относился к персоне и творческому наследию своего, казалось бы, антипода по эстетическим воззрениям — барочного писателя Г.Сковороды. Впрочем, какого-либо творческого

противостояния (не говоря уже о его острых формах) между барокко и классицизмом в истории украинской литературы не замечено.

Более того, во многих чертах именно творчество Г.Сковороды предвосхитило появление и проявление в украинской литературе новых веяний и восприятие ею новых эстетических принципов. Даже в такой совершенно формальной сфере, как система стихосложения, в ряде произведений из его сборника «Сад божественных песней» (1785) уже весьма заметен переход от силлабики к силлабо-тонике. Окончательно же совершил этот переход И. Котляревский, который в своих «Энеиде» (1798) и «Наталке Полтавке» (1819), кроме этого, также кардинально изменил облик украинского литературного языка, решительно переформатировав его с предыдущего пути книжной традиции в новом направлении — к народной речевой стихии.

Однако, совершив назревшую, по всей видимости, языковую реформу в украинской литературе, И. Котляревский в то же время лишь продолжил закономерную эволюцию украинской литературы в ее стадильном развитии. Уже сама идея травестирования «Энеиды» Вергилия отсылает нас к своеобразной практике западноевропейской барочной литературы, где травестию такого толка считались не «издевательско-героическими» произведениями, а образцами некоей тонкой интеллектуальной игры, основанной сразу на двух текстах, и «никто не может понять, о чем речь в этой риторической обоюдной игре, если одновременно не реагирует на оба текста» (Шикю 1993: 180). Но украинская «Энеида» появилась тогда, когда эти «правила игры» были уже подзабыты, и читатели И. Котляревского поэтому воспринимали его текст весьма неоднозначно. Вряд ли найдется в истории украинской литературы много авторов, так пылко воспеваемых и так беспощадно осуждаемых за одно-единственное произведение, как автор «Энеиды». При тщательном рассмотрении всех упреков в его адрес со стороны Пантелеймона Кулиша, Тараса Шев-

ченко², Бориса Гринченко, Николая Евшана и многих других критиков «Энеиды» за ее более чем 200-летнюю историю легко заметить, что относились эти упреки не к самому сочинению, а к «неуместности» его «насмешливого» наполнения — так сказать, несвоевременности появления «Энеиды» тогда, когда, по сути, ни одно качественное литературное произведение на живом украинском языке еще не было написано. Более того, И. Котляревского попрекали тем, чем должно было бы попрекать все тогдашнее украинское общество — смехом и «бурлацким юродством» (Кулиш 1989: 504) на украинском языке вместо осознания серьезности национального и литературного положения в Украине.

Как появился Котляревский со своим Энеем, — писал один из классиков украинской романтической литературы П. Кулиш, — все захохотали искренне, что какой же вправду чудной этот простой народ украинский, от которого мы, благодаря некоторым старосветским добрым людям, отделались. Захохотали, и тот хохот был — самая страшная проба нашему писанному слову украинскому. То было все равно, как родится ребенок среди пьяных баб, да еще и сама повитуха ухнется. Коли выдержит бедный младенец первое безумное приветствие на божьем свете, то будет знак, что родился он себе живучий даже слишком. Уже такой страшной пробы после ему и не случится. Тем хохотом над Энеидой едва-едва не погубили сами земляки свое же новорожденное слово, —

но «велика же была в нем живая сила» (Там же: 509–510), — вынужден признать все-таки П. Кулиш.

Здесь как раз уместно напомнить, что именно перед 1798 г., когда увидели свет первые части «Энеиды» И. Котляревского, Украина подверглась таким ударам со стороны России, как ликвидация Запорожской Сечи и введение крепостного права. Какова же цель скитаний Энея и троянцев в произведении И. Котляревского? У Вергилия все понятно — его

² «Энеида хороша, но все-таки смеховина» (Шевченко 2003: 208).

«Энеида» должна была стать своеобразной римской «Илиадой», показав божественное предназначение и, так сказать, легитимное основание Рима, а также «олимпийское» происхождение воссоздателя римского государства Августа. Боги заранее определили судьбу Энея: цель его путешествий, самого его существования, его функция — основать Вечный Город. «Энеида» И. Котляревского — бурлеск — не видит конца скитаний Энея. Никакой, даже самый травестийный, Рим в конце поэмы не возникает. После обширного и не слишком веселого описания последней битвы вóйска Энея с рутулами произведение внезапно заканчивается. И, если попробовать понять Энея И. Котляревского с позиции его экзистенции, картина получается безвыходной. Пройдены рай и ад, вода, огонь и медные трубы, а цели — никакой. Этот трагизм «смеховины» без помощи барочной поэтики осознать невозможно. Тем временем аллегория проста:

Это не Эней, — раскрывает ее уже в XX в. литературовед Владимир Радзикович, — и не троянцы блуждают по миру в поисках новых жилищ, — это скитаются по миру остатки запорожцев (Радзикович 1994: 284).

Но этот «второй план» «Энеиды», аллегория, которую прекрасно понял бы украинское барокко, удалось уловить среди современников И. Котляревского лишь бывшим запорожцем. Хотя автор курса лекций по истории украинской литературы XIX в. Николай Зеров и называет «курьезом» «известное предание о популярности Котляревского среди запорожцев» (Зеров 1990: 8), остается фактом то, что с их легкой руки разошлась по свету легенда о Котляревском как о последнем гетмане Украины. В США и Англии эту легенду распространила известная в свое время американская писательница Тальви (Тереза Робинсон), которая некоторое время провела в Харькове и переводила украинские народные песни для своего исследования «Исторический обзор славянских языков», а позже о том же написала газета польских эмигрантов

эмигрантов в Париже «Север» (Шевчук 1990: 339).

Исследуя украинский литературный «перелом» XVIII–XIX вв., современный украинский литературовед Ростислав Чопык напоминает, что

«Наталку Полтавку» И. Котляревский написал «в пику» водевилю князя Александра Шаховского «Казак-стихотворец», тому самому, который, находясь в городе, посмотрел Петро и мало что разобрал за нескладной речью персонажей; а полтавцы, по свидетельству очевидцев, плевались, выходя из театра, где «по-нашему нас и ругано». При внешнем сходстве ситуаций характеры и способ разрешения этих ситуаций в обоих произведениях диаметрально противоположны. У Шаховского герои не могут помочь себе сами. Когда действие заходит в тупик, появляется «*deus ex machina*» — присланный царем князь. Он наказывает Прудуса и Грыцька («прототипы» Возного и Макогоненка), освобождает Семена (Петра) и этим делает возможным его женитьбу на Марусе (Наталке). То есть все действующие лица действуют не по собственной воле, а по княжескому приказу; оказываются не субъектами действия полноценной пьесы из народной жизни, а марионетками или статистами <...> Вместо естественного христианства, формирующего поведение персонажей «Наталки Полтавки», у Шаховского присутствует иерархическое сознание, уповающее не на Бога в сердце, а на «бога из машины», наделенного «высочайшими» контрольно-ревизионными полномочиями. Своеобразный бытовой сеанс «генерального мордобития» (по Т. Шевченко) (Чопык 2015: п).

В своих эссе «Сковорода и Украина» и «Барочные истоки новой украинской литературы» профессор Л. Ушкалов аргументирует мысль о том, что «Наталка Полтавка» И. Котляревского является «ничем иным, как вариацией на тему „Убогого Жайворонка“ Сковороды» (Ушкалов 2006: 171). Мостиком между произведениями является Тетерваковский — бесспорный наследник Тетервака со своим сковородинством наизнанку. «Ария» Возного — пародийная травестия ско-

вородинского псалма «Всякому городу нрав и права», ведь безумный мир, от которого категорически отстранялся автор оригинала, Тетерваковский воспринимает как норму. Он будто и не услышал (тетерев глухой) эпифору в каждой строфе:

А миѢ одна только в свѢтѢ дума,
А миѢ одно только не йдет с ума
(Сковорода 1983: 40) —

и коду о «неформате» хрустальной совести и ума в этом мире:

Смерте страшна, замашная косо!
Ты не щадиш и царских волосов,
Ты не глядиш, гдѢ мужик, а гдѢ царь, —
Все жереш так, как солому пожар.
Кто ж на ея плюет острую сталь?
Тот, чїя совѢсть, как чистый хрусталь...
(Там же: 41)

И, конечно же, он не увидел, как, едва вырвавшись из западни, «трепетен, растрепан, распушен, замят., как мыш, играема котом» (Там же: 325), возвращается оплакивать грехи его предшественник. «Тетервак вѢдь есть птица глупа...»

«<...> Но не злоблива» (Там же: 321): в решающий момент Возный «вспоминает», что «от рожденїя... расположен к добрым делам» (Котляревський 1982: 249) — и отпускает Наталку. Это подтверждает ненапрасность чайний «Убогого Жайворонка» на оптимистичный сценарий развития сообщества «добрых полтавцев», ведь решение Возного детонирует цепная реакция, так сказать, коллективного благодеяния. Все персонажи действуют согласно золотому правилу христианской этики — не делай ближнему того, что не хотел бы, чтобы сделали тебе. Все демонстрируют готовность ради добра другого отречься от собственного блага. Все предпочитают сердечный мир, согласие и справедливость, а не материальное благополучие или эгоистическую страсть «волка» к «младой овечке». Главной идеей обоих произведений таким образом становится

становится не более и не менее как вера в «сродность» украинского человека к добру и его «несродность» ко злу (Чопык 2015: 8).

Большое уважение к Г. Сковороде, а также к И. Котляревскому проявлял в своих произведениях и гений украинской литературы — один из первых и самых ярких романтиков, а также основоположник современного украинского литературного языка Тарас Шевченко (1814–1861), автор поэтического сборника «Кобзарь», первое издание которого в 1840 г. открыло новую страницу развития украинской литературы. Вряд ли случайно, обращает внимание Л. Ушкалов, христологические идеи поэмы «Неофиты» Т. Шевченко так напоминают сквородинскую «теологию креста». А картину человеческих «разнопутий», на которой основывается мрачное философическое начало комедии Т. Шевченко «Сон»:

У всякого своя доля
 І свій шлях широкий:
 Той мурує, той руйнує,
 Той неситим оком
 За край світа зазирає, —

он впервые увидел в псалме «Всякому городу нрав и права...» (Ушкалов 2007: 68).

Т. Шевченко ценил Г. Сковороду как воплощение народной мудрости украинцев и восхищался смелостью И. Котляревского в деле реформирования литературного языка и литературы. Конечно, заслуги самого Т. Шевченко в истории украинской литературы, в деле консолидации украинцев как политической нации, в сфере духовного единения народа, разделенного в XIX в. границами Российской и Австро-Венгерской империй, общеизвестны. В частности, именно благодаря влиянию его поэтического слова во весь голос заявила о себе украинская по сути и романтическая по наполнению литература в Галиции и Буковине («Русская троица» в составе Маркия-

на Шашкевича, Івана Вагілевича і Якова Головацького во Львові, а також Юрій Федькович в Черновцях).

Но саме головне, що доволно короткий по часу, но дуже насичений в літературній житті відрізок свого розвитку від барокко до романтизму українська література подолила без внутрішніх розголосів і конфлік-

тів, чому раніше всього сприяв особистий

авторитет і харизма в народній свідомості

таких видатних її діячів, як

Г. Сковорода, І. Котляревський

і Т. Шевченко.

— СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ —

- Бобринської 1965 — Бобринської П. Старчик Григорій Сковорода. Життя і навчання. Мадрид, 1965.
- Зеров 1990 — Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. / Зеров М. Твори: у 2 т. Т. 2. Київ, 1990. С. 4—588.
- Котляревський 1982 — Котляревський І. Наталка Полтавка / Котляревський І. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи. Київ, 1982. С. 218—250.
- Куліш 1989 — Куліш П. Переднє слово до громади (Погляд на українську словесність) / Куліш П. Твори: у 2 т. Т. 2. Київ, 1989. С. 504—512.
- Піккіо 1993 — Піккіо Р. Від Лаллі до Котляревського (Про еволюцію однієї поетичної формули) / Українське барокко. Матеріали І конгресу МАУ. Київ, 1993. С. 177—188.
- Радзикович 1994 — Радзикович В. Письменство / Історія української культури. Київ, 1994. С. 185—424.
- Сковорода 1983 — Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. Київ, 1983.
- Сковорода 2011 — Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / за ред. Л. Ушкалова. Харків; Едмонтон; Торонто, 2011.
- Ушкалов 2006 — Ушкалов Л. Есеї про українське барокко. Київ, 2006.

- Ушкалов 2007 — Ушкалов Л. Григорій Сковорода: літературний портрет *Ушкалов Л. Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури*. Київ, 2007. С. 8–73.
- Чижевський 1994 — Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Тернопіль, 1994.
- Чопык 2015 — Чопык Р. Від Сковороди до Шевченка (любезно предоставленная автором рукопись монографии, подготовленной к печати). Львів, 2015.
- Шевченко 2014 — Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку 18 століття. Львів, 2014.
- Шевченко 2003 — Шевченко Т. [Передмова до нездійсненого видання „Кобзаря“] *Шевченко Т. Зібрання творів: у 6 т. Т. 5*. Київ, 2003. С. 207–208.
- Шевчук 1990 — Шевчук В. Из вершин та низин. Київ, 1990.
- Andrusyshen 1980 — Andrusyshen C. H. Skovoroda, the Seeker of the Genuine Man *The Ukrainian Review*. 1980. Vol. 28. № 4. P. 86–97.
- Arseniew 1936 — Arseniew N. von. Bilder aus dem russischen Geistesleben. I. Die mystische Philosophie Skovorodas *Kyrios. Vierteljahresschrift für Kirchen- und Geistesgeschichte Osteuropas*. Bd. 1. H. 1 *hrsg. von H. Koch. Königsberg; Berlin, 1936*. S. 3–28.
- Tretiak 1912 — Tretiak J. Piotr Skarga w dziejach i literaturze Unii brzeskiej. Kraków, 1912.



ЧАСТЬ II

ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИЕ
ИЗЫСКАНИЯ



ПАЛЕЯ ГУРИЯ РУКИНЦА И «ПОДПОРУЧИК КИЖЕ» ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

В настоящей статье речь пойдет о памятнике, который я в свое время предложил называть Палеей Гурия Рукинца (далее — ПГР) (Водолазкин 2007: 21–22). Мне уже приходилось писать, что здесь мы имеем дело с тем редким случаем, когда три текста, содержащие палейные фрагменты, — Барсовская Палея (ГИМ, собр. Е. В. Барсова, № 619), Ефросиновская Палея (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № п/1028; далее — ЕП) и ПГР — находятся в генетической связи. Анализ привлеченных к исследованию рукописей позволяет утверждать, что при составлении ПГР среди прочих источников была использована Ефросиновская Палея (Там же)¹.

В настоящее время ПГР известна в единственном списке Софийского собрания РНБ, № 1448 (далее — Соф. 1448), л. 228–294 об. Анализ филиграней рукописи позволяет довольно широко датировать ее второй половиной XVI в. Среди них — разные типы кувшинчика: 1) Кувшин одноручный с литерами DV на тулове типа: Briquet: № 12717 (1553–1556 гг.); 2) Кувшин одноручный с литерами P/GG типа: Briquet: № 12736 (1597 г.)²; 3) на л. 82–84 просматривается кувшинчик с полумесяцем и литерами SB (аналог не найден).

В Описании сборников Новгородской Софийской библиотеки Флегонта Смирнова отмечено, что сборник № 1448 писан «четким одинаковым полууставом» (Смирнов 1865: 10). С этой точкой зрения был согласен А. Н. Попов (Попов 1881: XXXIII). Д. И. Абрамович полагал, что почерков в рукописи несколько (Абрамович 1910: 180). На мой взгляд, можно с большой сте-

¹ Подробнее о взаимоотношении названных памятников см.: (Водолазкин 2014).

² Ср.: (Heawood: № 3578 (1597 г.)).

пенью уверенности говорить о том, что сборник создавался одним писцом. Помимо общего характера почерка, в пользу такого вывода говорит индивидуальное написание букв д, ч, ѣ, а также наличие титла над начальными о и ѡ, прослеживающееся на протяжении всего кодекса. Судя по всему, рукопись писалась ее создателем в течение длительного времени и первоначально существовала в отдельных тетрадах. Эта «потетрадная» структура в сборнике ощутима. Так, на л. 120 об., последнем листе тетради, один из текстов сборника механически обрывается. Листы с 239 по 246 об., составляющие тетрадь, при переплете были вшиты неверно — они должны следовать после л. 254, о чем в рукописи имеются следующие записи³:

- а) л. 239, киноварью на верхнем поле: «Преступи тетрадь»;
- б) л. 247, киноварью на верхнем поле: «Чти»⁴;
- в) л. 254 об., киноварью на нижнем поле: «Отसेле возвратися. Чти ту тетрадь, которую преступил назади».

Примечательно, что все приведенные записи были сделаны самим составителем Соф. 1448, заметившим, что листы переплетены неверно. Это свидетельствует о том, что, несмотря на то, что тетради писались в течение длительного времени, сборник был переплетен при жизни его создателя. Структура кодекса, отражающая историю его сложения, объясняет и изменения, которые претерпевал почерк составителя сборника (именно они позволили Д. И. Абрамовичу считать, что почерков в рукописи несколько), и существенный разброс в датировке его филиграней.

Несмотря на принадлежность этого сборника к Софийскому собранию, новгородским он по своему происхождению не является. В числе множества других рукописей этот кодекс

³ Относительно спутанных листов добавлю, что л. 161–162 современной пагинации должны следовать за л. 211.

⁴ Далее почти полностью затерты еще три слова, выполненные тем же почерком: «тетрадь пре<д?>ную назади».

был вывезен в Новгород из Кирилло-Белозерского монастыря, о чем свидетельствует наличие на внутренней стороне его верхней крышки номера Описи кирилловской книгохранильницы 1776 г. (№ 491). В разделе «В четверть» под этим номером в ней значится: «Соборник, переплетенъ в затылокъ, застежка ременная, вѣтхъ» (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 106/1342, л. 61). Отсутствие упоминания этой рукописи в предшествующих кирилловских описях может говорить о том, что она долгое время находилась в келейном пользовании.

О кирилло-белозерском происхождении как рукописи, так и ее владельца свидетельствует и следующая запись, читающаяся на л. 1: «Соборникъ Гурья Рукинца. Бога ради помяните мя грѣшнаго». «Рукинец» — белозерское прозвище, относившееся к выходцам из села Рукина слободка Белозерского уезда, бывшего частью монастырской вотчины (так, в первой трети XVIII в. в Кирилло-Белозерском монастыре находилось сразу два постриженника с таким прозвищем) (Камкин, Кубарева 1998).

Вопреки предположению, высказанному мной прежде (Водолазкин 2007: 21–22), в настоящее время я склонен думать, что приведенная запись принадлежит скорее владельцу сборника Соф. 1448, чем его составителю. Дело в том, что в начертаниях букв в записи Гурья Рукинца обнаруживаются некоторые черты, отличающие ее, как кажется, от почерка рукописи. Отмечу, в частности, что особое написание буквы *д*, характерное для владельческой записи (дужка не примыкает к петле, а несколько отстоит от нее, присоединяясь с помощью высокой перемычки), в почерке рукописи не встречается.

Говоря о языковых особенностях сборника Соф. 1448, в качестве важнейшей из них следует назвать неразличение *ль* и *и*. Приведу примеры:

человиче (л. 7 об.)	разумиеть (л. 9, 182)
мири, человекъ (л. 8 об.)	Софля (л. 12)
килю (л. 9, 228)	рукодлинн (л. 16)

дѣля (л. 24, 221 об.)	листвицу (л. 134)
добродѣтели (л. 25, 121, 139, 217 об., 226)	зѣницу (л. 141)
Евсѣвѣна (л. 25 об.)	увирить (л. 142)
человѣчески (л. 30)	убльства (л. 145 об.)
звирне (л. 36 об.)	шодии (л. 165 об.)
сищѣва (л. 39 об.)	Аркадѣи, Евтихѣя (л. 166)
звиря (л. 42 об.)	человичи, Кръцкии (л. 167)
дѣяниих (л. 49)	Фраклю (л. 169 об.)
старѣшему (л. 52)	Зеведѣева (л. 171)
невѣрнии (л. 59, 66)	литургю (л. 172, 219)
видити (л. 70 об.)	сиверу (л. 172 об.)
человѣчество (л. 74, 153, 163 об.)	изрицаемы же и незрицаемы (л. 184)
сиверь (л. 75)	звирни (л. 188)
вочеловичися (л. 76 об.)	видинне (л. 193 об.)
человѣческая (л. 86, 175 об., 224)	свѣтълика (л. 198 об.)
человѣще (л. 87)	нерадинне (л. 200 об.)
кильях (л. 87 об.)	снѣсти, смотривъ (л. 21 об.)
симѣя (л. 88, 126)	Патръкѣи (л. 212)
симѣи (л. 105)	Кесарю (л. 217 об.)
купиль (л. 120)	смотрѣих (л. 227)

Можно отметить в тексте Соф. 14/48 также следы цоканья/чоканья: о ризе сказано, что она «чела» (л. 245), на л. 70 об.—71 находим «пецется».

Вместе с тем, в рукописи имеются отдельные случаи аканья («акааны» — л. 204 об., «миластиня» — л. 212 об.) и яканья («молитвяницу» — л. 104 об.), что не позволяет локализовать писца сборника в новгородских пределах, о чем, казалось бы, могут свидетельствовать приведенные выше языковые характеристики. При этом и мена *ь/и*, и цоканье, по наблюдениям лингвистов, вполне характерны для белозерских говоров. На белозерское происхождение писца сборника могут, по-видимому, указывать и довольно часто встречающиеся в рукописи написания типа: *времяни* (л. 4 об.),

знамяние (л. 58 об., 178 об.), симяни (л. 105), имяны (л. 173 об., 193), знамянав (л. 193), имянем (л. 213) и др.

Совокупность языковых данных Соф. 144⁸⁵, таким образом, позволяет заключить, что создатель ПГР, даже если мы не можем достоверно отождествить его с Гурием Рукинцем, был, по всей видимости, как и он, белозерцем⁶.

Отмеченные выше особенности Сборника Гурия Рукинца (он принадлежит одной руке и, возможно, некоторое время существовал в отдельных тетрадах) напоминают историю создания и бытования рукописей Ефросина. Вообще говоря, многое в его создателе заставляет вспомнить о Ефросине — прежде всего широта интересов и, как следствие, разнообразие сделанных выписок.

Открывается сборник данными из очень разных областей: заметками о количестве монахов в ряде монастырей, хронологическими указаниями эпохи Христа и Богородицы, перечнем материалов, использованных при строительстве Храма Соломона и др. Далее составителем сборника были выписаны тексты проложного типа, наставления инокам, помещаемые в «Старчестве». Находим также записи, относящиеся к порядку богослужения, и богослужебные тексты (например, порядок следования служб от Мясопустной недели до Пасхи, службы от Страстной седмицы до Троицы), учительные слова и поучения (скажем, Слово Ефрема Сирина об Иосифе Прекрасном, подборка слов о пользе чтения книг), комплексы житийных фрагментов и Житие Марии Египетской, описание особенностей вкушения пищи, совершения поклонов, крестного знамения, выписки из Книги Притчей, Книги Премуд-

⁵ За лингвистические консультации приношу сердечную благодарность А. А. Гишпиусу и И. В. Бегунц.

⁶ Все изложенное, впрочем, несколько не мешает именовать интересующий нас текст Палеей Гурия Рукинца. Предложенное мной наименование ставило своей задачей не столько указать ее составителя или владельца, сколько обозначить уникальный характер памятника и его особое место в ряду созданных на Руси палей.

рости Соломона и т. д. В Соф. 1448 читаются также записи, содержащие различные подсчеты, очень напоминающие ефросиновские: «В месяце 208 часов. Суставов в человеце 365» (л. 27) и т. п.

На л. 228–29⁴ об. сборника помещена Палея Гурия Рукинца. Что представляет собой этот памятник? По структуре и характеру повествования это типичный хронограф. Изложение событий начинается в нем Сотворением мира и оканчивается смертью первосвященника Илия, причем повествование обрывается механически. Основными источниками ПГР следует считать Священное Писание, Ефросиновскую Палею и Историческую Палею (далее — ИП). Последняя является, как известно, болгарским переводом с греческого и к русским палеям отношения не имеет. Сокращение именно этого памятника имел в виду А. Н. Попов, когда называл ПГР Сокращенной Палеей русской редакции (Попов 1881: 1–92).

О взаимоотношениях ПГР и ИП мне уже приходилось писать (Водолазкин 2007), скажу теперь несколько слов о зависимости ПГР от ИП. Создавая ПГР, ее составитель, среди прочих текстов, привлекает обширные фрагменты и этого памятника. Некоторые из них он сокращает, некоторые изменяет, причем отдельные чтения остались, по всей видимости, им не поняты. Так, «сторки» (в апокрифе о том, как Моисей воевал на стороне египтян против Индии и, защищаясь от многочисленных змей, пустил впереди войска аистов) он заменяет на «скоты».

В свое время Флегонтом Смирновым были указаны и описаны два генетически связанных кирилловских списка ИП из Новгородской Софийской библиотеки — № 146⁴/₄ и № 1465 (Смирнов 1865: 44–53; современные шифры: РНБ, Софийское собр., № 146⁴/₄ и № 1465 соответственно; далее — Соф. 146⁴/₄ и Соф. 1465). Исследователь предположил, что один из этих списков явился непосредственным источником ПГР в ее заимствованиях из ИП. Он также считал, что упоминание о «Болшей Бытье», содержащееся в ПГР на л. 283, 283 об. и 28⁴/₄, относится к одной из этих рукописей (Там же: 17).

Прежде

Прежде чем рассмотреть вопрос о связи ПГР с конкретными рукописями, замечу, что слова о «Болшей Бытье» отсылают, по всей вероятности, не к Исторической Палее, а к Ветхому Завету, который был одним из источников ПГР. В одной из ее ссылок сказано: «Бытье судии израилтяном из, а всѣм имяна писаны в Болшей Бытье» (Соф.1448, л.284). Между тем, в ИП нет полного перечня судей, а потому ссылка к ней относиться не может.

Обратимся теперь собственно к рукописям из Софийского собрания. В настоящее время исследователями установлено, что сборник Соф.1464 является копией Соф.1465 (Казакова 1976: 79–80), а последний, следует полагать, был составлен белозерским старцем Сергием Климиным (Дмитриева, Шаромазов 1998: 310). Соф.1464 датируется 20–30-ми гг. XVI в. Н. А. Казаковой (Казакова 1976: 79) и серединой 30-х гг. — О. Л. Новиковой (Новикова 2010: 7–8). Что же касается предшествующего ему Соф.1465, то исследование сборника О. Л. Новиковой показало, что речь идет о созданном Сергием Климиным конволюте. Древнейшая его часть, писанная до Сергия (датируется концом XV в.), содержит ИП. Наряду с другими текстами, принадлежащими к древнейшей части конволюта, часть с текстом ИП содержит пометы на полях. Как установила О. Л. Новикова, некоторые из них являются «счетными» пометами Ефросина, некоторые — исправлениями, впоследствии внесенными в текст Сергием Климиным (составление сборника Сергием исследовательница относит к середине 20-х гг. XVI в.; Там же: 6–29).

Пометы Сергия, читающиеся на полях Соф.1465 и внесенные в текст в Соф.1464, помогают решить вопрос, является ли один из этих сборников источником ПГР. Примеры принятой Сергием правки представлены в помещенной ниже таблице⁷. В ней представлены также чтения ПГР и изданного

⁷ В одном случае исправление осуществлено прямо поверх текста Соф.1465: «не примеши послуха лжа», при этом первоначальный текст не читается (л.31). В соответствующем месте Соф.1448 находим: «не

А. Н. Поповым списка ИП (ГИМ, Синодальное собр., № 591; далее — Син. 591).

Соф. 1465	И рече Моиси: «Не могу, яко <i>мудноязыченъ</i> есмь» (л. 26). (с учетом правки Сергея Климина)
Соф. 1465	И рече Моиси: «Не могу, яко <i>косноязыченъ</i> есмь» (л. 26). (основной текст)
Соф. 1464	И рече Моисей: «Не могу, яко <i>косноязыченъ</i> есмь» (л. 56).
Соф. 1448	И рече Моисий ко Господу: «Не могу вниити, <i>молодоязычен</i> есмь» (л. 259).
Син. 591	И рече Моисий: «Не могу, яко <i>медленозыченъ</i> есмь (с. 66) ² .»
Соф. 1465	И взят фараонъ оруженники своя и всадники вся египетскыя (л. 29). (с учетом правки Сергея Климина)
Соф. 1465	<i>доб.:</i> и оружна, и тристаты всякия (л. 29) (основной текст)
Соф. 1464	И взять фараонъ оруженники своя, и всадники вся египетскыя, и <i>оружия, и тристаты всякия</i> (л. 62 об.).
Соф. 1448	И собра фараонъ вся люди своя, оруженники и всадники, и вся воя египетская, и <i>оружия всяка тристаты</i> (л. 261 об.).
Син. 591	И взять фараонъ оруженники своя и всадники вся египетскыя и <i>оружия, и тристаты всякыя</i> (с. 75).
Соф. 1465	И <i>так</i> положи ему Богъ оправдания и судьбы (л. 30). (с учетом правки Сергея Климина)
Соф. 1465	И <i>ту</i> положи ему Богъ оправдания и судьбы (л. 30). (основной текст)
Соф. 1464	И <i>ту</i> положи ему Богъ оправдания и судьбы (л. 65 об.).
Соф. 1448	И <i>так</i> положи ему Господь оправдания и судьбы (л. 263 об.).
Син. 591	И <i>так</i> положи ему Богъ оправдания и судьбы (с. 78).
Соф. 1465	не имаша ходити въ языцѣ си (л. 31 об.) (с учетом правки Сергея Климина)
Соф. 1465	не имаша ходити <i>лукавно</i> въ языцѣ си (л. 31 об.) (основной текст)
Соф. 1464	не имаша ходити <i>лукавно</i> въ языцѣ си (л. 68 об.).
Соф. 1448	не имаша ходити <i>лукавно</i> въ языцех си (л. 265 об.).
Син. 591	не имаша ходити <i>лукавно</i> въ языцѣх си (с. 82)

принмеша слуг лжею» (л. 265). Ср. в Син. 591: «не приммеша слухъ лжа» (с. 81).

² В скобках указаны страницы по изд.: (Попов 1881: 1–172).

Соф. 1465	и принеси ми жрътву (л. 32 об.)
(с учетом правки Сергея Климина)	
Соф. 1465	И <i>внутри ея</i> принеси ми жрътву (л. 32 об.)
(основной текст)	
Соф. 1464	и <i>внутри ея</i> принеси ми жрътву (л. 71 об.)
Соф. 1448	и <i>внутри ея</i> принеси ми жрътву (л. 267)
Син. 591	и <i>внутри ея</i> принеси м(и) жрътву (с. 86)
Соф. 1465	въ <i>веселие</i> вѣчное (л. 35)
(с учетом правки Сергея Климина)	
Соф. 1465	въ <i>вселение</i> вѣчное (л. 35)
(основной текст)	
Соф. 1464	въ <i>вселение</i> вѣчное (л. 78)
Соф. 1448	в <i>селение</i> вечное (л. 271)
Син. 591	въ <i>вселение</i> вѣчное (с. 94)
Соф. 1465	Рѣша же ей: «Июден е» (л. 41).
(с учетом правки Сергея Климина)	
Соф. 1465	Рѣша же ей: «Июден <i>есмя</i> » (л. 41).
(основной текст)	
Соф. 1464	Рѣша же ей: «Июдене <i>есмя</i> » (л. 93).
Соф. 1448	Они же рѣша ей: «Юдѣи <i>есмя</i> » (л. 280).
Син. 591	Рѣша ей: «Июден е» (с. 11).
Соф. 1465	дондеже съѣкоша ерихоняны до <i>избытка</i> (л. 42)
(с учетом правки Сергея Климина)	
Соф. 1465	Дондеже съѣкоша ерихоняны до <i>конца</i> (л. 42)
(основной текст)	
Соф. 1464	дондеже съѣкоша ерихоняны до <i>конца</i> (л. 95 об.)
Соф. 1448	дондеже исѣкоша ерихонян до <i>избытка</i> (л. 281 об.)
Син. 591	Дондеже съѣкоша ерихоняны <i>до избытки</i> (с. 14)
Соф. 1465	и украде <i>младенца</i> многы (л. 42)
(с учетом правки Сергея Климина)	
Соф. 1465	И украде <i>от възложения</i> многы (л. 42)
(основной текст)	
Соф. 1464	и украде от <i>възложения</i> многы (л. 96)
Соф. 1448	украде <i>младенци</i> многи (л. 281 об.)
Син. 591	и украде <i>младенца</i> многы (с. 14)

Приведенная таблица может свидетельствовать прежде всего о том, что источником ПГР был не Соф. 1464. Дело в

том, что вся произведенная в Соф.1465 правка при создании Соф.1464 была учтена (включена в текст), — ПГР же в ряде случаев соответствует исходному тексту Соф.1465, чего не могло бы быть, если бы текст переписывался с Соф.1464.

Что представляет собой правка Сергея Климина? Из приведенной таблицы очевидно, что осуществлялась эта правка не «из головы», а по другому, неизвестному нам, списку памятника. В этом отношении случаи совпадения ПГР с правкой вполне закономерны, а случаи несовпадения могут отражать индивидуальные чтения источника ПГР. Даже при том, что текст ПГР не является точным воспроизведением источников, а скорее их пересказом, можно сказать достаточно определенно, что систематически списком Соф.1465 создатель ПГР не пользовался. Помимо примеров, приведенных в таблице, могу упомянуть еще об одном: вставка (пять строк) на поле л.39 об. Соф.1465, включенная позднее в текст Соф.1464 (л.89), в ПГР не отражена. Таким образом, основным источником ПГР был не Соф.1465, а какой-то другой список ИП. О наличии такого списка говорит и правка Сергея Климина, и восполнение им утраченного первого листа ИП в Соф.1465 (Новикова 2010: 12). Возможно, этим источником был список ИП, упомянутый в Описи Кирилло-Белозерского монастыря конца XV в. (Никольский 1897: 25).

Вместе с тем, можно допустить, что составитель ПГР был знаком и с Соф.1465. В ПГР находим хронологическое указание, отсутствующее в ИП: «Поживе Моисии 100 лѣт и умре, конецъ житию приат» (л.279). Против этой фразы на поле рукописи помещена помета: «до рожества Христова за 1040 лѣт». В Соф.1465, в соответствии с обычным текстом ИП, читается фраза «Моисии же конецъ житию въсприатъ» (40 об.). Но на поле того же листа обнаруживается сходная запись (в данном случае она относится к фразе «увидѣ погребение Моисеово»): «Умре Моисѣи ста лѣт сыи, предвари Христово рожество лѣт тысящю и 4 ста и 80 и 5». Вполне вероятно, что хронологическая вставка в ПГР отражает (хотя и неточно) маргиналию Соф.1465. В

В завершение темы Соф.1465 упомяну еще один любопытный факт. Изучая формирование древнейшей части этого конволюта, О.Л.Новикова обнаружила в одном из кирилловских сборников и привлекла к исследованию четырехчастный цикл азбучных стихов, переписанный тем же почерком, что и Послание митрополита Ионы из древнейшей части Соф.1465 (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., №123/380, л.317–322; Новикова 2012: 66–83). Первый из азбучных стихов открывается апокрифом о составлении имени Адама. Этот же апокриф, не встречающийся в палеино-хронографической литературе, находим в начале ПГР. О пути попадания апокрифа в ПГР пока нельзя сказать ничего определенного, но его присутствие в памятнике наводит на мысль о возможном знакомстве создателя ПГР и с рукописью КБ123/380.

В заключение скажу о «подпоручике Кижее», каковым является слово *модлоязычен* — искаженное *молодоязычен*. В издании ПГР А.Н.Попова, осуществленное по списку Соф.1448, это слово вошло в неверном прочтении⁹. Дело в том, что в Соф.1448 слог *-до-* в слове *молодоязычен* является выносным, причем выполнен он в виде лигатуры, в которой буква *о* приписана к правому краю горизонтальной черты буквы *д*, из-за чего, по-видимому, и произошла ошибка прочтения (*модлоязычен*). Как видно из первого чтения приведенной выше таблицы, судьба этого слова никогда не была простой. Вполне благозвучная его версия содержится в Син.591 (*медленоязыченъ*), а вариант Соф.1465 (*мудноязыченъ*) был исправлен Сергием Климиным на *косноязыченъ*. В конечном счете все эти формы восходят к ветхозаветному *βραδύλοσσος* (Исх.4: 10).

Слово *модлоязычен* вошло впоследствии в Словарь русского языка XI–XVII вв. в качестве отдельной статьи, со ссылкой на единственный — ошибочный — пример в издании А.Н.Попова (Сл. РЯ XI–XVII вв. 9, 232). На него также да-

⁹ См.: (Попов 1881: приложение, 43).

ется ссылка в словарной статье «Медленноязычный» (Сл. РЯ XI–XVII вв. 9, 60). Таким образом слово *модлоязычен* стало тем самым подпоручиком Киже отечественной лексикографии.

Подводя итоги, отмечу, что история создания Палея Гурия Рукинца разными своими гранями связана с деятельностью Ефросина. Важным источником при составлении этого текста стала ЕП, о которой речь шла выше. Заимствуя текст ИП, составитель ПГР, возможно, держал в руках список Соф.1465, на котором сохранились ефросиновские пометы. Впрочем, связь эта выражается не только в использовании рукописей, так или иначе входивших в орбиту Ефросина. В манере создателя ПГР и сборника Соф.1448 в целом узнается определенный выбор источников (например, интерес к апокрифам, историческим сочинениям, различного рода подсчетам, а также к структуре и особенностям богослужебных последований) и способы их переработки. В широком смысле он, несомненно, — ученик Ефросина. В данном случае мы имеем дело с проявлением того феномена, который определяется как литературная традиция. К ней принадлежал не известный нам белозерский книжник, во второй половине XVI в. создавший в Кирилловом монастыре Палею Гурия Рукинца. Судя по времени создания сборника, не известный и самому Ефросину.

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

- Абрамович 1910 — Абрамович Д. И. Описание рукописей С.-Петербургской Духовной Академии: Софийская библиотека. Вып. 3. СПб., 1910.
- Водолазкин 2007 — Водолазкин Е. Г. Ефросиновская Палея: до и после (на материале апокрифа о мыши в Ноевом ковчеге) // *Rossica romana*. 2007. № 14. Р. 9–22.
- Водолазкин 2014 — Водолазкин Е. Г. Из истории кирилло-белозерских палей // *Книжные центры Древней Руси: Книжники и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря*. СПб., 2014. С. 286–309.

- Дмитриева, Шаромазов 1998 — Описание строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года: Комментированное издание / сост. З. В. Дмитриева, М. Н. Шаромазов. СПб., 1998.
- Казакова 1976 — Казакова Н. А. Хожение во Флоренцию 1437-1440 гг. (списки и редакции) // ТОДРЛ. Т.30. Л., 1976. С. 73-94.
- Камкин, Кубарева 1998 — Камкин А. В., Кубарева Е. В. О братии Кирилло-Белозерского монастыря перед секуляризацией // Кириллов: Краеведческий альманах. Вып.3. Вологда, 1998. С. 93-100.
- Никольский 1897 — Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в конце XV века. СПб., 1897.
- Новикова 2010 — Новикова О. Л. Формирование и рукописная традиция «Флорентийского цикла» во второй половине XV — первой половине XVII в. // Очерки феодальной России. №14. М.; СПб., 2010. С. 3-208.
- Новикова 2012 — Новикова О. Л. Ефросин Белозерский и московские книжники последней четверти XV в. // Очерки феодальной России. №15. М.; СПб., 2012. С. 45-83.
- Попов 1881 — Попов А. Н. Книга бытия небеси и земли (Палея историческая) с приложением Сокращенной Палеи русской редакции. М., 1881. (ЧОИДР. 1881. Январь — март. Кн. 1)
- Сл. РЯ XI-XVII вв. — Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 1-29-. М., 1975-2011-.
- Смирнов 1865 — Описание рукописных сборников Новгородской Софийской библиотеки, находящихся ныне в Санкт-Петербургской Духовной Академии / сост. Ф. Смирновым // Летопись занятий Археографической комиссии, 1864 год. СПб., 1865.
- Briquet — Briquet C. M. Les filigranes: Dictionnaire historique de marques du papier. Vol. 1-4. Genève, 1907.
- Heawood — Heawood E. Watermarks mainly of the 17th and 18th Centuries. Hilversum, 1950. (репринт: Hilversum, 1957)

О ХАРАКТЕРЕ НОРМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА¹

По общему мнению, особенностью языковой ситуации первой четверти XVIII в. является ее переходный характер. Старые письменные традиции постепенно разрушаются, и нормы нового литературного языка начинают формироваться на основе всех имеющихся в словаре и грамматике языковых средств: собственно русских, церковнославянских и недавно заимствованных. В. В. Виноградов, посвятивший литературной речи первой половины XVIII в. отдельную главу своего ставшего впоследствии классическим учебника, увидел в текстах этого периода смешение стилей, широту и свободу грамматических (морфологических) колебаний, стилистическую пестроту и неорганизованность в сфере синтаксиса, зыбкость фонетической системы (Виноградов 1934: 58–60, 61–65).

В русском языке Петровской эпохи отсутствовала единая норма. При этом характер нормы, ее свойства, по-видимому, являлись общими для всех текстов, по крайней мере, для текстов светского содержания — как оставшихся в рукописи, так и напечатанных гражданским шрифтом, то есть прошедших редактирование и вычитку. Ниже мы остановимся на двух таких свойствах.

~ I. ~

Языковые единицы, ранее имевшие ограниченную сферу употребления, начинают свободно использоваться в сочинениях разных жанров. Это положение хорошо иллюстрируется примерами использования оборота «дательный самостоятельный»,

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Wörter auf Wanderschaft: Der Weg deutscher Lehnwörter des Polnischen ins Ostslavische» (DFG, рук. Prof. Dr. Gerd Hentschel (Universität Oldenburg) и Prof. Dr. Stefan Engelberg (Institut für deutsche Sprache, Mannheim)).

которому до XVIII в. была свойственна яркая книжная окраска. Теперь его можно встретить не только в художественной прозе, но и в философском трактате и технической инструкции. В частности, несколькими примерами он представлен в романе Ф. Фенелона «Похождение Телемака»². Ср.:

- (1) *Бывшимъ намъ* близъ земли, море несетъ насъ къ камению, которыя разбили бы насъ, но мы обращали противу ихъ конецъ машты (Фенелон 20п/1724: 17)³.

«Дательный самостоятельный» можно встретить и в трактате С. Пуфендорфа «О должности человека и гражданина по закону естественному»⁴. Ср.:

- (2) Но потомъ *умножившуся роду человеческому*, и когда земледѣлство и прочіи промыслы начались около вещей; изъ которыхъ челоуѣку препитаніе и одѣяніе происходитъ, да бы возмогли мирно безъ сваровъ и благочинно жить, И САМЫЕ ТѢЛЕСА ВЕЩЕЙ МЕЖДУ СОБОЮ РАЗДѢЛИЛИ (Пуфендорф 20п/1726: 265).

В инструкции по строительству судоходных каналов, изданной в 1702 г., — «Книге о способах, творящих водохождение рек свободное», интересующий нас оборот использует переводчик Б. Волков. Ср.:

² На русский язык роман был переведен в 1724 г. офицером Адмиралтейства А. Ф. Хрушовым, сохранился во многих списках и с большим количеством ошибок и пропусков был издан в 1747 г. (Орлов 1935: 14; Николаев 1988: 167–172; Круглов 2005).

³ Здесь и далее в ссылках на русские переводы сочинений Ф. Фенелона и С. Пуфендорфа указываются номера сплошной внутритекстовой пагинации соответствующих изданий, приведенных в списке литературы. В цитатах при выделении целых слов курсив принадлежит автору статьи, выделенные курсивом отдельные символы указывают на выносные буквы рукописного источника.

⁴ «De officio hominis et civis juxta legem naturalem» — знаменитый учебник по теории естественного права, который в течение XVIII в. выдержал в европейских странах шестьдесят три издания только на латинском языке (Denzer 1986: 26), был переведен на русский язык по указу Петра I справщиком И. Кречетовским и напечатан гражданским шрифтом в 1726 г. (Пекарский 1862: 1, 213).

- (3) И тако предложенію бывшу, прокопать новои каналъ, какои рѣкѣ ни буди, надобно прежде радѣть познать ту рѣку (Буйе 170ѡ: 71), ср.: (Круглов 2004: 45).

Ту же особенность в своем употреблении обнаруживает и другая ранее стилистически маркированная синтаксическая конструкция — повтор определяемого имени при местоимении *который* в придаточном предложении. По мнению А. Г. Руднева, на которого ссылается и с которым согласен В. И. Троицкий (Троицкий 1968: 150–151), повтор существительного получил широкое распространение в XVI–XVII вв. и был свойственен канцелярскому языку, так как обладал функцией, созвучной коммуникативному заданию последнего, и обеспечивал, если воспользоваться удачным выражением В. М. Живова, «однозначность референциального отождествления»⁵ (Живов 2000: 578). Как и «дательный самостоятельный», конструкция с повтором встречается в «Шлюзной книге» (4), трактате С. Пуфендорфа (5) и романе Ф. Фенелона (6–8). Ср.:

- (4) Сочїни двѣ шлюзы, чтобъ едина подле другои была, какъ Е. Ф. къ правої или лѣвої сторонѣ рѣки по разсмотренію, *отъ которой шлюзь* ворота будутъ, как у Н. Г. I. L. (Буйе 170ѡ: 46).

⁵ Следует отметить, что ту же функцию и сходную стилистическую окраскуистики языка отмечают у соответствующей латинской конструкции. Ср.: «*Exemplum, quo exemplo*. <...> Diese der Deutlichkeit dienende und daher im Kurialstil oft ebenso wie in der literarisch anspruchlosen Erzählungen lästig gehäufte Struktur findet sich im Altlatein» (Hofmann, Szantyr: 563).

В русском языке второй половины XVII в. повтор существительного при местоимении *который* встречается не только в деловых документах, но и текстах, испытавших влияние приказного языка. В частности, единичными примерами он представлен в сочинении Г. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича», написанном на «русском разговорном языке, прошедшем через фильтр приказной нормы» (Живов, Успенский 1983: 152). Ср.: «Very occasionally the older Russian construction is found in which the qualified substantive is repeated after the pronoun in the qualifying clause» (Pennington 1980: 344).

- (5) Для того убо, да бы взаимныя между челоуѣки должности, которыя суть плоды содружественнаго житія, частѣе паки по извѣстнымъ правиламъ творимы были, надлежало, да бы челоуѣцы между собою взаимное *согласіе* въ пользу другдруга возѣмѣли, *кромя котораго согласія* по самымъ челоуѣческимъ правамъ того получить между собою не могли бы (Пуфендорф 201/1726: 212).

Интересно, что именно роман Фенелона, коммуникативно-му заданию и стилю которого конструкция с повтором явно не соответствует, демонстрирует сразу несколько ее разновидностей. В первом примере речь идет о простом повторе существительного из главного предложения:

- (6) Но единъ неволникъ <...> учинилса ему невѣренъ, убилъ его, создаи бѣгущаго, *отсекъ* емѹ главу ѣ принесъ в полкъ к соединеннымъ, надеялся получить *за грехъ* свой воздаяние, *которой грехъ* войну скончаетъ (Фенелон 201/1724: 421).

В следующем примере существительное придаточного предложения коррелирует с однокоренным глаголом из главного:

- (7) «Кое безуміе, — говорятъ они, — ѣмѣти себѣ в радость, чтобъ *господствовать* над другими челоуеки, *от котораго господствія* ѣмѣють великія труды, ежели хотятъ владети ими по разумѹ ѣ правде!» (Там же: 162).

И, наконец, в романе можно встретить контекст, в котором существительное придаточного предложения по отношению к ряду существительных из главного является оценочным гиперонимом, или, иными словами, обобщает сказанное в главном. Ср.:

- (8) По семъ богиня во вбразе Мантора покрыла Телѣмака щитомъ своимъ, дала ему *духъ премудрости ѣ предвѣдения, храбрость* непобѣдимую ѣ тихое *целомудріе, которыя добродетели* не всегда совокупаются вмѣсте (Там же: 221).

В русском языке первой четверти XVIII в. наблюдается варьирование языковых единиц в пределах одного текста, причем это явление нередко проявляется в своих крайних формах: варианты написаний, грамматических форм и лексических обозначений могут встретиться не просто в одном тексте, а соседствовать в границах одного предложения.

Что касается орфографических вариантов, то многочисленные примеры их употребления можно обнаружить в рукописных текстах, которые, несмотря на введение гражданского шрифта, еще в течение длительного времени были широко распространены и сохраняли ориентацию на традиции скорописи, почти не испытывая влияния печатных изданий. Приведем примеры варьирования в написании окончаний однородных существительных (9) и прилагательных (10). Ср.:

- (9) Телѣмакъ, ходя ношию по всему ополчению радї охранения от лукавства адрасова, сию нелѣстную похвалу слышитъ — не какъ ласкатели царей своих в лице хвалять, ибо не їмѣють ни *целомудрия*, ни *остроумиѧ*, и кто болѣе хвалитъ, тѣхъ болѣе богатятъ (Фенелон 20п/1724: 347).
- (10) Подобѣнь лву *гладному*; *прогнанимму* от стада, которой возврашается в свою *ам8* и остритъ з8бы ї нохти, и ожидаетъ подобна времени, дабы все стадо пожрати (Там же: 356).

Рукописный текст «Телемака» изобилует и случаями варьирования грамматических норм, нередко находящимися в пределах одной синтагмы. Следующие примеры демонстрируют варьирование форм в парадигме прилагательных: в вин. мн. м. р. (11), им. мн. м. р. (12) и род. ед. м. р. (13). Ср.:

- (11) Толок украшалъ лице свое нежное и чесалъ свои власы *бѣлыя длинныя*, и мазалъ масти благовоными (Там же: 66).
- (12) *Убогиѧ*, не їмѣя пищи, не такъ часто болезнують. *Богатыи* же объядениемъ болятъ (Там же: 346).

(13) Молнія разделяетъ облака *от единого* края до *другаго* угломъ своимъ произательнымъ (Фенелон 201/172¼: 3¼2).

В текстах рассматриваемого периода подобные случаи отражают именно характер языковой нормы и не являются следствием небрежности переписчика, так как встречаются не только в рукописных, но и в печатных текстах. В частности, в «Шлюзной книге» также имеется несколько случаев варьирования флексий в парадигме прилагательных. В следующих примерах обратим внимание на прилагательные вин. мн. ж. р. (14), вин. мн. ср. р. (15), им. мн. ж. р. (16). Ср.:

(14) И понеже послѣдую разности земли, надобно <сваи — *В. К.*> класть долгіе или короткіе и *толстые* или *тонкія* (Буїе 1708: 17).

(15) И нікогда оную архітектуру войнскую такову совершенну не вѣдали, имѣемъ мы на сія науки описанія *совершенные* и *ученья* (Буїе 1708: предисл., ненум.)

(16) Ибо часто случаются жѣлы *песошныя*, ілі *земляныя*, съю твердыя ко входу свае, но малои толщїны, подь которыми есть земля мягчайшая, въ которую свая входїтъ безъ трудности (Буїе 1708: 23).

В границах одного предложения встречаются и лексические варианты. В «Похождении Телемака» таким образом употреблены, в частности, слова *жизнь* и *живот*. Ср.:

(17) Лутче любить истиннѣ непорочно, нежели *животъ* свой долговременнѣй, а моя *жизнь* уже зело долговременна (Фенелон 201/172¼: 65).

Оба слова выступают здесь как абсолютные синонимы, о чем свидетельствует конструкция оригинала, в которой второе существительное просто опущено: «...une longue vie: la mienne...» (Fénelon 1717: 59)⁶.

⁶ Для сопоставления русского текста с французским оригиналом мы пользовались изданием (Fénelon 1717). Ранее мы исключили его из круга предполагаемых источников (Круглов 2005: 507) на основании ошибочных сведений, приведенных в библиографическом обзоре (Cherel 1970: 10), согласно которому титульный лист издания 1717 г. содержит слова «Première

В русском переводе «Телемака» имеется еще один показательный пример лексического варьирования. Здесь французское слово *inquiétude* может передаваться лексическими дублетами, каждый из которых встречается в тексте всего один раз. Это слова *непокойство*, *непокойность*, *неспокойство* и *неспокойность*⁷. Ср.:

- (18) По том пошли к богинѣ, которая ихъ ждетъ. Видя ихъ, усмѣхнулася мало ѿ скрываетъ в радости страхъ ѿ *непокойство* сердца своего, ибо предъусмотрила, что Тельмакъ, наученный Манторомъ, убѣжитъ от нея, яко Улиссъ (Фенелон 201/1724: 71; Fénelon 1717: 67).
- (19) Но что сочиняеть бунты? Славолюбие ѿ *непокойность* великихъ людей въ гсдрствѣ, кѣгда имъ дана великая волность (Фенелон 201/1724: 271; Fénelon 1717: 287).
- (20) «Телемак младенца» взялъ на руки и пестуетъ на своихъ коленахъ, и чюствуетъ в себѣ *неспокойность*. Вини же ея не знаетъ и болше с нимъ непорочно ѿграеть, болше смущается и ослабѣваетъ (Фенелон 201/1724: 121; Fénelon 1717: 125).
- (21) Богатство, корень злу ѿ *неспокойству* (Фенелон 201/1724: 489; Fénelon 1717: Table des matieres, Richesses, неум.).

Для XVIII в. *непокойность*, *неспокойность* и *неспокойство* являлись неологизмами⁸, не получившими широкого распространения⁹, и в данном случае мы также имеем характерный пример проявления рассматриваемого свойства языковой нормы, когда последняя не ограничивает действие продуктивных словообразовательных типов.

édition conforme au manuscrit original». В действительности, как и в двух других роттердамских изданиях (1718 и 1719 г.), здесь напечатано: «Nouvelle édition. Augmentée & Corrigée Sur le Manuscrit Original de l'Auteur», чему соответствует заглавие русского перевода: «Новыя печати, с подлинного манскрита авторова умножена и исправлена».

⁷ Слова *беспокойство* и *беспокойствие* в тексте перевода отсутствуют.

⁸ Ср.: (Сл. РЯ XI–XVII вв. II).

⁹ В «Словаре русского языка XVIII в.» слова *непокойность* и *неспокойность* не зафиксированы, а при слове *неспокойствие* отсутствует знак «вхождения» (неологизма) (Сл. РЯ XVIII в. 15, 77–78).

Известно, что в русском языке Петровской эпохи появилось большое количество заимствований из западноевропейских языков. Этот процесс был связан с освоением административной, общественно-политической, военно-морской, производственно-технической и научно-деловой терминологии, а также модой на иностранные слова (Виноградов 1934: 48–52, 56–58). В памятниках первой четверти XVIII в. лексические заимствования демонстрируют ту же особенность, что и рассмотренные выше языковые единицы. Присущую заимствованиям вариантность можно нередко наблюдать в пределах одного текста.

Обратимся к «Уставу о войсках морских Людовика XIV» — сочинению, которое осенью 1714 г. по личному приказу Петра I было переведено с французского языка на русский К. Зотовым и спустя год вышло отдельным изданием (Уставъ 1715), см.: (Быкова, Гуревич 1955: 182). Текст интересен тем, что переводчик, употребляя здесь недавние заимствования *шкипер* и *штурман*, не повторяет оригинал, а использует в определенной мере устоявшиеся и уже известные ему лексические обозначения. Так, словом *шкунер* (ср. англ. *skipper*, голл. *schipper*, нем. *Schiffer*, пол. *szyper*) последовательно передается старофранцузское *maistre* (> фр. *maître*), а словом *штурман* (ср. голл. *stuurman*) — фр. *pilote*¹⁰. Уже во второй половине XVIII в. эти соответствия нашли отражение в «Полном французском и российском лексиконе». Ср. в одном из значений: *Maître* ... (в кораблеплавании) корабельщикъ, шкипоръ (ФРЛ 1786 1, 61); *Pilote* ... Кормчій, штурманъ, пилоть, лоцманъ, кормщикъ (Там же 1, 271)

Слово *шкунер* известно в русском языке «начиная с Петра I» (Фасмер 4, 449) в значениях (1) «офицер на военном

¹⁰ В качестве оригинала использовалось издание *Ordonnance* 1689, ср.: (Быкова, Гуревич 1955: 182).

корабле, заведующий всеми принадлежностями для оснастки (парусами, веревками, рангоутом)» и (2) «капитан торгового судна». В тексте «Устава» оно представлено сразу тремя вариантами: *шкипор*, *шкипер* и *шипор*. Ср.:

- (22) Да бы и на всякомъ караблѣ трехъ первыхъ ранговъ были всегда четырьѣ офицера матрозскіе: а имянно, *шкіпоръ*, штурманъ, конштапель, и плотникъ (Уставъ 1715: 137).
- (23) Долженъ быть писарь у роздачи офицеромъ матросскімъ, вещей надлежащихъ къ вооруженію карабелному, яко *шкіперу*, и шкіпормату: конаты, парусы, и веревки (Там же: 41).
- (24) Есть ли встрѣтятся съ иностранными караблями на морѣ, повиненъ ихъ осмотрѣть. и еже ли французской націи люди на нихъ обрѣтаются, то ему надобно ихъ снять, и къ себѣ взять: а капитановъ оныхъ или *шіпоровъ* принудить имъ заплатити ихъ зажілое по ономъ день (Там же: 22)

Варьирование *шкипор/шкипер* отразилось и в производном существительном *подшкипер*, которому во французском оригинале соответствовали *contre-maistre* и *sous-maistre*. Ср.:

- (25) *Подшкиперъ* учиненъ для вспоможенія шкіперу, и долженъ по пріказу шкіперскому все отправлять, а въ небытность его, самому за шкіпера быть (Там же: 56); в ориг.: *Le Contre-Maistre* (Ordonnance 1689: 47).
- (26) Шкіпор, или *подъ шкіпоры* въ его небытность, будутъ командовать оными брегадами, что капитанъ надъ портомъ ни прікажетъ (Уставъ 1715: 139); в ориг.: *les Sous-maistres* (Ordonnance 1689: 47).

В прилагательных *шкиперский* и *шкиперов* варьирование не отразилось, и, таким образом, именно вариант *шкипер*, который в дальнейшем приобрел статус основного и единственного, уже в петровское время характеризовался наиболее развитыми парадигматическими связями. Ср., например:

- (27) <В паспортах> должно изъяслять имянно по чісламъ, карабли, ихъ грузъ, имена капитанскія, и *шкіперскія*, которыя ими командуютъ (Уставъ 1715: 468).

(28) При работѣ карабелной мѣсто имѣть на бакѣ, и отправлять тамъ по прѣказу *шкїперову*, опускать и вынїмать якори, на мѣста ихъ класть, канаты свертывать, и ушпїля воротїть, когда карабль приготавливается к походу (Уставъ 1715: 56).

Так же, как и слово *шкїпер*, варьирование в своем употреблении демонстрирует слово *штурман*, известное в русском языке с петровского времени и употреблявшееся в значении «помощник капитана, специалист по вождению кораблей, прокладывающий путь корабля на карте и определяющий его местоположение» (Черных 1999: 2, 427). В тексте «Устава» оно представлено сразу четырьмя вариантами: *штюрман* (29), *штюрмон* (30), *стюрман* (31), *стирмон* (32). Ср. (в первом примере обратим также внимание на варьирование при написании предлога):

(29) *Штюрманъ*, которои будетъ избїратїся въ государственныя штюрманы, долженъ быть вопрошенъ отъ їнтенданта *при* главныхъ офицерахъ воїнскїхъ, *прї* капїтанахъ карабелныхъ, и *прї* їскусныхъ навїгаторахъ о всѣхъ вещахъ подлежащїхъ его должности (Уставъ 1715: 313).

(30) Первый часть для штюрмонского, и навїгацкго обученїя, которое имъ долженъ указывать *штюрмонъ* карабелной (Там же: 147).

(31) *Стюрманъ* государственной, которои погрѣшїтъ чрезъ свое незнанїе, или чрезъ излїшнюю осторожность [то есть, трусость.] будетъ не только лїшенїемъ жалованья, но и бїенїемъ наказанъ, смотря по вїнѣ (Там же: 314).

(32) <Капитан> повїненъ . . . прѣказывать, ка бы брали обсервацїю для своего пути, прїнудїть имъ самїмъ держать журналы, наказываетъ *стїрмономъ* давать имъ свои журналы (Там же: 23).

В случае со словом *штурман* высокая степень варьирования существительного отражается и в употреблении производных прилагательных. В тексте «Устава морского» они представлены несколькими вариантами: *штюрмонский* (33), *стюрманский* (34), *стирмонов* (34). Ср.:

- (33) Первый часъ для *штюрмонского*, и навигацкаго обученія, которое имъ долженъ указывать штюрмонъ карабелной (Уставъ 1715: 147).
- (34) Стюрманъ повѣнни пересматрѣвать по часту сукна, флаги, вымпелы, компасы, и протчіе прѣборы *штюрманскіе*, и имѣть попеченіе о ихъ сохранности (Там же: 316).
- (35) <Капитанъ> въ путеѣваніи ... долженъ свидѣтельствовать всякаго дни предложеніе *стѣрмоново* о пути, выслушать ихъ доводы, и взять совѣтъ, котораго лучше (Там же: 23).

Таким образом, рассмотренные выше примеры употребленія морскихъ терминовъ *шкипер* и *штурман* свидѣтельствуютъ о томъ, что при переводѣ «Устава морскаго» на русскій языкъ К. Зотовъ не повторялъ французскій оригиналъ, а использовалъ уже известные ему лексическіе обозначенія, недавно заимствованныя изъ другихъ европейскихъ языковъ. Следовательно, представленное въ текстѣ варьированіе лексическихъ заимствованій было вызвано не трудностями при передачѣ малознакомыхъ словъ оригинала, а характеромъ языковой нормы, не ограничивавшей такое варьированіе.

IV. ВЫВОДЫ

Нормамъ русскаго языка, представленнымъ въ печатныхъ и рукописныхъ текстахъ первой четверти XVIII в., было присуще общее свойство: они допускали варьированіе языковыхъ единицъ въ пределахъ одного текста, не ограничивая продуктивность словообразовательныхъ типовъ и способовъ адаптации лексическихъ заимствованій, оставляя возможность разнаго написанія однихъ и техъ же словоформъ и варьированія флексій. Наряду съ этимъ, языковыя единицы, ранее имѣвшія ограниченную сферу употребленія, начинаютъ въ это время свободно использоваться въ сочиненіяхъ разныхъ жанровъ, расширяя возможность выбора языковыхъ средствъ при порожденіи текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Буйе 1708 — Книга о способахъ, творящихъ водохождение рѣкъ свободное. Напечатана повелѣніемъ благочестивѣйшаго великого Государя Царя, І великого Князя петра алексіевича <...> Въ царствующемъ великомъ Градѣ Москвѣ, Лѣта Господня, 1708. въ Іули мѣсяцѣ.
- Быкова, Гуревич 1955 — Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати. 1708 — январь 1725. М.; Л., 1955.
- Виноградов 1934 — Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. М., 1934.
- Живов 2000 — Живов В. М. О связанности текста, синтаксических стратегиях и формировании русского литературного языка нового типа // Слово в тексте и в словаре: Сб. статей к 70-летию академика Ю. Д. Апресяна. М., 2000. С. 573–581.
- Живов, Успенский 1983 — Живов В. М., Успенский Б. А. Выдающийся вклад в изучение русского языка XVII века (О книге: Grigorij Kotošixin. O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča. Text and commentary A. E. Pennington. Oxford, 1980) // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1983. Vol. 28. P. 149–180.
- Круглов 2004 — Круглов В. М. Русский язык в начале XVIII века: узус петровских переводчиков. СПб., 2004.
- Круглов 2005 — Круглов В. М. Ф. Фенелон. „Похождение Телемака“ (К истории создания первого русского перевода) // Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas. Bd. 14. Zürich, 2005. S. 501–513.
- Николаев 1988 — Николаев С. И. Об атрибуции переводных памятников Петровской эпохи // Русская литература. 1988. № 1. С. 162–172.
- Орлов 1935 — Орлов А. С. «Телемахида» В. К. Тредиаковского // XVIII век. М.; Л., 1935. С. 5–55.
- Пекарский 1862 — Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом: в 2 т. СПб., 1862.
- Пуфендорф 2011/1726 — Пуфендорф С. О должности человека и гражданина по закону естественному. Русский перевод 1726 года. Т. 1: Текст перевода // лингвистическое издание памятника, словоуказатель, комментарии подготовил В. М. Круглов. СПб., 2011.

- С.л. РЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29–. М., 1975–2011–.
- С.л. РЯ XVIII в. — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1–6. Л., 1984–1991. Вып. 7–20–. СПб., 1992–2013–.
- Троицкий 1968 — Троицкий В. И. Относительное подчинение в языке русской письменности XVI–XVII веков. Казань, 1968.
- Уставъ 1715 — Уставъ о воискахъ морскіихъ, и о ихъ арсеналахъ людовіка четвертаго надесять короля французского и наварскаго. Напечатася повелѣніемъ царскаго величества въ санктъпѣтербургѣ Ноября въ 26 день. СПб., 1715.
- Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М., 1986–1987.
- Фенелон 2011/1724 — Фенелон Ф. Похождение Телемака. Русский рукописный перевод 1724 года. Т. I: Текст рукописи / лингвистическое издание памятника, словоуказатель, комментарии подготовил В. М. Круглов. СПб., 2011.
- ФРЛ 1786 — Полной французской и російской лексиконъ, съ послѣдняго изданія лексикона Французской Академіи на російской языкъ переведенный собраніемъ ученыхъ людей: в 2 т. СПб., 1786.
- Черных 1999 — Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М., 1999.
- Cherel 1970 — Cherel A. Fénelon au XVIII e siècle en France (1715–1820). Tableaux bibliographiques (supplément). Genève, 1970.
- Denzer 1986 — Denzer H. Samuel Pufendorfs Naturrecht im Wissenschaftssystem seiner Zeit / Samuel von Pufendorf (1632–1982). Ett rätshistoriskt symposium i Lund. 15.–16. Jan. 1982. Lund, 1986.
- Fénelon 1717 — Les Aventures de Telemaque fils d’Ulysse. Composées par feu Messire François de Salignac, De la Motte Fenelon, Precepteur de Messeigneurs les Enfans de France. Et depuis Archevêque-Duc de Cambrai, Prince du St. Empire. Nouvelle edition. Augmentée Corrigée Sur le Manuscrit Original de l’Auteur. A Rotterdam, Chez Jean Hofhout. MDCCXVII.
- Hofmann, Szantyr — Lateinische Syntax und Stilistik von J. B. Hofmann. Neubearbeitet von Anton Szantyr. Mit dem allgemeinen Teil der lateinischen Grammatik. München.

Ordonnance 1689 — Ordonnance de Louis XIV pour les armées navales et arsenaux de marine. Paris, 1689.

Pennington 1980 — Grigorij Kotošixin. O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča / text and commentary A. E. Pennington. Oxford, 1980.



Наталья Владимировна Карева

ПЕРВЫЕ ИЗДАНИЯ В РОССИИ ГРАММАТИКИ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ИСТОЧНИКИ
(ТРАКТОВКА КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В
«НОВОЙ ФРАНЦУССКОЙ ГРАММАТИКЕ»
В. Е. ТЕПЛОВА И «EXPLICATION DE LA
GRAMMAIRE FRANÇOISE» П. ДЕ ЛАВАЛЯ)¹

Наиболее ранние свидетельства об изучении французского языка в России относятся к началу XVIII в. Сын Петра I Алексей изучал французский под руководством немецкого барона Генриха вон Гюйссена (1666–1739), в качестве учебных пособий использовались написанная по-латыни грамматика «*Institutiones Linguae Gallicae*» Франсуа де Фенна, а также написанные по-немецки «*Nouvelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande*» Ж.-Р. де Пеплие и самоучитель «*Le Maître de Langue Muet ou instruction methodique pour apprendre de soy même les principes de la Langue Françoise*» Жана Мейера (Vlassov 2013: 76–79). Первая написанная по-русски грамматика французского языка появилась только в 1724 г. — это была рукописная «Грамматика французская о согласии или сочинении девяти частей слова»², составленная вернувшимся из-за границы студентом И. С. Горлецким (1690–1779) (Пекарский 1863: 241; Смирнова 2013: 245). В конце 1740-х гг. И. С. Горлецкий также перевел на русский язык сокращенную версию грамматики П. Ресто «*Abregé des Principes de la Grammaire Françoise par M. Restaut. Сокращение начал Грамматики Французския Господином Ресто*». Перевод

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта РФНФ № 13-34-01222 «Формирование русской академической грамматической традиции: „Новая французская грамматика“ В. Е. Теплова» (рук. Н. В. Карева).

² БАН, рукописный отд., библиотека Петра I, № 106, шифр 17.7.7.

получил одобрение Ф. Г. Штрубе де Пирмонта, В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова (МАН 9, 654), однако напечатан не был, сохранилась лишь рукопись³. В 1752–1753 гг. Академической типографией были опубликованы две грамматики — написанная по-русски «Новая французская грамматика сочиненная вопросами и отвѣтами. Собранна изъ сочинений господина Ресто и другихъ грамматикъ, а на Россійский языкъ переведена Академіи Наукъ Переводчикомъ Васильемъ Тепловымъ» (Теплов 1752) и двуязычная французско-русская «Explication de la Grammaire Françoise avec de nouvelles observations, et des exemples sensible sur l'usage de toutes ses parties. Dediée à son Altesse le Prince George Troubetskoye par Mr. De Laval Son Precepteur. Изъяснение новой французской грамматики с примечаниями и примерами на все части слова, приписано Его Сіятельству Князь Юрью Никитичу Трубецкому отъ учителя Его Г^а Да Ла Валя» (Лаваль 1752).

Автор «Новой французской грамматики» Василий Егорович Теплов (род. в 1731 или 1732 г.) учился сначала в академической гимназии, в 1742–1747 гг. за границей, по возвращении в Санкт-Петербург — в академическом университете⁴. В. Е. Теплов был племянником Г. Н. Теплова (Пекарский 1870: 54), приближенного к семье Разумовских⁵, что сразу поставило его

³ СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 818. Л. 167–170.

⁴ См. рукописную автобиографию В. Е. Теплова: «Будучи в малолѣтстве обучался въ академической гимназій, на своемъ коштѣ. Въ 1742 году ездилъ въ чужіе краи на своемъ же коштѣ для обученія, а по возвращеніи въ 1747 году въ Санкт-Петербургъ опредѣленъ въ студенты съ жалованьемъ по сту рублевъ въ годъ, и былъ студентомъ до 1750 году» (СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 2332. Л. 38).

⁵ Г. Н. Теплов (1711–1779), служивший сначала переводчиком с латинского языка, затем адъюнктом в Академии наук, стал доверенным человеком в доме Разумовских с начала 1740-х гг. В 1743–1745 гг. Г. Н. Теплов сопровождал в заграничном путешествии К. Г. Разумовского, проходившего обучение в Кенигсберге и Страсбурге, после назначения последнего в 1746 г. президентом Академии наук Г. Н. Теплов был определен ассессором при Академической канцелярии, а в 1747 г. стал членом Академического

в привилегированное положение: в гимназии он учился под непосредственным наблюдением инспектора К.-Ф. Модераха⁶; в университете получил разрешение президента Академии наук К. Г. Разумовского обучаться наукам, «к каким охоту имеет» (Кулябко 2010: 228).

К работе над «Новой французской грамматикой» В. Е. Теплов приступил в 1749 г. Уже в июне 1750 г. перевод был закончен, и грамматика «безъ именованія кто оную переводилъ» (МАН 10, 422) была представлена Ф. Модерахом в Академическую канцелярию на рассмотрение В. К. Третьяковскому и М. В. Ломоносову (МАН 10, 430; МАН 10, 432). Оба оставили о переводе положительные отзывы (Ломоносов 1950–1983: 9, 627–628), и В. Е. Теплов подал прошение о награждении его чином и жалованием переводчика:

Сего іюля 9-го числа студентъ академіи наукъ Василей Егоровъ сынъ Тепловъ поданнымъ на всевысочайшее Ея И. В. имя челобитьемъ въ канцелярію академіи наукъ объявилъ: служить де онъ Ея И. В. при помянутой академіи съ 747 году, выучась собственнымъ коштомъ здѣсь и будучи въ чужихъ краяхъ французскому, нѣмецкому и латинскому языкамъ, а незадолго де предъ симъ дана ему была отъ канцеляріи академіи наукъ для перевода на російскій языкъ французская грамматика, именуемая Ресто, которую де онъ переводомъ и окончалъ, и надѣется, что тотъ его переводъ за несправный почтенъ быть не можетъ, и притомъ же объявляетъ, что онъ съ нѣмецкаго и латынскаго языковъ на російскій въ переводѣ успѣхъ имѣетъ,

и собрания. В 1750 г. К. Г. Разумовский стал гетманом Малороссии и взял с собой Г. Н. Теплова, который, заведя гетманской канцелярией и подготовив ряд административных реформ, фактически управлял Малороссией (Кочеткова 2003).

⁶ «10 апрѣля 1749 г. Шумахеръ отдаетъ отчетъ Теплову о его племянникѣ Васильѣ Тепловѣ, говоря, что онъ его помѣстилъ къ адъютанту Модераху, но не къ академику Фишеру: „последній великій латинистъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и великій педантъ, циникъ и, кромѣ того, лѣнтяй“» (Пекарский 1870: 54).

Рис. 1. «Новая французская грамматика» В. Е. Теплова.

ЭГ 1785

НОВАЯ
ФРАНЦУССКАЯ
ГРАММАТИКА

сочинённая
вопросами и отвѣтами.

собрана изъ сочинений

ГОСПОДИНА РЕСТО

и другихъ грамматикъ,

а на Россійской языкъ переведена

Академіи Наукъ Переводчикомъ

ВАСИЛЕМЪ ТЕПЛОВЫМЪ,

3259

1959



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ

при Императорской Академіи Наукъ
1752. году.

Рен. Гос. Ул.
Научная
Библиотека им.
Горького

и просить, чтобъ помянутый его переводъ къмъ надлежить освидѣтельствовавъ и въ разсужденіи его наукъ, которыя онъ получилъ своимъ прилежаніемъ и издержался отъ того въ своемъ иждивеніи, милостивно наградить его чиномъ и денежнымъ жалованьемъ, дабы ему впредь наибольшую ревность имѣть и академіи пользу приносить было можно (МАН 10, 422).

Ходатайство В. Е. Теплова было удовлетворено: 16 июля 1750 г. он был определен переводчиком в Ведомственную экспедицию с жалованием 250 руб. в год (МАН 10, 422-423). 26 ноября 1750 г. Академическая канцелярия вынесла постановление о печатании грамматики, и к августу 1751 г. книга была отпечатана. Однако в продажу она поступила лишь в июне 1752 г., после того, как В. Е. Теплов по поручению Канцелярии добавил к ней «вокабулы из Пеплиеровой грамматики» (Ломоносов 1950-1983: 9, 945). Первое издание «Новой французской грамматики» В. Е. Теплова вышло тиражом 1225 экземпляров и имело два «прибавления»: «Первое прибавление содержащее разныя французскія пословицы» (Теплов 1752: 331-320) и «Recueil de mots, François & Russiens revû, corrigé & augmenté. Собрание словъ Французскихъ и Россійскихъ» (Там же: 322-454). На протяжении XVIII в. грамматика В. Е. Теплова пользовалась популярностью и несколько раз переиздавалась. В 1762 г. тиражом 2400 экземпляров вышло второе издание, в котором отпечатанное с отдельной пагинацией второе «прибавление» было дополнено «Собранием употребительных прилагательных имян». В 1777 г. тиражом 1000 экземпляров было напечатано третье издание, также имеющее два «прибавления», а в 1787 г. тиражом 1212 экземпляров вышло четвертое переиздание, имеющее только первое «прибавление» (СК XVIII 3, 216-217). Второе «прибавление» к грамматике «Собрание словъ французских, российских и немецких», дополненное немецкой частью из грамматики Ж.-Р. Пеплие, выходило также отдельными изданиями в 1773, 1776, 1780 и 1785 гг., издания эти по традиции прилагались к переизданиям «Новой французской

русской грамматики» (СК XVIII 2, 394–395; СК XVIII: 3, 216–217).

В августе 1750 г. В. Е. Теплову было предписано работать под руководством А. Тауберта над «российским лексиконом», собранным А. И. Богдановым (лексикон напечатан не был). В. Е. Теплов, В. И. Лебедев, И. И. Голубцов и Г. Фрейганг должны были «оний (лексикон — *Н. К.*) нѣсколько пересмотрѣть и на другихъ языкахъ, а именно: на латинскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ свойственныя знаменованія приписать» (МАН ю, 545). В 1754 г. В. Е. Теплов был назначен секретарем к К. Г. Разумовскому для «письменной корреспонденции с учеными людьми», и в это же время появляются его первые литературные переводы. В 1754–1755 гг. вышло первое издание его перевода романа А.-Р. Лесажа «L'histoire de Gil Blas de Santillane» — «Похождения Жилблаза де Сантилланы» (СПб.: При Имп. Акад. наук, 1754–1755; книга выдержала множество переизданий в 1760–1761, 1768, 1775, 1781–1783, 1792 и 1799–1801 гг.) (СК XVIII: 2, 149–150; Тюличев 2005: 188). В 1762 г. В. Е. Теплов перевел историческое сочинение аббата Антуана Пажи «Histoire de Cyrus le jeune, et de la retraite des Dix mille, avec un discours sur l'histoire grecque, par M. l'abbé Pagi» — «Повесть о младшем Кире и о возвратном походе десяти тысяч» (СПб.: При Имп. Акад. наук, 1762) (СК XVIII 2, 380). В 1763 г. был опубликован перевод романа П. Скаррона «Le roman comique» — «Господина Скаррона Шутливая повесть. Переведена с немецкаго языка Васильем Тепловым» (СПб.: При Имп. Акад. наук, 1763) (СК XVIII 3, 123). После отъезда К. Г. Разумовского за границу в 1765 г. В. Е. Теплов, по всей видимости, оставил службу в Академии наук (Кулябко 2010), хотя, возможно, продолжал переводческую деятельность: ему приписываются⁷ переводы комедий Л.-Ф. Делиля де ла Древе-

⁷ В рукописных списках XVIII в. «Liste de toutes les piéces que j'ai» и «Реестр трагедиям и комедиям, которые на российском театре были уже представлены», хранящихся в Bibliothèque nationale de France, автором перечисленных среди прочих пьес «Арлекин дикой» и «Принужденная женитьба» указан Теплов.

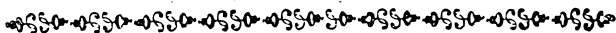
тьера и Ж. Б. Мольера — «Арлекин дикой» (СПб.: Печ. при Артиллер. и инж. шляхет. кад. корпусе Иждивением содержания типографий Х. Ф. Клеэна, 1779) (СК XVIII 1, 274–275) и «Принужденная женитьба: комедия из театра г. Молиэра» (М.: Тип. Имп. Моск. ун-та у Н. Новикова, 1779; 2-е изд. 1788) (СК XVIII 2, 257).

О французском гувернере Пьере де Лавале — авторе «Explication de la Grammaire Française» — до недавнего времени было практически ничего неизвестно. Биографические сведения о нем были получены С. В. Власовым, предпринявшим исследование фондов Архива Академии наук в Санкт-Петербурге (Власов 201). С. В. Власов выяснил, что указанный на титульном листе год публикации грамматики — 1752 — не соответствует действительности. На самом деле двуязычная французско-русская грамматика «Explication de la Grammaire Française ... Изъяснение новой французской грамматики» была опубликована в 1753 г.; в составлении русской части принимали участие В. Е. Теплов (им были переведены первые главы грамматики) и С. С. Волчков. Перевод был готов к маю 1752 г., однако грамматика открывалась посвящением князю Юрию Никитичу Трубецкому, а Президент Академии наук К. Г. Разумовский при отъезде в Малороссию приказал «что безъ апробации Его Высокографскаго Сіятельства никакихъ дедикацей, кому бы оныя сочинены ни были, не печатать» (Там же: 180). Посвящение было одобрено К. Г. Разумовским только к июню 1753 г. Как предполагает С. В. Власов, эта годовая задержка с «апробацией дедикации» была связана с тем, что в 1751–1752 гг. в типографии Академии наук уже печаталась «Новая французская грамматика» В. Е. Теплова, и академическое начальство стремилось задержать публикацию грамматики Лавале (Там же: 180); возможно, и Г. Н. Теплов, состоящий в Малороссии при канцелярии К. Г. Разумовского, был заинтересован в том, чтобы грамматика его племянника была отпечатана первой. Так или иначе, но грамматика П. де Лавале была напечатана тиражом 1262 экземпляра только в августе

Рис. 2. «Explication de la Grammaire Françoise ... Изъяснение новой французской грамматики» П. де Лаваля.

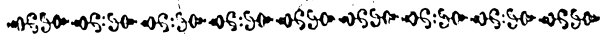
EXPLICATION
DE LA
GRAMMAIRE
FRANCOISE

avec
DE NOUVELLES OBSERVATIONS,
ET
DES EXEMPLES SENSIBLES SUR L'USAGE
DE TOUTES SES PARTIES.



ИЗЪЯСНЕНИЕ
НОВОЙ
ФРАНЦУССКОЙ
ГРАММАТИКИ.

съ
примѣчаніями и примѣрами
на всѣ
части слова.



Печатано въ Санктпетербургѣ при Импера-
торской Академіи Наукъ 1752 года.

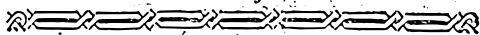
густе 1753 г. и к сентябрю поступила в печать (Власов 2011: 181). О дальнейшей судьбе П. де Лавалья известно немного. Он был одним из первых, кто прошел аттестацию в Академии наук: указ от 5 мая 1757 г. обязал каждого иностранца, приехавшего в Россию в звании домашнего учителя, пройти экзамен перед комиссией при Санкт-Петербургской Академии наук или Московском университете (Rjéoutski 2005: 482–483). П. де Лаваль и его жена держали в это время «партикулярную школу», в которой девушки обучались французскому языку, географии, истории, рисованию и арифметике. В 1759 г. П. де Лаваль был принят учителем «верхнего французского класса» в академическую гимназию, откуда уволился в 1763 г. (Власов 2011: 187–189).

Таким образом, в начале 1750-х гг. в Санкт-Петербурге вышли две грамматики французского языка. Обе они, как может показаться с первого взгляда, основывались на сочинениях П. Ресто. Пьер Ресто (1696–1764) опубликовал свои знаменитые «Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise, par demandes & par réponses» в 1730 г. в Париже. Опираясь на общие классификационные принципы «формальных грамматик» (сохраняя, например, систему падежного изменения для французских имен), П. Ресто учитывал опыт «универсальных грамматик», выявляя в грамматическом строе французского «общие и рациональные принципы», подходящие для описания любого языка (Swiggers 1997: 191–192). В 1732 г. Ресто составил сокращенный вариант грамматики «Abrégé des principes de la grammaire françoise». Оба сочинения снискали автору славу как во Франции, так и за ее пределами. «Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise» П. Ресто много переиздавались (1732, 1736, 1741, 1745, 1749, 1750 и др.), были переведены на разные языки, использовались в преподавании в Германии, Голландии, Швеции и других европейских странах (Rjéoutski 2005: 476–477).

«Новая французская грамматика» В. Е. Теплова часто называется в академических документах «французская грамматика,

Puc. 3. «Neue und vollständige Französische Grammatic» (Mainz und Frankfurt am Main, 1749)

NOUVELLE ET PARFAITE
GRAMMAIRE
FRANÇOISE.



Neue und vollständige
Französische

GRAMMATIC,

in Frag und Antwort abgefasst.

Aus dem Französischen

des Herrn RESTAUT,

und andern Anmerkungen der besten Fran-
zösischen Sprachlehrer zusammen getragen,

nebst verschiedenen Zugaben

von welchen

in der Vorrede der Inhalt befindlich ist.

C. Leonard



Mainz und Frankfurt am Mayn,
bei Franz Varrentrapp.
MDCCLXXXIX.

тика, именуемая Ресто»; отсылка к П. Ресто содержится и в названии «Новой французской грамматики»: «собрана из сочинений господина Ресто и других грамматикъ». Однако парадоксальным образом эта формулировка не свидетельствует о том, что В. Е. Теплов перевел на русский язык одну из грамматик П. Ресто. Название грамматики В. Е. Теплова дословно повторяет название анонимной грамматики «*Neue und vollständige Französische Grammatic in Frag und Antwort abgefasset. Aus dem Französischen des Herrn Restaut und anderen Anmerkungen der besten Französischen Sprachlehrer zusammengetragen*» (Mainz und Frankfurt am Main, 1749), которую В. Е. Теплов и перевел с немецкого на русский язык. Немецкая грамматика при этом не повторяет грамматику П. Ресто и не может считаться даже вольным ее переводом, хотя П. Ресто, по признанию составителя, был основным его источником (Gr 1749: 2). Грамматическое изложение адаптировано для восприятия немецкоязычным читателем; многие теоретические разделы в «*Neue und vollständige Französische Grammatic*» существенно короче соответствующих разделов в грамматиках П. Ресто, некоторые сведения и методические приемы заимствованы из других французских грамматик: «*Remarques sur la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire*» К. Ф. де Вожла (Paris, 1647), «*Com-mencements de la langue française, ou Grammaire tirée de l'usage et de bons auteurs*» С.-П. Ришле (Paris, 1694), «*Traité de la grammaire françoise*» Ф. Ренье-Демарэ (Paris, 1706), «*Gram-maire françoise sur un plan nouveau*» К. Бюффье (Paris, 1709), «*L'art de bien parler françois*» П. де Ла Туша (Paris, 1730) (Там же: 2–3). Составитель «*Neue und vollständige Französische Grammatic*» переработал французские тексты в соответствии со своими теоретическими представлениями и привел их в жанровые рамки учебной грамматики для иностранцев, а «Новая французская грамматика» В. Е. Теплова, являясь точным переводом, сохранила все особенности оригинала, даже характерные немецкие реалии в примерах. Так, в разделе «имена городских

городских жителей» перечислены «Francfortois, ... Франкфуртецъ; Hamurgeois, Гамбургецъ ... Colonois, Келнскій уроженецъ» (Теплов 1752: 8; Сергеев 2014: 739); в разделе, посвященном конструкции *il y a* дан пример: «Il y a deux lieues d'ici à Francfort, двѣ мили отсюда до Франкфурта» (Теплов 1752: 268), а в разделе «О употребленіи междометій» мы находим пример: «Vive la maison d'Autriche! вивать Австрійскій домъ» (Теплов 1752: 329; Рак 1977: 212).

«Explication de la Grammaire Françoisе» П. де Лаваль является упрощенным вариантом «Principes généraux et raisonnés de la grammaire française» П. Ресто. О своем намерении адаптировать текст П. Ресто П. де Лаваль говорит в предисловии к грамматике:

Mr. Restaut, tres habile Grammairien, m'a été d'un grand secours dans la composition de cet Ouvrage, mais j'ai évité, autant que j'ai pû, les expressions philosophiques dont la Grammaire est remplie: Expressions qui ne me paroissent pas convenir dans un Ouvrage dont l'étude est d'elle-même assez difficile, particulièrement pour les enfants ↔ Хотя Грамматика славнаго учителя Господина Ресто, мнѣ въ трудѣ моемъ великую помочъ подадѣ; только я техъ философскихъ словъ и рѣчей рачительно убѣгалъ, которыми Грамматика его весьма наполнена: а для того что такія высокія рѣчи, не только малолѣтнимъ и нѣжнымъ дѣтямъ крайне трудны; да и не всякому большому человѣку внятны (Лаваль 1752: 2-3).

Кроме грамматики П. Ресто П. де Лаваль, очевидно, использовал другие французские грамматики: так, в главе «Du verbe et de la conjugaison ↔ О глаголь и о спряженіи» П. де Лаваль упоминает П. де Ла Туша, автора «L'art de bien parler français» (Там же: 300).

Принципы работы с источниками В. Е. Теплова и П. де Лаваль мы хотели бы прокомментировать на примере анализа разделов обеих грамматик, трактующих морфологию глагола и категорию глагольного времени.

В. Е. Теплов выделил пять глагольных времен, отметив, что они восходят к трем основным:

Сколько есть времен? Пять: настоящее, переходящее, прошедшее, мимолетное и будущее, (le present, l'imparfait, le preterit, le plusque parfait, le futur). Иные считают только следующие три, настоящее, прошедшее и будущее; по тому что прочия от сихъ происходят (Теплов 1752: 21).

Два из этих времен при этом имеют у него подтипы — В. Е. Теплов разделяет *прошедшее* и *прошедшее сложное*, а также *мимолетное I* и *мимолетное II*.

Прочитанный выше фрагмент из «Новой французской грамматики» является переводом соответствующего раздела из «*Neue und vollständige Französische Grammatic*»:

Wie viel sind Tempora? Fünf, Præsens, Imperfectum, Præteritum Perfectum, Præteritum Plusquamperfectum, Futurum, (le Present, l'imparfait, le Preterit, le Plusque Parfait, le Futur). Andere zehlen nur diese drei, le Present, le Passé & l'Avenir, welche drei natürliche Tempora sind, darauf sich die andern beziehen (Gr 1749: 54).

Автор «*Neue und vollständige Französische Grammatic*» также выделяет подтипы двух сложных времен, разграничивая *Præteritum Perfectum simplex* и *Præteritum, Perfectum compositum, Præteritum Plusquamperfectum I* и *Præteritum Plusquamperfectum II*.

Предлагая подобную классификацию, автор «*Neue und vollständige Französische Grammatic*» ориентировался, очевидно, на «*Nouvelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande*» Ж.-Р. Пеплие — грамматику, вышедшую первым изданием в 1696 г. и на протяжении всего XVIII в. оставшейся самым популярным учебником французского языка для немцев (Рак 1977: 207). Ж.-Р. Пеплие также выделяет пять времен: *Præsens, Imperfectum, Præteritum Perfectum, Præteritum Plusquamperfectum, Futurum*, возводя их к трем основным и подразделяя *Præteritum Perfectum* на *Præteritum*

Præteritum Perfectum simplex и *Præteritum, Perfectum compositum*, а *Præteritum Plusquamperfectum* на *Præteritum Plusquamperfectum I* и *Præteritum Plusquamperfectum II* (Replier 1719: 40).

Ни в «*Neue und vollständige Französische Grammatic*», ни в «*Nouvelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande*» Ж.-Р. Пеплие семантика французских времен не поясняется. Выделение трех прошедших времен — *Imperfectum*, *Præteritum Perfectum*, *Præteritum Plusquamperfectum* — было очевидным для немецкого читателя, так как имелось в немецком и выражалось соответствующими формами в парадигмах: *ich hatte*, *ich habe gehabt*, *ich hatte gehabt* (Gr 1749: 55; Replier 1719: 41–42). Однако отсутствие соответствующего теоретического комментария в «*Новой французской грамматике*» В. Е. Теплова создавало определенные трудности для русских читателей. Никак не пояснялась семантическая разница между данными в парадигме спряжения формами *j'avois* (*проходящее*), *j'eus* (*прошедшее*), *j'ai eu* (*прошедшее сложное*), *j'avois eu* (*мимошедшее I*), *j'eus eu* (*мимошедшее II*): все эти формы переведены В. Е. Тепловым как *я имѣлъ*. В парадигмах глаголов *быть* и *любить* формы *проходящего времени* (*j'étois*; *j'aimois*) переведены В. Е. Тепловым как *я бывалъ* и *я любилвалъ*, однако формы *прошедшего простого* (*je fus*; *j'aimai*), *прошедшего сложного* (*j'ai été*; *j'ai aimé*), *мимошедшего I* (*j'avois été*; *j'avois aimé*), *мимошедшего II* (*j'eus été*; *j'eus aimé*) переведены как *я былъ* и *я любилъ*. Семантические различия французских времен пояснялись читателю только во второй синтаксической части грамматики «*О Сочиненіи словъ*» — «*Отдѣленіе II О употребленіи глаголовъ, а особливо о наклоненіяхъ и временахъ оныхъ*» (Теплов 1752: 273–289). Заметим, что в «*Немецкой грамматике*» М. Шванвица (3-е изд. 1745), по которой В. Е. Теплов скорее всего учился в Академической гимназии, в перевод *мимошедшего времени* было добавлено наречие *давно*, например, *давно бывал* (Шванвиц 1745: 210–212), а М. В. Ломоносов, несколькими годами позже представивший в «*Российской*

грамматике» сложную систему глагольных времен, проиллюстрировал русскими примерами выделенные им шесть прошедших времен: *прошедшее неопределенное* (*трясъ, глоталъ*), *прошедшее однократное* (*тряхнулъ, глотнулъ*), *давнепрошедшее первое* (*тряхивалъ, глотывалъ*), *давнепрошедшее второе* (*бывало трясъ, бывало глоталъ*), *давнепрошедшее третье* (*бывало трясывалъ, бывало глотывалъ*), *прошедшее совершенное* (*написалъ*) (Ломоносов 1950–1983: 7, 480–481). Возможно, В. Е. Теплов полагал, что использование им терминологии М. Смотрицкого — последний выделил в церковнославянском языке шесть времен *настоящее, переходящее, прешедшее, мимошедшее, непредельное, будущее* (Кузьминова 2000: 289) — прояснит русскому читателю семантику приводимых им форм. Тем не менее, следует констатировать, что при переводе «*Neue und vollständige Französische Grammatic*» с немецкого на русский язык В. Е. Тепловым были оставлены без теоретического пояснения факты французской грамматики, очевидные для немца, но непонятные русскому читателю.

Совсем по-другому система французских времен представлена в грамматике П. де Лавая: в изложении глагольной теории автор «*Explication de la Grammaire Françoisse*» точно следует П. Ресто, лишь сокращая текст последнего. Так же, как и в грамматике В. Е. Теплова, в грамматике П. де Лавая есть рассуждение о трех «*настоящих*» временах, к которым восходят выделяемые им десять времен:

Combien y a-t-il de Temps? Il n'y en a que trois que l'on appelle naturels, le Present, le Passé & le Futur; mais on en a introduit d'autres pour exprimer les différentes manières dont on parle dans les trois premiers, de façon qu'il s'en trouve dix de l'Indicatif ↔ *Сколько времени? Настоящих или подлинныхъ времянь, только три; le Present Настоящее, le Passé Прошедшее и le Futur будущее, кроме того еще нѣсколько ихъ введено, на выражение тѣхъ различныхъ манировъ или способовъ, которыми въ помянутыхъ трехъ временахъ говорится; а со всѣмъ оныхъ времянь десять въ изъявительномъ образѣ или наклоненіи* (Лаваль 1752: 284–285).

Следуя за первым изданием грамматики П. Ресто², П. де Лаваль выделил в изъявительном наклонении десять времен: *Present* (настоящее), *Prétérit Imparfait* (прошедшее несовершенное), *Prétérit Parfait Défini simple ou historique* (прошедшее совершенное окончательное простое или историческое), *Prétérit Parfait Défini Composé* (прошедшее совершенное окончательное сложное), *Prétérit Parfait Indéfini* (совершенно прошедшее неокончательное), *Prétérit plus que Parfait* (прошедшее давнешнее или давно совершенное), *Futur* (будущее), *Futur Passé* (будущее прошлое или минувшее), *Conditionnel Présent* (настоящее желательное), *Conditionnel Passé* (желательное прошедшее). Переводивший этот раздел грамматики П. де Лавалья на русский язык С. С. Волчков при передаче наименований французских времен не обращался к церковнославянской традиции, как это делал В. Е. Теплов, но калькировал французские термины, в ряде случаев предлагая дублиеты. При этом если в грамматике В. Е. Теплова материал был разбит на две части и обучающемуся сначала предлагалось запомнить парадигмы десяти времен и потом обратиться к нюансам их употребления, то в грамматике П. де Лавалья вся необходимая информация была представлена сразу. После наименования времени формулировалось его общее значение, далее давались примеры употребления во фразах, после перечислялись особые случаи употребления и лишь в самом конце раздела была дана парадигма. Следует отметить, что в представленных парадигмах все формы прошедших времен переводились С. С. Волчковым одинаково, однако едва ли в данном случае это создавало трудности для читателей — в

² Отметим, что выделение десяти глагольных времен заимствовано П. де Лавалем из первых изданий грамматики П. Ресто (например, Restaut 1730) — в более поздних изданиях их выделяется уже одиннадцать. Однако рассуждения о трех «настоящих временах» (*trois temps naturels*), об этимологии слова «глагол» и др., очевидно, восприняты П. де Лавалем из более поздних изданий «Principes généraux et raisonnés de la grammaire française» (например, Restaut 1750).

предваряющем парадигмы теоретическом комментарии были даны все необходимые разъяснения.

* * *

Таким образом, созданные практически в одно и то же время, «Новая французская грамматика» В. Е. Теплова и «Explication de la Grammaire Française» П. де Лавалья были адресованы различному кругу читателей. П. де Лаваль, основываясь на грамматиках П. Ресто, адресовал «Explication de la Grammaire Française» русскому студенту, для которого французский мог быть первым изучаемым иностранным языком. «Новая французская грамматика» В. Е. Теплова, переведенная с «Neue und vollständige Französische Grammatic», требовала от учащегося уметь соотносить не только русскую и французскую, но также французскую и немецкую грамматическую систему. При этом часто, сохраняя формальные рамки немецкой грамматики, В. Е. Теплов жертвовал грамматическими и семантическими пояснениями, что препятствовало связному изложению и приводило к упрощению лингвистической мысли оригинала.

~ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ~

- Власов 2011 — Власов С. В. Гувернер Пьер де Лаваль, автор первой в России двуязычной грамматики французского языка (1752–1753) / Французский ежегодник 2011: Франкоязычные гувернеры в Европе XVII–XIX вв. М., 2011. С. 178–189.
- Кочеткова 2003 — Кочеткова Н. Д. Теплов Григорий Николаевич / Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 1: Осьмнадцатое столетие: в 2 кн. Кн. 2. М., 2003. С. 384–385.
- Кузьминова 2000 — Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / сост., подгот. текста, научный комментарий и указатели Е. А. Кузьминовой; предисл. Е. А. Кузьминовой, М. Л. Ремневой. М., 2000.

- Кулябко 2010 — Кулябко Е. С. Теплов Василий Егорович *Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3.* СПб., 2010. С. 222–229.
- Лаваль 1752 — Лаваль П. де. Explication de la Grammaire François avec de nouvelles observations, et des exemples sensible sur l'usage de toutes ses parties. Dediée à son Altesse le Prince George Troubetskoÿe par Mr. De Laval Son Precepteur. Изъяснение новой французской грамматики с примечаниями и примерами на все части слова, приписано Его Сіятельству Князь Юрью Никитичу Трубецкому отъ учителя Его Г^а Да Ла Валя. СПб., 1752.
- Ломоносов 1950–1983 — Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.; Л., 1950–1983. Т. 7. М.; Л., 1952. Т. 9. М.; Л., 1955.
- МАН — Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 1–10 *С* под ред. М. И. Сухомлинова. СПб., 1885–1900.
- Пекарский 1863 — Пекарский П. П. Наука и литература при Петре Великом: в 2 т. Т. 1. СПб., 1863.
- Пекарский 1870 — Пекарский П. П. История Императорской Академии наук в Петербурге: в 2 т. Т. 1. СПб., 1870.
- Рак 1977 — Рак В. Д. «Присовокупление второе» в «Письмовнике» Н. Г. Курганова *С* XVIII век. Сб. 12. Л., 1977. С. 199–224.
- Сергеев 2014 — Сергеев М. Л. «Новая французская грамматика» (1752) В. Е. Теплова и ее немецкий источник *С* Русский язык: исторические судьбы и современность: V Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, 18–21 марта 2014 года): Труды и материалы. М., 2014. С. 739–740.
- СК XVIII — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. Т. 1–5. М., 1963–1967, 1975.
- Смирнова 2013 — Смирнова А. С. Академический переводчик Иван Семенович Горлецкий *С* Филологическое наследие М. В. Ломоносова. СПб., 2013. С. 235–252.
- Теплов 1752 — Теплов В. Е. Новая французская грамматика сочиненная вопросами и отвѣтами *С* собрана изъ сочинений господина Ресто и другихъ грамматикъ, а на Россійский языкъ переведена Академіи Наукъ Переводчикомъ Васильемъ Тепловымъ. СПб., 1752.
- Тюличев 2005 — Тюличев Д. В. Материалы о некоторых изданиях, напечатанных в типографии Академии наук в 40–60 е годы XVIII

- века. (Дополнения к комментарию «Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800») // Книга: исследования и материалы. Сб. 83. М., 2005. С. 171–221.
- Шванвиц 1745 — Шванвиц М. Нѣмецкая грамматика, собранная прежде изъ разныхъ авторовъ, а нынѣ для употребленія Санктпетербургской гимназiи вновь пересмотрѣнная и во многихъ мѣстахъ исправленная. СПб., 1745.
- Gr 1749 — Neue und vollständige Französische Grammatik in Frag und Antwort abgefasset. Aus dem Französischen des Herrn Restaut und anderen Anmerkungen der besten Französischen Sprachlehrer zusammengetragen. Mainz; Frankfurt am Main, 1749.
- Peplier 1719 — Peplier J. R. Nouvelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande. Berlin, 1719.
- Restaut 1730 — Restaut P. Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise: par demandes et par réponses. Paris, 1730.
- Restaut 1750 — Restaut P. Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise, avec des observations sur l'Orthographe, les Accents, la Ponctuation & la Prononciation: et un abrégé des regles de la versification françoise. Paris, 1750.
- Rjéoutski 2005 — Rjéoutski V. Les écoles étrangères dans la société russe à l'époque des Lumières // Cahiers du monde russe (En ligne). 2005. T. 46. № 3. URL: <http://monderusse.revues.org/2821> (дата обращения 28/02/2015).
- Swiggers 1997 — Swiggers P. Histoire de la pensée linguistique. Analyse du langage et réflexion linguistique dans la culture occidentale, de l'Antiquité au XIX e siècle. Paris, 1997.
- Vlassov 2013 — Vlassov S. Les manuels utilisés dans l'enseignement du français en Russie au XVIII e siècle: influences occidentales et leur réception en Russie // Вивлююнка: E-journal of Eighteenth-century Russian Studies. 2013. Т. 1. URL: <http://vivliofika.library.duke.edu/article/view/14785/6229> (дата обращения 28/02/2015).

СВЯЗОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ОБЩЕГО МНЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIII ВЕКА

Научные интересы Петра Евгеньевича Бухаркина чрезвычайно разнообразны. Предлагаемая нами статья посвящена двум из них — интересу к русской литературе и языку XVIII в. с одной стороны и интересу к проблемам стилистики — с другой. Связь между проблемами языка и стилистики мы попытаемся показать на примере истории употребления в XVIII в. связочных глаголов со значением общего мнения.

В современном русском языке к числу связок, выражающих общее мнение, относятся глаголы *считаться* и *почитаться*. Подобно модальным связочным глаголам *казаться* — *показаться*, *представляться* — *представиться* они содержат «элемент субъективности в языковой фиксации бытия», но в отличие от первых не содержат указания на фигуру наблюдателя, а указывают на то, «как субъект оценивает этот факт» (Голицына 1983: 15). Автором оценки является не индивидуальный, а коллективный субъект: «субъект, расширенный до социума, оценивает бытующий факт» (Горельникова 1993: 12).

Значение мнимости, недостоверности проявляется у связочных глаголов *считаться* и *почитаться* нерегулярно: с одной стороны, связь между предметом и его признаком представлена как объективная; с другой стороны, связочные глаголы типа *считаться* оценивают связь между предметом и признаком как коллективную оценку, обнаруживая тем самым «оттенок условности, интерпретации чужого слова». Позиция говорящего субъекта в предложениях с такими связками не выражена ясно, поскольку он может как разделять коллективную оценку, так и не признавать этой оценки, считая ее условной, неистинной (Попова 2005: 78). В последние годы связочные глаголы *считаться*, *почитаться* и им подобные выделяют в отдельную подгруппу модальных связок со

значением «условленности», или «общего мнения», отмечая промежуточный характер этого значения между мнимостью и подлинностью (Лекант 1995: 94).

Формирование связок со значением общего мнения относится к поздним языковым явлениям: в отличие от других модальных связок они почти не представлены в русском языке до XVIII в. В древнерусском языке в значении ‘считаться’, ‘почитаться’ изредка употреблялся глагол *вмениться* — *вменяться*, например:

Сщеноокрадение... вѣмънися убиствѣнаго осужденія отраднѣе (Ефр. Корм., 630. XII в.); *И всѣ нынѣшнія скорби токмо сномъ вѣмънились противъ той бѣды и мученія, что на твою главу приходити будетъ* (Юдифь, 126. 1674 г.) (Сл. РЯ XI–XVII вв. 2, 230–231); *...неверующимъ бо въра христіанская уродство вменяется...* (Степенная книга); *Аще бо великоумный мужъ и благоподателный не на дѣлого житіе проводить, но дѣлогоживотенъ вменяется...* (Стефанит и Ихнилат).

Этот глагол продолжал употребляться вплоть до конца XVIII в., однако во второй половине века оценивался как стилистическое средство, при помощи которого тексту придавалась торжественная окраска. Например:

...Те времена, о которыхъ нетъ обстоятельныхъ известій, оныя за варварскія вѣки вменяются (Богданов, Описание Санктпетербурга); *Горе той странѣ, гдѣ изреченіе его вменяется въ преступленіе!* (Фонвизин, Слово похвальное Марку Аврелію); *Другому казался онъ вскруженнымъ толпою младенцевъ, азбучной учитель, котораго дразнить ни во что вменяется...* (Радищев, Житіе Федора Васильевича Ушакова, с приобщениемъ некоторыхъ его сочиненій).

В XVI–XVII вв. способность к связочному употреблению развивают глаголы *считаться* и *почитаться*. Глагол *почитаться* раньше развил связочное значение: словари отмечают его использование в значении ‘расцениваться, восприниматься

маться каким-либо образом, считаться' со второй половины XVI в.:

Аз же глаголю, яко не добре, по сему первое яко гордыни есть и величания образ, еже подобно царстей власти церковью и гробницею и покровом почитатися (Ив. Гр., Посл., 173. 1573); И я почитаюся королевичевымъ же слугою (Куранты, 210. 16 $\frac{1}{4}$ г.); Яз иду на бор(ь)бу и брань люту; послушание со смиреннем моим идет, мое царю обовязуется, но моя несмелость не почитается достойною быти таковой высокой милости (Артакс. действо, 16 $\frac{1}{4}$. 1672 г.) (Сл. РЯ XI–XVII вв. 18, 77).

Связка *считаться* нам встретилась в текстах XVII в. лишь один раз:

И от того, что малы ее ноги, такъ прекрасная была, что после смерти межъ богиновъ китайскихъ и считается (Спафарий, Описание Китая).

В текстах начала XVIII в. ведущим связочным глаголом, выражавшим значение общего мнения, стал глагол *почитаться* — *почесться*, который употреблялся почти исключительно в форме несовершенного вида (*почитаться*), например:

Что неприятель двадцать четыре часа или сутки в своем владении имел, оное почитается за добычу (Артикул воинский); Салдаты и офицеры в великих преступлениях, как и прочие злодеи, могут быть пытаны, в сем нет сомнения, ибо в то время не яко салдат или офицер, но яко злодей почитается (Там же).

Продуктивность связки *почитаться* была гораздо выше продуктивности связки *считаться*. Так, в произведениях Антиоха Кантемира связка *почитаться* встретилась $\frac{2}{4}$ раза, связки *считаться*, *счесться* — по 2 раза, связка *почесться* — 1 раз. Связка *почитаться* широко используется Кантемиром в комментариях к переводам Горация, к прозаическим переводам и к сатирам. Предикативное имя в конструкции с

этой связкой могло иметь разные формы, из которых наиболее частотным было существительное в форме «за + В. П.» (50 %); кроме того, отмечены полное прилагательное в форме «за + В. П.» (25 %), существительное в Тв. П. (19%), полное прилагательное в Тв. П., существительное в Р. П.; например:

Он [Аполлон] почитается за начальника всех муз... (Сатира I. На хулящих учение); ... ибо у древних рыбное почиталось лакомым еством (Перевод Писем Горация); Древле фраков народы за жесточайших и суровейших почитались (Песнь IV. В похвалу наук).

В отличие от связки *почитаться* связки *считаться* и *счестья*, во-первых, употреблялись редко, а во-вторых, не обнаруживали тенденции сочетаться с предложно-падежными формами. Например:

... Можешь счестья Ектору или Ахиллу сроден... (Сатира II. Филарет и Евгений); Эта госпожа с месяц тому назад на родине сына, который вообще здесь считается королевским, умерла... (Письмо имп. Иоанну Антоновичу от 1/12 октября 1741).

Схожее соотношение частотности употребления связок *почитаться* и *считаться* отмечено в текстах В. Н. Татищева — 22 : 2. Как и в произведениях Кантемира, связка *считаться* не встретилась в сочетании с предложно-падежными формами существительного и прилагательного:

Правда, это постановление ясно объяснено в Уставе воинском, однако в гражданском положении последний не считается законом (Письмо И. Д. Шумахеру от 21 декабря 1735).

Наоборот, связка *почитаться* в текстах Татищева сочеталась с самыми разными формами присвязочного имени, из которых чаще всего употреблялась предложно-падежная форма существительного «за + В. П.» (68 %); кроме того, встретились краткое прилагательное, полное прилагательное в Тв. П., существительное в Тв. П., полное прилагательное в форме

форме «за + В. П.», существительное в форме «в числе + Р. П.», «яко + полное прилагательное в ИМ. П.», «как + существительное в ИМ. П.». Например:

... Из учения бо церковнаго видно, часто уменьшение требуемаго за добродетель почитается? (Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах); ... я же хотя самую малую вещь в мире почитаюсь, однако же то признать должен, что я им [Богом] сотворен и все, что имею, все от него... (Там же); ... и когда они [свойства] в человеке порядочны и умеренны, тогда полезны и нужны почитаются, благости и добродетели именуются... (Там же); ... служивые и положенные в поголовной оклад должны почитаться как беломестные и государственные волости... (Разсуждение о ревизии поголовной и касающемся до оной).

Сравнение употребления связок *почитаться* и *считаться* у Кантемира и Татищева позволяет сделать два вывода. Во-первых, в первой половине XVIII в. связка *почитаться* употреблялась значительно шире, чем связка *считаться*, — примерно в 10 раз чаще; во-вторых, сочетаемость двух связок была различна: связка *почитаться* тяготела к сочетанию главным образом с предложно-надежными формами существительного и прилагательного, которые для связки *считаться* на начальном этапе, по-видимому, были нехарактерны.

Со второй трети XVIII в. происходит некоторое расширение употребления связки *считаться*, однако по-прежнему количественно преобладает связка *почитаться*. Наряду с этими связками, а также связкой *вменяться*, о которой речь шла выше, способность к выражению значения общего мнения в составе составного именного сказуемого развивают глаголы *полагаться*, *поставляться*, *признаваться*, *приниматься*, *разуметься*, *числиться*. Например:

Чрез *игрометр*, или *игроскоп*, *разумется* инструмент, который показывает *сухость* и *влажность* воздуха (Домоносов, Волфганская экспериментальная физика...); *Сие же*

должно рассуждать и о наклонении, которое также в иных риториках за особое место признается (Ломоносов, Краткое руководство к красноречию); Которые корабли сей порок имеют, о тех говорится, что они руля не слушают, что по справедливости числится между превеликими кораблей неудобствами... (Эйлер, Письмо президенту Академии наук К. Г. Разумовскому от 21 января 1749 / пер. М. В. Ломоносова); ...из чего явствует, что оный регламент за совершенный не признается... (Ломоносов, Всенижайшее мнение о исправлении Санктпетербургской Императорской Академии наук); Но движение от Невтона полагается текущее и от светящихся тел наподобие реки во все стороны разливающаяся; от Картезия поставляется беспрестанно зыблющаяся без течения (Ломоносов, Слово о происхождении света...); Ласковые и вежливые слова не помогают и за трусость почитаются, настоящие напоминания по команде за обиду принимаются и рассеваются жалобы (Ломоносов, Записка о служебных преступлениях и упущениях П. И. Тауберта); Ныне же [кикимора] у простолюдинов признается за женщину... (Чулков, Пересмешник, или Славенские сказки); Под сими именами разумеется всякая переписка между людьми разных состояний (Фонвизин, Опыт российского сословника); ...ибо обыкновенно в общежитии принимается за насмешку, когда кто говорит: знаю, да не скажу (Батурин, Исследование книги «О заблуждениях и истине»).

В своем большинстве эти глаголы сочетались с различными предложно-падежными формами существительного (реже полного прилагательного). Их употребление практически не вышло за рамки XVIII в. — только некоторые глаголы изредка встречаются в русском языке более позднего времени, например:

Он был в военной службе и признавался за отличного ратоборца; покуда не женился и служил в гвардии,

то



то никто не связывайся с ним ни в трактирах, ни у всеобщих красавиц (Нарежный, Российский Жилблз...); ...*ибо чин прапорщика не полагается способным даже для адъютантства, не только что для женитьбы* (Вельтман, Сердце и думка).

Расширение употребления связок *почитаться* и *считаться* во второй половине XVIII в., возникновение и распространение в языке этого времени новых глагольных связок со значением *общего мнения* были проявлением одного и того же процесса: в русском языке проходил процесс отбора наиболее удобной и точной формы выражения значения *общего мнения*. Необходимость в выражении этого значения была вызвана активным формированием языка русской науки, то есть происходившими стилистическими изменениями. Одной из стилевых черт научного стиля является отвлеченно-обобщенность: «познание мира в «научном» «стиле» представляется в обобщенной форме — как процесс коллективного творчества» (Кожина 2006: 244). Активизация связок со значением *общего мнения* была следствием поиска русским языком средств для выражения этих смыслов.

Ведущей связкой со значением *общего мнения* во второй половине XVIII в. оставалась связка *почитаться*. В этот период происходит ряд изменений в ее сочетаемости с присвязочной частью: отмечается процесс расширения употребления Тв. предикативного существительного и полного прилагательного. Этот процесс был характерен для всех полузнаменательных связок во второй половине XVIII в.

Предложно-падежные формы существительного постепенно вытесняются Тв. предикативным, и к рубежу XVIII–XIX вв. новая форма в конструкциях со связкой *почитаться* встречалась почти в $\frac{1}{4}$ раза чаще, чем форма «за + В. П.» (см. Приложение). Например:

Частые пиры и угощения сделали то, что Добролюбов почитался увеселением всего Новгородского уезда (Новиков,

Пустомеля); *Знайте, что брак у нас почитается некоторым родом торга* (Крылов, Почта Духов...).

Однако процесс вытеснения предложно-падежных форм из предикативного употребления становится заметным лишь в последней четверти XVIII в.: в 1750–1760-е и отчасти в 1770-е гг. предложно-падежные формы продолжают активно употребляться, причем это касается не только формы «за + В. П.», но и иных форм, которые распространяются ближе к середине XVIII в. («между + Р. П.» и др.). В середине XVIII в. число различных предложно-падежных форм существительного, употреблявшихся в сочетании со связкой *почитаться*, даже возросло по сравнению с первой половиной века. По-видимому, это следует связать с тем, что происходило обобщение сочетаемостных свойств разных связок со значением общего мнения: под влиянием связок *вменяться, полагаться, признаваться, числиться* и пр. в конструкциях со связкой *почитаться* стали употребляться предложно-падежные формы существительного, которые ранее были редки или вовсе не употреблялись. Например:

Конечно, это великое несчастье, ежели ученый человек от целого народа, со всею своею премудростию, за невежу почитается (Сумароков, Чудовищи); ... и вообще под именем честного человека почитается человек добродетельный, но не столько, чтоб мог променять свою честь на добродетель (Козельский, Философические предложения...); ... обе сии трагедии почитаются в числе лучших в российском театре (Новиков, Опыт исторического словаря о российских писателях); Ибо и мирское училище тогда есть знаменито и славно, когда в нем и учат прилежно, и учатся с успехом: а естли сего нет, бывает оно в презрении, и почитается в тягость обществу... (архиеп. Платон (Левшин), Слово на освящение храма).

Гораздо быстрее происходила замена полного прилагательного в форме «за + В. П.» полным прилагательным в Тв. П. Здесь

Здесь можно отметить ту же тенденцию, которая отмечена для имен существительных: в 1750–1770-е гг. имя прилагательное относительно широко употреблялось в предложно-падежной форме, например:

Овечий и козлий навоз есть всех лучше, но понеже здесь его не очень много, то коровий за лучший почитается, а особливо годовалый (Ломоносов, Лифляндская экономия); За лучших почитаются сизые голуби, а белых издалека видит ястреб (Там же),

однако в последней четверти века господствующей формой становится Тв. предикативный полного прилагательного, например:

...Ибо хотя и всякий человек подвержен житейским претканиям, но тот почитается благоразумнейшим, который больше другого управляет страстями своими (Новиков, Кошелек); Он сочинял такие стихи, которые почитались в лесу беспримерными (Фонвизин, Великий стихотворец).

Во второй половине XVIII в. практически уходит из предикативного употребления краткое прилагательное — встречаются лишь единичные примеры:

...нет такого на свете языка, как бы он убог ни почитался, чтоб не можно было перевести на него всех слов с других языков (Козельский, Рассуждения двух индийцев Калана и Ибрагима о человеческом познании).

Наряду с этим можно отметить употребление компаратива в сочетании с глагольной связкой *почитаться*, который ранее не встречался в присвязочной позиции, например:

Для чего же деревянные опилки, смешанные с водою, тонут в ней, а дерево почитается легче воды по образу (Козельский, Рассуждения двух индийцев Калана и Ибрагима о человеческом познании).

Обобщая наблюдения об особенностях сочетаемости связки *почитаться* по сравнению с предшествующим периодом, можно сделать вывод, что в последней четверти XVIII в. произошло сближение ее сочетаемости с сочетаемостью других связок (*казаться, оказаться, сделаться* и др.). Это проявилось, прежде всего, в процессе расширения употребления Тв. предикативного существительного и полного прилагательного на месте предложно-падежных форм. Процесс обобщения сочетаемостных свойств проявился даже в том, что в конструкциях со связкой *почитаться* изредка начинает встречаться Им. предикативный существительного и полного прилагательного:

... И друзья почитаются две души в едином теле живущия (архиеп. Платон (Левшин), Слово в неделю мироносца); Самые лучшие по красоте и скорости бега почитаются арабские и английские [лошади]... (Зуев, Извлечения из учебника «Начертание естественной истории»).

Правда, такое употребление ограничено случаями препозиции именной части сказуемого относительно связки *почитаться*.

Связка *считаться* во второй половине XVIII в. начинает употребляться шире, чем в предшествующий период, однако по частотности употребления значительно уступает связке *почитаться*: соотношение частотности употребления связок *почитаться* и *считаться* во второй половине XVIII в. составляет 7,5 : 1. Дистрибутивные свойства связки *считаться*, заметно отличавшиеся от связки *почитаться* в первой половине XVIII в., во второй половине века не обнаруживает существенных отличий (см. *Приложение*). Это следует связать с активными процессами обобщения синтагматических свойств связочных глаголов, которые протекали как внутри отдельных семантических групп (в частности, внутри группы связок со значением общего мнения), так и в целом среди всех связочных глаголов.

Основными

Основными способами выражения именной части, как и у связки *почитаться*, были Тв. предикативный существительного и полного прилагательного и существительное в форме «за + В. П.». Например:

Тот преступником считался, кто ссылался на права человеческие... (Фонвизин, Слово похвальное Марку Аврелию); *...и наконец за великолепие уже считалось подать студень с солеными лимонами* (Щербатов, О повреждении нравов в России); *Мы остановились в трактире, который считается лучшим в городе* (Карамзин, Письма русского путешественника).

Кроме предложно-падежной формы «за + В. П.», в конструкциях со связкой *считаться* отмечаются и другие предложно-падежные формы существительного, например:

Conétable во время феодального правления во Франции действительно был конюший королевский и считался между первыми министрами (Десницкий, Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции); *...я знаю, что леность считается не из последних пороков...* (Новиков, Трутень); *В числе первообразных заблуждений считаются предрассуждения, как бы рассуждения, еще незрелые и предваряющие здравый разум* (Аничков, Слово о разных причинах, немалое препятствие причиняющих в продолжении познания человеческого...).

Никаких присвязочных форм, которые бы встречались в сочетании со связкой *считаться* и не встречались бы в сочетании со связкой *почитаться*, нами не выявлено; количественное распределение различных присвязочных форм у связки *считаться* сходно со связкой *почитаться* (см. Приложение). Можно обратить внимание на то, что предложно-падежные формы существительного, очень редкие в первой половине XVIII в. в сочетании со связкой *считаться*, увеличили свою долю во второй половине века, тогда

как в конструкциях со связкой *почитаться* шел противоположный процесс. Это свидетельствует о том, что процесс обобщения семантики и сочетаемости различных языковых единиц, который резко усилился в русском языке второй половины XVIII в., захватил и группу связок со значением общего мнения.

~ ВЫВОДЫ ~

История связок общего мнения имела целый ряд особенностей по сравнению с другими глагольными связками. Прежде всего, можно отметить позднее распространение этих связок: до XVIII в. они малоупотребительны. Резкое расширение употребления связок общего мнения, особенно ближе к середине XVIII в., следует связать с экстралингвистическими факторами — формированием языка науки и публицистики: именно в научных и публицистических текстах отмечается наиболее широкое употребление этих связок. Процесс расширения употребления связок общего мнения сопровождался резким увеличением их числа: кроме связок *вменяться*, *почитаться*, *считаться*, во второй и последней трети XVIII в. способность к выражению общего мнения в составном именном сказуемом развивают глаголы *полагаться*, *поставляться*, *признаваться*, *приниматься*, *разуметься*, *числиться*.

В XIX в. происходят существенные изменения в употреблении связок общего мнения. Происходит постепенный выход из употребления практически всех связок с этим значением, кроме связок *почитаться* и *считаться*. Начиная с 1830—1840-х гг. происходит быстрое распространение связки *считаться*, которая активно вытесняет связку *почитаться*: связка *считаться* на протяжении первой половины XIX в. употреблялась в 2 раза чаще, чем связка *почитаться*. Во второй половине XIX в. процесс выхода из употребления связки *почитаться* ускорился. Соотношение частотности употребления связок *считаться* и *почитаться* за этот период

риод составлял 12:1; в последнее десятилетие XIX в. эта разница выросла до соотношения 19:1. Наиболее вероятной причиной этого процесса было стремление языка избавиться от омонимии: связка *почитаться* совпадала со страдательной формой глагола *почитать* в значении 'уважать кого-, что-либо, относиться с почтением к кому-, чему-либо' (БАС 10, 1724). Отсутствие у связки *считаться* подобной омонимии стало решающим фактором для закрепления именно ее в системе основных связок русского языка.

В последней четверти XVIII в. связки со значением общего мнения начинают приобретать сочетаемость, характерную для других связок русского языка: ведущими формами присвязочного имени становятся существительное и полное прилагательное в Тв. П. В XIX в. продолжился и ускорился процесс расширения употребления Тв. П. существительного и полного прилагательного на месте предложно-падежных форм: предложно-падежные формы осмысляются как архаичные и практически выходят из употребления со связкой *считаться*, однако частично сохраняются с архаизировавшейся связкой *почитаться*.

~ ПРИЛОЖЕНИЕ. СОЧЕТАЕМОСТЬ СВЯЗОК *почитаться* И *считаться* ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.~

	<i>почитаться</i>	<i>считаться</i>
	<i>существительное</i>	
Тв. П.	37,5 %	36 %
«за + В. П.»	9,5 %	16 %
«в числе + Р. П.»	менее 1 %	8 %
«между + Р. П.»	2 %	4 %
«как (яко) + Им. П.»	2 %	нет
	<i>прилагательное/причастие</i>	
Полная форма в Тв. П.	28 %	16 %
Полная форма «за + В. П.»	6 %	2 %
Компаратив	5 %	нет
<i>Прочее</i>	10 %	8 %

¹ Количественные данные рассчитаны на основе примеров, выбранных методом сплошной выборки из Национального корпуса русского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- БАС — Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.; Л., 1950–1965.
- Голицына 1983 — Голицына Т. Н. Служебные (связочные) глаголы русского языка и их полнозначные соответствия / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Воронеж, 1983.
- Горельникова 1993 — Горельникова Ю. А. Выражение модального значения кажимости в структуре предложения / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1993.
- Кожина 2006 — Кожина М. Н. Научный стиль // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М., 2006. С. 242–248.
- Лекант 1995 — Лекант П. А. Функции связок в русском языке // Русский язык в школе. № 3, М., 1995. С. 90–95.
- Попова 2005 — Попова Л. В. Система связок именного сказуемого в современном русском языке. Архангельск, 2005.
- Сл. РЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29. М., 1975–2011.

Дмитрий Наилевич Чердаков

ПРОБЛЕМА ИМЕНОВАНИЯ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ В ДОКОМПАРАТИВИСТСКОМ РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Русское языкознание XVIII — начала XIX в. довольно обстоятельно изучено в аспекте решения конкретных задач грамматического и лексикографического описания русского языка, которое знаменует окончательное приобщение русской филологии к процессам, восходящим к идеологии европейского Возрождения. Гораздо меньше говорится о том, какие общие теоретические темы и проблемы, актуальные для антично-европейской лингвистической традиции в целом, стоят за этими национально-ориентированными задачами, иначе говоря — с какими самыми общими лингвистическими вопросами может быть соотнесена филологическая деятельность русских ученых и деятелей культуры данного периода. Один из такого рода вопросов — это проблема принципов именования, связанная с практикой докомпаративистского этимологизирования. Краткому историческому обзору этой проблемы в русском языкознании посвящена данная статья.

Обсуждение проблемы принципов именования, собственно, и открывает историю антично-европейского языкознания, она известна нам прежде всего из диалога Платона «Кратил», который в свою очередь аккумулирует в себе лингвофилософские достижения древнегреческой мысли более ранней эпохи (Троцкий 1936: 13–25; Амирова, Ольховиков, Рождественский 1975: 32–55; Baxter 1992; Varney 2001; Верлинский 2006). Это вопрос о правильности имен, об отношении слова к реальности и мышлению, в упрощенном варианте представленный в лингвистике как вопрос о произвольности языкового знака. В содержании «Кратила» важно различать два аспекта: философско-семиотический (проблема правильности имени) и собственно лингвистический, связанный с этимологизацией

слова на основе процедур сопоставления производного и производящего и выявления их формально-смыслового сходства. В последующей истории языкознания эти два аспекта, в диалоге Платона составлявшие единство, могли приобретать самостоятельность.

Говоря о трактовке обсуждаемого вопроса в русском языкознании XVIII в., важно учитывать представление о природе словесного знака в Древней и Московской Руси. В настоящее время тезис о значимости для древнерусской книжности проблемы иконичности слова, отраженной прежде всего в переводческой практике, является общепризнанным. Впрочем, среди ученых нет единства в истолковании тех немногочисленных древнейших текстов¹, дошедших до нас, где содержится лингвистическая рефлексия о принципах перевода. С. Матхаузерова, а вслед за ней и многие другие, полагала, что в этих текстах отражаются представления об условной связи между означающим и означаемым, которые в конечном счете идеологически восходят к обоснованию возможности перевода богооткровенного текста на новый — в отличие от трех священных — славянский язык (Матхаузерова 1976: 29–37). Видимо, ближе к истине Д. М. Буланин, который, напротив, считает, что данные тексты, поскольку относятся к жанру покаянного предисловия, содержат не позитивную переводческую программу, а всего лишь традиционные извинения книжника за допущенные отклонения от идеала, который для Средневековья неизменно состоит в аксиоматически осознаваемой «иконической природе слова», а в переводческом деле требует воспроизведения каждого слова «оригинала в единстве его обозначающего и обозначаемого» (Буланин 1995: 27).

¹ По данным С. Франклина (Франклин 2010: 352–360), их всего пять, и все они не восточнославянские по происхождению. Важнейшие из них — это известные науке с XIX в. Пролог Иоанна Экзарха Болгарского к его переводу «Богословия» Иоанна Дамаскина и текстуально близкий Прологу Македонский Кирилловский листок. Оба текста включают цитату из сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита «О божественных именах».

Меньше разногласий в оценке процессов, относящихся к более позднему времени. Второе южнославянское влияние со всеми сопутствующими обстоятельствами: богословскими, филологическими, церковно-идеологическими — укрепляет позиции неконвенционального отношения к словесному знаку, и в Московской Руси, по выражению Б.А. Успенского, «церковно-славянский язык начинает рассматриваться как икона православия» (Успенский 2002: 339). Дальнейшая история вплоть до конца XVII в. — это история постепенного разрушения (при несомненном влиянии нового типа образованности, возникшей в Юго-Западной Руси) неконвенционального отношения к слову и тексту, осуществляемого главным образом в ходе книжных споров, подкрепленного новыми теориями перевода и возникающей грамматической традицией и сопровождаемого филологически-богословской полемикой (Бобрик 1990; Живов 1993; Запольская 2003 и др.). Эта история сопровождалась драматическими коллизиями личного характера, как, например, в случае с Максимом Греком, и в конечном счете нашла свое отражение и в трагедии общерусского масштаба, как это было в случае с расколом, о филологической подоплеке которого в аспекте различного отношения к природе религиозного слова говорилось неоднократно (Матхаузерова 1976: 20–23; Живов, Успенский 1986; Успенский 1994; Камчатнов 2005: 207–213 и др.). Буквализм переводческих принципов в грекофильской школе Епифания Славинецкого, в котором видят иногда своеобразный ренессанс чуть ли не исихастских представлений о слове, по предположению многих ученых, был в значительной степени освобожден от собственно мистических оснований и объяснялся причинами, скорее, внешнего характера: общекультурными или даже, как полагает Д.М. Буланин, чисто филологическими, то есть связанными с представлениями о субстанциональной близости славянского и греческого языков, но не о слове как неконвенциональном способе провозвещать истину (Буланин 1995: 36; ср. Исаченко 2009).

Можно полагать, что древнерусская книжность восприняла, в христианизированном, конечно, варианте, суть сформулированной в античности проблемы, связанной с осмыслением характера между словесным знаком и обозначаемой им сущностью². При этом нельзя не отметить, что изначально связанная с этой философской и лингвистической проблемой практика этимологизирования не получила в древнерусской культуре широкого распространения. Точнее сказать, не получила развития «философская», или «ученая», «онтологическая», этимология (Топоров 1986), практиковавшая поиск смысловой близости слов на основе их формального сходства и опиравшаяся на своеобразную лингвистическую «технику» такого сближения³.

Этимологические опыты древнерусской книжности, восходящие к древнейшим южнославянским переводным текстам, а через них к византийской словесной культуре, могут быть сведены, по наблюдениям М. И. Чернышевой, к следующим приемам: а) передача в славянском переводе представленных в греческом оригинале Евангелия толкований арамейских, еврейских, а иногда и собственно греческих собственных и нарицательных

² Ср. мнение Н. Н. Запольской, которая считает, что гносеологическая проблематика позднего русского Средневековья, естественно связанная с проблемой богопознания, находила отражение в филологической рефлексии книжников, реализовавшейся в различных текстовых и метатекстовых (словарных и грамматических) интерпретационных тактиках и направленной на «раскрытие, сохранение и трансляцию идеосемантики библейских собственных имен и тем самым на определение функционального статуса носителей этих имен» (Запольская 2007: 136), а также «на раскрытие сакральной идеосемантики языковых единиц, обозначающих в литургических языках базовые христианские ценности» (Запольская 2013: 6).

³ Ср.: «В ученой этимологии присутствует интерес и к технической стороне дела, стремление каким-то образом упорядочить, исчислить возможные типы формальных и семантических соотношений между именами и их этимонами. Можно даже утверждать, что греческими философами был предпринят первый опыт установления регулярных звуковых (буквенных) соответствий» (Клубков 2011: 28).

нарицательных слов; б) введение в славянский перевод одновременно и слова (имени собственного или нарицательного) оригинала, и его славянского эквивалента (а иногда и двух славянских эквивалентов, отражающих внеконтекстуальную и контекстуальную семантику слова оригинала); в) словообразовательное калькирование, иногда передающее неправильно понятую (или намеренно иначе трактуемую) смысловую сторону иноязычной словообразовательной структуры; г) *figura etymologica* — окружение значимого слова (иногда имени собственного) однокоренными словами (подчас псевдородственными) (Чернышева 2012).

Аналогичные явления известны и в оригинальной древнерусской словесной культуре. Вообще говоря, представление о тождестве имени и вещи относится к древнейшим пластам лингвистической мысли, по-видимому, в любой этнической общности. Так или иначе проявляемая этимологическая рефлексия — неизбежное следствие подобных представлений. Поэтому мы прежде всего можем говорить о существовании этимологического фактора для устной словесной культуры, о так называемой «этимологической магии» (Толстая, Толстой 1988), что подтверждено на богатом материале различных фольклорных жанров: ср. многочисленные случаи народной этимологизации прежде всего имен собственных, разнообразные приемы столкновения в тексте этимологически родственных или чаще всего псевдородственных слов (типа *просо — просить*), ономастические легенды. Примеры этимологической рефлексии в оригинальных письменных памятниках Древней Руси отмечены еще М. И. Сухомлиновым (Сухомлинов 1854: 4–7), главным образом к ним относятся случаи ономастической этимологии⁴, легендарная этимологизация топонимов, личных имен, в том числе приемы их

⁴ Отметим, что наряду с развернутыми ономастическими этимологиями, как в известных случаях с названиями *Киев* или *Переяславль*, встречаются и имплицитные этимологические истолкования, как, например, в случае с древянами, которые так названы *зане съдоша въ льстьхъ* (Повесть

контрастивного этимологического разложения (типа *Святополк — Поганополк, Богу мил — Богу не мил*). Добавим, что этимологические объяснения собственных наименований можно встретить в характеристике реалий иных земель; таковы, например, этимологические истолкования на основе греческого языка названий афонских монастырей в описании, сделанном по поручению митрополита Макария во второй половине XVI в. (Адрианова-Перетц 1945: 51). Что же касается лексикографии, то как на начальном этапе ее развития — при глоссировке текстов, так и впоследствии — в словарных лексических перечнях, представляющих собой обобщение первоначальных глосс, а затем и в обширных азбуковниках XVI–XVII вв. этимологическая практика носит в целом такой же характер: это этимологические справки, сопровождающие реальный комментарий при антропонимах и топонимах, и поморфемный перевод иноязычных слов иногда с указанием на русские соответствия для каждой иноязычной морфемы (Ковтун 1975; Німчук 1980; Ковтун 1989; 1991).

Можно отметить три особенности древнерусской этимологической практики: во-первых, ее нерегулярный и несистематизированный характер⁵; во-вторых, почти абсолютно преобладающий интерес к именам собственным (это, видимо, явление с типологической точки зрения универсальное: начальный интерес к этимологии связан с именами собственными); в-третьих, тесная связь этимологизирования с конкрет-

ным
временных лет 1996: 8). Позднее эта легендарная ономотология выросла в самостоятельный жанр древнерусской литературы — генеалогическую повесть, где причина поименования разворачивается в отдельный сюжет (такова, например, «Повесть о Тверском отроче монастыре» XVII в.).

⁵ Даже в азбуковниках XVII в., как и в первых западнорусских печатных словарях конца XVI — начала XVII в., которые затем включались в состав рукописных азбуковников, этимологические характеристики слов немногочисленны. Например, в «Лексисе» Лаврентия Зизания (1596) из юбі слова только два слова (если исключить случаи типа «философия — любление мудрости») можно считать проэтимологизированными: *естество* от *естъ* и *существо* от *суть* (Лексис 1964: 45, 78).

ным текстом (это ярко проявляется в древнейшие периоды, но и в дальнейшем неокончательное высвобождение слова и превращение его в самостоятельную, парадигматически понятую единицу языка ощутимо).

Между тем важно учитывать, что именно этимологические сопоставления претендовали на то, чтобы вскрывать неочевидные лексические, не внутри-, а межсловные связи в языке⁶, при этом вне текстовой обусловленности. Для осознания несинтагматической связности лексикона и формирования представления о языке в отличие от речи постулирование именно таких неочевидных, невнутрисловных связей, как кажется, имело существенное значение. В этом отношении парадоксальным образом с точки зрения развития лингвистического знания ценным являлось то, что сегодня кажется абсолютно бесполезным — ввиду ошибочности подавляющего большинства таких этимологических сближений, — а именно неочевидная, не описываемая в грамматиках связь между нарицательными именами. Такого рода сближения мы обнаруживаем, например, в словаре Памвы Берынды (1627), где *колени* производится от *клонится*, *церковь* от *царь* (Лексикон 1961: 54, 155) и т. п. Характерна, однако, и малочисленность таких этимологий при общем составе словаря в почти 7000 слов, и позднее время его создания, и предполагаемое западное влияние в отношении подобного этимологизирования.

В средневековой Европе картина была иная⁷. Этимологическая «техника», восходящая к античным спорам о природе наименования, была усвоена полностью, а практика этимоло-

⁶ Напомним, что очевидные словообразовательные связи слова рассматривались в античную и средневековую эпохи в рамках грамматики наравне со словоизменительными характеристиками. И то, и другое относилось к морфологическим признакам слова. Например, для Мелетия Смотрицкого *Петров* — некоторое видоизменение слова *Петр*, *солнечный* — слова *солнце*, *чтение*, *чтец* — слова *чту* (Мелетий 1619: 33, 33 об.) и т. п. Подобные лексические соответствия для средневековой грамматики близки к внутрисловным видоизменениям.

⁷ Этимологические изыскания были характерны и для филологии Византии (Гаврилов 1985: 140–141).

гизирования, при целом ряде черт, типологически общих с древнерусской, отличалась от нее и количественно, и качественно (Пизани 1956: 10–34; Amsler 1989; L'étymologie 1998). Этимологические разыскания становятся атрибутом учености, включаются в набор умений, составлявших предмет изучения в тривиуме (Исидор 2006: 39–40), а в эпоху Возрождения перерастают, по выражению У.Эко, в «этимологический раж» (Эко 2007: 87). В отношении же своих целей европейская этимология прошла значительную эволюцию: первоначально она служила энциклопедическим целям, познанию собственно вещей, затем была использована для отыскания языка наиболее совершенного по своей структуре и в конце концов устремилась в историческую плоскость — к выяснению исторических взаимоотношений этносов².

Полноценная встреча русской образованности с этимологией в европейском понимании произошла в XVIII в. Важно подчеркнуть, что основное значение этой встречи именно в усвоении лингвистической «техники» этимологизирования и способах оформления этимологической информации. Это прежде всего отражено в истории русской лексикографии, где с 1740-х гг. появляется этимологический принцип гнездования вокабул, сначала в дву- и многоязычных словарях, а затем и в собственно русских; этот принцип нашел яркое воплощение в первом издании «Словаря Академии Российской» (История 1998: 59–126). Что же касается нелексикографической сферы, важно отметить, что Россия восприняла европейскую традицию

² Говоря о чисто лингвистическом аспекте этой эволюции, следует отметить, что западноевропейская этимология Нового времени уже во многом имеет научное значение хотя бы в плане своего внешнего лексикографического оформления. Скажем, многократно переиздававшийся начиная со второй половины XVII в. этимологический словарь крупного французского филолога Ж. Менажа (Ménage 1650) — это этимологический словарь уже во вполне нашем понимании, которому можно доверять в отношении многих слов; эта ситуация, конечно, совершенно немислима для русской филологии XVII в.

дицию этимологизирования в ее позднем варианте — как метод исторического исследования. Этимология в XVIII в. преимущественно часть исторической науки.

Ключевым сочинением для усвоения процедур европейского этимологизирования признаются обычно «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских» В. К. Тредиаковского, широко упоминаемые как пример лингвистических курьезов. В этом смысле они часто воспринимаются как своего рода новаторская для русской филологии работа, что верно только отчасти. Во-первых, это сочинение довольно позднее. Оно написано в 1757 г., а издано только в 1773 г., уже после смерти Тредиаковского⁹. Более ранними работами, в которых также используется метод этимологических доказательств исторических фактов, являются исторические труды В. Н. Татищева первой половины XVIII в. (хотя и они были изданы только во второй половине столетия). Но даже и они не являются первыми. Подобного рода этимологии стали активно проникать в Московскую Русь еще раньше — во второй половине XVII в. в исторических сочинениях, написанных на Украине и испытывавших большее или меньшее влияние польской схоластической культуры. Так, «Синописис», впервые вышедший в Киеве в 1674 г. и многократно переиздававшийся вплоть до начала XIX в., активно использует подобную этимологическую практику¹⁰. Во-вторых, по своему характеру этимологии Тредиаковского довольно архаичны, поскольку почти целиком ограничиваются кругом имен собственных,

⁹ Возможно, стимулом к изданию этого труда послужил известный интерес к этимологии Екатерины II (Ивинский 2009: 6–8).

¹⁰ К примеру, «Синописис» и другие тексты украинского происхождения эксплуатируют легенду, которая возникла в польских хрониках XVI в., о происхождении названия *Москва* от имени библейского персонажа Мосоха, внука Ноя, который тем самым объявлялся прародителем славянского народа (Синописис 1680: 7 об. — 8 об.). Эту версию подробно обсуждает Тредиаковский (как и В. Н. Татищев, и М. В. Ломоносов) в своих исторических сочинениях.

что, как было уже сказано, типологически первичный тип этимологизирования. В этом смысле более примечательны этимологические работы А. П. Сумарокова конца 1750-х гг.¹¹, которые невелики по объему и сумбурны по форме, но, будучи написаны примерно в то же время, что и труд Третьяковского, носят иной характер. Сумароков в контексте той же исторической темы обращается исключительно к именам нарицательным, объединяет в одном корневом гнезде целый ряд производных, причем анализирует не только существительные, но и глаголы. Он едва ли не первый в русской филологии анализирует звукоподражание как мотивационное основание наименования и очень робко, но все же пытается вывести этимологию за пределы исторической темы, связав ее с чисто лингвистическими, а именно пуристическими, тезисами. Поэтому значение работы Третьяковского, как кажется, в факторах, скорее, внешнего характера. Она объемна, и в ней впервые в русской филологии этимологическая практика была представлена столь концентрированно, при этом с введением ее в современный Третьяковскому научный контекст, постоянной полемикой с оппонентами и многочисленными ссылками на альтернативные точки зрения¹².

В последние десятилетия XVIII в. русская образованность будто бы стремительно наверстывает упущенное: этимологизирование получает все большее распространение (Булич 1904: 262–274, 1077–1100 и др.). По остроумному, хотя и несколько гиперболизированному выражению В. В. Колесова, «дух моды заполнил гостиные и ученые сообщества: этимологизировали

¹¹ См., в частности, статьи Сумарокова «О истреблении чужих слов из русского языка», «О коренных словах русского языка» (Сумароков 1787: 244–247, 249–256).

¹² О методе этимологизирования Третьяковского см. наблюдения П. А. Клубкова, согласно которым сопоставления Третьяковского при едва ли не намеренной анекдотичности почти всегда опираются на легитимизированные в русском или других языках морфонологические соответствия (Клубков 2011: 32–54).

логизировали все и всё» (Колесов 2003: 165–166). Нетрудно, однако, заметить, что усвоенная «техника» этимологизирования не сопровождалась в XVIII в. никакой теоретической, собственно филологической проработкой. Изначально заложенная в эту практику процедура отыскания истины и оправдания именованья была переведена исключительно, как уже говорилось, в историографическую плоскость и была осмыслена как способ установления исторического первенства. Собственно лингвистическое теоретическое значение этимологической практике придал в начале XIX в. самый плодовитый этимолог эпохи — А. С. Шишков. В самом кратком изложении это теоретическое значение может быть описано так.

Шишков был захвачен идеей описать этимологически весь словарный состав языка и от отдельных этимологических сопоставлений перешел к выстраиванию гигантских гнезд, где все элементы находятся в семантической связи. Сам этот принцип многоступенчатого семантического воплощения и перевоплощения в новых словесных формах универсален, но особенности конструирования семантических связей носят конкретно-национальный характер. Шишков сформулировал понятие, которое А. А. Потебня позже назовет внутренней формой слова, и полагал с его помощью интерпретировать, выражаясь современным языком, онтологический, психо- и социолингвистический статус слова³.

Соответственно в бытовании слова различаются два аспекта — собственно коммуникативный и идеологический. В коммуникативном отношении слова с внутренними формами и без них равноценны: и те, и другие одинаково успешно выполняют свои коммуникативные функции. В идеологическом же плане они разведены: есть полноценные слова, являющиеся органичными элементами национальной идеологии, и есть слова культурно изолированные, коммуникативно приемлемые,

³ Подробнее см.: (Чердаков 1996; 1998).

но идеологически бессмысленные. Поскольку корневая система у русского и церковнославянского языков по большей части общая, Шишков и выдвигает известные тезисы об их субстанциональном единстве. Проблема истинности слова у Шишкова обрела собственно лингвистическое содержание. Истинно, правильно то слово, которое словообразовательно встроено в семантическую систему данного национального языка.

Шишков вернул в русскую национальную культуру проблему конвенциональности языкового знака, утраченную сто с лишним лет назад после расправы над раскольниками. Он придал ей публицистическую остроту и новое для русской филологии теоретическое содержание. Важно, однако, что он сделал это, используя усвоенную русским XVIII веком традиционную для Европы лингвистическую «технику» этимологизирования как форму аргументации. Схематизируя и огрубляя, можно было бы сказать, что в начале XIX в. впервые с древнейших времен внутреннее содержание проблемы именованья обрело в русской филологии европейскую оформленность.

Подведем итоги. Проблема именованья, известная со времен античности, была актуальна для древнерусской культуры в религиозно обусловленном аспекте ее смысла, но не в аспекте европейски ориентированной формы аргументации, за которой стояла докомпаративистская этимологическая практика. «Техника» антично-европейского этимологизирования начинает усваиваться с середины XVII в. — как раз тогда, когда религиозно понятая безусловность именованья утрачивает филологическую актуальность. Будучи отточена в исторических сочинениях XVIII в., эта европеизированная этимологическая «техника» в начале следующего столетия наполняется новым лингвистическим смыслом, уже вполне светским, но ориентированным (ввиду филологических устремлений Шишкова) на традиционную для Древней Руси ценность книжно-славянского начала. В какой-то мере мы можем

говорить

говорить о зрелости русской филологии на пороге наступления новой лингвистической эпохи, имея в виду в том числе и это соединение смысла и формы.

~ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ~

- Адрианова-Перетц 1945 — Адрианова-Перетц В. П. Путешествия XVI в. *История русской литературы: в 6 т. Т. II. Ч. 1.* М.; Л., 1945. С. 511–515.
- Амирова, Ольховиков, Рождественский 1975 — Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975.
- Бобрик 1990 — Бобрик М. А. Представления о правильности текста и языка в истории книжной справы в России (от XI до XVIII в.) *Вопросы языкознания.* 1990. № 4. С. 61–85.
- Буланин 1995 — Буланин Д. М. Древняя Русь *История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII в. Т. 1: Проза.* СПб., 1995. С. 17–73.
- Булич 1904 — Булич С. К. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904.
- Верлинский 2006 — Верлинский А. Л. Античные учения о возникновении языка. СПб., 2006.
- Гаврилов 1985 — Гаврилов А. К. Языкознание византийцев *История лингвистических учений. Средневековая Европа.* Л., 1985. С. 109–156.
- Живов 1993 — Живов В. М. Гуманистическая традиция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам в XV–XVII вв. *Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации.* М., 1993. С. 106–121.
- Живов, Успенский 1986 — Живов В. М., Успенский Б. А. Grammatica sub specie theologiae: Претеритные формы глагола *быти* в русском языковом сознании XVI–XVIII вв. *Russian Linguistics.* 1986. Vol. 10. № 3. P. 259–279.
- Запольская 2003 — Запольская Н. Н. Книжная справа в культурно-языковых пространствах *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina* *Сла-*

- вянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Люблина. 2003 г. Доклады российской делегации. М., 2003. С. 213–229.
- Запольская 2007 — Запольская Н. Н. Рефлексия над именами собственными в пространстве и времени культуры // Имя: Семантическая аура. М., 2007. С. 133–150.
- Запольская 2013 — Запольская Н. Н. Церковнославянский язык в христианской эпистеме // Лингвистическая эпистемология: история и современность. XV Международный съезд славистов. Минск, Республика Беларусь, 20–27 авг. 2013. Минск, 2013. С. 5–30.
- Ивинский 2009 — Ивинский А. Д. Литературная политика императрицы Екатерины II: «Собеседник любителей российского слова» // Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2009.
- Исаченко 2009 — Исаченко Т. А. Переводная Московская книжность XV–XVII вв. На материалах митрополичьего и патриаршего скриптория. М., 2009.
- Исидор 2006 — Исидор Севильский. Этимологии, или Начала: в 20 кн. Кн. 1–3: Семь свободных искусств // пер. с лат. Л. А. Харитонова. СПб., 2006.
- История 1998 — История русской лексикографии. СПб., 1998.
- Камчатнов 2005 — Камчатнов А. М. История русского литературного языка. XI — первая половина XIX в. М., 2005.
- Клубков 2011 — Клубков П. А. Формирование петербургской традиции лингвистической русистики (XVIII — начало XIX в.) Историко-лингвистические очерки. СПб., 2011.
- Ковтун 1975 — Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975.
- Ковтун 1989 — Ковтун Л. С. Азбуковники XVI–XVII вв. Старшая разновидность. Л., 1989.
- Ковтун 1991 — Ковтун Л. С. Языкознание у восточных славян в XI–XV вв. // История лингвистических учений. Позднее Средневековье. СПб., 1991. С. 182–207.
- Колесов 2003 — Колесов В. В. Открытие метода: А. Х. Востоков // Колесов В. В. История русского языкознания: Очерки и этюды. СПб., 2003. С. 162–192.

- Лексикон 1961 — Лексикон словенороський Памви Беринди *с* підг. тексту і вступ. ст. В. В. Німчука. Київ, 1961.
- Лексис 1964 — Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская *с* підг. текстів і вступ. ст. В. В. Німчука. Київ, 1964.
- Матхаузерова 1976 — Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976.
- Мелетий 1619 — Мелетий Смотрицкий. Грамматика славенския правилное синтагма. Евъе, 1619.
- Німчук 1980 — Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. Київ, 1980.
- Пизани 1956 — Пизани В. Этимология. История — проблемы — метод *с* пер. с итал. Д. Э. Розенталя. М., 1956.
- Повесть временных лет 1996 — Повесть временных лет *с* подг. текста Д. С. Лихачева; отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. СПб., 1996.
- Синописис 1620 — Синописис, или Краткое собрание от различных летописцев. Киев, 1620.
- Сумароков 1787 — Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений, в стихах и прозе *с* собраны и изданы Н. Новиковым. Ч. 9. 2-е изд. М., 1787.
- Сухомлинов 1854 — Сухомлинов М. И. О языкознании в древней России. СПб., 1854.
- Толстая, Толстой 1988 — Толстая С. М., Толстой Н. И. Народная этимология и структура славянского ритуального текста *с* Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 250–264.
- Топоров 1986 — Топоров В. Н. О некоторых теоретических аспектах этимологии *с* Этимология 1984. М., 1986. С. 205–211.
- Троцкий 1936 — Троцкий И. М. Проблемы языка в античной науке *с* Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936. С. 7–29.
- Успенский 1994 — Успенский Б. А. Раскол и культурный конфликт XVII в. *с* Успенский Б. А. Избранные труды. Т. I: Семиотика истории, семиотика культуры. М., 1994. С. 333–367.
- Успенский 2002 — Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.) М., 2002.

- Франклин 2010 — Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950–1300 гг.) / пер. с англ. Д. М. Буланина. М., 2010.
- Чердаков 1996 — Чердаков Д. Н. Семантика слова и развитие русского языка в концепции А. С. Шишкова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 1996. Вып. 1. № 2. С. 37–44.
- Чердаков 1998 — Чердаков Д. Н. А. С. Шишков и А. Х. Востоков: к вопросу о соотношении старого и нового в истории отечественного языкознания // Язык и речевая деятельность: Журнал Санкт-Петербургского лингвистического общества. 1998. Т. 1. С. 142–150.
- Чернышева 2012 — Чернышева М. И. Этимологические опыты в древнерусской книжности // Славянское и балканское языкознание. Палеославистика: Слово и текст. М., 2012. С. 119–138.
- Эко 2007 — Поиски совершенного языка в европейской культуре / пер. с итал. А. Мирноловой. СПб., 2007.
- Amsler 1989 — Amsler M. E. Etymology and grammatical discourse in late antiquity and the early Middle Ages. Amsterdam; Philadelphia, 1989.
- Barney 2001 — Barney R. Names and Nature in Plato's Cratylus. New York; London, 2001.
- Baxter 1992 — Baxter T. M. S. The Cratylus. Plato's critique of naming. Leiden; New York; Köln, 1992.
- L'étymologie 1998 — L'étymologie, de l'antiquité à la Renaissance (Lexique. 14) / ed. par C. Buridant. Lille, 1998.
- Ménage 1650 — Ménage G. Origines de la langue française. Paris, 1650.

ЧАСТЬ III

DE LOCIS COMMUNIBUS



ТОПОС «ТИШИНЫ» В ПОЭЗИИ КАРАМЗИНА

Топос «тишины» неоднократно привлекал к себе внимание исследователей поэзии Ломоносова. П. Е. Бухаркин обстоятельно показал не только семантическое богатство этого топоса, но и его глубинную связь с литературой Древней Руси. По мнению исследователя, «использование топки конкретным автором дает богатый материал для размышлений о его традиционности и одновременно новаторстве», поскольку общее место, «с одной стороны <...> традиционно по своему существу, а с другой — авторские вариации в его трактовке высветляют то новое, что принес данный художник в культуру» (Бухаркин 1996: 4). Эта «память литературы» по-разному проявлялась в разные периоды у разных авторов и в разных жанрах. Мотивы и образы ломоносовской поэзии постоянно варьировались в русской поэзии на протяжении всего XVIII столетия, часто приобретая новое звучание.

Особенно замечательны в этом отношении торжественные оды Хераскова, которые, по наблюдению Н. Ю. Алексеевой, проникнуты «гармонией, по-своему увиденной и услышанной» (Алексеева 2005: 266). Как и у Ломоносова, речь идет о мирной жизни, противостоящей раздорам и пагубным войнам: «тишина» знаменует благосостояние всей страны, всего общества. Эта тема появляется в многочисленных торжественных одах Хераскова, написанных и по поводу воинских побед, и по поводу заключения мира. «Тишина» сопровождается такими эпитетами, как «любезная», «сладкая», «спасительная». Восхваляя Екатерину II, поэт постоянно стремится подчеркнуть ее миролюбие:

Соцарствуя Екатерине,
Везде простерла ризу ныне
Спасительная Тишина.

(Херасков б. г.: 153)

Между тем, внимание Хераскова и поэтов его круга уже в 1760-е гг. было обращено на разработку и более камерных жанров: «философические» и анакреонтические оды, стихотворные послания, идиллии. Как и в европейской литературе, здесь появляются устойчивые мотивы противопоставления суетной городской жизни сельской простоте и безмятежности, овейанной тишиной. В связи с этим меняется семантика топоса, возникают новые коннотации. В «Эпистоле к...» (1763) анонимный автор (возможно, Херасков) заключал рассказ о своем мирном препровождении времени правоучительным рассуждением:

Кто лишнего бежит и следует за нужным,
 Благополучием не льстит себя наружным,
 В приятной тишине умеренно живет,
 Тот счастлив в жизни сей и мудрым прослышет.
 (СЧ 1763: 310)

«Приятная тишина» простирается на небольшое, весьма ограниченное пространство, в котором пребывает счастливый мудрец. Этой «тишине» сопутствуют умеренность, душевное спокойствие, искренность; противопоставляется ей неумение довольствоваться малым, погоня за богатством и чинами, алчность. Если в торжественной оде говорилось о том, что важно для государства, для всего народа, то в стихотворении, обращенном к другу, поэт мог говорить о своем собственном внутреннем настрое. «Тишина» неизменно знаменует гармонию, но область ее распространения различна: в первом случае она может простираться почти безгранично, по всей стране и даже за ее пределами; во втором — она затрагивает лишь одного человека, но действие ее проникает вглубь, определяя его жизненную позицию.

В сборник Хераскова «Философические оды или песни» (1769) под третьим номером вошла «песнь» под названием «Тишина», проникнутая идиллическими мотивами:

Не слышно труб кровавой славы,
 Одних свирелей слышен глас.
 Спокойные и кротки нравы!
 Поля изображают вас.

«Тишина» противопоставляется не только «шуму» войны, но и порочности придворных нравов:

Друзья вельможей лицемерны,
 Их лесть проходит, будто дым;
 Друзья простолюдинов верны:
 Какая нужда в лести им?
 (Херасков 1769: 7)¹

«Тишина» становится как бы мерилом поведения человека. Его спокойствие, искренность, довольство своим жребием предстают как наиболее достойные качества.

Это перемещение топоса в область этических представлений оказалось очень значимо для Карамзина. Вместе с тем для него «тишина» — это условие для развития как нравственного, так и эстетического. Еще во время поездки по Европе, встретившись с Виландом, на его вопрос о дальнейших планах русский путешественник отвечал:

Тихая жизнь. <...> Окончав свое путешествие, которое предпринял я для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми образами, буду жить в мире с натурою и с добрыми, во всем искать *изящного* и радоваться им, вспоминать приятное и забывать неприятное (МЖ 179: 174).

При правке текста «Писем русского путешественника» для отдельного издания Карамзин внес и в этот отрывок некоторые небольшие изменения², но основное представление

¹ Стихи этого сборника напечатаны под названием «Оды нравоучительные в „Творениях“ Хераскова (Херасков б. г.).»

² «Тихая жизнь, отвечал я. Окончав свое путешествие, которое предпринял единственно для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления»

о «тихой жизни» было сохранено. Это жизнь творческая, и потому деятельная.

Предпочтение Карамзина-поэта отдается не «громкому» одическому жанру, к которому он обратился лишь в начале XIX столетия после восшествия на престол Александра I, а жанрам более камерным: послания, мадригалы, надписи и особенно — стихи, не имеющие жанрового обозначения, но по-своему продолжающие традицию «философических» од Хераскова. Это не «громкая», а «тихая» поэзия, влекущая к размышлениям, утешающая в горестях и стремящаяся запечатлеть красоту мира физического и душевного. В стихотворении «Приношение Грациям», датированном 3 июня 1793 г., то есть вскоре после смерти своего ближайшего друга А. А. Петрова, Карамзин писал:

Богини милые! Благословите сей
Свободный плод моих часов уединенных,
Природе, тишине и музам посвященных!
(Карамзин 1966: 117)

Одической поэзии он противопоставил свою «тихую лиру» в «Ответе моему приятелю, который хотел, чтобы я написал похвальную оду Великой Екатерине» (1793). Это небольшое стихотворение по-разному интерпретировалось исследователями. М. Денэ полагает, что «отказ от похвалы скрывается здесь под маской похвалы» (Денэ 2006: 290). По мнению М. Шрубы, это стихотворение — «пример изошренной похвалы царице в непривычной и тем самым оригинальной манере „тихой лиры“ в отличие от трафаретных приемов лиры „громкой“ или „гремящей“» (Шруба 2006: 300). В любом случае нельзя не признать, что здесь очевиден отказ от традиции «громкой» лирики. Несмотря на небольшое вкрапление высокой лексики, стихотворение и по интонации, и по стилю существенно

чтления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с натурою и с добрыми, любить изящное и наслаждаться им» (Карамзин 1984: 76, 420).

отличается от торжественной оды с ее высоким парением (Шруба 2006: 290–291). Для своей «тихой лиры» поэт стремится выбрать соответствующие ее тону предметы. Картины природы, созданные в лирике Карамзина, по преимуществу идилличны:

⟨...⟩ С тихим журчаньем стремится
 Чистый ручей по зеленому лугу ⟨...⟩
 «К Прекрасной», 1791 (Карамзин 1966: 100)

Как мирно, тихо всё в Природе!
 Зефир струит зеркало вод ⟨...⟩
 «К самому себе», 1796 (Там же: 162)

Поэт пишет о «мирных пастухах, красу весны поющих», упоминает «нового Теокрита», то есть С. Геснера («Приношение Грациям», 1793). Развенчивая «правлящие светом» две основные страсти («честь» — стремление к военным подвигам и «золото» — жажду богатства), Карамзин противопоставляет им радость того, чье сердце занято любовью и кто поэтому чувствует красоту мирной природы:

Где тихо горлицы воркуют,
 Друг друга с нежностью милуют
 И гнездышко себе на юных миртах вьют;
 Где две малиновки поют;
 Где все богатства Флоры
 Сияют на лугах ⟨...⟩
 «Послание к женщинам», 1795 (Там же: 172)

На протяжении ряда лет появляется несколько стихотворений Карамзина, посвященных соловьиному пению: «К соловью» (1793), басня «Соловей, Галки и Вороны» (1793), «Соловей» (1796). Пение соловья предстает как эталон подлинного искусства: «нежный, кроткий соловей» пленяет своей гармонией. Галкам и воронам, которые «день и ночь / Кричат, усталости не знают», уподобляются «жестокие врали и прозой и стихами» (Там же: 127). Этот редкий у поэта иронический

ский выпад против литературных противников завуалирован: здесь нет никаких конкретных деталей, которые позволили бы определить, к кому именно относится басня. Едва ли справедливо было бы видеть здесь и самовозвеличение поэта, хотя известно, что Державин в стихотворении «Прогулка в Сарском селе» обращался к Карамзину со словами: «Пой, К... «Карамзин», ∫ И в прозе глас слышен соловьиный» (МЖ 1791: 127).

В предисловии ко 2-й книге альманаха «Аониды» формулируя важные для него эстетические принципы, писатель, в частности, замечал:

Один *бомбаст*, один гром слов только что оглушает нас и никогда до сердца не доходит; напротив того, нежная мысль, тонкая черта воображения или чувства непосредственно действуют на душу читателя; умный стих врезывается в память, громкий стих забывается (Аониды 1797: IX).

В стихотворении «Соловей» эта мысль получила поэтическое воплощение. Вслушиваясь в чарующее пение, автор восхищается соловьиными руладами, всеми свободными переживаниями голоса, но предпочтение отдает звукам тихим:

Твой громкий голос удивляет —
Он есть Природы чудный дар, —
Но тихий, в душу проникая
И чувства нежностью питая,
Еще любезнее сто раз.
(Карамзин 1966: 233)

В завершающих это стихотворение строках появляется тема «тишины» в ее традиционном для русской поэзии XVIII столетия смысле:

Я в гимне сердце излию
И мир с тобою воспою!
(Там же: 234)

Примечание Карамзина «Писано было во время войны» неожиданно возвращает нас к одической традиции, от которой, как казалось, поэт так решительно отошел.

«Тишина» становится своего рода камертоном и противостоит «шуму», «суете». Этот мотив имеет для Карамзина этический смысл и глубоко личный характер. В «Послании к женщинам» он вспоминает о своей матери, скончавшейся при его рождении:

Твой *тихий*³ нрав остался мне в наследство;

Твой дух всегда со мной.

Невидимой рукой

Хранила ты мое безопытное детство;

Ты в годах юности меня к добру влекла

И совестью моей в час слабостей была.

(Карамзин 1966: 175)

Свое творчество и самый образ жизни поэт постоянно связывает с «тишиной». Этот топос становится лейтмотивом одного из программных стихотворений Карамзина — «Послания к Дмитриеву...» (1794). «*Тихий* свет моей лампы / С звездою утра угасал» — так вспоминает он о своих юношеских мечтах, о бессонных часах, проведенных с пером в руке. Поэт мечтает построить «*тихий* кров», в котором можно

Гнушаться издали пороком

И ясным терпеливым оком

Взирать на тучи, вихрь сует,

От грома, бури укрываясь <...>

(Там же: 138)

Эта тема получает развитие и в «Послании к Александру Алексеевичу Плещееву» (1794). «Любезная музам *тишина*» противостоит «суетам», которые «спустились / На землю шумною толпой». Карамзин продолжает обращаться к темам, намеченным

³ Курсив здесь и далее мой. — Н.К.

намеченным Херасковым, и почти дословно повторяет его рефрен в стансах «Всяк на свете сем хлопочет...»:

Всякий мысли взводит выше,
Только лучше жить потише.

(ПУ 1762: 94).

Представление Карамзина о «тихой жизни» становится своего рода жизненной программой:

Как можно лучше, *тише* жить,
Без всяких суетных желаний,
Пустых, блестящих ожиданий <...>
Добра не много на земле,
Но есть оно — и тем милее
Ему быть должно для сердец.

(Карамзин 1966: 144).

Продолжая темы Хераскова, Карамзин развивает их значительно глубже. Противопоставляя «тишину» суетности, он вместе с тем отстаивает свое право на «вольность духа», независимость от законов света с его ложными ценностями, на творчество, приносящее удовлетворение и радость. В отдаленной перспективе это путь к одному из шедевров Пушкина — стихотворению «Из Пиндемонти», дискредитирующему «громкие права, от коих не одна кружится голова».

Тем более может показаться странным обращение Карамзина к одической традиции XVIII столетия в связи с восшествием на престол Павла I в 1796 г., а затем — с воцарением Александра I в 1801 г. Но ода Павлу I внутренне связана со стихотворением поэта «К Милости» (Кочеткова, Левин 2004: 128). Следуя своим предшественникам в одическом жанре, и прежде всего Ломоносову, Карамзин не только и не столько восхваляет монарха, сколько предлагает ему свою политическую программу. Как справедливо отметила Л. А. Сапченко, писатель видит основную миссию монарха в «творении добра» (Сапченко 2006: 214). Это совершенно ясно просматривается в оде «Его императорскому величеству

Александр I, самодержцу всероссийскому, на восшествие его на престол» (1801). Стихотворение было написано в момент, когда с восшествием молодого монарха у многих связывались самые искренние надежды на грядущее благоденствие страны: «Ты можешь всё — еще ты млад!» (Карамзин 1966: 262). Ломоносовская тема «тишины» (мира) воскрешается с особым воодушевлением:

Монарх! Довольно лавров славы,
 Довольно ужасов войны!
 Бразды российския державы
 Тебе для счастья вручены.
 Ты будешь гением покоя;
 В тебе увидим мы героя
 Дел мирных, правоты святой.
 (Там же: 263)

Характерно, что здесь постоянно речь идет о будущем времени. Картина мирной, процветающей в «грядущие дни» России рисуется и в следующей оде Карамзина — «На торжественное коронавание его императорского величества Александра I, самодержца всероссийского» (1801). Следуя за Ломоносовым, поэт пишет о будущем благоденствии всей России:

Моря покрыты кораблями;
 Цветут с улыбкою долины,
 Блистают класами поля —
 Эдемом кажется земля!

Если для Ломоносова «тишина» — залог процветания наук, то у Карамзина речь идет и об искусствах:

Везде Афины — вертограды
 Для Феба и любезных муз;
 Везде их блеск, очарованье,
 Под кровом мирной тишины <...>
 (Там же: 267–268)

«Тишина» — необходимое условие для каждого вида мирной деятельности, она важна и для творчества. Поэтому традиционная

традиционная трактовка темы обогащается новым смыслом, вбирая в себя опыт не только Ломоносова, но и Хераскова, и предшествовавшего поэтического опыта самого Карамзина. Вместе с тем, жизнь частного человека предстает теперь неотделимой от судьбы страны.

В 1800–1810-е гг. писатель все больше проникается сознанием и своей причастности к ней, и своей ответственности за нее, с чем связано его обращение к работе над «Историей государства Российского». Почти отказавшись от поэтической деятельности, Карамзин, однако, считал необходимым откликнуться на такое событие, как победа над Наполеоном. В оде «Освобождение Европы и слава Александра I» (1814) тоpos «тишины» появляется в обновленном виде. С одной стороны, повторяется традиционное восхваление результатов мира:

России слава, царств спасенье,
 Наук, торговли оживленье,
 Союз властей — покой, досуг,
 Уму и сердцу вожделенный, —
 О! сколько, сколько счастья вдруг!

<...>

Так все мы тишину встречаем,
 Приветствуем душой, ласкаем
 Изгнанницу столь многих лет!

«Тишина» — залог процветания страны и вместе с тем это условие «вожделенного досуга», столь необходимого для творческого труда. В словах «все мы» общее и личное соединяется. Но, кроме того, деятельность писателя, историка, ученого предстает как мощная защита от возможных новых потрясений:

Любите знаний тихий свет:
 От них Наполеона нет!
 (Карамзин 1966: 308, 310)

Свидетель Французской революции, смены правителей на российском престоле, наконец, наполеоновских войн, Карам-

зин-историк стремится понять причины и следствия войн и общественных потрясений. В своей прозе и публицистике Карамзин-писатель остается верен своим просветительским идеалам, последовательно оспаривая Ж.-Ж. Руссо и доказывая благотельность действия наук и искусств на нравственную природу человека. Эти идеи получают свое воплощение и в поэзии Карамзина, по-новому раскрывающей традиционную тему «тишины», которая одновременно имеет для него и глубоко личный характер.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Алексеева 2005 — Алексеева Н. Ю. Русская ода. Развитие одической формы в XVII-XVIII веках. СПб., 2005.
- Аонида 1797 — Аонида. 1797. Ч. 2.
- Бухаркин 1996 — Бухаркин П. Е. Топос «тишины» в одической поэзии М. В. Ломоносова // XVIII век. Сб. 20. СПб., 1996. С. 3–12.
- Денэ 2006 — Денэ М. «Эстетика отказов» и отказ от похвалы в поэзии Карамзина 1792–1793 годов // XVIII век. Сб. 24. СПб., 2006. С. 281–295.
- Карамзин 1966 — Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений // вступ. ст., подгот. текста и примеч. Ю. М. Лотмана. М.; Л., 1966. (Б-ка поэта. Большая серия)
- Карамзин 1984 — Карамзин Н. М. Письма русского путешественника // изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984.
- Кочеткова, Левин 2004 — Кочеткова Н., Левин Ю. «Царь сердец»: ода Н. М. Карамзина Павлу I // Jews and Slavs. Vol. 14; Judæo-Slavica et Russica. Festschrift Professor Pja Serman. Иерусалим; Москва, 2004. P. 125–132.
- МЖ 1791 — Московский журнал. 1791. Ч. 3. Кн. 2. Авг.
- ПУ 1762 — Полезное увеселение. 1762. Февр.
- Сапченко 2006 — Сапченко Л. А. Альбом Карамзина, составленный для великой княгини Екатерины Павловны // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Вып. 12. СПб.; Самара, 2006. С. 207–216.

СЧ 1763 — Свободные часы. 1763. Май.

Херасков 1769 — [Херасков М. М.] Философические оды или песни.
М., 1769.

Херасков б. г. — Херасков М. М. Творения, вновь исправленные и
дополненные. Ч. 7. [М.], б. г.

Шруба 2006 — Шруба М. Поэтологическая лирика Н. М. Карамзи-
на // XVIII век. Сб. 24. СПб., 2006. С. 296–311.



Николай Александрович Гуськов

«СВОБОДА И ПОКОЙ»: К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЫ

Ныне в превеликой моде все
вольное, покойное и широкое.

(Новиков 1951: 13)¹

Стихотворение А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора...» и, особенно, афоризм «На свете счастья нет, но есть *покой и воля*» (Пушкин 1995: 330) вызывают нередко противоположные интерпретации. Одни считают, что

этим произведением Пушкин начинает ту традицию русской поэзии, в которой поэт, по словам И. Бродского, — «серый волк», постоянно смотрящий в дремучий лес Вечности, сколько ни корми его Временем» (Григорьева 1996: 124).

Другие, не отрицая новаторства, усматривают его в обращении к архаическому претексту:

Стихотворение «Пора, мой друг, пора!..» излагает стоическое представление о счастье «по первоисточнику» <Н. Н. Мазур справедливо считает важнейшим претекстом строк Пушкина «Письма к Луцилию» Сенеки — *Н. Г.*>, возвращая входящим в него концептам их первоначальное значение: счастье в обыденном понимании этого слова — это призрак, истинное счастье — в суровом покое, в добродетели, в отказе от внешних благ, в свободе, которую иногда приходится утверждать ценой собственной жизни (Мазур 2005: 326).

Оба эти крайние вывода (не говоря о менее категоричных) по-своему убедительны, отличаясь лишь точкой отсчета. Глубокий анализ поэтики стихотворения, осуществленный Е. Н. Григорьевой «с подключением контекста творчества

¹ Везде, кроме специально оговоренных случаев, курсив автора статьи.

Пушкина и — шире — романтической традиции» (Григорьева 1996: 118), направлен из нашей эпохи: на фоне поэзии 1820–30-х гг. выделены нетипичные для нее элементы, востребованные последующей литературой, и не выясняется, существовали ли прецеденты их в более ранней традиции. Н. Н. Мазур, напротив, приводит обширный фактический материал, свидетельствующий об идейной и стилистической (вплоть до цитатных переключек) связи стихотворения Пушкина с комплексом текстов, оформивших многовековое течение европейской культуры. При этом фильтрация компонентов произведения на те, которые явились данью традиции, и те, которые поэтом радикально переосмыслены и содействовали трансформации русской лирики, не проводится. Пушкин в первом случае — разрушитель стереотипов, преобразователь, во втором — оригинальный завершитель старинной традиции. Для преодоления этого научного парадокса, разумного соизмерения противоположностей следует «заняться <...> исследованием основных топических гнезд», особенно тех, формулировка которых многозначна, выступает одновременно как подтекст и контекст (Мазур 2005: 396)². «Пора, мой друг, пора...» содержит несколько таких оборотов — изучение их функционирования в литературной системе должно уточнить выводы интерпретаторов.

Предлагаемая статья посвящена появлению в русской поэзии одной из этих формул — сочетания слов из синонимических рядов *покой* / *спокойствие* / *мир* / *тишина* / *безмятежность* — и *свобода* / *воля* / *вольность* (и образованных от них прилагательных). Они обозначали в европейской и русской культуре ряд топосов, генетически близких, но образовавших свои виды дискурса и ассоциативные поля.

Первый топос восходит к стоической философии и рассмотрен Н. Н. Мазур при анализе концепта счастья. Для стоиков тождество понятий свободы и покоя духа — высшая

² О важности изучения топикки см., например: (Бухаркин 1996: 3–4).

добродетель и высшее благо (в противовес Фортуне, призрачному счастью, гонясь за которым человек превращается в раба страстей и обстоятельств, утрачивает внутреннюю и внешнюю гармонию):

Кто для тела имея всякие удовольствия, духом *беспокоится*, — тот *невольником* назваться может; напротив того, человек, имеющий *спокойный* дух, но лишенный телесных удовольствий, есть *свободен* (Эпиктет 1759: 149).

Сенека утверждал, что «неделимые блага — *свобода, мир* — целиком принадлежат и всем вместе, и каждому в отдельности» (Сенека 1977: 136). Он пишет:

Вот то самое благодное, <...> вот в чем *безмятежность и свобода*: ничего не домогаться, а миновать площадь, где фортуна ведет выборы (Там же: 302).

Эта метафора разъяснена в трактате «О блаженной жизни»:

Нужна душа, которая будет пользоваться дарами фортуны, а не рабски служить им. <...> это дает нерушимый *покой и свободу*, изгоняя все, что страшило нас или раздражало; на место жалких соблазнов и мимолетных наслаждений, которые не то что вкушать, а и понюхать вредно, приходит огромная радость, ровная и *безмятежная*, приходит *мир*, душевный лад и величие, соединенное с кротостью; ибо всякая дикость и грубость происходят от душевной слабости (Сенека 2001: 15).

Уже в XVIII в. подобные афоризмы стоиков были известны образованной русской публике если не по переводам или латинским изданиям, то в пересказе. Кроме того, еще через Марка Аврелия и римских богословов многие положения стоического учения восприняты и переосмыслены христианством. Православные мыслители, почитая добродетелью душевный покой, в отличие от католических схоластов, предпочитали менее распространяться о свободе духа (вовсе не отрицая ее), поэтому в старинной русской письменности сочетание «свобода

«свобода и спокойствие» не получило широкого распространения. Вместе с тем жизненная позиция стоиков, ассоциируясь с трудами отцов церкви, при освоении античного наследия воспринималась в России как благочестивая и вызывала значительный интерес.

Однако свободу и спокойствие души как высшие добродетели выдвигали не только стоики, но и их оппоненты. Эпикур объяснял:

<...> Когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не наслаждения распутства или чувственности, как полагают те, кто не знают, не разделяют или плохо понимают наше учение, — нет, мы разумеем *свободу* от страданий тела и от смятений души. <...> Начало же всего этого и величайшее из благ есть разумение <...>. Кто <...> выше человека, который и о богах мыслит благочестиво, и от страха перед смертью совершенно *свободен*, который размышлением постиг конечную цель природы, понял, что высшее благо легко исполнимо и достижимо, а высшее зло или недолго, или нетяжко, который смеётся над судьбою <...> [и вместо этого утверждает, что иное происходит по неизбежности,] иное по случаю, а иное зависит от нас (Эпикур 1983: 318–319).

Этот философский топос с античности смешивался со стоическим, и потому, в частности, что использование терминологии не было в обоих случаях последовательным, применялись синонимы (Мазур 2005: 371, 382–383). Однако в западной культуре XVII–XVIII вв. (например, французской) по контексту еще ощущалась стоическая традиция в трактовке топоса картезианцами и янсенистами, немного по-разному видевшими свободу в избавлении от страстей, а покой в строгой, гармоничной незыблемости духа. Эпикурейский же топос пропагандировали либертины (от Гассенди до Фонтенеля и многих просветителей), искавшие свободы не от страстей, а от страданий, покоя же — как трезвого признания и приятия истины. Эти оттенки отвлеченных теорий, уже стиравшиеся и для западного эрудита, русскому читателю XVIII в. казались

новы, не всегда существенны и почти исчезали при обращении к иностранной поэзии, преломлявшей философские доктрины через творческий произвол или даже каприз, ведомый представителю иной культурной среды. Перед нашими писателями стояла задача не только усвоить иноземные топосы и применить их к обстоятельствам национальной жизни, но и органично перевести на свой язык, создав приемлемые для него, обязательные в эпоху «готового слова» формулы.

В России о связи свободы и покоя одним из первых заговорил князь А. Д. Кантемир и указал источник рассуждений:

О! коль мысли *спокойны* зрю в тебе, Сенека!
 Ей, ты должен быть образ нынешнего века.
 Всяк *волен* ты презирать или подражати —
 Я тебе подобну жизнь хочу поводить.
 Пусть клянет кто несчастья, а я им доволен,
 И когда мя забыли, так остался *волен*.
 Ах! дражайшая *воля*, с чем тебя сравняти?
 Жизнь, так *покойну*, можно ль несчастьем звати?
 (Кантемир 1956: 270).

Поборник ценностей петровской эпохи — служения государству, поэт отождествлял свободу и покой, трактуя их прагматически (жизнь в отставке, отказ от счастья: придворной, чиновной карьеры, привилегий, богатств — *otium*, 'досуг'). Уже здесь стоический и эпикуреистический топосы смешаны: за обращением к стоику Сенеке (он назван из-за актуальности проблемы образом нынешнего века!) следует одно из первых у нас описаний горацианского образа жизни (во многом близкого эпикуреям) как пример идеального существования:

Отложив сон свой спешно, встаю я с постели.
 Коли приятно время, иду гулять в поля,
 Сто раз в себе размышляю, коль блаженна *воля*.
 Ниже желание чести и богатства мучит
Покойны во мне чувства, все мне не наскучит
 (Там же: 270).

Иногда

Иногда Кантемир понимал покой и как ‘досуг’, и как ‘quies’, ‘tranquillitas’ (‘спокойствие’); формула приобретала многозначность³.

Усвоив иноземные топосы, Кантемир не нашел еще для них устойчивой словесной формулы. Нет ее и у В. К. Тредиаковского, который в «Феоптии» в духе георгики говорит о свободе и покое как о блаженной праздности, избавлении от трудов и обязанностей:

Подобна ночи есть бесплодная зима,
 Погод как старость тех, так дряхлость их сама:
Свободен человек в ней от трудов напольных,
Покоен по большой есть части и в довольных,
 То расточает все, что в Есень приобрел
 (Тредиаковский 1961: 230)⁴.

М. В. Ломоносов, перерабатывая стихи Анакреона о кузнечике, облек эпикуреистический топос в редкое впоследствии сочетание эпитетов: «Ты скачешь и поешь, *свободен, беззаботен*» (Ломоносов 1959: 736). Вообще, первоначально рассматриваемые топосы чаще выражали посредством прилагательных.

Устойчивый оборот сложился по мере формирования канона русской гораццианской поэзии. Уже в 1761 г. А. А. Ржевский сетовал, покидая поместье М. М. Хераскова:

Прости, приятное теперь уединенье!
 Расстался я с тобой,

³ Это заметно в приписанном поэту тексте: «Почитаю здесь закон, повинуюсь правам; *с* Впрочем, *волен* я живу по своим уставам: *с* Дух *спокоен*, ныне жизнь идет без напасти, *с* Всякий день искоренять учась мои страсти». Горацианский идеал умеренности, «золотой середины», довольства малым, невинных утех вдали от света дан и в сатире VI: «Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен, *с* В *тишине* знает прожить, от суетных *волен* *с* Мыслей, что мучат других, и топчет надежду *с* Стезю добродетели к концу неизбежну» (Кантемир 1956: 270, 147).

⁴ Ср.: «Верен зато их (поселян — *Н. Г.*) покой, их жизнь простая надежна. *с* Всем-то богата она! У них и досуг и приволье» (Вергилий 1971: 89).

В тебе я чувствовал прямое утешенье,
Свободу и покой (Поэты 1972: 1, 257).

Эта формула (часто с вариантом *спокойство* и добавлением *тишины*) сохраняется на рубеже XIX в. и даже до 1830-х гг.:

Простите вы, мои друзья, —
 Из недр *спокойства и свободы*
 Я еду в мрачный гроб природы, —
 Простите, в город еду я (Крылов 1946: 222);

<...> совесть чистая, *свобода*,
 Здоровье и насущный хлеб
 Довлеют к твоему *покою* (Капнист 1960: 115);

С *спокойством*, дружеством, *свободой*
 Живу я, право, воеводой (Поэты 1972: 2, 367);

Читаю ли я что, иль греюсь, иль пишу,
Свободой, тишиной, спокойствием дышу
 (Поэты 1971: 654);

Но я и счастлив и богат,
 Когда снискал себе *свободу и спокойство*
 (Батюшков 1926: 76⁵);

Прекрасна будет жизнь твоя:
 Светла, *свободна и спокойна*;

Со мною ждут тебя *свобода и покой*,
 Две добродетели судьбы моей простой
 (Языков 1928: 291, 292).

Г. Р. Державин, один из разрушителей стилевых штампов, выражал значимый для его мирозерцания гораццианский топос разными синонимами:

Дом полн его довольством,
Свободой, тишиной, спокойством,
 И всех блаженств он чашу пьет!

Блажен,

⁵ В первой редакции формула искажена наложением омонимичного политического топоса (о нем см. ниже): «Но счастью певцов *Удел* есть скромна сень, *мир, вольность и спокойство*» (Батюшков 1926: 147).

Блажен, воспел я, кто доволен
 В сем свете жребием своим,
 Обилен, здрав, *покоен, волен*
 И счастлив лишь собой самим;

Возможно ли сравнить что с *вольностью* златой,
 С уединением и *тишиной* на Званке?
 Довольство, здравие, согласие с женой,
Покой мне нужен дней — в останке
 (Державин 1957: 349, по, 326).

Именно Державин, предвосхищая Пушкина, чаще других поэтов заменял *свободу волей*⁶. И так, формула *свобода и покой* прижилась в гораццианской поэзии, но появилась в России середины XVIII в. для обозначения иного топоса и отсылала совсем к другой традиции — галантной.

Западная лирика, подражая античной, часто уподобляла любовь войне и печальным ее последствиям — плену, ранению, болезни. Эти метафоры канонизировал Петрарка:

Когда она жила, мой дух отверг *свободу*,
 И радости, и жизнь, и сладостный *покой*,
 Все это обрело и смысл и образ новый;

Амур меня до тихого причала
 Довел лишь в вечереющие годы
Покоя, целомудрия — *свободы*
 От страсти, что меня обуревала (Петрарка 1989: 147, 158).

Вослед певцу Лауры галантная лирика двойственно оценивает свободу и покой: жажда их естественна, но означает отказ от возлюбленной, к которой устремлена душа поэта. Счастье и здесь противопоставлено покою и воле, но совсем иначе, чем в учениях как стоиков, так и эпикурейцев.

⁶ Существовала рифма-клише «доволен-волен» (Мазур 2005: 385), но она часто лишена слов с семантикой покоя поблизости. До Державина формулу с эпитетом *волен* см. также у В. И. Майкова: «Кто не горд, спокоен, волен, / Тот есть счастлив человек» (Русская литература 1990: 236).

В России галантную формулу канонизировал А. П. Сумароков. Уже в трагедии «Синав и Трувор» юный князь говорит брату-сопернику в любви:

Лишенный *вольности*, надежды и *покою*,
Пролей, о государь, своей ту кровь рукою (Сумароков 1990: 99).

Метафорический оборот постоянно появлялся у Сумарокова в разных жанрах — элегии: «Отъята от меня *свобода и покой*» (Сумароков 1957: 163); песне: «Дух подвластен только ей одной; √ Одна та √ Красота √ Отняла *свободу и покой*»; «Ты рушишь *покой, свободу* отнявши, √ А повод сама мне к любви подала»; эклоге: «Теряется в любви *свобода и покой*» (Сумароков 1787: 8, 23⁴, 235; 9, 11). Благодаря авторитету Сумарокова формула прочно вошла в любовный лексикон и унаследована поколениями, имевшими иные вкусы, но усвоившими сам салонный топос:

Я *вольность* не всегда блаженством почитаю:
Скажи: *ты сердцу мил!*⁷ — *свободу и покой*
Тотчас на цепи променяю
(Дмитриев 1967: 331);

Где ты, прекрасная? что сделалось со мной?
Что, сердце, ты грустишь? не верь мечте отрадной!
Ах, поздно! Ах! прости, *свобода и покой!*
(Мерзляков 1958: 250).

Применение одной формулы и к галантному, и к гораццианскому топосу свидетельствует о кризисе «готового слова»: означаемое уже формально не маркировано и опознается лишь по контексту. Омонимия вела к совмещению и трансформации самих топосов. Сумароков, заявив: «*Свобода, Праздность и Любовь* суть источники Стихотворства» (Сумароков 1787: 9, 248), первым допустил в аскетический изначально гораццианский мир независимости и умиротворения

любовь,

⁷ Курсив И. И. Дмитриева.

любовь, правда, не страсть, лишаящую свободы и покоя галантного поэта, а нежно привязывающую и трогающую душу, не сковывая и не возмущая ее.

Как могут люди жить в городе! Как могут выезжать они из деревни! — говорит Юлия, героиня Н. М. Карамзина. — Там шум и беспокойство, здесь чистое, невинное удовольствие. Там вечное принуждение, здесь *покой и свобода*. <...> Только в одной сельской тишине, в одних объятиях природы чувствительная душа может насладиться всей полнотою любви и нежности (Карамзин 1986: 116).

Это не смущаемое ничем взаимное чувство существ, видящих друг в друге *alter ego*, противоречит не столько гораццианскому идеалу, особенно исконному, античному, сколько галантной топике. Несмотря на омонимическое смешение, формула *свобода и покой* в гораццианском контексте сохраняла традиционный ореол даже в романтическую эпоху. Обычно ее не вводили или сокращали до одного элемента при упоминании о страсти и страдании в элегии, веселья, неги, наслаждения в послании. Так, нет ее в текстах Е. А. Баратынского, привлеченных Е. Н. Григорьевой как контекст при анализе антитезы «счастье — покой и воля» (Григорьева 1996: 118)². Повествователь «Пустыни» К. Ф. Рылеева, говоря о себе в третьем и в первом лице, дополнил формулу: «С ним вместе обитают *Свобода и покой* *С* веселостью беспечной», но оговорился о себе, что «я не пью вино, *С* Что мне вода дороже *И* что я сплю давно *На* одиноком ложе» (Рылеев 1971: 80, 74).

В середине XVIII в. в России освоен и еще один омонимичный топос. *Pax libertasque* как цель государства — предмет дипломатических документов, похвальных речей, ис-

² Исключение — гораццианские по духу строки «Родины»: «Я возвращаюсь к вам, домашние иконы! <...> *Свободный* наконец от суетных надежд, *От беспокойных* снов, от ветреных желаний» (Баратынский 1936: 13).

торических и политических трактатов от Цицерона и Тацита до Гроция и Спинозы. Идеологам Российской империи сочетание *мир и свобода* не казалось актуальным: внешняя независимость страны до 1812 г. не обсуждалась как самоочевидная, а призыв к внутренней свободе вызывал подозрения в неповиновении власти. Эта позиция присуща Ломоносову: воспевая тишину, он редко упоминал о свободе даже в философской поэзии (предпочитая законы Натуры и Провидение)⁹. Авторитет Ломоносова определил невнимание в России XVIII в. к почтенному политическому топосу и отсутствие для него устойчивого термина. В подражание образцам этот топос порой все же появлялся, особенно органично — в трагедии, часто изображавшей борьбу за независимость, в том числе на материале русской истории. Так, Семира молит:

Пошлите к нам опять драгие дни *свободы*
И, *миром* согласив противные народы,
Позвольте царствовать Осколду в сей стране
(Сумароков 1957: 418).

Гетман Желковский в «Освобожденной Москве» Хераскова говорит:

Свободу получив с моим любезным сыном,
Клянемся помышлять о *мире* мы едином
(Херасков 1961: 352).

Реже подобные обороты применяли в панегириках: см. описание Ломоносовым праздничной иллюминации 1754 г.: «*Свобода с тишиной* и в селах, и в градах» (Ломоносов 1959: 21), оду Сумарокова на день рождения Екатерины II 1764 г.: «*Живите вольны, безмятежны, ∫ И будьте бодры*

⁹ Топос «тишины» у Ломоносова подразумевает свободу и покой: «Мир, где властвует „тишина“, состоит из элементов, открытых друг другу <...>. Это мир не принуждения, а свободного единения, не рабства, но любви, не Закона, а Благодати» (Бухаркин 1996: 8); но сам термин «свобода» поэт вводил редко и трактовал отлично от стоиков и эпикурейцев.

бодры и прилежны, *∫* В потребных вам и мне трудах» (Сумароков 2009: 102), оду В. П. Петрова на сочинение нового Уложения: «Черты кровавы заглаждает *∫* В его преданиях Солон, *∫* И утомленному народу *∫* Подать желанную свободу *∫* Восставить тшится в нем покой» (Поэты 1972: 1, 398). Признание топоса в России, включение в варьируемой форме в набор официозной фразеологии обусловлены тем, что Екатерина II, увлекаясь философией Просвещения, так формулировала политическое благо:

Государственная *вольность* во гражданине есть *спокойство* духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается безопасностью; и, чтобы люди имели сию *вольность*, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов (Екатерина II 1849: 9).

В том же «Наказе», как часто в законодательстве, есть и противоположное толкование терминов. В приведенной цитате *вольность* и *спокойство* духа тождественны, в другом месте — несовместимы, ибо чрезмерное своеволие в традициях церковной и самодержавной идеологии рассматривается как угроза общему благу:

<...> Смерть гражданина может в одном только случае быть потребна, <...>, когда он, лишен будучи *вольности*, имеет еще способ и силу, могущую возмутить народное *спокойство* (Там же: 52).

В лексиконе круга, увлеченного идеями радикальных просветителей и Великой французской революции, формула *вольность и покой* была тоже ходовой и, как и идеологам самодержавия, казалась антитезой, но осуждалось не первое понятие (превозносимое как священное естественное право), а второе — рабское безразличие к попранию законов природы. Этот топос, восходящий к ораторам римской республики, в русскую поэзию ввел, видимо, А. Н. Радищев:

Внезапу вихри восшумели,
 Прервав *спокойство* тихих вод,
Свободы гласы так взгремели,
 На вече весь течет народ (Радишев 1932: 8).

Для первых русских вольнодумцев бесконфликтное обретение обществом истинной свободы и ее мирное сохранение — лишь заветная утопия:

А угнетенным всем *свободу*,
 И человеческому роду
 С Сент-Пьером вечный *мир* даю! (Поэты 1979: 60);

Позорные разрушит цепи
 И, рабства сокруша кумир,
 Вновь водворит в родные степи
 С святой *свободой* тихий *мир* (Рылеев 1971: 157);

Склонитесь первые главой
 Под сень надежную Закона,
 И станут вечной стражей трона
 Народов *вольность и покой* (Пушкин 1994: 45).

Отсутствие для обозначения политических общих мест специальных формул вело и к их смешению с горацианским омонимом, хотя тот и избегал политического контекста. Парадоксально объединял поборников святой вольности, искателей уединения и идеологов власти, очевидно, сам дух эпохи: склонность к сентиментальности, культ естественности. Поселянин у И. И. Дмитриева употребляет формулу явно в политическом смысле: «Рушитель наша *свободы и покою* / Сей пышный памятник воздвиг своей рукою» (Дмитриев 1967: 260), а дальнейшая картина восстановленных вольности и спокойствия — чувствительное описание горацианского идеала. То же совмещение горацианского топоса с официозным — в послании В. А. Жуковского Александру I:

Уж всюду запевал *свободы* глас знакомый:
 На оживающих под плугами полях,

На

На виноградником украшенных холмах,
 <...> На самом прахе сел... везде, везде *свобода*,
 Везде обилие, надежда и *покой*...;
 Когда хвала — восторг, глас лиры — глас народа,
 Когда все сладкое для сердца: честь, *свобода*,
 Великость, слава, *мир*, отечество, алтарь —
 Все, все сплось в одно святое слово: Царь
 (Жуковский 1999: 375, 377).

Итак, усвоив к концу XVIII в. несколько топосов, комбинирующих по-разному истолкованные понятия свободы и покоя, русская литература выработала для их выражения одну общую формулу, имевшую синонимические инварианты, однако, не маркированные по смыслу, что привело к стилистической омонимии, к наложению дискурсивных моделей и трансформации описываемых общих мест. Это естественный процесс, ведь исторически формирование европеизированной нормативной культуры и распадение принципов «готового слова» в России почти совпали. В условиях стилистических реформ первой половины XIX в. и формирования романтической культуры судьба омонимических формул вроде той, которой посвящена эта статья, складывалась двояко: либо они обесценивались, автоматизировавшись, утратив контекстуальную гибкость, обозначая что угодно, отвергались новой поэзией как отработанный материал, либо же их многозначность, способность остраивать контекст неожиданными ассоциациями, оживлять стершиеся обороты за счет сконцентрированной в них культурной памяти открывали огромные возможности для новаторских экспериментов. Формула «*свобода и покой*» испытала обе открывавшиеся перед нею возможности. Тенденция к ним намечалась уже в екатерининскую эпоху. Так, в послании «К мурзе» Н. С. Смирнов писал:

А я не строю лиры <...>,
 Себя я утешаю
 И время коротаю

Простою забызгой,
 Она свое изделье!
 Пою любовь, веселье,
Свободу и покой,
 Которы мы вкушаем
 С тех пор, как ощущаем
 Скиптр *мирный* над собой (Поэты 1971: 200).

Это можно рассматривать и как сознательное нарушение риторических правил, пародийное смещение топосов, и как механическое воспроизведение вослед Державину и другим образцам устойчивых формул, без понимания их контекстуальной ограниченности, закрепленности, в результате чего накладываются друг на друга сразу три топоса, вводимые омонимическим оборотом. Убедительная интерпретация строк недостаточно еще изученного автора пока затруднительна. Выше приводились примеры и автоматического употребления оборота, и попыток тематически ограничить его применение. Порой обыгрывалась одновременная отсылка к разным топосам: в «Бурсаке» В.Т. Нарезного после описания невзгод эпохи говорится: «В одной блаженной бурсе господствовали прежние *свобода и спокойствие*» (Нарезный 1983: 31). Фраза имеет и прямой смысл, и подтекст, не без иронии отсылая к политическому и горадианскому топосам. Объем статьи не позволяет рассмотреть превратности формулы *свобода и покой* в бурной литературной жизни XIX в. Отметим лишь, что новаторскими оказались неожиданные возрождения первоначальных значений оборота — религиозного: «Гробами их рубеж означен тот, / За коим нас *свободы* гений ждет, / С *спокойствием*, бесчувствием, забвеньем» (Жуковский 1999: 284); стоического: «Пора, мой друг, пора...» Пушкина или посвящение Баратынского к «Сумеркам», где так характеризуется созданная поэтом Лета:

Счастливым сын уединенья,
 Где сердца ветреные сны

И мысли праздные стремленья
 Разумно мной усыплены,
 Где, другу *мира и свободы*,
 Ни до фортуны, ни до моды,
 Ни до молвы мне нужды нет¹⁰ (Баратынский 1936: 199).

Появились и новые общие места, оперирующие теми же понятиями, прежде всего важное положение романтической философии о несовместимости свободы и покоя. С политическим подтекстом это выразил Полежаев: «Дух уныл, в сердце кровь / От тоски замерла, / *Мир* души погребла / К шумной *воле* любовь...» (Полежаев 1987: 67); в чисто философском плане — Лермонтов. Наконец, часто обращался к вариантам формулы *свобода и покой* Пушкин¹¹ (те, что в «Евгении Онегине», имели наибольший литературный резонанс; «Пора, мой друг, пора...» напечатано лишь в 1826 г.). С этих строк и, особенно, с новаторского текста Лермонтова («Выхожу один я на дорогу») начался новый этап жизни поэтической формулы, но это уже тема иного исследования.

~ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ~

- Баратынский 1936 — Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений: в 2 т. Т. 1. Л., 1936.
- Батюшков 1986 — Батюшков К. Н. Избранные сочинения. М., 1986.
- Бочаров 197¹/₄ — Бочаров С. Г. «Свобода» и «счастье» в поэзии Пушкина / Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 197¹/₄. С. 3–25.
- Бухаркин 1996 — Бухаркин П. Е. Топос «тишины» в одической поэзии М. В. Ломоносова / XVIII век. Сб. 20. СПб., 1996. С. 3–12.
- Вергилий 1971 — Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971.
- Григорьева 1996 — Григорьева Е. Н. Стихотворение А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (К проблеме завершенности текста) / Концепция и смысл: Сборник статей в честь 60-летия профессора В. М. Марковича. СПб., 1996. С. 115–124.

¹⁰ В источнике весь текст курсивом.

¹¹ См. подробнее: (Федотов 1992; Бочаров 197¹/₄; Жолковский 1996).

- Державин 1957 — Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957.
- Дмитриев 1967 — Дмитриев И. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1967.
- Екатерина II 1849 — Екатерина II. Сочинения: в 2 т. Т.1. СПб., 1849.
- Жолковский 1996 — Жолковский А. К. Превосходительный покой: об одном инвариантном мотиве Пушкина *ℳ* Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. М., 1996. С. 240-260.
- Жуковский 1999 — Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т.1. М., 1999.
- Кантемир 1956 — Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. Л., 1956.
- Капнист 1960 — Капнист В. В. Собрание сочинений: в 2 т. Т.1. М.; Л., 1960.
- Карамзин 1986 — Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя: Избранная проза. М., 1986.
- Крылов 1946 — Крылов И. А. Сочинения: в 3 т. Т.3. М., 1946.
- Ломоносов 1959 — Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: в 11 т. Т.2. М., 1959.
- Мазур 2005 — Мазур Н. Н. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» Источники и контексты *ℳ* Пушкин и его современники. Вып. 4. СПб., 2005. С. 364-419.
- Мерзляков 1958 — Мерзляков А. Ф. Стихотворения. Л., 1958.
- Нарежный 1983 — Нарежный В. Т. Сочинения: в 2 т. Т.2. М., 1983.
- Новиков 1951 — Новиков Н. И. Избранные произведения. М.; Л., 1951.
- Петрарка 1989 — Петрарка Ф. Стихотворения. Автобиографическая проза. М., 1989.
- Полежаев 1987 — Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1987.
- Поэты 1971 — Поэты 1790-1810-х годов. Л., 1971.
- Поэты 1972 — Поэты XVIII в.: в 2 т. Л., 1972.
- Поэты 1979 — Поэты-радищевцы. Л., 1979.
- Пушкин 1994 — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 17 т. Т.2. Кн.1. М., 1994.
- Пушкин 1995 — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 17 т. Т.3. Кн.1. М., 1995.

- Радишев 1938 — Радишев А. Н. Полное собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. М.; Л., 1938.
- Русская литература 1990 — Русская литература. Век XVIII. Лирика. М., 1990.
- Рылеев 1971 — Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений. Л., 1971.
- Сенека 1977 — Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977.
- Сенека 2001 — Сенека. Философские трактаты. СПб., 2001.
- Сумароков 1787 — Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе *с* собраны и изданы Н. Новиковым: в 10 т. 2-е изд. М., 1787.
- Сумароков 1957 — Сумароков А. П. Избранные произведения. Л., 1957.
- Сумароков 1990 — Сумароков А. П. Драматические сочинения. Л., 1990.
- Сумароков 2009 — Сумароков А. П. Оды торжественные. Елегии любовные. М., 2009.
- Тредиаковский 1961 — Тредиаковский В. К. Избранные произведения. Л., 1961.
- Федотов 1992 — Федотов Г. П. Певец Империи и свободы *с* Федотов Г. П. Судьба и грехи России: в 2 т. Т. 2. СПб., 1992. С. 141–162.
- Херасков 1961 — Херасков М. М. Избранные произведения. М.; Л., 1961.
- Эпиктет 1759 — Эпиктета, стоического философа, Енхиридион и Апофегмы и Кевита Фивейского Картина... СПб., 1759.
- Эпикур 1983 — Эпикур. Письмо к Менекею *с* Лукреций Кар Тит. О природе вещей. М., 1983. С. 315–319.
- Языков 1988 — Языков Н. М. Стихотворения и поэмы. Л., 1988.



Кирилл Юрьевич Зубков

«СОЛНЦЕ ПРАВДЫ»: МЕТАФОРИКА ПОЭМЫ
Н. А. НЕКРАСОВА «ТИШИНА» И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КОНТЕКСТ¹

Четвертая главка поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» (1856–1857) в первой публикации (Некрасов 1857) содержала обширный отрывок, впоследствии снятый автором:

Но Русь цела, но Русь тверда,
Над нею солнце мира блещет...

<...>

Под небом неродным блуждая,
Но к северу стремясь душой,
Любил я, сторона родная,
Вообразать тебя такой:

<...>

К добру разумное стремленье
Животворит твоих детей;
В права вступает просвещение,
Уходит мрак... кругом светлей,
И быстро царство молодое
Шагает по пути добра,
Как в дни Великого Петра...

Да сбудется!..

Погибни злое!

Пускай не устает сиять

Нам солнце правды повсеместно,

Пусть на работающих честно

Нисходит Божья благодать!

¹ В основу настоящей статьи положен текст доклада, прочитанного на Тридцать шестой Некрасовской конференции (ИРЛИ РАН, 2012 г.). Автор пользуется случаем поблагодарить всех участников конференции, участвовавших в обсуждении его выступления.

Да будет труд их спор и строен,
 Да телом здоров, душой покоен,
 Его до цели доведет
 И пахарь, и поэт, и воин,
 И мореплаватель, и тот
 Заступник и глава народный,
 Пред коим частные труды —
 Как мелководные пруды
 Перед Невою многоводной... (Некрасов 1982: 325–326)

Этот отрывок в работах о Некрасове обычно описывается как результат автоцензуры: Некрасов, по мнению исследователей, включил этот фрагмент из опасений перед цензурным вмешательством². Обычно аргументация строится на основании письма Некрасова к И. С. Тургеневу от 25 декабря 1857 г.:

Кстати расскажу тебе быль, из коей ты усмотришь, что благонамеренность всегда пожинает плоды свои. По возвращении из-за границы тиснул я «Тишину» (наполовину исправленную), а спустя месяц мне объявлено было, чтоб я представил свою книгу на 2-е издание (Некрасов 1999: 102).

Несмотря на откровенно проницательный тон письма, такая трактовка представляется несколько натянутой. Что касается «исправлений», на основании текста письма нельзя сказать, о каких именно фрагментах «Тишины» идет речь. Можно предположить, что имеются в виду прямые цензурные искажения текста, по большей части сводящиеся к замене резко звучащих выражений о тяжелой жизни простонародья (Некрасов 1982: 326). Что касается «благонамеренности», Некрасов, собственно, пишет скорее не об автоцензуре, а о соответствии собственного произведения неким «благонамеренным» представлениям о литературе или о его сходстве с некими «благонамеренными» сочинениями.

² Эта точка зрения выражена и в комментариях к академическому Полному собранию сочинений и писем Некрасова (Скатов 1982: 546–547).

Действительно, фрагмент, о котором идет речь, выглядит очень «благонамеренной» похвалой вновь взошедшему на престол императору Александру II и его готовящимся реформам. Сама по себе такая похвала вполне возможна в контексте эпохи и не вызывает удивления: в 1856–1859 гг. восторженное отношение к новому императору и проектам реформ было присуще даже радикально настроенным авторам. Интерес, на наш взгляд, представляют не идеи этого фрагмента, а форма их выражения. Как показал А. Л. Зорин, метафорическая структура поэтического произведения может оказаться тесно связана с государственной политикой (Зорин 2004: 31–94; 267–295). Конечно, едва ли стихи Некрасова (или любого другого поэта 1850-х гг.) могли напрямую повлиять на деятельность высокопоставленных бюрократов-реформаторов, однако они несомненно могли восприниматься как выражение позиции образованного общества, в котором эти реформаторы видели потенциального сильного союзника и с которым они пытались установить контакт. Политически ангажированная поэзия Некрасова и его современников могла выступить своего рода медиатором в этом контакте, причем вполне вероятно, что некоторые поэты сами воспринимали себя именно в качестве посредников между обществом и властью.

Ключевые образы исключенного позже отрывка «Тишины» тесно связаны с творчеством популярных поэтов второй половины 1850-х гг. — представителей так называемой «обличительной» литературы, таких как М. П. Розенгейм или поздний В. Г. Бенедиктов. Как ни удивительно, исследователи практически не сопоставляли Некрасова с этими авторами, видимо, в силу их совершенно иного, по сравнению с Некрасовым, художественного уровня и идеологических установок. Между тем, на уровне метафорики сходства их сочинений бросаются в глаза. Рассмотрим эти образы в контексте их произведений.

Интересующий нас фрагмент поясняет образ «солнца правды», возникающий в поэме раньше, в финале 3-й глав-

ки (Некрасов 1982: 55). «Солнце правды» явно связано с ключевым для всего фрагмента понятием «просвещение» благодаря общей семантике света. При этом само «просвещение» может трактоваться двояко. С одной стороны, это, видимо, образование и европеизация страны, напоминающие «дни великого Петра». Неслучайно здесь же употребляется формулировка «к добру разумное стремление», которую иначе как просветительской назвать трудно. С другой стороны, слово просвещение означает крещение — это значение во времена Некрасова было, конечно, более ошутимо. В этой связи свет «солнца правды» в поэме прямо ассоциируется с «Божьей благодатью», которая нисходит на людей. Очевидно, Некрасов знал, что выражение «солнце правды» используется для описания Иисуса Христа в тропарях церковных праздников Рождества Христова, Сретения Господня и Рождества Богородицы. Таким образом, «солнце правды» в «Тихине» становится символическим образом, смысл которого может прочитываться совершенно по-разному. Мотив благодати одновременно связан с образом царя. Царь описан посредством перифраза. Он — «Заступник и глава народный, / Пред коим частные труды — / Как мелководные пруды / Перед Невою многоводной...». Это описание не может не напоминать о священном характере особы монарха. Поэт избегает называть царя, что, несомненно, усиливает впечатление сакральности. Император ассоциируется здесь с Петром I как за счет прямых сопоставлений, так и с помощью аллюзии на Пушкина. Предшествующие описанию царя слова «И пахарь, и поэт, и воин, / И мореплаватель» явно отсылают к строкам из стихотворения «Стансы» («В надежде славы и добра...», 1826): «То академик, то герой, / То мореплаватель, то плотник» (Пушкин 1948: 40), в котором царствующий монарх также сопоставлен с Петром. В контексте пушкинских реминисценций сам образ не названного по имени монарха, возможно, восходит к вступлению к поэме «Медный всадник», где речь опять-таки идет о Петре I.

Таким образом, перед читателем возникает сложный комплекс метафор и ассоциаций, раскрывающий два значения образа «солнца правды». Одно из них связано с проводимым по воле царя преобразованием России, а другое — с осуществляемым по воле Божьей преображением всей жизни вообще. Этот метафорический комплекс не был изобретением Некрасова. Напротив, он был очень характерен для русской массовой гражданской поэзии 50-х гг. Еще в начале Крымской войны Бенедиктов писал («К Отчеству и врагам его», 1855):

Стой, отчизна дорогая!
 Стой! — И в ранах, и в крови
 Все молись, моя родная,
 Богу мира и любви!

И детей своих венчая
 Высшей доблести венцом,
 Стой, чела не закрывая,
 К солнцу истины лицом! (Бенедиктов 1983: 329)

«Солнце истины» у Бенедиктова практически совпадает с некрасовским солнцем правды. Оно также ассоциируется с Богом и также связано с Россией, к которой Бог обращается. Правда, ассоциаций с царем здесь не возникает, однако очень скоро в стихотворениях того же Бенедиктова они появятся. Однако произойдет это только после окончания войны и воцарения Александра II, когда возникнет возможность отождествить нового царя и религиозное обновление мира с пришествием Иисуса Христа («Стансы», 1856):

Не время спать, о братья, — нет!
 Не обольщайтесь настоящим!
 Жених в полночи грядет, —
 Блажен, кого найдет неспящим.

Царь, призывая вас к мольбе,
 За этот мир любви словами

Зовет

Зовет вас к внутренней борьбе
Со злом, с домашними врагами.

В словах тех шлет он Божью весть.

Не пророните в них ни звука!

Слова те: «вера», «доблесть», «честь»,

«Законы», «милость» и «наука».

Всем будет дело. Превозмочь

Должны мы лень, средь дел бумажных

Возросшую. Хищенье — прочь!

Исчезни, племя душ продажных!

(Бенедиктов 1983: 374)

Царь здесь прямо отождествляется с Христом и одновременно с истинным носителем европейского просвещения. Показателен ряд понятий, которые он произносит: здесь и вера, и наука, и доблесть, и милость. К тому же, как и Некрасов, Бенедиктов устами царя и Христа призывает к труду, который далее в стихотворении трактуется одновременно и как исправление внутренних недостатков, то есть преобразование души, и как исправление российского общества, то есть осуществление реформ. Таким образом, отождествление царя и Христа реализуется в своеобразной политической программе.

Аналогичны были призывы самого популярного гражданского поэта второй половины 1850-х гг. Розенгейма, который также полагал, что совместный труд по исправлению недостатков прошлого способен не только интегрировать нацию, но и обеспечить соблюдение религиозных норм («Мне говорят, что я рискую...»):

И каждый каплю правды Бога

Внесет в сознание сограждан;

И капель тех сберется много,

Сберется целый океан! (Розенгейм 1858: 4).

Обычно Розенгейм, как и Бенедиктов и Некрасов, прибегает к метафорическим образам света. «О, твердо в серд-

це упование *∫* В преображенья светлый день!» (Розенгейм 1858: 4), — пишет он в финале цитированного стихотворения, имея в виду преображение страны, а не человеческой души и не мира. Более того, идея реформ у Розенгейма прямо называется христианской и противопоставляется нигилистическим настроениям некоего отрицателя всех старинных правил и обычаев («Современная дума»):

Вспомни то, что сказал величайший из всех
 Реформаторов мира: что Он
 В мир пришел, чтоб не мир уничтожить, а грех;
 Чтоб блюсти, а не рушить закон (Там же: 27).

Как и Бенедиктов, Розенгейм определяет цель таких христианских реформ как уничтожение греха. Бенедиктов призывал бороться с внутренним злом, Розенгейм, отсылая к словам Христа, — уничтожить грех, а Некрасов восклицал: «Исчезни, злое».

Розенгейм, как и Некрасов, проводил параллель нынешнего царствования не только с царством Божьим на земле, но и с царствованием Петра, тем самым создавая устойчивую связь образов Христа, первого русского императора и Александра II. Розенгейм писал, например, о домике Петра I («Домик Петра Великого»):

Здесь нашей родины источник просвещения,
 Ее величия, и славы, и добра;
 Здесь был отечества алтарь преображенья;
 Жилище было здесь бессмертного Петра —

и далее:

И вот теперь, когда с восходом эры новой,
 Когда пришла для нас великая пора —
 Отрекшись темного наследья Годунова —
 Окончить славные начатия Петра,
 Я вижу: в дом его усилилось стремленье,

И жарко в нем кипит моление к Творцу
(Розенгейм 1858: 82-83, 85)³.

Таким образом, метафорическая система в поэме Некрасова во многом совпадает с многочисленными стихотворениями Бенедиктова и Розенгейма на политические темы. Нетрудно сделать отсюда вывод, что Некрасов, как и многие другие жители России, был охвачен возбуждением и радостью по поводу готовящихся реформ. Более важным выводом, однако, видится существование у совсем разных поэтов общего метафорического языка, используемого для описания актуальной проблематики. Этот язык был достаточно разработан, чтобы использоваться в сочинениях на достаточно широкий спектр тем. Ключевая его особенность — практически полное неразличение понятий гражданского и религиозного рядов, в результате которого реформы могут отождествляться с воскресением, Россия — с человеческой душой, а император — с Христом. Этот язык использовался даже таким антиправительственно настроенным автором, как А. И. Герцен, который начал свою статью «Через три года» (1858) обращенными к Александру II словами: «*Ты победил, Галилеянин!*»⁴ (Герцен 1958: 195). Анализ этого языка позволяет предположить, что царь-реформатор уподоблялся Христу далеко не только в лубках, изображавших реакцию крестьян на освобождение и рассчитанных, видимо, на самих крестьян (Уортман 2004: 109-112). Такой ход к моменту появления Манифеста об освобождении крестьян был уже отработан и закреплен в поэзии, ориентированной как раз на образованную часть общества.

Некрасов к началу 1860-х разочаровался в «обличительной» литературе, против которой резко выступали многие сотрудники редактировавшегося им «Современника» (Усакина 1968). В «Тишине» поэт должен был обнаружить характер-

³ Очевидно, в этом фрагменте обыгрывается тот факт, что в домике Петра Первого находилась популярная часовня.

⁴ Курсив А. И. Герцена.

ные метафоры наиболее однозвучных, например, для Н. А. Добролюбова обличительных поэтов. При этом Некрасов и Розенгейм создавали свои произведения практически одновременно: влияние здесь крайне маловероятно. Разумеется, такое совпадение не могло обрадовать автора «Тишины». Удаляя близкие места, Некрасов, однако, не просто избавлялся от сходства с Розенгеймом. Он менял саму художественную структуру своего произведения, отказываясь от использования метафорики, сложившейся у воспевавших готовящиеся реформы поэтов. «Солнце правды» теперь ассоциировалось в первую очередь не с трудом и просвещением, а с думой и тишиной. Хрестоматийные строки о том, что тишина — «не предшественница сна» (Некрасов 1982: 55), даже в первой редакции поэмы выглядели необычно и казались отрицанием типичных клише обличительной поэзии. Метафора сна и пробуждения широко использовалась и в публицистике, и в художественной литературе, но обычно пробуждение России ассоциировалось с громким звуком. Вот пример из Розенгейма («1856»):

Час ударил пробужденья, —
 Слышишь клич: *вперед!*
 То на дело обновленья
 Царь тебя зовет (Розенгейм 1858: 22)⁵.

Тишина у Бенедиктова связана с сугубо негативными явлениями — с застоём и тоской в общественной жизни. Функция поэта — говорить громко и противостоять всеобщему молчанию («Что шумишь?», 1857):

Что шумишь? Чего ты хочешь,
 Беспокойный рифмотор?
 Нас ты виршами морочишь
 И несешь гремучий вздор,
 Воешь, тратишься на вздохи
 Да на жалобы, чудак,

Что

⁵ Курсив М. П. Розенгейма.

Что дела на свете плохи,
 Что весь мир идет не так.
 Ты все как бы тишь нарушить!
 Как бы сердце растрепать!
 Мы тебя не станем слушать:
 Мы хотим спокойно кушать,
 А потом спокойно спать (Бенедиктов 1983: 386).

В новой редакции «Тишины» образ «солнца правды» оказывается соположен именно с тишиной и ничем не прояснен. В результате «Тишина» оказалась поэмой, не следующей логике обличительной поэзии и не противостоящей этой логике. Образная система Некрасова оказалась за пределами языка Розенгейма и Бенедиктова. Однако шлейф старых гражданственных ассоциаций продолжал тянуться за образом солнца, создавая своеобразный парадокс: подлинное преобразование страны возможно только в молчаливой думе, а не в бурной деятельности. В заключительном четверостишии 3-й главы некрасовской поэмы перед читателем оказался образ «Руси», народной страны, где господствуют тишина и солнечный свет. Для понимания этих образов особенно значимы связи Некрасова с одической традицией. Поэма «Тишина» на уровне самого метафорического языка связана с ломоносовской одой. Более того, именно из оды заимствованы ключевые понятия тишины и солнца. П. Е. Бухаркин показал, как они связаны с ключевыми и для Ломоносова, и для Некрасова понятиями, среди которых благодать и гармония (Бухаркин 1996; 2011: 141–148). Более того, одическая традиция ощутима и в актуальных для Некрасова (см. выше) пушкинских «Стансах» (Осват 2001). Иными словами, в «Тишине» можно найти параллели не только со злободневными поэтами времен Некрасова, но и с уже давно вошедшими в корпус классики, отодвинутыми далеко в прошлое Ломоносовым и Пушкиным. В отличие от Ломоносова, впрочем, у Некрасова «тишина» приуса не России как государству, империи,

а русскому народу, который помещен в центр метафорической системы поэмы. Изображение народа исключительно значимо не только для понимания идеологической и политической позиции Некрасова, но и для описания поэтики его произведений, в которых различные литературные традиции интегрируются в единую художественную конструкцию.

В своей поэме Некрасов обращается одновременно и к одической линии в русской литературе, восходящей к истокам русского литературного языка в его современном виде, и к современному, остро актуальному метафорическому языку, выражающему исключительно злободневные идеологические идеи. Два, казалось бы, взаимоисключающих компонента сливаются в его поэзии, которая, при всей своей неразрывной связи с актуальными вопросами, все же остается в русле восходящей к Ломоносову традиции «высокой» лирики.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Бенедиктов 1983 — Бенедиктов В. Г. Стихотворения *ℳ* вступ. ст. Ф. Я. Приймы; сост., подгот. текстов и публ. Б. В. Мельгунова. Л., 1983.
- Бухаркин 1996 — Бухаркин П. Е. Топос «тишины» в одической поэзии М. В. Ломоносова *ℳ* XVIII век. Сб. 20. СПб., 1996. С. 3–12.
- Бухаркин 2011 — Бухаркин П. Е. Михаил Васильевич Ломоносов в истории русского слова. СПб., 2011.
- Герцен 1958 — Герцен А. И. Через три года *ℳ* Герцен А. И. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 13. М., 1958. С. 195–197.
- Зорин 2004 — Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла ... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2004.
- Некрасов 1857 — Некрасов Н. А. Тишина *ℳ* Современник. 1857. № 9. С. 115–122.
- Некрасов 1982 — Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Т. 4. Л., 1982.

- Некрасов 1999 — Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Т. 14. Кн. 2. СПб., 1999.
- Осповат 2001 — Осповат К. Об «одическом диптихе» Пушкина: «Стансы» и «Друзьям» (материалы к интертекстуальному комментарию) ❧ Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования. М., 2001. С. 133-142.
- Пушкин 1948 — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 17 т. Т. 3. <М.; Л.>, 1948.
- Розенгейм 1858 — Розенгейм М. Стихотворения. СПб., 1858.
- Скатов 1982 — Скатов Н. Н. <Комментарий к поэме> «Тишина» ❧ Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Т. 4: Поэмы 1855-1877 гг. Л., 1982. С. 546-550.
- Уортман 2004 — Уортман Р. С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии: в 2 т. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II ❧ пер. с англ. И. А. Пильщикова. М., 2004.
- Усакина 1968 — Усакина Т. И. Статья Герцена «Very dangerous!!!» и полемика вокруг «обличительной литературы» в журналистике 1857-1859 гг. ❧ Усакина Т. И. История, философия, литература (Середина XIX века). Саратов, 1968. С. 250-290.



ДЕРЖАВИНСКАЯ «РЕКА ВРЕМЕН» В
СТИХОТВОРЕНИИ А. КУШНЕРА: ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОБРАЗА

К творчеству Г.Р. Державина, эстетическое открытие которого произошло в начале XX в., как к живому явлению обращаются многие поэты: Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Владимир Маяковский, Владислав Ходасевич, Николай Заболоцкий, Иосиф Бродский, Александр Кушнер, Тимур Кибиров. Характер этого обращения разный: речь может идти о преемственности принципов работы с поэтическим словом и преемственности образов, о полемическом диалоге с поэтом; в случае Тимура Кибирова — о некоторой типологической близости лирике Державина, которую, как мне представляется, можно объяснить как общей культурной ситуацией обеих эпох, так и общей творческой задачей поэтов. Особое место среди стихотворений, отсылающих к державинскому творчеству, занимает группа текстов, в которых присутствуют реминисценции на последние строки Державина «Река времен в своем стремлении...»¹ Этому державинскому стихотворению посвящено немало и научной литературы, затрагивающей, в основном, два вопроса: во-первых, что представляет собой державинский текст в жанровом отношении — фрагмент незаконченной оды² или самостоятельное произведение, акро-

¹ См., например, «Грифельная ода» Осипа Мандельштама, «Грифельная ода» Дмитрия Бобышева, «XVIII век» Льва Лосева, «Поднимаясь вверх по теченью времен...» Александра Кушнера, «Вечернее размышление» Тимура Кибирова.

² Такой взгляд на текст сформировался благодаря комментарию, предпосланному первой публикации стихотворения в журнале «Сын Отечества» (СО 1816: 175–176). Дальнейшее комментирование сочинений Державина от Я.К. Грота (Державин 1864: 235–236) до Г.Н. Ионина (Ионин 2002: 688), как правило, опирается на эти сведения. При этом Г.Н. Ионин указывает

стих³; во-вторых, как следует читать образованную акростихом фразу? Однако меня будет интересовать другой аспект — взаимоотношение стихотворения Державина как опорного текста и произведений, использующих его образность, как производных.

Последнее произведение в творчестве любого поэта читательская рецепция может наделять особым статусом. «Река времен...» — не исключение, этим стихотворением Державин словно подводит итог размышлениям над одной из главных тем своей лирики — о смерти и бессмертии, в частности, бессмертии поэтическом. Это последнее — и неутешительное — его слово в решении темы. Присущая державинским строкам трагичность, эсхатологичность не вполне характерна для лирики XVIII в. и риторической культуры в целом, которая на вопрос о смерти и бессмертии предлагает заранее готовые ответы: религиозный, гедонистический и связывающий поэтическое бессмертие с существованием империи. Отказ от заданных извне смыслов обнажает что-то предельно важное в державинском творчестве, делает его открытым, напряженным и живым⁴.

Думаю, что державинская «Река времен...» наделяется особым значением и по причине сопутствующих ее написанию обстоятельств: общеизвестным фактом стала история о возможной незавершенности стихов из-за смерти самого поэта. Даже если эта версия исторически несостоятельна и первая строфа как будто недописанной оды представляет собой законченный акростих, подобное соединение творчества и жизни обнажает один из главных принципов державинской

на то, что на грифельной доске были написаны еще две стихотворные строки, которые не удалось разобрать (Ионин 2002: 688).

³ Этой точки зрения придерживаются М. Халле (Халле 1959), А. А. Левицкий (Левицкий 1996: 69–70), М. Л. Гаспаров (Гаспаров 2000), К. Ю. Лаппо-Данилевский (Лаппо-Данилевский 2000), Н. П. Морозова (Морозова 2002: 137–139) и др.

⁴ См. об этом: (Бухаркин 2009)

поэтики — соположение общего и частного, великого и малого, тленности всего мира и смерти конкретного человека. Благодаря этому сопоставлению стихотворение имеет особое звучание — в образы, почерпнутые Державиным из общего фонда европейской культуры (*река времен, жерло вечности, лира, труба* и пр.), поэт вкладывает свое собственное переживание смерти, предельно общее становится личным⁵.

* * *

Стихотворение Александра Кушнера «Поднимаясь вверх по течению реки времен...» входит в цикл стихов «Прощание с веком» (Кушнер 2002: 24). Приведу его полностью:

Поднимаясь вверх по течению реки времен,
Ты увидишь Державина, как бы ни славил он
В своей оде предсмертной прожорливое течение,
Ужасаясь ему, обрывая стихотворенье
И готовясь руиной стать, вроде террас, колонн.

Ты увидишь, как царства, короны плывут, венки,
Огибая воронки, цепляясь за топляки,
Ты увидишь цевницы, свирели, увидишь лиры
И щиты, на которых, спасаясь, сидят зверьки:
Зайцы, мыши-полевки, увидишь клочки порфиры.

Твердо, вверх по течению, стремясь за земную грань,
Как Семенов Тянь-Шанский, взбравшийся на Тянь-Шань,
Ты увидишь хоть Сарданапала, кого захочешь,
И кого не захочешь; души своей не порань,
Оцарапаешь руки, и ноги в ручье промочишь.

Ты запишешь смешки и ругательства солдатни,
Как своих полководцев чествят почем зря они,

⁵ Любопытно, что такая рядоположенность великого и малого, преломленная через биографический контекст, встречается в «Записках» Державина при описании первого произнесенного им слова — болезненный младенец, заметив в небе комету, сказал: «Бог!» (Державин 2000: 9). Таким образом возникает подобие кольцевой композиции *биографии*, начальный и завершающий элементы которой иллюстрируют главный принцип поэтики Державина — принцип контраста.

Ты подслушаешь чью-то молитву в священной роще.
 А Гавриле Романовичу под шумок шепни,
 Что мы любим его, из судьбы извлекая общей.

С самого начала, в первой строфе стихотворения вводится биографический контекст написания «Реки времен в своем стремленьи...». Обозначая жанр произведения («ода») и указывая на обстоятельства его создания («ода предсмертная», «обрывая стихотворенье»), Кушнер обращается к первой из указанных выше интерпретаций державинских строк. При этом в тексте подспудно присутствует и вторая интерпретация: метафора «готовясь руиной стать» одновременно отсылает к синонимическому ряду «смерть, разрушение» и к фразе, зашифрованной в державинском акростихе (РУИНА ЧТИ).

Заслуживает внимания организация поэтической речи в первом пятистишии. С точки зрения синтаксиса оно представляет собой сложноподчиненное предложение с синтаксической инверсией: придаточное предложение «как бы ни славил он...» стоит в постпозиции к главному «ты увидишь Державина». К придаточному предложению присоединяется ряд деепричастных оборотов «ужасаясь ему», «обрывая стихотворенье», «готовясь руиной стать...». Строфа завершается перечислением однородных существительных «террас, колонн», замыкающих фразу. Эти особенности создают впечатление речи разгоняющейся,двигающейся вперед, но незаконченной, оборванной, что на синтаксическом уровне подкрепляет взгляд на державинские стихи как на фрагмент несостоявшейся оды, а с другой стороны, имитирует непрерывное, нескончаемое течение реки времен.

Стихотворение Кушнера связано со своим опорным текстом образами, формирующими семантику державинского стихотворения: река времен, лира, труба, забвение, «общая судьба». По крайней мере три из них — *река времен, лира и труба* — восходят к европейским эмблематическим образам. Лира — эмблема и атрибут поэта, труба — славы, прежде

всего, воинской⁶. Державинский образ «реки времен», как указывает К. Ю. Лаппо-Данилевский, отсылает, с одной стороны, к эмблематике барокко (конкретнее, к исторической карте Фридриха Штрасса «Река времен, или Эмблематическое изображение Всемирной истории от древнейших времен по конец осьмого надесять столетия», висевшей в кабинете Державина), с другой стороны, к традиции церковного красноречия (Лаппо-Данилевский 2000: 156, 157). Ясно, однако, что этот образ потока времени восходит к универсальному мифологическому символу реки как границе загробного мира и, в конечном счете, к представлению о воде как об амбивалентной стихии, одновременно уничтожающей и дарующей жизнь. В державинском стихотворении реализуется только одна сторона этого представления — губительная стихия, разрушающая человека, его дела и историю.

Кушнер строит стихотворение на детализированном описании реки времен — на перечислении того, что уносит с собой поток. Это развернутое описание опирается на образы державинского текста, которые можно поделить на три группы.

Первая группа связана с государством и его атрибутами: у Державина это «народы, царства и цари», у Кушнера «царства», «короны», «кючки порфиры», «Саргананал». Вторая группа связана с творчеством: у Державина лира («звучи лиры»), у Кушнера «цвицицы, свирели», «лиры». Третья группа образов представляет воинскую славу и военную историю: у Державина «труба», у Кушнера «щиты», «солдатня», «полководцы». При этом Кушнер дублирует державинскую конструкцию из однородных членов, в которой вместе све-

⁶ Н. Эйдельман говорит о «расплывчатости» образа трубы у Державина (Эйдельман 1985: 34). Не являясь изначально атрибутом ни одной из девяти муз (как атрибут Клио, музы истории, он появляется на рубеже XV–XVI вв., до этого муза изображалась с грифелем и свитком), образ трубы может трактоваться исследователями по-разному, но так или иначе все эти трактовки связаны с идеей славы.

дены образы двух групп: «*через звуки лиры и трубы*» (Державин), «*увидишь лиры / И щиты*» (Кушнер).

Державинские «знаки» — эмблематические и семантически нагруженные образы лиры и трубы — Кушнер переводит в предметную область, показывая, раскрывая абстрактное понятие его конкретными составляющими, реализациями⁷. Сама река времен оборачивается вдруг ручьем («...души своей не порань, / *Оцарапаешь руки, и ноги в ручье промочишь*»). Этому же «опредмечиванию» способствует изменение числа существительного с единственного (*лира*) на множественное (*цевницы, свирели, лиры*).

Любопытно, что в «Реке времен...» Державин отказывается от основного принципа своей поэтики — принципа контраста, весь текст (и на лексическом, и на образном уровнях) выдержан в высоком стиле². Стихотворение Кушнера в целом стилистически нейтрально, только последняя строфа выделяется на фоне других за счет несколько сниженной разговорной лексики и устойчивых разговорных оборотов: «*солдатня*», «*смешки*», «*честят по чем зря*», «*под шумок шепни*» (семантика этого последнего выражения в контексте стихотворения расширяется, отсылая к потоку реки времен, «шуму времени»).

Однако в тексте есть и примеры столкновения противоположностей. Так, атрибуты культуры и власти перемешаны с миром животным, при этом Кушнер выбирает незначительных «*зверьков*»: зайцев и мышей-полевок. В четвертой строфе соседствуют контрастные типы речи: «*смешки и ругательства солдатни*» и «*чья-то молитва в священной роще*». Тем не менее, несмотря на принадлежность образных групп

⁷ Подобный переход от абстрактного понятия к описанию его объема, к его конкретному наполнению является одной из композиционных особенностей державинских произведений. См. об этом: (Пономарева 2008: 64–74).

² Эта особенность могла бы послужить одним из аргументов в пользу незаконченности державинского стихотворения.

противоположным категориям, они уравниваются между собой «общей судьбой» и кушнеровской интонацией — негромкого, приглушенного голоса.

Эта интонация, такая отличная от интонации последних строк Державина, формируется в частности повторами глагольных форм 2-го лица единственного числа будущего времени, половина из которых является лексическим повтором («увидишь»). Четыре раза данная глагольная форма вместе с местоимением («ты увидишь») выступает у Кушнера в качестве анафоры. В русской поэзии XVIII в. такой прием анафорического словесного повтора стал использовать Державин для разрушения строфы как композиционной единицы стиха и создания эффекта непрерывной речи (Пономарева 2008: 24–38, 57–64).

В обобщенно-личное значение упомянутой глагольной формы Кушнер привносит элемент обращения к читателю; этому способствуют две конструкции с императивом: «под шумок шепни», «души своей не порань».

Две заключительные строки Кушнера («А Гавриле Романовичу под шумок шепни, / Что мы любим его, из судьбы извлекая общей») обнажают смысл стихотворения — это полемика с утверждением всепобеждающих смерти и забвения. При этом «общей судьбе» противопоставляется сам Державин: введение в текст его имени и отчества,

помимо создания интимной атмосферы в стихотворении, показывает ценность личности и творчества, сохранение их в потоке безличного, уничтожающего времени.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

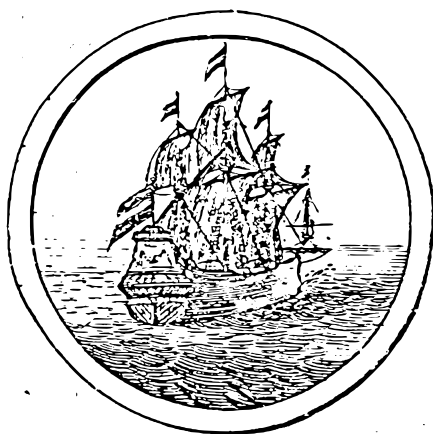
Бухаркин 2009 — Бухаркин П. Е. Поэтическая система Г. Р. Державина. [Электронный документ] / Учебно-методический комплекс «История русской литературы и культуры XVIII века» на основе

- лекций проф. П. Е. Бухаркина. 2009. URL: <http://18vek.spb.ru/umk1.html> (дата обращения 27.02.2015). (Занятие 9. Поэтическая система Г. Р. Державина. Сайт семинара «Русский XVIII век»)
- Гаспаров 2000 — Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000.
- Державин 1864 — Державин Г. Р. Сочинения *с* объяснит. примеч. Я. Грота: в 9 т. Т. 3. СПб., 1864.
- Державин 2000 — Державин Г. Р. Записки. М., 2000.
- Ионин 2002 — Ионин Г. Н. Примечания *с* Державин Г. Р. Сочинения *с* вступ. ст., сост. и примеч. Г. Н. Ионина. СПб., 2002.
- Кушнер 2002 — Кушнер А. Кустарник: Книга новых стихов. СПб., 2002.
- Лаппо-Данилевский 2000 — Лаппо-Данилевский К. Ю. Последнее стихотворение Г. Р. Державина *с* Русская литература. 2000. № 2. С. 146–158.
- Левицкий 1996 — Левицкий А. А. Образ воды у Державина и образ поэта *с* XVIII век. Сб. 20. СПб., 1996. С. 47–71.
- Морозова 2002 — Морозова Н. П. О последнем стихотворении Г. Р. Державина *с* Русская литература. 2002. № 2. С. 137–169.
- Пономарева 2008 — Пономарева М. В. Поэтика Г. Р. Державина: проблемы композиции *с* Дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2008.
- СО 1816 — Сын Отечества. 1816. Ч. 31. № 30.
- Халле 1959 — Халле М. О незамеченном акростихе Державина *с* International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1959. Vol. 1–2. P. 232–236.
- Эйдельман 1985 — Эйдельман Н. Последние стихи *с* Знание — сила. 1985. № 8. С. 32–34.



ЧАСТЬ IV

РУССКО-ЕВРОПЕЙСКИЕ
СВЯЗИ



ЖИТЬ ПО ПЛУТАРХУ

В обширном репертуаре переводной литературы начала XVIII в. значительное место занимали сочинения по теории государственного устройства, в первую очередь — правоведы XVII в., создатели теории «естественного права» С. Пуфендорф и Г. Гроций. Одновременно появился и ряд переводов произведений, которые можно отнести к жанру «зерцало для правителей». Произведения этого жанра были известны русской литературе уже с самого ее начала, как оригинальные («Поучение» Владимира Мономаха), так и переводные (византийское «Наставление» диакона Агапита). Но при Петре I это уже был поток самых разнообразных, в том числе и с моральной точки зрения, наставлений: «Политическое завещание» кардинала Ришелье, «Краткая книжица политических обходительных поступок» кардинала Джулио Мазарини, «Книга Махиавелева» (вероятно, «Государь»), максимы польского моралиста А. М. Фредро «Наставление правоучительное или моральное, како подобает жить со немногим народом без повреждения его силы, и любви, и чести», «Энхиридион» Эпиктета и др. (Николаев 1996: 16–19).

Пристрастие к малым формам моралистики было симптоматичным и для Европы той эпохи. К. Гинзбург справедливо писал:

В XVII веке стали появляться сборники, озаглавленные «Политические афоризмы». Афористическая литература — это по определению попытка формулировать суждения о человеке и обществе на основании симптомов, улик: человек и общество при этом мыслятся как больные, как находящиеся в *кризисе* (Гинзбург 2004: 225).

Позднее в XVIII в. на русский язык было переведено много моралистической афористики, включая «Мысли» Б. Паска-

ля, но ни один перевод не может сравниться по популярности с «Изречениями» Плутарха в обработке польского писателя XVI в. Б. Будного, перевод которых был впервые опубликован при Петре I и напечатан по его повелению¹.

У книги Беньяша Будного «*Krótkich a węzłowatych powieści, które po grecku zowąż Apoftegmata, księgi IV*» (1599) сложилась поразительная судьба в России. В конце XVII — начале XVIII в. она была три раза переведена, третий перевод в 1711 г. был издан в числе первых книг русской гражданской печати. В течение XVIII в. книга, получившая в переводе название «Кратких, витиеватых и нравоучительных повестей книги три», была издана десять раз, учитывая варианты изданий, в том числе один раз кириллическим шрифтом. Наконец, обширная подборка из «Кратких, витиеватых и нравоучительных повестей» была включена в знаменитый «Письмовник» Н. Г. Курганова, который выдержал с 1769 по 1837 г. одиннадцать изданий².

Хотя в книгу включены изречения царей и полководцев, «Краткие, витиеватые и нравоучительные повести» не были только «зеркалом для правителей», иначе круг читателей был бы не очень велик. Открывается книга изречениями древнегреческих философов, а завершается разделом об изречениях спартанцев. «Нравоучительные повести» давали новые образцы поведения, в том числе в приватной жизни, и относились к человеку любого сословия и общественного положения. Этим и был обусловлен необыкновенный успех перевода «Изречений» Плутарха в обработке Будного. При этом изречения Плутарха лишены плоского и занудного морализаторства, они парадоксальны и остроумны, а остроумный пуант — это важнейшая отличительная черта жанра апофегмы. Эта особенность, кстати, выгодно отличает «Краткие, витиеватые и нравоучительные повести» от другой популярной и даже прославленной

¹ См. современное научное издание перевода: (Matek, Nikołajew 2012).

² Подробные библиографические сведения см.: (Там же: 76–81, 91–95).

славенной книги петровского времени — «Юности честное зеркало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» (1717), — построенной в императивном ключе («отрок должен быть», «да не будет», «имеет быть», «не надлежит» и т. д.). Но в «Юности честном зеркале» нет имен или примеров, и совсем нет парадоксального остроумия.

Издательская история «Кратких, витиеватых и нравоучительных повестей» не позволяет сомневаться в востребованности книги и в безусловном читательском интересе. О влиянии изречений Плутарха на русскую читающую публику, как и о влиянии иной моралистической афористики, говорить трудно. Но, как кажется, можно привести два примера такого непосредственного влияния.

Якоб Штелин, описывая «Отважность Петра Великого на море», писал: «Иногда боролся он с разъяренными волнами и жестокою бурей, при которой и самые искуснейшие мореплаватели лишались бодрости, и не только пребывал неустрасим, но еще и других ободрял, говоря им: „Не бойся! Царь Петр не утонет; слыхано ли когда-нибудь, чтобы русский царь утонул!“» (Штелин 1990: 132). Здесь очевидно совпадение с эпизодом из жизни Цезаря, плившего по морю из «Кратких, витиеватых и нравоучительных повестей»: «Июлий, кесарь римский, в некое время незнатно хотяще перевестися чрез море, а буря толь велика востала, что и сам кормчий zelo испужался, тако рече к нему: „Не пужайся, кесаря везеши!“» (Matek, Nikołajew 2012: 216)³. Петр I вовсе не случайно повторил слова Цезаря — в его библиотеке был и первый рукописный перевод книги Будного, и третий перевод в издании 1716 г., и даже польский оригинал (Боброва 1978: 22, 60, 14).

³ Ср.: «Так как войска его [Гая Цезаря] задерживались перевозкою из Брундизия в Диррахий, то он тайно от всех взял маленькую лодку и пустился через море. А когда лодку стало захлестывать, он открыл перед кормчим свое лицо и крикнул: „Положись на Удачу: ты везешь Цезаря!“» (Плутарх 1990: 384). Примечательно, что это место отметил Н. М. Карамзин для «Мыслей для похвального слова Петру I» (Карамзин 1862: 201).

В «Путешествие из Москвы в Петербург» в главе «Ломоносов» А. С. Пушкин, рассказывая о его взаимоотношениях с И. И. Шуваловым, привел анекдот, неизвестный по другим источникам:

В другой раз, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя от Академии!» — «Нет, — возразил гордо Ломоносов, — разве Академию от меня отставят». Вот каков был этот униженный сочинитель похвальных од и придворных идиллий! (Пушкин 1978: 196).

Этот эпизод напоминает острый ответ философа Анаксгора из «Кратких, витиеватых и нравоучительных повестей»:

Егда от афинян во изгнание бе осужден, некто рече ему: «Се афинян лишился еси». На то отвеща: «Убо они меня лишился, не аз их» (Małek, Nikolajew 2012: 187).

Эти два эпизода совпадения острых ответов Петра I и Ломоносова с героями античности (цезарем и философом) очень показательны, даже в том случае, если они отчасти апокрифичны. И остроумный ответ, и синтаксическая конструкция апофегм Петра I и Ломоносова говорят об усвоении не только принципов афористической мысли. Они фиксируют появление в России новой поведенческой парадигмы, принципиально секуляризированной — античные герои и греко-римские добродетели становятся образцами для подражания. Антикизирующая традиция в воспитании и в поведении (как идеал!) прочно и надолго вошла в русский обиход. Именно она звучит в простодушном вопросе на детском вечере малолетнего Никиты Муравьева: «Матушка, разве Аристид и Катон танцевали?» (Лотман 1994: 63). Конечно, подражание «античным добродетелям» не вытеснило полностью допетровскую парадигму образцов, а пересечение и столкновение двух традиций могло порождать как новые художественные смыслы, так и взаимное непонимание. Но этот процесс уже был необратим. На секуляризацию поведенческих парадигм повлияло,

повлияло, разумеется, много факторов, и не только переводная моралистическая литература. Тем не менее небольшая книжка изречений Плутарха, переведенная с польского языка еще в начале XVIII столетия, сыграла свою роль.

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

- Боброва 1978 — Библиотека Петра I: Указатель-справочник / сост. Е. И. Боброва. Л., 1978.
- Гинзбург 2004 — Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы: Морфология и история. М., 2004.
- Карамзин 1862 — Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Ч. 1. СПб., 1862.
- Лотман 1994 — Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994.
- Николаев 1996 — Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. СПб., 1996.
- Плутарх 1990 — Застольные беседы. Л., 1990.
- Пушкин 1978 — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 7. Л., 1978.
- Штелин 1990 — Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре Великом. Л., 1990.
- Małek, Nikołajew 2012 — Małek E., Nikołajew S. „Апофегматы“ Беньяша Будного в переводе Петровского времени. Łódź, 2012.



Сергей Васильевич Власов

«СЛОВО О ВИТИЙСТВЕ» В. К. ТРЕДИАКОВСКОГО В
СОПОСТАВЛЕНИИ С АНТИЧНОЙ И
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ РИТОРИЧЕСКОЙ
ТРАДИЦИЕЙ XVI–XVIII ВЕКОВ

В своем «Слове о богатом, различном, искусном и несхот-
ственном витийстве», написанном на латинском языке
с русским переводом (Тредиаковский 1745; в дальнейшем —
«Слово о витийстве»), Тредиаковский отдает приоритет родно-
му языку во всех областях частной и общественной жизни.
Французский язык служит здесь примером русскому. Тредиа-
ковский, профессор российской и латинской элоквенции,
приводит в качестве образца для российского красноречия
во всех жанрах не латынь, а французский язык. Предпочте-
ние, отдаваемое Тредиаковским родному языку, перекликается
с предпочтением, которое отдавал французскому языку в
своем «Трактате об обучении» учитель молодого Тредиаков-
ского в Париже янсенист Шарль Роллен (Rollin 1726: 1, 3–72;
1740: 1, 66–120), бывший ректор Парижского университета и
профессор элоквенции в Королевском Коллеже. На него яв-
но ориентировался Тредиаковский, вступая в свою очередь в
должность профессора элоквенции (Успенский 2008: 426).

Некоторые представления Тредиаковского о красноречии,
в том числе определения стилей (или родов) красноречия,
которое бывает «то высокое и великодушное, то умеренное
и цветное, то простое и дружеское, то витиеватое и тонкое»
(*nunc sublimem et magnificam, nunc mediocrem et floridam,
nunc simplicem et familiarem, nunc et subtilem*); Тредиаков-
ский 1745: 34–35) восходят к античному учению о трех стилях,
в частности к «Оратору» Цицерона и к «Наставлениям в
ораторском искусстве» Квинтилиана. Этого учения придержи-
вались, наряду со многими другими авторами, испанский

гуманист С. Суарес (Soarez 1575: 108), популярный на Западе и в России до Тредиаковского, и Ш. Роллен (Rollin 1726: 2, 78–140). Так, Ш. Роллен различает, вслед за Цицероном и Квинтилианом, простой стиль, характеризуемый «ясностью, простотой, точностью», стиль «благородный, богатый, великолепный, то, что именуется высоким или возвышенным стилем» (Там же: 2, 79–80), и стиль, занимающий середину между двумя другими, который «мы можем назвать стилем украшенным и цветистым, поскольку в нем красноречие показывает все, что в нем есть самого прекрасного и блестящего» (Там же: 2, 114). Эпитет, которым Тредиаковский наделяет высокий стиль («великолепный»), ближе к определению этого стиля у риторов XVII–XVIII вв., в частности, у Фосса (Воссия, как именуется его на латинский лад Тредиаковский), Лами и Роллена (Vossius 1609: 829, 848–864; Lamy 1676: 222; Rollin 1726: 2, 80), чем у Цицерона и Квинтилиана, также называющих высокий стиль великолепным, но не в пассажах, в которых они дают определение возвышенного стиля (Cic. De Orat. II, 21: 88; Cicéron 1843: 236; Quint. Inst. VIII, 3: 17, 40; Quintilien 1844: 288, 291).

Следует отметить, что определение четвертого стиля (красноречие «витиеватое и тонкое» — *eloquentia arguta et subtilis*), отмечаемого Тредиаковским, но отсутствующего в классической теории трех стилей, можно было бы сблизить с характеристиками простого стиля у Суареса (Soarez 1575: 108; *genus subtile, acutum et tenue*), если бы эпитет *acutum* (дословно «острый», «тонкий») не был бы заменен на эпитет *argutum*, означающий «витиеватый», «остроумный». Именно к такому значению эволюционировало понятие нового «витиеватого» стиля — *stylus acutus* или *argutus* (Sarbiewski 1958: 2–41; Gracián 1649; Tesaurio 1682; Morhof 1705; Лахманн 2001: 86–115).

Различение Тредиаковским красноречия «простого и дружеского» и красноречия «витиеватого и тонкого» свидетельствует о его стремлении отделить стиль «витиеватый и тон-

кий» не только от стиля «простого и дружеского», но и от среднего и высокого стилей, с которыми смешивали «витиеватый» стиль сторонники классической теории трех стилей.

В самом деле, «витиеватый» стиль не имеет ничего общего со стилем простым. В соответствии с «Риторикой к Гереннию», долгое время приписываемой Цицерону, «стиль простой (*figura attenuata*) нисходит до самого обычного употребления чистой речи» (*Attenuata est quæ demissa est usque ad usitatissimam puri sermonis consuetudinem*; Cicéron 1843: 52). Согласно «Основам риторики» Ф. Меланхтона, переведенным на русский язык в 1620 г. по их краткому изложению у Лукаса Лоссия (Lossius 1561; Steinkühler 1983; Аннушкин 1999) и распространившимся в анонимных списках вплоть до XVIII в.¹, «стиль низкий не возвышается над повседневным употреблением речи» (*Humile genus non assurgit supra quotidianam loquendi consuetudinem*; Melanchton 1532: f. 63 v°; Lossius 1561: f. п₄ v°).

С другой стороны, этот четвертый род красноречия, «витиеватого и тонкого», выделенный Тредиаковским, представлял трудность и потому, что он не был четко отграничен ни от возвышенного стиля, ни от «украшенного стиля», так же как «украшенный стиль» часто смешивался со стилем «возвышенным». Например, согласно «Правилам риторического искусства» («*Artis rhetoricæ præcepta*») Порфирия Крайского, которые нам известны по конспекту, написанному рукой Ломоносова в период его обучения в московской Славяно-греко-латинской академии, *acumina* («остроты») являются характеристикой стиля «высокого» (*sublimis*), «возвышенного» (*elevatus*),

Который также называется аллегорическим, утонченным, глубокомысленным, обращающим на себя внимание словами необыкновенными, тропами и фигурами весьма изящными, изречениями,

¹ Этот перевод был ошибочно приписан Д. С. Бабкиным митрополиту Макарию (Бабкин 1951).

парадоксами, остротами и всем великолепием красноречия (*stylus sublimis e<st> elevatus, qui etiam d<icitu>r ornatus, allegoricus, eruditus, sententiosus, e<st> qui v<er>bis n<on> vulgaribus, tropis et figuris elegantioribus, sententiis, paradoxis, acuminibus et omni Eloquentiæ majestate conspicuus apparet*; Порфирий Крайский 1733-1734: f. 157 r°).

Любопытно проследить, как Тредиаковский использует эти четыре рода красноречия в своем «Слове о витийстве», которое также состоит из 4-х частей, что отражено в его полном заглавии. Тредиаковский сам разъясняет смысл заглавия следующим образом:

Наибогатѣйшая есть Элоквенцїя въ рассужденіи вещей; на-
 празличїѣйшая, в рассужденіи языковъ; наихитрѣйшая, въ рас-
 сужденіи словъ; наинесхотственнѣйшая въ рассужденіи особъ
 (Тредиаковский 1745: 35).

Первая часть «Слова о витийстве» представляет собой гимн Царице Элоквенции, которая рассуждает о всех вещах и науках, изучающих видимый и невидимый миры. В этой части господствует возвышенный стиль, соответствующий возвышенным предметам. Вторая часть — гимн родному языку, написанный цветистым, украшенным слогом, сочетающим в себе свойства как возвышенного, так и простого слога.

Третья часть «Слова о витийстве», посвященная словам, тропам и синонимам, написана скорее простым, дидактическим (научным) стилем, за исключением амплификаций в живописном описании Нужды, матери «всякому искусству», согласно известной пословице². Роль необходимости в создании тропов упоминается уже Квинтилианом, объясняющим происхождение метафоры, самого естественного тропа, частого даже в речи невежественных крестьян, — или необходимости (*aut quia necesse est*), когда недостает соответствующего

² «La nécessité est la mère des arts» (Furetière 1727: t.3, слово «nécessité»).

слова в собственном смысле, или намерением сделать речь более выразительной и значительной (*aut quia significantius est*) или желанием придать стилю больше изящества и красоты (*aut quia decentius*) (Quint. Inst. VIII, 6; Quintilien 1718: 542; Quintilien 1844: 307). Из этих трех причин метафоры (и тропов вообще) Тредиаковский сохраняет только первую — необходимость, ибо

Все ея <Элоквенции> искусство не прїятности, ни оказалости, но одной токмо нуждѣ приписать должно: ибо прїятность <в латинском оригинале: *venustus* — «изящество» — *C. V.*> и оказалость <в латинском оригинале: *emphasis* — «эмфаза» — *C. V.*> не до троповъ, но до такъ называемыхъ фігуръ какъ словъ, такъ и целыхъ рѣчей <в латинском оригинале: *tum verborum, tum sententiarum* — «как слов, так и предложений» — *C. V.*>, по истинному праву принадлежать долженствуютъ (Тредиаковский 1745: 92).

Как видим, Тредиаковский проявляет и в этом вопросе независимость и критичность по отношению к античной традиции.

В конце третьей части своей речи Тредиаковский говорит о теории синонимов аббата Жирара. Заметим, что французский филолог и логик Дюмарсе также добавляет в конце своего трактата «О тропах» «Последнее Замечание. О том, существуют ли слова-синонимы» (Du Marsais 1730: 278–286), где он излагает, как позднее и Тредиаковский, теорию аббата Жирара. Это, может быть, не случайное совпадение. Не исключено, что трактат «О тропах» Дюмарсе являлся одним из источников речи Тредиаковского.

Следует особо отметить, что аббат Жирар, опубликовавший в 1718 г. словарь синонимов французского языка под красноречивым заглавием «Точность французского языка, или Различные значения слов, принимаемых за синонимы» (Gigard 1718), является единственным французским грамматиком, упомянутым Тредиаковским в «Слове о витийстве».

Тредиаковский

Тредиаковский познакомился с аббатом Жираном, еще будучи студентом Парижского университета, так как аббат Жиран, являясь секретарем-переводчиком короля по части церковнославянского, русского и польского языков, часто посещал русскую колонию в Париже. В «Слове о витийстве» Тредиаковский признается, что разделяет взгляды Жирана на синонимы (Тредиаковский 1745: 92–95). В своем слове синонимов аббат Жиран развивал рационалистическую концепцию синонимов, исходя из различия главной и побочных идей в значении слов, которое уже содержалось в «Логике» Пор-Рояля (Arnauld et Nicole 1675: 146–157; 1708: 133–143). Согласно Жирану, есть только одно точное слово для обозначения данной идеи. Вслед за аббатом Жираном Тредиаковский также полагает, что не существует абсолютных синонимов: «нѣтъ ни одного всеконечно соименнаго слова» (Тредиаковский 1745: 97). Эта концепция языка противоречит гуманистической теории *copia verborum*, обилия слов для украшения речи или усиления впечатления, производимого на слушателя, теории, одобряемой французским теоретиком правильного употребления Вожла, видевшем в синонимах как бы дополнительный мазок художника (Vaugelas 1647: 494*–497*). Это обстоятельство, как и многие другие³, свидетельствует о том, что теория правильного употребления, разработанная Вожла, вопреки мнению Б. А. Успенского (Успенский 2008: 18–19, 190), противоречит взглядам Тредиаковского: несмотря на все реверансы последнего в отношении двора и придворного узуса, Тредиаковский выступал в вопросе правильного языкового употребления сторонником не Вожла, а ученых из Пор-Рояля.

Четвертая часть «Слова о витийстве», посвященная разнообразию индивидуальных стилей, иллюстрирует местами, согласно нашей интерпретации художественного замысла «Слова», использование Тредиаковским «витиеватого и тонкого

³ Подробнее см.: (Vlassov 2011).

стиля». Вопрос о том, насколько удачно был осуществлен этот предполагаемый нами замысел, требует отдельного исследования.

В этой части речи Тредиаковского мы обнаружили скрытую полемику русского филолога с идеями Б.Лами, пытавшегося объяснить в своей «Риторике» разнообразие индивидуальных стилей «качествами субстанции мозга и животных духов, необходимых для хорошего воображения» (Lamy 1676: 213; 1712: 299), свойствами памяти и ума пишущих, разнообразием склонностей и темперамента каждого лица, наконец, разнообразием климатов и веков (Lamy 1676: 209–226; 1712: 297–315). Не ссылаясь прямо на «Риторику» Лами, Тредиаковский возражает против всякого объяснения разнообразия индивидуальных стилей различными особенностями мозга («изъ различнаго расположенія въ мозгу»; в латинском оригинале: *per diversam dispositionem cerebri*) или различиями в темпераменте каждого лица («изъ разныхъ въ каждомъ природныхъ раствореній»; в латинском оригинале: *per varia in quolibet temperamenta*) (Тредиаковский 1745: 108–109). Согласно парадоксальному афоризму первого русского профессора элоквенции, «лучше молчашій витіи, нежели продерзосный Фізіологъ» (Тредиаковский 1745: 109).

Русский ученый отвергает также мнение тех, кто приписывает различия в стиле «природѣ целаго Народа», так как иначе все «витіи одного Народа не разлилися между собою», что противоречит очевидным фактам (Тредиаковский 1745: 106–107). Здесь Тредиаковский имплицитно критикует античное деление стилей на азианский, родосский и аттический (Quint. Inst. XII, 10: 16–18; Quintilien 1844: 470), деление, принимаемое, среди прочих риторик, и в «Риторике» Б.Лами (Lamy 1676: 222; 1712: 311).

Таким образом, оратор должен хранить молчание перед загадкой разнообразия индивидуальных стилей или ответить, как Сократ: «только одно въ рассужденіи сего я знаю, сирѣчь, ничего не знаю» (Тредиаковский 1745: 107). Размышления Тре-

диаковского

диаковского об индивидуальном стиле, хотя и отражают античный топос разнообразия индивидуальных стилей (Quint. Inst. XII, 10: 10; Quintilien 1844: 469), предвосхищают своим агностицизмом романтическое и иррациональное видение языка и художественной литературы.

Как мы видим, «Слово о витийстве» Тредиаковского свидетельствует о передовых и оригинальных взглядах на риторику его автора, к сожалению, до сих пор по достоинству в отечественной филологии⁴ не оцененных и не являвшихся предметом источниковедческого анализа.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Аннушкин 1999 — Аннушкин В. И. Первая русская «Риторика» XVII века. Текст. Перевод. Исследование. М., 1999.
- Бабкин 1951 — Бабкин Д. С. Русская риторика начала XVIII в // ТОДРЛ. Вып. 8. М.; Л., 1951. С. 326–353.
- Лахмани 2001 — Лахмани Р. Демонтаж красноречия. Риторическая традиция и понятие поэтического. СПб., 2001. (1-ое нем. изд.: München, 1994)
- Порфирий Крайский 1733–1734 — Порфирий Крайский. *Artis Rhetoricæ Præcepta tres in libros divisa atque ad instruendum Oratorem selectioribus Eloquentiæ Fundamentis ad elegantiam styli in omni genere dicendi. Tradita Moscoviæ. Ex anno 1733 in annum 1734. Octobris 17.* СПб АРАН. Ф. 20. Оп. 6. Д. 61.
- Тредиаковский 1745 — Тредиаковский В. К. Слово о богатомъ, различномъ, искусномъ и несхотственномъ витийствѣ. Въ Санктпетербургѣ при Императорской Академіи Наукъ, [1745].
- Успенский 2008 — Успенский Б. А. Вокруг Тредиаковского. Труды по истории русского языка и русской культуры. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. М., 2008.

⁴ Ср.: (Breuillard 2005).

- Arnauld et Nicole 1675 (1708) — [Arnauld A., Nicole P.] La Logique ou l'Art de penser: contenant, outre les Regles communes, plusieurs Observations nouvelles, propres à former le jugement. Amsterdam, 1675. (1-e изд.: Paris, 1662). Huitième édition, revue et de nouveau augmentée. Amsterdam, 1708.
- Breüllard 2005 — Breüllard J. Le «Discours sur l'éloquence» de Vassili Trediakovski *Œ* De la littérature russe: mélanges offerts à Michel Aucouturier. Sous la direction de Catherine Depretto. Paris, 2005. P. 34-45.
- Cicéron 1843 — Cicéron M. T. Oeuvres complètes de Cicéron avec la traduction en français. T.1. Paris, 1843.
- Du Marsais 1730 — Du Marsais C. Ch. Des Tropes ou Des diferens sens dans lesquels on peut prendre un même mot dans une même langue. Paris, 1730.
- Furetière 1727 — Furetière A. Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts. La Haye, 1727.
- Girard 1718 — Girard G. La Justesse de la langue françoise, ou les Différentes significations des mots qui passent pour synonymes *Œ* par M. l'Abbé Girard. Paris, 1718.
- Gracián 1649 — Gracián B. Agudeza y Arte de Ingenio <...> Por Lorenzo <sic!> Gracian. Huesca, 1649. (1-e изд.: 1642)
- Lamy 1676 — Lamy B. De l'art de parler. Paris, 1676. (1-e изд.: 1675)
- Lamy 1712 — Lamy B. La Rhétorique ou l'Art de parler <...>. Cinquième édition revûë et augmentée <...>. Amsterdam, 1712.
- Lossius 1561 — Lossius L. Erotemata Dialecticæ et Rhetoricæ Philippi Melanthonis <...> breuiter selecta et contracta per Lucam Lossium Luneburgensem ediscendi gratia. Francoforti, 1561. (1-e изд.: 1550)
- Melanchton 1532 — Melanchton P. Elementorum rhetorices libri duo, authore Philippo Melanchtone. Paris, 1532.
- Morhof 1705 — Morhof D. G. Dan. Georgii Morhofii De arguta dictione tractatus <...> Editio secunda priori longè auctior. Lubecæ, 1705. (1-e изд.: 1693)
- Quintilien 1718 — De l'Institution de l'Orateur *Œ* traduit par M. L'Abbé Gedoyne <...>. Paris, 1718.

- Quintilien 1844 — Oeuvres complètes avec la traduction en français, publiée sous la direction de M. Nisard. Paris, 1844.
- Rollin 1726 (1740) — Rollin Ch. De la Manière d'enseigner et d'étudier les belles(-)lettres, par rap(p)ort à l'esprit et au coeur. T.1-2. Paris, 1726. Paris, 1740.
- Sarbiewski 1958 — Sarbiewski M. K. Wykłady poetyki (Præcepta poetica) / Biblioteka pisarzy polskich. Wrocław; Kraków, 1958. (Seria B. № 5)
- Soarez 1575 — Soarez C. De arte rhetorica libri tres, ex Aristotele, Cicerone, et Quinctiliano præcipue deprompti: auctore Cypriano Soarez Sacerdote Societatis Iesu. Antverpiæ, 1575.
- Steinkühler 1983 — Steinkühler H. Die Theorie der Rede in Rußland zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Die Makarij-Rhetorik im europäischen Kontext / Slavische Barockliteratur II / hrsg. von R. Lachmann. München, 1983. S. 153-177. (Forum slavicum. Bd. 54)
- Tesauro 1622 — Tesauro E. Il Cannocchiale aristotelico, O sia, Idea dell'arguta et ingeniosa elocutione, che serue à tutta l'Arte oratoria, lapidaria, et simbolica esaminata co'principii del divino Aristotele. Dal Conte D. Emanuele Tesauro <...>. Venetia, 1622. (1-e изд.: 1654)
- Vaugelas 1647 — Remarques sur la langue françoise viles à ceux qui veulent bien parler et bien escrire. Paris, 1647.
- Vlassov 2011 — Vlassov S. V. K. Trediakovskij et les théories françaises du bon usage aux XVII-XVIII-e siècles / Revue des études slaves. T. 82. Éd. 2. Paris, 2011. P. 217-251.
- Vossius 1609 — Vossius G. J. Gerardi Joh. F. Vossii Heidelbergensis Oratorium Institutionum libri sex. Editio secunda ab autore recognita, et altera parte aucta. Dordrecht, 1609.



*Сергей Святославович Волков,
Евгений Михайлович Матвеев*

ОБ ОДНОЙ ИЛЛЮМИНАЦИИ СЕРЕДИНЫ XVIII
ВЕКА: Я. ШТЕЛИН — В. И. ЛЕБЕДЕВ —
М. В. ЛОМОНОСОВ

В предисловии к коллективной монографии «Окказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века» П. Е. Бухаркин писал об исключительном значении панегирического начала для культуры русского XVIII в.:

Именно с панегириком было связано чуть ли не большинство произведений «на случай», созданных в конце XVII — начале XIX века (Бухаркин 2010: 9).

Панегирическое начало, которое является важнейшей составляющей поэтического наследия М. В. Ломоносова, в его творчестве связано не только с жанром торжественной оды, но и со стихотворной надписью. Согласно данным метрико-строфического справочника к произведениям М. В. Ломоносова, им было создано 49 отдельных стихотворных надписей (монометрических композиций), еще 14 надписей входят в произведения, состоящие из стихотворных и прозаических фрагментов, например, в проектах иллюминаций Ломоносова. Таким образом, в статистике произведений стихотворные надписи, как это ни удивительно, оказываются самым распространенным поэтическим жанром Ломоносова — они составляют почти четверть (23 %) всех его стихотворных произведений (Далетина, Хворостьянова 2010: 30, 37, 51 и др.).

Особым интересом к надписям ознаменовался для Ломоносова-поэта конец 40-х — начало 50-х гг.: произведения этого жанра составляют более половины ломоносовских стихотворных сочинений, созданных в 1747–1754 гг. Наиболее продуктивными в этом отношении стали 1751 и 1754 гг., когда Ломоносовым было написано по восемь стихотворных надпи-

сей. Одна из таких надписей была сочинена Ломоносовым для иллюминации, приуроченной к девятой годовщине коронации императрицы Елизаветы Петровны, отмечавшейся 25 апреля 1751 г. Приведем текст этой надписи:

Лучи от Твоего, Монархиня, венца
 В четыре разлились Вселенная конца.
 Европа, Африка, Америка, Азия
 Чудятся ясности, от коея Россия
 Сияет, чрез концы земны просвещена.
 О ты, блаженная в подсолнечной страна!
 Взведи свой умный взор к Божественному свету,
 Дабы венчанную в сей день Елисавету
 На много лет своим блистаньем окружил
 И с нами север весь спокойством озарил
 (Ломоносов 1950–1983: 2, 393¹)

Об обстоятельствах создания этого текста известно следующее. 12 февраля 1751 г. в Академическую канцелярию поступила промемория Канцелярии главной артиллерии и фортификации о составлении проекта иллюминации к годовщине коронации императрицы Елизаветы Петровны. Далее события развивались обычным порядком: Академическая канцелярия поручила профессору элоквенции и поэзии Санкт-Петербургской Академии наук, известному мастеру фейерверков и иллюминаций Якобу Штелину (Jacob Stählin, 1709–1785)

Рис. 1. Я. Штелин. Гравюра Д. Бергера. 2 половина XVIII века



¹ Далее в тексте статьи ссылки на это издание оформляются сокращенно: первая цифра в скобках обозначает номер тома, вторая — страницу.

составить проект иллюминации. Переводчику Академии наук В. И. Лебедеву (о нем см.: Анфертьева 2010: 108) было велено перевести текст Штелина на русский язык, а Ломоносову предписывалось проверить перевод и сочинить стихи на русском языке (8: 983; СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1 Ед. хр. 150. Л. 207–208).

Что представлял собой составленный Штелином проект? В Архиве Академии наук удалось разыскать рукопись проекта Штелина (СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 150. Л. 21). Сам текст проекта (публикуется впервые) заслуживает внимания:

Beschreibung und Erklärung
der auf das hohe Krönungs-Fest
Ihro Kayskichen> Majt. <Majestät>
den 25. *Aprile* 1751 aufzuführenden
Illuminations-Vorstellung

Auf der erhobenen Mittel-Stelle eines von Gartenspalierungen und lauter offenen Laub-Bogen formirten Amphitheatral-Platzes liegt auf einem mit dem Kayskichen> Nahmens-Zug außgeschmückten u<nd> mit Lorber- u<nd> Palm- Zweigen umflochtenen Postament die Kayskichen> Krone u<nd> Zepter, deren Sonnengleicher Glantz nicht nur den großen Amphitheatral-Platz anmuthig erla<e?>uchtet, sondern auch seine Strahlen durch die offene Bogen als Gräntzen, in die weiteste Ferne schießen läst.

Zu beyden Seiten dieser Vorstellung stoßen im Vorgrunde zwey Portale sehr weit außlauffende *Berceaux* oder bedeckter Laubgängen daran, unter welchen in besondern Bilderblendungen (*Niches*) 4 Brustbilder von gantz verschiedenen Gesichtern u<nd> Trachten, naml. Europa, Asien, Africa u<nd> America in der Stellung *gestützt* (?) <gesetzt ?> sind, wie sie nach der Mitte des Amphitheatral Platzes mit Begierde u<nd> Bewunderung blicken².

² Благодарим многоуважаемых коллег-германистов Кристину Валерьевну Манёрову и Николая Александровича Бондарко за расшифровку данного текста и помощь с адекватной интерпретацией лексики немецкого

Получить наглядное представление о готовящейся иллюминации также позволяет сохранившийся в академическом архиве чертеж, созданный в соответствии с проектом Штелина немецким живописцем и рисовальщиком И. Э. Гриммелем, который впервые публикуется в настоящей статье (см. рис. 2).

В академическом архиве также сохранился перевод текста Штелина, выполненный В. И. Лебедевым:

Описание и изъяснение иллюминации на <высоча — зачеркнуто> день высочайшей коронации Ея

Императорского величества Апреля 25 дня 1751 года

На высоком среднем месте зделаннаго из садовых шпалер и отверстых аллей амфитеатра, <лежит — зачеркнуто> представляется лежащая на украшенном вензловым Ея Императорского величества именем и лавровыми и пальмовыми ветвymi оббитом постаменте Императорская корона и скипетр, которых Солнцу подобное сияние нетокмо великое амфитеатральное место освящает <sic!>, но и лучи свои чрез отверстия аллей яко границы на далекое расстояние испушает.

По обе стороны сего представления соединяются <наг строкой вписано слово прзб.> впереди два портала весьма далеко простирающихся покрытых аллей, подле которых в особливых местах поставлены четыре портрета с весьма различными лицами и одеждою, а именно Европа, Азия, Африка и Америка в таком положении, как оныя к середине амфитеатра с охотою и удивлением смотрят. Знаменованне сего аллегорического представления содержится в следующих стихах <далее приводятся стихи М. В. Ломоносова> (СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 150. Л. 212)³.

Как следует из приведенного выше описания, огненное представление, задуманное Штелином, было достаточно сложным по конструкции и организации, так как включало не

языка XVIII в. Без участия специалистов по истории немецкого языка и культуры осуществить настоящее исследование было бы невозможно.

³ Текст приводится в упрощенной орфографии.

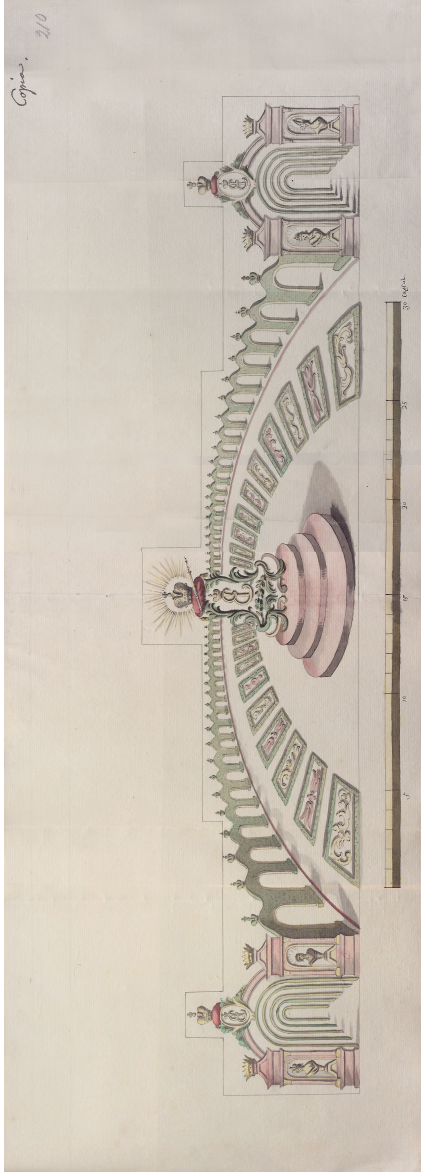


Рис. 2. Гриммель И. Э. Чертеж иллюминации, представленной в день коронации императрицы Елизаветы Петровны 25 апреля 1751 года.
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 150. Л. 210. © Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук.

только двухмерные «планы» или декорации, но и «архитектуру», то есть различные трехмерные фигуры и строения. Главная идея иллюминации — аллегорическое изображение торжества российской монархии, на которую с «охотою» взирают все страны света; Россия, таким образом, вмещена в центр мироздания; успехи и достижения российского государства вызывают всеобщую заинтересованность, удивление и восхищение. Это гиперболическое содержание визуализируется через образное представление России как некоего прекрасного сада, который в контексте панегирической и садово-парковой культуры XVIII в. можно интерпретировать как подобие сада Эдемского, а «Солнцу подобное» сияние скипетра и короны (метонимических символов императорской власти) — как уподобление сиянию или свету самого великого Творца этого сада. Н. А. Бондарко указывает, что «рай и сад изначально были неразрывно связаны между собой, и сад был не вторичным метафорическим значением рая, а, скорее, конкретным образным воплощением рая как более абстрактного понятия» (Бондарко 2003: 12). Заметим, что в будущем Ломоносов при создании проектов иллюминаций не раз обратится к этому образу. Ср., например, в «Проекте фейерверка и иллюминации на пресветлый праздник коронации Ея Императорского Величества апреля 25 дня 1754 года»: «По середине великолепного саду представить высокую гору» (℘, 549); также в стихотворной надписи Ломоносова ко дню рождения императрицы Елизаветы Петровны в 1751 г. (проект иллюминации также составлен Штелином):

Среди прекрасного Российского Рая,
 Монархия, цветет дражайша жизнь твоя,
 Рукою вышняго нас ради насажденна
 И силою его отвсюду покровенна (℘, 409)⁴.

⁴ Подробнее об образе сада у Ломоносова как о государственной эмблеме елизаветинского времени см.: (Погосян 1992).

Идеологическое построение Штелина, таким образом, проникнуто влиянием изысканной садово-парковой культуры XVIII в. Такое впечатление создается употреблением в тексте важнейших ключевых слов «садового мира» — той среды, в которой объединяется Божественное величие⁵, величие природы и творческий человеческий гений, а эстетика природы переплетается с эстетикой искусства: *Gartenspalierung* (садовая шпалера), *Laub-Bogen* (садовая арка), *Lorbeer* (лавр), *Palme* (пальма, как и лавр, — символ славы и триумфа), *Zweig* (ветвь), *Laubgang* (аллея), *Portal* (портал) и пр. В контексте иллюминационного проекта Штелина все эти слова (также как и сад, гора, храм в проектах других иллюминаций и стихотворных надписях к ним) наполняются новым особым смыслом, превращаясь в особого рода *топосы* или *общие места* иллюминационного «текста». Эти общие места должен был легко понимать, можно сказать, «прочитывать» каждый внимательный зритель. Вспомним здесь, например, восторженный отзыв А. Т. Болотова о иллюминации в Санкт-Петербурге ко дню имени императрицы Елизаветы Петровны 5 сентября 1752 г.⁶ Укажем здесь также на слова самого Ломоносова об одном из неудачных проектов Штелина: «По рисунку г. Штелина идеи без описания угадать не могу...» (8, 1034). Это, по-видимому, стоит понимать так: аллегорические «сигналы» представленного иллюминационного текста по рисунку декодировать невозможно, какую идею

⁵ Ср. у Франсиса Бэкона: «God Almighty first planted a garden. And indeed it is the purest of human pleasures» (Bacon 1909: 51).

⁶ «Иллюминация была в самом деле достойная зрения, и я глаза свои растерял, смотря и любуясь на оную. Она сделана была из разноцветных фонарей, которые толикими же разными огнями быть казались. По обоим краям представлено было два храма, а посредине в превеликом возвышении превеликая картина, изображающая родосского колосса, стоящего ногами своими на двух краях гавани, простирающейся в перспективном виде от одного до самых храмов и прикасающейся другими концами к оным. Сей род иллюминации был мне хотя уже известен, однако такой огромной и великолепной я не видывал и потому смотрел на оную с великим восхищением» (Болотов 1870: 192).

выражает иллюминация Штелина — непонятно; необходимо дополнительное описание, раскрывающее или разъясняющее скрытый аллегорический смысл⁷.

«Инвенция» Штелина хорошо конкретизируется его собственной поэтической надписью, текст которой опубликован в примечаниях к «Собранию сочинений М. В. Ломоносова» М. И. Сухомлиновым (Сухомлинов 1891: 488; СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 150. Л. 210б.). Приведем текст Я. Штелина:

Seit dem du Kron und Zepter trägst, o Ruszlands Schmuck
Elizabeth,
 Hat dein stets wirkendes Verdienst auf Palm und Lorbern sie
erhöht,
 Und ihren Glantz so ausgebreitet, dasz er dein grosses Reich
erhellet,
 Und durch die aufgeklärten Gräntzen in die entferntsten Länder
fällt.
 Erstaunt sieht nun ein jeder Theil von den vier Gegenden der
Erden,
 Wie deines Kayserthumes Macht, und Ruhm, und Glück erhöht
werden.
 Auch disz macht, das ausz unser Brust der Wunsch in vollem
Eiffer bricht:
 Erleb dein Krönungs-Fest so oft, als die Bewundrung von dir
spricht⁸.

⁷ Интерпретация аллегорических смыслов панегирической литературы — нелегкое и неблагодарное дело. То, что было ясным, простым и очевидным для языковой личности XVIII в., сегодня, собственно говоря, представляет собой своего рода «филологическую археологию» — неторопливое, продолжительное и требующее привлечения больших объемов разнообразной информации последовательное прояснение и восстановление стертых временем историко-культурных компонентов слова, как это описывает, например, Е. М. Верещагин в рамках его континентской теории слова (Верещагин, Костомаров 2005: 300–311).

⁸ Благодарим К. В. Манерovu и Н. А. Бондарко за следующий перевод данного текста:

С тех пор, как носишь ты корону и скипетр, о Елизавета, украшение России, ∫ Твой неустанный труд увенчал их пальмой и лавром, ∫ И



При сопоставлении поэтических текстов Штелина и Ломоносова, во-первых, видно, что обе надписи объединяются рядом общих мотивов, среди которых первое место занимает мотив света. Насыщение обоими авторами текста словами сиять (ср. нем. Glantz), луч, ясность (ср. ясный — ‘светлый, сияющий; противопоставляется темному’ в «Словаре Академии Российской» — САР 6, 1055), разлиться⁹ (ср. нем. ausbreiten), сиять, свет, блистание, озарить (ср. нем. erhellen) создают аллегорический образ некоего астрально-го или метафизического света или сияния, изливающегося из русской монархии и способного не только освещать, но и освящать (думаем, что Лебедев, человек весьма образованный, и Ломоносов, надеемся, все-таки проверивший перевод Лебедева, не могли допустить ошибку). В немецком тексте Штелин использует глагол erlauchten (erleuchten) — ‘освещать, озарять’.

Во-вторых, очевидно, что стихотворная надпись Ломоносова не является переводом стихов Штелина, а представляет собой самостоятельное произведение. Еще 22 апреля 1748 г. в письме Г. Н. Теплову Ломоносов, отказываясь переводить на русский язык написанные для иллюминации стихи Штелина, негативно отзывался об их качестве («в немецких виршах нет ни складу, ни ладу» — 10, 438), а также выражал недовольство самой ситуацией, когда «один составляет изображения для иллюминаций, а другой надписи» (10, 438). Не сравнивая стихи Ломоносова и Штелина с точки зрения их качества, отметим,

так распространяет их сияние, что оно озаряет Твою огромную империю, √ А через освещенные границы попадает и в страны дальние. √ Каждая из четырех сторон света в изумлении смотрит, √ Как властью твоей возвышаются держава, слава, счастье, √ И от этого с усердием и пылом вырывается из груди пожелание: √ Наслаждайся Своим коронационным празднеством, так же часто, как [часто] о Тебе гласит восторг.

⁹ См. лить — ‘о свете и запахе: испускать, распространять’ (Сл. РЯ XVIII в.: II, 192).

отметим, что в двух надписях несколько по-разному расставлены акценты. У Штелина все световые образы ограничены первым четверостишием, причем в начале текста речь идет о «неустанном труде» Елизаветы («stets wirkendes Verdienst») как о источнике сияния (процветания) Российской империи. У Ломоносова же мотив света оказывается доминирующим, но при этом иррациональным: лучи от венца императрицы, изливающиеся во все концы вселенной, описаны как данность, как нечто, что не требует каких-либо объяснений, как своего рода аксиома, неизменный атрибут русской монархии. Кроме того, важно, что в надписи Ломоносова не только говорится о лучах от венца императрицы, озаряющих Россию (в соответствии с инвенцией иллюминации), но и эксплицирована тема Божественного света, к которому автор предлагает России «взвести свой умный взор». Ломоносов в своей надписи использует традиционные для его панегирической поэзии темы и мотивы: «умный взор» как синоним духовного зрения, топоним покоя, «световые» образы, связанные с различными «героями» его поэзии — с самой императрицей (лучи от венца Монархини), с Россией (сияющая Россия), с Богом (образ Божественного света)¹⁰.

Был ли проект Штелина реализован? В газете «Санкт-Петербургские ведомости» находим подробное описание праздничных мероприятий, прошедших 25 апреля 1751 г. Они включали приезд знатных особ и зарубежных гостей ко

¹⁰ О полисемантической визуальности образов в поэзии М. В. Ломоносова писал в своем фундаментальном исследовании, недавно переведенном на русский язык, проф. университета Южной Калифорнии Маркус Левитт. Исследователь, рассматривая ряд контекстов из ломоносовской одической поэзии, весьма близких анализируемому нами тексту надписи, делает вывод о том, что световые образы у Ломоносова обнаруживают движение от физического и интеллектуального уровня к духовному и что на поэтические взгляды Ломоносова могло повлиять учение крупнейшего православного богослова Григория Паламы (1296–1359) о нетварном Божественном свете (Левитт 2015: 129–145). Об «умном взоре» у Ломоносова как синониме духовного зрения см.: (Там же: 133–134).

двору, литургию в придворной церкви, завершившуюся проповедью епископа Коломенского Гавриила, пушечную пальбу «с крепости и адмиралтейства», личные поздравления гостей императрице, бал и торжественный обед. Завершением праздника стала иллюминация, которая описана следующим образом:

При наступлении ночи весь город был иллюминирован, и особенно за Невою рекою пред двором Ея Императорскаго Величества представлена была на обыкновенном театре следующая иллюминация, а именно:

На среднем возвышенном месте сделанного из садовых шпалер и отверстых аллей амфитеатра видны были лежащая на украшенном вензловым Ея Императорскаго Величества именем и лавровыми и пальмовыми ветвями обвитом постаменте Императорская корона и скипетр, которые подобно Солнцу, сиянием своим не только весь амфитеатр освещало *<sic!>*, но и лучи свои чрез отверстия аллей яко границы империи на далекое расстояние испускали.

По обе стороны сего представления соединялись впереди два портала весьма далеко простирающихся покрытых аллей, при которых в особых местах стояли четыре грудные статуи в различных видах и убранствах, а именно Европа, Азия, Африка и Америка, обращающие с удивлением взор свой к середине амфитеатра.

Знаменование сего аллегорического представления содержится в следующих стихах *<далее приводятся стихи М. В. Ломоносова>* (Санкт-Петербургские ведомости 1751: 288).

Как видно, описание уже состоявшегося праздника почти дословно повторяет описание проекта. Однако между двумя текстами есть некоторые различия. Во-первых, они связаны с модальностью текстов: в первом описывается проект (использовано настоящее время глаголов), во втором — уже прошедшее событие (использовано прошедшее время глаголов).

Во-вторых, при сопоставлении двух текстов видна определенная «редакторская» работа — главным образом, стилистическая правка:

<i>проект</i>	<i>газетная публикация</i>
«на высоком среднем месте»	«на среднем возвышенном месте»
«представляется лежащая на <...> постаменте Императорская корона и скипетр»	«видны были лежащая на <...> постаменте Императорская корона и скипетр»
«которых Солнцу подобное сияние»	«которые, подобно Солнцу, сиянием»

Некоторые исправления имеют отношение к смыслу изображаемой композиции и ее «реквизиту»:

<i>проект</i>	<i>газетная публикация</i>
«поставлены четыре портрета с весьма различными лицами и одеждою»	«стояли четыре грудные статуи в различных видах и убранствах»
«лучи свои чрез отверстия аллеи яко границы на далекое расстояние испускает»	«лучи свои чрез отверстия аллеи яко границы империи на далекое расстояние испускали»

В первом примере уточняется наименование и описание одной из главных частей иллюминации — аллегорических фигур, изображающих четыре части света. Во втором — происходит уточнение смысла одного из самых любопытных аллегорических образов текста — отверстых аллей. Идея света, исходящего из символов правления Елизаветы Петровны, приобрела у Штелина материальную форму в конструкции иллюминации: свет или сияние, в соответствии с его

проектом, должны распространяться в разные стороны «на далекое расстояние» от центра иллюминационного действия, преодолевая границы, и достигать других стран мира через некие инсталляции, которые Штелин называет «отверстыми аллеями».

Достойные внимания факты дает сопоставление текста Штелина и его перевода на русский язык. Мы видим, что для передачи наименований новых для русской действительности объектов садовой культуры *offener Bogen*, *Laub-Bogen* и *Laubgang* опытный переводчик Лебедев использует слово аллея. Это слово в словарях и справочниках XVIII в., особенно тех, которые посвящены ландшафтному дизайну и садоводству, традиционно толкуется как *‘широкая, обычно прямая дорога, окруженная зеленой стеной из деревьев (обычно создающих объем: кипарисов, ясеней, лип, вязов, каштанов) или кустарников’*. В «Вейсманновом лексиконе» слово отсутствует, а «Новый лексикон на французском, немецком, латинском и российском языках» Сергея Волчкова (1755 г.) переводит это слово следующим образом: «Allée ... аллея, гульбище, дорога для гуляния, в саду» (Волчков 1755: 70). Аллея в саду или парке предназначена для конных или пеших прогулок (этим она отличается от садовых дорожек и троп), ведь этимологически это слово восходит к французскому слову *allée* *‘проход, аллея, дорожка’*, которое в свою очередь представляет собой субстантивированное перфектное причастие XVI–XVII вв. от глагола *aller* *‘ходить, передвигаться, перемещаться тем или иным способом, прогуливаться’* (см.: Аникин 2007: 164). Вероятно, именно поэтому русский литератор В. А. Левшин в трактате «Садоводство полное, собранное с опытов и из лучших Писателей о сем предмете» (1805 г.), желая использовать не иностранное слово, а русское и, одновременно, сохранить внутреннюю форму, придумывает для слова *allée* окказиональный русский аналог — отглагольное существительное женского рода *прохожа* (Веселова 2013: 242). Обратим внимание, что и фр. *allée*, и нем. *Allée* также являются существительными женского рода.

В

В садово-парковой культуре первой половины XVIII в. аллеи как бы «ведут», «провожают» гуляющих по парку от одного красивого места к другому, показывая ему главные достопримечательности. Они, возможно, являясь своеобразным «ключом» к получению удовольствия и отдохновения, мыслятся как некоторая грань между миром людей и миром природы; известный специалист по садово-парковому искусству проф. Б. М. Соколов полагает, что в регулярных парках аллея является своего рода символом господства человека над окружающим пространством (см.: Соколов 2007), что, возможно, является актуальным для интерпретации скрытого аллегорического замысла иллюминации Штелина.

В тексте Лебедева, помимо изолированного употребления слова аллея, находим два устойчивых номинативных словосочетания с этим словом: аллея отверстая, то есть открытая¹¹ (ср. фр. *l'allée découverte*), которая противопоставляется аллее покрытой или крытой (ср. фр. *l'allée couverte*) — аллее, над которой кроны деревьев смыкаются, образуя свод (Сл. РЯ XVIII в.: 1, 49). Ср. у Радищева:

На горе церковь деревянная, старинный господский деревянный большой дом и каменная домовая церковь, двор обширный и небольшой регулярный сад, в коем липовые и кленовые аллеи, а сии были крытые <выделено нами — авт.> и солнцу непроницаемые (Радищев 1954: 299).

Впервые слово аллея (в форме алея) фиксируется в русском языке в 1712 г. в записи в походном журнале Петра Великого:

Был Его Величество в Ораниенбурхе¹², гулял в Королевских покоях, в саду смотрел алей <тисовых> и высоких фантанов, и приехал в Берлин (Сл. РЯ XVIII в.: 1, 49).

¹¹ Отверстый 'слав. *открытый*' (Сл. РЯ XVIII в.: 7, 201–202).

¹² Город в Германии в земле Бранденбург.

В первой половине XVIII в. оно преимущественно употребляется в текстах, связанных с европейской цивилизацией: описаниях иностранных садов и парков или в переводных трактатах по парковому искусству и садоводству. Так, например, у князя А. Д. Кантемира в «утешном критическом» описании Парижа и парижан (перевод с французского 1726 г.):

Я гуляю в изрядных и долгих аллеях в сени деревьев, что называем мы *se promener* (проходиться) (Кантемир 1868: 359).

Он же включил слово аллея и в свой «Русско-французский словарь» (1737):

Аллея .. Прямая дорога обсажена с двух сторон древами .. Lieu de promenade ... Allée (Кантемир 2004: 9).

А. Ю. Веселова, исследуя перевод трактата по садоводству Уильяма Чемберса (William Chambers, 1723–1796), выполненном англичанином же, преподавателем Морского корпуса Джоном Ньюманом и вышедшем в свет в 1771 г., обнаружила любопытный пример эксплицирования слова аллея: «аллея, или обширные гульбища» (Веселова 2013: 241). В собственно русском, а не переводном источнике находим употребление слова алея в одной из лучших комедий А. П. Сумарокова «Мать совместница дочери» (1772), притом уже не в прямом, а в переносном значении *‘стезя, жизненный путь, образ жизни’*, которое реализуется в соположении слов путь — аллея. Приведем этот замечательный куртуазный диалог между женихом дочери и его будущей тещей:

ТИМАНТ.

Я намерен вас на прямой путь поставить.

МИНОДОРА.

Я и так не кривою иду алеюю.

ТИМАНТ.

Эта алея вас ко доброму концу не приведет.

МИНОДОРА.

Очень комлезантной кавалер! (Сумароков 1787: 89)

В идиолекте Ломоносова, слово аллея используется всего два раза:

- 1) в развернутом заглавии рассмотренной нами ломоносовской надписи, которое приведено в Академическом полном собрании сочинений Ломоносова в соответствии с текстом ее последней прижизненной публикации:

Надпись на иллюминацию, представленную в торжественный день Коронования Ея Величества Апреля 25 числа 1751 г. перед Зимним домом, где изображена в Амфитеатре окруженная сиянием Императорская корона и скипетр на украшенном постаменте с вензловым именем Ея Величества, по обеим сторонам два портала далече простирающихся аллей, при которых поставлены грудные изображения четырех частей света (8, 393; Ломоносов 1757: 166);

- 2) в «Кратком руководстве к риторике» (1743 г.):

Целое есть все, что соединено из других вещей, а частями называются те вещи, которые целое составляют, н. п. <например — авт.>: сад есть целое, а цветники, аллеи, фонтаны и беседки суть части, сад составляющие (7, 28).

Но в «Проекте фейерверка и иллюминации к торжественному дню тезоименитства Ея Императорского Величества сентября к 5 дню 1753 года», созданном Ломоносовым, предполагалось

На иллюминационном театре, по обеим сторонам представить далече простирающийся проспект <...> Оной проспект состоять имеет из растущих по обеим сторонам высоких и на вершине широкими ветвьми распростершихся илимовых¹³ деревьев в прямой линии (8, 528).

Мы видим, что Ломоносов снова обращается (даже непосредственное словесное окружение совпадает) к образу аллеи, хотя само слово и не употреблено.

¹³ Ильм или илим, дерево семейства Вязовые с обширной кроной. Также называется вязом.

Вернемся, однако, к переводу Лебедева. Заслуживает внимание использование слова аллея как переводческого эквивалента для слов *Bogen* (арка) и *Laub-Bogen* (садовая арка или зеленая арка, также арка украшенная зеленью или листвой). Нет ли в этом какой-то ошибки или неточности? Но авторитетный «Грамматико-критический словарь немецкого языка» И. К. Аделунга (Johann Christoph Adelung, 1732–1806) указывает, что существительное *Bogen*, помимо довольно широко распространенного значения ‘arcus, арка’, еще имеет значение ‘в архитектуре и строительстве — проём; отверстие, например, в стене, очерченное непрямо́й линией’ (Adelung 1811: 112–113). Заглянем теперь еще раз в «Словарь русского языка XVIII века»: слово аллея дополнительно к основному имеет вышедшее уже к концу XVIII в. из употребления значение ‘проход между двух стен дома’ с примером из перевода Ф. В. Каржавина (Сл. РЯ XVIII в.: 1, 49). Принимая во внимание диффузность семантики русского слова в этот период, можно предположить, что Лебедев не ошибся и правильно понял аллегорический замысел Штелина: в иллюминационном действе, происходящем на сцене иллюминационного театра¹⁴, сияние или свет, исходящий из сакрализованных символов русской монархии, действительно *проходит* сквозь символические границы России (обозначены в иллюминационной инсталляции садовыми шпалерами), достигая других стран через отверстия в сложной иллюминационной конструкции (арки), которые Штелин назвал *Bogen* или *Laub-Bogen*, а Лебедев — аллеями.

Таким образом, новое для русского языка XVIII в. слово аллея в панегирическом тексте первой половины века приоб-

¹⁴ Известно, что в начале 30-х гг. основным местом устройства фейерверков и иллюминации были стрелка Васильевского острова, где был сооружен специальный фейерверочный помост («театр фейерверков»), и Петропавловская крепость. Позднее фейерверки производились на Адмиралтейском лугу и на Царицыном лугу, а в зимнее время часто на льду Невы (Алексеева 1978: 3–4; Павлова 1960: 220; Штелин 1990: 239).

ретаает особую, возможно, характерную только для панегирической культуры или «огненных забав» семантику. По-видимому, значение этого слова должно быть описано следующим образом: ‘в проектах фейерверков и иллюминаций XVIII в. — проем, проход, арка в иллюминационной конструкции’. Важно то, что основой для получения более-менее объективных результатов семантического анализа языковой, в данном случае лексической единицы становится в языковой и культурной ситуации XVIII в. сопоставление или компарация текстов, родившихся в условиях языкового контакта, то есть написанных на разных языках разными языковыми личностями. Реставрация такого рода утраченных, стершихся, абсолютно забытых элементов семантического «облачения» заимствованного, но уже ставшего привычным и понятным современному носителю языка слова, педантичное описание подобного рода семантических фактов в словарной статье является одной из актуальных задач авторской лексикографии: из-за их периферийности, связи с профессиональным языком мастеров иллюминационного дела они могут быть не отражены в словаре языка XVIII в., но не могут быть элиминированы при описании конкретного идиолекта, ведь именно в специфических имманентных связях с окказиональной праздничной культурой, а также с немецкой культурой, немецким языком и с личностью Штелина слово аллея является нам в идиолекте Ломоносова.

Фактом идиолекта Ломоносова является использование слова аллея только в качестве эквивалента немецкого *Laubgang* (в сочетании «два портала далече простирающихся аллей» в заглавии стихотворной надписи). Однако есть основания предполагать, что Ломоносов, которому Академической канцелярией было поручено проверить работу Лебедева, согласился с его переводом всех трех немецких слов (*Vogen*, *Laub-Vogen* и *Laubgang*) русским словом аллея. Никаких следов ломоносовской правки текста Лебедева нами не обнаружено, хотя, как известно, в целом по поводу плохих

переводов, в том числе и сделанных Лебедевым, он, порой, высказывался достаточно резко¹⁵. Таким образом, с нашей точки зрения, та особая семантика русского слова аллея, о которой шла речь выше, характерна и для языкового сознания М. В. Ломоносова.

К сожалению, пока не удалось установить, как именно «участвовали» стихотворные надписи Штелина и Ломоносова в иллюминационном действии, какую роль они играли в празднестве, состоявшемся 25 апреля 1751 г. М. А. Алексеева пишет, что иллюминацию в XVIII в. обычно составляли

Щиты-транспаранты с аллегорическими изображениями и девизами, исполненными горящими шнурами, фигуры-фонари, обтянутые промасленным холстом, с картинами на стенах и источником света внутри, беседки, арки <выделено нами — авт.>,obelisks, статуи, украшенные плоскими горящими салом (Алексеева 1978: 3).

Возможно, поэтические надписи Штелина и Ломоносова были представлены именно на таких щитах-транспарантах (фитильных щитах). Вельможным и почетным зрителям иллюминации могли раздавать своеобразные листовки или брошюры с русским и немецким текстом: так, например, сделали во время иллюминации и фейерверка «для изъяснения всеобщей радости и веселья» на Новый 1754 год в Москве «пред Ея Величества новосозданным домом»¹⁶. Часто иллюминационное представление сопровождалось «звуковым рядом», то

¹⁵ Ср., например: «По указу е. и. в. из Канцелярии Академии Наук генваря 30 дня сего 1748 года велено мне освидетельствовать две книги переводу переводчика Василия Лебедева, а именно Лешерову “Физику” и Корнелия Непота. И оные книги, прочитав усмотрел, что перевод книги Корнелия Непота исправен и весьма достоин, чтобы оную книгу напечатать. Что же до Лешеровой “Физики” касается, то в рассуждении перевода во многих местах, а особливо в терминах, до химии и истории натуральной надлежащих, очень неисправна» (9, 619).

¹⁶ Проект иллюминации и стихотворная надпись на русском языке созданы М. В. Ломоносовым (8, 1015).

есть пальбой из пушек, взрывами ракет и петард, громкими звуками труб и литавр, музыкой, поэтому (принимая во внимание почти поголовную неграмотность зрителей) возможность мелодекламации панегирических стихов также не может быть исключена.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Алексеева 1978 — Фейерверки и иллюминации в графике XVIII века. Каталог выставки «в Государственном Русском музее» / автор вступ. статьи и сост. каталога М. А. Алексеева. Л., 1978.
- Аникин 2007 — Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 1. М., 2007.
- Анфертьева 2010 — Анфертьева А. Н. Переводчики Академии наук И. И. Голубцов и В. И. Лебедев / Словарь языка М. В. Ломоносова. Материалы к словарю. Вып. 5; Словарь-справочник «Минералогия» М. В. Ломоносова. СПб., 2010. С. 103–108.
- Болотов 1870 — Записки Андрея Тимофеевича Болотова. Т. 1. СПб., 1870.
- Бондарко 2003 — Бондарко Н. А. Сад, рай, текст: аллегория сада в немецкой религиозной литературе позднего Средневековья / Образ рая: от мифа к утопии. Вып. 31. СПб., 2003. С. 11–30. (серия «Symposium»)
- Бухаркин 2010 — Бухаркин П. Е. Предисловие / Оказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века. СПб., 2010. С. 9–11.
- Верещагин, Костомаров 2005 — Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции. М., 2005.
- Веселова 2013 — Веселова А. Ю. Русские переводы европейских садовых трактатов конца XVIII — начала XIX века и стратегии переводчиков / Чтения отдела русской литературы XVIII века. Вып. 7. М.; СПб., 2013. С. 234–243.

- Волчков 1755 — Волчков С. С. Новый лексикон на французском, немецком, латинском, и на российском языках, переводу ассессора Сергея Волчкова. Ч.1. СПб., 1755.
- Кантемир 1868 — Перевод на французской язык некоего италянско-го письма, содержащего утешное критическое описание Парижа и Французов, писанное от некоего Сицилианца к своему приятелю *С* Сочинения, письма и избранные переводы князя Антиоха Дмитриевича Кантемира: в 2 т. Т. 2: Сочинения и переводы в прозе, политические депеши и письма. СПб., 1868. С. 359–383.
- Кантемир 2004 — Кантемир А. Д. Русско-французский словарь Антиоха Кантемира: в 2 т. Т.1. М., 2004.
- Лалетина, Хворостьянова 2010 — Лалетина О. С., Хворостьянова Е. В. Словарь языка М.В.Ломоносова. Материалы к словарю. Вып. 2: Метрико-строфический справочник к произведениям М. В. Ломоносова. СПб., 2010.
- Левитт 2015 — Левитт М. Визуальная доминанта в России XVIII века. М., 2015.
- Ломоносов 1757 — Собрание разных сочинений в стихах и прозе господина коллежского советника и профессора Михайла Ломоносова. Кн.1–2. 2-е изд., с прибавлениями. М., 1757–1759. Кн.1. М., 1757.
- Ломоносов 1950–1983 — Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.; Л., 1950–1983. Т. 7. М.; Л., 1952. Т. 8. М.; Л., 1959. Т. 9. М.; Л., 1955. Т. 10. М.; Л., 1952.
- Павлова 1960 — Павлова Г. Е. Проекты иллюминаций Ломоносова *С* Ломоносов. Сборник статей и материалов. Т. 4. М.; Л., 1960. С. 219–237.
- Погосян 1992 — Погосян Е. А. Сад как политический символ у Ломоносова *С* Труды по знаковым системам XXIV: Культура. Текст. Нарратив. Тарту, 1992. С. 44–57.
- Радищев 1954 — Радищев А. Н. Записки путешествия из Сибири *С* Радищев А. Н. Полное собрание сочинений. Т. 3. М.; СПб., 1954. С. 267–304.
- Санкт-Петербургские ведомости 1751 — Санкт-Петербургские ведомости. 1751. № 35.

- САР — Словарь Академии Российской, производным путем расположенный. Ч. 1–6. СПб., 1789–1794.
- Сл. РЯ XVIII в. — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1–6. Л., 1984–1991. Вып. 7–20—. СПб., 1992–2013—.
- Соколов 2007 — Соколов Б. Аллея. [Электронный документ] ∞ Сады и время. 5000 лет ландшафтного искусства. 28 окт. 2007. URL: <http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=15> (дата обращения 27.02.2015).
- Сумароков 1787 — Сумароков А. П. Мать совместница дочери ∞ Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе ∞ собраны и изданы Н. Новиковым: в 10 т. Т. 6. 2-е изд. М., 1787. С. 55–96.
- Сухомлинов 1891 — Сухомлинов М. И. Объяснительные примечания, варианты и приложения ∞ Сочинения М. В. Ломоносова с объяснительными примечаниями академика М. И. Сухомлинова. Т. 1. СПб., 1891. (2-я пар.)
- Штелин 1990 — Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России: в 2 т. ∞ сост., пер. с нем., вступ. ст., предисл. к разделам и примеч. К. В. Малиновского. Т. 1. М., 1990.
- Adelung 1811 — Adelung J. C. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Erster Theil. Wien, 1811.
- Bacon 1909 — Bacon Fr. Of Gardens ∞ Essays civil and moral. Vol. 3. Part 1. New York, 1909. P. 112–117. (The Harvard Classics)



ВОКРУГ Державинского перевода «Федры» РАСИНА

Державин сделал свой перевод трагедии Ж. Расина «Федра» в 1809 г. Из него в печати появился единственный отрывок — рассказ Терамена о гибели Ипполита. Он был опубликован в 1811 г., затем несколько раз переиздавался. Полный текст остается в рукописи и хранится в Пушкинском Доме¹.

Державинский перевод «Федры» создавался в ситуации, когда интерес российских литературных кругов к Расину резко и значительно возрос по сравнению с XVIII в. Внимание именно к драматургии Расина было обусловлено не только высокой репутацией ее художественных достоинств, но политической ситуацией, отразившейся на театральной жизни. В первое десятилетие XIX в. в условиях наполеоновских войн в Европе с участием российских войск театр в обеих столицах России сделался местом патриотических манифестаций. Пристальное внимание публики уделяла конкуренции французской и русской труппы, особенно в период гастролей выдающейся актрисы «девицы Жорж» (Маргариты Веймер), с блеском исполнявшей роли в постановках Расина в Москве и Петербурге в 1808–1812 гг. Зрители-патриоты противопоставляли таланту Жорж дарование Е. С. Семеновой и отдавали ему предпочтение. Литераторы-поклонники Семеновой старались обеспечить ее художественными переводами пьес из репертуара французской актрисы.

Перевод «Федры» не только является органической частью русского театрального и литературного процесса начала XIX в., но и вписывается в оригинальное одическое и

¹ Подробнее о переводе, обстоятельствах его создания и публикации отрывка см.: (Дёмин 2008; 2011).

драматургическое творчество самого Державина. Изменения текста при переводе служат приближению сюжета трагедии к сюжетам оригинальных пьес Державина, трактующих проблему взаимоотношения поддающихся страстям государей с несправедливыми советниками. Система образов опубликованного отдельно рассказа Терамена соотносится с многочисленными змееборческими мотивами в одах Державина и в контексте публикации в августе 1811 г. может истолковываться как политическое выступление поэта против подготовки России к широкомасштабной войне с Наполеоном.

Современники, младшее поколение, относились к державинскому переводу «Федры» неодобрительно, высказывая свои мнения в частных беседах и переписке. Стоит, однако, рассмотреть некоторые сохранившиеся отзывы, чтобы понять их смысл в литературном контексте. А. И. Тургенев писал брату Николаю в Гёттинген из Петербурга 2 ноября 1809 г.: «Державин написал „Ирода и Мариамну“, перевел с нем. Расинову „Федру“, все скверно и пр. и пр.» (Тургеневы 1911: 402). Упоминание немецкого языка в качестве исходного при переводе французской трагедии может быть истолковано трояко. Прежде всего, это свидетельство распространенных представлений о языковой осведомленности Державина. Знания французского у него не предполагали, очевидно, не зная, что поэт работал с подготовленным для него подстрочником. В 1809 г. еще оставался новостью перевод «Федры», сделанный в последние месяцы жизни Ф. Шиллером, опубликованный в 1805 г. Этот перевод был новаторским и во многом экспериментальным явлением. Сохраняя максимальную близость к оригиналу в сюжете, в содержании реплик, поэт впервые в истории немецкой литературы переводит трагедию Расина не прозой и не шестистопным ямбом с парной рифмовкой, как это делалось ранее, в 1750-е гг., а применяет нерифмованный пятистопный ямб. Он также существенно видоизменяет стилистику, приближая ее к стилистике собственных трагедий и драматических переводов, особенно на античные сюжеты².

² Подробнее см.: (Жирмунская 1962).

Выбирая традиционный для перевода французских трагедий шестистопный ямб с парной рифмовкой, Державин насыщает свой перевод стилистическими решениями, характерными для его позднего поэтического творчества: архаизмами, усложненными синтаксическими конструкциями, труднопроизносимыми фонетическими сочетаниями. Державин вносит в перевод изменения и дополнения и допускает немало вольностей и даже очевидных ошибок. В совокупности все эти особенности, конечно, становятся причиной творческой неудачи, отмеченной современниками. Однако нельзя не отметить, что перевод «Федры» Расина встраивается в ряд оригинальных драматических произведений Державина 1800–1810 гг., становится трагедией на античный сюжет в ряду трагедий из русской древности («Евпраксия» и «Темный»), иудейской истории («Ирод и Мариамна») и истории стран Европы и Нового света («Атабалибо, или Разрушение Перуанской империи»).

Сближение имен Державина и Шиллера в контексте драматургии и перевода в 1809 г. было актуальным также в связи с публикацией в ноябрьском номере «Русского вестника» за 1808 г. «пастушеской мелодрамы с речитативами и хорами» Державина «Обитель Добрады», повторенной в том же году в «Сочинениях». «Обитель Добрады» была сочинена в июне 1808 г. в связи с ожиданием приезда в Россию великой княжны Марии Павловны, бывшей замужем за Карлом Фридрихом герцогом Саксен-Веймарским. Пьеса содержит намек на торжества по случаю приезда Марии Павловны в Веймар в ноябре 1804 г. после свадьбы с наследным принцем в Петербурге. Для этих торжеств Шиллером была написана короткая аллегорическая пьеса под названием «Приветствие художеств» («Die Huldigung der Künste»), ставшая последним его завершенным драматическим произведением³. На сцене изображается семья земледельцев, занятая посадкой померанцевого

³ Отдельные издания «Приветствия художеств» на немецком языке были выпущены в 1805 г. в Тюбингене и в Петербурге.

померанцевого дерева (намек на великую княжну), которое приветствуют семь аллегорических фигур, символизирующих искусства. Пьеса открывается песней отца крестьянского семейства, подхватываемой поселянами:

Wachse, wachse, blühender Baum
 Mit der goldnen Früchtekrone,
 Den wir aus der fremden Zone,
 Pflanzen in dem heimischen Raum!
 Fülle süßer Früchte beuge
 Deine immer grünen Zweige!

ALLE LANDLEUTE.

Wachse, wachse, blühender Baum
 Strebend in den Himmelraum! (Schiller 1805: 3-4)

В «Обители Добрады» мы также встречаем поселян, на этот раз условно-пасторальных: Палемона, Дафниса и Дафну, обсуждающих между собой приезд дочери к волшебнице Добраде, которая здесь олицетворяет вдовствующую российскую императрицу Марию Федоровну. Дафна рассказывает друзьям о том, как принимали дочь Добрады в дальних краях и упоминает гимн «всех тамошних каких-то Муз», петый в честь приезжей девушки «по-тамошнему». По просьбе друзей пастушка запекает этот гимн «языком своим»:

Вейся, вейся, ветвь цветуща,
 Блеск златым венцом дающа,
 Из чужого небосклона
 Принесенна к нам на лоно!
 И с сладчайшими плодами
 Зеленой всегда листвами!

ПАЛЕМОН, ДАФНИС И ДАФНА.

Вейся, вейся, ветвь цветуща,
 К небесам главу несуща!
 И, дни бурные, зимою
 Не касайтесь к ней косою! (Державин 1865: 701)

Песня пастухов является переводом первых десяти строчек песни из «Приветствия искусств» Шиллера. Последние две строки вольно передают идею из следующего куплета:

ALLE.

Stehe in dem Sturm der Jahre,

Daure in der Zeiten Flucht! (Schiller 1805: 4)

«Пастушеская мелодрама» Державина завершается сиютой хоров в честь Добрады. Молитва народа, хор сирот, хор девиц, хор вдов, хор ремесел, хор общий восхваляют волшебницу по примеру народа и Муз, чествовавших ее дочь в чужих краях⁴.

Устойчивая ассоциация державинского перевода «Федры» Расина с именем Шиллера, видимо, сохранялась в петербургских литературных кругах еще некоторое время. Когда М. Е. Лобанов в 1823 г. выпустил свой перевод этой трагедии, то писал в предисловии к нему: «Переводами „Федры“ занимались великие гении: в Германии Шиллер, в России Державин» (Расин 1823: II). Представляя литературную позицию Лобанова, убежденного архаиста и впоследствии сторонника охранительной линии в литературной политике, можно быть уверенным, что упоминание Державина в этом контексте предполагает сугубо положительную оценку. Между тем, будучи близким другом и сотрудником Н. И. Гнедича по Публичной библиотеке, Лобанов не мог не знать о его резко отрицательной оценке державинского перевода. В ноябре 1809 г. приглашенный Державным Н. И. Гнедич читал в его доме «Федру», а затем с возмущением писал К. Н. Батюшкову о его многочисленных недостатках и о восхищенных отзывах присутствовавших. В

⁴ Специалисты по творчеству Державина долгое время не могли отождествить произведение Шиллера, упоминаемое и используемое в «Обителе Добрады». Об этом говорит Я. К. Грот в 1865 г. и Г. Н. Ионин в 1826 г., а в новом издании сочинений Державина 2002 г. Ионин оставляет это место без комментария, хотя в 1972 г. Р. Ю. Данилевский указал его источник (Державин 1865: 702; 1926: 452; 2002: 621; Данилевский 1972: 71–72).

В обстановке работы над переводом «Федры», а особенно по его завершении интерес Державина к Гнедичу был более чем закономерным. В 1808 г. Державин уже видел исполнение своей трагедии «Ирод и Мариамна» на сцене с А. С. Яковлевым в главной роли, при этом испытывал досаду оттого, что две другие его трагедии, «Евпраксия» и «Темный», на своем пути к подмосткам встречали решительный отпор А. А. Шаховского. В условиях ажиотажа вокруг выступлений «девицы Жорж» и Е. С. Семеновой выбор «Федры» для него был решением, сулившим определенный успех. В силу сложившихся обстоятельств и особенностей своего дарования 25-летний Гнедич находился в самой гуще театральной жизни Санкт-Петербурга. Блистательный декламатор, он с 1807 г. обучает сценической речи Семенову, готовит с нею трагические роли. Его драматические переводы — «Леар» Дюси (по Шекспиру), «Танкред» Вольтера, «Заира» Вольтера, «Гипермнестра» Лонжельера (в сотрудничестве с группой других литераторов) — с успехом идут на сцене. И действительно, осенью, в ноябре 1809 г., Державин начинает оказывать особые знаки внимания Гнедичу, приглашает на обед, упоминая в программе вечера в первую очередь чтение собственной «Федры», а уж затем переводов Гнедича из «Илиады», главного предмета литературской гордости молодого человека в ту пору. Думается, что разговор о возможной помощи в постановке трагедии на петербургской сцене в ходе подготовки этого литературного вечера со стороны Державина был более чем естественен, хотя прямых свидетельств о нем мы не имеем. Чтение состоялось, однако оставило у Гнедича самые тяжелые впечатления. Он писал по горячим следам Батюшкову:

Не станут ли у тебя волосы дыбом, когда скажу, что это стихи из Рассиновой Федры, переведенной Державиным; и 50 человек слушателей, перед которыми я, несчастный, должен был читать всю трагедию, все единогласно провозгласили, что нет ни одного стиха в переводе, который бы не превосходил силою и красотою оригинала <...> Ты, может быть, не веришь мне?

Долго и я не верил ушам своим и не знал, где я?.. Наконец, новое чтение его уже оригинальной трагедии Василий Темный привело меня в такое состояние, что я уже ничему не мог удивляться и желал бы забыть все, что я слышал и видел; но безбожный Василий сряду уже две ночи мне снится — ужасно! мой друг, ужасно! (Гнедич 1974: 85–86)⁵.

Свидетельства дальнейшего развития отношений юного и маститого поэта рисуют картину все усиливающегося напряжения, доходящего до обидной дерзости со стороны Гнедича и оскорбленной ярости со стороны Державина. Гнедич саркастически описывает в посланиях к друзьям и приятелям собрания будущих членов «Беседы», Державин упорно зовет его присоединиться к одному из разрядов складывающегося общества. Вряд ли он видел что-то обидное в следующих своих словах:

... Не опасайтесь, дарования ваши мы знаем, и их достаточно будет на то употребление, которое не для меня, но для общей пользы предпринимается. Притом вы и не затруднитесь. Сделано такое распоряжение, что легко всем будет. Через три месяца раз прочесть что-либо не токмо свое сочинение, но и чужое, кажется, не трудно (Державин 1871: 201–202).

Гнедич сначала отговаривается мнимым нездоровьем, затем дерзит в письмах и при личном общении, и, наконец, в начале марта 1811 г., прямо накануне первого торжественного собрания «Беседы» происходит неприятная сцена: Державин после очередной стычки выгоняет Гнедича из дома князя Б. А. Голицына, где случайно с ним встретился. Этот случай получил широкую огласку в обществе, обе стороны долгое время категорически отказывались примириться, ссорились с теми, кто пытался их примирить. И все же примирение, хотя бы и формальное, состоялось к концу того же года, Гнедич явился на заседание «Беседы» 15 декабря и включился в рабо-

ту

⁵ Об этом эпизоде см. также: (Альтшуллер 2007: 97–101).

ту первого разряда под руководством А. С. Шишкова. Хотя в дальнейшем он выступал в «Беседе» только с чтением отрывков перевода «Илиады», сначала александрийскими стихами, затем русским гекзаметром, но не оставлял ни театра, ни занятий Расином. Он всемерно способствовал труду над переводами трагедий Расина, выполняемыми Лобановым. В 1813 г. в «Беседе» был представлен и затем напечатан отрывок из «Ифигении в Авлиде» в переводе Лобанова, в 1815 г. Семенова выступила на сцене с этим переводом в роли Клитемнестры, конечно, разученной под руководством Гнедича. Сам поэт в краткие часы досуга от перевода Гомера обращался к стихам «Андромахи». Семенова исполняла роль Гермiony в этой трагедии в переводе Д. И. Хвостова с 1810 г. Свой перевод Гнедич создавал, наверняка видя звезду петербургской сцены в новом амплуа — благородной матери Андромахи. Перевод не был закончен, видимо, в связи с уходом Семеновой из театра. Однако впереди актрису ждал триумф в «Федре», переведенной Лобановым.

Державин оставил трагический род и обратился к музыкально-драматическим жанрам, написав в 1813 и 1814 г. два оперных либретто: «Грозный, или Покорение Казани» и «Эсфирь». Ему пришлось довольствоваться постановкой его «Федры» на домашнем театре, чтением рассказа Терамена членом «Беседы» П. И. Соколовым в собрании 26 мая 1811 г. и его публикацией в третьей книге «Чтений». В 1815 г. ему еще было суждено испытать удовольствие, слушая свои драматические сочинения, в том числе и «Федру», в чтении С. Т. Аксакова.

Противостояние Державина и Гнедича 1809–1811 гг. завершилось прохладным нейтралитетом. Одним из литературных плодов этого конфликта, вероятно, стал отрывок из «Федры», переведенный и опубликованный уже Гнедичем. В части архива Державина, хранящейся в Публичной библиотеке, имеется рукопись руки Гнедича с текстом рассказа Терамена⁶.

⁶ РО РНБ. Ф. 247 (Державин). Т. 34. Л. 141–143.

Бумага ее датируется 1808 г. Текст перевода не совпадает ни с одним из известных опубликованных переводов этого отрывка, однако близок к публикации в майском номере журнала «Вестник Европы» за 1810 г., где он подписан криптонимом «А. П.» (ВЕ 1810: 10, 120–123), который принято раскрывать: «Алексей Пушкин», то есть А. М. Пушкин (1771–1825), двоюродный дядя А. С. Пушкина, поэт-любитель, почитатель французских классиков, переводчик Мольера и Расина. Такое раскрытие обосновывается тем, что в следующем, июньском, номере «Вестника Европы» помещен «Сон Гафалии» за подписью А. Пушкин (Там же: 10, 201–204). Между тем, сравнение рукописи Гнедича и характера правки в ней убеждает в том, что зафиксированный ею текст и лег в основу публикации в «Вестнике Европы». Примечательно, что за рассказом Терамена в этом номере журнала следует подборка стихотворений Гнедича и Батюшкова. За недостатком дополнительных свидетельств, однозначно закрепляющих авторство перевода Гнедичем можно, однако, предположить, что мысли подобного рода могли возникнуть у некоторых читателей «Вестника Европы» в 1810 г. Наиболее осведомленные из них знали об отношении Гнедича к державинскому переводу «Федры», о неизменно саркастическом отношении издателя «Вестника Европы» М. Т. Каченовского к формирующемуся кругу писателей «Беседы». Они также помнили забавный перевод комедии Мольера «Тартюф» в неуклюжих стихах, переходящих в посредственную прозу, выпущенный А. М. Пушкиным в 1809 г. под названием «Ханжеев, или Лицемер» и еще не были знакомы с имеющимся в издательском портфеле «Вестника» отрывком из «Гофалии» Расина. Он был напечатан в следующем, июньском, номере за полной подписью «А. Пушкин» и таким образом ретроспективно установил авторство предыдущей аналогичной публикации. Поэтому в их глазах эта публикация могла представлять забавным курьезом и шпилькой авторскому самолюбию Державина. Однако имеющиеся в нашем распоряжении факты пока не позволяют выстроить

столь

столь стройную картину без изрядной доли допущений, они скорее тревожат исследовательское воображение видом представшей загадки, чем успокаивают его ощущением найденной истины.

Итак, державинский перевод трагедии Расина «Федра» возник в самой гуще литературной и театральной жизни Петербурга начала XIX в. Его судьбу определяла обстановка острой конкуренции литературных направлений, личных амбиций и дарований. Рассмотрение историко-литературного контекста этого произведения позволяет уточнить его истолкование в свете систематизации и сопоставления казавшихся разрозненными и не связанными между собой подробностей литературной истории.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Альтшуллер 2007 — Альтшуллер М. Г. Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. 2-е изд., доп. М., 2007.
- ВЕ 1810 — Вестник Европы. 1810. Ч. 51. № 10. Май; ч. 51. № 11. Июнь.
- Гнедич 1974 — Гнедич Н. И. Письма к К. Н. Батюшкову / публ. М. Г. Альтшуллера // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. 1972. Л., 1974. С. 78–92.
- Данилевский 1972 — Данилевский Р. Ю. Шиллер и становление русского романтизма // Ранние романтические веяния: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1972. С. 3–95.
- Дёмин 2008 — Дёмин А. О. Перевод рассказа Терамена и оригинальное творчество Г. Р. Державина // XVIII век. Сб. 25. СПб., 2008. С. 158–174.
- Дёмин 2011 — Дёмин А. О. Державин — переводчик «Федры» Ж. Расина // XVIII век. Сб. 26. СПб., 2011. С. 238–253.
- Державин 1865 — Державин Г. Р. Сочинения // с объяснит. примеч. Я. Грота: в 9 т. Т. 2. СПб., 1865.
- Державин 1871 — Державин Г. Р. Сочинения // с объяснит. примеч. Я. Грота: в 9 т. Т. 6. СПб., 1871.

- Державин 1986 — Державин Г. Р. Анакреонтические песни / изд. подгот. Г. П. Макогоненко, Г. Н. Ионин, Е. Н. Петрова. М., 1986. (серия «Лит. памятники»)
- Державин 2002 — Державин Г. Р. Сочинения / вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Г. Н. Ионина. СПб., 2002. (серия «Новая Б-ка поэта»)
- Жирмунская 1962 — Жирмунская Н. А. Шиллер и Расин // Проблемы международных связей. Л., 1962. С. 27-47.
- Тургеневы 1911 — Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. СПб., 1911.
- Расин 1823 — Федра, трагедия Расина в пяти действиях / пер. М. Лобанова. [СПб.], 1823.
- Schiller 1805 — Schiller F. Die Huldigung der Künste. Ein lyrisches Spiel. Bei hoher Ankunft der Frau Erbprinzessin von Weimar Maria Paulowna, vorgestellt auf dem Weimarischen Hofteater. Tübingen, 1805.



«ВЕСНА» ТОМСОНА В ПОЭЗИИ А. ВОЛКОВОЙ,
Е. УРУСОВОЙ И А. БУНИНОЙ

В середине XVIII в. в Россию начала проникать английская поэзия. С 1770-х гг. в русской литературе появился особый интерес к изображению смерти, с одной стороны, и красоты и величия «благой» природы, с другой. Особую роль в усвоении этой новой тематики сыграли два английских поэта — Эдуард Юнг, автор поэмы «Жалоба, или ночные мысли о жизни, смерти и бессмертии» («The Complaint, or Night Thoughts on Life, Death and Immortality», 1742–1745), и Джеймс Томсон, автор поэмы «Времена года» («The Seasons», 1726–1730). Обилие преромантических мотивов, описаний природы и сентиментальных рассуждений, сюжетные новеллы сделали этих поэтов популярными во всей Европе; в России с ними был связан целый ряд переводов и подражаний (см. об этом: Левин 1970: 195–297).

Сокращенный прозаический перевод-пересказ «Времен года» Томсона в четырех частях представил Н. М. Карамзин, заключительный «Гимн» он перевел стихами (Карамзин 1787; 1789). Сокращения привели к более четкому представлению о главном предмете поэмы — «непосредственном изображении природы, ее изменений, созерцании природы человеком, который открывает в ней присутствие Творца и прославляет его» (Данилевский, Кочеткова, Левин 1996: 149). В 1798 г. вышел полный русский прозаический перевод поэмы Томсона, выполненный Д. И. Дмитриевским, который, как и Н. М. Карамзин, был членом Филологической семинарии Московского университета, а с 1785 г. работал переводчиком в Университетской типографии (Левин 1988: 276–277).

Подражания, издаваемые в масонских и сентименталистских журналах в Санкт-Петербурге и Москве, создавались не только русскими поэтами, но — впервые — и поэтессами. Предметом данной статьи являются стихотворения, оза-

главленные «Весна», авторами которых были Анна Волкова, Екатерина Урсова и Анна Бунина — женщины-поэты, ставшие почетными членами «Бесед любителей русского слова» (1811–1816). Тексты, написанные в период 1794–1819 гг., рассмотрены на предмет совпадений или различий использованных источников и приемов.

* * *

Хронологически первое стихотворение «Весна» принадлежит тринадцатилетней Анне Волковой (1781–1834), поэтессе с очень непростой судьбой. Дочь дипломата, она, по-видимому, отказалась от замужества ради ослепшего отца; после его смерти в 1806 г. она оказалась в крайне бедственном положении. Незамужняя поэтесса нуждалась как в финансовой поддержке, так и в помощи при опубликовании своих сочинений. В 1807 г., благодаря покровительству А. С. Шишкова, вышли ее «Стихотворения»; в 1808–1824 гг. ее стихи выходили как отдельными изданиями, так и в журналах (Зорин 1992: 467–468).

Стихотворение «Весна» — дебют тринадцатилетней поэтессы — было опубликовано в 1794 г. в петербургских «Новых ежемесячных сочинениях» (Волкова 1794) и было переиздано в «Стихотворениях» (Волкова 1807). «Весна» Волковой написана одической строфой (4-стопный ямб, АБАВССДЕЕд, 6 строф). После начальных размышлений о времени — зодиакальные созвездия (солнце в знаке Овна, светила в Тельце) символизируют месяцы апрель и май — начинает развиваться действие: после суровой зимы наступает золотая весна; холод, снег, морозы и бурные Аквилоны отступают, природа оживает под светлыми лучами Феба. Поэтесса, вероятно, использует переводы оды Горация «К Сексту» (I, 4), которые могли быть ей известны по публикациям в различных русских журналах (Морозова 2003: 186–190); см. таблицу 1.

«Храм животных» изображается с помощью олицетворений: птицы («пернатые певчие») возглашают весну, жаворонок кличет ребят. Деревенский мир (который имеет пасторальный характер

Таблица 1. Переводы оды Горация «К Сексту»

М. Н. МУРАВЬЕВ (1773)	П. С. ГАГАРИН (1793)	А. А. ВОЛКОВА (1794)
<i>Зимы упругость</i>	<i>Зима угрюмая</i>	<i>Зимы суровость</i>
<i>уступает,</i>	<i>сокрылась,</i>	<i>прекращенна,</i>
Весна приятна	<i>Натура паки</i>	Не зрим ее мы
настает,	<i>обновилась.</i>	больше здесь;
Зефир		Быв игом хлада
прохладной		умерщленна
<i>оживляет</i>		<i>Природа оживает</i>
Покрытый		<i>днесь:</i>
мразным снегом		Бугры снегов
<i>свет.</i>		огромны тают;
		Зефиры тихие
		летают.

характер классической идиллии) пробуждается и с веселием трудится: пастушки гоняют стада на луг, ораваи пускают плуг в землю, дети земледельцев собирают зелень, бабушки и матери приправляют пищу, а охотники выслеживают зверей. Дети у Волковой затевают разные народные игры: они водят хоровод, играют в чирки (в городки), строят домики из глины. Волкова в духе М. М. Хераскова (см., например, его стихотворение «Искренние желания в дружбе», 1762) завершает стихи размышлениями о превосходстве деревенской жизни во время весны над городской:

О коль тот счастлив, кто весною
 В деревне тихой может жить,
 И милой тамо простотою
 Свой дух и сердце веселит!
 Он к добродетели стремится,
 Градского шума не боится,

И скорбью грудь свою не рвет;
Его невинность окружает,
Веселие сопровождает:
Приятно жизнь его течет.

Под тем же заглавием А. Волковой было написано еще одно стихотворение («Теплые воды! — ранние гуси полем летят...»; вероятно, после 1804 г.). В нем поэтесса противопоставляет приятную весну осени при помощи различных образов (они перечислены в таблице 2).

Таблица 2. Признаки времен года у Волковой

ВЕСНА	ОСЕНЬ
теплые воды, ранние гуси, резвы овечки, тяжелый вол, кругогривый конь, легкая серна, мелкая пташка, славий, ласточка, яркое майское солнце, мирта цветуща, роза душиста, роща	хрупкое листье, поздние гуси, лань (мелькает в бору), дятел (долбит кору)

Осень предстает в стихотворении знаком возраста и близкой смерти. В стихотворении присутствуют обращения к подруге («Милая Дора!», «Что ж ты вздохнула, Дора, мой друг»). Тематика и стиховая структура мнимого дружеского послания отчасти сходны с «Весной» Державина (Державин 1865: 298–299), которая также представляет собой вольное подражание Горацию (I, 4 и IV, 7; Державин 1957: 438). С ритмической точки зрения, оба текста представляют собой логаяды (дактило-хореическую структуру), но державинское стихотворение состоит из четверостиший с усеченным последним стихом, у Волковой же имеем астрофический стих парной рифмовки (вторая строка каждой пары усеченная). Кроме того, в стихотворении Волковой содержится значительное

ное число архаизмов. Как и в предыдущем стихотворении, Волкова формулирует заключительную мораль:

Ах, не пора ли радость любви нам поспешить
 Полною мерой чувства вкусить?
 Станем, о друг мой, в сенистой роще чаще гулять,
 Миртой цветущей, розой дышать;
 Нашей куда солнце весною, полднем горит,
 В страстных объятиях жизнь находить! (Волкова 1989)

* * *

Следующее сочинение, озаглавленное «Весна», было написано в 1796 г. поэтессой Екатериной Урусовой. Екатерина Урусова (1747–после 1817) была дочерью вологодского губернатора, долгое время жила в Москве в доме своего двоюродного брата М. М. Хераскова. Ради литературного общения в кружке Хераскова, к которому принадлежал Г. Р. Державин (предание приписывает ему несостоявшееся сватовство к ней), Урусова стала писать. Ею были написаны «Письмо П. Д. Еропкину» (1772), поэма «Полион, или Просветившийся нелюдим» (1774), «Ироида, Музам посвященные» (1777) и несколько стихотворений, опубликованных без указания авторства (Кочеткова 2002: 95). Первый творческий период поэтессы прервался по неизвестным причинам. В начале 1790-х гг. Урусова снова стала публиковаться: в 1790–1810 гг. она писала различные панегирические и камерные стихи (Кочеткова 2010: 296–299).

В 1796 году в «Аонидах» — в ежегодном альманахе Карамзина для любителей поэзии со стихотворениями известных молодых и талантливых авторов (Карамзин 1796: III–VI) — вышло несколько мелких стихотворений Урусовой (за подписью «К. К. У-а»), среди них «Весна» («Обновился вид природы...»; Урусова 1796). Стихотворение делится на три части (16 строк, 22 строки, 2 строки) и написано $\frac{1}{4}$ -стопным хореем с перекрестной рифмовкой и чередованием мужских и женских рифм. В первой части смешиваются и перерабатываются фрагменты переводов оды Горация (I, 4), а также мотивы поэзии Томсона (по переводу Карамзина). Переключки между

текстами Волковой и Урусовой и признаки противопоставленных друг другу времен года в стихотворении Урусовой описаны в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Взаимодействие текстов Волковой и Урусовой

ВОЛКОВА (1794)	УРУСОВА (1796)
Зимы суровость прекращенна,	Обновился вид природы
Не зрим ее мы больше здесь;	Вид весенны красоты
Быв игом хлада умершленна	<...>
Природа оживает днесь:	Все воскресло
Бугры снегов огромны тают;	<...>
Зефиры тихие летают	Ветерки прохладу мчат

Таблица 4. Признаки времен года у Урусовой

ЗИМА	ВЕСНА
Было мертво что зимой	быстры воды, луга, цветы, бабочки, стада, рощи, птички, ветерки, роса, лучший вид («В лучший вид переродилось»)

Воодушевленный красотой весенней природы, лирический субъект задается вопросом о собственной весне:

Я природой восхищаюсь;
 Мой пленяет взор она;
 Но к себе я обращаюсь:
 Где ты, где, моя весна?
 Где вы, прежние утехи,
 Что к себе меня влекли?
 Где забавы, игры, смехи? (Урусова 1796: 67-68)

Опираясь

Опираясь на анакреонтические оды М. М. Хераскова (обращенные к А. А. Ржевскому «Искренние желания в дружбе», 1762) и М. Н. Муравьева («Ода десятая. Весна. К Василью Ивановичу Майкову», 1775), поэтесса определяет свой возраст как осень мрачную, зиму и смерть (предложение «Безвозвратно я увяла; √ Смерть меня у гроба ждет» отсылает к мотивам поэзии Юнга). В стихотворении также возникает тема человеческого бессмертия, трактовка которой напоминает знаменитую державинскую оду «Бог» (1784):

Но по смерти обновиться
 Надлежит душе моей;
 Там весна возобновится,
 Там моих бессмертных дней.
 О природа! обновление
 И порядок видя твой,
 Я склонила размышление
 На бессмертный жребий мой:
 Сколь величествен и важен
 Он мне кажется в сей час! (Урусова 1796: 62–69)



Последнее «женское» стихотворение, посвященное весне, которое мы рассмотрим, принадлежит Анне Буниний (1774–1829). Она родилась в Рязанской губернии в дворянской семье, после ранней смерти матери воспитывалась у разных родственников. В 1801 г. Бунина некоторое время прожила в Москве, где познакомилась с Д. И. Фонвизиным, М. М. Херасковым и В. А. Жуковским. После смерти отца (1802) молодая женщина без согласия семьи переехала в Санкт-Петербург, где она встречается с И. И. Дмитриевым, Н. М. Карамзиным и Г. Р. Державиным. Обучившись языкам (немецкому, английскому, французскому), естественным наукам и русской словесности, она серьезно принялась за стихи. Ранние произведения Буниной (например, «Любовь» 1799 г., «Сумерки» 1806 г.) были опубликованы в разных журналах; сборник «Неопытная Му-

за» (Ч. 1. 1809; Ч. 2. 1812) привлек к ее творчеству внимание поэтов и читателей. Буниной была назначена пожизненная пенсия, которая позволила ей не только опубликовать ряд сочинений («Правила Поэзии. Сокращенный перевод Аббата Бате» (1808), трехтомное «Собрание стихотворений» (1819–1821) и др.), но и лечиться в Англии после заболевания раком в 1815 г. (Бабореко 1992: 362–363; Поэты 1971: 447–449).

Стихотворение Буниной «Весна» («На легких крыльях воздушных...») было написано спустя два десятилетия после появления одноименных произведений Волковой и Урусовой, уже после смерти Г.Р. Державина и распада «Беседы любителей русского слова» в 1816 г. и, что особенно важно, после Наполеоновских войн (1799–1815). Ода «Весна» была опубликована в первой части («Лирическая поэзия») «Собрания стихотворений» Буниной (Бунина 1819). Она была написана неканонической одической строфой (4-стопный ямб, АббАссDeDe, 13 стрóf), язык оды величавый, тяжелый и архаичный. После короткого «представления» весны появляются персонажи разного происхождения (фольклорные, мифологические и пасторальные): «плясавицы» в чистых одеждах, с ландышами в волосах («сошлись на мягких муравах / Меж пестрыми скакать холмами»), пастушки («со светлыми, как день очами», «Но кто счастливей их под небом!»), жены («работа их: веселый пир»), крестьянин («С чела его катится пот»), оратай («Уже с предтекшей дню зарею / Оратай бросил мирный кров»), светлый, златовласый бог из царств Фетиды («бросая искры из очей») и великолепный Феб. У Буниной традиционно противопоставлены друг другу зима и весна (см. таблицу 5).

Вдруг появляется другая тема: у Буниной вводится не тема возраста, а образ Наполеона как врага с «грозными очами», кустами в волосах, «смертельным хладом» на челе и «адам в душе», сидящего «на мшистом пне средь ночи» и таящегося «как тать под скалами». Наличие прелестной природы побуждает врага «Творцу хулы рыгать»:

Таблица 5. Признаки времен года у Буниной

ЗИМА

сняв льдины с рек, морей,
тучи белоснежны, Нордовы
сыны

ВЕСНА

резвый май на легких крыльях,
ясные, долгие дни, лазурный
свод, светлые воды, чистая
вода, стада, пастушки, свирель,
рожки, травы, древа, бабочки,
птенцы, агнцы, плуг, вол, лес,
холмы, травы ароматы, певцы
крылаты, малые зверки, роса,
серебряный ручей, розы,
Зефир, тихий воздух

«Почто, почто, — он говорит, —
Сей стройный чин природы
Текущи не глотают годы!
Почто сей леньый мир стоит!

Почто не упадут светила!
Увы! луч солнца не погас,
И вечна ночь земли не скрyla!»
Так персти сын гласит ярьсь.
Тебе ль о! смертний, ведать ропот!
Склонись под краткий скорбей опыт:
Ты царь красот несметных сих!
Ты стихиям даешь законы;
Громам извне воздвиг препоны;
Но, ах! ты раб страстей своих! (Бунина 1219: 17)

В этих строках Бунина напоминает приемы и лексику державинских панегирических од и оды «Бог», которыми поэтесса пользуется с противоположной целью — для украшения отрицательного образа.

* * *

Проанализированные нами тексты под заглавием «Весна» некоторыми своими особенностями подобны друг другу, а другими сильно различаются.

Первый текст самый ровный из всех, в нем в духе Хераскова на фоне весны описывается приятность деревенской жизни. Наибольшие совпадения существуют между вторым текстом Волковой и рассмотренным стихотворением Урусовой. Подражая русским переводам Горация (используя сходные мотивы, восходящие к Томсону, и иногда даже похожие формулировки; см. таблицы 1, 3), поэтессы затрагивают и темы молодости (весна), возраста (осень) и смерти (зима). Кроме этого, в текстах заметна дидактическая функция, в них формулируется вывод: весна помогает внутренне обновиться, наслаждаться жизнью и радостью любви.

Из-за временной близости к недавно закончившимся Наполеоновским войнам, Бунина, наоборот, заменяет тему возраста на образ врага — Наполеона или французов в целом. Архаический язык и плотность содержания придают оде тяжеловесность. Общие представления о весне (серебряный ручей, розы, Зефир, тихий воздух) упоминаются при сопоставлении с врагом, здесь они выполняют функцию символов мира, счастья и покоя.

Во всех трех стихотворениях важную роль играют христианские мотивы. Одним из их основных источников является ода Г. Р. Державина «Бог».

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Бабореко 1992 — Бабореко А. К. Бунина Анна Петровна *ℳ* Русские писатели 1800–1917. Т. 1. М., 1992. С. 362–363.
 Бунина 1819 — Бунина А. П. Весна *ℳ* Бунина А. П. Собрание стихотворений: Лирическая поэзия. Ч. 1. СПб., 1819. С. 109–117.
 Волкова 1794 — Волкова А. А. Весна *ℳ* Новые ежемесячные сочинения. Ч. 95. Май 1794. С. 3–5.

- Волкова 1807 — Волкова А. А. Весна *ℳ* Стихотворения девицы Волковой. СПб., 1807. С. 39-40.
- Волкова 1989 — Волкова А. А. Весна *ℳ* Царицы муз: русские поэтессы XIX — начала XX века. М., 1989. С. 32.
- Гагарин 1793 — Гагарин П. С. «Зима угрюмая сокрылась...» *ℳ* Чтение для вкуса, разума и чувств. Ч. 9. М., 1793. С. 292-294.
- Данилевский, Кочеткова, Левин 1996 — Данилевский Р. Ю., Кочеткова Н. Д., Левин Ю. Д. Глава IV *ℳ* История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 2: Драматургия. Поэзия. СПб., 1996. С. 140-188.
- Державин 1865 — Державин Г. Р. Сочинения *ℳ* с объяснит. примеч. Я. Грота: в 9 т. Т. 2. СПб., 1865.
- Державин 1957 — Державин Г. Р. Стихотворения *ℳ* вступ. ст. и подгот. текста Д. Д. Благого; примеч. В. А. Западова. Л., 1957. (Б-ка поэта. Большая серия)
- Зорин 1992 — Зорин А. Л. Волкова Анна Алексеевна *ℳ* Русские писатели 1800-1917. Т. 1. М., 1992. С. 467-468.
- Карамзин 1787 — Карамзин Н. М. Весна *ℳ* Детское чтение для сердца и разума. Ч. 9. М., 1787. С. 195-205.
- Карамзин 1789 — Карамзин Н. М. Гимн *ℳ* Детское чтение для сердца и разума. Ч. 18. М., 1789. С. 151-158.
- Карамзин 1796 — Карамзин Н. М. От издателя *ℳ* Аониды. Кн. 1. 1796. С. III-VI.
- Кочеткова 2002 — Кочеткова Н. Д. Княжна Урусова и ее литературные собеседники *ℳ* Н. А. Львов и его современники: литераторы, люди искусства. СПб., 2002. С. 94-103.
- Кочеткова 2010 — Кочеткова Н. Д. Урусова Екатерина Сергеевна *ℳ* Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. СПб., 2010. С. 296-299.
- Левин 1970 — Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма *ℳ* От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970. С. 195-297.
- Левин 1988 — Левин Ю. Д. Дмитревский Дмитрий Иванович *ℳ* Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988. С. 276-277.

- Морозова 2003 — Морозова Г. В. Ода Горация «К Сексту» в русских переложениях XVIII в. (К проблеме «точности» и «вольности») *С* Проблемы поэтики и стиховедения. Ч. 2. Алматы, 2003. С. 186-190.
- Муравьев 1773 — Муравьев М. Н. Ода Сarmi<num> IV lib<er> I. Из Горация к Люцию Сексту Консулярному *С* Муравьев М. Н. Переводные стихотворения. СПб., 1773. С. 4-5.
- Поэты 1971 — Поэты 1790-1810-х годов *С* вступ. ст. и сост. Ю. М. Лотмана; подгот. текста М. Г. Альтшуллера; вступ. заметки, биогр. справки и примеч. М. Г. Альтшуллера, Ю. М. Лотмана. Л., 1971.
- Урусова 1796 — Урусова Е. С. Весна *С* Аониды. Кн. 1. М., 1796. С. 67-69.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ ПОЭЗИЕЙ И
ПРОЗОЙ. О ПЕРЕВОДЕ «НЕОЖИДАННОГО
СВИДАНИЯ» И. П. ГЕБЕЛЯ ВАСИЛИЕМ ЖУКОВСКИМ

Иоганн Петер Гебель (1760–1826) — часто недооцениваемый автор стихотворений и календарных рассказов для народа¹. Ибо хотя он, с одной стороны, региональный поэт, глубоко укоренившийся и высоко оцененный в родных краях между Базелем и Карлсруэ, довольствовался малопрестижными «малыми» жанрами, его календарные рассказы, с другой стороны, являются уже двести лет частью немецкого литературного и школьного канона². В то время как современники поэта восхищались гебелевскими «Алеманнскими стихотворениями» (1803)³, считавшимися истоком поэзии на алеманнском диалекте, сегодня они читаются почти исключительно в пределах их диалектного региона — от немецкоязычной Швейцарии до Бадена и, конечно, литературоведами. Но, начиная с 1820-х гг., «Календарные рассказы» снова и снова дают повод к новым научным исследованиям⁴. К постоян-

¹ По словам Людвига Ронера, Гебель не являлся ни «певцом крестьян», ни «певцом родины», он также не писал рассказов для детей (Rohner 1978: 164, 170, 209).

² Рассказы Гебеля относятся к основному фонду хрестоматий для немецких школ (Dücker 2010: 35).

³ До сих пор часто цитируется одобрительная рецензия И. В. Гете на «Алеманнские стихотворения» в «Jenaische Allgemeine Literaturzeitung» (1805. Bd. 1. Num. 37. S. 289–294); заново опубликована в: (Goethe 1998: 974–979). Эта рецензия стала для современного восприятия своего рода путеводителем (Storck 2004: 28). Шторк указал на то, что Гете увидел особенную прелесть гебелевских идиллий и стихотворений в совмещении «счастливых олицетворений» со склонностью к «нравственно-дидактическому и аллегорическому» (Там же: 28).

⁴ К юбилейному 2010 году появилось три биографии автора, из которых здесь называю только (Viel 2010) и некоторые сборники, например: (Wilhelmi 2010; Aurnhammer, Klessinger 2011).

но читаемым и вызывающим восхищение творениям Гебеля относится и календарный рассказ «Неожиданное свидание», который философы и писатели XX в. оценивали как шедевр⁵. Это сочинение, предвосхитившее короткий рассказ XX в., с 1980-х гг. заново стало привлекать внимание литературоведов. «Алеманнские стихотворения», которым Гебель обязан своей славой как поэт, с начала XX в., напротив, отступили на задний план.

Иначе обстоит дело с русским восприятием Гебеля. В России ценятся прежде всего «Алеманнские стихотворения», из которых В. А. Жуковский перевел некоторые стихи в 1816, 1818 и 1831 г.⁶ Среди этих стихов и идиллия «Овсяный кисель», которая привлекла особый интерес русских литературоведов. Она рассматривается как программный текст русского романтизма: Вацуро называет ее «смелой поэтической декларацией» (Вацуро 1978: 124–128), Виницкий исследует современную рецепцию идиллии по первым изданиям и выделяет различные круги ее адресатов и ее значение в контексте дискуссий о поэтическом слого, русском гекзаметре, народной идиллии и «невероятных балладах» Жуковского (Виницкий 2006: 31). Айзикова дает характеристику приемов, которые Жуковский употреблял в своих переводах из Гебеля (Айзикова 2009).

«Овсяный кисель» — это идиллия, адресованная сельским детям, диалогически организованный монолог рассказчика о постоянной смене жизни и смерти на примере вложенного в

⁵ Ср.: (Rohrer 1978: 176–177). Ронер отмечает, что оценка рассказа Эрнстом Блохом в 1926 г. («прекраснейший рассказ мира») стала основой для его последующей рецепции. Норберт Оллерс в статье о восприятии Гебеля Кафкой причисляет к поклонникам поэта среди иных философов Адорно, Беньямина, Блоха, Кракауэра и писателей Андерса, Бихселя, Белья, Брехта, Канетти, Схолема и Зебальда (Oellers 2004: 85). Оллерс пишет, между прочим, о том, что как раз так называемые «левые» авторы высоко оценивали школьного педагога, теолога и церковного деятеля Гебеля.

⁶ Жуковский перевел восемь текстов Гебеля: в 1816 г. четыре из цикла «Алеманнских стихотворений», в 1818 и 1831 гг. по два из того же цикла и из «Календарных рассказов» (Жуковский 2009: 402).

почву зерна, из которого вырастает новый хлеб. Текст вписывался в дискуссию о русском гекзаметре, обретшие новую актуальность в начале XIX в. в контексте просыпающегося народного сознания и прений о языке новой русской литературы (Айзиков 2009: 247–249). Если в случае «Овсяного киселя» гекзаметр был взят как метр немецкого оригинала, в рассказе «Неожиданное свидание» такой мотивации нет — календарный рассказ написан Гебелем прозой. Ниже мы сначала рассмотрим рассказ и перевод с точки зрения сравнительного анализа оригинала с русской версией Жуковского; затем мы займемся вопросом, как можно оценить перевод прозаического текста гекзаметром в тогдашнем контексте.

— К АНАЛИЗУ РАССКАЗА «НЕОЖИДАННОЕ СВИДАНИЕ» И ЕГО НЕМЕЦКОЙ РЕЦЕПЦИИ —

«Неожиданное свидание», «известнейший и наиболее цитированный рассказ» Гебеля (Kporf 1983: 135), появился в 1811 г. сначала на страницах календаря «Рейнландский домашний друг», а затем в том же году в сборнике «Шкатулка рейнского домашнего друга» (Nebel 1811: 292–294). Этим сборником Гебель хотел спасти от забвения публиковавшиеся им с 1803 г. сперва в «Княжеском Баденском сельском календаре» и потом в «Рейнландском домашнем друге» рассказы. Ведь изначальное предназначение рассказов для календаря грозило им именно этой судьбой. Календарь, популярный в печати жанр, возник вскоре после изобретения книгопечатания (Rohner 1978: 23–118). В немецкоязычных регионах первые напечатанные календари появились около 1500 г., а с 1520 г. стали выходить и «Крестьянские календари», которые содержали перечисления святых по дням, праздники, времена года, гороскопы и предсказания погоды, короткую информацию о политических и исторических событиях, несчастиях и открытиях, советы по сельскому и домашнему хозяйству и т. д. С 1570-х гг. в календари стали помещать и маленькие

рассказы, чудесные истории и анекдоты (Rohner 1978: 16). В это время календари уже были широко распространены и стали частью быта, но как к жанру «потребления» (в течение года выбрасывался листок за листком) к нему теряли интерес самое позднее по истечении года. В начале XVII столетия возникли и социальные различия: печатались календари для высших и для низших слоев; в XVIII в. календарь воспринимался как средство народного просвещения. Во многих немецких землях проводилась государственная календарная монополия, например, в Пруссии в 1700 г. (Там же: 44), а календари оформлялись по поручению монарха именно как «просветительские», предназначенные для народного просвещения. Если просветителям особенно важно было преодоление суеверий, то около 1800 г., в связи с романтическим открытием простого народа как носителя изначальных народных ценностей, стали развиваться новые концепции адресата и самого календаря. Этим занимался и Гебель, который с начала 1790-х гг. работал сперва учителем, потом профессором и, наконец, директором гимназии («Gymnasium illustre») в Карлсруэ. В 1802 г. его просили содействовать при редакции издаваемого с 1740-х гг. в земле Баден «Княжеского Баденского сельского календаря», который по причине плохого оформления и малоинтересного содержания так и не нашел покупателей. В 1806 г. Гебель наконец составил «Непрошеную экспертизу» («Unaufgefordertes Gutachten»), которая называла недостатки «Баденского календаря» и указывала на необходимые изменения (Там же: 179–195). Гебелевский концепт был одобрен курфюрстом, а самого Гебеля назначили единственным редактором нового баденского календаря, которому он дал название «Рейнландский домашний друг». «Рейнландский домашний друг» был адресован деревенскому и городскому населению с целью осведомлять о политических новостях и исторических событиях; он сообщал о несчастных случаях и преступлениях, давал практические советы и пересыпал рассказы анекдотами (Там же: 197–198). Гебель сам соста-

вил

вил первые выпуски (1802–1814) и снабдил их собственными статьями. Новый календарь пользовался большим успехом, о котором свидетельствовало постоянно повышающееся число изданий, и приносил стране высокие доходы.

Структура календаря, его разделение на дни, недели и месяцы задает необходимость ограничения сопровождающих текстов, а функция календаря — подача временного распределения года — имплицитно связывает с хронологической системой и с воспоминаниями о событиях прошлых времен. Это влияет и на создаваемые для календаря рассказы, в качестве первичных признаков которых Ян Кнопф называет историчность, диалогичность и установку на адресата (Kнопf 1983: 22–26). В качестве вторичных признаков жанра он называет установку на дидактизм, передачу практических знаний и моральных поучений и, наконец, вводит новый элемент — понятие народности, раньше находившееся в «подлитературных слоях», а с 1800 г. ставшее центральной категорией литературы романтизма. В Германии календарные рассказы Гебеля внесли большой вклад в развитие литературы для народа. Они отличаются особой манерой повествования — искусством, которое «значительно выше всех календарных рассказов тогдашнего и позднейшего времени» (Rohner 1978: 242). Гебель вырабатывал искусство тщательной композиции рассказа (часто в трехчленной форме), уделяя особое внимание «скреплению» концовки рассказа и его начала и технике повтора отдельных ключевых слов и деталей. К этому присовокупляется эллипсис: Гебель — «мастер выемок и пропусков». Многие из его рассказов, в том числе и «Неожиданное свидание», можно назвать примерами повествования с открытым концом (Там же: 296). С 1970-х гг. немецкие литературоведы начали интенсивно заниматься Гебелем, особенно в области нарратологии⁷. Они постарались разъяснить такие вопросы как значение

⁷ Стимулом для этих исследований стало активно обсуждавшееся эссе Вальтера Беньямина «Рассказчик», в котором на примере Николая Лескова и И. П. Гебеля постулируется «культурно-исторически обоснованное различие жанра устного повествования» от «вероятно, более близкого

его рассказов в рамках новой оценки жанра календарного рассказа (Kporf 1973; Rohner 1978; Kporf 1983), изображение времени в «Неожиданном свидании» (Öhlschläger 2011; Schmitz-Emans 2011; Vidal 2004), а также его связь с естественными науками того времени (Saße 2011).

В «Неожиданном свидании» рассказ ведется от лица объективного повествователя; короткий текст рассказа без всякого графического деления можно все же разделить на три части. История о юном горняке, который утром, за неделю до свадьбы, прощается со своей невестой и, уйдя на работу в горы, не возвращается, — первая часть. Рассказчик повествует здесь о событии, которое произошло пятьдесят лет назад (Hebel 1958: 549). Исходя из момента первого издания рассказа, мы можем установить время событий — середина XVIII в. Во второй части время конкретизируется: здесь перечисляются исторические события второй половины XVIII в., хотя и не всегда в хронологической последовательности. Они начинаются Лиссабонским землетрясением (1755) и концом семилетней войны, закончившейся разделением Польши, завоеванием независимости американцами, французской революцией и т. д. и завершаются завоеванием Пруссии наполеоновскими войсками и вступлением в войну Великобритании. Лаконичное перечисление достопамятных событий (лишь название исторических имен и фактов) задает большой временной простор и дает представление о том, какой долгий срок протекал между прощанием и новым свиданием героев. Кроме того, через более или менее регулярные интервалы перечисляются кончины австрийских монархов: Франца I, Марии-Терезии, Иосифа II, Леопольда II; к этому присоединяются смертная казнь И. Ф. Струензе и осада турками заключенного со своим войском генерала Штейна в Ветеранской пещере².

письменной культуре романа». Исходя из этого эссе, Михаил Эггерс обосновал выбор именно этих авторов спецификой их манеры повествования и характеристикой фигуры повествователя (Eggers 2008).

² Подробнее о событиях вокруг генерала Штейна см.: (Steiger 1994: 280–283).

Перечисление исторических событий с повторяющимися указаниями на смерть монархов включает смерть юного горняка в универсальный ход вещей, и это усиливается в последних предложениях второй части, в которых перечисление уступает место циклически повторяющимся повседневным работам: «<...> die Ackerleute säeten und schnitten. Der Müller mahlte, und die Schmiede hämmerten»⁹ (Hebel 1958: 550). Перечисление, связывающее линейное историческое время с циклическим временем всedневногo труда, кончается упоминанием горняков, которые, как и прежде, «gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt»¹⁰ (Там же: 550).

Затем начинается третья часть, занимающая больше половины рассказа. В ней рассказывается о нахождении невинного, законсервированного насыщением железного купороса трупа юного горняка, которого никто не знает, пока наконец не появляется поседевшая и дряхлая старушка, которая распознает в трупе своего бывшего, пятьдесят лет тому назад пропавшего в рудниках жениха. В начале третьей части юношеская красота жениха противопоставляется дряхлости бывшей невесты, но потом это противопоставление как бы перечеркивается совсем другим восприятием окружающей толпы, которая, скорее, видит контраст между холодностью безмолвствующего мертвого юноши и жаркой, будто вновь воспламенившейся любовью старой, но живой невесты. На правах последней живой родственницы она забирает труп жениха к себе домой и на другой день провожает его на кладбище. Она прощается с ним в надежде на новое свидание на том свете и уходит. Конец рассказа — зеркальное отражение первой прощальной сцены: на сей раз невеста прощается с женихом и покидает его. Одновременно неожиданное земное свидание бывших нареченных подкрепляет уверенность

⁹ «<...> крестьяне сеяли и косили. Мельник молот, а кузнецы ковали молотом» (перевод автора).

¹⁰ «копали по жилам металлов в своей подземной мастерской» (перевод автора).

в блаженстве нового свидания, высказанную невестой у гроба, и в воскресении к вечной жизни. В рассказе Гебеля присутствуют оба связанных с календарем понятия земного времени — понятие хронологического (линейного) и понятие циклического (повторяющегося) времени, которые противостоят друг другу и все-таки в реальности соседствуют. Оба времени вливаются в «безвременность трансцендентальности» (Кпорф 1983: 138).

Сюжет рассказа заимствован из опубликованной в Дрездене в 1808 г. естественно-исторической книги И. Г. Шуберта «Виды ночной стороны естественных наук» или, точнее, из переизданного в апрельском номере журнала «Язон» («Jason») в 1809 г. фрагмента о горняке. Журнал представил историю о фалунском горняке как «материал для вдохновения» и «задачу-конкурс» поэтам¹¹. И действительно, немецкоязычная литература не только тогда, но и до сих пор обращается вновь и вновь к сюжету о фалунском горняке и его невесте: такие поэты как Э. Т. А. Гофман, Гуго фон Гофмансталь, Франц Фюманн и В. Г. Зебальд создавали новые версии рассказа «Неожиданное свидание» — неотъемлемой части литературного канона с 1820-х гг.

¹¹ Но и художественно обработанное Шубертом изображение этого эпизода не было первым. Его сюжет восходит к реальному и вызвавшему интерес всей Европы происшествию 1719–1720 гг., когда при открытии засыпанного хода в рудниках Фалуна был обнаружен хорошо сохранившийся труп молодого горняка. Молодого человека опознал сперва старый горняк, бывший товарищ юноши, а потом старуха, узнавшая в нем своего бывшего нареченного. Интерес старой женщины к покойнику оказался, правда, материального свойства, поскольку признание ее как члена семьи погибшего в аварии обещало пенсию. Таково сообщение в рапорте члена Академии наук Адама Лееля (Adam Leyel), который опубликовал его в 1722 г. в первом томе «Acta litteraria Sueciæ Upsalæ publicata». По позднейшим сообщениям, старуха за 500 талеров продала труп медицинскому факультету Стокгольмского университета, где он был выставлен в стеклянном сосуде. Когда труп начал разлагаться, университет, как говорят, похоронил его в 1748 г. на кладбище. См.: (Safе 2011: 13–15; Rohner 1978: 285–287; Viel 2010: 212–216).

К ПЕРЕВОДУ «НЕОЖИДАННОГО СВИДАНИЯ»

В 1818 г. В. А. Жуковский перевел — наряду с текстом из «Алеманнских стихотворений» — первую часть и начало второй части рассказа «Неожиданное свидание», которые он переложил гекзаметром (2/4 стиха) и внес в неопубликованную им «Книгу Александры Воейковой». В 1831 г. он снова обратился к рассказу, переработал уже написанные строки, завершил переложение и опубликовал его с подзаголовком «Быль» в журнале «Муравейник» (Жуковский 2009: 428). В комментариях к тексту в четвертом томе Полного собрания сочинений И. А. Айзикова резюмирует изменения немецкого оригинала: они касаются прежде всего перечисления исторических событий, где Жуковский заменил некоторые мало известные русскому читателю происшествия другими, более знакомыми¹², а также характеристик главных лиц, которых Жуковский обрисовал заметно короче и сократил их речь.

Остановимся сперва на речи героев: Жуковский сократил первую и последнюю из трех речей невесты, вычеркнул любовные исповеди. Айзикова трактует эти вычеркивания как стремление снизить сентиментальный пафос: «интимные, мелодраматические интонации заменены символическими акцентами, связанными с одной из любимых

¹² См.: (Жуковский 2009: 428). Добавим, что Жуковский, переняв общий принцип изображения времени у Гебеля (перечисление исторических событий), видоизменяет некоторые детали. Гебель, рассказ которого появился в 1811 г., датирует исчезновение молодого горняка «лет пятьдесят тому назад», а нахождение тела 1809 г. — непосредственно временем перед публикацией рассказа. Таким образом, он актуализирует историю, делает ее частью современности. Жуковский не называет года совсем, в начале рассказа он заменяет точное время исчезновения юноши на «лет за семьдесят», то есть адаптирует датировку к минувшему с публикации Гебеля времени. Хотя он и не называет года нахождения тела, но продолжает гебелевское перечисление исторических событий до смерти Наполеона в 1821 г. Не называя точно времени нахождения тела, Жуковский снижает актуальность рассказа.

идей Жуковского о жизни как вечном движении» (Жуковский 2009: 428). Если мы сравним речи влюбленных у Гебеля и у Жуковского, то получается следующее: в первой прощальной сцене из речи жениха вычеркнуто одно предложение, а именно его сон о будущей семейной жизни в «собственном гнезде». У Жуковского горняк говорит только о благословении Божиим их союза. «Собственное гнездо» Жуковский переносит в ответ невесты: «<...> И в нашей убогой Хижине радость и мир поселятся» (Там же: 30). У Гебеля невеста, в отличие от Жуковского, продолжает предложение: «<...> denn du bist mein einziges und alles, und ohne dich möchte ich lieber im Grab sein als an einem anderen Ort» (Hebel 1958: 550)¹³. Немецкий текст вызывает два противоположных представления — сентиментально-романтический топос о великой, единственной в жизни любви и суеверный страх призывания смерти через название гроба (Viel 2010: 216–218). Помимо этого, в рассказе речь невесты обнаруживает свою несостоятельность, поскольку показывается, что она могла жить без жениха пятьдесят лет. Гебель, таким образом, приводит сентиментальные топосы, но не развивает их. Жуковский вычеркивает эти строки, так же как и описание нового пламени любви у старой невесты. То же самое Жуковский делает с прощальными словами невесты у гроба жениха. В немецком тексте она произносит три предложения, которые завершаются голосом повествователя:

„Schlafe nun wohl, noch einen Tag oder zehn im kühlen Hochzeitsbett, und laß dir die Zeit nicht lang werden. Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald wirds wieder Tag. Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Male auch nicht behalten“, sagte sie, als sie fortging und noch einmal umschaute (Hebel 1958: 552)¹⁴.

¹³ «<...> ибо ты мой единственный и мое все, а без тебя мне лучше быть во гробе, чем в любом другом месте» (перевод автора).

¹⁴ «„Спи теперь спокойно, еще день или десять, на прохладном брачном ложе, и не позволяй, чтобы время тянулось долго. У меня уже мало дел, и я скоро приду, и скоро будет новый день. Что однажды земля отдала,

Жуковский перевел лишь последнее предложение: «Что однажды земля отдала, то отдаст и в другой раз!» Этой сентенцией он заканчивает текст. Так Жуковский акцентирует христиански-символический смысл рассказа, веру в воскресение и нового свидания в вечной жизни.

Айзикова не называет всех изменений, предпринятых Жуковским, в том числе и одного, радикально изменившего текст Гебеля. Гебель точно описал (в соответствии с научным докладом Шведской Академии наук 1722 г.) место нахождения трупа и назвал естественную причину хорошего состояния тела — железный купорос, которым оно пропиталось во время долгих лет лежания в шахте. Жуковский не дает причины сохранения юношеской красоты жениха и этим сообщает кажущейся нетленности тела ауру неизъяснимого и чудесного. Таким образом он вычеркивает реальные детали горного дела и усиливает установку на христианское представление о воскресении мертвых. Если Гебель не разрешает противоречия между естественным изъяснением земного события и верой в чудо воскресения и связывает это с представлением о воскрешении и топосом нового свидания любящих, то Жуковский переписывает рассказ Гебеля о нечудесном чуде и создает рассказ-чудо.

~ К ВОПРОСУ О ГЕКЗАМЕТРЕ ~

Айзикова называет трансформацию гебелевского прозаического текста в стихотворный текст в гекзаметре важнейшим изменением, сделанным Жуковским. Жуковский начинал перевод календарного рассказа в контексте дискуссий о русском гекзаметре (Жуковский 2009: 454–455)¹⁵, когда переводил и некоторые тексты из «Алеманнских стихотворений». В этих

то отдаст она и во второй раз!», — сказала она, уходя и в последний раз оглянувшись» (перевод автора). Ронер указывает на то, что конец рассказа предвосхитил открытый финал коротких рассказов XX в., истоки которого обыкновенно связываются с Чеховым (Rohner 1978: 293–294).

¹⁵ Подробнее о дискуссиях о гекзаметре того времени см.: (Егуннов 2001: 157–182).

стихотворениях Гебель намеревался доказать, что диалект его родного края Бадена способен быть литературным языком; с помощью гекзаметра и других метров он хотел «облагородить» его¹⁶. Одним из приемов, которые Гебель употребил с этой целью, был гекзаметр: большой успех стихотворений стал свидетельством его правоты. В 1804 г. — год спустя после опубликования «Алеманнских стихотворений» — Гебель познакомился с глубоко почитаемым им профессором классических языков, переводчиком Гомера и автором идиллий И. Г. Фоссом, который принадлежал к поклонникам «Алеманнских стихотворений» (Wiegand 2010: 211). Фосс давал ему не только советы по оформлению гекзаметров по античному образцу, но также и по дальнейшей переработке алеманнского диалекта в язык поэзии. Фосс сам в молодости написал несколько идиллий на нижненемецком языке, считавшемся тогда диалектом, и развил в них «идеальный нижненемецкий» язык, который должен был быть «чистым», «прочным» и понятным всей Германии. Фосс считал алеманнский диалект, как и нижненемецкий язык, «первородным», живым языком, который он предпочитал «нигде в точности не употребляемому» и поэтому уже «мертвому» верхненемецкому языку (Там же: 211–213). Хотя Гебель в последующие годы и прекратил эксперименты с алеманнской поэзией, он при работе уже над календарем и календарными рассказами все же стремился к созданию «народных» сочинений, к народности. В этом он соприкасается с русскими дискуссиями того времени о народности и о

повествовательном

¹⁶ 8 февраля 1802 г., во время работы над «Алеманнскими стихотворениями», в которые он помимо прочих метров вводил и гекзаметр, Гебель написал Ф. Д. Гретеру: «В „Алеманнских стихотворениях“ я боролся с трудностью писать на этом грубом и, кажется, вовсе не нормированном диалекте чисто и классически, а не низко; точно сохранить характер и мировоззрение народа и перелить в него и подружить с ним благородную поэзию. Мое первое намерение — подействовать на моих земляков, возбудить их моральные чувства и отчасти напиться и облагородить их восприятие прекрасной природы, отчасти же возбудить его». Цит. по: (Storck 2004: 27).

повествовательном стиле. Жуковский, хотя и не экспериментировал с диалектной поэзией, хотел выработать народную и одновременно благородную русскую поэзию. В качестве средства облагораживания простого языка и простых жанров народной литературы он испробовал, как и Гебель, гекзаметр. Гекзаметр он понимал не только как метр, облагораживающий язык и предмет, он ему представлялся «синтетическим метром, где сосуществует ритмическая организация и повествовательная стихия» (Матяш 1979: 91). Гекзаметр очаровывал своей многофункциональностью — древние создавали в нем и высокую поэзию о великих героях и повествовательную поэзию о повседневной жизни. По словам И. М. Семенко, «разговорно-сказовый гекзаметр привлекал Жуковского как одна из возможностей развития в России повествовательного стиля. Ему было важно при этом, что гекзаметрическая форма облагораживала бытовое содержание, придавала своего рода священность, значимость самым обыкновенным факторам жизни» (Семенко 1975: 226–227).

Разговорный вариант гекзаметра, отмеченный многократными «стяжениями», цезурами внутри строки и переносами и поэтому очень гибкий, связывал разнообразную ритмическую организацию с естественным течением повествования; он мог облагородить поэтому и простой рассказ о простых делах. В 1816 г. Жуковский испробовал гекзаметр в переводе простонародной идиллии «Овсяный кисель» и стихотворения готического характера «Красный карбункул», написанного Гебелем гекзаметром (оба относились к «Алеманнским стихотворениям»). В предисловии к переводу «Красного карбункула» Жуковский назвал две цели своего переложения, а именно:

«...» Испытать: 1-е, может ли сия привлекательная простота, столь драгоценная для Поэзии, быть свойственна Поэзии Русской? 2-е, прилично ли будет в простом рассказе употребить Гекзаметр, который доселе был посвящен единственно важному и высокому? (Жуковский 2009: 402).

В 1818 г. он продолжил эти опыты при переводе уже не стихотворения, а рассказа «Неожиданное свидание», который, однако, не довел до конца. В 1831 г., в контексте дискуссий о переводе «Илиады» Гнедичем, он снова обратился к рассказу Гебеля и завершил перевод. Одновременно он адаптировал рассказ к русскому культурному горизонту и «облагородил» его, не только переложив на гекзаметр, но и нивелировав земную любовь, а также опустив естественную причину «чудесного воскресения» молодого горняка. Таким образом, он сместил фокус на христианское представление о воскресении мертвых и вечной жизни.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Айзикова 2009 — Айзикова И. А. Идиллическая модальность переводов В. А. Жуковского из И.-П. Гебеля // Канунова Ф. З., Айзикова И. А., Никонова Н. Е. Эстетика и поэтика переводов В. А. Жуковского 1820–1840-х гг.: проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. Томск, 2009. С. 244–255.
- Вацуро 1978 — Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978. С. 118–138.
- Виницкий 2006 — Виницкий И. Ю. Дом толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображение В. А. Жуковского. М., 2006.
- Егунов 2001 — Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII — XIX веков. М., 2001.
- Жуковский 2009 — Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 4. М., 2009.
- Матяш 1979 — Матяш С. А. Метрика и строфика В. А. Жуковского // Русское стихосложение XIX века. М., 1979. С. 14–96.
- Семенко 1975 — Семенко И. М. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975.
- Aurnhammer, Klessinger 2011 — Johann Peter Hebel und die Moderne // ed. by A. Aurnhammer, H. Klessinger. Freiburg i. Br.; Berlin; Wien, 2011.

- Dücker 2010 – Dücker B. „So sprach der Richter und dabei blieb es...“ Texte Johann Peter Hebels in Schulbüchern vom 19. bis zum 21. Jahrhundert: Zur literaturgeschichtlichen Funktion von Lesebuchtexten *ℳ* Johann Peter Hebel (1760–1826) *ℳ* hrsg. von T. Wilhelm. Berlin, 2010. S. 33–92.
- Eggers 2008 – Eggers M. Aufklärerische Metaphysik. Walter Benjamin zu Nikolaj Lesskov und Johann Peter Hebel *ℳ* Arcadia. International Journal for Literary Studies. 2008. Vol. 43. Issue 1. P. 140–157.
- Goethe 1998 – Goethe J. W. Sämtliche Werke. Abt. I. Bd. 18. Frankfurt a. M., 1998.
- Hebel 1811 – Hebel J. P. Unverhofftes Wiedersehen *ℳ* Hebel J. P. Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Tübingen, 1811. S. 292–294.
- Hebel 1958 – Hebel J. P. Unverhofftes Wiedersehen *ℳ* Hebel J. P. Gesammelte Werke. Bd. 1. Berlin, 1958. S. 549–552.
- Knopf 1973 – Knopf J. Geschichten zur Geschichte. Kritische Tradition des „Volkstümlichen“ in den Kalendergeschichten Hebels und Brechts. Stuttgart, 1973.
- Knopf 1983 – Knopf J. Die deutsche Kalendergeschichte. Ein Arbeitsbuch. Frankfurt a. M., 1983.
- Oellers 2004 – Oellers N. „Sehr gut wäre zeitweilig Hebel“. Eine Empfehlung Kafkas *ℳ* Lebendige Tradition und antizipierte Moderne. Über Johann Peter Hebel *ℳ* hrsg. von R. Faber. Würzburg, 2004. S. 83–95.
- Öhlschläger 2011 – Öhlschläger C. „Gestaute Zeit“/„Episches Gefälle“. Erfahrung und Gestaltung historischer Ungleichzeitigkeit bei Johann Peter Hebel und W. G. Sebald *ℳ* Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Formen und Funktionen von Pluralität in der ästhetischen Moderne *ℳ* hrsg. von S. Schneider, H. Brüggemann. München, 2011. S. 295–310.
- Rohner 1978 – Rohner L. Kalendergeschichte und Kalender. Wiesbaden, 1978.
- Saße 2011 – Saße G. Der konservierte Bergmann: Repetition und Variation eines literarischen Motivs bei Schubert, Hebel, Hoffmann

- und Hofmannsthal *ℳ* Johann Peter Hebel und die Moderne *ℳ*
 hrsg. von A. Aurnhammer, H. Klessinger. Freiburg i.Br.; Berlin;
 Wien, 2011. S. 13-30.
- Schmitz-Emans 2011 — Schmitz-Emans M. Geschichte, aus der man
 nichts lernen kann. Zeitmodelle bei Hebel, Bichsel und Sebald *ℳ*
 Johann Peter Hebel und die Moderne *ℳ* hrsg. von A. Aurnhammer,
 H. Klessinger. Freiburg i.Br.; Berlin; Wien, 2011. S. 73-99.
- Steiger 1994 — Steiger J. A. Bibel-Sprache, Welt und Jüngster Tag bei
 Johann Peter Hebel. Erziehung zum Glauben zwischen Überlieferung
 und Aufklärung. Göttingen, 1994.
- Storck 2004 — Storck J. W. Johann Peter Hebels „Alemannische
 Gedichte“. Eine Einführung für dialektferne Leser und Hörer *ℳ*
 Lebendige Tradition und antizipierte Moderne. Über Johann Peter
 Hebel *ℳ* hrsg. von R. Faber. Würzburg, 2004. S. 21-36.
- Vidal 2004 — Vidal F. Hebel bei Bloch. Zur Bedeutung von rhetorischer
 Geschichtsschreibung und inszenierter Mündlichkeit *ℳ* Lebendige
 Tradition und antizipierte Moderne. Über Johann Peter Hebel *ℳ*
 hrsg. von R. Faber. Würzburg, 2004. S. 97-110.
- Viel 2010 — Viel B. Johann Peter Hebel oder Das Glück der
 Vergänglichkeit. Eine Biographie. München, 2010.
- Wiegand 2010 — Wiegand H. Johann Peter Hebel und Johann Heinrich
 Voß *ℳ* Johann Peter Hebel (1760-1826) *ℳ* hrsg. von T. Wilhelmi.
 Berlin, 2010. S. 211-224.
- Wilhelmi 2010 — Johann Peter Hebel (1760-1826) *ℳ* hrsg. von T. Wil-
 helmi. Berlin, 2010.



ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД РУКОПИСЯМИ ПЕРЕВОДОВ ВЯЧ. ИВАНОВА

В историю русской культуры Вячеслав Иванов вошел, помимо всего прочего, как мастер стихотворного перевода. Именно потому, что заслуги поэта в этой области общепризнанны, не может не удивлять тот во многом прискорбный факт, что до настоящего времени русский читатель не располагает сколько-либо полным и репрезентативным собранием переводов Вяч.Иванова. Так, в четырех томах его брюссельского собрания сочинений (1971–1987), которое, увы, уже не будет никогда завершено, переводы представлены крайне скупо и оттеснены на периферию. Мы не найдем здесь ни перевода из Пиндара (1899) — одной из первых публикаций поэта в самом конце XIX в., ни его знаменитой книги «Алкей и Сафо» (1914), стремительно переизданной в 1915 г. в связи с папирусными находками ранее неизвестных текстов. Нет в вышедших томах и трагедий Эсхила — одного из центральных переводческих замыслов поэта; на неудовлетворительность их воспроизведения в серии «Литературные памятники» в 1989 г. неоднократно указывалось специалистами. В томике стихов Вячеслава Иванова в «Малой библиотеке поэта» находим лишь небольшое число переводов из древнегреческой лирики — из Вакхилида, Алкея, Сафо. Двухтомное издание стихов Вячеслава Иванова в «Большой библиотеке поэта» (1995) содержит только Вакхилидова «Тезея» и лишь потому, что он был включен Ивановым в собственную книгу лирики «Прозрачность» (1904).

Самим Вячеславом Ивановым при жизни были подготовлены к печати упомянутые выше переводы из Пиндара, Алкея, Сафо и Вакхилида, именно они были републикованы (разумеется, не целиком) в антологиях и хрестоматиях, составленных

Ф. Ф. Зелинским (1920), Л. В. Блуменау (1935), Я. Э. Голосовкером (1935) и Н. Ф. Дератани (1935 и позднейшие переиздания)¹. При этом обширный массив переводных текстов, содержащийся в бакинской диссертации Вяч. Иванова «Дионис и прадионисийство» (1923), оказался невостребованным (тут, кстати, находим, позднейшую, наиболее авторитетную редакцию Вакхилидова «Тезея»).

Не исследован до сих пор и вопрос, как формировалась ивановская концепция перевода, какое место она занимает в истории русской переводческой мысли. Не собраны и даже не выявлены все тексты, не просмотрены фронтально основные архивные фонды на предмет наличия в них переводов Вяч. Иванова. Конечно, данная работа будет рано или поздно проделана; в данной же краткой статье хотелось бы пока сделать несколько предварительных замечаний и поделиться наблюдениями, которые стали возможны благодаря обращению к рукописям Вяч. Иванова и обогащают наши представления о разных гранях его переводческого наследия.

Первый текст, о котором пойдет речь, опубликовал в 2008 г. Г. М. Бонгард-Левин по единственному беловому автографу в сборнике ранних стихотворений Вяч. Иванова, хранящемуся в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки (далее НИОР РГБ). Это перевод отрывка из седьмой книги «Бхагавадгиты», выполненный Вяч. Ивановым в 1884 г., то есть в восемнадцатилетнем возрасте (Бонгард-Левин 2008: 214, примеч. 2; Шифр рукописи: НИОР РГБ. Ф. 109. К. 1. Ед. хр. 22. Л. 8–8 об.). Г. М. Бонгард-Левин считал, что перевод сделан с немецкого языка (Бонгард-Левин 2008: 201), С. Д. Титаренко полагала, что с латыни (Титаренко 2012: 34; ср. также: Титаренко 2013).

Бонгард-Левин воспроизвел интересующий нас поэтический текст как сплошной, без деления на строфы, без каких-либо

¹ Библиографическую информацию об этих и других прижизненных публикациях Вяч. Иванова см. в справочнике: (Дэвидсон 2012).

либо отступов, что настороживало. Его метрическую структуру ученый также никак не прокомментировал. Об этом нельзя не пожалеть, ибо для передачи индийских шлок Вяч. Иванов избрал элегический дистих. В рукописи не только имеются отступы перед четными строками, но двустипишия к тому же разделены звездочками, что подчеркивает их афористичность и сакральный характер. Все это побуждает воспроизвести этот текст еще раз, сохранив при этом все особенности графики оригинала:

Бог

Из Бгавадгиты

Я — начало миров, и во Мне же они исчезают;
Как ожерельная нить — перлы, держу я миры.

⊛

В море волнами теку Я; в солнечных, лунных и звездных
Я сияю лучах, Я — благовонье земли.

⊛

Всюду, всегда Я живу в бесконечности творческих видов;
Тихо царю, недвижим, в вечном волнении их.

⊛

Я — дух мужей. Светит миру одно лучезарное солнце:
Свет Мой предвечный один — дух человека живит.

⊛

Смертный! возьми мое око: Меня узреть глаз твой беспилен.
Я — начало существ, Я их середина и смерть.

⊛

Все, что радостно живо и движется, все, что недвижно, —
Все в моем теле ты зришь: все чрез Меня и во Мне.

⊛

Ты увидишь Меня в благовонных небесных одеждах,
В свете небесных венцов, в чудном различии лиц.

≈

⊗
 Тьмами сверкающих глаз Я владею, и вглубь проникает
 Пламенный взор мой весь мир, движимый мощью моею.

⊗
 В божеском теле моем единится сей мир многочастный;
 Все живое во мне, вечно волнуясь, кишит.

⊗
 Я — Господь твой, Я — всё; Я — един, всеобразен и вечен;
 Служит Мне всякая жизнь, радуясь жизни своей.

Июнь 1884

Как известно, шлоки — это двустишия. Каждая строка в них состоит из двух восьмисложных полустиишй, разделенных цезурой, и завершается ямбической диподией. Вячеслав Иванов, конечно же, хорошо знавший об этом, избирает размер, в котором каждая из строк всегда имеет различное число слогов и метрически неоднородна. Первая гекзаметрическая строка в своем полном виде насчитывает 17 слогов; вторая пентаметрическая — 14. В случае замены дактилических стоп хореическими число слогов в строках уменьшается². Таким образом, избирая элегический дистих для перевода шлок, юный поэт стремился найти размер для передачи двустрочных афористических строк — и уже укорененный в русской традиции, и восходящий к древности. Задачи же максимально передать особенности строения и ритмики шлок он перед собой, судя по всему, не ставил.

Приведу еще один ранний перевод Вяч. Иванова, озаглавленный им «Царство сна». Это до сих пор не опубликованное переложение отрывка из «Метаморфоз» Овидия (кн. XI, стихи 592–618) обнаружено мною в тетради, объединяющей стихи 1885 г.:

² В переводе Вяч. Иванова четыре из десяти нечетных строк насчитывают 16 слогов; три из десяти четных — 13.

Из Овидия (Метаморфозы, кн. XI, 592–618)

Царство сна

Есть в полуночной стране углубленная в гору пещера,
 В груди утеса — чертог сновидений беспечного бога.
 Там не горят ни восход, ни полуденный свет, ни вечерний
 Феба лучей золотых. Там земля выдыхает туманы,
 5 Полные влажною мглой; там мерцанье неверного света.
 Там не разбудит зари хохлатая птица, проснувшись,
 Утренней песнью своей; не нарушат ночного покоя
 Чуткий заботливый пес и гусь, не менее чуткий;
 Нет ни крика зверей, ни звука стад, ни дыханья
 10 Ветра в древесных ветвях, ни смешанной речи народа.
 Вечный, безмолвный покой!.. Лишь из лона скалы вырываясь,
 Плещет Забвенья поток; шелестящие мелкие камни
 Тихо колеблет волна и журчанием сны навевает...
 пышные маки цветут пред сводом глубоким пещеры;
 15 Ночь из несчетных растений впитывает сонную влагу,
 Сонной росой окропляет одетые³ тенью долины.
 Черное ложе стоит из эбена в середине чертога;
 Там, под темным покровом, на темной пуховой постели
 Бог возлежит, и сном утомленные члены объаты.
 20 Вкруг толпами легли облеченные видом различным
 Грезы и тщетные сны; их много, как в жатве колосьев,
 Свежих ветвей среди леса, песчинок на взморье далеком.
 Дева вошла⁴ и руками раздвинула рои видений,
 Вкруг обступивших ее, и сияньем лучистой одежды
 25 Вдруг озарился чертог.

Новоспасское, июля 12, 1885⁵

В этом юношеском опыте обращает на себя в первую очередь его гладкость — шестнадцать из двадцати четырех гексаметрических стихов чисто дактилические; лишь в шести находим по одной хорейческой стопе (стихи 6, 10, 14, 15, 19, 21)

³ Было начато: [покры].

⁴ Было ранее: взшла.

⁵ НИОР РГБ. Ф.109. Карт. 1. Ед. хр. 25. Л. 2.

и в двух — по две (стихи 8 и 9). Все это, конечно, далеко от ритмического богатства оригинала; достаточно упомянуть, что уже первый стих отрывка содержит два спондея («Est prope Cimmerios longo spelunca recessu...»). Есть в переводе и лексические неловкости, как например: «...не нарушат ночного покоя / Чуткий заботливый пес и гусь, не менее чуткий» (ср. у Овидия: «...pес voce silentia rumpunt / sollicitive canes canibusve sagacior anser»).

Другие ранние переводы Вяч. Иванова также убеждают, что четкая концепция при передаче метров древней поэзии сложилась у него не сразу: так, весной 1890 г. рифмованными ямбами по образцу XVIII столетия, были переложены два псалма, а чуть позже — эпиграмма Марциала (IX, 45). Напомню, что с конца 1890-х гг. Вяч. Иванов выступил как убежденный сторонник передачи даже сложнейших количественных стрóf и размеров их качественными аналогами. Впервые эту свою точку зрения поэт обосновал в предисловии к переводу «Первой Пифийской оды», воплотившему эти принципы (Иванов Вяч. 1899).

Обратимся теперь еще к одному, весьма специфическому корпусу переводов из древних поэтов. Авторитет Вяч. Иванова как переводчика античной поэзии сказался, помимо прочего, и в том, что к нему неоднократно обращались с просьбой переложить в стихи небольшие отрывки из древних поэтических текстов, содержащиеся в произведениях других авторов. В этом качестве поэт представлен в переводе размышлений Марка Аврелия 1914 г. и в издании Петрарки 1915 г.

На участии Вяч. Иванова во втором издании стоит остановиться подробнее. Так, в Римском архиве Вяч. Иванова (далее РАИ) сохранилась тетрадь, в которую Гершензон выписал стихотворные цитаты (или их инципиты) из «Автобиографии» Петрарки, которую переводил⁶. На титульном листе Вяч. Ивановым сделана помета:

⁶ РАИ. Оп. 2. Карт. 28. Ед. хр. 20. Выражаю признательность А. Б. Шишкину, предоставившему мне цифровые копии этой рукописи для работы. Они готовятся к публикации на сайте Исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме.

Михаилу Осиповичу Гершензону
 Москва, Арбат, Никольский п. 13.
 Отпр. Вяч. Иванов
 Сызрано-Вязем. Ж. д.
 ст. Средняя, имение В. В. Бера.

В имении Владимира Владимировича Бера Петровском, близ города Алексина, Вяч. Иванов гостил летом 1914 г. Здесь он пережил начало Первой мировой войны, здесь им был написан лирический цикл «Петровское на Оке», здесь он почасти виделся с Ю. К. Балтрушайтисом, Б. Л. Пастернаком, художником Н. П. Ульяновым.

Судя по всему, с тетрадки, посланной Гершензону летом 1914 г., производился набор стихотворных цитат, которые уже в корректуре порой правились Ивановым. Издания большинства процитированных Петраркой поэтов были у него под рукой, но не всегда. Так, рядом с неполными выписками из Теренция Иванов написал: «Не имея под рукою Теренция, прошу выписать эти места сполна в письме»⁷. Кажется, что в нескольких случаях он был воодушевлен оригиналом и потому перевел больше, чем от него просили. Например, в текст Петрарки оказалось включено полтора стиха из «Энеиды» («Вниз по веревке спустясь, / Вторглись вороги в град, и сном и вином погребенный...»), тогда как Иванов перевел полностью шесть стихов, описывающих вторжение ахейцев в Трою (II, 259–265):

Вынул засовы Синоп: выпускает на волю, разверстый,
 Витязей конь. Веселясь, из полого древа выходят
 Вождь за вождем, — Фессандр и Сфенел, и Улисс-погубитель,
 Вниз по веревке спустясь, — Афамант и Фоант воеводы,
 Отрасль Пелеева — Неоптолем, и первый Махаон,
 И Менелай, и Эпей злокозненный, кова строитель:
 Вторглись вороги в град, и сном и вином погребенный⁸.

⁷ Там же. Л. 10 об.

⁸ Там же. Л. 14. Здесь и далее приводятся окончательные редакции стихов; правка, имеющаяся в рукописях, не отражается.

«Энеида» дает еще один образец такого «перепроизводства» — в книгу 1915 г. оказался включен всего один стих («Все замечает светила, плывущие в небе безмолвном...»), в то время как переведено было три (III, 515–517):

Все замечает светила, плывущие в небе безмолвном:
Ливни несущих Гиад, Арктура, обеих Медведиц;
Видит, как блещет оружием златым отовсюду Орion⁹.

Из десятой сатиры Ювенала востребовано было полстиха («...и бесплодной смоковницы корень»), Иванов же перевел четыре с половиной (142–146):

Не раз угнетала отчизну
Честолюбивая алчность немногих к надписям гордым,
Кои ми мрамор кичится, останков страж вековечный.
Но переспорить легко и бесплодной смоковницы корню
Каменных славу письмен; и гробницы подвержены року.

Несколько более полной была первоначально цитата из «Од» Горация (IV, 7, 17–18). Вместо одного стиха в книге 1915 г. («Жизни вчерашний итог возрастет ли на́ день завтра?»), в рукописи находим два:

Жизни вчерашний итог возрастет ли на́ день завтра?
Ведают боги одни.

Лишь в одном случае Гершензон по неясной причине отказался от следующего стихотворного перевода Вяч. Иванова, предпочтя передать это место прозой (так в печатном тексте: «обеспечить себе старость приличную и не чуждую Музам»; Гораций, «Оды», I, 31, 19–20):

Избавь от старости презренной,
От несогретой волненьем лирным!¹⁰

В другом месте Гершензон отказывается от ивановского стиха, когда Петрарка, опираясь на цитату из Вергилия, выстраивает собственную, прозаическую фразу: «Non minus

enim

⁹ Там же. Л. 16.

¹⁰ Там же. Л. 5.

enim vos et mole corporum et dulcedine rerum temporalium sepulti estis, quam illos somno vinoque sepelivit Maro» (имелся в виду стих из «Энеиды», II, 265). Вяч. Иванов переложил здесь в стихи как раз прозаический пассаж Петрарки:

Косною тяжестью тел, вещей обольщением сладким...¹¹

Значительный интерес для изучения переводческого наследия Вяч. Иванова представляют материалы неосуществленной антологии «Греческие лирики в русских стихотворных переводах»¹². Она собиралась в течение нескольких лет В. О. Нилендером под руководством Ф. Е. Корша и не вышла в свет из-за смерти последнего в 1915 году. Через много лет Нилендер использовал часть оказавшихся в его распоряжении материалов при подготовке хрестоматии «Греческая литература в избранных переводах» (Греческая литература 1939: 88–91, 94, 100–114, 116–126, 128–129, 176–183). Здесь представлены в переводе Вяч. Иванова стихотворные тексты Солона (5), Мимнерма (3), Феогида (4), Гиппоакта (10), Сапфо (22), Алкея (17), Анакреонта (1), Алкмана (4), Ивика (2), Симонида Кеосского (7), Пиндара (воспроизведены триады первая, третья и пятая Первой Пифийской оды), Вакхилида (2), пять народных песен и два отрывка из трагедий Эсхила.

Корректуры неосуществленной антологии «Греческие лирики в русских стихотворных переводах», сохранившиеся в фонде Нилендера, позволяют не только значительно расширить корпус переводов Вяч. Иванова из древних поэтов,¹³ но в одном случае общепринятое авторство поэта относительно одного из текстов в «Греческой литературе в избранных

¹¹ Там же. Л. 14. Ср. в переводе Гершензона: «погружены в телесную косность и в сладкое обольщение преходящих вещей».

¹² Сохранились в фонде В. О. Нилендера: НИОР РГБ. Ф. 583. Карт. 1. Ед. хр. 3–28, 35–36.

¹³ Об истории этого проекта и неизвестных ранее переводах Вяч. Иванова см. подробнее: (Лаппо-Данилевский 2014).

переводах» не выдерживает критики. Именно на этот случай атетезы хотелось бы обратить здесь внимание.

Напомню, что в хрестоматии 1939 г. напечатано с общим указанием на принадлежность поэту пяти переводов из Солона: «Саламин» («Все горожане, сюда! Я торговый гость саламинский...»); «Нет, никогда не погибнет сей град: так велела Судьбина...»; «Сердце велит мне сказать вам, сограждане, что безначалье...»; «А они, желая грабить, ожиданий шли полны...»; «Моей свидетельницей пред судом времен...» (Греческая литература 1939: 88–89). И еще одно уточнение: фрагмент «Сердце велит мне сказать вам, сограждане, что безначалье...» содержит в «Греческой литературе в избранных переводах» всего три стиха и присоединен к предыдущему фрагменту, видимо, по инициативе Нилендера (это решение можно считать до известной степени оправданным в силу того, что оба фрагмента почерпнуты из речей Демосфена). В корректурах же антологии он фигурирует как отдельный текст, насчитывающий восемь стихов.

В конце подборки из Солона имеется недвусмысленное указание имени переводчика: «Вячеслав Иванов», явно относящееся ко всем стихам. Все же в одном случае авторство русского поэта следует отвергнуть. Речь идет о следующем переводе из Солона:

А они, желая грабить, ожиданий шли полны,
 Думал каждый, что добудет благ житейских без границ,
 Думал: под личиной мягкой крою я свирепый нрав.
 Тщетны были их мечтанья... Ныне, в гневе на меня,
 Смотрят все они так злобно, словно стал я им врагом.
 Пусть их! Мне, что обещал я, все ж исполнить удалось,
 И труды мои не тщетны. Не хочу я, как тиран,
 По пути идти насильи или дурным дать ту же часть,
 Что и добрым горожанам в тучных родины полях.

В авторитетном указателе русских переводов из античной поэзии этот перевод учтен под № 2743, сразу после № 2742 (Античная

(Античная поэзия 1998: 107) — перевода А. М. Ловягина, сделанного им в составе «Афинской политии» (Аристотель 1895: 17, 19). При этом оба перевода начинаются с одной и той же строки и столь близки к друг другу текстуально, что дело идет несомненно о двух редакциях одного и того же текста¹⁴. Последние сомнения в этом рассеивает корректура с подборкой из Солона, предназначавшейся для антологии Корша и Нилендера, — здесь этот перевод подписан фамилией Ловягина; на набранном тексте имеются поправки почерком Нилендера¹⁵. Судя по всему либо Нилендер, готовя позднее свою хрестоматию, запутался в многочисленных материалах, либо произошел какой-то сбой уже во время печатания книги.

Подобное уточнение побуждает к вполне правомерному вопросу о том, насколько аутентичны другие переводы из Солона, фигурирующие под именем Вяч. Иванова. Просмотр под новым углом материалов антологии, готовившейся к печати Коршем и Нилендером, показал, что оснований для подобных сомнений нет. Более того, в результате предпринятых поисков обнаружилось ранее не идентифицированные черновики ямбических триметров «Моей свидетельницей пред судом времен...» Солона в переводе Вяч. Иванова среди его бумаг в Пушкинском Доме¹⁶.

Здесь же рядом находится беловой автограф ивановского перевода двух фрагментов из поэмы Ксенофана Колофонского «О природе» (Diels, Kranz 1952: 21 В 23 [стихи 1–2] и 21 В 24 [стих 3]), объединенных в одно стихотворение. Этот стихотворный текст, важный в контексте интереса Вяч. Иванова к монотеистической традиции в античной культуре, хотелось бы здесь в первый раз опубликовать:

¹⁴ Выражаю признательность В. В. Зельченко, обратившему мое внимание на то, что речь должна вестись в данном случае об одном и том же переводе.

¹⁵ НИОР РГБ. Ф. 583. Карт. 1. Ед. хр. 19. Л. 17.

¹⁶ РО ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. п. 8. Л. 183–183 об.

Есть в соборе богов и людей величайший, единый
 Бог, не подобный ни видом своим, ни мыслию смертным.
 Весь Он видит, и мыслит Он весь, и слухом внимает¹⁷.

Кажется, список сюжетов, связанных с переводами Вяч. Иванова и накопленных мною к сегодняшнему дню, исчерпан. Будем надеяться, что сделанные наблюдения не только добавили несколько ярких штрихов в общую картину наших знаний о Вяч. Иванове-переводчике, но и приблизили время выхода из печати собрания его переводов.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Античная поэзия 1998 — Античная поэзия в русских переводах XVIII–XX вв.: Библиографический указатель / сост. Е. В. Свиясов. СПб., 1998.
- Аристотель 1895 — Аристотель. История и обзор Афинского государственного устройства / пер. и изд. А. Ловягин. СПб., 1895.
- Бонгард-Левин 2008 — Бонгард-Левин Г. М. Индия и индологи в жизни и творчестве Вяч. Иванова // Вестник истории, литературы и искусства. Т. 5. М., 2008. С. 201–218.
- Греческая литература 1939 — Греческая литература в избранных переводах / сост. В. О. Нилендер. М., 1939.
- Дэвидсон 2012 — Дэвидсон П. Библиография прижизненных публикаций произведений Вячеслава Иванова: 1898–1949. СПб., 2012.
- Иванов Вяч. 1899 — Иванов Вяч. Первая Пифийская ода Пиндара [Вступление к переводу] // Журнал Министерства народного просвещения. 1899. Ч. 324. Июль. С. 48. (5-я паг.) ч. 324. Авг. С. 49. (4-я паг.)
- Лаппо-Данилевский 2014 — Лаппо-Данилевский К. Ю. Переводы Вяч. Иванова, предназначавшиеся для антологии «Греческие лирики в русских стихотворных переводах» Ф. Е. Корша и В. О. Нилендера // Русская литература. 2014. № 1. С. 178–205.

¹⁷ Там же. До Вяч. Иванова оба фрагмента переводил С. Н. Трубецкой (1907); после него — Ф. Ф. Зелинский (1920). Выражаю признательность Е. Л. Ермолаевой и В. В. Зельченко за помощь в идентификации источников перевода.

- Титаренко 2012 — Титаренко С. Д. Фауст нашего времени: Мифопоэтика Вячеслава Иванова. СПб., 2012.
- Титаренко 2013 — Титаренко С. Д. К истокам ранних мифопоэтических исканий Вячеслава Иванова: перевод из «Бхагавадгиты» (1884) // Русская литература. 2013. № 1. С. 137–153.
- Diels, Kranz 1952 — Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch von Hermann Diels / hrsg. von W. Kranz. 6. Aufl. Berlin, 1952.



Michael Düring

CANON FORMATION IN THE SOVIET UNION: THE
CASE OF SWIFT AS AUTHOR OF A CHILDREN'S
CLASSIC

~ I. INTRODUCTION ~

The founding of the Soviet Union in 1922 did not only inaugurate a new state, but also created a new, the so-called "Soviet Literature". From the beginning, within this ideological construct, children's literature played an important role, because politicians regarded it to be a good means to educate the coming generations of Soviet people. In this context, however, it is important to note that also foreign authors and their "classics" were seen as useful instruments in this education process. It is the task of this paper to show how this process ran regarding the case of Jonathan Swift and his "Gulliver's Travels" (1726).

Cultural policy considering children's literature began already shortly after Revolution, when, in 1918, the so called "Children's Institute" ("Institut detey") was founded to do research on children's behaviour and psychology. Soviet cultural policy, then, began in 1925, a few years after the cataclysms of Civil War, when the recovery of economy during the New Economic Policy (NEP) and the consolidation of the literary scene made the publishing of journals like "Novyj Robinson" ("The New Robinson") possible, which were to propagate a serious children's literature no longer trivializing literary works. In this context, it must suffice to name Samuil Marshak and Korney Chukovskij, renowned authors and theoreticians of children's literature.

However, and considering the case of Swift, it is also central to note that approximately at the same time Maksim Gorkiy at the First Writer's Congress in 1934, in line with the Soviet literary critic Anatolij Lunacharskiy, openly proliferated the

Dean's work to be published in the Soviet Union. But already since 1927, Swift's "Gulliver's Travels" had been published in different Soviet editions for children (Deych 1927, Derman 1928, Gabbe, Zadunayskaya 1931, Stenich 1935). Thus, in the early period of the Soviet reception of World Literature for children, Swift's masterpiece became one of the most popular classics not only, but especially for young Soviet readers and, by that, was made part of a new canon of classics of children's literature in a very specific ideological context, in which, apropos, Soviet Swift research was eager to discuss questions of critical reception, translations, and supplements of "Gulliver". At this point, it is important to add that, in the Soviet Union, this canon was actually handed down from generation to generation, so that even people born in the 1970ies are all quite well informed at least about Gulliver's first two voyages.

Now, what precisely happened between 1922 and 1937, why and to which extent we can speak of the "Sovietization" of Swift's classic (and not only..)?

~ II. SOVIET SWIFT CRITICISM (1917-90) ~ 1922-1939¹ ~

Overall, the Soviet era is characterized by an unprecedented treatment of Swift's life and work, especially "Gulliver's Travels", which was interrupted only during World War II (1940-1944) and the years of the "Zhdanovshchina" (1945-1948), when Andrey Zhdanov (1896-1948) was responsible for Soviet cultural politics as People's Commissioner of Education.

Consequently, between 1922 and 1939, Soviet Swift criticism is engrossed with "Gulliver's Travels", but an increasing number of studies and articles also deal with other works by the Dean at that time, and, in doing so, discuss aesthetic and

¹ The decades between 1922 (the founding of the Soviet Union) and 1939 (the beginning of World War II) are the decisive years in Swift's Soviet canonization.

generic questions as well as issues of satire. A proof for that are studies, which try to appropriate Swift for the new ideological context and, because of that, are listed up under the heading “General criticism”.

* I. General Criticism² *

The first critic who actually tried to appropriate Swift for the Soviet Union was V.M.Friche in a turncoat essay contributed to his monograph on Western European literature in 1922 (Friche 1922: 63-67), significantly after he had published a note on Swift in 1917, which Marxist ideology had not yet infiltrated (Friche 1917: 473-476). This turn-around seems to have paved the way for a great number of Soviet studies on Swift — almost a hundred until the end of the Soviet Union altogether. One of the most important of these early studies is that of 1930 by Anatoliy Lunacharskiy, People’s Commissioner for Education at that time and therefore quite influential. Lunacharskiy not only demanded Swift’s ‘canonization’ as an author of World Literature but discussing the Dean’s “Tale of a Tub” was also the first to propagate the image of Swift as an atheist (Lunacharskiy 1965: 37-47). Predictably, and mentioned above, Maksim Gorkiy was to single out this image. However, and even more important, Gorkiy posited Swift as an author who must be translated and published for the new Soviet people, thus, prompting Soviet adaptations of the “Travels” for children, too (Gorkiy 1968: 80). During the First Writers’ Conference of 1934, then, he praised the Dean as one of the most prominent anti-bourgeois and atheistic writers (Gorkiy 1953a: 250). In 1933, in an article, published in “Pravda” and “Izvestiya”, he had already demanded not only the founding of a publishing house responsible exclusively for children’s literature but even the establishment of a paper factory, which should produce

² “General criticism” includes all studies, which do not specifically deal with distinct works by Swift.

high quality paper for children's books (Gorkiy 1953b: 251). As Gorkiy was the icon of Socialist Realism, his wish for paper was the Central Committee's command... Consequently, already at September 9, 1933, the Central Committee decreed the founding of a publishing house, the so-called Detskoye gosudarstvennoe izdatel'stvo ("Detgiz"). It was its task to "re-(edit) the best of children's world literature ('Robinzon Kruzo', 'Puteshestviya Gullivera', 'Žyul' Vern i dr.), especially those which have educational intention".³ Thus, Swift received holy orders from the top of the Soviet Union, and you can imagine that this was the beginning of a great career...

As indicated above, when Gorkiy, Lunacharskiy, and the Central Committee went hand in hand in propagating Swift at the beginning and in the middle of the 1930ies, some Soviet versions of "Gulliver's Travels" already existed and other literary critics discussed Swift and his work. Thus, in 1933, Aleksandr Deych and Efim Zozulya had brought out the first Soviet monograph on Swift (Deych, Zozulya 1933). In this, the authors enclosed Marxist aesthetics, contextualizing Swift's life in a way that allowed for its instrumentalization. This re-evaluation went hand in hand with a detailed discussion of numerous of the Dean's works, including, among others, "The Battle of the Books", "A discourse of the Contests and Dissensions ... in Athens and Rome", "A Tale of a Tub", "The Conduct of the Allies", "Journal to Stella", the Irish pamphlets ("Cadenus and Vanessa" as well as "A Modest Proposal"), and "Directions to Servants". However, "Gulliver's Travels", of course, was in the centre of interest, so that Deych and Zozulya met Lunacharskiy's and Gor'kiy's demands. In the wake of this, in 1936, 'orthodox' Soviet Swift critics such as M. D. Zabludovskiy began to detect the socialist-realist Swift, after cultural policy proclaimed Socialist Realism the official art doctrine in 1934 (Zabludovskiy 1936: 61-97). Consequently,

³ See (Resheniya partii o pechati 1941: 159).

Zabludovskiy was able to introduce a new topic, the Dean's 'ideological development' as part of the canonization process. According to Zabludovskiy, however, Swift cannot justly be called a socialist-realist writer since, even though he recognized the vices and follies of his age, he was incapable of doing anything against them:

Swift realizes the deficiencies of his society, but he is not able to find out the reasons for the most important contradictions of his age and, what is more, is unable to remove them. This is why he confines himself to moralizing instructions (Zabludovskiy 1936: 91).

This argument was to become a permanent fixture of subsequent Soviet studies of Swift, reiterated not only by Zabludovskiy himself, but also by critics like E. M. Vurgaft, V. V. Veselovskaya, and, during the 1960s, by I. A. Dubashinskiy. Only the Swift criticism of the late 1970s and 1980s, then, was able to liberate itself from these orthodox positions, but that is already another topic of the debate...

In addition to those "orthodox" studies, however, the 1930s also saw the publication of Mikhail Levidov's biography "Puteshestvie v nekotorye otdalennye strany mysli i chuvstva Dzhonatana Svifta snachala issledovatelya a potom voina v neskol'kikh srazheniyakh" (1939⁴). It immediately caused a controversy mainly fought in the leading literary journal of that time, the "Literaturnaya gazeta", and elsewhere (Düring 2007: 148-160). Several critics attacked Levidov, the reason for this harsh criticism was, ostensibly, that he broke radically with Swift scholarship of both the nineteenth and

the

⁴ A second edition came out in 1964, the third in 1986; the chapter dealing with "A Tale of a Tub" was prepublished in "Literaturny kritik" ("The Literary Critic"; № 6. 1932. P. 27-106); quotations are from the 1926-edition (Levidov 1926).

the first three decades of the twentieth century. In so doing, however, he extolled the artist's freedom in society:

Especially in England, the process of man emancipating himself from ancient dogmas and authorities was to be felt most pressingly, and especially in this epoch, in England, lived, thought and suffered the freest man of his age, who dreamt of freedom for everybody, but who could not find the seed for sowing the cleared fields — Jonathan Swift (Levidov 1926: 33).

Levidov, thus, not only bore down upon Soviet cultural discourse in the late 1930s, he also ignored official demands to appropriate Swift for the Soviet Union. Finally, his openly confessed subjectivity and polemical tendency also made him *persona non grata* in the 1940s and 1950s.

* II. "Gulliver's Travels" *

The critical reception of "Gulliver's Travels" is analogous to the development of "General Criticism". V.M.Friche, for one, in his article on Swift, published in 1922, interprets Book 4 of the "Travels" as a eutopia, in which the Yahoos represent the bourgeois system and the Houyhnhnms an ideal, socialist society (Friche 1922: 66-67). In their monograph "Swift", Deych and Zozulya, in 1933, continue this early Soviet approach, reading Gulliver as a 'class giant' who is suppressed by the Lilliputians, personifications of bourgeois modes of conduct. Moreover, Deych and Zozulya "apply" the "Travels" to Fascist Germany:

Is it not so that, up to the present, leaders keep whole nations in chains, class-giants that could easily crush them as Gulliver could have crushed the Lilliputians? Of course, the Lilliputian way of acting, comparable to that of bourgeois and fascist governments, is based upon a distinctive correlation between economic powers — Swift did not know that to the extent that he should have, and therefore came down upon human "vices" without knowing anything about their origin (Deych, Zozulya 1933: 130).

At the same time, however, Deych and Zozulya anticipate Zabludovskiy's thesis that Swift was only able to criticize vices and follies, but incapable of doing anything against them.

As in "General criticism", Mikhail Levidov is one of the most remarkable figures in the criticism of "Gulliver's Travels", his most procreative assumption being that Swift and Gulliver are the same person. "Gulliver's Travels" is a confession:

It is not Gulliver who tells us something about his travels, but doctor Swift who relates the wanderings of a normal man in a crazy world (Levidov 1986: 242).

This quotation, once again, illustrates Levidov's outsider position in Soviet Swift criticism and reminds us of the exceptionality of his theses.

This short piece of information should suffice to outline the ideological context in which the first Soviet translations of Swift's masterpiece were published.

~ III. TRANSLATIONS OF "GULLIVER'S TRAVELS" ~

The catalogues of the Russian State Library, Moscow, the Library of the Academy of Sciences and of the National Library, both in Saint Petersburg, list 132 different editions of "Gulliver's Travels" in Russian, published between 1772 and the year 2000. Only between 1780 and 1820 and between 1821 and 1844 are there no translations of Swift's masterpiece. One hundred and thirty-two different editions, however, do not mean 132 different translations. What they boil down to are five complete versions, four different ones for adolescents, and a greater number of adaptations for children. In this article, I would like to concentrate on those (Düring 2007: 252-258).

As in other countries, also in Russia, "Gulliver's Travels" is reduced to an even greater extent to an essentially harmless, funny, and adventurous story in all the children's adaptations published from 1844 ("Puteshestviya Gullivera: Sostavlennye dlya detey: S 16-t'yu litogr. kartinkami", ["Gulliver's Travels, Adapted

Adapted for Children: With 16 Illustrations”], Sankt Peterburg) up to 1990 with a total of thirty different. Generally speaking, Russian children’s editions of “Gulliver” include only Book One and Two. Passages touching upon sexuality and scatology, politics, and allegory all translators deleted. Moreover, in many versions, the point of view is changed from that of the first-person narrator-agent to omniscient narrator, as, for instance, in O. I. Shmidt-Moskvitinova’s adaptation “Puteshestviya d-ra Gullivera v stranu lilliputov i k velikanam: Po Sviftu peredelano dlya russkogo yunoshstva” (“Gulliver’s Travels to the Countries of the Lilliputians and the Giants: Adapted for the Russian Youth according to Swift”), published in Saint Petersburg by A. F. Devrien in 1883 (reprinted 1885, 1901 and 1914 under the name of Rogova), and in Tamara Gabbe’s and Z. Zadunayskaya’s “Gulliver u lilliputov: Po syuzhetu Svifta” (“Gulliver in Lilliput: According to Swift’s Plot”), first published in Moscow and Leningrad by “Molodaya Gvardiya” in 1931, and later “canonized” as the sole Soviet children’s version (without Zadunayskaya’s name, however; here quoted as Gabbe 1993). Only A. Deych’s adaptation of Book 1 (quoted as Deych 1927) and the adaptation of Book 2 (“Gulliver u velikanov” [“Gulliver in the Country of the Giants”], Moscow and Leningrad, Publishing House Detskoy Literatury 1937, quoted as Zabolotskiy 1937) by Nikolay Zabolotskiy retain the narrator’s point of view. Deych, by the way, is the only one to preserve the chapters of the original text and the time structure, whereas Zabolotskiy in his version goes without any dates. However, this approach seems to be reasonable, because the time structure is of no greater relevance for children.

Another point worth discussing is that, in contrast to one of Swift’s possible intentions to give his readers the illusion of truth, in the soviet adaptations the fairy tale contents of the *Travels* are underlined. With regard to realia we can observe a nearly unanimous approach in the three early soviet children’s versions — Deych, Gabbe/Zadunayskaya, and

Zabolotskiy all transliterate the fantastic names and languages, with the exception that Zabolotskiy replaces proper nouns by Russian pet names. Thus, “Glumdalclitch” and “Grildrig” became “nyanyushka” (‘little nurse’) and “chelovechek” (‘little man’ — not pejorative). In addition to that, all three go without the translation of the seafarer’s slang in II, i, 2⁵. As an example stands Zabolotskiy’s adaptation of that fragment:

И действительно, на следующий день разразилась страшная буря. Море бушевало. Наш парус лопнул. Мы уже не могли управлять кораблем. Нас несло ветром неизвестно куда (Zabolotskiy 1937: 5).

Finally, it must be underlined that satiric strategy as well as aspects of reader controlling do not matter in those adaptations that changed the first person narrator-actor into an omniscient teller. There might be several reasons for that. First: we are all aware of the fact that there are no satirical children’s books, second: the 1930s are the decade of severe Stalinism, in which satire had no right of existence. In this context, it is also important to note that official state censorship banned supposed obscenity from literature — the body and its function were one of the central taboos of Socialist Realism. Thus, even the more or less harmless episodes from Book I and II of the Travels had been crossed out (I, i, 5 [Gulliver plans “to pee”] *↪* I, v, 9 [Gulliver by urinating saves the King’s palace], and II, i, 15 [Gulliver defecates]). However, we all know that children have a much more natural relationship to sexuality and scatology, so it might have been possible to adopt these passages. Nevertheless, one finds one passage, the Colossus-scene (I, iii, 7), in Deych’s adaptation, but it eliminates the most “offensive” part of the description of Gulliver’s trousers (see Deych 1927: 21). It is quite revealing, then, how Gabbe/Zadunayskaya and Zabolotskiy dealt with paragraph II, i, 11, in which the Brobdingnagian nurse tries to

⁵ The numbers indicate book, chapter and paragraph of Swift’s original.

quiet her babe — in the translations, we merely deal with a completely different episode:

The Nurse to quiet her Babe made use of a Rattle, which was a Kind of hollow Vessel filled with great Stones, and fastned by a Cable to the Child's Waist: But all in vain, so that she was forced to apply the last Remedy by giving it suck. I must confess no Object ever disgusted me so much as the Sight of her monstrous Breast, which I cannot tell what to compare with, so as to give the curious Reader an Idea of its Bulk, Shape and Colour. <...> The Nipple was about half the Bigness of my Head, and the Hue both of that and the Dug so varified with Spots, Pimples and Freckles, that nothing could appear more nauseous <...> (II, i, n).

Ребенок тотчас же схватил меня и потащил к себе в рот. Он принял меня за игрушку. Уж он совсем было засунул в рот мою голову, но тут завопил во все горло. Ребенок испугался и выронил меня из рук. Я полетел на пол со страшной высоты и, конечно, сломал бы себе шею, если бы мать не подставила свой передник. Ребенок снова разревелся: Чтобы успокоить его, нянька принялась стучать в огромную погремушку, которая висела у нее на поясе. Погремушка была наполнена камнями и громко трещала (Zabolotskiy 1937: 13).

Но тут уж Гулливер не вытерпел. Он закричал чуть ли не громче своего учителя, и ребенок в испуге выронил его из рук. Наверно, это было бы последнее приключение Гулливера, если бы хозяйка не поймала его на лету в свой передник. Ребенок заревел еще пронзительнее, и, чтобы успокоить его, кормилица стала вертеть перед ним погремушку. Погремушка была привязана к поясу младенца толстым якорным канатом и напоминала большую выдолбленную тыкву. В ее пустом нутре громыхало и перекатывалось, по крайней мере, штук двадцать бульжников (Gabbe 1993: 78).

Both adaptations rewrite the scene insofar as the child puts Gulliver into its mouth instantly, and, when he is taken away,

needs to be quietened — in both Russian adaptations, the nurse does not make use of her breast but uses a rattle. However, in his adaptation, Zabolotskiy uses the word ‘toy’ for Gulliver and is able, as far as he keeps the first person narrator perspective, to reproduce Gulliver’s factual style. This seems to have been impossible for Gabbe/Zadunayskaya, because they changed the perspective to a third person narrator. As a compensation, they compare the rattle with a “scooped out honeydew melon” and, by that, heighten the vividness of the passage without mentioning the nurse’s breast.⁶

To adapt “Gulliver’s Travels” for children, however, also means to go without the political allegory in I, iv [high-heels, low-heels, the way of breaking the eggs] and without Gulliver’s discussions with the King of Brobdingnag in book II. Thus, only the funny and thrilling passages from Book I and II remain, for instance the stocktaking of Gulliver’s trouser pockets, the violent boarding of the Blefusconian fleet, and, last but not least, the amusing adventures of Gulliver in Brobdingnag. However, quite inexplicable, the translators omitted Gulliver’s jump into cow dung, as described in the original... (II, 5, 16).

If all these adaptations for children reveal us something of their authors’ intentions, these the reader find in the final passages. For instance, Tamara Gabbe’s concluding paragraph, in which equality for all people is posited, illustrates that Marxist ideology seems to have found a home even in children’s editions:

Gulliver began to get used to his home, his home town, and all his familiar things. Day by day, he was wondering less and began to see normal people in normal stature around him. Eventually, he even learned to accept them as having equal rights and not to look upon them from below or above. To treat people

⁶ Here, it is important to note that western-european “Gulliver” translations for children, of course, omit all taboos hinted at in this article, too.

like this is more agreeable and practical, because one must not have one's head in the neck or bend one's spine (Gabbe 1993: 136).

On the contrary, however, in his exemplary adaptation of the second book Nikolay Zabolotskiy entirely refrained from moralizing:

In my age, I had many more adventures. I lived on an enormous flying island. A few years I spent in the Country of the Horses. Giants, however, I never met again. They stayed far, far away behind the sea. And nobody knows the way into their country (Zabolotskiy 1937: 50).

~ IV. SUPPLEMENTS ~

If we talk about Swift' "sovietisation" between 1922 and 1939, we have to deal not only with the Dean's critical reception and adaptations of his masterpiece for children but also with his abiding existence as Gulliver, who lives on in supplements that continue, or rewrite, his fate. Moreover, "Gulliver's Travels" influenced a series of utopian and satirical works of Russian literature in a more general way, beginning already in the 18th century with M.M.Shcherbatov's "Puteshestvie v zemlyu ofirskuyu" ("A Voyage to Ofir", 1776) and ending with V.N.Voynovich's dystopia "Moskva 2042" ("Moscow in the Year 2042", 1982).

The first work to actually supplement "Gulliver's Travels" is L.N.Andreev's pre-revolutionary short story "Smert Gullivera" ("The Death of Gulliver", 1910), in which Lev Nikolaevich Tolstoy's death in 1910 is compared with Gulliver's death in Lilliput in order to illustrate the cultural loss Russia has suffered. After the paradigm change of the October Revolution, Andreev was followed by two poems, L.N.Tikhonov's "Gulliver igraet v karty" ("Gulliver plays Cards", 1920) and P.G.Antokol'skiy's "Gulliver" (1929), which encodes the fate of the censored Soviet author S.D.Krzhizhanovskiy, who is depicted as an intellectual giant in a country of stupid dwarfs. Krzhizhanovskiy himself,

in 1933, wrote two short stories (“Gulliver ishchet raboty” [“Gulliver is Looking for Work”], 1933 and “Moya partiya s korolem velikanov” [“My Game of Chess with the King of the Giants”], 1933), in which Gulliver is turned into the metaphor of an artist writing under a dictatorship. In the first story, for example, Gulliver tries to work as a captain and as a surgeon. Both attempts end in catastrophic failure: the ship commanded by Gulliver sinks, because he is too heavy, and the only patient he operated upon dies, because his scalpel is too large for a Lilliputian appendix. In the second story, we see Gulliver as playing chess with the King of Brobdingnag and learning that the King is always right. Even when checkmated by Gulliver, the King refuses to accept defeat, smashing the board with his fist. Gulliver swoons and is put into a drawer, together with the chess figures, by a royal servant. Only when the King demands “revenge” is Gulliver rescued. This game Gulliver loses due to his “politeness”: he has learned to submit to the ruler. Both short stories show Krzhizhanovskiy as an author of complex prose, who was addressing educated readers able not only to read stories as “supplements” of “Gulliver’s Travels” but also as allegories of their own cultural context.

A highlight of Soviet creative reception of the 1930s surely is M. Yu. Kozyrev’s (1892–1942) novel “Pyatoe puteshestvie Gullivera” (“Gulliver’s Fifth Voyage”), written in 1936. In it, Kozyrev describes Gulliver’s fate in a country called “Yuberalliya” (Юбераллия), a pun on fascist Germany (“über alles”) and the Soviet Union (“Überall”). As a result, it appeared in print only in 1991. Describing a non-existing place, Kozyrev, thus, turns the utopia (“über alles”) into a dystopia (“Überall”) and, in doing so, openly refers to two dictatorial countries dominated by censorship, denunciation, and nationalism, to name but a few. Using Swift’s “Gulliver” as one of his pretexts, Kozyrev warns against dictatorial systems of all colours, no matter whether fascist or bolshevist. Yet whereas Swift’s Gulliver, at the end of his voyages, loses faith in humankind and

and decides to spend the remainder of his days among the noble horses, Koyzrev's hero seems to preserve his faith in man, since his Gulliver finds hope in the Yuberalliyah Yahoos, who, in his novel, are representatives of the people. Overall, Kozyrev seems to condemn Fascism without glorifying Communism, at the same time completely ignoring the instruments of Socialist Realism. Unsurprisingly, like Krzhizhanovskiy's, his work was suppressed under Stalin, but different to Krzhizhanovskiy, who survived Stalinism, Levidov died in the Gulag in 1942.

~ V. AFTERWORD ~

All of this shows that Swift's canonization process runs on three levels, whereas the third level seems to be a threat to official literary policy. The first level, i.e. the critical reception process, proves that ideological instrumentalization started already in 1917 and seems to have been finished in 1936/39. This goes for quite a number of Swift's works as well as for his biography. On the second level, we can observe the reception of Swift's works in translations, especially of "Gulliver's Travels" for children. The diversity with respect to translations, which could be observed until 1917, comes to an end by producing paradigmatic Soviet translations, which were canonized and replaced prerevolutionary versions (especially of "Gulliver's Travels"). This was possible because they were published in extremely great numbers, and, thus, were able to leave their mark on the minds of generations of Soviet Swift-readers, who were acquainted with a special image of Swift and his works. Thus, in the Soviet Union the ambivalent situation arose that the Soviet readers — probably unintentionally — became more familiar with Swift's texts as cultural officials might have intended. We can prove this thesis by looking at the third level of Swift's canonization process, Russian language Gulliver supplements. Their authors more often than not made use of the allegorical potential of the origi-

nal, so that, especially between 1922 and 1936, Soviet Gulliver supplements became extremely ambivalent texts, cultural officials could not as easily instrumentalize for didactic purposes as the unambiguous texts of Socialist Realism. Thus, these works evaded official canonization and drew the multifaceted, enigmatic image of Gulliver (and probably of the Dean of St Patrick's), as it challenges legions of interpreters even today.

— BIBLIOGRAPHY —

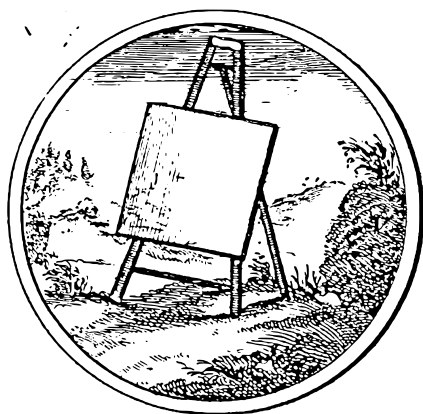
- Derman 1928 — Свифт Д. Путешествия Гулливера в отдаленные страны / обработка и примеч. А. Дермана. М.; Л., 1928.
- Deuch 1927 — Гулливер в Лиллипутии / пер. с англ. и обработка А. Дейча. М., 1927.
- Deuch, Zozulya 1933 — Дейч А. И., Зозуля Е. Д. Свифт. Вып. 20. М., 1933. (Серия биографий. Жизнь замечательных людей)
- Düring 2007 — Düring M. Jonathan Swift in Russland. Frankfurt/M., 2007.
- Friche 1917 — Фриче В. М. Свифт / Энциклопедический словарь Гранат. Т. 37. Ч. VII. М., 1917. С. 473-476.
- Friche 1922 — Фриче В. М. Свифт. М., 1922.
- Gabbe 1993 — Свифт Д. Путешествия Гулливера / пересказ Т. Габбе. М., 1993.
- Gabbe, Zadunayskaya 1931 — Свифт Д. Гулливер у лиллипутов: По сюжету Свифта / пересказ Т. Габбе, З. Задунайской. М.; Л., 1931.
- Gorkiy 1953a — Горький М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 24. М., 1953.
- Gorkiy 1953b — Горький М. Литература — детям / Горький М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 27. М., 1953. (впервые опубликовано в газетах «Правда» и «Известия» в июне 1933 г.)
- Gorkiy 1968 — Горький М. О детской литературе. М., 1968.
- Levidov 1986 — Левидов М. Ю. Путешествие в некоторые отдаленные страны. Мысли и чувства Дж. Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях. М., 1986.

- Lunacharskiy 1965 — Луначарский А. В. Джонатан Свифт и его «Сказка о бочке» / Луначарский А. В. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 6. М., 1965. С. 37-47. (см. также: Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., 1958. С. 535-547)
- Resheniya partii o pechati 1941 — Решения партии о печати. М., 1941.
- Stenich 1935 — Свифт Д. Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей / пер. и обработка В. Стенича. М., 1935.
- Zabludovskiy 1936 — Заблудовский М. Д. Сатира и реализм Свифта / Реализм XVIII в. на Западе. М., 1936. С. 61-97.
- Zabolotskiy 1937 — Гулливер у великанов / обработал для детей Н. Заболоцкий. М.; Л., 1937.



ЧАСТЬ V

ПОСТРИТОРИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА



Александр Анатольевич Карпов

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» ПУШКИНА В ПЕРЕЛОЖЕНИИ ПЛАТОНА СМИРНОВСКОГО

В конце 1838 г. типография конторы петербургского «Журнала общепользных сведений» выпустила в свет «Повести и рассказы» Платона Смирновского¹. Нет необходимости уточнять, что творчество, личность, да и само имя этого автора сегодня практически неизвестны². Впрочем, так же обстояло дело и в момент выхода книги, ставшей для писателя дебютной.

Попытку восполнить этот пробел представляло собой довольно большое по объему предисловие к сборнику — «Миниатюрный эскиз прозаической шестилетней моей жизни» — пожалуй, самая любопытная и, как кажется, для Смирновского — самая важная часть его книги. Из предисловия мы узнаем, что в момент *создания* сборника автору было двадцать пять лет, что он мелкий чиновник и в то же время писатель со стажем, что первоначально его книга включала не только прозу, но и стихи, сегодня по неким туманным «обстоятельствам» скрываемые от взоров публики. Выясняется также, что автор — житель Петербурга, на некоторое время отлучавшийся из столицы, в силу чего издание его сборника пришлось отложить на три года³.

¹ Цензурное разрешение — 22 ноября <1838 г.>.

² См. о нем работы последних лет: (Казакова, Розин 2007: 685–687 (эта статья была написана по моей инициативе. — А. К.); Казакова, Карпов 2008: 368–369).

³ Сопоставление сборника с сочинениями современников автора вызывает сомнения в том, что он был подготовлен к печати задолго до выхода (то есть не позднее 1835 г.). Вероятно, предложенная Смирновским ложная датировка была призвана предвосхитить упреки в подражательном характере вошедших в книгу произведений. Впрочем, сборник мог формироваться и на протяжении нескольких лет.

Однако ценность предисловия связана не только и не столько с этими фактическими сведениями. В нем ярко выражены черты личности и особенности мироощущения автора. В сумбурном, возбужденно-многословном обращении Смирновского к читателям удивительным образом переплетаются самоуничтожение и амбициозность, жалобы и угрозы, готовность судить и быть судимым, дерзкий вызов миру и надежда на сочувствие:

...Пусть, хотя для игрушки, обшиплот мои грустные думы; пусть, за бездельцу, посмеются моим слезам, моему дикому, пугливому, скалическому, бегающему в темных, далеких дебрях воображению. Моей даже душе, забнувшей в прозаической одежде, моему *в людях безлюдству*.

Но я *отомщу* вам, прозаики-насмешники, я *призову вас* к зеркалу моего пылающего воображения и *припаяю* вам штемпель или металлический ярлык прозы и, на зло вам, буду стараться из глубокой дали показывать, отражать вам в глаза яркие лучи изящного, поэтического и родню их — мир и добродетель <...> Я дал клятву отметить вам, и вот первый, шаткий, робкий шаг к мшню за слезы и невниманье ко мне, *к равному вам творению*... (Смирновский 1838: XVI–XVII)⁴.

Обостренное самолюбие, сознание собственного превосходства сочетаются в патетических декламациях Смирновского с жалобами на одиночество, боязнь нивелировки — с ощущением беззащитности:

Я человек откровенный, простой, как проста природа, *сам* выскажу, оценю, вывешу себя и подведу итог для вашего подписания; еще успеете уничтожить и мою книгу, и мое бедное имя, можете сжечь, разорвать, растерзать их на части; но прошу пока одного лишь внимания (Там же: IX).

Подобное самоощущение обостряет мотив социальной униженности

⁴ Здесь и далее курсив мой. — А. К.

женности автора — мелкого чиновника *«дальнейшего класса»* (Смирновский 1838: VII)⁵.

Однако, в целом, природа волнующего автора противостояния окрашена все же не социально. Это ставший тривиальным, но, тем не менее, искренне и горячо переживаемый конфликт художника и враждебного окружения⁶, причем в формах, характерных для позднеромантической эпохи, когда фигура его участника в значительной мере утратила ореол исключительности: перед нами не гений-избранник, а некая эстетически восприимчивая натура, брошенная в холодный прозаический мир:

Шесть лет сряду, как угорелый, как сумасшедший, бегаю по Петербургу, ищу, как голодная собака ищет пищи, пишу поэзии, изящного, развлечения, хотя минутного наслаждения. Нет! Шесть лет нет! (Там же: X).

Автор осознает малость своего дара, критически отзывается о собственных сочинениях (*«в них есть пропасть скуки, вздохов, слез»*; Там же: VIII), предчувствует обвинения в эпигонстве и в то же время подчеркивает, что наделен колоссальным воображением, подобным пороху или сухой соломе (Там же: XII), говорит о неистребимой тяге к творчеству (*«Давняя страсть к письму запылала во мне, как Везувий»*; Смирновский 1838: XIV), настаивает на своей самостоятельности: *«... этот эскиз, как и все, мною писанное, есть оригинал»* (Там же: XVIII).

Впрочем, последнее утверждение имеет явно преувеличенный характер. Литературная вторичность сборника Смирновского очевидна. Так, *«Миниатюрный эскиз...»* установкой на

⁵ В 1831 г. Смирновский был произведен в коллежские регистраторы (низший гражданский чин 1/4 класса), с 1835 и, по крайней мере, до 1840 г. имел чин губернского секретаря (12-й класс). См.: (Казакова, Карпов 2008: 368; ЖМНП 1840: 42).

⁶ *«... я был рожден поэтом. Но люди, едва увидели меня в их обществе, насильно схватили, утащили в мир прозы, оклеили, обшили, окутали меня прозою»* (Смирновский 1838: IX-X).

«устную» речь, обращенную к воображаемому читателю, претензиями на остроумие, сочетанием насмешки и самоиронии, ведущим мотивом скуки, а порой и текстуально напоминает «Осеннюю скуку» О. И. Сенковского — предисловие к «Фантастическим путешествиям Барона Брамбеуса» (1833). В то же время повышенная экспрессивность «Эскиза», метафоричность стиля, экстравагантность и гиперболичность образов роднят его с произведениями А. Марлинского. В сочетании же с контрастом пылкого и ранимого художника и бездушного, враждебного «света» отмеченные свойства предисловия вызывают в памяти уже совершенно конкретное сочинение знаменитого ультра-романтика — фрагмент «... Хотят, чтоб я стал писателем!»⁷.

Исповедальное предисловие к «Повестям и рассказам» подчеркивало цельность сборника и вместе с тем демонстрировало личностную окрашенность входящих в него произведений, намечало основные темы книги — темы человеческого одиночества, непонятости, незащитности человека перед лицом жестокой действительности и самого Рока.

Помимо «Миниатюрного эскиза...», книга включала еще пять произведений. Это аллегория «Дивная статуя», непосредственно продолжающая заявленные в предисловии темы несовершенства мира и в то же время трагической уникальности автора как личности. Это еще одно сочинение лирического характера — заставляющая вспомнить о лирических декламациях Бестужева-Марлинского «фантазия» «Музыкант и певица», в которой опять-таки декларируется чрезвычайная эстетическая чуткость автобиографического героя. Это и три собственно сюжетные произведения — повести «Предчувствие», «Утопленник» и «Любовь атамана», объединенные единой темой трагизма человеческих судеб, недостижимости счастья и, говоря словами автора, «слезами жалости к людям» (Смирновский 1838: XVIII). Бросается

⁷ Ср.: (Марлинский 1836). В «Миниатюрном эскизе...» Брамбеус, Марлинский и Луганский выделены как редкие исключения на фоне общего печального состояния русской литературы.

Бросается в глаза, что автор сборника явно не владеет сюжетным повествованием. Его повести почти бессобытийны, представляют собой обширные амплификации, многословные обсуждения немногочисленных фактов и проблем, за счет чего и формируется необходимый объем текста. Каждая из повестей невольно отсылает нас к одному или нескольким источникам. Так, «Предчувствие» является вариацией на популярную в русской оригинальной и переводной беллетристике тему предсказания-пророчества². «Любовь атамана» по содержанию близка заключительным страницам «Жана Сбогара» Ш. Нодье (любовь предводителя разбойников к сошедшей с ума невольнице, которая при пленении потеряла близкого человека), характер же повествования сближает эту повесть, скорее, с лубочным романом той эпохи.

Однако наиболее явный и вместе с тем наиболее интересный случай обработки известного литературного источника — самое объемное произведение сборника, повесть «Утопленник», представляющая собой переложение сюжетной части поэмы Пушкина «Медный всадник», опубликованной в начале июня 1837 г. в журнале «Современник» (1837. Т. 5).

«Утопленник» любопытен и как один из первых в нашей литературе откликов на пушкинский шедевр, и как попытка преобразования поэтического текста в прозаический, и как пример усвоения гениального произведения представителем тривиальной словесности.

«Первое, что поражает в „Медном Всаднике“, — отмечал некогда В. Я. Брюсов, — это — несоответствие между фабулой повести и ее содержанием». С «несложной историей любви и горя бедного чиновника связаны подробности и целые эпизоды, казалось бы, вовсе ей не соответствующие. Поэт очень неохотно и скупо говорит о Евгении и Параше, но много и с увлечением — о Петре и его подвиге. <...> Все это заставило критику, <...> искать в „Медном Всад-

² Об этом типе сюжетов см.: (Китанина 2005). С данной традицией в известной мере связана и повесть «Утопленник».

нике“ второго, внутреннего смысла» (Брюсов 2000: 456–457). Именно к этому «второму, внутреннему смыслу» поэмы автор «Утопленника» остается безразличен. Он игнорирует как философско-историческую проблематику «Медного всадника», так и его символично-мифологический план. Довольно точно воспроизводя фабульную схему источника, Смирновский одновременно редуцирует содержание пушкинского шедевра, превращая его в основу чувствительной «справедливой» повести о разрушении надежды на счастье безжалостным роком. Впрочем, и подобное прочтение находит опору в тексте «Медного всадника» — в переживаниях его героя: «...иль вся наша √ И жизнь ничто, как сон пустой, √ Насмешка неба над землей?» (Пушкин 1977: 281).

Автор «Утопленника» скрупулезно переносит в свое сочинение множество конкретных мотивов, деталей, сравнений источника, иногда распространяя их за счет описаний или диалогов персонажей, иногда — воспроизводя чисто механически.

Так, начальная глава повести «Жених» вырастает из небольшого фрагмента претекста: «Евгений тут вздохнул сердечно √ И размечтался, как поэт: √ Жениться? Ну... зачем же нет? √ <...> Так он мечтал» (Пушкин 1977: 278). На протяжении нескольких страниц «молодой прекрасный юноша» (Смирновский 1838: 72) — петербургский чиновник Петя обсуждает с матерью близкое и желанное для обоих событие: послезавтра он станет супругом с детства любимой им Лизаветы Павловны. Мать оставляет Петра Матвеевича, а он, уже не в состоянии продолжать прерванную работу, отдается мечтам «о будущем счастье семейной жизни» (Там же: 75).

Герой хотел бы и сегодня встретиться с невестой. Но он живет на Песках⁹, она — в «тихой, уютной Галерной Гавани» (Там же: 74) на Васильевском острове, погода же

⁹ Район, в котором проживает герой Смирновского, — аналог Коломны пушкинского «Медного всадника»: «Пески считались бедным, но благопристойным местом, почти пригородом Санкт-Петербурга» (Векслер 2006: 162). Неподалеку от этой части города находились два небольших дома, принадлежавших семье Смирновского (Казакова, Карпов 2008: 368).

препятствует поездке: идет проливной дождь, «на ту сторону Невы преопасно переезжать: валы поднялись престрашные» (Смирновский 1838: 76). Оставляя мечтающих героев, автор заканчивает главу словами: «Да бдит над вами Святая Дева; это последняя ночь вашего спокойствия; спите, несчастные. Завтра далеко покой отлетит от вас... вы не предчувствуете, каким ударом поразит вас испытующий рок» (Там же: 78).

И вот настает следующий, страшный для героя Смирновского день:

Это было 7 ноября 1824 г. Юго-восточный ветер порывисто *звучал оконичными стеклами* <...>. С жалобным и вместе ужасным *воем завывал он* <...> и в порыве вихря взбрасывал уличный сор к черным облакам... (Там же: 79–80)¹⁰.

Подобно Евгению («И грустно было *с* Ему в ту ночь, и он желал, *с* Чтоб ветер выл не так уныло *с* И чтобы дождь в окно стучал *с* Не так сердито...» (Пушкин 1977: 278), Петр Матвеевич проводит предшествующую ночь беспокойно. Бессонница сменялась кошмарами, «от ночных грез и непрерывного *завывания ветра* сильная тоска налегла на сердце юноши» (Смирновский 1838: 80). Им овладевает тревога за судьбу невесты:

Милая матушка, что мне делать? <...> полагаю, в Гавани поднялась большая вода от этого сильного морского ветра, и, чего Боже сохрани, затопит дом моей Лизы!.. (Там же: 83).

Следующие страницы передают нарастающее волнение героя, поглощенного мыслями об участи «обожаемой Лизы»:

...ужас его дошел до величайшей степени, когда он вспомнил о своей невесте, и холодный пот выступил на бледном лице расстроенного юноши. <...> если уж здесь так свирепо хлещут волны и такая высота ежеминутно прибывающей воды, то какая ж опасность угрожает Гавани? *Боже мой, Боже!* Что мне

¹⁰ Ср.: «Редает мгла ненастной ночи *с* И бледный день уж настает... *с* Ужасный день!» (Пушкин 1977: 278–279).

делать теперь?.. Недаром у меня так ноет сердце... Неужели я лишусь Лизы?.. <...> Пречистая Дева! — молит он, — предста-
тельствуй за нас; спаси ее, спаси (Смирновский 1838: 90).

Приведенные строки вновь обнаруживают сходство с пуш-
кинским повествованием:

Он страшился, бедный
Не за себя. <...>
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. <...>
Боже, боже! <...>
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива
Забор некрашенный да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта (Пушкин 1977: 280).

Обильно представленные в «Утопленнике» картины затоп-
ляемого водой города местами вновь напоминают пушкин-
ские: «*Народ*, облепив чугунную решетку роскошной Фон-
танки, с ужасом *взирал на разъяренную стихию*» (Смир-
новский 1838: 89), Невская «набережная <...> была усыпана
народом, в онемении глядевшим на этот ужас!» (Там же: 93)¹¹,
ветер ревел, «как *разъяренный зверь*» (Там же: 90)¹².

В «Медном всаднике» потрясенный Евгений сходит с ума.
У Смирновского этот мотив присутствует в преображенном
виде: его герой, стремящийся к невесте вопреки смертельной
опасности, воспринимается окружающими как безумец: «Да
это сумасшедший! — кричали одни. <...> Боже мой! Это точно
сумасшедший» (Там же: 101), «какой это чудак или безумный
тащится вон вдали у самого угла Адмиралтейского бульвара.

¹¹ Ср.: «Поутру над ее брегами / Теснился кучами *народ*, / Любу-
ясь брызгами, горами / И пеной *разъяренных вод*» (Пушкин 1977: 278).

¹² Ср.: «И вдруг, как *зверь остервепись*, / На город кинулась»
(Пушкин 1977: 279).

«...» это должно быть сумасшедший» (Смирновский 1838: 106) и т. п.

Развязка истории, происходящая у Смирновского «на площади Петровой», увидена глазами зевак, которые следят за событиями с балкона близлежащего здания. Подобно герою «Медного всадника» («Евгений смотрит: видит лодку; √ Он к ней бежит, как на находку; «...» И долго с бурными волнами √ Боролся опытный гребец, √ И скрыться вглубь меж их рядами √ «...» Готов был челн...»; Пушкин 1977: 282–283), Петр Матвеевич находит лодку и пытается переправиться на Васильевский остров. Он «бьется» с волнами «у самого монумента Петра Великого» (Смирновский 1838: 109)¹³. Но

Боже Праведный!.. Он упал!.. в воду!.. Вы видите его?.. О, несчастный!.. где же он?.. Лодка пустая... О, мне душно, душно смотреть на этого несчастного, ... вот смотрите его голова... вот опять... и более не видать его... Он утону!.. (Там же: по).

С этими словами «передрогшие» зрители покидают балкон. Повесть завершается.

Н. Н. Казакова и Н. П. Розин полагают, что сходство произведения Смирновского с пушкинским шедевром могло быть случайным:

Пов«есть» «Утопленник» по сюжетной канве, социальному облику героя и его ужасной судьбе напоминала «Медный всадник» Пушкина, но, вполне возможно, написана до знакомства с ним (Казакова, Розин 2007: 685).

Думается, проведенное сопоставление опровергает эту точку зрения¹⁴.

¹³ Изваяние «того, чьей волей роковой √ Под морем город основался» играет в повести Смирновского роль всего лишь топографического ориентира.

¹⁴ Помимо «Медного всадника», Смирновский опирается также на статью Ф. В. Булгарина «Письмо к приятелю», перепечатанную в брошюре В. Н. Берха «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санктпетербурге» (СПб., 1826). Как известно, при создании своей поэмы ее использовал и Пушкин.

Но при всей очевидности осуществленных Смирновским заимствований (как и при вопиющей несопоставимости художественных достоинств обеих «печальных повестей»), его вариант интерпретации пушкинского произведения заслуживает внимания. В отличие от современников, воспринявших, главным образом, государственно-исторический пафос «Медного всадника», прочитавших его как «апофеозу Петра Великого», как поэму о «торжестве общего над частным» (Белинский 1981: 464)¹⁵, автор «Утопленника» остановился именно на рассказе о трагедии отдельного человека. Не исключено, впрочем, что предложенное им осмысление «петербургской повести» Пушкина самим Смирновским мыслилось как полемическое по отношению к претексту (так может быть воспринято уже само заглавие «Утопленника»). В этом случае он и мог посчитать свое сочинение не подражательным, а вполне оригинальным («все, мною писанное, есть оригинал»; Смирновский 1838: XVIII).

*

Высказанные в Предисловии опасения Смирновского относительно печальной участи его первой книги полностью оправдались. «Повести и рассказы» вызвали издевательские отклики изданий самых разных направлений¹⁶. Не устаивая разбором отдельные части сборника, рецензенты ограничивались его общей уничижительной оценкой либо издевательским цитированием и комментированием «Миниатюрного эскиза...».

Эта критика надолго оттолкнула Смирновского от творческой деятельности: на страницах русской печати его имя вновь появляется лишь во второй половине 1840-х гг. Всякие авторские претензии, судя по всему, становятся ему теперь

¹⁵ О первых литературных откликах на «Медного всадника» см.: (Осповат, Тименчик 1985: 87–90).

¹⁶ Библиотека для чтения. 1838. Ч. 28. Отд. VI. С. 15–21; Литературные приложения к Русскому инвалиду. 1838. № 22. С. 427–430; Московский наблюдатель. 1838. Май. 1 кн. С. 127–131; Северная пчела. 1838. № 184. С. 737.

чужды. Занятия словесностью превращаются для Смирновского в средство дополнительного заработка, сам он — в литературного поденщика с весьма незавидной репутацией. Так, говоря в своих воспоминаниях о нравственном падении литератора и журналиста В. С. Межевича, И. И. Панаев в качестве доказательства приводит факт его сближения «с каким-то г. Смирновским, сочинявшим безграмотные статьи лакейским слогом» (Панаев 1988: 170).

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Белинский 1981 — Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья одиннадцатая // Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 7. М., 1981. С. 453–492.
- Брюсов 2000 — Брюсов В. Я. «Медный всадник». Идея повести // А. С. Пушкин: Pro et contra. Личность и творчество Александра Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Т. 1. СПб., 2000. С. 456–474.
- Векслер 2006 — Векслер А. Ф. Пески // Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: в 3 т. Т. 2: Деятнадцатый век. Кн. 5. СПб., 2006. С. 162–163.
- ЖМНП 1840 — Журнал министерства народного просвещения. 1840. Март. Отд. I.
- Казакова, Карпов 2008 — Казакова Н. Н., Карпов А. А. Смирновский П. С. // Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия: в 3 т. Т. 2: Деятнадцатый век. Кн. 6. СПб., 2008. С. 368–369.
- Казакова, Розин 2007 — Казакова Н. Н., Розин Н. П. Смирновский П. С. // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 5. М., 2007. С. 685–687.
- Китанина 2005 — Китанина Т. А. Материалы к указателю сюжетов предпушкинской прозы // Пушкин и его современники: Сб. научных трудов. Вып. 4 (43). СПб., 2005. С. 591–597.
- Марлинский 1836 — Марлинский А. Кавказские очерки // Библиотека для чтения. 1836. Т. 12. Отд. I. С. 40–52.

Осват, Тименчик 1985 — Осват А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальную повесть сохранить...»: об авторе и читателях «Медного всадника». М., 1985.

Панаев 1988 — Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988.

Пушкин 1977 — Пушкин А. С. Медный всадник *℘* Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в ют. 4-е изд. Т. 4. Л., 1977. С. 273-288.

Смирновский 1838 — Смирновский П. Повести и рассказы. СПб., 1838.



ОБРАЗ САМОЗВАНЦА В ПЬЕСЕ А. С. ПУШКИНА
«БОРИС ГОДУНОВ»: ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ
АВТО- И ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПОВ

Романтическая драма «Борис Годунов», написанная Пушкиным в 1824–1825 гг. в Михайловском, всегда находилась в поле зрения исследователей. Несмотря на это, почти без внимания осталась функция мифологических ссылок на демонологию. Причина этому кроется в самом произведении. В отличие от «Бесов» (1830) или не полностью реализованного «Влюбленного беса» (план 1821–1823)¹, образ черта присутствует в тексте пьесы не прямо, а опосредованно. Мифологема черта создается подтекстно с помощью глубоко скрытых отсылок к фольклору и христианской культурной традиции. В отличие от классической науки, которая обычно пренебрегала такими следами, считая их случайными или незначительными, современная наука приписывает им ключевую роль для анализа скрытых в глубине текста смысловых пластов. О значении мифологической системы ценностей для Пушкина говорил В. В. Виноградов, анализируя стиль Пушкина (Виноградов 1941: 5–6). Ссылаясь на выявленную русским исследователем игру Пушкина с фразеологизмами, уходящими своими корнями в мифологию, говорил о магическом отношении Пушкина к языку и П. Бранг (Brang 2000: 67–95).

Если с этой точки зрения обратиться к изданию «Бориса Годунова» в Полном собрании сочинений 1948 года, то из различных упомянутых там вариантов текста становится очевидным, что автор сознательно связывает народную демонологию с церковно-книжными представлениями о богопротивнике, представляя зрителю использованные материалы

¹ О мифологии черта в этих произведениях см.: (Осват 1986: 175–198; Berelowitsch 1987: 285–296).

в видоизмененном, трансформированном и синтезированном виде. Наглядным примером тому является отсутствующий в окончательном варианте текста «Отрывок, следовавший за сценой „Ограда монастырская“», в котором Лжедмитрий называл царя Бориса «лукавым»:

Беда тебе, Борис лукавый!

Царевич тению кровавой

Войдет со мной в твой светлый дом.

Беда тебе! главе преступной <...>! (Пушкин 1948: 270)²

В ходе работы над текстом Пушкин осторожно, но заметно усилил демонологическую характеристику противника Бориса Годунова, авантюриста и карьериста Григория Отрепьева. Обладая превосходными знаниями и тонким чувством восприятия мифологических основ бытия, Пушкин исправил в последней редакции сцены «Корчма на литовской границе» первоначальное высказывание: «Сам же к нам назвался в товарищи, — да еще и спесивится; может быть кобылу нюхал». Вместо него появилось: «Сам же к нам назвался в товарищи, неведомо кто, неведомо откуда — да еще и спесивится; может быть кобылу нюхал...» (Там же: 30). Дополнение отсылает к образу «неведомой (нечистой) силы», подчеркиваются амбивалентность характера и неясность происхождения, присущие персонажу, как и черту. Тем самым предвосхищается позднейшее восприятие Григория московским дворянским обществом:

Кто б ни был он, спасенный ли царевич,

Иль некий дух во образе его,

Иль смелый плут, бесстыдный самозванец,

Но только там Димитрий появился (Там же: 39).

Эти

² Употребление эвфемизма «лукавый» в значении «черт», связано с предположением, что произношение имени черта или дьявола может повлечь за собой само появление демона. Подробнее см.: (Черепанова 1983: 41–42).

Эти и другие примеры доказывают, что Пушкин обращается к мифологеме черта не только для того, чтобы придать своим персонажам многозначность, но и для того, чтобы обозначить глубокую связь между отдельными сценами и сделать их более комплексными в историческом и историко-философском смысле. Пытаясь приблизиться к пониманию эстетического мышления Пушкина, необходимо вспомнить, что образы черта и намеки на эту древнюю фигуру, символизирующую зло, появляются в литературе часто в такие моменты развития общества, когда «другое» для части общества или всей нации (внутри собственной культуры или в другой культуре) становится проблематичным. Пушкинское время, как и Смута, время действия пьесы, способствовало взаимодействию людей разного этнического, религиозного, языкового и социального происхождения и тем самым провоцировали распад интеракции и общества. Возникающие в этой связи страхи овладевают всеми действующими в пьесе фигурами, от Бориса Годунова до Григория. Но особое значение они имеют для образа Григория/Дмитрия³.

В то время как образ Бориса Годунова помогает Пушкину передать его размышления о легитимности власти и неизбежном одиночестве главы государства, образ Григория и его бегство через русско-литовскую границу заставляют задуматься не только о роли польско-литовского дворянства в русской истории, но и о структурах чужого мира, требующих от личности современного стиля коммуникативного поведения. Встречи с людьми разного происхождения и разных интересов заставляют беглого монаха отрефлексировать «свое» и «чужое» с помощью стереотипов, с одной стороны, упрощающих действительность, но с другой стороны, являющихся эффективным способом осмысления противоречивых событий. Для того, чтобы вернуться с войском в Россию и

³ О Смуте и узурпаторстве Дмитрия как представителя нового поколения см.: (Sermap 1986: 25–39).

осуществить свои притязания на престол, Отрепьев нуждается в поддержке отечественных и иностранных союзников. Как представитель современного поколения, он завлекает «чужих» не с помощью интриг, а коммуникативно — обходительностью и талантливой организацией диалога. В то же время он является «чужим» не только в Польше, но и в России. В своей стране он также является «аутсайдером», поскольку ставит под вопрос традиционные формы жизни и государственного правления. Это способствует тому, что восприятие его «другими» тоже определяется стереотипами.

В сцене «Ночь. Келья в Чудовом монастыре (1603 года)» Григорий сообщает Пимену о бесовском сне, в котором он по крутой лестнице поднялся на башню, откуда смотрел на Москву — муравейник. Люди, похожие на муравьев, снизу указывали на него со смехом, и ему стало стыдно и страшно. Башня — многозначный символ, который, как и образ гор, способен связать между собой мир земли и небо. В отличие от гор, которые тоже ассоциируются с «высотой» и «восхождением», башня как элемент архитектуры, связанный с сознательной деятельностью человека, в литературе и культуре используется для того, чтобы отрефлексировать могущество человека и поставить вопрос о ложном величии. Она может являться символом власти церкви или государства, а также заставляет размышлять о различных концепциях власти (сверху — вниз, снизу — вверх), что немаловажно для этой пьесы Пушкина. Исповедь Григория, повествующего о своем сне, включает в себя описание важного, с точки зрения современной психологии, момента осмеивания одинокого, изолированного персонажа «холодной толпой». За этим ощущением стоящего на высоте Григория скрываются отодвинутые в подсознание сомнения по поводу его стремлений и планов. Самим Григорием сон и появление устойчивой модели пространства соотносится с дьяволом и стоящими за ним намерениями: «А мой покой бесовское мечтанье / Тревожило, и враг меня мучил» (Пушкин 1948: 19). Знаковость реплики

реплики заставляет вспомнить искушения Христа дьяволом в пустыне (Лк. 4: 1–13). Возведя Иисуса на высокую гору, «показав ему все царства вселенной во мгновение времени» (Лк. 4: 5), сатана пытается разбудить тщеславие богочеловека и заставить его признать власть сатаны над миром. Совсем не случайно «сновидец», причисленный Пушкиным к людям, в чьих стремлениях и взглядах отразились веяния нового времени, в качестве «виновника» сна называет беса и врага, противника Бога.

Вместо христианского обозначения «дьявол» Григорий использует номинацию «бес» и «враг». Использованное в древних переводах Евангелий как синоним дьявола слово «бес» более древнего происхождения (Фасмер 2004: 160). Бесами считали мерзких существ, причиняющих людям мелкий вред. Хотя с течением времени под влиянием книжной традиции бес был подвержен различным влияниям и приобрел функции, свойственные черту или христианскому дьяволу (Белова 1995: 164–166), память о более древних основах этой ипостаси «зла» остается жить. В отличие от дьявола, который «ловит и портит человеческие души», «бес» вредит прежде всего телу (Kotula 1976: 90–91). Упоминание «беса» Григорием связано с его способностью сбивать людей с пути (см. также стихотворение «Бесы»), приписываемой в языческих религиозных представлениях природным силам, например, ветру или снегу. Только в поздних христианских легендах бес имеет злой умысел, греховен в смысле нравственном и трактуется одностороннее как антагонистическая по отношению к Богу сила. Пушкин разнородные мифологические пласты, нередко содержащиеся в одном явлении или выражении, использует в поэтических целях. Сплав книжных христианских и народных представлений о бесе позволяет не только охарактеризовать Григория как авантюриста, который, подводя свое окружение, смело пытается из низов общества добраться до вершин царской власти, но и передает напряженность переживаний, вызванных деянием, связанным с риском. При этом нельзя

упускать из виду, что именно эта многокодовость позволяет персонажу донести свои тайные мысли и отклики до монаха-летописца, который, избегая и пугаясь возможных ассоциаций с народной демонологией, прекрасно помнит о ветхозаветном истолковании злых духов как исполнителей воли Бога. Согласно этой логике Пимен со ссылкой на неопытность Григория советует с помощью говения и молитв выдержать проверку Всевышнего и упоминает о дьяволе как «воспитательной палке» Бога.

Несмотря на мнимую однозначность номинации «враг», использованной Григорием в разговоре с Пименом в качестве эфемистического синонима для «беса», она содержит отголоски древнейших магических заклинаний, представлений. Левен-Турновцова обратила внимание на то, что старославянское *врагъ*, использованное в церковной книжной практике в качестве метонимии для «сатаны», использовалось и для обозначения людей, которые занимались магией. Изобилие славянских наименований черта («леший», «водяной» и др.) свидетельствует о том, что черт и после принятия христианства считался представителем сил природы — природным демоном (Leeuwen-Turnovcová 1993: 151–154)⁴. Аналогичным образом знахарь или волхв не просто враг верующих. Сравнение славянских, германских и балтийских наименований с корнем **vargъ* выявило, что эти слова используются в сочетаниях, обозначающих людей и объекты со статусом «эксклюзии» из общества, на которые юридический мир не распространяется. Среди существ и объектов, исключенных из определенной группы, не только убийца, враг, грабитель, но также персоны, занимающиеся магией. В правовой традиции исследованных неславянских культур воспроизводимые от **varg-* сочетания сопровождаются упоминанием волка. Грабителя сравнивали с хищным зверем. Совершившего проступок, который нельзя было искупить смертью, наказывали исключением

⁴ Ср. также: (Leeuwen-Turnovcová 1992).

исключением из общества, отправляли в дикую природу (в «пустыню»). В качестве знака исключения из системы правопорядка он должен был носить волчий колпак. Как и волк, злодей становился частью природы.

Символика сна, сводимая Григорием к напоминанию о бе-се и враге человеческого рода, многозначна. Эстетическая игра, свойственная Пушкину, не дает читателю возможности однозначно истолковывать текст, заставляет вновь и вновь размышлять о том, является ли Григорий артистом, который своим ролевым поведением смело отвечал потребностям современного функционально-дифференцированного общества, или он просто лукавый «обманщик».

В качестве примера можно назвать монолог, в котором Григорий, со ссылкой на хронику Пимена и описание в ней убийства наследника, говорит о суде мирском и божественном, грозящем Борису:

«...» отшельник в темной келье
 Здесь на Тебя донос ужасный пишет:
 И не уйдешь ты от суда мирского,
 Как не уйдешь от божьего суда (Пушкин 1948: 23).

Заставляя Григория своими словами осторожно, но все же недвусмысленно предсказывать дальнейший ход драмы, Пушкин позволяет зрителю видеть в нем защитника божественной справедливости или «дьявольский меч» Бога.

Не только самопрезентация Григория, но и характеристики его другими персонажами оснащены мифологически. В сцене «Корчма на Литовской границе» местом действия является русско-литовская граница, то есть пограничная зона, опасная с точки зрения мифологии. Расположение места действия на западе страны, где проходит разделительная линия между «своим» и «чужим», между «Востоком» и «Западом», заставляет рассчитывать на большую активность демонических сил. Согласно установкам славянской мифологии в таких «нечистых» местах следует быть особенно осторожным

в обращении с чужестранцами и духовенством, потому что считается возможным, что черт может принимать их внешний облик. В относительно гомогенном обществе встреча с незнакомцами может вызвать страх. Это касается и встречи Григория с Варлаамом и Мисаилом. Но в отличие от представлений, сложившихся в славянской мифологии, в произведении Пушкина каждый персонаж потенциально в состоянии быть союзником черта. Так, покинувшие свою обитель монахи также считают встречу с беглым Григорием опасной: «Сам же к нам навязался в товарищи, неведомо кто, неведомо откуда» (Пушкин 1948: 30).

Комплексный характер игры Пушкина с мифологическими «заповедями» позволяет на уровне текста выразить сомнения в «идентичности» Григория и обратить внимание на селективно-избирательный выбор им реальной модели поведения из различных возможностей, на характер сыгранной персонажем роли. Особая привлекательность сцены для зрителя состоит в том, что он, в отличие от Варлаама и Мисаила, в курсе, что переходящий границу человек — разыскиваемый беглый чудовский монах Григорий Отрепьев. Слова хозяйки трактира «Ни лысого беса не поймают» (Там же: 31) дают ссылку на мифологические представления о лысости черта. Используемые в значении «абсолютно ничего, абсолютно никого» (Котлицкая 1992: 91–92) слова помогают выразить уверенность в том, что стремление солдат арестовать беглецов не будет увенчано успехом. Само собой разумеется, что за этим стоит и забота трактирщицы о собственном доходе. Амбивалентность текста дает зрителю возможность понять, что в основе использованных стереотипов лежат индивидуальные представления и устремления людей, которые сознательно или подсознательно конструируют мир, исходя из собственных интересов и опыта.

Появляющиеся вскоре в трактире солдаты переводят сухой приказ на простой разговорный язык: «Из Москвы бежал некоторый злой еретик, Гришка Отрепьев» (Пушкин 1948: 33).

В

В дальнейшем конкретизируется, что речь идет о «еретике, воре, мошеннике». Хотя слова «вор» и «мошенник» зафиксированы не раньше XVI века (Фасмер 2004: 350), их появление в объявлении о розыске и аресте позволяет вспомнить выше упомянутых членов общества, которые в силу разрушения законов и норм были исключены из социума и «оттеснены» в мир «дикарей», в расположенное за границами цивилизации пространство, объявляемое не-структурой (Лотман 1996: 189). С точки зрения семиотики, объявленному вором и мошенником Григорию грозит арест, исключение из цивилизации, что хотя бы потенциально позволяет его соотнести с мифологическими персонажами, которые как волк или черт, связаны с «чужой» областью, с миром дикой природы⁵. Слово «еретик» повторяется два раза, что говорит о намеренном подкреплении стереотипной версии о Григории как опальном монахе, который был проклят православной церковью. Впервые эта версия появляется в сцене «Палаты Патриарха», где игумен Чудова монастыря по просьбе патриарха озвучил биографию беглого и заключил: «Ересь, владыко, сушая ересь» (Пушкин 1948: 24). Пушкин использовал «Повести о Смуте» (Памятники 1985: 17–18) и «Историю государства Российского» (Карамзин 1997: 204–208). Однако Пушкин оспаривает названные там конкретные детали биографии Отрепьева и в анализируемой сцене делает акцент на значимости дьявольских качеств, приписываемых персонажу духовенством. Эббингхауз объяснил этот факт тем, что Патриарх, как и игумен Чудовского монастыря, был осведомлен о нетленности трупа Дмитрия, что являлось условием включения его в число

⁵ В другой сцене Басманов обещает взволнованному царю Борису Дмитрия «как зверя / Заморского» привести в Москву (Пушкин 1948: 68). Прилагательное «заморское» потом используется в стереотипном высказывании русского солдата о своем французском начальнике как о «лягушке заморской». В самоописании Григория, который называет себя перед завербованными им солдатами, актуализируется коннотация «разбойник», которая тоже присутствует в семантическом поле «вор».

святых (Ebbinghaus 1992: 178). С этой точки зрения, обман Григория являлся злодеянием и кощунством и должен быть наказан высшим судом. В дальнейшем в культурном сознании усиливалось отмеченное еретичество Самозванца его связями с католиками польско-литовской Унии. Но, несмотря на это Пушкин, исходя из интересов своего времени представляет его особым персонажем, совмещая книжную церковную традицию и народные поверья о черте. Так сообщение духовного отца о том, что неизвестно место, где Григорий принял монашество, ставится в связь с фольклорной традицией: «неведомо кто, неведомо откуда» (Пушкин 1948: 30). В скрытой форме рефлексия по поводу «праведной» и «неправедной» литературы раздвигает временные рамки пьесы, поскольку, вероятно, содержит намек на историю пересмотра цензурного Устава 1804 г. (Розенберг, Якушкин 2013: 35). Соответственно источникам, владение Григорием письменностью считается дьявольским внушением: «Грамота далася ему не от Господа Бога» (Пушкин 1948: 24). Но когда патриарх реагирует на это утверждение инвективой на книжников: «Ах, эти грамотей!» (Там же: 24), в ней, возможно, присутствует и дополнительный оттенок. Интертекстуально Пушкин при этом ссылается на повесть «О Никите-затворнике, который потом был епископом Новгорода» (Киево-Печерский патерик 1997: 393–396) и считал, что самовозвышение является опасным искушением для молодого монаха. Суммируя выдвинутые обвинения, патриарх называет Григория «сосудом дьявольским» (Пушкин 1948: 24)⁶, предвещая ему Соловецкий монастырь.

В разговоре Патриарха с игуменом, а также и в сцене поминки используется происходящая от греч. «διάβολος» форма «дьявол» или церковно-латинизированное «диавол», конкретизирующие упрек в ереси: искушенный диаволом Григорий соблазнил

⁶ И в этом случае источниками могли послужить Пушкину «Иное сказание» (Памятники 1985: 25) и «История государства Российского» (Карамзин 1997: 205).

соблазнил братьев-монахов и склонил к беззаконию. Но и эти утверждения сразу же ставятся под вопрос комичностью ситуации. Григорий лично читает объявление о розыске его самого и при этом искусно видоизменяет описание собственной персоны. Его попытка использовать интеллект и умение притворяться во имя спасения жизни воспринимается как зеркальное отображение и амбивалентного образа народного черта, который у восточных славян всегда избегал однозначного истолкования как силы зла. Нельзя не видеть, что Пушкин отказывается от морального осуждения Григория, несмотря на то, что изменением описания внешности разыскиваемого он ставит под угрозу ареста Варлаама. Когда его все-таки разоблачают, ему удается спастись с помощью кинжала и физической ловкости. Окно становится пограничным пространством между корчмой и литовской границей, куда ведет путь, указанный ему хозяйкой: «свороти влево, да бором иди по тропинке <...> до Луевых гор» (Пушкин 1948: 31). Кинжал с коротким клинком был эффективнее сабли в ситуации тесной схватки и нередко использовался с большой хитростью. Обычно знатные особы носили его вместе с саблей в качестве вспомогательного оружия. В отличие от меча, кинжал носили в спрятанном виде и постоянно держали при себе. Несомненно кинжал служит Григорию для самообороны, но также на инфернальном уровне текста его можно воспринимать как атрибут ловкого и коварного черта, который в состоянии быстро передвигаться в пространстве и менять место нахождения. Ловкость Григория в соотнесении с болотистым пространством, в котором происходят события (русско-литовско-польская граница), напоминают о Боруте, поверхностно христианизированном народном черте из польской мифологии (см.: Rótróla, Rudolph 1999: 219–223). Как и Борута, любящий танцы и увеселения, Григорий в Кракове и Самборе быстро ориентируется в чужом образе жизни. Культурные контрасты преодолеваются с помощью умно использованных авто- и гетеростереотипов, которые

доказывают, что он в состоянии дифференцированно коммуницировать с окружающими. Григорий льстит полякам, благодаря их за гостеприимство (стереотип, который является частью их самоидентификации). Также Самозванец отмечает свободолюбие польской шляхты и оперирует еще одним стереотипом — «красивой полячки»⁷. Чествуя автостереотипы своих действительных или мнимых партнеров и учитывая их интересы, он добивается их расположения. Приветствуя шляхтича Собанского («хвала и честь тебе, свободы чадо»), он сразу же заставляет ему вперед выдать «треть жалованья» (Пушкин 1948: 52). Безыллюзорность в этом и многих других случаях позволяет ему преследовать собственные цели. Когда русский воин перед ним бьет челом, он умалчивает о жаловании, но все же различные представления о ценностях обыгрываются комически, когда говорится о том, что Борис будет оплачивать счет. Словами «Мужайтесь, безвинные страдальцы» (Там же: 53) Григорий идет навстречу русскому автостереотипу, который мифически возвышает жертвы и страдания.

Разветвленная сеть следов дьявольской мифологии обретает кульминацию в сцене «Равнина близ Новгорода-Северского», где эмоционально насыщенный негероический побег русского войска от войска Лжедмитрия дает импульс спонтанно появляющимся образам «чужого» и национально значимым стереотипам. Когда француз Мажерет посылает русских беглецов снова в бой, они реагируют изречением: «проклятый басурман» (Там же: 73). Ругательство противопоставляет «собственно русское» чужому нехристианскому⁸ —

⁷ Этот стереотип и его значение для произведения в целом заслуживает внимания отдельного анализа.

⁸ Обращает на себя внимание, что заимствованное из турецких языков древнерусское «бусорман»/«басурман», изначально использованное для обозначения и обличения «азиатского» как неверного, неправославного, в дальнейшем стал недоброжелательным обозначением для иноверцев независимо от их происхождения.

варварскому и дьявольскому. Негативное истолкование религиозных и культурных отличий усиливается в тот момент, когда вопрос француза «Quoi? Quoi?» искажается в «Ква! Ква!» и сравнивается с кваканьем заморской лягушки⁹. В основе распространенного в русской культуре этнического стереотипа лежат представления, сформулированные фольклорно-мифологическим сознанием. Обращаясь к мифологии разных времен с живым интересом, Пушкин использовал известное ему в эстетических и исторических целях. В более раннем варианте «Бориса Годунова» француза как представителя «другой» культуры сравнивали с заморской вороной¹⁰. Ворона со ссылкой на славянский фольклор, в отличие от орла или сокола, сопрягается с демоническими силами (ср. пушкинскую «Русалку»). Лягушка — родственное змее хтоническое животное. В древнем Египете лягушка олицетворяла плодородие. Но этот мифологический пласт в дальнейшем трансформировался. В результате лягушка появлялась в апокрифах о кончине мира¹¹. В «Откровении Иоанна Богослова» из уст дракона-лжепророка выходят, «словно лягушки», нечистые «духи бесовские» (Откровение 16: 13–14). Несмотря на то, что в славянской народной вере лягушке приписывают роль покровителя дома, в христианской и христианизированной народной вере (Гура 2004: 163), богинки, банник, а также ведьма могут принимать вид лягушки и причинять зло. В мифологии восточных славян лягушка предвещает появление нежеланных гостей, несчастье или смерть. Этот слой активизируется в пьесе Пушкина при описании про-

⁹ Заморские звери, казавшиеся чудовищами, на Руси издавна ценились как возможный подарок царю. В некоторых странах Европы называют французов «лягушатниками», напоминая о блюде, известном также в других странах в качестве этнического стереотипа.

¹⁰ Ворон в качестве метафоры использует также Борис Годунов, когда он дает приказ оградить страну заставами, «чтоб ворон (Отрепьев — *У.М.*) ∩ Не прилетел из Кракова».

¹¹ Подробнее см.: (Hirschberg 1988).

тивников, разделенных войной на «своих» и «чужих». В то время как русские персонажи Пушкина используют для представителей других народов или слоев общества клише из народной мифологии или народного варианта христианства, французы, в отличие от русских, обращаются прежде всего к христианской мифологии. Григорий, например, обозначается «*diable des Samozvanetz*» (Пушкин 1948: 74). Постоянно меняя перспективу, Пушкин вновь и вновь ставит под сомнение отдельные истолкования персонажей. Он трансформирует или расширяет их. Несмотря на это, логично, что последнее обозначение — христианское. Как соучастник убийства семьи Годунова Дмитрий так же виновен, как и его предшественник. Языческий черт как амбивалентная фигура, которая увлекала Пушкина, потому что она позволяла ему в игровой форме показать сложность характера Григория и преодолеть границу культуры и языка, именно в этот момент потеряла свою значимость. Однако текст в целом этого не касается.

Ставя знаковые системы русской, польской, литовской, украинской, французской и немецкой культур в связь друг с другом, Пушкин выделяет не только отличия. Он также подчеркивает, что скепсис по отношению к «чужому» или «другому» есть совместное «приданое» всех народов. Пушкин в эстетически уплотненной картине помогает пролить свет на исторически конкретное живое значение каждого из этих стереотипов, тем самым он помогает заинтересованному зрителю разрушить их.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Белова 1995 — Белова О. В. Бес *∞* Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 1. М., 1995. С. 164–166.
 Виноградов 1941 — Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941.
 Гура 2004 — Гура А. В. Лягушка *∞* Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 3. М., 2004. С. 162–164.

- Карамзин 1997 — Карамзин Н. М. История государства Российского: в 4 кн. Кн. 4. Ростов, 1997.
- Киево-Печерский патерик 1997 — Киево-Печерский патерик ❧ Библиотека литературы Древней Руси. XII век. Т. 4. СПб., 1997. С. 296-489, 640.
- Котлицкая 1992 — Котлицкая О. Я. Про черта лысого ❧ Русская речь. 1992. № 6. С. 90-94.
- Лотман 1996 — Лотман Ю. М. Семiosфера ❧ Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семiosфера — история. М., 1996.
- Осват 1986 — Осват Л. С. «Влюбленный бес». Замысел и его трансформация в творчестве Пушкина 1821-1831 гг. ❧ А. С. Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12. М.; Л., 1986. С. 175-198.
- Памятники 1985 — Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. Hildesheim; Zürich; New York, 1985.
- Пушкин 1948 — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 7. М., 1948.
- Розенберг, Якушкин 2013 — Розенберг В., Якушкин В. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. М., 2013.
- Фасмер 2004 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 1. М., 2004. С. 160, 350.
- Черепанова 1983 — Черепанова О. А. Мифологическая лексика русского севера. Л., 1983.
- Berelowitsch 1987 — Berelowitsch W. Les Démons (Besy) ❧ Revue des études slaves. 1987. № 59. P. 258-296.
- Brang 2000 — Brang P. Parodie und Sprache. Puškin als pathetischer Satiriker (Überlegungen zu seiner Stellung in der Romantik) ❧ Zeitschrift für Slavische Philologie. 2000. Bd. 59. H. 1. S. 67-95.
- Ebbinghaus 1992 — Ebbinghaus A. Der falsche und der Heilige Demetrius in A. S. Puškins „Boris Godunov“ ❧ Zeitschrift für Slawistik. 1992. Bd. 37. H. 2. S. 175-183.
- Hirschberg 1988 — Hirschberg W. Frosch und Kröthe. Wien, 1988.
- Kotula 1976 — Kotula F. Znaki przeszłości. Odchodzące ślędy zatrzymać w pamięci. Warszawa, 1976.

- Leeuwen-Turnovcová 1992 – Leeuwen-Turnovcová J. Slavisch *vorg” als „Feind“ und „Satan“: Zur Semantik der Kategorie EXTERN *ℳ* Zeitschrift für Slawistik. 1992. Bd. 37. H. 4. S. 588–600.
- Leeuwen-Turnovcová 1993 – Leeuwen-Turnovcová J. Semantisches zum slawischen Teufel *ℳ* Sprache in der Slavia und auf dem Balkan. Slawische und balkanologische Aufsätze. Wiesbaden, 1993. S. 151.
- Półtola, Rudolph 1999 – Półtola M., Rudolph A. Jeszcze I dziś diabeł się pokazuje. Wizerunek diabła na Mazowszu i w Mecklemburgii. Dettelbach, 1999.
- Serman 1986 – Serman I. Z. Paradoxes of the popular mind in Pushkin's "Boris Godunov" *ℳ* The Slavonic and East European review. 1986. № 64. P. 25–39.



«ЗАБАВНОЕ» СДЕЛАТЬ КОМИЧЕСКИМ.

Юмор в романе И. А. Гончарова «Обрыв»

Трех главных героев своих романов Гончаров наделил общим свойством: все они в большей или меньшей степени обладают художественным видением мира. Что касается Александра Адуева и Райского, то они стремятся реализовать себя как писатели. Смена жанров в творчестве Адуева говорит о его движении к роману. Но романа он не напишет. Как и герой «Обрыва» Борис Райский.

Русская жизнь, описанная в третьем романе Гончарова, в значительной степени дается через восприятие Райского. То, что он видит, фиксирует, что у него остается лишь заметками, набросками, у автора «Обрыва» превращается в роман. Оригинальность замысла не в том, что герой пишет роман, уникально то, что герой и автор работают на одном материале.

Понять философию художественного творчества Гончарова нельзя, не осмыслив, какое значение в его романах имеет искусство комического. Комическое у Гончарова точнее всего можно, на наш взгляд, определить как «юмор». Юмор обнаруживает что-то положительное, какие-то элементы идеала в самом объекте, в комически изображаемой действительности. Высокое и даже идеальное в героях и в жизненных явлениях часто обнаруживается не вопреки юмору, а благодаря ему.

Какова природа и функция комического в «Обрыве»? Очевидно, можно говорить о наличии в третьем романе Гончарова различных модусов художественности и предположить, что юмору отводится субдоминантная роль в развитии драматических и трагических тем. В «Обрыве» есть страницы, на которых комическое начало уходит на дальний план или исчезает совсем.

Комическое в «Обрыве» — объект художественного изображения (то, какими предстают перед читателями герои и события), способ изображения, угол видения, особенности характеристики.

С учетом того, что главный герой «Обрыва» пишет роман, функция юмора может быть осмыслена и в таком плане: в какой мере искусство комического подвластно Райскому, использует ли он этот ресурс для создания своего художественного мира.

Одна из несущих конструкций сюжета «Обрыва» может быть представлена так: готовность Райского советовать, поучать, описывать в своем романе людей и ситуации петербургской и малиновской жизни постоянно соотносится с мерой его пронизательности, а часто его «наивности». Он, как заметил Е. Г. Эткинд, «несмотря на свою изощренную книжность, остается по-своему простодушным» (Эткинд 1999: 149). Он часто не догадывается, какие скрытые смыслы содержатся во вроде бы очевидных событиях, не подозревает до поры до времени, какое внутреннее напряжение накопил в себе этот приволжский уголок, который по приезде показался ему «идиллией».

Романа Борис Райский не написал. Но в чем ценность его рукописей, заполнивших целый чемодан? Сам герой отвечает на этот вопрос двояко. В письме к Кирилову он уподобляет себя летописцу Пимену: «И после моей смерти — другой найдет мои бумаги:

Засветит он, как я, свою лампаду —
И — может быть — напишет...» (765)¹

Райский хочет сохранить «эти листки», чтобы вспоминать, «чему я был свидетелем, как жили другие, как жил я сам» (765). Летописец — значит, на первом плане повествования события, люди...

Читая

¹ Здесь и далее ссылки на издание (Гончаров 2004) даны в тексте указанием в скобках страницы.

Читая же разговор Райского с Верой о его, так сказать, литературном наследии, мы, пожалуй, можем вспомнить о печоринских тетрадах: «Как умру, — говорит герой Гончарова, — пусть возится, кто хочет, с моими бумагами: материала много...» (768). Коли так, то можно предположить, что в чемодане — листки, в которых «история души человеческой», как сказано в Предисловии к Журналу Печорина. Сюжет романа — это долгий путь к ответу на вопрос: в какой мере эти претензии Райского были обоснованы.

Сейчас речь только о трех мотивах сюжета, которые можно условно обозначить так: познание себя, познание близкого человека и познание людей большого мира.

Автор «Обрыва» строит сюжет как взаимодействие субъектов видения: повествователя и Райского. Эти две точки видения могут сближаться, почти сливаясь, могут сосуществовать по принципу взаимодополнительности, но могут и расходиться и даже «спорить», образуя контрапункт. Но сюжет строит автор, объективации подвергается не только персонаж Борис Райский, но и плоды его творческих усилий, его творческий метод. Еще Т. И. Райнов высказался в том смысле, что Райского не надо воспринимать как «характер», это лишь особая «функция».

... Если характер, — писал он, — есть то, силою чего поток личной деятельности проникается некоторым единством и постоянством направления, Райский почти лишен характера: вместо последнего в «Обрыве» находим только композиционную роль, ставшую, в сущности, второй натурой, «истинным» характером Райского: он более роль, чем лицо (Райнов 1916: 44).

Райский объяснен читателю тем, как он ведет себя, как он видит людей и мир в целом, и тем, как он отражается в ряде субъектных кругозоров. Противоречивость этих разноканальных сообщений достаточно заметна. В том-то и дело, как нам кажется, что Райский в «Обрыве» — и «роль», и «лицо», один из субъектов видения и «характер».

Как свидетельствовал сам Гончаров и как показали исследователи, Райский — образ в значительной степени автобиографический. Именно комическое начало должно показывать читателю, что перед ним объективированный герой, отстраненность от которого автора «Обрыва» может сокращаться, но никогда не исчезает. Конечно, и конкретные суждения, и догадки Райского, которые становятся видны читателю и благодаря столь явной субъективации повествования (многое в сюжете подается через восприятие героя), говорят о его творческих возможностях. Но Гончаров обозначает и их ограниченность, их предел. Речь о том, как создатель «Обрыва» это делает.

Райский-романист неизбежно должен был столкнуться с проблемой изображения и истолкования «внутреннего человека». Говоря о «господствующем методе романа, за которым закрепилось название психологического», Л. Я. Гинзбург, в частности, писала, что в нем «анализ открытый и скрытый, прямой и косвенный направлен <...> на несовпадение между поведением и чувством» (Гинзбург 1977: 286).

О жизни Райского после выхода из училища сказано, что он читал много, но беспорядочно, и что «десять раз прочел попавшийся экземпляр „Тристрама Шенди“» (48). Читал ли герой «Сентиментальное путешествие», мы не знаем. Но автор «Обрыва» заставляет нас вспомнить и этот роман Стерна. Речь об эпизоде, связанном с Ульяной Андреевной, который можно обозначить словом «соблазнение».

Две главки из «Сентиментального путешествия», которые вспомнит читатель «Обрыва», называются «Искушение» и «Победа». Герой английского писателя в присутствии хорошенькой горничной «почувствовал в себе нечто не вполне созвучное с уроком добродетели» (Стерн 1968: 662). Урок-предупреждение был связан с романом Кребийона-сына «Заблуждение сердца и ума», в котором французский писатель показал, в какие неожиданные и даже опасные истории часто вовлекается человек, подчиняясь свои внутренним, порой
интимным

интимным порывам. Эту книгу юная особа недавно купила в присутствии Йорика. По ходу свидания он просит ее «не забывать преподанного ей урока». Но далее следует цепочка событий, которые «игнорируют» разум и волю самого путешественника: «...как это вышло не могу понять, только я не просил ее — и не ташил — и не думал о кровати — но вышло так, что мы оба сели на кровать» (Стерн 1968: 623). Тонко проанализировавшая эту сцену М.Л.Тронская заметила: «Тут осмеян как самый факт борьбы, так и побеждающая и побежденная добродетель» (Тронская 1965: 40).

Литературная практика, в частности, проза Стерна уже показала, к каким неожиданным результатам может приводить носителя рационалистического и сентиментально-этического сознания стихия «страсти». В истории, случившейся в доме Ульяны Андреевны, неожиданные для рассудка проявления «натуры» человеческой оборачиваются испытанием для Райского: и как друга Козлова, и как писателя.

Две упомянутые главы из «Сентиментального путешествия» — это не история соблазнения (у Стерна, кстати, неясно, состоялось оно или нет), а история о том, как много можно раскрыть в человеке, если углубиться в этот микросюжет.

Борьба между добродетелью и чувственностью в эпизоде с Ульяной Андреевной дается по стерновской схеме: фабульные подробности, впечатления и оценка случившегося героем. Мысли о «долге», об «обязанности к другу», попытки покинуть дом Козлова прерываются «роковым» открытием: «Да, Леонтий прав: это — камень; какой профиль, какая строгая чистая линия затылка, шеи!» (439). Как и у Стерна, борьба с соблазном в сознании Райского предстает как борьба с дьяволом: «если в доме моего друга поселился демон» (442).

Растерянность писателя Райского проявляется в том, что он испытывает «непритворный ужас». Пытаясь самому себе объяснить, как это могло случиться, он ссылается на

гамлетовскую ситуацию («паралич воли») и, вслед за Йориком, склонен объяснять все тем, что воля человека («царя природы» — иронически замечает он) «подлежит каким-то посторонним законам» (444, 445).

Мы видим Райского в двух ракурсах: как обыкновенного человека, который, вздыхая, «пришел к себе домой, мало-помалу оправданный в собственных глазах, и, к большому удовольствию бабушки, весело и с аппетитом пообедал...» (445), и как творческую личность, не знающую, как справиться с этим жизненным «уроком».

Как пишет В. И. Тюпа,

Хотя чувство юмора и предполагает умение взглянуть на себя завершающим взглядом со стороны, увидеть себя как «другого для других», но такое умение, столь необходимое для автора, совершенно факультативно для героя юмористического творчества (Тюпа 1987: 182).

То, чего мы можем не ждать от Райского — друга Козлова, мы вправе «требовать» от Райского-писателя. Хватит ли романисту Райскому юмора, чтобы взглянуть на себя «завершающим взглядом», то есть использовать юмор как инструментарий в анатомировании человеческого «я», то есть в искусстве психологизма? А без этого как братья за роман?!

Именно искусство комического, как показывает опыт Стерна, и не только Стерна, позволяет писателю продолжить движение вглубь человеческого «я», даже если какие-то проявления внутренней жизни он не может обосновать рационально. Встреча Райского с Ульяной Андреевной началась с его мысли о «простодушной нимфе, ищущей встречи с сатиром» (437). Случившееся и размышления о случившемся никак не подвигли Райского к попыткам творчески переосмыслить противоречивость, непредсказуемость, даже для самого человека, его внутренней жизни. От Райского-писателя мы ждем того, что Б. М. Энгельгардт называл «творческим становлением художественного произведения» (Энгельгардт 2000: 59). Но для этого

этого герой должен обрести, говоря языком М. М. Бахтина, позицию «внезаходимости». Вот этого творческого сдвига и не происходит (Бак 1992). Поэтому и в своем романе он решает объяснение происшедшего свести, так сказать, к достерновской ссылке: «на нимфу и сатира». Однако, как показал Л. Е. Пинский, именно в юморе «жизнь пропущена <...> через личное усмотрение»; художник творит, «уклоняясь от стереотипно обезличенных представлений» (Пинский 1989: 351). Ссылка же на «нимфу и сатира» как раз пример такой стереотипной обезличенности.

Теперь о попытке понять не себя, а «другого».

В разнообразных жизненных ситуациях Райский часто воображает, как поведет себя Вера. Его предположения, как правило, не подтверждаются. Эти промашки «психолога» Райского обычно даются в комическом ключе. Психологически это мотивировано так: ошибается воспаленный мозг героя, который посчитал себя глубоко влюбленным в Веру. Более значимым оказывается другое: непредсказуемость, загадочность героини ставит в тупик Райского, претендующего на глубину и полноту романного видения.

В книге Е. Г. Эткинда, в главе, посвященной Гончарову, находим очень точное выражение: «бенедиктовщина Райского» (Эткинд 1999: 153). Зачем романисту понадобилась такая краска в изображении героя? Вот размышления Райского о любви, об отношениях полов, данные в четвертой части романа: «... в Вере он или найдет, или потеряет уже навсегда свой идеал женщины, разобьет свою статую в куски и потушит диогеновский фонарь. <...> Ложь — это одно из проклятий сатаны, брошенное в мир» и т. д. (540, 541). Мы находим тут «раскованность метафорического мышления» и «некритическое» употребление «высоких» и «красивых» слов — то, о чем писала Л. Я. Гинзбург в связи с «экспериментаторством» Бенедиктова (Гинзбург 1982: 137–138).

В упомянутом эпизоде из «Обрыва» мысль Райского о Вере мечется между двумя крайностями: «Да, она права, я

виноват!» и «Она, она виновата!» (542). Такие метания вроде бы естественны для влюбленного. Казалось бы, Райский, ратующий за живительную силу страсти, должен быть очень далек от логических построений Штольца, который не верит «в поэзию страстей» (Гончаров 1998: 163). Но сквозь каскад эмоциональных пассажей Райского начинает проступать каркас его логических тезисов:

Вот где оба пола должны довоспитаться друг до друга <...>. Великая любовь неразлучна с глубоким умом: широта ума равняется глубине сердца — оттого крайних вершин гуманности достигают только великие сердца — они же и великие умы! (541, 543).

Такое, по словам повествователя, «глубокомыслие» Райский «сбывал в дневник, с надеждой прочесть его при свидании Вере» (543). Свои рассуждения герой хочет подкрепить ссылкой на великий авторитет:

Веруй в Бога, знай, что дважды два четыре, и будь честный человек, говорит где-то Вольтер, <...> а я скажу — люби женщина кого хочешь, люби по-земному, не по-кошачьи только и не по расчету, и не обманывай любовью! (543).

Если судить по обычным человеческим меркам, пожелания Райского искренни и гуманны. Но в какой мере ему как писателю ведома, по силам, так сказать, проблема женской любви как страсти? Ссылаясь на Вольтера, герой имеет в виду его «Катехизис честного человека, или Диалог между монахом-калогером и одним достойным человеком». В данном случае странность гончаровского героя проявляется в том, что усилием рассудка он пытается решить мучительную проблему: как справиться со страстью. Показательно, как в сознании героя трансформируется мысль французского писателя. Вольтер в своем «Катехизисе...» отнюдь не призывал свести проблему к тому, что «дважды два четыре». Его герой, «честный человек», говорит: «Я верую в Бога, стараюсь быть справедливым

справедливым и стремлюсь к познанию». И еще. Герой Вольтера предпочитает «руководствоваться человеческим здравым смыслом» (Вольтер 1961: 267, 285). Но здравый смысл демонстрирует свою несостоятельность перед проблемой, с которой столкнулся Райский. Повествователь говорит о любви Райского к добру, о его «здравом взгляде» на нравственность. Да, сквозь «бенедиктовщину» и рационалистические формулы проступают живое чувство, искренняя заинтересованность в том, чтобы ответ для «женщины» был найден, чтобы она действительно обрела внутреннюю свободу. Этот энтузиазм героя читателю понятен и вызывает сочувствие. Но призыв верить в то, что «дважды два четыре», в этом контексте свидетельствует о писательской самоуверенности Райского и о несостоятельности его попытки осмыслить любовь как страсть.

«Ну вот, я люблю, меня любят: никто не обманывает. А страсть рвет меня... Научите же теперь, что мне делать?» — услышав это признание Веры, Райский, «бледный от страха», произнесет: «Бабушке сказать...» (578). Теоретик и пропагандист страсти представлял ее чисто умозрительно. Недаром Вера с горькой проницательностью скажет «учителю»: «А вы подожгли дом, да и бежать!» (578). Райский искренне и горячо сочувствует Вере. Но автор «Обрыва» подспудно готовит читателя к тому, что текст его романа «Вера» прервется на первом слове. Показательно, что на страницах, где речь идет об истории любви Веры и Марка, субъективизация повествования отсутствует: это не уровень видения и понимания Райского.

Об этой же «близорукости» Райского скажет ему Козлов — от него ушла жена, которую, как оказалось, он страстно любит:

... Не угадывают моей болезни <...>, а лекарство одно...
 <...> Поди, вороти ее, приведи сюда — и я воскресну!.. <...>
 Как же ты роман пишешь, а не умеешь понять такого простого дела!.. (562).

И наконец, постижение писателем Райским большого мира людей.

Герои многих авторов русской литературы (И. С. Тургенев, А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин) связаны с образом Чацкого (Фомичев 2007: 141–144). В этом ряду должен быть назван и Гончаров (Краснощекова 1997: 37–45). Параллель Райский — Чацкий дается в «Обрыве» двойко: и комически, и вполне серьезно. Комически в сцене, когда, пытаясь «разбудить» Софью, Чацкий, «войдя в пафос», говорит о людях, «у которых ничего нет». Сюжет, которым он хочет ошеломить кузину, довольно привычен для русской литературы середины XIX века:

... В зной жнет беременная баба <...> ребятишек дома бросила <...> муж ее бьется тут же, в бороздах на пашне <...> чтобы внести в контору пять или десять рублей, которые потом приносят вам на подносе (32).

Такой набор фабульных подробностей представлен, например, в повести Д. В. Григоровича «Пахатник и бархатник» (1860). Райский азартно играет роль обличителя. Софье он напоминает Чацкого. Комическая подсветка играющего роль Райского становится еще заметнее, когда кузина спросила его, а что он сам, помещик делает с «этими несчастными?» (33).

В начале пятой части романа Гончаров дает обобщенную, включающую в себя мировоззренческие вопросы, характеристику Райского. Сказано, что он верил в прогресс, что его «занимал общий ход и развитие идей», что он «рукоплескал новым откровениям и открытиям, видоизменяющим, но не ломающим жизнь, праздновал естественное, но не насильственное рождение новых его требований» (359). В этой характеристике, которая занимает целую страницу, легко вычлениаются подробности, заставляющие вспомнить Чацкого, каким он представлен в статье Гончарова «Милльон терзаний» (1872). Субъективизация текста на этой странице включаетя очень

очень плавно. Но когда мы читаем: «...Бросая в горячем споре бомбу в лагерь неуступчивой старины, в деспотизм своеволия, жадность плантаторов, отыскивая в людях людей...» — то чувствуем — это уже «голос» самого героя, его пафос и метафорический язык. Далее читатель узнает о противоречивых и мучительных чувствах, которые вызывает в нем Вера: «Одно — она отталкивает его, прячется, уходит в свои права, за свою девическую стену, стало быть... не хочет» (360). На этих страницах намечена связь двух линий сюжета: Райский — человек с явной общественной позицией и претендующий на объемное романное видение жизни, и влюбленный, захваченный, как ему кажется, неодолимой страстью. Такой двусоставный конфликт Гончаров увидел и в грибоедовской пьесе.

Эпизод, в котором представлен скандал в доме Татьяны Марковны, написан, если использовать выражение из «Мильона терзаний», как «живая сатира». Тычков — это Молчалин, дошедший «до степеней известных», генерал, человек «со звездой». В столкновении с Тычковым Райский ведет себя в высшей степени достойно. А с точки зрения бабушкиных гостей как «чудак». М. М. Бахтин писал, что появление в романе образа чудака необходимо «почти всегда, когда дело идет о разоблачении дурной условности» (Бахтин 1975: 313). Молчалинская суть Тычкова становится ясна после слов Татьяны Марковны, обращенных к нему:

Ничтожный приказный, parvenu, <...> в молодости <...> приносил бумаги из палаты к моему отцу, при мне сесть не смел <...>, по праздникам получал не раз из моих рук подарки <...>, зазнался <...>, наворовал денег... (377).

В этом эпизоде Татьяна Марковна до определенного момента тоже играет роль, ее «освободил» дерзкий поступок племянника. Это ее бунт не только против Тычкова, но и против самой себя: она, Бережкова, «столбовая дворянка» унизила свое достоинство, сорок лет «добровольно терпела

ложь» (7, 380). Скандал в день именин бабушки привел к значительным переменам в мире, который Аянов в письме назвал «всероссийской щелью». Но по этим переменам можно судить о русской жизни в целом — такова установка автора романа. Подчиненные генерала «будто прозрели <...>, краснея за напрасность своего долговременного поклонения фальшивому пугале-авторитету» (380). Но Райский-романист глубинного смысла произошедших перемен не видит. Что касается генерала Тычкова, то он «в кратком очерке изобразил и его <...> в программе своего романа, и сам не знал зачем» (380). А для автора «Обрыва» этот эпизод значим и необходим.

*

Юмор, достаточно влиятельная сила в сюжете третьего гончаровского романа, не только не препятствует, но определенным образом взаимодействует с трагическим началом. В связи с «Обыкновенной историей» Д. С. Мережковский писал о «будничном трагизме» (Мережковский 2007: 198). Говоря о реалистическом романе середины XIX в., В. М. Маркович на ряде примеров показал, как трагическое может вторгаться «в обданный сюжет» (Маркович 1982: 132–202). К. Н. Леонтьеву принадлежит мысль о «трагикомическом таланте автора „Обыкновенной истории“ и „Обломова“» (Леонтьев 2014: 389).

Конечно, в сюжете третьего романа Гончарова трагическая антитеза существует в тесной связи с характером двух героинь. По самой сути своей исключительности они обречены на страдания. Ход сюжета оказался обусловлен тем, что произошло в душе каждой из этих героинь. Чувства² и поступки Веры и Татьяны Марковны явились антитезой традиционным для малиновского мира (то есть России) представлениям о «грехе» женщины, готовности осуждать «падение», что свидетельствовало: эта жизнь нуждается в нравственном обновлении.

Говоря

² Как отметил исследователь, в европейском романе XIX в. носителем трагического может стать «каждое подлинно человеческое чувство» (Кургинян 1963: 346).

Говоря о Вере, пытающейся после «падения» найти ответ на вопрос «как жить дальше и можно ли вообще жить», Л. С. Гейро подчеркивает: «Эта тема развивается по нарастающей и в сугубо трагическом плане» (Гейро 2000: 138). Суть ситуации, в которой оказалась Вера, Мережковский выразил так: «Трагизм ее положения заключается в том, что она не принадлежит всецело ни прошлому, ни настоящему» (Мережковский 2007: 212).

Мы можем говорить о трагическом сопереживании; автор и читатель чувствуют свое единение с героиней.

В пятой части «Обрыва», — пишет Е. А. Краснощекова, — все происходящее подано как высокая Драма с символическими реминисценциями религиозного характера и даже отсылками к древнегреческой трагедии <...>. В последних частях «Обрыва» окончательно побеждает «надрывный драматизм» (Краснощекова 1997: 426).

Эти особенности заключительной части романа исследовательница объясняет тем, что

в «Обрыве» мир представлен в восприятии Райского и, естественно, этот мир меняется со сменой внутреннего состояния «автора» (Там же: 426).

Здесь надо сделать одно уточнение: не все в этом романе дается через восприятие Райского. И эти переключения очень существенны.

Пафосные страницы о великих женщинах в годы страданий и испытаний («древняя еврейка», «без ропота, без малодушных слез» переносившая унижения, Марфа-посадница, русские царицы, хранившие «и в келье дух и силу», жены «наших титанов», декабристов) даны как мысли Райского (669). Пафос явно поддержан авторской интенцией. На этих страницах речь повествователя по интонации, ритму, образной нагруженности, почти не отличима от «беспощадной фантазии» (670) Райского. Тема нравственного подвига развивается крещендо, и автор «Обрыва» это явно чувствует

и хочет убрать наметившийся перекося с помощью юмора. Юмор позволяет ему сделать то, что не удастся его герою: он «„забавное“ сделал комическим» (Бицилли 1996: 148), то есть функционально включил смешную подробность в сюжет.

Только что шел рассказ о «подвиге» Татьяны Марковны. События и люди в этой части даны через восприятие Райского. Бабушка, как сказано, совершив подвиг, «тут же, на его <Райского — М. О.> глазах, мало-помалу опять обращалась в простую женщину» (693). Вплоть до этого абзаца в повествовании все время подчеркивается, что это восприятие Райского, а далее, когда речь заходит о Якове и Василисе, точка видения героя уже не фиксируется. В этом, как кажется, есть своя закономерность. Такие истории и такие люди взгляд романиста Райского уже не притягивают. Но комический рассказ об этих дворовых людях в высшей степени важен для автора «Обрыва». Они оба дали обеты в связи с болезнью Татьяны Марковны. Яков после выздоровления барыни, как и обещал, поставил большую вызолоченную свечу к местной иконе в приходской церкви.

Но у него оказался излишек от взятой из дома суммы. Крестьясь поминутно, он вышел из церкви и прошел в слободу, где оставил и излишек, и пришел домой «веселыми ногами»... (693).

Как отмечено в комментариях Л. С. Гейро, это выражение взято из церковных пасхальных песнопений (Гончаров 1980: 500). Отметим, что автором интересующего нас канона является Иоанн Дамаскин. Нужный нам отрывок в переводе на русский язык звучит так: «Мы, связанные адскими узами, видя безмерное Твое милосердие, Христос, пошли к свету веселыми ногами, восхваляя вечную Пасху» (Триодь цветная 1992: л. 3 об.) И когда на недоуменный вопрос Татьяны Марковны: «Что с тобой, Яков?» — подвыпивший дворовый слуга отвечает: «Сподобился, сударыня!» — он абсолютно искренен и серьезен. Речь о божественном вдохновении.

новении. Комическое описание поступка Якова не может скрыть проступающее сопоставление: он уподоблен Татьяне Марковне, которая, совершая «подвиг», изнуренная ходьбой, признается Райскому: «Бог посетил: не сама хожу. Его сила носит...» (671).

А Василисе, обещавшей в случае выздоровления барыни сходить в Киев, пришлось торговаться с отцом Василием, чтоб заменил обет: она осталась на полгода без любимого кофе.

Эти два смешных сюжета тоже о «подвигах», подвигах малых мира сего. Но без их усилий, как это понимал Гончаров, нет настоящего прогресса, нравственного прогресса. В этом смысле автор «Обрыва» в корне расходился с Томасом Карлейлем, автором известной книги «Герои, почитания героев и героическое в истории» (1841), в которой с опорой на ряд ярких примеров (Магомет, Шекспир, Лютер, Руссо, Наполеон и т. д.) всячески обосновывается главная идея: «История мира <...> это — биография великих людей» (Карлейль 1994: 16)³. Напомним, в «Предисловии к роману „Обрыв“» Гончаров писал:

... В нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует евангелие... (Гончаров 1980: 440-441).

И еще. Героическое в человеке, по мысли Гончарова, как и гамлетовское — ситуативно, а не каждодневно. «Большие» и «малые» подвиги свидетельствуют, что малиновскому миру

³ В середине XIX в. идеи Т. Карлейля о «героях» были на слуху у образованного русского читателя: в 1855 и 1856 гг. главы из названной книги в переводе В. П. Боткина печатались в «Современнике» (1855. № 10; 1856. № 1, 2). Как отмечает современный исследователь, с середины 1850-х гг. «концепция „героической личности“ Томаса Карлейля <...> была исключительно популярна в России» (Тихомиров 2012: 317).

стагнация не грозит. История Якова и Василисы придает убедительность одному из важнейших итогов романа:

...Пока умственную высоту будут предпочитать нравственной, до тех пор и достижение этой высоты немислимо, — следовательно немислим и истинный, прочный человеческий прогресс (735).

Эта мысль принадлежит много пережившему в Малиновке Райскому, обусловлена его человеческим опытом. Но мы не можем сказать, что это результат творческих поисков Райского-писателя. И в этом смысле он, как говорят физики, «отстает по фазе» от автора «Обрыва».

Райский стремится понять жизнь не только как сегодняшней и накопленный опыт, но и как некий вневременной смысл. Неслучайно он так настороженно и заинтересованно реагирует на советы Татьяны Марковны, как надо строить отношения с «судьбой». Накат драматических событий приводит героя к осознанию неадекватности его представлений о жизни и самой жизни, к своеобразному прозрению, которое может восприниматься и как знак поражения, и в то же время, как знак катарсического⁴ по своей глубине и смыслу переживания:

Как громадна и страшна простая жизнь в наготе ее правды!
 <...> А мы там, в куче, стряпаем свою жизнь и страсти, как повара — тонкие блюда!.. (675).

Но груз этого открытия оказался не по плечу романисту Райскому.

Именно искусство комического и на уровне системы персонажей позволяет нам обнаружить «спор» между писателем

⁴ Этот термин здесь употреблен в соответствии с концепцией Д. Е. Максимова, писавшего, что, кроме «универсального катарсиса», «присущего искусству как таковому», в произведении могут присутствовать и другие, «реализующиеся вполне конкретно», в частности, как «проявление кратких „катарсических озарений“, возникающих обычно в размыкании каких-то основных сюжетных узлов» (Максимов 1986: 308).

Райским и автором романа «Обрыв». «Блеск и нищета» художественного метода Райского проявляется в том, что, с одной стороны, он способен увидеть, описать или нарисовать смешное, например, Опенкина, Улиту, Кридкую. Но он не чувствует, в чем творческий потенциал юмора. Без комических персонажей мир неполон, не высвечен во всей его глубине и многосмысленности. Один из возможных примеров — чиновник Опенкин. Гончаров дает на нескольких страницах эпизод, в котором солирует этот персонаж: он надоедлив, нелеп, смешон. Но как много мы узнаем из этого эпизода о Татьяне Марковне, традициях ее дома, ближайшего городка, да что-то и об особенностях национальной жизни. А Райский, как сказано, «записал» Опенкина и, положив перо, спросил себя: «Зачем он записал его? Ведь в роман он не годится, нет ему роли там» (327). Райский не догадывается, что «опенкины» имеют отношение не только к бытовому, но и к бытийному контексту русской жизни.

Решив писать в конце концов роман о Вере, Райский думает: «Прочь всё лишнее, <...> весь балласт в сторону» (711). Но без «балласта» комических компонентов сюжета не было бы романа «Обрыв».

В творческом «состоянии» с автором «Обрыва» Борис Райский, при всех его талантах и интеллектуальном багаже, обречен был проиграть.

~ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ~

- Бак 1992 — Бак Д. П. Проблема творчества и образ художника в романе И. А. Гончарова «Обрыв» // Традиции и новаторство в русской классической литературе (... Гоголь... Достоевский...) СПб., 1992. С. 113–123.
- Бахтин 1975 — Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
- Бицилли 1996 — Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. М., 1996.

- Вольтер 1961 — Вольтер. Бог и люди. Статьи, памфлеты, письма: в 2 т. Т.1. М., 1961.
- Гейро 2000 — Гейро Л. С. «Сообразно времени и обстоятельствам...» (Творческая история романа «Обрыв») // Литературное наследство. Т.102: И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. М., 2000. С. 83-183.
- Гинзбург 1977 — Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1977.
- Гинзбург 1982 — Гинзбург Л. Я. О старом и новом. Л., 1982.
- Гончаров 1980 — Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8 т. Т.6. М., 1980.
- Гончаров 1998 — Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т.4. СПб., 1998.
- Гончаров 2004 — Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т.7. СПб., 2004.
- Карлейль 1994 — Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994.
- Краснощекова 1997 — Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров. Мир творчества. СПб., 1997.
- Кургинян 1963 — Кургинян М. С. Трагическое и его роль в познании нового: Из истории западноевропейской драмы и романа // Литература и новый человек. М., 1963. С. 309-370.
- Леонтьев 2014 — Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. Т.8. СПб., 2014.
- Максимов 1986 — Максимов Д. Е. О романе-поэме Андрея Белого «Петербург»: К вопросу о катарсисе // Максимов Д. Е. Русские поэты начала века. Л., 1986. С. 240-348.
- Маркович 1982 — Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30-50-е годы). Л., 1982.
- Мережковский 2007 — Мережковский Д. С. И. А. Гончаров: (Критический этюд) // Мережковский Д. С. Вечные спутники: портреты из всемирной литературы. СПб., 2007. С. 195-212. (сер. «Лит. памятники»)
- Пинский 1989 — Пинский Л. Е. Магистральный сюжет. М., 1989.
- Райнов 1916 — Райнов Т. И. «Обрыв» Гончарова как художественное целое // Вопросы теории психологии творчества. Т.7. Харьков, 1916. С. 32-75.

- Стери 1968 — Стери Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. М., 1968.
- Тихомиров 2012 — Тихомиров Б. Н. «...Я занимаюсь этой темой, ибо хочу быть человеком». Статьи и эссе о Достоевском. СПб., 2012.
- Триодь цветная 1992 — Триодь цветная. М., 1992.
- Тронская 1965 — Тронская М. Л. Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения. Л., 1965.
- Тюпа 1987 — Тюпа В. И. Художественность литературного произведения. Вопросы типологии. Красноярск, 1987.
- Фомичев 2007 — Фомичев С. А. Грибоедов. Энциклопедия. СПб., 2007.
- Энгельгардт 2000 — Энгельгардт Б. М. «Путешествие вокруг света И. Обломова»: главы из неизданной монографии *Л* Литературное наследство. Т. 102: И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. М., 2000. С. 15-73.
- Эткинд 1999 — Эткинд Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психопозитики русской литературы XVIII–XIX веков. М., 1999.



Ксения Юрьевна Тверьянович

«БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

НИКОЛАЯ АГНИВЦЕВА: О ТРИВИАЛЬНОСТИ И НАСТОЯЩЕЙ ПОЭЗИИ

Сборник стихотворений «Блестательный Санкт-Петербург» относится к эмигрантскому периоду творчества Николая Яковлевича Агнивцева (1888–1932) — поэта, писателя и драматурга, который покинул Россию в 1921 г. и вернулся в 1923-м¹. Впервые сборник был опубликован в Берлине в 1923 г. (Агнивцев 1923)² и явился переработкой книги 1921 г. «Санкт-Петербург», вышедшей в Тифлисе (Агнивцев 1921). Позже он неоднократно переиздавался — как в России, так и за рубежом (Агнивцев 1962; 1968; 1989; 1998; 2002; 2009 и др.). В издание 1923 г. вошли 39 стихотворений³, объединенных не только образами петербургского пространства, но и темой изгнания: лирический герой вспоминает о былом

¹ В «Литературной энциклопедии» 1930-х гг. выделяются три периода творчества Н. Я. Агнивцева: «дореволюционный, эмигрантский и период после возвращения ... в СССР» (ЛЭ 1930). Автор статьи характеризует их следующим образом: «В первый период основные мотивы его поэзии — экзотика, эротика и идеализация феодально-аристократического мира. В дальнейшем основным настроением становится сменовеховский национализм. Последний же период творчества Агнивцева посвящен будням советского быта» (Там же). Поддерживает такую периодизацию и автор статьи в современном словаре В. В. Попов: «Если не принимать во внимание своеобразную терминологию тех лет, то суть явления подмечена правильно. При единстве поэтического стиля, художественных приемов и особенностей в отдельные периоды жизни Агнивцева существовали как бы три разных поэта, значительно отличавшиеся друг от друга настроением, темами в зависимости от перипетий судьбы автора» (Попов 2005: 15).

² Далее при ссылках на это издание указываются только номера страниц.

³ Включая вступление, не вынесенное в оглавление.

Петербурге как о земле обетованной, противопоставляя его всему остальному миру.

Критика встретила сборник неоднозначно. Так, в берлинском журнале «Новая русская книга» рецензент писал: «Что Агнивцев своеобразный поэт, нельзя спорить; что Агнивцев поэт — лишенный вкуса, лишним доказательством служит эта книжка» (Офросимов 1923). Однако следует оговорка: «... среди массы повторений, тривиальностей и просто безграмотностей — нет-нет да и выглянет настоящее лицо настоящего поэта, губящего себя, свое дарование по подмосткам театриков-кабарэ» (Там же). Этот отзыв крайне противоречив: почему автор сборника, в котором обнаруживается «масса повторений, тривиальностей», характеризуется как «своеобразный поэт»? И если поэт лишен вкуса и попросту безграмотен — что в нем может быть настоящего?

Даже при поверхностном знакомстве со сборником обращает на себя внимание своеобразие его стиха. Традиционными $\frac{1}{4}$ -стишиями $\frac{1}{4}$ -стопного ямба с перекрестными женскими и мужскими рифмами (Я $\frac{1}{4}$ АbАb) написано чуть больше трети стихотворений (1 $\frac{1}{4}$ из 39), зато остальные 23 обнаруживают большое разнообразие строфических моделей, от популярных до редких и даже экзотических (см. табл.).

Так, в стихотворении «Триптих» использовано необычное сочетание цепных строф и сквозной рифмовки. Текст написан 3-стишиями $\frac{1}{4}$ -стопного хорая, где первая, вторая и третья строки каждой строфы зарифмованы с соответствующими строками всех остальных строф (по схеме АВс). В основе композиционной структуры текста лежит принцип трехчастности: весь текст написан на три рифмы, каждая строфа состоит из трех стихов, а все стихотворение — из трех разных строф (четвертая строфа полностью повторяет первую). Заглавие, вызывающее ассоциации с религиозной тематикой, провоцирует интерпретировать этот композиционный изоморфизм в символическом ключе. Однако тематика стихотворения резко контрастирует с замысловатой композицией

и нарушает читательские ожидания, заданные заглавием. Выясняется, что «лики» на «триптихе» — всего лишь элементы «гастрономического быта» дореволюционного Петербурга. Через религиозные ассоциации кулебяка, пирожок и бутерброд по своей ценности уподобляются святыням:

Кулебяка «Доминика»,
 Пирожок из «Квисисаны»,
 «Соловьевский» бутерброт...

Вот триптих немного дикий,
 Вот триптих немного странный,
 Так и прыгающий в рот!..

Каждый полдень, хмуря лики,
 Предо мною из тумана
 Трое призраков встает:

– Кулебяка «Доминика»,
 Пирожок из «Квисисаны»,
 «Соловьевский» бутерброт!..⁴ (51)

Необычны и ямбические 7-стишия со схемой рифмовки абаабаб, с разным чередованием мужских и женских окончаний, представленные в стихотворениях «На „Петербургской стороне“», «Санкт-Петербургские триолеты» и «Ужель наступит этот час?..». Эта форма представляет собой дериват триолета⁵. Сохраняя канонический слоговой объем строк, Агнивцев редуцирует триолетную схему до 7-строчной⁶. Первый

⁴ Тексты стихотворений приводятся в орфографии и пунктуации издания 1923 г. (Агнивцев 1923), за исключением букв, отсутствующих в современном русском алфавите.

⁵ Канонический триолет состоит из восьми 8-сложных стихов, рифмующихся по схеме абаабаб, где 1-й стих полностью повторяется как 4-й и 7-й, а 2-й стих — как 8-й; на конец 2-го и 4-го стихов приходится смысловая пауза (Гаспаров 2003).

⁶ Возможно, говоря о «безграмотностях», рецензент из «Новой русской книги» имел в виду прежде всего эти нарушения традиционных

повтор 1-го стиха в двух стихотворениях отсутствует, в одном является частичным («Петербургские триолеты»). Первые два стиха повторяются как последние два, но в некоторых случаях с вариациями («На „Петербургской стороне“»). Трехчастное смысловое членение, свойственное триолетной форме, поэт сохраняет, но располагает смысловые паузы иначе: после 2-го и 5-го стихов.

Особенно строгая композиция задана в стихотворениях «Санкт-Петербургские триолеты» и «Ужель наступит этот час?..» Каждая строфа в них содержит по два риторических вопроса. Первый вопрос, охватывающий 5 строк, выражен сложноподчиненным предложением, где главное занимает 2 первых строки, а придаточное — 3 последующих и начинается союзом «когда». Завершается строфа повтором двух первых строк, которые на сей раз представляют собой отдельный вопрос:

*Ужель наступит этот час
На Петропавловских курантах,
Когда столица, в первый раз,
Заблещет в этот страшный час
В слезах, как ранее в бриллиантах?!
Ужель наступит этот час
На Петропавловских курантах?..*

*Ужель наступит этот год
Над Петербургом вечно-звонным,
Когда гранит — во прах падет
И вновь забрызжет небосвод
И ахнет твердь гранитным стеном?!
— Ужель наступит этот год
Над Петербургом вечно-звонным?..⁷ (30)*

параметров триолетной формы. Однако использование вариации из 8 строк в стихотворении «Екатерининский канал», как представляется, явно свидетельствует о том, что создание 7-строчных «триолетов» в данном случае — не ошибка, а сознательный эксперимент.

⁷ Повторы выделены курсивом.

Таким образом Агнивцев преобразует каноническую форму в оригинальную строфу, которая хранит память о своем европейском прообразе и в то же время продолжает сложившуюся в русской поэзии традицию творческого переосмысления заимствованных форм, в русле которой уже в XVIII в. рождались вариации одической строфы, в XIX — октавы и сонета, а в начале XX также и многих других, более редких форм (Вишневский 1972; Вишневский 1989; Гаспаров 2000: 103–104, 165 и др.).

Еще раз форма триолета использована в стихотворении «Екатерининский канал»², написанном нетождественными строфами 4-стопного ямба. Здесь 2-стишия на основе триолетной схемы открывают и завершают композицию текста, образуя кольцо вокруг пяти обычных 4-стиший АБАБ. Финальная строфа повторяет первую полностью, без вариаций (кроме расстановки знаков препинания). Схема рифмовки соответствует канонической, но ни один стих полностью не повторяется, хотя 7-й представляет собой вариацию риторического вопроса, заданного в 1-м (Вы не бывали √ На канале?.. √ ... √ Вы там наверное бывали?). Смысловые паузы приходится на конец 2-го, 4-го и 6-го стихов. Необычный вид придает строфе оригинальное графическое оформление: первый стих разбит на два подстрочия, граница которых подчеркнута дополнительным созвучием.

Вы не бывали
 На канале?
 На погрузившемся в печаль
 «Екатерининском канале»,
 Где воды тяжелее стали,
 За двести лет бежать устали
 И побегут опять едва-ль?
 Вы там наверное бывали?
 А не бывали! — Очень жаль! (52)

Триолет —

² Современный канал Грибоедова.

Триолет — не единственная твердая форма, с которой экспериментирует Агнивцев. Так, в основе куплетных строф стихотворения «В домике на Введенской» лежит схема французского сонета. Вопреки канону, поэт пишет катрены на разные рифмы, в терцетах вводит дактилические клаузулы и графически выделяет нетождественные строфы по 8 и 6 стихов. Эта комбинация (8+6) повторена дважды, причем 6-стишие повторяется дословно — как припев. В сочетании с 4-стопным хореем с укороченным последним стихом 6-стишия и напевным типом интонации эти стиховые признаки ясно указывают на связь с песенным жанром. Любопытно, что сонетная форма, по происхождению тоже песенная, но в литературе нового времени книжная, изысканная, — используется Агнивцевым в сочетании с нарочито бытовой образностью, алогизмами, сниженной лексикой, примитивным синтаксисом. Восклицательные конструкции выражают нарочито чувствительный восторг субъекта речи перед героиней, заурядность которой выражена даже ее именем. Возникающая в результате «картинка» из мещанской жизни, наряду с хорейским ритмом, дактилическими рифмами и графическим членением текста, маскирует сонетную схему почти до неузнаваемости.

У нея — зеленый капор
 И такие-же глаза;
 У нее на сердце — прапор,
 На колечке — бирюза!
 Ну и что-же тут такого?..
 Называется-ж она
 Марь Иванна Иванова
 И живет уж издавна —
 В том домишке, что сутунится
 На углу Введенской улицы,
 Позади сгоревших бань,
 Где под окнами — скамеечка,
 А на окнах — канареечка
 И — герань!

Я от зависти тоскую!
 Боже правый, помоги:
 Ах, какие поделуи!
 Ах, какие пироги!..
 Мы одно лишь тут заметим,
 Что, по совести сказать,
 Вместе с прапором-то этим
 Хорошо бы побывать —
 В том домишке, что сутулится
 На углу Введенской улицы,
 Позади сгоревших бань,
 Где под окнами — скамеечка,
 А на окнах — канареечка
 И — герань!

Куплетная композиция стихотворения «Елизавет» также основана на традиционной строфической форме — одической строфе, но в усеченном виде: здесь используется лишь структура ее второй части, 6-стишия. По данным К. Д. Вишневого, строфа с рифмовкой ААЬССЬ представляет собой самый популярный вариант 6-стишной строфы в русской поэзии XVIII–XIX вв. (Вишневский 1984: 43) и, разумеется, вовсе не обязательно имеет прямое отношение к одической строфе. Однако в стихотворении Агнивцева ассоциации с жанром оды поддерживаются и тематически, и лексически, и ритмически. Лирический сюжет строится на развитии образа императрицы, основанного на контрасте любвеобильности и жестокости. Такая интерпретация образа монархини по-своему полемична по отношению к панегирической оде. Огласовка имени Елизаветы Петровны (Елизавет) приближена к той, в которой оно встречается в одах XVIII в. (Елисавет), да еще в рифменной позиции и следом за строкой V ритмической формы 4-стопного ямба, характерной для поэзии того времени⁹.

⁹ Хрестоматийный пример «Извóлила Елисавет» приводит уже Андрей Белый (Белый 2010: 220), и, учитывая широкий резонанс сборника «Символизм» (Гаспаров 2000: 236), выводы Белого относительно хронологического

Все это позволяет видеть в использованной строфической структуре своеобразную цитату.

Все приведенные примеры редких стиховых форм, встречающихся в сборнике «Блистательный Санкт-Петербург», отчетливо демонстрируют тяготение к жанру песни. Об этом свидетельствуют и особенности стиховой интонации¹⁰, и активное использование рефренов, куплетных и кольцевых композиций, анафор, связывающих сразу по несколько строф¹¹.

Тем не менее в глаза бросается не только версификационная, но и тематическая неоднородность стихотворений сборника. С тематической точки зрения в нем можно выделить шесть групп стихотворений: 1) собственно о Петербурге; 2) о Петербурге и эмиграции; 3) об отдельных бытовых эпизодах и атрибутах петербургской жизни; 4) об отдельных петербургских зданиях; 5) о различных периодах петербургской истории; 6) о гибели города; 7) о любовных похождениях горожан. Круг тем, таким образом, очень широк: от высоких и серьезных до бытовых и комических.

К первой тематической группе можно отнести четыре стихотворения: «Белой Ночью», «Санкт-Петербург», «Санкт-Петербургские триолеты», «Странный город». Они насыщены отсылками к особенностям топографии Петербурга, к событиям его истории, хорошо узнаваемым архитектурным

распределения ритмических форм 4-стопного ямба (Белый 2010: 199, 221) были Агнивцеву, скорее всего, известны.

¹⁰ О признаках напевной, в том числе песенной интонации см.: (Холшевников 1991: 85–123).

¹¹ В этом отношении стихотворения этого сборника вполне типичны для Агнивцева — известного автора текстов популярных песен. В. В. Попов, автор биографической статьи о поэте, отмечает: «Стихи Агнивцева» были словно созданы специально для устного исполнения: они легко запоминались, были просты и изящны по форме, в них часто применялись повторы и рефрены, а строфы стихотворений Агнивцева часто напоминали куплеты и припевы песен. Не случайно композиторы охотно писали музыку на стихи Агнивцева, и эти песни охотно исполнялись такими артистами, как Н. Ходотов, А. Вертинский и др.» (Попов 2005: 15).

образам. В развитии лирического сюжета задействованы многие мотивы, являющиеся константами петербургского текста русской литературы, например мотив чудесного создания города в одночасье по воле Петра-демиурга, мотивы призрачности города, плохой видимости, пограничного существования между сном и явью, бытием и небытием (Топоров 1995). В некоторых случаях вводятся отсылки к творчеству современников, отчасти продолживших «петербургскую традицию» русской литературы, например «акмеистическое» сопоставление словесного и архитектурного творчества в стихотворении «Станный город»:

Санкт-Петербург — гранитный город,
Внесенный Словом над Невой,
 Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!
 <...>

Недаром Пушкин и Растрелли,
 Сверкнувши молнией в веках,
Так титанически воспели
*Тебя — в граните и — в стихах*¹². (13)

В первой строфе, кроме того, легко распознается цитата из «Медного всадника». Таким образом, сами образы и мотивы — сплошные «тривиальности и повторы», однако своеобразным представляется их сочетание. Художественный мир рассматриваемых стихотворений очень тесен: городское пространство состоит исключительно из архитектурных и топографических «доминант» и «открыточных видов» (Летний сад, дворцы, Невский, Петропавловская крепость, Гостиный и т. д.), которые словно сгрудились в нем. Грань между историческим и литературным стирается: днем в Летнем саду стоит Лермонтов, у Невы — Пушкин, а ночью у Зимней канавки рыдает Лиза и над городом грохочет «топот медного Петра». В результате

городское

¹² Курсив мой. — К. Т.

городское пространство преобразуется в пространство русской культуры «петербургского» периода.

Все четыре стихотворения этой тематической группы написаны разными стиховыми формами, в основном нетривиальными. Лишь в одном тексте используются 4-стишия 4-стопного ямба, а в остальных — безрифменные 4-стишия 4-стопного хорея, ямбические 7-стишия и полиметрия на основе чередования ямба с амфибрахием.

Ко второй тематической группе — стихотворений о Петербурге и об изгнании — можно отнести семь произведений: «В Архипелаге», «В моем изгнании бесконечном...», «Гранитный барин!», «Гранитный призрак», «Дама в карете», «Н. Н. Ходотову», «План Города С.-Петербурга». Как и стихотворения первой группы, они насыщены традиционными образами и мотивами «петербургской» литературы, заимствованными у разных авторов, от Пушкина до Мандельштама. Так, в стихотворении «Вдали от тебя, Петербург» строка «Когда моторов вереница...», вероятно, восходит к мандельштамовской «Летит в туман моторов вереница...» («Адмиралтейство», 1913), а нечетные строки третьей строфы «А трон Российской Клеопатры ∩ В твоём саду?.. И супротив ∩ „Александринского театра“ ∩ Непоколебленный массив?» (9) — ко второй строфе стихотворения Б. Лившица «Александринский театр» (1915): «И северная Клеопатра ∩ Уже на Невском, — как светло ∩ Александринского театра ∩ Тебе откроется чело!» (Лившиц 1989: 76)¹³. Принципиальное отличие стихотворений второй группы от прочих состоит в том, что их лирический сюжет организуется на основе противопоставления Петербурга «изгнанию», то есть всему остальному миру «От башни Эйфеля — до вечных ∩ Легендо-звонных пирамид» (7). Увидев весь мир, лирический герой приходит к утверждению высшей

¹³ Ср. также в стихотворении «У Александринского театра»: «Там, где Российской Клеопатры ∩ Чугунный взор так горделив, ∩ Александринского театра ∩ Чеканный высится массив» (14).

ценности петербургского прошлого и жалеет тех, кто ее не познал. Лирический сюжет в большинстве случаев организуется как развертывание одного из антитетических образов — либо Петербурга, либо не-Петербурга и не-России (Парижа, Нью-Йорка, Берлина, Лондона). Противоположный образ вводится лишь в самом конце таких стихотворений, в некоторых случаях имплицитно — лишь через обозначение оппозиции. В композиционном развертывании большинства текстов этой группы организующую роль играет прием «аккумуляции»: образы Петербурга и изгнания строятся в значительной мере на основе простого перечисления их отдельных элементов и атрибутов:

Париж кокоток и абсента,
 Париж застывших Луврских ниш,
 Париж Коммуны и Конвента
 И — всех Людовиков Париж!

Париж бурлящего Монмартра,
 Париж Верленовских стихов,
 Париж штандартов Бонапарта,
 Париж семнадцати веков!.. (46)

... Весь старый пышный Петербург
 Встает, как призрак, предо мною:

Декабрьских улиц белизна,
 Нева и Каменноостровский,
 И мерный говор Куприна,
 И трели Лидии Липковской;

И пробка шумного «Аи»,
 И Вильбушевич с Де-Лазари;
 Пажи безсменные твои —
 На пианино, на гитаре... (48)

Ужели Пушкин, Достоевский,
 Дворцов застывший плац-парад,

Нева,

Нева, Мильонная и Невский

Вам ничего не говорят?

<...>

Ужель не ведомы вам даже:

Фасад Казанских колоннад?

Карнатиды «Эрмитажа»?

Взлетевший Петр и «Летний Сад»? (9)

Все стихотворения этой группы написаны тождественными катренами 4-стопного ямба перекрестной рифмовки, с разным расположением каталектик. В особую группу можно выделить восемь стихотворений, посвященных отдельным атрибутам и типичным эпизодам петербургской жизни — преимущественно самым обыкновенным, бытовым. В трех случаях это «зарисовки», характеризующие обычаи горожан — поездки к цыганам, гуляния на стрелке Васильевского острова, посещение театра («В 5 часов утра», «На разсвете», «На „Стрелке“», «Принцесса Моль»); еще в двух — воспоминания, навеянные случайно найденными предметами, привезенными из Петербурга («Букет от „Эйлерса“», «Коробка спичек»); еще в двух стихотворениях воспеваются гастрономические радости былой жизни («Триптих», «Четыре»). Отсылки к литературной традиции играют здесь не меньшую роль, чем в стихотворениях о самом городе (так, «Букет от Эйлерса» — своеобразная вариация на тему пушкинского «Цветка»). Прием «аккумуляции», упомянутый выше в связи со стихотворениями, основанными на оппозиции хронотопов, в произведениях этой группы используется не менее активно, а в некоторых случаях доведен до абсурда. Длинное перечисление понятий из разных логических рядов создает гротескный образ тесного городского пространства, заполненного архитектурными памятниками или предметами роскоши:

Исакий, Петр, Нева, Крестовский,

Стозвонно-плещущий Пассаж,

И плавный Каменноостровский,

И баснословный Эрмитаж... (54)

Ландо, коляски, лимузины,
 Гербы, бумажники, безделки,
 Брильянты, жемчуга, рубины —
 К закату солнца — все на «Стрелке!» (20)

Доминирующая стиховая форма в этой группе, как и в предыдущей, — 4-стишия 4-стопного ямба перекрестной рифмовки (5 произв.), однако в двух стихотворениях использованы необычные хорейские формы: цепные и нетождественные строфы.

Основу лирического сюжета двух стихотворений четвертой тематической группы, «У Александринского театра» и «Красный дом», составляют архитектурные образы. Для них характерно олицетворение зданий и других элементов петербургского пространства (коридора в здании Двенадцати коллегий, Невского проспекта, памятника Екатерине), которое предстает как творческая личность, автор разворачивающихся в нем «человеческих» сюжетов — «сказки» Комиссаржевской, юности лирического героя. Оба стихотворения написаны катренами 4-стопного ямба перекрестной рифмовки.

Три стихотворения пятой группы — «Петр 1-й», «Елизавет» и «Павел 1-й» — посвящены различным эпохам петербургской и, шире, российской истории, которые интерпретируются в соответствии с традицией петербургского текста. В первом стихотворении реализованы основные мотивы мифа о создании Петербурга волей царя-демиурга и о последующем его существовании между жизнью и смертью, на костях «бездельных русских мужиков», и о грядущей гибели города как о возмездии за содеянное зло (Топоров 1995). В остальных двух произведениях последующая история России и ее столицы предстает как постоянное напряженное существование между бытием и небытием (Там же: 65). Царствование Елизаветы — это любовь к удовольствиям и варварская жестокость к врагам. Правление Павла характеризуется через простую дилемму: либо Павел живет, а Россия умирает, либо наоборот. Во всех трех текстах использованы «нетривиальные» стиховые формы:

формы: ямбические нетождественные строфы разных видов и 3-стопный амфибрахий с перекрестным чередованием дактилических и мужских окончаний.

К группе «исторических» стихотворений тематически близки три произведения, в лирическом сюжете которых реализован эсхатологический сюжет петербургского мифа: «Вы помните былые дни», «Когда голодает гранит», «Ужель наступит этот час?..» Впрочем, мотив гибели города трактуется в них по-разному. В стихотворении «Ужель наступит этот час?..» гибель предстает как реальное, физическое разрушение: гранит рассыпается в прах, небо заливается кровью, а сам город — слезами. В «Когда голодает гранит» развязка предстает совершенно иной: олицетворенный город и отдельные элементы городского пространства (мосты, здания) не гибнут физически, но теряют былое величие и достоинство, готовые «продаться» или «стоять с протянутой рукой» за кусок хлеба¹⁴. Совсем иначе конец Петербурга трактуется в стихотворении «Вы помните былые дни», где гибель прежнего города знаменует собой рождение нового, юного, чужого:

Вы помните как ночью, вдруг,
Взметнулись красные зарницы
И утром вдел Санкт-Петербург
Гвоздику юности в петлицу?.. (56)

¹⁴ В соответствии с традицией петербургского мифа, здесь гибель города трактуется как расплата за былые грехи — в данном случае высокомерие и небрежение к жизни «маленького человека». В первой строфе обыгрывается эпизод из «Медного всадника», когда Евгений грозит «истукану»: у Агнищева парадному Петербургу, представленному пушкинским же «Александрийским столпом», грозит «краюшка хлеба». Возможно, из этого же фрагмента пушкинской поэмы возникли устойчивые звуковые ассоциации образа Петербурга со «звоном»: «И в звоне утреннего часа / Скрежещет лязг гранитных плит!..» (55), «Над Петербургом вечно-звонным» (30), «Вы помните тот вечно-звонный / Неугомонный красный дом» (35) (ср. однокоренные эпитеты, также двухсложные, в «Медном всаднике»: «Тяжело-звонкое скаканье / По потрясенной мостовой», «За ним несется Всадник Медный / На звонко-скачущем коне»).

В композиционном отношении два из трех стихотворений этой группы обнаруживают существенное сходство: «Вы помните былые дни» и «Ужель наступит этот час?» целиком организованы как последовательность риторических вопросов. Все три стихотворения написаны 4-стопным ямбом — два катренами перекрестной рифмовки и одно 7-стишиями на основе триолета, о которых речь шла выше.

Наконец, в сборнике можно выделить особую группу из 10 стихотворений, сюжет которых особенно тяготеет к нарративности. Основу его составляют случаи из жизни горожан («Граф Калиостро», «Князь Павел», «В. О. 17 л.», «В домике на Введенской», «На „Петербургской Стороне“», «Случай на Литейном проспекте», «Голубая дама», «Дама из Эрмитажа», «Дама на свидании» и «Туманная история»). В большинстве случаев основным сюжетобразующим мотивом является любовная измена, а персонажи безымянны и обозначены лишь как представители определенной социальной группы (гвардии поручик, коллежский регистратор, майор, майорша, князь К., княгиня, дама и т. д.). В тех случаях, когда имена названы, они совершенно обычны и своей ординарностью лишь подчеркивают типичность персонажей и ситуации (князь Павел, Марь Иванна). В целом сюжетные коллизии, стилистические и композиционные особенности указывают на связь текстов этой группы с городским фольклором, с жанром мещанской баллады¹⁵. В стихотворении «Екатерининский канал» мотив измены получает необычную трактовку: эпизод из истории формирования современной петербургской топографии (строительство Крюкова канала), метафорически осмысливается как любовная коллизия (треугольник «Крюков канал — Мойка — Екатерининский канал»), которая разрешается трагически. Большинство стихотворений из этой группы написаны нетождественными строфами 4-стопного ямба и хорей

¹⁵ О характерных признаках этого жанра см.: (Адоньева, Герасимова 1996).

хорея (7 из 11 произв.), с полным повтором одной из строк; из шести стихотворений куплетной формы, представленных в сборнике, пять относятся именно к этой группе. Содержание рефренной строфы в нескольких случаях сводится к указанию места и/или времени действия:

— На Литейном, прямо, прямо,
Возле третьяго угла,
Там, где Пиковая Дама
По преданию жила! (18)

Это было в придворной карете
С князем Павлом в былые года...

Это было при Елизавете

И не будет уж вновь — никогда! (32)

В предпоследней строфе (перед финальным повтором «припева») в большинстве текстов дана неожиданная развязка. Одним из характерных стилистических приемов, выделяющих тексты этой группы, является использование элементов макаронического стиля:

И, взглянув на вещи прямо,
Поборов конфуз и страх,
Очень долго та статс-дама
Пребывала в облаках!..

И у дома, спрыгнув на землю
С той заоблачной стези,
Нежно так простилась с князем
И промолвила: «Мерси». (33)

Но, вот, коллежский регистратор —
Встал перед нею «à genoux»

И, сделав под окном сперва тур,
В любви пылая, как экватор,
Прельстил майорову жену
Коллежский этот регистратор,
Пред нею вставши «à genoux». (37)

Несколько особняком в группе «нарративных» стихотворений стоят «истории о похождениях дамы», которые выделяются «литературностью» тематики. Две такие истории написаны в форме монолога героини: в одном случае она рассказывает о том, как влюбилась с первого взгляда в незнакомца, имени которого не запомнила, и судорожно ищет его записку, чтобы навести справки; во втором — вспоминает о вчерашнем бале, где она хотела пофлиртовать с молодым офицером, но ей помешал муж-ничтожество. Ординарность образа героини и сюжетных коллизий подчеркнута выбором банальной стиховой формы — катренов 4-стопного ямба АБАБ. В обоих случаях в финале сюжет получает неожиданно серьезный поворот: возникающие в пуанте имена Гоголя и Пушкина, отсылая к фактам биографии писателей, составляют резкий контраст милой и пошлой болтовне «дамы» и помогают увидеть за бутафорским блеском и легкомыслием петербургской жизни — жизнь истинную, полную глубоких конфликтов и трагизма. В стихотворении «Дама из Эрмитажа» пуанта дополнительно выделена ритмическим перебоем: ямб вдруг сменяется хореем.

Pardon! Вы, кажется, спросили
 Кто муж мой? Как бы вам сказать...
 В числе блистательных фамилий
 Его, увы, нельзя назвать!..

Но он в руках моих игрушка!
 О нем слышали вы? или нет?
*«Александр Сергеевич Пушкин,
 Камер-юнкер и поэт!..»¹⁶ (26)*

Тема судьбы писателя и его конфликта с обывательским миром продолжается в стихотворении «Голубая дама», сюжет которого составляет случайная встреча с Державиным дамы, принявшей его за князя Потемкина. Разочарование дамы представляется

¹⁶ Курсив мой. — К. Т.

представляется тем более неожиданным, что ее образ наделен многими характерными атрибутами и музыки, и романтической лирической героини, и блоковской прекрасной дамы: это и легкость движений («проскользнув меж карет»), и нездешняя красота («словно выйдя из бархатной рамы»), и голубой цвет, и «нематериальность» («Как далекий аккорд клавесин, / Как апрельский туман над Невою»). Тем не менее, поняв, что перед нею «всего только старый Державин», она уходит (49).

Стихотворения, отнесенные нами к различным тематическим группам, в сборнике перемежаются друг с другом, создавая впечатление странной пестроты и, возможно, на первый взгляд безвкусицы. Между тем предложенное описание тематических групп позволяет предположить, что эта пестрота — результат мастерской реализации авторского замысла: создать сложный образ, включающий в себя и основные константы петербургского мифа, и устойчиво связанные с ним литературные мотивы и конкретные претексты, и исторические сюжеты, и элементы петербургской топографии, и быта, и низовой, мещанской городской культуры — словом, всё то, и торжественное и повседневное, чем был Петербург для эмигранта, который в нем некогда жил, гулял, кутил, ел и пил, а не только читал произведения высокой литературы и любовался архитектурными красотами. В пользу подобной интерпретации свидетельствует очевидная продуманность подбора поэтических средств для стихотворений различных тематических групп: как видно из предложенного обзора, в пределах большинства групп произведения обнаруживают композиционный изоморфизм на разных уровнях, в частности на стиховом.

В целом поэтика сборника строится на контрасте высокого и низкого, изысканного и пошлого — контрасте, который снимается за счет целой системы приемов. Так, вариации изысканных традиционных форм литературного стиха (сонета, триолета, одической строфы) преобразуются в куплеты и припевы «мещанских романсов»; Пушкин и Гоголь задействованы

Метры и размеры	Строфика	Прозв.	Строк	Название \surd 1-я строка
X_4	<i>Тожд. строфы</i>			
	ABc + ABc...	1	12	Триптих
	XXXx	1	56	Белой Ночью
	<i>Нетожд. строфы, рег.</i>			
	AbAbCdCd + E'E'	1	30	В. О. 17 л.
	AbAbCdCd + EfEf	2	72	Князь Павел; Случай на Литейном проспекте
	AbAbCdCd + E'E'fG'G'f	1	28	В домике на Введенской
<i>Нетожд. строфы, перег.</i>				
aBaB $\times \frac{1}{4} +$ Xcc	1	19	На развете	
Всего X		7	217	

Y_4	<i>Тожд. строфы</i>			
	aBaB	$\frac{1}{4}$	96	Букет от «Эйлерса»; Вы помните былые дни...; Н. Н. Ходотову; Четыре
	AbAb	$\frac{1}{4}$	$36\frac{1}{4}$	В моем изгнании бесконечном...; В 5 часов утра; Вдали от тебя, Петербург!; Гранитный барин!; Гранитный призрак; Дама в карете; Дама из Эрмитажа; Дама на свидании; Когда голодает гранит; Коробка спичек; Красный дом; Принцесса Моль; Странный город; У Александринского театра
ABAB	3	36	В Архипелаге; На «Стрелке»; План Города С.-Петербурга	

Метры и размеры	Строфика	Прозв.	Строк	Название \curvearrowright 1-я строка
$Я\frac{1}{4}$	<i>Тожд. строфы</i>			
	<u>aBaBaB</u>	2	35	Санкт-Петербургские триолеты; Ужель наступит этот час?..
	AbAAbAb	1	35	На «Петербургской стороне»
	<i>Нетожд. строфы, рег.</i>			
	aBaBa + cDcDc + EfEf	1	28	Граф Калюстро
$Я\frac{1}{4}$	<i>Нетожд. строфы, черг.</i>			
	AbAb \times 2 + AAbb \times 2	1	16	Петр 1-й
	AbAb \times 5 + AbbA	1	$2\frac{1}{4}$	Туманная история
	AbAAAbAb + AbAb \times 5 + AbAAAbAb	1	36	Екатерининский канал
$ЯРз$	<i>Тожд. строфы, рег.</i>			
	AAbCCb + DDe + FFe	1	$2\frac{1}{4}$	Елизавет
Всего Я		29	69$\frac{1}{4}$	
$Анз$	<i>Тожд. строфы</i>			
	AbAb	1	$2\frac{1}{4}$	Голубая дама
	A'bA'b	1	$2\frac{1}{4}$	Павел 1-й
$ПК$	<i>Нетожд. строфы, черг.</i>			
	$Я\frac{1}{4}$ AbAb \times 2 +	1	28	Санкт-Петербург
	$Ам\frac{1}{4}$ AA +			
	$Я\frac{1}{4}$ AbAb \times 3 +			
	$Ам\frac{1}{4}$ AA +			
$Я\frac{1}{4}$ AbAb				
Всего		39	98$\frac{1}{4}$	

в самых тривиальных сюжетах; самые прекрасные памятники, архитектурные и топографические доминанты Петербурга, неоднократно воспетые поэтами, включаются в длинные перечисления, в контексте которых они как бы обезличиваются и обесцениваются, превращаясь в банальные «открыточные виды». Так высокое снижается до быта, а быт возвышается до поэзии. Из «штампов» и «общих мест» рождается совершенно оригинальный образ Петербурга, в котором есть место и Александринскому театру, и призракам, и герани на окне, и кулебяке. Причем этот «вместительный» и разнообразный Петербург, вопреки традиции петербургского текста, не противостоит у Агнивцева остальной России. Напротив, для лирического субъекта, изгнанника, бывлой Петербург и есть Россия — средоточие русской культуры, центр исторических событий и даже национальной идентичности: «Вы помните про те года / Угасшей жизни Петербургской? / Вы помните! Никто тогда / Вас не корил тем, что вы „русский“» (57); в здании Двенадцати коллегий «Российской Мысли вечный факел / Неугасаемо пылал» (35); «Что мне Париж, раз он не русский?! / Ах, для меня под дождь и град, / На каждой тумбе Петербургской / Цветет шампанский виноград!..» (43). Таким образом, автор сборника «Блистательный Санкт-Петербург» предстает не как талантливый подражатель, но как оригинальный поэт и интересный стихотворец, творчески переосмысляющий традиционные образы, сюжеты и формы и создающий на их основе произведения в высшей степени своеобразные и безусловно заслуживающие внимания читателей и исследователей.

~ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ~

- Агнивцев 1921 — Агнивцев Н. Я. Санкт-Петербург. Тифлис, 1921.
 Агнивцев 1923 — Агнивцев Н. Блистательный Санкт-Петербург. Берлин, 1923.
 Агнивцев 1962 — Агнивцев Н. Я. Блистательный Санкт Петербург. Сан-Франциско, 1962.

- Агнивцев 1968 — Агнивцев Н. Я. Блистательный Санкт-Петербург. London, 1968.
- Агнивцев 1989 — Агнивцев Н. Я. Блистательный Санкт-Петербург. М., 1989.
- Агнивцев 1998 — Агнивцев Н. Я. Собрание сочинений: в 3 т. СПб., 1998.
- Агнивцев 2002 — Агнивцев Н. Я. Санкт-Петербург. Нью-Йорк, 2002.
- Агнивцев 2009 — Агнивцев Н. Я. Избранное. СПб., 2009.
- Адоньева, Герасимова 1996 — Адоньева С. Б., Герасимова Н. М. «Никто меня не пожалеет...» Баллада и романс как феномен фольклорной культуры нового времени *∫* Современная баллада и жесткий романс. СПб., 1996. С. 339-375.
- Белый 2010 — Белый А. Собрание сочинений. Символизм. Книга статей. М., 2010.
- Вишневский 1972 — Вишневский К. Д. Русская метрика XVIII века *∫* Вопросы литературы XVIII века. Пенза, 1972. С. 129-258.
- Вишневский 1984 — Вишневский К. Д. Введение в строфику *∫* Проблемы теории стиха. Л., 1984. С. 37-57.
- Вишневский 1989 — Вишневский К. Д. Разнообразие формы русского сонета *∫* Russian verse theory. Proceedings of the 1987 Conference at UCLA Slavic Studies. Vol. 12. Columbus, 1989. P. 455-476.
- Гаспаров 2000 — Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 2000.
- Гаспаров 2003 — Гаспаров М. Л. Триолет *∫* Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Стлб. 1098.
- Лившиц 1989 — Лившиц Б. К. Полтораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Л., 1989.
- ЛЭ 1930 — Агнивцев *∫* Литературная энциклопедия: в 1 т. Т. 1. М., 1930. Стлб. 651.
- Офросимов 1923 — О. «Ю. В. Офросимов». Н. Агнивцев. Блистательный Санкт-Петербург. И-во И. П. Ладыжникова. Берлин. 1923 *∫* Новая русская книга. 1923. № 1. С. 24. (имя рецензента приводится по: Кушлина О. Б. Агнивцев Николай Яковлевич *∫*

- Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь. Т. 1: А–Т. М., 1989. С. 23–24)
- Попов 2005 — Попов В. В. Агнивцев // Русская литература XX века. Прозанки, поэты, драматурги: биобиблиографический словарь: в 3 т. Т. 1. М., 2005.
- Топоров 1995 — Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С. 259–367.
- Холшевников 1991 — Холшевников В. Е. Стихование и поэзия. Л., 1991.



МЕЧ И ЛИРА. К ВОПРОСУ О ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ В СРЕДЕ РУССКОЙ ВОЕННОЙ ЭМИГРАЦИИ В БОЛГАРИИ

Объектом внимания в настоящей статье являются поэтические опыты русских воинов-эмигрантов в том виде, в каком они присутствуют на страницах семи периодических изданий русской военной эмиграции в Болгарии в 20–30-х гг. XX в.¹ Среди них два полковых издания — ежемесячный журнал Корниловского ударного полка² «Корниловец» (1922, с. Горно-Паничерево) и юбилейный однодневный номер Штаба группы корниловцев в Болгарии (1937, г. Бургас); два издания военных училищ — осведомительный листок Кубанского военного училища³ «Кубанец-Алексеевец» (1924–1925,

¹ Обращение к периодике было продиктовано тем, что в рассматриваемый период в Болгарии из представителей военной эмиграции только донскому поэту С. Ф. Сулину удалось опубликовать два сборника стихов. Они, как и издания казачьей военной эмиграции, не включены в настоящий обзор (исключение составляет «Кубанец-Алексеевец» в качестве издания военного училища) по причине их идейно-тематической специфики.

² Корниловский ударный полк был элитным боевым подразделением Русской императорской армии и, впоследствии, Добровольческой армии. После Крымской эвакуации (ноябрь 1920 г.) был частью Первого Армейского корпуса в Галлиполи. Корниловцы прибыли в Болгарию в конце ноября 1921 г. и были расквартированы в селе Горно-Паничерево (ныне село Ягода, Старозагорская область). Позже корниловцы обосновались на юге страны, преимущественно в Бургасе и Стара-Загоре.

³ Хотя Кубанское военное им. ген. М. В. Алексеева училище считалось преемником двух дореволюционных средних военно-учебных заведений, оно начало функционировать полноценно лишь в 1918 г. в Добровольческой армии. В изгнании училище находилось сначала на о. Лемнос, а с 1922 г. — в Болгарии, в с. Тырново-Сеймен (ныне г. Симеоновград, Хасковская область).

с. Тырново-Сеймен) и ежемесячный листок Александровского военного училища⁴ «Александровец» (1928–1932, г. Варна); три издания Общества галлиполийцев⁵ — ежемесячник областного правления Общества галлиполийцев в Болгарии «Вестник галлиполийцев в Болгарии» (1927–1928, г. София), журнал Русшукского отделения Общества галлиполийцев в Болгарии «Зарубежом» (1929, г. Русе), ежемесячник Общества галлиполийцев «Вестник Общества Галлиполийцев» (другие названия: «Вестник галлиполийцев», «Галлиполийский вестник», 1933–1942, г. София).

Эти издания выходили в разное время, в разных населенных пунктах и с разной интенсивностью: если периодика первых лет изгнаничества была прикреплена к конкретной военной или военно-учебной единице (Корниловский ударный полк, Кубанское и Александровское военные училища), то со второй половины 20-х гг. она становится трибуной общественно-политических организаций (Общество галлиполийцев, РОВС), что объясняется стремлением к единению в среде военных эмигрантов.

* * *

⁴ В отличие от Кубанского военного училища, Александровское военное училище относилось к числу старейших в дореволюционной России средних военно-учебных заведений и занимало второе место (после Павловского училища) по престижности. *Александронами*, то есть его воспитанниками, были такие деятели русской военной истории XX в. как Н. Н. Духонин, Н. Н. Юденич, С. С. Каменев, М. Н. Тухачевский, а также известные писатели Б. К. Зайцев, А. И. Куприн, С. Р. Минцлов. Упраздненное советской властью, Александровское военное училище было восстановлено на юге России. После пребывания в Галлиполи, в 1921 г. училище переехало в Болгарию.

⁵ Общество галлиполийцев было создано в конце ноября 1921 г. бойцами расквартированного на Галлиполийском полуострове Первого армейского корпуса ген. А. П. Кутепова с целью сохранения идейно-организационных скрепов белых воинов-изгнанников времен галлиполийского сидения. После создания Русского Обще-Воинского союза (РОВС) в 1924 г. Общество галлиполийцев составило его ядро, сохраняя при этом организационную самостоятельность.

Будучи в первую очередь профилированной военной периодикой, вышеперечисленные издания предоставляли разное, но как правило, небольшое печатное пространство рифмованному слову — поэзия не была их первостепенным приоритетом. Так, например, еще в 1927 г. редакция «Вестника галлиполийцев в Болгарии» обратилась к читателям с обещанием бесплатно помещать высылаемые ими сообщения о жизни по местам, небольшие статьи по военным вопросам, воспоминания и статьи об Освободительной войне 1877–1878 гг. и на последнем месте стихотворения объемом в 8–12 строчек (ВГБ 1927б: 1). Этот похожий на градацию перечень недвусмысленным образом указывает на ту подчиненную, придаточную функцию по отношению к великому делу — освобождению России от рабства III Интернационала, которую отводили издатели искусству и, в частности, литературе.

Впрочем, сразу следует сказать, что поэзия имела разное место в разные периоды и в разных изданиях. Так например, самыми *литературными* можно считать журналы «Корниловец» (16 стихотворений в двух номерах) и «За рубежом» (в единственном вышедшем номере было опубликовано 4 стихотворения). На другом полюсе находится «Вестник Общества Галлиполийцев», в котором поэзия занимает незначительную печатную площадь — притом только в первые годы издания ежемесячника. Ее роль преимущественно подсобно-иллюстративная: опубликованные в отдельных номерах стихотворения даже местом своего размещения создают впечатление «начинки», «уплотнения» журнальных страниц.

При всех различиях вышеуказанные издания характеризуются, как и следует ожидать, общностью идейно-тематического спектра со всеми вытекающими линиями сближений. Среди них хотелось бы особо оговорить следующую. Все издания военной эмиграции в Болгарии предназначались не широкой читательской аудитории, не русским эмигрантам вообще, а замкнутому кругу бывших военных, активным участникам в прошлом Белого движения, а в настоящем —

членам РОВСа. Авторы и читатели гордились своей верностью Белому делу, считали себя рыцарями Белой идеи в том виде, в каком она была сформулирована идеологом Союза И. А. Ильиным (Ильин 1992: 208–215).

Эта узость реализации сказалась и на особо тесных взаимоотношениях издателей и читателей. Как видно из обещания редакции «Вестника галлиполийцев в Болгарии», читателю предлагалось стать автором. И он им становился.

Изученные стихотворения принадлежат перу почти 50 авторов⁶, проживающих в Болгарии, Югославии, Чехословакии, Франции, Люксембурге, Финляндии, Парагвае, на Дальнем Востоке. Среди них представители разных поколений, разных социальных слоев — от Рюриковича в 31 поколении князя Ф. Н. Касаткина-Ростовского, автора популярного в дореволюционной России и в СССР текста вальса «Осенний сон» до ученика Русской гимназии в Белграде Мишина. Среди указавших свое воинское звание преобладают полковники, но есть и юнкера, и вольноопределяющиеся. Есть два генерала — В. Е. Вязмитинов, представитель П. Н. Врангеля в Болгарии, состоявший в переписке с многими современными ему литераторами, и Н. В. Шинкаренко-Брусиллов, писавший под псевдонимом Н. Белогорский, чья жизнь достойна авантюрного романа. Есть и пять поэтесс, чье творчество не вносит каких-либо специфических аккордов в общий призыв к решительному бою.

Больших поэтов среди наших авторов нет. Даже авторитет талантливого писателя, но заурядного стихотворца А. Куприна не поднимает художественный уровень обозначенного стихотворного массива. Впрочем, именно эта усредненность позволяет подвести поэтов Белой гвардии под общий знаменатель и выявить образ *коллективного автора*. Он галлиполиец, профессиональный

⁶ Число авторов условно, поскольку в отношении нескольких стихотворений без подписи, несмотря на общие черты, можно только предполагать принадлежность одному автору.

профессиональный военный, вынужденный променять штык на непрестижную профессию. Почти не занимавшийся до эмиграции литературой, он считает себя достаточно подготовленным для того, чтобы предложить свои рефлексии в стихах неискушенной публике, частью которой является он сам. Как правило, он сливается со своим лирическим героем и, таким образом, является эманацией читательской аудитории — бывших воинов и настоящих эмигрантов.

Общность экстралитературного контекста, вышеупомянутые требования к авторам, их идейные предпочтения — все это в своей совокупности позволило рассмотреть опубликованные на страницах военной периодики 66 текстов как единый тематический цикл, как стихотворный массив с общими идеями, художественными образами и приемами, являющийся к тому же иллюстрацией основных требований (заветов) к искусству, выдвинутых И. Ильиным, среди которых в первую очередь приближение к художественному предмету и верность закону художественности⁷. Разумеется, дифференцированный подход привлек бы внимание к индивидуальности поэтов, отграничил бы не так уж часто встречающиеся лирические стихотворения от четверостиший, функционально близких к лозунгу и даже к заклинанию ит.д., но вместе с тем не нарушил бы цельность, спаянность цикла.

Семантический центр стихотворного массива — растерзанная врагами всего русского и святого Родина-мать. Положительный герой (от безымянного рядового до генералов — символов Белого движения) — ее верный сын, готовый во имя будущего родной земли, мыслимого как возрождение славного прошлого и монолитного, православного государства, на лише-

⁷ Ильин осуждал самоцельные поиски в области формы и ставил художественный предмет на исключительно высокий пьедестал, обезличивая тем самым творческую личность: художественный предмет дается Богом и задача художника состоит прежде всего в его образной индивидуализации и, на этой основе, в эстетической материализации изношенного уже образа (Ильин 1937: 120, 135, 164).

ния и самопожертвование. Его меч в ножнах, но не заржавел, а колчан полон крылатыми стрелами (ВГБ 1927а: 3). Его поход не закончился: в трудовые будни, «с киркою в шахте, с резцом у станка», он по-прежнему на дозоре (ВОГ 1935: 10). Вера становится отличительным знаком положительного героя: он один несет священное распятие в неверующей толпе (Корниловец 1922б: 6). Религиозная и военная фразеологии переплетаются и дополняются взаимно во многих текстах: боевая традиция освящается церковными ритуалами, поле битвы становится преддверием алтаря, а воинский подвиг, как в княжеских житиях и воинских повестях древнерусской литературы, наполняется высшим религиозным смыслом. Именно вера позволяет положительному герою почувствовать сокрытый от врагов «незримый людям Китеж-Град», молящийся за всех православных, услышать его «тихий благовест» и «слова молитв и песнопенья / На позабытый старый лад» (ВГБ 1927в: 3)².

Исследуемые тексты однозначно сориентированы на предшествующие и легко узнаваемые читателями литературные и культурные модели. Это и образ врага, состоящий из двух компонентов — светского (чужая военная сила, чужая идеология) и духовного, восходящего к древнейшим архетипам темных и враждебных сил, которые в христианской традиции персонифицированы в образе дьявола. Это и перенесение старинных легенд и сюжетов в новые темпоральные рамки.

Это

² Указанное стихотворение неизвестного автора «Когда в чужой земле невольно...» во многом является поэтической транскрипцией философской концепции И. А. Ильина. Большевицкое рабство научило русских людей хранить национальную святыню в недосягаемости. Так они постигли тайну исчезающего Китежа-града и научились слышать его сверхчувственный и сокровенный благовест, исходящий из таинственного духовного озера — «боговидческого ока русской земли, ока откровения» (Ильин 1934: 10, 19). В этой связи следует отметить, что догматизированные своими интерпретаторами концепции Ильина очевидно выполняли в отношении стихотворений фильтрующие и даже цензорские функции.

Это и частичная реализация характерной для светских текстов древнерусской литературы оппозиции «честь — слава», которую в свое время прокомментировал Ю. М. Лотман (Лотман 1990: 302). Это и понимание изгнания (революции) как Божьего испытания и катарсиса. Это и вылетение характерных для мелодики русской народной песни элементов в новые тексты и т. д.

В области ритмики наши авторы также придерживаются традиционного стихосложения. В некоторых текстах проступают хорошо знакомые по классической литературе рифмы: пыль — ковыль («Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина) с перестановкой компонентов в стихотворении «Степь» З. Коноваловой (За рубежом 1929: 15); вечные странники — изгнанники («Тучи» М. Ю. Лермонтова) в стихотворении профессора математики Харьковского университета и подпоручика, одного из основателей Общества галиполийцев В. Х. Даватца «Памятник» (ВОГ 1933: 2). Можно указать на отголосок из пушкинского «Медного Всадника» в стихотворении «Возрождение» (Кубанец-Алексеевец 1924: 2), на минорные интонации Денисьевского цикла Ф. И. Тютчева в стихотворении Н. Ш. «Вы лежите в гробу вся такая несчастная...» (Корниловец 1922а: 7) и др.

Верность потерянной родине в поэтических текстах как бы трансформируется в верность поэтической традиции, неприятие идеологических новшеств в среде русской эмиграции — в уклонение от творческого риска. Что касается графического оформления стихов, то поэты Белой гвардии в большинстве случаев предпочли четверостишие. Использованы преимущественно ямб и перекрестные рифмы, несмотря на то, что можно найти и примеры других стоп и типов рифмования.

Проиллюстрируем отдельные проявления традиции на примере нескольких текстов.

В первую очередь, это «Стихотворение Александровца выпуска 1890 г. 23 апреля 1926 г. в Париже» А. И. Куприна (Александровец 1929: 1), которое отсутствует в доступных нам

собраниях сочинений писателя и сведений о котором мы не нашли в доступных нам исследованиях. По этой причине приводим его полностью:

Пусть Александровцев семья
Сошлась у огонька чужого,
Но верьте, милые друзья,
Что дома встретимся мы снова!

Пускай в училище родное
Забрался ныне «красный икс»,
Оно восстанет, как феникс,
Когда минует время злое...

Погон наш белый, вензель красный
И золотые галуны, —
Гордятся ими не напрасно
Твой, училище, сыны.

Прочти все книги боевые
И все архивы перерой,
Повсюду имена родные,
Всяк Александровец герой!

Кому не памятна пора,
Когда в Москве с большевиками
И днем, и ночью дрались львами
И гибли наши юнкера.

Орлы всех славных армий белых
С любовью чтут в своих рядах
Вас, юнкеров прямых и смелых,
Не знающих, что значит страх.

Покой усопшим юнкерам,
Почет на поле брани павшим,
Привет живых живым друзьям,
Отечеству не изменявшим.

За стены белые мы пьем,
 На Знаменке родного зданья,
 За службу и проказы в нем,
 За молодые упования!

Пусть Александровцев семья
 Сошлась средь племени чужого,
 Но верьте, добрые друзья,
 Москве увидимся мы снова!

(После каждого стихика припев: «Наливай, брат, наливай...»)
 (Александровец 1929: 1)

Текст опубликован без указания на источник. Возможно, он был прислан издателю самим писателем, а, возможно, был перепечатан из другого, не известного нам, периодического издания. В контексте написанных в разное время прозаических произведений А. И. Куприна, повествующих об Александровском военном училище романов «На переломе (Кадеты)» (1900–1908) и «Юнкера» (1928–1932), он ближе ко второму роману.

Ввиду все еще мало исследованного феномена так называемой *юнкерской поэзии*, стихотворение ценно как обломок периферийной литературной традиции. Его припев «Наливай, брат, наливай» наводит на мысль, что оно вдохновлено бытовавшей в училище традиционной юнкерской «расстанной» песней, упомянутой в главе V романа «Юнкера» (Куприн 1958: 169–174). Стихотворение своей мажорной тональностью вписывается в исследуемый текстовый массив, не выходя за рамки его художественных параметров.

Тональность лермонтовской «Казачьей колыбельной песни» (а не некрасовского подражания!) слышна в записанной вольноопределяющимся А. Михайловым «Галлиполийской колыбельной песне» (ВОН 1936: 4):

Спи мой милый, воин русский, баюшки-баю —
 Сторожит арап французский колыбель твою.

Пусть тебе приснится лира, сахар, хлеб, инжир:
 Хоть во сне, счастливый в мире, ты устроишь пир.
 Там за далью Дарданельской в страхе чуть дыша,
 Манит пальцем Бог турецкий, сам Кемаль Паша:
 Мол, тебе за службу лиру и халву даю.
 Спи-ж боец за счастье мира, баюшки-баю.
 Русь-же пусть тебе не снится — жизнь там не легка,
 Ждет тебя там Лева Троцкий и подвал чека.
 Спи-ж у гор Галлиполийских, *как в родном краю*,
 Спи-ж, боец полей Тавриды, баюшки-баю⁹.

Расчет на восстановление в сознании читателя лермонтовского образца становится той основой, на которой автор строит свой шуточный рассказ о совсем не шуточных трудностях галлиполийского сидения — голоде, плохих условиях жизни, недоброжелательном отношении контролирующего лагерь французов, тревоге о судьбе оставшихся на родине. «Арап французский» на месте «месяца ясного» и «Лева Троцкий» в амплу «злого чечена» способствуют этому.

Подобным образом поступает и корниловец за подписью *Сашко* в стихотворении «Ночной смотр» (Корниловец 1922а: 24).

Не ветер бушует над бором,
 Не издали слышны бои,
 Нет, это обходит дозором
 Кутепов владенья свои.

Форма и ритмика знакомой всем некрасовской поэмы и позиционная замена Мороза-воеводы Кутеповым слепили как нельзя лучше запоминающийся образ военачальника — Александра-паши (или Кутепа-паши в мемуаристике), которого порицали, но которым и восхищались по причине его требовательности и строгости. Его проверка равнозначна буре («Ведь это — не ветер над бором!») и битве («Ведь

это,

⁹ Текст печатается с сохранением орфографии и пунктуации оригинала.

это, друзья, не бой»). Он непомерно строг, его очи зорки, а насаждаемая им дисциплина железна. Но именно она подтянула впавших в уныние беженцев и превратила их в хорошо организованную и обученную воинскую единицу.

В редких случаях классический образец мог и подточить авторский замысел. Это, на наш взгляд, произошло в стихотворении П. Сумского «Галлиполиец» (Корниловцев 1922б: 6):

Я тот, кто духом вечно молод,
 Я тот, кто должен победить.
 Кто несмотря на гнёт и голод,
 Вождя не может не любить!

Взятые напрокат из монолога лермонтовского «Демона» рифмы, лексика (вечно, гордо, дух, проклятья), художественные приемы и, в частности, анафора «Я тот, <...>» вызывают противоположный искомому эффект, отягощая образ галлиполийца энергетикой лермонтовского героя.

* * *

Исследуемые тексты недвусмысленным образом показывают консервирование литературной традиции в чужой языковой среде. Этот тип поэзии крайне редко прибегает к художественному эксперименту. Авторы — в своем большинстве не профессионалы, а любители, стремились сохранить унаследованные от предыдущей русской литературы поэтические структуры так же, как они стремились сохранить нетронутым воспоминание о потерянной Родине.

Стихотворения, опубликованные на страницах военных периодических изданий, выразили настроения и вождения наиболее тесно спаенной массы русских эмигрантов в Болгарии — непосредственных участников Гражданской войны, демобилизованных Историей бойцов Белой гвардии. В этом смысле они — литературный факт, заслуживающий исследовательского внимания. Поэтические опыты бывших военных не создали шедевров, но, очевидно, это и не было их непосредственной целью. Они должны были сохранить для грядущего

апокалипсического боя, за которым последует возрождение родной земли, воинский дух Русской армии в изгнании. Рассмотренные нами тексты за редкими исключениями не обладают высокой художественностью, но они трогательны своей искренностью. Они создавались не по директиве и указке, а преимущественно по велению сердца, что компенсирует во многом их недостатки.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Александровец 1929 — Александровец. 1929. № 23. Ноябрь.
 ВГБ 1927а — Вестник галлиполийцев в Болгарии. 1927. № 2. Июнь.
 ВГБ 1927б — Вестник галлиполийцев в Болгарии. 1927. № 3-4. Июль-авг.
 ВГБ 1927в — Вестник галлиполийцев в Болгарии. 1927. № 5-7. Сент.-нояб.
 ВОГ 1933 — Вестник общества галлиполийцев. 15 сент. 1933. № 2.
 ВОГ 1935 — Вестник общества галлиполийцев. 15 июня 1935. № 24.
 ВОГ 1936 — Вестник общества галлиполийцев. 26 нояб. 1936. № 41.
 За рубежом 1929 — За рубежом. 1929. № 1.
 Ильин 1934 — Ильин И. О России. Три речи 1926-1933. София, 1934.
 Ильин 1937 — Ильин И. А. Основы художества. О совершенном в искусстве. Рига, 1937.
 Ильин 1992 — Ильин И. А. Белая идея *ℳ* Молодая гвардия. 1992. № 1-2. С. 208-215.
 Корниловец 1922а — Корниловец. 1922. № 1. Янв.
 Корниловец 1922б — Корниловец. 1922. № 2. Февр.
 Кубанец-Алексеевец 1924 — Кубанец-Алексеевец. 16 марта 1924. № 2 (58).
 Куприн 1958 — Куприн А. И. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6. М., 1958.
 Лотман 1990 — Лотман Ю. М. За оппозицията «чест» — «слава» в светските текстове от Киевския период *ℳ* Лотман Ю. М. Поетика. Типология на културата. София, 1990. С. 295-311.



Мария Рубинс

«МЫСЛЬ СЕМЕЙНАЯ», ИНФАНТИЦИД И
ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИНСТВА В ЛИТЕРАТУРЕ
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: ОТВЕТ Л. ТОЛСТОМУ

Детоубийцей на суду стою —
немилая, несмелая...

Марина Цветаева

Наряду с Пушкиным и Достоевским, Толстой был знаковой фигурой для русского зарубежья, несмотря на неоднозначность оценок его наследия эмигрантами (Пономарев 2000: 202–211). Особую актуальность в дискурсе диаспоры приобрел толстовский миф о счастливом детстве, восходящий, впрочем, в общеевропейском контексте к Руссо и еще в большей степени к искажившим его идеи последователям. Сформулировав принципиальные положения об особом статусе ребенка¹ и о его врожденной невинности, Руссо был далек от идеализации детства. Однако, отталкиваясь от его представлений, Песталоцци и Бернардин де Сент-Пьер утвердили в европейском культурном сознании культ детства, представляя ребенка «Адамом до падения, живущем в своем собственном

¹ В исследованиях, посвященных антропологии детства, подчеркивается, что ни в период античности, ни в средние века детство не возводилось в особую категорию, и дети обычно воспринимались как маленькие (и не совсем полноценные) взрослые. Изучив многочисленные литературные и визуальные источники, Филипп Арьес делает вывод о том, что изображения детей на протяжении большей части человеческой истории не имели специфических маркеров (Ariès 1996). Придание детству особого статуса с последующей идеализацией началось в XVI–XVII вв. как следствие философии скептицизма и потери веры в прогрессивное развитие как общества в целом, так и отдельного человека (Voas 1966: 21), и окончательно укрепилось в предромантическом коллективном воображении XVIII в. (Kuhn 1982: 11).

Эдеме» (Kuhn 1982: 66) Развив эту метафору, романтики ассоциировали детство с возвышенным, мистическим состоянием души. Шиллер в статье «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795) называет ребенка интуитивным поэтом. В отрывке «О жизни» (1819) Шелли утверждает, что лишь ребенок способен ощущать гармоничное слияние с окружающей вселенной. Новалис в сборнике «Цветочная пыльца» (1798) отзывается о детстве как о «золотом веке», а Шопенгауэр в свою очередь превозносит детство как «время невинности и счастья, рай жизни, потерянный Эдем, на который мы с тоской оглядываемся до конца своих дней» (Schopenhauer 1909: 162). Отголоски этого романтического мифа слышатся и в хрестоматийной фразе из лермонтовского романа: «воздух чист и свеж, как поцелуи ребенка».

На протяжении XIX в. культ детства продолжал развиваться преимущественно в литературных произведениях. В России он нашел воплощение в повести Толстого «Детство» (1852), хотя практически все его компоненты можно обнаружить и в незаконченном романе Карамзина «Рыцарь нашего времени» (1799–1803): чистота и невинность ребенка, идиллический хронотоп (безмятежная жизнь в поместье в окружении живописной природы, циклическая концепция времени), нежная и склонная к меланхолии «маменька», чья преждевременная кончина кладет конец счастливому детству ребенка). Вполне в духе эпигонов Руссо Карамзин наводит свой текст сентименталистской лексикой: «Но что говорить о младенчестве? Оно слишком просто, слишком невинно <...> в некотором смысле можно назвать его счастливым временем, истинною Аркадиею жизни <...> Назовем его прекрасным лужком» (Карамзин 1964: 757). Именно Карамзина, по всей видимости, следовало бы считать основоположником культа детства в русской литературе², однако Толстой превратил его в русский

² В то же время пушкинский проект романа «Русский Пелам» (1834?) можно считать ранним произведением, полемически направленным против идеализации детства.

ский социо-культурный миф, предложив интегральную модель интерпретации раннего этапа жизни (Wachtel 1990: 2). Все последующие произведения о детстве неизбежно отталкивались от Толстого, или воспроизводя основные его топосы (Аксаков), или предлагая некую анти-модель (Горький). Неудивительно, что и эмигранты, определявшие себя с оглядкой на русскую классическую традицию, находились с Толстым в постоянном интертекстуальном диалоге.

В литературном мейнстриме диаспоры детство превратилось в устойчивый хронотоп: ностальгические воспоминания о навсегда ушедшей поре переплетались с тоской по утраченной родине, складываясь в картину «золотого века». Именно в таком идиллическом ключе предстает детство у Шмелева, Ходасевича, Зайцева, Бальмонта, Тэффи, Бенуа, Набокова и многих других. С другой стороны, целый ряд писателей прямо или косвенно цитируют толстовскую фразу «О счастливая, неповторимая пора детства!», с тем чтобы тут же утвердить противоположное (Иван Бунин «Жизнь Арсеньева», Ирина Одоевцева «Ангел смерти» и «Изольда», Ирэн Немировски «Бал» и др.). Среди тех, кто оспаривал толстовский миф, преобладали молодые авторы, чье детство и отрочество было омрачено войной, революцией и изгнанием и которым не свойственно было идеализировать ранний период жизни. Полемизируя с Толстым, они бросали вызов доминантному культурному дискурсу, отвергая его как безнадежно устаревший и не применимый к опыту поколения посткризисной эпохи. Особенно остро их оппозиционный настрой проявился в деконструкции образа матери, как составной части толстовского мифа о счастливом детстве.

Роль женского и особенно материнского начала в русском национальном самосознании всегда была важной темой для отечественных мыслителей, а после революции эта тема вновь привлекла внимание философов диаспоры. Так, в книге «Русская идея» (1946) Бердяев пишет, что основную категорию русской души составляет материнство. Толстой,

обозначивший детскую как локус подлинной женственности, воспринимался как один из главных выразителей культа материнства в классической литературе. Однако архетип матери, актуализировавшийся в произведениях младоэмигрантов, драматически контрастирует с русской духовной и литературной традицией, в то же время перекликаясь с модернистскими концепциями материнства, распространенными в западной литературе.

В созданной ими парадигме образ матери сексуализируется, мать предстает как еще относительно молодая женщина, стремящаяся компенсировать травму эмиграции через новые любовные отношения, обычно с «иностранцем» (то есть не русским). Муж играет при этом пассивную роль: если он не был убит на гражданской войне, он занимает маргинальное положение в западноевропейской жизни, оказываясь неспособным удовлетворить эмоциональные, физические и материальные потребности своей супруги. В соответствии с этим мелодраматическим сценарием, мать воспринимает детей как препятствие, источник раздражения и даже позора и исключает их из своей новой жизни, делая их фактически сиротами. Этот сценарий возникает в разных вариациях в целом ряде произведений, бросая вызов коду материнства, установившемуся в классической русской культуре. В романе Нины Берберовой «Повелительница» (1932) мать оставляет двоих сыновей-подростков и уезжает за океан с состоятельным американцем, предпочитающим жениться на «современной» женщине без детей. Она лишь косвенно присутствует в романе, через цитаты из ее писем, в которых она пытается объяснить сыновьям свой поступок: «<...> это была любовь. Захватила она меня всю до последнего вздоха» (Берберова 1932: 9). Младший из сыновей долго не может забыть пошлую сцену ее ухода:

Но осенью мать ушла <...> с криком, со слезами. Саша зажимал уши, ему было стыдно за мать. Иван молча ждал, когда

все

все это кончится. Она кидалась на обоих с мокрыми поцелуями, призывала Бога, рыдала, падала в конвульсиях (не отличить было истинных от притворных) и кричала, что Гарри Торн ее единственное спасение, что до сих пор никто, никто не мог ее понять, что от Александра Петровича, от мужа, терпела она всю свою незадачливую молодость, потому что он был груб и страшен. Она изливалась сыновьям, она рассказывала им свою брачную ночь (двадцатипятилетней давности), когда она, шестнадцатилетняя девочка, была раздавлена грузным Александром Петровичем, и утром у нее болела поясница, так что она не могла даже встать, и грудь была в синяках от его пальцев и поцелуев (Берберова 1932: 17).

Во многих рассказах Ирины Одоевцевой 1920–30-х гг. женщины бросают своих русских мужей (и обременяющих их детей) и ищут счастья в новой западной жизни («Праздник», «У моря»). В ее романе «Изольда» (1929) мать, пытаясь скрыть свой подлинный возраст, запрещает детям называть себя мамой и представляет их как своих кузенов. Более того, она ревнует дочь к своему молодому любовнику. Соперничество между матерью и дочерью из-за мужа одной и отчима другой образует сюжетную основу романа Анны Таль «Грех» (1935). Особенно часто тема ревности подается в таком ракурсе у Ирэн Немировски («Бал» (1930), «Вино одиночества» (1935), «Иезавель» (1936)). В подобных произведениях иронически обыгрывается традиционный концепт Родины-матери, отразившийся в русском фольклоре, фразеологии (матушка сыра земля, матушка земля русская, матушка Русь и т.п.)³ и философии (как писал Бердяев, «Мать-земля для русского народа есть Россия» (Бердяев 2004: 21)). Если для женщин уход из семьи представляет собой сомнительный путь к адаптации в новой среде, то для детей потеря матери символически повторяет и усугубляет травму изгнания из родной страны.

³ О «материнском мифе» русской культуры и идентификации матери и земли см.: (Hubbs 1988).

Среди писателей первой волны Екатерина Бакунина оказалась наиболее последовательной в демифологизации «священного культа материнства». Героиня ее романа «Тело» (1933), живущая в бедности с нелюбимым мужем и «требовательной, грубой, эгоистичной» дочерью, размышляет о детоубийстве совсем не в метафорических терминах. Ее особо влекут сообщения о русских «матерях, пожирающих своих детей» (Бакунина 2001: 257) и об американских родителях, которые, уложив ребенка, открыли в квартире газ. Последнее происшествие заставляет ее вообразить подобный исход и для своей дочери:

Неужели мне так придется поступить с Верой и это будет высшим проявлением моей любви? <...> Но я знаю, что Веру ждет и что в этом моя вина, вина давшей жизнь. <...> В предельном развитии — мысль: было бы лучше, если бы Вера умерла. Тогда уже спокойнее (Там же: 256, 255).

Столь парадоксальное желание героини Бакуниной перекликается с рассказом Зинаиды Гиппиус «Сердце, отдохни...» (1932), начинающимся с рассуждений повествователя о страданиях матерей и «о ежечасной их пытке надеждой и страхом» во время войны. Затем рассказывается о матери, которая сразу после мобилизации ее сына решила считать его погибшим и вырыла ему могилу на местном кладбище. Рассказ заканчивается размышлениями о «тихой, темной, ласковой» пропасти материнской души (Гиппиус 2003: 135).

Однако фантазии героини Бакуниной не являются порождением ни декадентского любопытства к мрачным глубинам женской души, как у Гиппиус, ни желания избавить дочь от беспросветной нищеты. У Елены вполне богоборческие амбиции, она по сути отвергает заповедь «плодитесь и размножайтесь». В материнстве она видит следствие «слепого, обессиливающего инстинкта» (Бакунина 2001: 170), беременность заставляет ее вспомнить «пушкинскую сказку о женщине, проглотившей жабу» (Там же: 106), а «роды всегда срамны»

срамны» (Бакунина 2001: 251) и представляют собой «одно из безобразнейших, унижайнейших насилий, на которое обречена женщина» (Там же: 251). В этом романе, предвосхитившем столь популярные в культуре конца XX в. дискурсы тела и вызвавшим в свое время бурные споры между Адамовичем и Ходасевичем о пределах допустимого в художественном творчестве, Бакунина использует шокирующую лексику медицинско-физиологического характера, стилистически перекликающуюся с «человеческими документами» в духе Василия Яновского и иных писателей Русского Монпарнаса:

Вера, моя дочь <...> Случайно зачатая, она выросла сначала в мое тело, а потом в душу, как ядовитый нарост, сосущий соки. Она цепко привязывает меня к тому постоянному пересиливанию, перемоганию себя, каким является моя жизнь с того момента, когда с брезгливым удивлением, отвращением и сознанием бесповоротно совершившегося несчастья я увидела ее, выдавленную из себя, беспомощно свешивающуюся с ладони акушерки, еще опачканную кровью и слизью, багрово-сизую, казавшуюся мясным комком, вырванным из моего живого тела.

Ужасно слащавы и смешны изображения Мадонны над розовыми младенцами, вообще обожествление рождения! (Там же: 250–251).

Итак, жизнь, которую мать дает ребенку, — это «злой дар» (Там же: 308); ее связь с ребенком произвольна и бессмысленна; продолжение рода — это наказание, требующее от женщины пожертвовать лучшими годами жизни. Фактически героиня Бакуниной восстает против «женской судьбы» как таковой, освященной природой, религией и культурой. В то же время ее отношения с дочерью-подростком довольно амбивалентны и напоминают скорее комплекс любви-ненависти, чем полное отторжение⁴:

⁴ Вспоминая свой собственный опыт, Бакунина писала: «Во мне же чувство материнства было необычайно остро, до мучительности, до постоянной болезненной тревоги за ребенка», что в результате заставило ее «ненавидеть свою любовь» к сыну (Бакунина 1934: 163).

Вера. Лучшие годы жизни, проглоченные раздутой утробой материнства, и взамен нечто чуждое, враждебное, от которого нельзя внутренне освободиться. Вера любимая—сухая и высокомерная. Конечно, она не обязана платить привязанностью за нелепость своего рождения («Могла бы выбрать мне отца по-лучше!») <...> Конечно, Вера бросит меня при первом удобном случае. Так и надо. Вполне естественно. Если ребенок-непредвиденность, то и родители — случайность, не могущая порождать никаких обязательств (Бакунина 2001: 307–308).

Бакунина продолжает разрабатывать этот тематический репертуар во втором романе «Любовь к шестерым» (1935), в котором она намеренно устраняет мотив бедности как возможную мотивацию инфантицидного комплекса матери и сосредотачивается на проблематике материнства как такового. Героиня этого романа, Мавра, живет в пригородном парижском доме в относительной роскоши. Несмотря на свою привязанность к детям, она приходит к тому же выводу, называя материнство «своего рода истерией» (Там же: 112), «лавинной слепой, безрассудной, бессмысленной, вредной любви» (Там же: 75). По ее мнению, «материнская добродетель двусторонняя — изнанка ее сатанинская злоба» (Там же: 76).

Женские персонажи обоих романов диаметрально противоположны хрестоматийному идеалу ангелоподобной «матеньки». Если образцовые толстовские героини достигают высшей самореализации прежде всего в материнской роли, то у Бакуниной «типовая» женская судьба связана с утратой своей неповторимой идентичности как следствие материнской функции:

Мое «я» потеряно и заменено образом женщины, вылепленной по типовому образцу. В этой женщине я тщетно пытаюсь найти исчезающее, расплывающееся — свое. А нахожу чужое, сходное с другими (Там же: 245).

Строки, непосредственно предшествующие процитированному абзацу («То, что я пишу от первого лица, вовсе не значит,

значит, что я пишу о себе»), можно, таким образом, интерпретировать не только как конвенциональное предупреждение наивному читателю о необходимости проводить различия между автором и рассказчиком, но и как признание героини, что даже ее рассказ от первого лица не способен полностью передать ее личность (Morard 2010: 213–214). Метанарративная задача Бакуниной состоит в том, чтобы показать, что женщина может создать подлинный эгодокумент, только если она обретет свое неповторимое «Я».

В прозе Бакуниной намечен двусторонний процесс восстановления субъективного начала: с одной стороны, ее героини пытаются обрести контроль над своим физическим телом, а с другой выразить свой уникальный опыт путем наррации. Первой цели они достигают в редкие моменты «свободной любви». Героиня «Тела» Елена вспоминает о давнем крымском приключении с загорелым английским матросом, чья экзотичность и экстерриториальность подчеркивается через ряд аллитераций (дикарь Дик, чужой чужеземец). Этот эпизод, передающий первобытную красочность природы и интенсивность чувств без реквизитного морализирующего контекста, заметно контрастирует с монотонными описаниями тягостного эмигрантского быта. Адюльтер на лоне природы, откровенные эротические описания, протест против сковывающих ограничений, накладываемых моральными предписаниями и социальными функциями, английский топос, а также кокетливая фраза Елены («Вряд ли бы так поступила английская женщина...» (Бакунина 2001: 281)), подтолкнули критиков эмиграции к поиску параллелей с романом Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (1928)⁵. Дебаты вокруг этого скандально известного романа возобновились во французской критике после публикации в 1932 г. французского перевода, и эмигранты отреагировали на него целым рядом критических статей, тем более что почти одновременно в Берлине книга

⁵ См., например, рецензию Михаила Цетлина (Цетлин 1933).

вышла в русском переводе⁶. Роман Бакуниной писался как раз на фоне этих дискуссий и содержит вполне очевидные аллюзии к английскому интертексту. Море у Бакуниной — свободная стихия, протипоставленная условностям общества и ассоциирующаяся с чувственностью и нерациональным началом, — выступает как эквивалент леса, где происходит сексуальная инициация леди Чаттерлей. Однако две героини достигают протиположных результатов: если Конни Чаттерлей в конечном итоге находит себя в любви и материнстве, то жизнь Елены, по словам Ирины Каспэ, «представляет собой последовательную победу неумолимых обстоятельств над нереализованными возможностями. Эти возможности переносятся в область воспоминаний и безнадежных мечтаний» (Каспэ 2005: 133).

В большей степени удастся достичь самореализации героини романа «Любовь к шестерым», в котором переключки с Лоуренсом гораздо очевиднее. Бакунина заостряет ряд мотивов, составляющих основной пафос английского романа: протест против «машинной цивилизации» и восприятия человека как социального конструкта; инверсия гендерных ролевых моделей; поиски гармоничного слияния телесного и духовного и т.п. Но значение Лоуренса для диалогии Бакуниной оказывается глубже, чем поверхностные сюжетные параллели. Оставляя в стороне относительные художественные достоинства прозы Бакуниной по сравнению с Лоуренсом, можно сделать вывод, что их произведения принадлежат к той же категории текстов 1920–1930-х гг., сверхзадачей которых была выработка адекватного языка для выражения телесного и сексуального опыта в литературе. В предисловии к своему роману Лоуренс оправдывал использование эксплицитной лексики необходимостью «дать фаллической реальности ее собственный фаллический язык», и его призыв был услышан по всей

⁶ См.: (Ладинский 1932; Голеннищев-Кутузов 1932; Ходасевич 1932; Адамович 1932; Варшавский 1932).

всей Европе. Габриэль Марсель, например, назвал его роман «выдающимся свидетельством» физической любви, выраженной столь непосредственно, что в сравнении «лицемерные перифразы» французской любовной беллетристики кажутся лишь «деградировавшим эротизмом» (Marcel 1929: 729–731). Несколько лет спустя и американский парижанин Генри Миллер воплотил «фаллическую реальность» в своем собственном романе «Тропик рака» (1934). Не остались в стороне от этих поисков западных модернистов и авторы русского зарубежья. Однако попытки Бакуниной создать соответствующий русский лексикон осложнялась тем, что она сама, будучи писательницей-эмигранткой, писала в условиях «многоуровневой маргинальности» (Демидова 2003: 14) (то есть вопреки «большому», «мужскому» канону русской словесности), сосредотачивалась исключительно на женской тематике и затрагивала темы, табуированные в русской мажоритарной культурной традиции. Как свидетельствует неодобрительное молчание, окружившее «Распад атома» Георгия Иванова, даже к концу 1930-х гг., русские критики и читатели оказались невосприимчивы к вызову, брошенному пуританскому замалчиванию сексуальных фантазий в постпушкинской литературе (Lalo 2011: 219–252). Провокативно отказавшись от толстовских стыдливых эллиптических конструкций, Бакунина навлекла на себя неодобрение критиков диаспоры, включая и обычно положительно воспринимающего экспериментальные дискурсы Адамовича (Адамович 2007: 220). Гиппиус особенно резко отреагировала на попытку Бакуниной позволить самой женщине «проговорить» свой опыт:

«Женское» остается женским, пока молчит. Начиная же само говорить о себе, превращается в «бабье». И делается в высшей степени неинтересным. <...> у Лоренса «женское» и не говорит само о себе, а он говорит о нем (когда говорит) — человеческими словами (Гиппиус 1935: 478–479)⁷.

⁷ Негативная реакция Гиппиус становится более понятной в контек-

Но задача Бакуниной как раз и заключалась в том, чтобы дать голос женщине: «Целые века она лгала и лгали об ней и правда будет узнана, только если она сама ее откроет» (Бакунина 2001: 90). Если целью Лоуренса была реабилитация человеческого тела через выявление неразрывной связи между физиологией и вселенной, то Бакунина в конечном счете стоит у истоков «женского письма», и ее проза, как оказалось, не потеряла своей актуальности и в конце XX в.² Хотя роман «Тело» и начинается с сомнений по поводу способности женщины создать подлинный эгодокумент, весь романский проект заключается в поиске соответствующих нарративных стратегий и языка для передачи специфически женской проблематики,

сте ее «метафизики пола», изложенной в сохранившихся набросках к неопубликованной книге «Женщины и женское»: «Человеческое существо отражает свет обоих Начал, заключенных в Боге. Остановимся на женщине: в ней преобладает свет женского Начала, того, которое принято называть „Вечно-женственным“. <...> если реальная женщина <...> чувствует себя <...> *сестрой* или *невестой*, или *матерью* — свет потустороннего начала „Ж“ в ней пребывает (и сохраняется „личность“, т<о> е<сть> в неповторимой мере — и гармонии — пребывания в каждом человеческом существе света обоих начал. Но если реальная женщина, прежде всего <...> — жена, любовница — она выпадает из потустороннего луча Вечно-> Ж<енственного> и начинает отражать свет любовника (полового партнера, одного или многих, все равно). Перестает и существовать как личность, т<ак> к<ак> нарушена ее гармония <...> В обоих случаях, становится ли женщина придатком мужчины, или пытается играть роль мужчины (мужеподобие), — женщина попадает в непрощающую власть здешнего, конечного *пола* и пропадает» (Янгиров 2007).

² Интерес к гендерным вопросам, утверждение «женского романа», глубоко освоенный еще советскими писательницами жанр «чернухи» подготовили почву для восприятия Бакуниной как предшественницы всех этих тенденций современной *фемин*. Татьяна Морозова признается, что она и не подозревала, что «в истории русской женской литературы еще с 30-х гг. существовал такой точный и такой неустаревший текст»: «степень откровенности романа <...> такова, что заставляет усомниться, что честь „дефлорации“ целомудренной русской литературы принадлежит представителям новой современной прозы» (Морозова 1995: 4).

проблематики, даже если при этом она и тривиализировала некоторые идеи Лоуренса.

Как мы видим, в основном именно писательницы русской диаспоры экспериментировали с гендерным дискурсом и открыто выступали против толстовской формулы детства и материнства. Характерно, что Василий Яновский счел необходимым стилизовать свою повесть «Любовь вторая» (1935) под исповедь эмигрантки, наделив свою героиню весьма со звучными мыслями:

Скажу кратко: думаю, самое жестокое разочарование для женщины — брак. Разумеется, я понимаю, хорошо полюбить, иметь сына. Но есть в этом чувстве та смиренная горечь, с какой поздней осенью человек покупает печь <...> если бы солнце грело, он бы о ней не подумал (Яновский 2014: 570).

Формирование в прозе эмиграции канона «женской литературы», обращенной к проблематике современной семьи, было связано с рядом инноваций. Так, большинство авторов заменили традиционную для русской литературы тему «отцов и детей» на тему «матерей и дочерей»⁹. Сдвиг этот был связан не только со стремлением скорректировать национальную традицию, ввести категорию «маленькой женщины» по аналогии с «маленьким человеком» русской литературы, дать ей возможность говорить от первого лица и обнаружить за робким фасадом жертвы запутанный комплекс зависти, ненависти, деструктивных импульсов и стыда, связанного с самим экзистенциальным статусом матери и дочери (с этой задачей блестяще справилась Берберова в повести «Аккомпаниаторша» (1934), вложив в уста своей героини Сонечки следующее признание: «Я поняла, что мама моя — это мой

⁹ В основных произведениях о детстве (от Карамзина и Толстого до Аксакова, Горького, Белого и Бунина) роль «ребенка» отводилась именно сыну. Да и во фрейдовских исследованиях Эдипова комплекса, побудивших, без сомнения, писателей 1920–1930-х гг. на ренинтерпретацию концепта «детство», основным объектом наблюдения тоже был мальчик.

позор, так же, как я — ее позор. И вся наша жизнь есть непоправимый стыд»). Возможно, такой сдвиг был связан и с ассимиляцией эмигрантскими авторами определенных моделей западного письма. Многочисленные исследования демонстрируют, что сюжет «мать/дочь» был в гораздо более значительной степени разработан в европейской культуре, а архетип «матери-детоубийцы» имел там более древние и мощные корни, чем миф о жертвенной, беззаветно преданной и любящей матери, который занял центральное место в русской традиции¹⁰.

На самой ранней стадии европейское мифологическое воображение порождает архетипные сюжеты, сформировавшиеся вокруг образов Медеи и Клитемнестры¹¹. Даже в «Гимне Деметре», сакральном тексте елевсинских мистерий, в котором наиболее ярко выражено чувство преданности Деметры своей дочери Персефоне, акцент ставится на силе ее гнева, грозящего разрушением всему миру и даже богам. Архетип вредоносной или манипулирующей матери реализовался на протяжении веков в бесчисленных вариациях, от шекспировской Леди Макбет, рисующей картину гипотетического детоубийства¹², до образов Царицы Ночи, фаустовской Гретхен или шиллеровской «Детоубийцы». Даже в викторианской

¹⁰ Образ доброй «матушки» преобладал и в русском фольклоре, а негативные и устрашающие аспекты материнства были сублимированы в образе Бабы-Яги, являющейся, по мнению Джонс, амбивалентным псевдоматеринским персонажем с каннибалистическими наклонностями (Johns 2004).

¹¹ Последний сюжет воспроизводит широкий спектр внутрисемейных отношений: Клитемнестра, движимая желанием отомстить за принесенную в жертву дочь Ифигению, убивает своего мужа Агамемнона. Ее дети Орест и Электра в свою очередь мстят за гибель отца и совершают матереубийство.

¹² «Кормила я и знаю, что за счастье / Держать в руках сосущее дитя. / Но если б я дала такое слово, / Как ты, — клянусь, я вырвала б сосок / Из мягких десен и нашла бы силы / Я, мать, ребенку череп размозжить!» (Шекспир 1994: 306).

ской литературе, несмотря на сосредоточенность на семейных ценностях, преобладают образы «монструозной», отсутствующей, «злорадной» или «тривиально комичной» матери, не приемлющей свое материнство и чинящей препятствия своим дочерям (Hirsch 1989). Вариант архетипа «злой матери» — мать-соперница — оказался особенно популярным в период модернизма, о чем свидетельствует неоднократное обращение к мифу об Иродиаде и Саломее как в драматургии (Оскар Уайльд), так и в опере (Жюль Массне, Рихард Штраус).

На фоне этой традиции во французской литературе 1920–1930-х гг. сформировался тип матери-тирана. Подобный образ, восходящий к мифологическим персонажам (Горгона, Федра, Аталия), занимает центральное место у Франсуа Мориака, особенно в романе «Волчица» (1934)¹³. Мать-тиран представлена в гротескном ключе, с аллюзиями на инцест, в пьесе Жана Кокто «Ужасные родители» (1938). Обратной стороной архетипа «разрушительной материнской любви» явился архетип «нежеланного ребенка». Еще в начале XX в. Альфред Савуар, изобразивший в пьесе «Третий прибор» самоубийство восьмилетнего мальчика, спровоцированное ненавистью родителей, подвергся всеобщему осуждению, на долгие годы был лишен возможности ставить свои произведения на сцене, а критики возмущенно писали о нем: «Подвергать сомнению материнскую любовь — какое кощунство» (Dessanti 1994: 30). Но уже спустя два десятилетия образ нарциссической и лицемерной «современной женщины», пренебрегающей своими материнскими обязанностями во имя развлечений и любовных интриг, получил широкое распространение в массовой литературе, воплотив дух гедонизма и эгоцентризма, характерный для века джаза (Виктор Маргеритт «Моника Лербье» (1922), Клод Вотель «Мадам не хочет иметь детей» (1924), романы Ирэн Немировски и др.).

¹³ Роман этот был переведен на русский Галиной Кузнецовой и опубликован с предисловием И. Бунина. В русской эмигрантской прессе он удостоился ряда рецензий. См., например (Яновский 2014: 512).

Учитывать этот более обширный западноевропейский литературный контекст необходимо для справедливой оценки как степени оригинальности, так и степени вторичности рассматриваемых в данной статье произведений эмигрантских авторов. Осваивая в своей прозе табуированные мотивы вражды между матерью и дочерью, их соперничества, дето- и матерубийства, они демонстративно и дерзновенно бросали вызов Толстому, а в его лице и всему магистральному канону русской культуры. Отход от национальной традиции происходил у них на фоне усвоения ими западноевропейских дискурсов материнства и детства. При этом они разрабатывали тематический и стилистический репертуар «женского письма», которое воспринималось их консервативными современниками как маргинальная «нелитература», но которое во многом предвосхитило будущие тенденции русской прозы.

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Адамович 1932 — Адамович Г. О книге Лоренса // Последние новости. № 4033. 7 апр. 1932. С. 3.
- Адамович 2007 — Адамович Г. Собрание сочинений. Литературные заметки. Кн. 2. СПб., 2007.
- Бакунина 1934 — Бакунина Е. Государственный экзамен // Памяти русского студенчества конца XIX — начала XX веков: Сборник воспоминаний. Париж, 1934. С. 163–171.
- Бакунина 2001 — Бакунина Е. Любовь к шестерым. Тело. М., 2001.
- Берберова 1932 — Берберова Н. Повелительница. Берлин, 1932.
- Бердяев 2004 — Бердяев Н. А. Судьба России. Кризис искусства. М., 2004.
- Варшавский 1932 — Варшавский В. Д. Х. Лоренс «Любовник Леди Чаттерлей» // Числа. 1932. № 6. С. 259–262.
- Гиппиус 1935 — Гиппиус З. Е. Бакунина. Любовь к шестерым. Роман. Париж, 1935 // Современные записки. 1935. № 58. С. 478–479.
- Гиппиус 2003 — Гиппиус З. Арифметика любви. Неизвестная проза 1931–1939 годов. СПб., 2003.

- Голенищев-Кутузов 1932 — Голенищев-Кутузов И. Защита леди Чаттерлей *Возрождение*. № 4. 11 авг. 1932.
- Демидова 2003 — Демидова О. Р. «Женская проза и большой канон литературы русского зарубежья» *Мы. Женская проза русской эмиграции*. СПб., 2003. С. 3–18.
- Карамзин 1964 — Карамзин Н. М. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1 *сост., подгот. текста и примеч. П. Н. Беркова*. М.; Л., 1964.
- Каспэ 2005 — Каспэ И. Искусство отсутствовать. Незамеченное поколение русской литературы. М., 2005.
- Ладинский 1932 — Ладинский А. Англия после войны *Последние новости*. 18 февр. 1932. № 3984.
- Морозова 1995 — Морозова Т. Русские блюда на эротическом пиршестве: Три взгляда на проблемы пола *Литературная газета*. 20 сент. 1995. С. 4.
- Пономарев 2000 — Пономарев Е. Лев Толстой в литературном сознании русской эмиграции 1920–1930-х годов *Русская литература*. 2000. № 3. С. 202–211.
- Ходасевич 1932 — Ходасевич В. Книжки и люди: напыщенный мужик *Возрождение*. 26 мая 1932. № 3.
- Цетлин 1933 — Цетлин М. Екатерина Бакунина: Тело. Роман *Современные записки*. 1933. № 53. С. 454–456.
- Шекспир 1994 — Шекспир У. Макбет *пер. Б. Пастернака* *Шекспир В. Полное собрание сочинений: в 14 т. Т. 8*. М., 1994. С. 469–632.
- Янгиров 2007 — Янгиров Р. Тело и отраженный свет: Заметки об эмигрантской прозе и о ненаписанной книге Зинаиды Гиппиус «Женщины и женское» *Новое литературное обозрение*. 2007. № 86. С. 183–206.
- Яновский 2014 — Яновский В. Любовь вторая. Избранная проза. М., 2014.
- Ariès 1996 — Ariès P. Centuries of Childhood. London, 1996.
- Boas 1966 — Boas G. The Cult of Childhood. London, 1966.
- Dessanti 1994 — Dessanti D. La femme au temps des années folles. Paris, 1994.

- Hirsch 1989 — Hirsch M. *The Mother/Daughter Plot. Narrative, Psychoanalysis, Feminism.* Bloomington, 1989.
- Hubbs 1988 — Hubbs J. *Mother Russia: The Feminine Myth in Russian Culture.* Bloomington, 1988.
- Johns 2004 — Johns A. *Baba Yaga: The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale.* New York, 2004.
- Kuhn 1982 — Kuhn R. *Corruption in Paradise. The Child in Western Literature.* Hanover, 1982.
- Lalo 2011 — Lalo A. *Libertinage in Russian Culture and Literature. A Bio-History of Sexualities at the Threshold of Modernity.* London, 2011.
- Marcel 1929 — Marcel G. *L'Amant de Lady Chatterley* ❧ *La Nouvelle Revue française.* 1 mai 1929. P. 729-731.
- Morard 2010 — Morard A. *De l'émigre au déraciné. La 'jeune génération' des écrivains russes entre identité et esthétique (Paris, 1920-1940).* Lausanne, 2010.
- Schopenhauer 1909 — Schopenhauer A. *The World as Will and Idea.* Vol. III. London, 1909.
- Wachtel 1990 — Wachtel A. *The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth.* Stanford, 1990.



Андреа Мейер-Фраатц

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И АМБИВАЛЕНТНОСТЬ КАК
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ САМОУТВЕРЖДЕНИЕ: РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА В СВЕТЕ ДИАЛОГИЗМА
М. БАХТИНА

~ I. ~

Введенное Михаилом Бахтиным понятие диалогичности, связано с понятиями амбивалентности и неоднозначности (eng. ambiguity). Диалогичность, то есть некая эстетическая теорема, затрагивающая как гносеологические, так и аксиологические аспекты и описанная Райнером Грюбелем (Grübel 1991) как герменевтическая семиотика, произвела фурор в мировом литературоведении XX в., особенно в контексте постструктурализма. Бахтин вводит понятие диалогизма в исследовании «Слово в романе» (Бахтин 2012), написанном в середине 30-х гг. в ссылке, и в подтексте эстетических размышлений постоянно прочитывается имплицитное критическое рассмотрение тоталитаризма. Это является одним из оснований для обсуждения проблем неоднозначности и амбивалентности русской советской литературы (то есть произведений, созданных между 1917 и 1987 гг.) с использованием теоретического инструментария бахтинской диалогичности. Мне бы хотелось на четырех конкретных примерах попытаться показать, в какой степени бахтинское понятие диалогичности может служить герменевтической основой для обсуждения амбивалентности и неоднозначности русской литературы XX в. Речь пойдет о романах Евгения Замятина «Мы» и Андрея Платонова «Чевенгур», написанных, соответственно, в 1920 и 1928 гг., в которых проблема амбивалентности и неоднозначности тесно связана с проблемами утопии как литературного жанра, а также об одном тексте из созданного в 1939 г. цик-

ла Даниила Хармса «Случай» и о романе Андрея Битова «Пушкинский дом» (1971). Необходимо отметить, что во всех этих случаях речь идет о произведениях, которые не могли быть опубликованы непосредственно после их создания, несмотря на то, что их авторы не были принципиальными противниками существующего режима.

Понятие диалогичности — одно из трех введенных Бахтиным понятий, влияние которых выходит далеко за пределы литературоведческих и теоретических прений в непосредственно русском контексте. Оно послужило основой для введенного Юлией Кристевой понятия интертекстуальности и явилось, благодаря содержащемуся в нем потенциалу скрытой критики структуралистской семиотики, неким связующим звеном с постструктурализмом; ср.: (Kristeva 1973; Grübel 1991: 24–31; Saße 2010: 65–72)). Тот факт, что диалогичность является одним из проявлений феномена неоднозначности, находит ныне всеобщее признание, подтверждением чего можно, например, считать статью из глоссария немецкой литературоведческой интернет-платформы *Literaturwissenschaft online* (литературоведение online) Кильского университета, посвященной понятию диалогичности, определяемой следующим образом:

«<<...>> Введенный Михаилом Бахтиным концепт неоднозначности слов и выражений, которая создается благодаря интерференции двух голосов. В отличие от внешнего диалога, в котором принимают участие два собеседника, диалогичность рассматривает некое «внутреннее» измерение высказывания как его многоголосие, находящее свое прагматическое выражение в многоголосных, полифонических текстах¹.

Несмотря

¹ «<<...>> auf Michail Bachtin zurückgehendes Konzept der Ambiguität von Worten bzw. Äußerungen, die durch die Interferenz zweier Sprechweisen („Stimmen“) entsteht. Im Gegensatz zum äußeren, von zwei Sprechpartnern gestalteten Dialog meint Dialogizität also die „innere“ Dimension einer Aussage als deren Mehrstimmigkeit; paradigmatisch zeigt sie sich in mehrstimmigen, polyphonen Texten» (Dialogizität).

Несмотря на это, мне бы хотелось несколько уточнить, что такое диалогичность. Предварительно необходимо отметить, что многие понятия нарратологии, для которых сегодня существуют общепризнанные термины, Бахтиным *описываются*, причем без проведения четких границ между различными по содержанию понятиями. Так, слово *автор* применяется по отношению как к реальному, так и к абстрактному/имплицитному авторам, а в некоторых случаях обозначает рассказчика. Бахтинская *диалогичность* в случае пересечения речи автора и речи героя, таким образом, как термин соответствует *непосредственно-прямой речи*, то есть обозначает одновременность речи повествователя и речи персонажа. Принципиально диалогичности противопоставляется монологичность. Диалогичность подразумевает открытость, взаимность, равноправие; монологичность, с другой стороны, — закрытость, односторонность, подчинение. Диалогичность подчиняется центробежным, монологичность — центростремительным силам; ср.: (Grübel 1991: 42–51).

В исследовании «Слово в романе» Бахтин исходит из «многоязычности» романа, причем во многих отношениях. С одной стороны, различными *языками* говорят повествователь и персонажи, к тому же, речь повествователя может отличаться от общепринятых норм литературного языка, например, в случае *сказа*. Как на уровне повествователя, так и на уровнях персонажей могут использоваться стилизованные под повседневную разговорную речь виды текста, например, письма или дневники, или вводиться внелитературные дискурсы. Эти разнообразные идео-, социо- и диалекты составляют основу художественно организованного речевого, языкового и голосового многообразия, которым управляет (имплицитный) автор. Для Бахтина важно слово произнесенное, обозначаемое Соссюром как *parole*, а не языковая система, *langue*. В процессе использования языка, то есть в литературном произведении, слово не имеет четко определенного значения, но постоянно обретает новое. Таким образом, уже слово само по себе обладает внутренней диалогичностью:

Диалогическая взаимоориентация становится здесь как бы событием самого слова, изнутри оживляющим и драматизирующим слово во всех его моментах (Бахтин 2012: 37).

Подобную диалогичность Бахтин, однако, рассматривает как качество романа, отказывая в ней эпосу и лирике, которым им приписывается несомненная монологичность. За этим, вероятно, стоит гегелевское представление о поэзии как чисто субъективном выражении поэтического творчества. Современными литературоведами (например, Ренатой Лахманн), однако, показано, что диалогичность в форме интертекстуальности присуща и поэтическим текстам (Lachmann 1990: 280–403).

«Двуголосое прозаическое слово — двусмысленно» (Бахтин 2012: 81). Бахтин признает, что двузначность встречается и в стихотворных произведениях, однако, по его мнению, при этом нельзя говорить о диалогичности. Что касается проблем амбивалентности и неоднозначности, особый интерес представляют высказывания Бахтина по поводу стилизации и гибридизации. Как *гибрид* Бахтин рассматривает смешение двух видов речи в пределах одного высказывания, часто выполняющее пародийную функцию или вызывающее комический эффект (Там же: 60). О стилизации, по Бахтину, можно говорить в том случае, когда говорящий, в некотором смысле, надевает маску и использует чужой художественный код (Там же: 60). В отличие от этого, в диалоге собственная и чужая речь равноправны по отношению друг к другу и неразделимы. Автором создается художественный образ языкового, голосового и речевого многообразия, который не поддается однозначному определению, но вызывает необходимость многочисленных трактовок (Там же: 689). В этой связи интересны рассуждения Бахтина об авторитарном слове, относящемуся к области религии, законодательства и политики и по определению никогда не являющемуся диалогичным. По причине его неприкосновенности оно (авторитарное слово) не может

может быть диалогически *присвоено*, но цитируется целиком, и произносящий его постоянно сохраняет по отношению к нему известную дистанцию (Бахтин 2012: 96–100). Однако, внутренне убеждающее слово присуще всем видам диалога. Его смысловая структура открыта, каждый новый контекст наполняет ее новыми содержаниями.

Рассуждения Бахтина о слове в романе аксиологичны. Он однозначно предпочитает слово диалогическое и отказывается авторитарному, монологическому слову в возможности его использования в художественном тексте. Принцип диалогичности затрагивает как слова в их использовании, так и отношения «автора и героя» (повествователя и персонажа соответственно) или создателя и потребителя текста. Таким образом, не только существует потенциальная возможность различного толкования текста реципиентом, но и вызывается к жизни неоднозначность (например, в форме несобственно-прямой речи, являющейся одновременно речью и повествователя, и персонажа) и амбивалентность (поскольку бесконечный диалог делает невозможным вынесение окончательного суждения).

II.

На примере одной из прозаических миниатюр Даниила Хармса мне бы хотелось показать, как различные интерпретации одного и того же текста вступают в некий (в смысле Бахтина) живой диалог с текстом и, таким образом, с создавшим его автором. В этом случае становится особенно ясным, что явление диалогичности ни в коей мере не ограничивается романом, поскольку диалогичность миниатюр Хармса крайне высока. Кроме того, на примере этих текстов становится понятно, насколько сам образ диалогического слова, с одной стороны, связан с определенным социальным контекстом и вызывает его в памяти и, с другой стороны, допускает существование огромного множества различных истолкований.

Короткий текст «Оптический обман» из цикла «Случаи» (Хармс 1997) до сих пор истолковывался по-разному, но неиз-

менно — как реакция на актуальные тенденции литературной или культурной политики. Так, например, загребский русист Александр Флакер видит в этом тексте пародию на реалистический роман в духе Льва Толстого. Противопоставление «Пьер Безухов — Платон Каратаев» из романа «Война и мир» узнается им в противопоставлении фигур Семёна Семеновича, очкарика-интеллектуала, и «мужика», причем у Хармса интеллигент в некотором смысле «пролетаризируется» данным ему именем. В этом миниатюрном «антиромане» Хармс, по мнению Флакера, комментирует предъявляемые современной ему политикой требования к литературе сильнее ориентироваться на традиции реализма, особенно на романы Толстого. Примерами послушного следования этим требованиям партии являлись — ко времени Хармса — романы Михаила Шолохова «Тихий Дон» (за который автор в 1965 г. получил Нобелевскую премию) и «Поднятая целина» (Flaker 1984: 270–273).

Женевский славист Жан-Филипп Жаккар, с другой стороны, рассматривает «Оптический обман» с позиций теорий зрения и восприятия, господствовавших в среде русских авангардистов. Он указывает в этой связи на тексты Кандинского, Филонова и Малевича и на их связь с мотивом видения и невидения у Хармса. В год написания текста Хармс, по мнению Жакара, осознает, что не только его собственная деятельность в авангардистском духе не представляется более возможной, но и что место «нового, расширенного видения/зрения», которое авангард провозгласил своей целью, заняло Ничто, Ноль (Jaccard 2003).

Еще одна возможная интерпретация текста состоит в попытке двойного прочтения слова «кулак», то есть в понимании его не только как обозначения угрожающего жеста, но и как — со ссылкой на завершившуюся в год написания текста коллективизацию сельского хозяйства — обозначение зажиточного крестьянина, физическое уничтожение которого было одним из результатов коллективизации. Таким образом, жест бедного крестьянина, которого можно срав-

нить

нить с пролетарием, угрожающего интеллигенту «кулаком», можно понять как предостережение, что интеллигенту уготована та же судьба, что и зажиточному крестьянству. На это предостережение интеллигент Хармса, однако, закрывает глаза, интерпретируя его как оптический обман. Одним из использованных автором приемов является структура повтора, доводящая игру «есть» и «нет» до абсурда (об этом упоминает и Жаккар (Jaccard 2003)). С другой стороны, структура повторов представляет собой ссылку на совсем другую сферу, а именно на поддерживаемую государством карикатуру, особенно в форме пропагандистских «Окон РОСТА». Путем многократного повторения состояний видения и невидения обостряется прием, используемый при создании «Окон». Рассказ «Оптический обман» демонстрирует свойства любой карикатуры, то есть — по определению искусствоведа Клауса Гердинга — преувеличивает и одновременно сокращает до существенного определенные свойства рассматриваемого объекта (Herding 1980: 358). Приведенные выше трактовки рассказа не исключаются из рассмотрения, но сохраняют свою правоту и также вычитываются из текста. Как момент видения, оптики, так и двузначность понятия «кулак» вступают, в некотором смысле, в диалог между пониманием текста как скрытого намека на угнетение авангарда и как метакарикатуры на «угнетающую» государственную карикатуру. Если вспомнить еще и толкование миниатюры как антиромана, то можно говорить и о том, что диалогичность вполне возможна и на уровне короткой прозы; ср.: (Мейер-Фраатц 2012). Миниатюра порождает диалогичность благодаря неоднозначности, и ей удается немногими художественными средствами поставить персонажи в конкретный социальный контекст, воссоздаваемый определенными, в данном случае гибридными, выражениями.

В тесной связи с бахтинскими понятиями диалогичности и монологичности можно рассматривать и жанр утопии. Классические утопии всегда монологичны, они описывают статические фиктивные формы политической и общественной организации и не оставляют читателю никаких сомнений в том, что речь идет о некоем идеальном состоянии. Зигмунд Бауман указывает на единообразие не только представленных в классических утопиях идеальных сообществ, но и отдельных утопических проектов по отношению друг к другу. Он ссылается при этом на Бронислава Бачко с его замечанием об авторах классических утопий XVI в.: «<...> throughout the century all they do is to reinvent the same city»; цит. по: (Bauman 2004: 73). По мнению Баумана, основополагающими характеристиками идеального сообщества с XVI в. являются ясность, единообразие и однозначность:

Modernity was after the perfect one-to-one fitting of names and things, words and meanings; a set of rules free of blank spots and cases overloaded with instructions; a taxonomy in which there was a file for each phenomenon but no more than one file for any one of them; a division of tasks in which there was an agent for any part of the action but no more than one agent for each; in short, after a world in which there is an unambiguous (algorithmic rather than merely heuristic) recipe for every situation and no situations without recipes attached (ibid.: 74-75).

В конце XIX — начале XX столетий, однако, жанр утопии, принимая форму антиутопии, претерпевает значительное изменение, которое может быть описано в свете понятия диалогичности. При этом важную роль играют понятия как неоднозначности, так и двужначности.

Дистопия (антиутопия) «Мы» Евгения Замятина (Замятин 1929: 10–143)² в известной степени деконструирует жанр литературной утопии, прежде всего благодаря использованию сознательных приемов, ведущих к неоднозначности и двужначности. Единое Государство авторитарно и тоталитарно, коммуникация внутри его, говоря словами Бахтина, монологична. Все жители подчиняются одному ритму жизни, все здания одинаковы и контролируются через стеклянные фасады, вся общественная жизнь организована в соответствии с принципами Тэйлора, которого почитают как бога, и Благодетель год за годом выбирается единогласно. Протагонист, Д-503, конструктор ракеты «Интеграл», которая должна стать предметом гордости Единого Государства, вначале полностью подчиняется «монологичному» мышлению Единого Государства; легкое беспокойство причиняет ему разве что несколько разросшийся волосяной покров тела, который ему не удается объяснить рационально. Его состояние абсолютного соответствия жизни описываемого общества и принципам Единого Государства нарушается при появлении I-330, которая, с одной стороны, вызывает в протагонисте доселе неизвестные чувства (врач ставит диагноз: «По-видимому, у вас образовалась душа» (Там же: 60)) и, с другой стороны, заводит его за «Зеленую Стену», за которой все еще теплится «старая» жизнь. Там собираются «Мефи» (говорящее имя!), враги существующего режима, к которым принадлежит и I-330. Она убеждает Д-503, что с Единым Государством надо бороться, и ей это удастся сделать обращением к математическому мышлению протагониста, то есть проведением параллели между так называемой последней революцией, приведшей к образованию Единого Государства, и (математической) невозможностью измыслить последнее число. Д-503, однако, пребывает в состоянии амбивалентности

² Роман был написан в 1920 г. и увидел свет в переводах на английский в 1924 г., на чешский в 1927 г., на французский в 1929 г.; на русском языке он был опубликован только в 1928 г.

между любовью к I-330 и лояльностью по отношению к Единому Государству. К концу романа эта амбивалентность разрешается насильственно: Единое Государство проводит над всем населением так называемую «Великую Операцию», то есть некую психосоматическую процедуру по удалению мозгового «центра фантазии», и Д-503 безучастно наблюдает, как I-330 подвергается пыткам.

Амбивалентность возникает на уровне описываемого мира в форме внутренней противоречивости главного героя. То, что речь в данном романе идет не о позитивной, но о негативной утопии, подтверждается не только жестокостью средств, применяемых Единым Государством против его врагов. Неоднозначность, с другой стороны, привносится фигурой R-13, государственного поэта. В границах описываемого мира он представляет Единое Государство, о совершенстве которого им пишутся хвалебные гимны. При рассмотрении внелитературной действительности, однако, этот персонаж можно рассматривать как карикатуру на поэтов Пролеткульта, а его творения — как пародии на их стихи, восхваляющие технические достижения и коллектив³. Пародийная стилизация Пролеткульта является, несомненно, дистопическим элементом романа и способствует пониманию идейного содержания текста в целом, скорее, как отрицания Единого Государства. Превращение утопии в дистопию осуществляется, в конечном итоге, путем сознательного внедрения элементов диалогичности в монологичность. При этом основную роль играют неоднозначность и двусмысленность. Склонная к монологичности роль Протагониста (являющегося, будучи автором дневниковых записей, в форме которых написан роман, единственным повествователем) сглаживается и одновременно диалогизируется вступающей в противоречие с рассказываемым позицией имплицитного автора, устанавливающего связь с внелитературной действительностью.

³ Об этом уже писали Кэтлин Льюис и Гарри Вебер в 1988 г. (Lewis, Weber 1988).

Несколько иначе складывается ситуация в романе Андрея Платонова «Чевенгур» (Платонов 1998)⁴. В этом романе нельзя найти ни позитивной, ни негативной утопии; несмотря на использование многочисленных элементов классических литературных утопий, роман сам по себе не является ни дистопией, ни утопией⁵. Это свойство текста, которое Эдит Кловс в 1993 г. со ссылкой на Гари Морсона назвала метаутопичностью (Clowes 1994: 4–6), проявляется у Платонова не в последнюю очередь в амбивалентности описываемых персонажей. Так, «социалистический Дон Кихот» Степан Копенкин становится, с одной стороны, близким другом протагониста Саши Дванова и мечтает лишь о том, чтобы однажды проскакать на коне Пролетарская Сила до самой Германии, до могилы его (Копенкина) большой любви Розы Люксембург. С другой стороны, именно многочисленные наполненные нежностью размышления о Розе Люксембург приводят его к беспощадному истреблению врагов революции. Жители города Чевенгур, которые в середине 20-х гг. приходят к выводу, что коммунизм у них уже построен, безжалостно уничтожают так называемых «буржуев»; однако они же проявляют трогательную заботу, если кто-нибудь в их окружении заболевает (как, например, старик Яков Титыч или маленькая девочка).

Амбивалентность в описании Чевенгура возникает не в последнюю очередь благодаря гротеску, прежде всего в описании фигур, душой и телом преданных революции, но в большинстве своем являющихся чудаками, как, например, председатель сельсовета, называющий себя Богом и питающийся одной землей, или некий деревенский житель, взявший себе новое имя Достоевский, или Пашинцев, который держит оборону усадьбы сначала в полных рыцарских доспехах, а позже в кольчуге. Гротеск, по мнению Бахтина, высказан-

⁴ Роман был окончен в 1929 г., но опубликован в Советском Союзе, кроме первой части «Прохождение мастера», полностью только в 1988 г.

⁵ Райнер Грюбель (Grübel 2004), тем не менее, называет его дистопией.

ному им в контексте теории карнавализации в противовес позиции Вольфганга Кайзера (Kayser 1957), вызывает освобождающий смех как благодаря комбинации несовместимого, так и путем обращения иерархий (Бахтин 2010: 9–70). Насколько это представление может быть применено к роману «Чевенгур», вопрос спорный. Самый яркий пример гротеска в романе Платонова — Копенкин, в особенности его некрофильская любовь к Розе Люксембург, которая представляет собой буквально карнавальнй мезальянс. Вышеупомянутый эпизод, в котором нежные чувства Копенкина к Розе Люксембург противопоставлены его жестокому гневу к врагу (Платонов 1998: 103) наиболее ярко иллюстрирует этот феномен и, более того, амбивалентность не только жанровой принадлежности романа, но и эмоционального расположения Копенкина. Несомненно, однако, что важную роль для гротеска играет неоднозначность.

Несобственно-прямая речь, подробно рассмотренная в работе гамбургского слависта Роберта Ходеля (Hodel 2001), часто встречается в романе и представляет собой речь одновременно и фигуры (персонажа), и повествователя. Таким образом, она также приводит к возникновению неоднозначности и производит двуголосие, частично сближая рассказчика с определенными персонажами, в особенности с Сашей Двановым и Степаном Копенкиным. Вот почему трудно определить роман однозначно как утопию или дистопию: он, скорее, колеблется между этими полюсами. Бесконечная открытость благодаря диалогичности, во всяком случае, свидетельствует об ориентации Платонова на Достоевского.

IV.

Андрей Битов считается классиком русского постмодерна, хотя сам он постоянно отказывается от этого наименования. Его главное произведение, роман «Пушкинский дом», неоднозначен уже в названии, которое может рассматривать-

ся

ся и как название Института русской литературы Академии наук в Ленинграде/Санкт-Петербурге, и как известная метафора для обозначения русской литературы как таковой (Meyer-Fraatz 2007: 459–460). Определение жанра как «роман-музей» указывает на две противоположные музейные концепции — на концепцию русского авангарда и на концепт Николая Федорова (Там же: 465–466). Пролог романа также — по крайней мере, при ретроспективном взгляде на него после прочтения текста до конца — чрезвычайно неоднозначен: в разрушенном музейном зале Пушкинского Дома лежит безжизненное тело мужчины, около него пистолет, которым был убит на дуэли Пушкин, с окурком «пролетарской» сигареты «Север» в стволе, и разбитая посмертная маска Пушкина. Речь идет о протагонисте, Льве Одоевцеве, обычно называемом Лева, аспиранте Пушкинского Дома. Портреты этого молодого литературоведа с различных точек зрения представлены в трех главных частях романа, названных «Отцы и дети», «Герой нашего времени» и «Бедный всадник». Эти подзаголовки представляют собой названия известных произведений классической русской литературы, причем в последнем случае производится смешение названий «Бедные люди» (повесть Достоевского) и «Медный всадник» (поэма А. С. Пушкина). В остальных подзаголовках частей романа снова и снова возникают названия произведений русской классики, и с учетом параллельных мотивных структур и иных признаков интертекстуальности роман представляется чрезвычайно диалогичным в смысле термина Бахтина. В трех основных частях романа рассказывается история, приведшая описываемому в прологе результату. В «Отцах и детях» речь идет об отношении протагониста с его родителями, но прежде всего с дедом, Модестом Платоновичем, филологом, в сталинскую эпоху арестованным по доносу собственного сына, руководствующегося карьерными соображениями, и после многолетнего заключения и ссылки вернувшимся в Ленинград. Эта фигура романа демонстрирует явное сходство с

Бахтиным, и многие теоремы Бахтина развиваются в романе на уровне мотивов. Немалую роль играет также «эрзац-дед» Левы, его сосед, называемый протагонистом «дядя Диккенс». В части «Герой нашего времени» описываются различные любовные похождения протагониста, и в последней части романа находит, наконец, свое объяснение ситуация пролога. Накануне 7-го ноября, годовщины Октябрьской революции, в Пушкинском Доме собираются различные персонажи романа, чтобы составить компанию находящемуся на дежурстве протагонисту. Среди них и его „закаленный друг“ Митишатъев, конкурирующий с ним в борьбе за единственную женщину, которую Лева действительно любит, — Фаину. Ожесточенный спор, содержащий и антисемитские высказывания в адрес присутствующих, выливается в дуэль междулевой и Митишатъевым, в результате которой на полу разгромленного музейного зала остается лежать тело Левы. В эпилоге предлагаются три варианта конца романа; в любом случае представляется очевидным, что Лева должен выжить, поскольку в Приложении находится интервью «Автора» А. Б. с его «героем», членом Академии Наук, профессором Львом Одоевцевым, взятое 50 лет спустя. Подобный «диалог автора с его героем» Бахтин описывает у Достоевского:

Слово автора о герое организовано в романах Достоевского, как слово о присутствующем, слышащем его (автора) и могущем ему ответить (Бахтин 2002: 75).

Означенный диалог в романе Битова можно рассматривать как один из примеров уже упомянутого выше развертывания теорем Бахтина на уровне мотива, равно как «введение» в роман многочисленных текстов, приписываемых различным фигурам, которое рассматривается Бахтиным как частая форма проявления чужого слова в романе (Бахтин 2012: 74–77). Эскалация ситуации в Пушкинском доме накануне ноябрьских праздников несет в себе нечто карнавально-гротескное, и бахтинская «диалогичность» достигается не исключительно интертекстуальностью.

интертекстуальностью. При этом отсылка к «чужим» текстам конструируется в романе в целом амбивалентно и неоднозначно: намеки на всевозможные и разнообразные известные произведения в подзаголовках указывают скорее на их «смерть» в советских канонах, в то время как указания на запрещенных в эпоху написания романа авторов тонки и деликатны. К последним можно отнести, например, намёк-«ссылку» на Андрея Платонова в отчестве деда героя «Платонович» или, в случае дяди Диккенса и особенно одного из его рассказов, на Данила Хармса, который, как известно, постоянно носил одежду в английском стиле, чей псевдоним представляет собой контаминацию английского слова *charme* и имени *Holmes* и который (также) писал — намного более лаконичные — абсурдные тексты (Битов 1996: 121–122). Таким образом, возникает диалог между канонизируемой государством и запрещенной литературами, и имплицитно высказывается желание «воскрешения» как до смерти «заинтерпретированных», так и запрещенных авторов и их текстов (Meyer-Fraatz 2007: 465–468). В этом проявляется и субверсивность самого романа, написанного с надеждой на опубликование и запрещенного к публикации именно вследствие этой своей очевидной субверсивности.

Неоднозначность порождает и многочисленные версии и варианты, предложенные «автором», предлагающие, как правило, противоположное развитие событий как альтернативу. Таким образом, однозначный исход событий становится невозможным, как показывают три эпилога. В частности, используются такие изощренные сравнения, как изображение семейных и любовных отношений Левы в форме химических формул (Битов 1996: 212–213). «Элемент» «он», определенный как то, что связывает всех, прочитанный в латинских буквах является признаком алкоголя в органической химии. Неоднозначность на графическом плане, таким образом, тесно связывает мужское местоимение в смысле рода и гендерной идентичности с алкоголем, что и подтверждается в развитии романа (Meyer-Fraatz 2007: 470).

После рассмотрения различных конкретных произведений можно снова вернуться к вопросу, насколько продуктивно использование бахтинского понятия диалогичности при обсуждении проблем амбивалентности и неоднозначности. В случае романа «Пушкинский дом» образец Бахтина сложно обойти вниманием уже вследствие тематики романа и очевидности биографических и научных параллелей. Какова ситуация в остальных случаях? Мне представляется, что использование понятия диалогичности как термина-метафоры продуктивно в тех случаях неоднозначности, которые возникают за счет одновременности «звучания» одного или нескольких голосов в одном тексте или текстовом отрывке и при которых допустимо несколько толкований. Это было показано на примере миниатюры Хармса «Оптический обман». Также в связи с утопией использование понятия монологичности по отношению к классическим произведениям этого жанра представляется продуктивным. В случае дистопий и метаутопий XX и XXI вв. мне кажется целесообразным говорить о некоем проникновении диалогичности в монологичность утопии, поскольку, как правило, дистопии становятся негативными утопиями, когда ставится под вопрос монологичный характер описываемого государственного устройства, являющегося идеальным только по его (государства) собственному мнению.

Для Бахтина диалогичность и двузначность являются разными понятиями. Двузначны для него значения, и лишь в многозначности по отношению к толкованию проявляется диалогичность. Это понятие диалогичности уже вошло в инструментарий постструктурализма и доказало свое право на жизнь. Менее продуктивны сегодня размышления Бахтина о внутренней коммуникации литературного текста. Однако встает вопрос, не является ли именно неоднозначность повествователя, возникающая, например, в случаях непосредственно-прямой речи или потока сознания, интересной областью исследования.

следования. Что касается карнавализации, можно задаться вопросом, насколько достоин места в исследовании амбивалентности гротеск как прием, буквально «порожденный» амбивалентностью и неоднозначностью. Даже бахтинское понятие хронотопа, как совокупности признаков времени и места, представляется феноменом неоднозначности.

Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем (Бахтин 2012: 341).

И поскольку сам Бахтин, кажется, склонен к созданию метафор более чем терминов, представляется интересным изучение его эстетических трудов с точки зрения их амбивалентности и неоднозначности, то есть рассмотрение их как объектного языка, а не применение их как метаязыка. Применение представлений Бахтина при анализе литературных текстов, написанных в конце 20-х — начале 30-х гг., то есть на том же политическом и социальном фоне, что и работы Бахтина, кажется особенно целесообразным.

~ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ~

- Бахтин 2002 — Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского *ℳ* Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 7–297.
- Бахтин 2010 — Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса *ℳ* Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4. М., 2010. С. 7–508.
- Бахтин 2012 — Бахтин М. М. Слово в романе *ℳ* Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 3. М., 2012. С. 9–179.
- Битов 1996 — Битов А. Г. Империя в четырех измерениях. Т. 2: Пушкинский дом. Харьков, 1996.
- Замятин 1989 — Замятин Е. Мы *ℳ* Замятин Е. Мы. Роман. Повести, рассказы, пьесы, статьи и воспоминания. Кишинев, 1989. С. 10–143.
- Мейер-Фраатц 2012 — Мейер-Фраатц А. Случай. Литературные мета-карикатуры Даниила Хармса *ℳ* Визуализация литературы. Белград, 2012. С. 192–204.

- Платонов 1998 — Платонов А. Чевенгур *ℳ* Платонов А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 2. М., 1998. С. 5-307.
- Хармс 1997 — Хармс Д. Оптический обман *ℳ* Хармс Д. Полное собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. СПб., 1997. С. 332.
- Bauman 2004 — Bauman Z. Modernity and Clarity. The Story of a Failed Romance *ℳ* Ambivalenz — Ambiguität — Postmodernität. Begrenzt eindeutiges Denken. Stuttgart-Bad Cannstadt, 2004. S. 65-80.
- Clowes 1994 — Clowes E. Russian Experimental Fiction. Resisting Ideology after Utopia. Princeton, 1994.
- Flaker 1984 — Flaker A. Poetika osporavanja. Zagreb, 1984.
- Grübel 1991 — Grübel R. Zur Ästhetik des Wortes bei Michail Bachtin *ℳ* Bachtin M. Die Ästhetik des Wortes. Frankfurt am Main, 1991. S. 42-51.
- Grübel 2004 — Grübel R. Der heiße Tod und das kalte Ende der sowjetischen Kommune. Mythopoetik und Neue Sachlichkeit in Andrej Platonovs negativer Utopie *Čevengur* *ℳ* Die (k) alte Sachlichkeit. Herkunft und Wirkungen eines Konzepts. Würzburg, 2004. S. 41-59.
- Herding 1980 — Herding K. Karikaturen-Perspektiven *ℳ* Nervöse Auffangorgane des inneren und äußeren Lebens. Karikaturen. Gießen, 1980. S. 353-386.
- Hodel 2001 — Hodel R. Erlebte Rede bei Andrej Platonov. Von „V zvezdnoj pustyne“ bis „Čevengur“. Frankfurt am Main, 2001.
- Jaccard 2003 — Jaccard J.-P. „Optička varka“ u ruskoj avangardi *ℳ* Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća. Vizualnost. Zagreb, 2003. S. 147-162.
- Kayser 1957 — Kayser W. Das Grotleske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung. Oldenburg, 1957.
- Kristeva 1973 — Kristeva J. Bachtin, der Dialog, das Wort und der Roman *ℳ* Literaturwissenschaft und Linguistik. Bd. 2. Frankfurt am Main, 1973. S. 345-375.
- Lachmann 1990 — Lachmann R. Gedächtnis und Literatur. Frankfurt am Main, 1990.

Lewis, Weber 1988 – Lewis K., Weber H. *We, the Proletarian Poets, and Red Star* / Zamjatin's *We* / ed. by G. Kern. Ann Arbor, 1988. P. 186–208.

Meyer-Fraatz 2007 – Meyer-Fraatz A. Andrej Bitov: „Puškinskij dom“ / Der russische Roman / hrsg. von B. Zelinsky. Köln; Weimar; Wien, 2007. S. 459–471. (Russische Literatur in Einzelinterpretationen. Bd. 2)

Saße 2010 – Saße S. *Bachtin zur Einführung*. Hamburg, 2010.



ОБ ЭВФОНИИ В ВЕРЛИБРЕ

В наше время, исповедующее свободу, верлибр становится все более популярным видом стиха. Полная свобода выражения самого «акта претворения жизни, воплотившейся в речи» и являющегося поэзией (Кожинов 2001: 216), не может не привлекать мастеров слова. Даже те, кто позиционируют себя строгими приверженцами традиций классического стиха, не избежали соблазна верлибра¹.

Как известно, принципы организации верлибра отличаются от способов организации классического стиха². Обратимся к славянским системам стихосложения: русской и чешской, — как к самой тонической и самой силлабической из силлаботонических систем славян. Общая точка зрения на структуру верлибра заключается в том, что в нем в полной мере проявляется «специфическое интонационное строение» то, что, по мнению Л. И. Тимофеева (Тимофеев 1958), и «является основой стиха» (Кожинов 2001: 218). «Приход к свободному стиху объясняется стремлением к максимальной естественности речевой интонации <...> в этом смысле свободный стих можно назвать еще строго интонационным стихом. <...> Умение писать свободные стихи — это умение членить текст на фразы и синтагмы, обозначая их графически в виде отдельных (авторских) строк» (Бурич 1972). Тройную связь интонационного целого, синтаксического целого и поэтического целого стиха стали считать композиционной основой верлибра. В русской стиховедческой традиции при изучении интонационного построения верлибра долгое время особое значение придавалось изосинтаксизму (Овчаренко 1984: 36–37), двойной

¹ Например, стихотворение Глеба Семенова «Сделайте мне операцию...» (Семенов: № 274).

² См. обзор концепций организации верлибра в книге О. И. Федотова (Федотов 2001).

силе, вызывающей метрический импульс. В чешской традиции изосинтаксизм является приоритетом стиха «безразмерного», то есть не обладающего размером свободного фольклорного и средневекового стиха (Hrabák 1964: 110). Верлибром или вольным стихом чешские ученые считают тот вид стиха, в котором присутствует минимальное число элементов, вызывающих метрический импульс (Там же: 106).

Интонацию стиха мы воспринимаем как нечто дополнительное, и понимаем, что наше восприятие является только одним из нескольких возможных (Там же: 107).

Роль интонации в верлибре бесспорна, но только ли она определяет его структуру, не дает художественному целому распасться, рассыпаться, позволяет стихотворению звучать как стихотворение?

Чешский стиховед, теоретик литературы, младший член Пражского лингвистического кружка, академик Йозеф Грабак писал:

...Метрическая организация вольных стихов совершенно иная, чем метрическая организация синлабических или синлаботонических стихотворений, метрический импульс там задается совершенно иными элементами. То, что мы считаем вторичным для стихотворений, обладающих размером, то, что ощущается нами как необязательность нормы, становится варьирующейся нормой, пусть и не метрической (Там же: 109).

Обратимся к такой «необязательной норме» классического стиха, как эвфония³.

Действительно, путь развития литературы привел в XX в. к расцвету верлибра. Явление требовало осмысления. Сразу встал вопрос о том, что же организует вольный стих. Почему

³ Чешские ученые в свое время писали о связи эвфонии с ритмом. Й. Грабак отмечает: «С тенденцией подчеркивать сильную стопу повторением звуков мы сталкиваемся довольно часто <...>: Když se za tím nohy naše znova / Další cestu konat zaberou („Slávy dcera“») (Hrabák 1964: 49).

отсутствие размера и рифм не сближает его с прозаической речью, не мешает его восприятию как стихотворения? В 20-е гг. XX в. проблема организации верлибра поднималась, в частности, в работе Ш. Вильдака и Ж. Дюамеля, где отмечалась исключительная роль аллитерации в верлибре, утверждалось, что если аллитерация наблюдается в двух и более смежных строках, то она может подчинить себе размер до конца строфы (Вильдак, Дюамель 1920).

Как известно, в 60-е гг. вопрос о верлибре широко обсуждался. Так, А. Л. Жовтис, перечисляя свойства верлибра: его графическую заданность как стихотворения, особую роль пауз и логических ударений в конце каждого стиха, говорил о необходимости поиска признака, присущего только данной системе. Таким признаком, по его мнению, служит смена мер повтора. Ученый также отмечал особую роль аллитерации в свободном стихе: «Аллитерация скрепляет строку и ряды между собой» (Жовтис 1966: 15).

В 70-е гг. обсуждение проблем, связанных с верлибром, вспыхнуло с новой силой. Возвращаясь к ней, А. Жовтис пишет о том, что структуру верлибра нужно рассматривать как стиховую, но неметрическую. Давая обзор различных взглядов на верлибр, он указывает на то, что, по З. Черному, в структуре верлибра вместе с ударно-ритмическим принципом детерминирует принцип гомофонный, то есть использование звуковых повторов в композиции стиха. Здесь же приводятся взгляды Ю. Тынянова на свободный стих. По мнению последнего, звуковой повтор, инструментовка относятся к ритму в верлибре (Жовтис 1970: 63-78).

Основываясь на мысли чешского исследователя стиха Й. Грабака о том, что стихосложение, являясь замкнутой системой, обладает свойством смены первичных и вторичных признаков (Hrabák 1966), можно предположить, что для верлибра аллитерация, да и эвфония в целом, из вторичных признаков переходит в первичный, обязательный структурирующий стих признак, в то время как количество слогов или равномерное

равномерное распределение ударений из первичных, обязательных для классического стиха признаков переходит во вторичные, окказиональные.

Оставив в стороне спор о том, можно ли считать данное стихотворение верлибром, обратимся к произведению А. Блока, без которого редко когда обходятся рассуждения о верлибре:

Когда вы стоите на моем пути,
 Такая живая, такая красивая,
 Но такая измученная (Блок 1970: 218).

Первый стих аллитерирован согласными т/д, которые повторяются и во втором, и в третьем стихах. Второй стих строится на повторении слогов -кая и -вая. Третий стих — на повторении н/м, которые повторялись в середине первой строки.

В чешской традиции звуковая организация стиха еще более строгая — поскольку в чешском языке отсутствует редукция гласных, все слоги произносятся четко:

Když zpěuchu umírá pták
 neviděn
 skryje se v listí.

Bez hlesu
 ylna
 y rákosí zajde.

Já padat chtěl bych, tak jako hvězda pada,
 al něčo krásného si myslí
 ta, jež jde pocí (Florian 1975: 34).

Обратимся к звукописи стиха. Первый стих начинается и заканчивается звуком к, начинается сочетанием согласных kd, а заканчивается сочетанием tk. Звук д присутствует и в центре второго стиха, начинающегося и заканчивающегося звуком н, который, в свою очередь, пусть и несколько асимметрично, перекликается со звуком н первого стиха.

Находится d и в центре заключительного стиха всего стихотворения. В третьем стихе равномерно повторяется звук s в начале, середине и конце. Кроме того, звук s (z) мы видим в первом и последнем слове первого стиха второй строфы и в третьем слоге от начала и во втором от конца третьего стиха второй строфы. В последней строфе место s (z) сдвигается в конец первого стиха, в середину и конец второго стиха, корреспондируя со звуком c начала второго стиха (цёсо) и конечного слога всего стихотворения (сí).

Вторая строфа строится на повторе сочетаний hl, vl и ur в начале стихов, кроме первого, но как уже было сказано, z первого слова первого стиха дважды повторяется в третьем стихе.

В начале первого стиха третьей строфы легко заметить сочетание radá, оно же присутствует и в конце стиха (hvězda radá), а в центре обнаруживается в усеченной форме ta. В начале второго стиха оно переходит в á, в начале третьего мы вновь видим ta, а через слог повторится звук d, и это будет центр последнего стиха верлибра. Во втором стихе, кроме того, регулярно повторяются сочетания звуков nc, sn, ms, причем звуки ц, с — составляют последнее слово стихотворения. Следует заметить, что первый стих обнаруживает повтор звуков ch (h).

Получается, что звуки очерчивают начало и конец строк, фонетический повтор проходит крест-накрест через стихотворение, тем самым укрепляя его. Часто звуковой рисунок создает треугольник, что тоже скрепляет свободное стихотворение.

Таким образом, звукопись в верлибре начинает играть совершенно особую композиционную роль, организуя этот вид стиха. Сразу следует оговориться, что от верлибра, то есть стиха свободного, не следует ожидать строго регулярного повторения звуков, иначе этот стих не был бы свободным.

Короткий верлибр Владимира Бурича так же скрепляет эвфония:

Такое случается крайне редко.

К этому я и стремлюсь (Цит по: Алехин 2006).

Первый стих начинается сочетанием звуков так и оканчивается сочетанием тка, а второй стих начинается с кэт. Звуки т и к повторяются и в середине первого стиха, а т — в середине второго. К этому следует добавить ассонанс на д в середине первого стиха в ударных долях или, скорее, слогах, поскольку говорить о долях в верлибре едва ли правомерно. Начала же стихов построено на повторении ударного д.

В заключение хотелось бы остановиться на взглядах Е. Д. Поливанова. Ученый относит к поэзии «словесный материал, который обнаруживает организованность по тому или иному фонетическому (то есть звуковому) моменту» (Поливанов 1963: 99). По его мысли, это может быть рифма, может быть синлабический принцип, а могут быть «смежные» повторы согласных.

Однако в виде обобщения всех различных систем поэтической техники (или стихосложения) можно указать на один главный принцип, по которому организуется языковой материал в поэтическом произведении. Это принцип повтора фонетических представлений. При этом — в различных случаях — материалом повтора могут быть фонетические представления самого различного порядка и состава (Там же: 106).

Так, метрическое стихосложение основано на повторе общего представления стоп определенного количественного состава; синлабическое — на моменте числа слогов в корреспондирующем отрезке речи (стихах), но может строиться и на повторе элементарных фонетических единиц, то есть звуков, как в древнегерманском, финском, эстонском, монгольском, якутском и другом народном творчестве. Следовательно, явление аллитерации может быть канонизировано «на правах обязательного момента данной формы» (Там же: 108).

Интересно заметить, что верлибр, самый, пожалуй, современный вид стиха, базируется на тех же принципах, что и древнейший индоевропейский стих, основанный на фонетических повторах. По свидетельству Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова,

уже в хеттских фрагментах стихотворной речи можно обнаружить явную тенденцию к аллитерациям <...> В архаическом армянском стихе-гимне <...> аллитерация является основным средством художественного выражения <...> Аллитерация является одним из основных приемов построения стиха и в древнеиндийской поэзии (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 837-838).

Так хеттский фрагмент «Гимн богу Пирве» построен на повторении слога pi, архаический армянский стих-гимн на повторении слога erk, гимн богине Речи (Vàk) на повторении слога ya, сатурнический стих (обращенный к богу Марсу) на повторении согласного т:

ego tui memini.
medere meis pedibus.
 terra pestem mteneto.
 salus hic maneto
 in meis pedibus (Там же).

Итак, анализ разнообразных верлибров чешских и русских авторов позволяет увидеть, что в верлибре эвфония носит структурирующую функцию: по закону замкнутых систем вторичные и первичные признаки меняются местами — аллитерация и ассонанс делаются признаками первичными, метр и рифма становятся вторичными признаками стиха. Это сближает верлибр с архаическим индоевропейским стихом, который согласно реконструкции Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова строился на фонетических повторах.

Одним из возможных объяснений движения литературы к архаическому способу выражения может служить глобальный процесс дехристианизации европейского пространства, что неизбежно

неизбежно ведет за собой поиски некоей новой организующей вселенную силы, что, по сути является неоязычеством, которое, в свою очередь, вероятно, влечет за собой соответствующее ему неомифологическое сознание, проявляющееся в усилении мифологического начала в художественных текстах, архаизацию стиха и поэтического языка⁴.

~ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ~

- Алехин 2006 — Алехин А. Свободный разговор о свободном стихе *∫* Интерпоэзия. 2006: Журнальный зал. № 4. URL: <http://magazines.russ.ru/interpoezia/2006/4/aa7.html#top> (дата обращения 02.03.2015).
- Блок 1970 — Блок А. Избранные произведения. М., 1970.
- Бурич 1972 — Бурич В. От чего свободен свободный стих *∫* Вопросы литературы. 1972. № 2. URL: <http://www.litkarta.ru/russia/moscow/persons/burich-v/vers-libre/> (дата обращения 11.02.2015).
- Вильдак, Дюамель 1920 — Вильдак Ш., Дюамель Ж. Теория свободного стиха: Заметки о поэтической технике *∫* пер. и примеч. В. Шершеневича. М., 1920.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 2. Тбилиси, 1984.
- Ерофеев 2002 — Ерофеев В. Москва — Петушки. М., 2002.
- Жовтис 1966 — Жовтис А. Л. Границы свободного стиха *∫* Вопросы литературы. 1966. № 5. С. 17–18.
- Жовтис 1970 — Жовтис А. Л. О критериях типологической характеристики свободного стиха: Обзор проблемы *∫* Вопросы языкознания. 1970. № 12. С. 63–78.

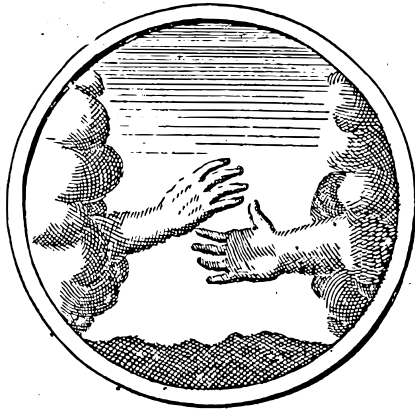
⁴ Так, мифологическое восприятие мира читается в жанре *fantasy*, в снах, включаемых в композиционную канву произведений (Торол 1994), в речевых образах сада/Эдема (Толстая 2002; Ерофеев 2002). Проявляется оно и на языковом уровне от фонетического, повторяя языковые процессы ХПв. (Зубова 2000), до грамматического (императив *цугз* у М. Флориана; Florian 1975) и синтаксического (появление «дательного самостоятельного»; Зубова 2000: 378).

- Зубова 2000 — Зубова Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000.
- Кожиннов 2001 — Кожиннов В. Как пишут стихи. М., 2001.
- Овчаренко 1984 — Овчаренко О. Русский свободный стих. М., 1984.
- Поливанов 1963 — Поливанов Е. Д. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники // Вопросы языкознания. 1963. № 3. С. 99–112.
- Семенов — Семенов Г. Стихотворения. [Электронный документ] // Литературно-художественный проект «Folio Verso». URL: <http://folioverso.ru/imena/6/000.htm> (дата обращения 02.03.2015).
- Тимофеев 1958 — Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958.
- Толстая 2002 — Толстая Т. «На золотом крыльце сидели...» // Толстая Т. Ночь. Рассказы. М., 2002. С. 31–42.
- Федотов 2001 — Федотов О. И. Между стихом и прозой // Федотов О. И. Теория и история русского стиха: в 2 т. Т. 1: Метрика и ритмика. М., 2001. С. 303–312.
- Florian 1975 — Florian M. Verše. Praha, 1975.
- Hrabák 1964 — Hrabák J. Úvod do teorie veršů. Praha, 1964.
- Hrabák 1966 — Hrabák J. Czech pure syllabic and syllabotonic verse contents // Poetics, Poetyka, Поэтика. Вып. 2. Варшава, 1966. С. 205–210.
- Topol 1994 — Topol J. Sestra. Praha, 1994.



ЧАСТЬ VI

DE CHRONICA ET
EPISTOLARIO



ПОГОДИНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ — ПАМЯТНИК НОВГОРОДСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ XVIII ВЕКА

Длительное время считалось, что традиция составления летописей завершилась в России в XVI в. С одной стороны, это было связано с тем обстоятельством, что многие исследователи видели летописи в первую очередь как источник сведений по древнейшей истории и культуре России, и в данном случае произведения, созданные спустя столетия после этих событий, не воспринимались ими в качестве надежного источника. С другой стороны, длительное время оставались неизученными архивные и рукописные собрания, сохранившие большое количество летописных памятников позднего времени. Пожалуй, единственным историком первой половины XIX в., обратившим на них внимание, был Н. М. Карамзин, который достаточно много работал с рукописями и называл XVII в. «цветущим временем русских летописей» (Карамзин 1848: 421–422). Показательно несколько противоречивое мнение другого выдающегося историка второй половины столетия, В. О. Ключевского, который в своем курсе по источниковедению говорил, что «летописи становятся второстепенным источником уже к концу XVI в., а в XVII в. и вовсе замирают», но в набросках к этому же курсу высказывал совсем иную точку зрения:

Почти до конца XVII в. господствующее, даже подавляющее значение между ними <источниками по русской истории. — В. Я.> имеют два вида памятников: это летописи и акты (Ключевский 1959: 19–20, 477).

С XVIII в. дело обстоит еще сложнее. Именно в это время начинается серьезное изучение отечественной истории, появляются первые работы, проводится анализ летописных текстов, закладываются основы критического их изучения и пр. Признать, что исследователи этого периода являются

и современниками составления летописей, было сложно. На подобное творчество просто не обращали внимания.

Тем не менее составление летописей велось, и на сегодняшний день факт их существования в XVIII в. не подлежит сомнению. Одним из таких памятников, создававшихся в Новгороде, единственном городе, в котором традиция непрерывного ведения летописей насчитывает более семи веков, является Новгородская Погодинская летопись (далее — НПоГЛ). Она была впервые определена С. Н. Азбелевым (Азбелев 1960: 77–84). Он выявил достаточно большое количество списков, которые разделил на первоначальную редакцию (полный и сокращенный виды), сокращенную редакцию (основной и распространенный виды), краткую редакцию. Летопись была использована им и при изучении отдельных вопросов, связанных с Куликовской битвой (Азбелев 1971).

Дальнейшее изучение НПоГЛ было осуществлено автором данной статьи (Яковлев 1993в; 1997).

Недавно к проблеме датировки НПоГЛ обратилась Е. С. Быстрова (Быстрова 2014). Ею были приведены дополнительные аргументы, подтверждающие выводы автора настоящей работы о времени создания летописи, описан еще один список летописи начала XIX в., а также высказан ряд наблюдений над текстом.

Основа летописи — сильно сокращенная основная редакция Новгородской Забелинской летописи (далее — НЗабЛ) (Яковлев 1993б), дополненная выборками из Новгородской Третьей летописи (далее — НПЛ) (Яковлев 1993а) и ряда других источников, которые доводят изложение событий до первой четверти XVIII в., а в некоторых списках до конца XVIII в. и даже охватывают начало XIX в.

Списки НПоГЛ, введенные в научный оборот С. Н. Азбелевым, можно дополнить:

- ~ РГАДА. Ф. 128. Оп. 1. № 6. Сокращенная редакция НПоГЛ. 1780 г. 158 л., 1°. Рукопись содержит также рассказ о чудесах Варлаама Хутынского. Текст доведен до 1712 г.;

- ~ РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. № 7. Сокращенная редакция НПоГЛ. Конец XVIII в. 37¼ л. 4°. Текст доведен до 1571 г.;
- ~ РНБ. Ф. IV. 473. Сокращенная редакция НПоГЛ. 1780-е гг. 215 л. 1°. Текст доведен до 1718 г.;
- ~ РНБ. Собр. Погодина. № 1475. Сокращенная редакция НПоГЛ. Конец XVIII в. 215 л. 1°. Текст доведен до 165¼ г.

Составление НПоГЛ С. Н. Азбелев относит к 1680–1690-м гг. на том основании, что в одной рукописи, содержащей НПЛ (РНБ. Собр. Погодина. № 1416), имеются отрывки, по его мнению, из краткой редакции НПоГЛ. Поскольку НПЛ здесь доведена до 1699 г., то делается вывод о существовании НПоГЛ в последние десятилетия XVII в.

Однако все списки первоначальной редакции НПоГЛ, которая является первичной по отношению к краткой, на что указывал и сам С. Н. Азбелев, восходят к списку РНБ. Собр. Погодина, № 141, датированному первой четвертью XVIII в. В нем хронология доведена до 1716 г. Этот список представляет рабочий вариант, поскольку еще при его создании оставались пустые места для внесения обширных дополнений, текст подвергался исправлениям и уточнениям. Все это нашло свое отражение в других списках. Тогда получается, что первоначальная редакция НПоГЛ появилась позднее, чем зависящая от нее краткая. Можно предположить, что первоначальная редакция существовала до появления Погодинского списка, но только не сохранилось ни одного списка от этого времени. Но тогда среди десятков дошедших до нас списков был хотя бы один, восходящий к спискам 1680–1690-х гг. Однако ничего подобного не наблюдается — практически все списки восходят к Погодинскому списку. Если бы летопись была создана еще в XVII в., тогда не имело бы смысла создавать рабочий вариант этой же летописи в конце 1710-х гг., достаточно было бы воспользоваться уже готовым вариантом.

Но

Но как же тогда быть с выписками из НПоГЛ по списку РНБ. Собр. Погодина, № 1416? Если обратить внимание на объем этих выписок (8 л.) и сравнить их с полным текстом НПоГЛ (400 л. мелкой скорописью), то можно сделать вывод, что сам факт наличия в окружении одного из списков НПЛ начала XVIII в. незначительной части известий, читающихся также в НПоГЛ, еще не говорит об использовании самой НПоГЛ. Если бы составитель выписок имел перед собой текст летописи, то из нескольких сотен листов выбрал бы не восемь, а гораздо больше.

При отсутствии других аргументов нельзя относить создание НПоГЛ к 1680–1690-м гг. Вероятное время создания летописи — первая четверть XVIII в., точнее, конец 1710-х — начало 1720-х гг. На это указывает и тот факт, что все известные списки летописи, а их более тридцати, относятся к XVIII — началу XIX в. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что при описании событий петровского царствования не упоминается о принятии Петром титула императора, а также об окончании Северной войны (основные сражения и битвы перечислены). При этом не исключено, что отдельные известия, включенные впоследствии в НПоГЛ, могли существовать и ранее, но не в виде самостоятельной летописи.

Итак, по времени создания НПоГЛ следует относить к памятникам XVIII в., хотя по составу, принципам работы и использованию материала она тесно связана с XVII в.

Возможна связь НПоГЛ и с еще одной летописью второй половины XVII в. — Новгородской Корнильевской (далее — НКорНЛ), которая является ключевым памятником новгородского летописания второй половины XVII в. После завершения основной работы с единственным списком летописи (БАН. 34.4.1) он был забран митрополитом Корнилием, покинувшим новгородскую кафедру, в Троицкий Зеленецкий монастырь, в котором тот провел последние годы своей жизни. Сразу после смерти Корнилия в монастырь приехал Феодосий Янов-

ский, который забрал ряд книг и рукописей (среди них была и НКорнЛ), церковную утварь и др. и отвез их в Новгород.

Примечательно, что вскоре после этого, а также вывоза стараниями все того же Феодосия Яновского большого количества книг из церквей и монастырей в начале XVIII в. создается НПоГЛ. С его именем также связано оживление деятельности новгородской школы и образования, зачинателем чего был митрополит Иов еще в конце XVII в., а также открытие десятков более мелких школ по всей новгородской епархии (Лупшов 1973: 276). По мнению Е. С. Быстровой, к появлению НПоГЛ могло иметь отношение окружение митрополита Иова. Однако Иов скончался в 1716 г., его отношения с Феодосием Яновским в последние годы жизни были достаточно напряженными, а сама летопись создавалась позднее. При отсутствии каких-либо доказательств говорить об этом несколько преждевременно. Так же, как о назначении Феодосия новгородским митрополитом в 1721 г. (Быстрова 2014: 238) — при Петре I митрополия в Новгороде перестала существовать, и Феодосий был поставлен новгородским архиепископом. Единственное, что можно утверждать с достаточной степенью достоверности, так это то, что значительная часть работы над НПоГЛ велась в период междуархирейства (1716–1721).

Как источник по древнерусской истории НПоГЛ, в отличие от своих предшественниц, не представляет особой ценности. Многие известия этой летописи являются сокращенным изложением Новгородской Уваровской летописи (Яковлев 1993г) и НЗабЛ. Примером может служить известие о церкви апостолов Петра и Павла в Славне. В данном случае заметно использование также и НКорнЛ, в которой рядом со статьей 6875 г., посвященной строительству этой церкви, содержится приписка, рассказывающая о дальнейшей судьбе храма. В НПоГЛ она была разделена на две части, сокращена и вошла в две различные заметки под другими годами.

НКОРНЛ

... Та церковь каменная стояла. 7180-го та церковь каменная пади ноцию и Бог ублюде молитвами святых апостол, людей не убилло. И на друтое лето 7181 вновь до подошвы разобрали и построили совсем, а строил тое же церкви дьяк Игнатей Савелев сын Попов своим посилием и мирским собранием, да и великого государя казною с приказу (БАН. 34.4.1. Л. 301 об.)

НПОГЛ

7180... Того же лета падеся в Великом Новеграде церковь каменна святых апостол Петра и Павла в Главне, стояла 305 лет (РНБ. Собр. Погодина, № 1411. Л. 287 об.)

7181... Того же лета в Великом Новеграде постави вновь на старом основании церковь каменну святых апостол Петра и Павла в Главне, тоя ж церкви дьячек Игнатей Савелиев Попов (РНБ. Собр. Погодина, № 1411. Л. 288 об.)

Более любопытно может быть отражение на листах летописи событий конца XVII — начала XVIII в., очевидцем которых был составитель. Много известий этого времени посвящены церковным делам — возведению и смерти различных иерархов (митрополитов и архиепископов), причем не только новгородских. Например, под 1701 и 1704 г. содержится рассказ о ладокийском митрополите Парфении, который написал жалостливое письмо Петру I, благодаря чему и получил назначение сначала в Азов, а потом в Холмогоры (Зиборов, Яковлев 1998).

(7209) Того же лета. Учинена бысть во Озове митрополия и переведен во Озов Парфений грек, бывый митрополит ладокийский между патриаршеством, а на престоле в Озове не был, потом переведен на Холмогоры вместо архиепископа (РНБ. Собр. Погодина, № 1411. Л. 305).

В лето 7212. Парфений грек митрополит ладокийский, потом озовский, переведен бысть на Москве между патриаршеством вместо архиепископа на Холмогоры до его кончины. И, недоехав престола холмогорскаго, преставися на

пѹти во граде Ярославле, и погребен бысть в Спаском монастыре (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 306 об.).

Не обходятся вниманием и знамения, например:

(7222) Того же лета. Феврѹария в 24 день в среду 3-я недели великаго поста во граде Каргополе бысть знамение от иконы Пресвятыя Богородицы Казанския, в дому некия вдовы Марфы Васильевой по прозванию Пономаревой, в 4 часу дне истече от тоя святыя иконы из праваго ока слеза. Вдова же видевши сие преславное чѹдо, возвести церкви Воздвижения Честнаго Креста священнику Иоанну Михайлову. Он же шед в дом ея и виде текущую струю слезную из ока Пресвятыя Богородицы, отре губою и принесе тѹю святѹю икону из дому ея в церковь Воздвижения Честнаго Креста с молевым пением и постави в приделе положения ризы || л. 314 об. Господни и начать пети часы. И на 6-м часу глаголему по псалтыре псалму: Господь просвещение мое, кого ѹбоюся и прочая, паки от тоя святыя святыя <так! — В. Я.> иконы из праваго ока потече струя слезная пред всем народом. И паки того же месяца в 26 день по ѹтреннем пении в 1-м часу дне явися от тоя святыя иконы из обох пречистых ея очей источник слез. И сие чѹдо мнози от граждан видеша. И потом возвестиша в Великом Новеграде преосвященному Иову митрополиту новгородскому. Быша же тогда многия исцеления.

В лето 7223. По ѹказу великаго господина преосвященнаго Иова митрополита Великаго Новаграда и Великих Лук принесен бысть из Каргополя той чѹдотворный образ Пресвятыя Богородицы в Великий Новеград || септемвриа в 8 л. 315 день, и стояла в соборной церкви Премѹдрости Слова Божия того же лета ноямвриа до 7 числа и в том числе свезен бысть в Каргополь (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 314-315).

Внимание уделяется пожарам и стихийным бедствиям. Вероятно, что здесь привлекался какой-то источник, посвященный этим событиям. Подтверждением тому может служить

и подробная статистика, содержащаяся в ряде статей. Подобные происшествия нашли свое отражение во всех новгородских летописях второй половины XVII в., что позволяет высказать предположение о существовании отдельного летописца пожаров.

(7204) Того же лета. Маиа в 22 день в пяток по пасце бысть пожар велик zelo в Великом Новеграде, погоре торговая сторона вся, церкви и дворы, ряды и гостинои двор, токмо едина церковь остана Борис и Глеб на Заполской. И загореса во дворе посатскаго человека Никиты Кошкина на брегѹ Заполской ѹлицы ѹ Бориса и Глеба. Тогда бысть ветр велик zelo от севера и буря страшна, и размета огонь повсюдѹ вскорѹ. И тако вся сторона погоре, а загореса после оведа и прежде вечерни преста. И горело || немного болше трех часов. И такова бысть ярость огненная, яко и по воде и по земле огонь хождаше и горяше, и по многим церквам святыя иконы и священныя одежды, и колокола и всякое богатство и украшение церковное сгоре. Такожде и ѹ градских жителей всякия пожитки и богатство погоре все без остаткѹ. А людей погорело 773 человека. Таков тогда бысть силен, яко на реце Волхове быша волны таковы, яко великия горы, почто нельзя было на другѹю сторону в великих сѹдах переехати (РНБ. Собр. Погодшна, № 141. Л. 300-300 об.).

(7208) Того же лета. В Великом Новеграде быша пожары на светлой неделе, априлиа против 5-го числа в ноци к пяткѹ светлыя недели загореса на Софийской стороне в Кожевниках и погореша дворы около церкви святаго великомученика Димитриа, и церковь огоре. Во ѹтрие же в пяток бысть паки пожар на Софийской стороне ѹ белой вашни, и погоре много дворов и города прясло, в ямшиках. Того же дне в вечерѹ бысть паки пожар на Софийской стороне, погоре Воздвиженская ѹлица вся до города, и города прясло с вашнею. В сѹбботѹ же априлиа в 6 день после оведни бысть паки пожар на Софийской стороне, погоре Чѹдинцова ѹлица

от церкви святаго Симеона столпника к городу и города
 прясло с башнею. Того же дни в полдень бысть || еще по- л. 303 об.
 жар на Софийской же стороне за городом, погоре Ильинской
 девичий монастырь весь и церковь деревяная Илии пророка
 и келии. Между же тех вышереченных пожаров по многим
 улицам загарашеся, такожде и на Фоминой недели, но по-
 мощию Божиею угажаху. Тогда бысть страх велий в людех
 (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 303-303 об.).

В лето 7217. Бысть пожар Великом Новеграде, в пяток 4
 недели по пасце. Маиа в 20 день, в 5-м часу дне загореся
 на торговой стороне на Иванской улице в гостевом дворе, и
 погореша ряды вси и гостинои двор по Михайловску улице,
 а в Славно по Дубошину, в Ильину до Знамения Богороди-
 цы, в Лубяницу по переулоч, а в Николской конец погоре
 врегом и по большой улице от Болхова до Феодоровскаго
 ручья, и горело весь день до вечера. И сгорело множество
 дворов, а церкви огорели: Иоанн Предтеча в Опоках, мученик
 Димитрий в торгу и мученик Георгий, Успения Пресвятыя
 Богородицы, Алексей человек Божий, святая Пятница, || Ни- л. 309 об.
 колай чудотворец на дворищи, Варлаам преподобный, Жены
 мирносицы, мученик Прокопий, Ярсениев монастырь деревя-
 ная церковь и келии вси, Иоанн Креститель, Климент на
 Иворовы, мученик Димитрий на Славкове, Одигитрия Бого-
 родица на Хутынском подворье. Преосвященный же Иов мит-
 рополит, видев таковой гнев Божий над градом, изыде из
 соборныя церкви со кресты и седе в лодинцу с сущим с ним
 освященным собором, преиде реку Болхов в Феодоровской
 ручей и изшед, поиде кругом пожара, молебная совершая,
 и святою водою кропа. О, дивное чудо: по коему месту
 преиде преосвященный Иов митрополит, болше и не горело.
 И тако прииде к Знамению Пресвятыя Богородицы и взяте
 чудотворную икону Пресвятыя Богородицы, поиде по Ильине
 улице, идеже горит, совершая молебны, и никакже огонь
 преставаше, но наипаче яряшася. Видев же митрополит яко
 огонь не преставет, но достизает уже до церкви Знамения

Пресвятыя

л. 310

Пресвятая Богородицы. Снем с себе олофор свой и мантию и начате сам со игүмены и священники и со всем причтом церковным и христолюбивыми т҃ѣ обрѣтшимися людьми избы ломати и бревна носити. И абие Божиим поспешением и молитвами Пресвятая Богородицы, преста огонь за два двора до церкви || Знаменія Пресвятая Богородицы, в последнем часу дни.

Того же лета. Великом Новеграде бысть вода велика в Волховѣ и потопа многи монастыри и веси, а во граде на торговой стороне на Загородской ѹлице бысть вода (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 309–310).

Не меньшей бедой был голод и мор. На протяжении всей многовековой истории новгородского летописания составители обращали на это внимание. Не обошел эти печальные события и автор НПоГЛ.

л. 312

(7218) Того же лета. С месяца августы бысть мор в Риге, и в Р҃годиве, во Псковѣ, в Сборске, в Порхове, во Бдове, в Торжкѣ и во всех ѹездах псковских и новгородских с҃щих под Пскове. И толикое множество помре людей во Пскове, яко погresti не ѹспевах҃҃, и на всяк день, ѹ всякой церкви погреб҃҃т человек 40, или 50, или 60, а иногда и болше. И многия церкви быша без пения, яко священницы помроша, такожде и по волостем. И обдержа тоє смертоносное поветрие во Пскове и во всех вышереченных местех до Рождества Христова 7219 года. ||

В лето 7219. Слышав такоеє моровое поветрие во Пскове, преосвященный Иов митрополит новгородский, ѹже близ Великаго Новаграда не за много верст, повеле в Новеграде всем людем от мала и до стара, и по монастырем и весем в сред҃ѣ и в пяток на всякой недели поститися и ничто вкушати — ни хлеба, ни воды, такожде и на торжищах не повеле ничего продавати от снѣдаемых — ни хлеба, ни рыбы. Сам же во вся дни в соборной церкви Прем҃дрости Слова Божия молебная совершаше, такожде и по всем церк-

вам Великаго Новаграда. И на всякой седмицы в среду, в пяток и в неделю хождаше со кресты со множеством народа по всем церквам и монастырем молебная совершая. И тако милостию всесилнаго Бога не высть в Новеграде морового поветрия, но в весех не за много верст, на Броннице и на Хотилловском яму по Московской дороге, и во граде Торжкѹ (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 3п об.-312).

Особое внимание составитель уделил Московскому восстанию 1622 г. Это событие нашло отражение в целом ряде сочинений того времени, в том числе летописных (Богданов 1924; Буганов 1967; 1974).

(7190) Того же лета. Ученицы Сатанины, богоотступницы и расколницы Никита протопоп суждальский и его со-
общники черныи Сергей нижегородец и Савватий рострига,
воярской холоп и другий Савватий костромитин, и Доро-
фей, и Гавриил поселяне, и иныи им подобныи, видоша яко
волцы в стадо христово, возмущаша православных христиан,
дерзнуша блядословити на святую соборную и апостольскую
церковь хульные глаголы; и всех православных христиан, ере-
тиками и богоотступниками нарицах, и не церкви святыи не
церквами, но простыми храминами и конскими стоялици, и
тайны церковныи не тайнами нарицах, но и ругахуся им. И к
церкви ходити и иконами святым и четверкоконечному кресту
христову кланяти возбранях. И всякое церковное освящение,
не освящение, но сквернение глаголаху, и уже блядословях
яко ни в Грецыи, ни у нас в России, православныи веры и
церкве чистые цесть, но вси церкви осквернены. Иконы же
и кресты толко те чисты, которыи у них нарицаху быти.
И четверкоконечный крест Господень печатию антихристовою
назваша. Инии же от них ходящее в веси и грады простый
народ возмущах и глаголаху, яко уже ныне правыи несть,
и вера ныне антихристова, понеже есть в мире антихрист,
иныи же глаголаху и царствует, а иные глаголаху || яко л. 294 об.
вскоре имать православных христиан мучити и есть ли кто

НЫНЕ

ныне сам себе сожжет, той антихристова мучения үйдет и со Христом царствовать вечно будет. И простой народ послушав их душегубительников, чающее, что правду говорят, мнози сами себе самовольной смерти предаваху, и с малыми детьми сожигавшася, души своя самовольно диаволу предаша, яко не едины тысяща, но мнози тысящи тако погубоша. И иная многая злохуления, еще же и писмена нелепая писавашу и в народе прочитаху. И таковою своею прелестию христианский народ возмущили и с ними яко благоверными во граде Кремле на Москве той Никита ити устремился к царским палатам, хульная словеса свободными гласы без всякаго страха глаголаху, и кличи и вопли зельные испущавашу. И просяху с архиереями за градом Кремлем на лобном месте говорить. И повелеша великия государи тем расколником с православными архиереями у себе в Грановитой палате пред ними и пред всем сигклитом говорить, и июля в 5 день, и сему бывшу, ничтоже успеши окаяннии, но изгнаны быша и со стыдом поидоша, и идуще градом Кремлем восклицаху: «Поведихом, поведихом». И достигше лобнаго места, и на оно возшедше, кричаву в народ на прелесть: «Такое же || рците, как мы, а мы всех архиереев препрели и посрамили и веру правую сыскали». Благий же и человеколюбивый Бог ради своей благодати и душ простых и неповинных не стерпе той прелести в народе глаголемой бытии, повеле духу злому пред всем народом Никиту и иных чермцов повергшее на землю мучительно страшно томити. Мнози же сие видевше и познавше, яко сие бысть им от Господа наказание за их прелестное учение, возвратишася от них и ко святой церкви присташа. Во утрие же повелением государей того окаянная Никиту и его единомыслеников изымаша и в приказ отдаша, прочии же расколницы вси разбегошася (РНБ. Собр. Погодина, № 1411. Л. 294–295).

л. 295

Любопытно, что события царствования Петра I, современником которых был составитель летописи, изложены, как

правило, чрезвычайно кратко и не полно, в некоторых случаях остается не отмеченной конкретная дата тех или иных событий — для них оставляется место, которое, кстати, при дальнейшем переписывании так и остается незаполненным. Касается это и такого важнейшего события, как Северная война. Например:

(7209) Того же лета. Великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея великия и малыя и белыя России самодержец с турским царем помирился на 25 лет (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 305).

В лето 7211. Октября в <оставлено место для даты. — *В. Я.*> взят высть немецкий город Орешок (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 306).

(7211) Того же лета. Маиа в 1 день взят высть немецкий город Канцы, а взяв его, разориша (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 306).

(7213) Того же лета. Июлиа в 13 день взят высть немецкий город Юрьев Ливонский (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 307).

(7213) Того же лета. Августа в 17 московские воеводы взяша град немецкий Ругодив и немец посекоша (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 307 об.).

В лето 7218. Июниа в 8 день взят высть немецкий град Выборг (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 311 об.).

(7218) Того же лета. <оставлено место для даты. — *В. Я.*> взят высть славный немецкий город Рига генералом Борисом Петровичем Шереметевым (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 311 об.).

7219 Того же лета. <оставлено место для даты. — *В. Я.*> взят высть немецкий город Корела (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 312 об.).

7219 Того же лета. <оставлено место для даты. — *В. Я.*> взят высть немецкий город Колывань, иже и Ревель (РНБ. Собр. Погодина, № 14п. Л. 312 об.).

Исключением

Исключением являются рассказы о поражении под Нарвой в 1700 г. и победе под Полтавой в 1709 г.

(7208) Того же лета. В августе месяце великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея великия и малыя и белыя России самодержец пошел со мноюю силою воинскою в немецкую землю под город Рүгодив.

Того же лета. Ноември в 18 день король немецкий приде под Рүгодив с своею силою и нападе на русския и пови многия. Тогда нападе страх || на московское воинство, побежаша от града, пометавше оружие, и казны, и всякия припасы, один мостом через реку Нарову, а инии на бревнах или на ином плавах, и бывшү тогда мразү и пловүще мнози үтопахү и бысть повиенных и в воде үтопших безчисленное множество. А инии по дорогам идүще в Великий Новеград и во Псков, изомроша от глада и мразү. Немцы же всякой воинской доспехъ вземше, пүшки, знамения и пищали, свезоша в землю свою и обогатишася многим богатство, но не на ползү, но последи плачүще своя погүбиша (РНБ. Собр Погодина, № 14п. Л. 304-304 об.).

(7217) Того же лета. Ятман черкасской Иоанн Стефанов великомү государю царю и великомү князю Петру Алексеевичү всея великия и малыя и белыя России самодержцү изменил и придался со всею силою своею немецкомү королю и привел его со всею силою свейскою в малүю Россию, хотя с ним ити на царствүющий град Москвү и пленити его, и святыя церкви сокрүшити, и верү христианскую искоренити, и все православное христианство мечем погүбити, и многое кровопролитие родү христианскомү сотворити. Слышав же сие великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, возболеся дүшею о толиком проклятаго изменника Мазепы предательстве к свейскомү королю, и о дерзновении свейсаго короля на российскую землю через пособство и помощь онаго Мазепы, призва Бога помощника себе, и поиде со всею силою своею противү неприятеля своего || свейсаго короля и

изменника своего ятмана Иоанна Мазепы. И срете их в малой России у града Полтавы на поле Полтавском. И бысть с ними вой велик того же лета месяца иуниа в 27 день на память преподобнаго отца нашего Симеона странноприимца. И помощию Божию и молитвами Пресвятыя Богородицы онюю всю неприятельскую силу, пришедшую обладати российской землею, порази мечем на голову. И сам король приять рану в ногу свою, с малыми людьми видя воинство свое все побито, побеже вспять, не в свою землю, но к турецким странам, ко граду Ячакову турецкому, лежащему обонепол море. Российстии же вой гнашася по нем и непостигоша, понеж в малех частех пред ними утече за море дав велик наем, и прииде в Ячаков. И от туду свезен бысть в Царьград к салтану турецкому. И тамо возмущил салтана турецкаго ити на Россию еже и бысть. Прочии же вси вой свейския побииени быша на поле Полтавском, а инии живы руками яша и к Москве свезоша. И тако от бывших с королем свейским под Полтавою вой свейских ни един возвратися в землю свою, но вси уснуша вечным сном на поле Полтавском. И толикия ради преславныя победы над свейским королем Карлусом и над его воинством под || Полтавою бывшия летнее торжество устави месяца иуниа в 27 день, праздновати вечно в роды и роды Трипостасному Богу. Ятмана же Иоанна Мазепу великий государь повеле смертию казнити и град его столный разори до основания, и вся люди посече.

Бысть побито на том вою немецкия силы <оставлено незаполненным треть листа — В. Я.> (РНБ. Собр Погодина, № 1411. Л. 310–311).

Не прошел составитель мимо и столь любимых всеми летописцами природных феноменов — от краткой констатации факта до подробного и даже несколько литературного описания природы.

В лето 7214. Маиа в 1 день осмаго часа в третьей четверти в среду 6 недели по пасце бысть велми мрачно, как пред

ВЕЛИКИМ

ВЕЛИКИМ ДОЖДЕМ БЫВАЕТ, ЕГДА ТЕМНЫЯ ТҮЧИ ВЗЫДУТ. ПОТОМ С ПОЛУДЕННЫЯ СТРАНЫ И С ЗАПАДНЫЯ ПРИИДЕ ТҮЧА ЧЕРНА ВЕЛМИ, АКИ ДЫМ ПЕЦНЫИ, ВО МГНОВЕНИИ ОКА ВСЬ СВЕТ ПОМРАЧИЛО, И БЫСТЬ ТМА ЯКО И БЛИЗНОСТИ ДРУГ ДРУГА НЕВОЗМОЖНО ВИДЕТИ. И БЫСТЬ ТОГДА СТРАХ ВЕЛИК. И ТАКО СТОЯ С ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА И ПОТОМ С ПОЛУДЕННЫЯ СТРАНЫ СТРАНЫ <ТАК! — В. Я.> СВЕТ, И ВО МАНОВЕНИИ ОКА ТҮЮ ТЕМНОСТЬ ОТГНА И БЫСТЬ ПАКИ СВЕТ (РНБ. Собр Погодина, № 14н. Л. 307 об.).

Вероятно, такое описание мог записать только очевидец. НПогл любопытна прежде всего как свидетельство неуга-саемого интереса к уже вроде бы ушедшим формам исторического повествования в течение всего XVIII в. Ее следует рассматривать, с одной стороны, как памятник XVIII в., с другой, как завершающий этап древнерусской летописной традиции. Эта летопись является своеобразным связующим звеном между многовековой традицией летописания и историографией нового времени. Не случайно на этот век приходится и начало изучения новгородского летописания, и составление последней новгородской летописи.

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

- Азбелев 1960 — Азбелев С. Н. Новгородские летописи. Новгород, 1960.
- Азбелев 1971 — Азбелев С. Н. Младшие летописи Новгорода о Куликовской битве // Проблемы истории феодальной России. Л., 1971. С. 110–117.
- Богданов 1984 — Богданов А. А. Начало московского восстания 1682 г. в современных летописных сочинениях // Летописи и хроники. 1984 г. М., 1984. С. 131–146.
- Буганов 1967 — Буганов В. И. Летописные известия о Московском восстании 1682 года // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967. С. 310–319.

- Буганов 1974 — Буганов В. И. Летописные заметки о московских восстаниях второй половины 17 в. *Летописи и хроники. Сборник статей.* 1973 г. М., 1974. С. 338-346.
- Быстрова 2014 — Быстрова Е. С. К проблеме датировки Новгородской Погодинской летописи *ТОДРА. Т.62.* СПб., 2014. С. 236-247.
- Зиборов, Яковлев 1998 — Зиборов В. К., Яковлев В. В. Парфений Небоза *Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 3.* СПб., 1998. С. 15-17.
- Карамзин 1848 — Карамзин Н. М. Сочинения: в 3 т. Т. 1. СПб., 1848.
- Ключевский 1959 — Ключевский В. О. Сочинения: в 8 т. Т. 6. М., 1959.
- Луппов 1973 — Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII века. Л., 1973.
- Яковлев 1993а — Яковлев В. В. Летопись Новгородская III *Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 2.* СПб., 1993. С. 287-289.
- Яковлев 1993б — Яковлев В. В. Летопись Новгородская Забелинская *Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 2.* СПб., 1993. С. 289-290.
- Яковлев 1993в — Яковлев В. В. Летопись Новгородская Погодинская *Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 2.* СПб., 1993. С. 291-292.
- Яковлев 1993г — Яковлев В. В. Летопись Новгородская Уваровская *Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 2.* СПб., 1993. С. 292-295.
- Яковлев 1997 — Яковлев В. В. Новгородское летописание XVII века *Автореф. дисс. ... канд. истор. наук.* СПб., 1997.



РОССИЯ В ПЕРЕПИСКЕ ВАЛЕНТИНА ЖАМРЕ ДЮВАЛЯ И АНАСТАСИИ СОКОЛОВОЙ (1761–1774)¹

Переписка, о которой пойдет речь в настоящей статье, до сих пор не была предметом научного описания. О ней вспомнила несколько лет назад Е. Гречаная в небольшой главе своей книги о распространении французского языка и культуры в России XVIII–XIX вв. (Гречаная 2010: 120–124). О переписке упоминает в своих работах о жизни и творчестве Валентина Жамре Дюваля французский исследователь Андре Курбе, издавший первый том эпистолярного наследия философа (Courbet 1999; 2007; Courbet 2011). В то же самое время внушительная по объему корреспонденция представляет собой непревзойденный по своей информативности источник о восприятии русской культуры в Европе XVIII столетия. К сожалению, он слишком долго оставался в полном забвении.

Переписка Валентина Жамре Дюваля и Анастасии Соколовой была впервые опубликована вместе с другими мемуарными и философскими текстами Дюваля в двухтомнике его работ в 1784 г. Письма обоих корреспондентов, а также мемуары Дюваля публиковались несколько раз на французском и на немецком языках в конце XVIII — начале XIX в., последнее немецкое издание относится к 1837 г.

Одна из интереснейших исследовательских проблем относительно переписки Дюваля и Соколовой — отражение в ней интенсивности форм культурного общения между Российской империей и Западной Европой. Оба корреспондента были лицами, принадлежащими к русскому и австрийскому

¹ Работа выполнена в рамках межуниверситетского исследовательского проекта по критическому переизданию переписки В. Жамре Дюваля и А. Соколовой с участием А. Вачевой (Софийский университет) и проф. Х.-Ю. Люзебринка (Университет Заарлянда, Германия).

дворам, которые имели возможность ежедневно общаться как с монархами и их семьями, так и с их окружением. В то же время они не занимали какие бы то ни было должности в аппаратах власти. Таким образом, переписка представляет картину более низкого, «бытового» уровня. На этом уровне нет предрассудков и высказанные мнения участников не отражают каких бы то ни было их политических или меркантильных интересов.

* * *

По причине малоизвестности комментируемого текста позволим себе некоторые сведения о нем. Кто же были оба участника? Валентин Жамре Дюваль (1695–1775) — философ-самоучка. Он происходил из крестьянской семьи, очень рано остался сиротой и в 15 лет ушел из дома своей матери, растившей своих детей в крайней бедности. После известных перипетий Валентин нанялся пастухом в Лотарингии. Так как он умел читать, он часто брал с собой в поле книги или географические карты, которые были еще одной его страстью. Именно благодаря им жизнь Дюваля изменилась коренным образом. Однажды лотарингский герцог Леопольд застал юношу за рассматриванием карты: Дюваль пытался понять, как ему добраться до Канады, где в те времена можно было получить бесплатное образование. На герцога произвели глубокое впечатление как занятие юного шестнадцатилетнего пастуха, так и его жажда учиться. Вельможа принял на службу молодого человека и дал ему желанное образование. Дюваль служил как при нем, так и при его сыне, Франце. После брака последнего с Марией-Терезией и обмена Лотарингии на Тоскану между Францией и Австрийской империей, Дюваль последовал за своими благодетелями в Италию и Австрию. При австрийском дворе он служил библиотекарем и нумизматом, ответственным за коллекцию медалей и монет австрийского императора. Дюваль умер в Вене в начале 1775 г., так и не обзаведясь собственной семьей. Он вел очень скромную жизнь, несмотря на хорошее жалование, тратя все свои средства на благотворительность.

Гораздо

Гораздо известнее биография Анастасии Соколовой, в замужестве Дерибас (1741–1822). Корреспондентка Дюваля была побочной дочерью выдающегося екатерининского вельможи Ивана Ивановича Бецкого, обеспечившего своей «воспитаннице» замечательную среду и прекрасное воспитание. Анастасия воспитывалась в Париже под руководством побочной сестры Бецкого, Анастасии Гессен-Гомбург, но прежде всего ее дочери, Екатерины (Смарагды) Дмитриевны Кантемир, в замужестве княгини Голицыной, супруги русского посла в Париже и Вене (к началу переписки, с 1761 г.) князя Дмитрия Михайловича Голицына. Широкие контакты Бецкого с артистической и интеллектуальной элитой Европы обеспечили юной, красивой, веселой Анастасии, часто сопровождавшей своего благодетеля, возможность соприкоснуться с блистательными и очень высокими и в социальном, и в культурном отношении кругами². Хотя нельзя сказать, что она отличалась высокими интеллектуальными интересами, можно с уверенностью утверждать, что Соколова прекрасно иллюстрировала собой степень образованности русской дворянки того времени. Анастасия была придворной Екатерины II (дослужилась до высокого звания камер-фрейлины, III класса по Табели о рангах), принадлежала близкому кругу императрицы. О степени доверия, которым она пользовалась у государыни, говорит тот факт, что после ее выхода замуж за знаменитого

² Анастасию хорошо знала г-жа Жоффрен. Обе дамы состояли в переписке, о чем становится ясно из опубликованных писем Екатерины II г-же Жоффрен, в которых корреспондентка Дюваля упоминается дважды (СИРИО 1867: 259, 261). В одном из своих писем от 6 ноября 1764 г. к влиятельной владелице парижского салона Екатерина II писала: «Я не полагала, чтобы за девять сот миль отсюда интересовались мною, но так как это вам угодно и вы желаете узнать от Настасьи, как я провожу свой день, я вам расскажу это лучше ее, ибо она не всегда со мною» (Там же: 261). Анастасия очень нравилась Дидро, который несколько раз упоминает ее в своих письмах. Философ даже признавался, что любил целовать ее в шею за ушко. См. письмо д-ру Клерку от 2.04.1774 (Diderot 1966: 215).

Иосифа Дерибаса, следила за поведением обучающегося в подопечном ее мужу Кадетском корпусе побочного сына Екатерины II Алексея Бобринского³. Эти детали интересны тем, что показывают положение при дворе, близость к государыне, степень осведомленности Соколовой, бывшей свидетельницей многих событий и по долгу своих придворных обязанностей (встречать и развлекать посетителей высочайшей ее повелительницы), общавшейся не только с русскими вельможами, но и с представителями политической и культурной элиты Европы, бывавших при петербургском дворе.

У Дюваля и Анастасии Соколовой было несколько недолгих встреч в Вене в конце 1761 — начале 1762 г. Она сопровождала Бецкого, возвращавшегося в Россию после пятнадцатилетнего отсутствия, чтобы занять при Петре III должность главного директора канцелярии строений и домов его величества. Первые письма были написаны еще в австрийской столице. С течением времени в переписке были свои пики интенсивности и длительные паузы на протяжении долгих недель и даже месяцев. Наиболее часто корреспонденты обменивались письмами во время русско-турецкой войны. Время от времени прежде всего Дюваль жалуется на отсутствие посланий. Последнее письмо принадлежит Анастасии и относится к августу 1774 г. Так или иначе, корпус корреспонденции внушительен и насчитывает 125 писем на французском языке, занимающих более чем половину двухтомного французского издания творений Дюваля 1784 г. Большинство текстов, принадлежащих Дювалю, значительны по объему; в них он развивает определенные философские идеи. Некоторые из писем Анастасии также довольно пространны, особенно в тех случаях, когда она объясняет собеседнику реалии русского быта, исторические факты, новости культурной жизни. Много

³ Молодой человек оставил не очень ласковые воспоминания о «Рибасше» (Бобринский 1877). Любопытно, что сама императрица присутствовала при появлении на свет обеих дочерей Анастасии Ивановны и была их восприимницей.

писем явно было потеряно еще в то время и этот факт отмечается добросовестным издателем.

История публикации писем не менее примечательна, чем их содержание, и вызывает множество вопросов, частью связанных с политикой русского престола и стараниями Екатерины II поддерживать положительный имидж своей страны. Переписку опубликовал Фридрих (Фредерик)-Альберт Кох, дипломат, служивший австрийскому правительству, но перешедший на русскую службу и известный также своим русским именем, Федор Иванович⁴. Дипломат знал Дюваля в последние двадцать лет его жизни и был его другом. Корреспонденция Дюваля и Соколовой была издана при поддержке российской императрицы и публикация была посвящена ей. Как место издания указан Санкт-Петербург, но отмечено, что книга распространяется авторитетным издательским домом Трейфеля в Страсбурге, который активно издавал русских авторов и книги о России, предназначавшиеся для западноевропейского рынка. Указание на Петербург как на место издания — явная мистификация⁵. Оформление также отличается от характерного для русских книг того времени. Все это вызывает дополнительные вопросы о степени аутентичности и достоверности опубликованных писем. Неизвестно, сохранились ли вообще где-нибудь оригиналы. Можно допустить, что текст, печатавшийся при жизни одного из участников и при участии императрицы, по всей вероятности публиковался по копиям, что не исключает вмешательство в оригинальные послания и пр.

* * *

⁴ Кох упоминается несколько раз как доверенное лицо в переписке Гримма и Екатерины II (СИРИО 1272: 77, 27, 225, 303; СИРИО 1225: 721, 723). Фридрих-Альберт Кох был братом известного профессора и ректора Страсбургского университета, автора трудов по истории и теории дипломатии, ментора многочисленных русских студентов и будущих дипломатов высшего ранга, Кристофа-Вильгельма (Кристофа-Гийома) Коха.

⁵ В «Сводном каталоге книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке» (Т. I. 1701–1800. Л., 1924) нет данных о подобной публикации. На самом деле, книга была напечатана в Базеле (Duval 1724: I, 320).

Помимо неизбежных светских любезностей и шуток, которыми обмениваются оба корреспондента, в письмах идет речь главным образом о разных сторонах русской жизни. Нет сферы, которая бы осталась незатронутой. Любопытный Дюваль интересуется буквально всеми нравами и обычаями, состоянием семьи, отношениями между господами и крепостными, кухней, модами, одеждой различных сословий, особенностями русских городов, природой и т.д. и т.п. Иногда он настолько засыпает собеседницу своими вопросами, что она вынуждена воскликнуть в одном из писем: «Ваши последние два письма заставили меня потерять дар речи. Разве можно быть столь любопытным?» (Duval 1784: II, 136). Анастасия регулярно посылала своему другу монеты разных периодов истории русского государства, медали, вычеканенные по поводу разнообразных событий. Географические карты и гравюры известных исторических лиц или иллюстрации к праздникам, фейерверкам, коронационным торжествам и подобным публичным зрелищам фрейлина посылает Дювалю при каждом удобном случае. Отправление очередной посылки — повод рассказать о древних властителях, разнообразных исторических фактах и обстоятельствах. Особый интерес философ проявляет к начинаниям в области социального строительства: к только что основанному Воспитательному дому и Смольному институту благородных девиц. Его волнует строительство нового корпуса Павловской больницы в Москве, восстановление Твери после уничтожившего город дотла пожара, овладение чумной эпидемией в Москве и пр. Новости в области культуры также сильно привлекают его. В первую очередь, это концепция памятника Петру Великому Фальконе (знаменитого «Медного всадника»), технические работы по его установке, перевозка постамента — огромного Гром-камня, что по тем временам считалось настоящим техническим чудом, рекламирующим перед всем тогдашним миром технологические достижения страны. Уровень развития русской литературы, театра, музыки, живописи, основание

Академии художеств — частые сюжеты писем⁶. Поскольку большинство предприятий реализовались под наблюдением Бецкого, который также руководил некоторыми из институций, философ получал сведения и документы из первых рук.

Француз особенно высоко ценил книги, которые Анастасия посылала ему по его просьбе. Любопытно, что иногда это издания на русском языке, которые не были переведены на другие языки, и он, по всей видимости, рассчитывал на своих знакомых русских в Вене, чтобы те переводили и пересказывали ему их содержание. Прежде всего его интересовали научные публикации по истории и особенно по географии: отчеты и наблюдения от проведенных исследований в Сибири и на Камчатке, полученные во время состоявшихся в середине XVIII в. экспедиций И. Г. Гмелина, С. П. Крашенинникова и др. Дюваль следил, затаив дыхание, за результатами изучения Сибири, Калмыкии, Северного Ледовитого океана и переживал близко к сердцу все значительные происшествия, например, спасение группы полярников, оставшихся на оторвавшейся от материка льдине. Среди произведений, которые произвели наиболее сильное впечатление на Дюваля, — «Наказ» Екатерины II. Его восприятие созвучно восторженному приему главного законодательного проекта императрицы в Западной Европе. Очень любопытно то, что одно из наиболее часто упоминаемых в переписке сочинений русских писателей — полемический трактат «Розыск о раскольнической брынской вере» Димитрия Ростовского. Раскол, старообрядчество, позиция официальной церкви, выразителем которой был Ростовский, глубоко волновали Дюваля. Философ находился под сильным впечатлением от личности святителя. Он несколько раз просит Анастасию прислать ему гравированный

⁶ Дюваль, например, взволнован тем, что нашел в своем архиве ноты арии из оперы «Прокрис» (вероятно, «Цефал и Прокрис» Арайя по либретто Сумарокова) (Duval 1724: II, 146).

портрет Ростовского, первого канонизированного в XVIII в. русского святого, и потом горячо и неоднократно благодарит за полученное изображение. Особенно тронут Дюваль тем, что «Розыск» через посредство Анастасии фактически присылает ему сама императрица, отдавая свой личный экземпляр этой ставшей уже редкой книги. Философ проявляет большой интерес к религиозным книгам (например, «Часослову»), к православному сонму святых (на него производят впечатление общие для всех христианских церквей имена). Его живо занимают религиозные православные обряды, пост, который намного строже и длиннее в православии и пр.

Русско-турецкая война 1768–1774 гг. — другая сквозная тема в рассматриваемой переписке. Также, как в письмах Екатерины II и Вольтера⁷, так и в переписке с Анастасией Соколовой, философ ищет самую актуальную и опережающую информацию о развитии военных действий, сражениях, судьбе пленных, осадах городов и взятии крепостей. Подобно корреспонденции императрицы и Вольтера, в переписке Анастасии и Дюваля большое внимание уделено военным действиям в Архипелаге, героизму русских, но также не всегда адекватным и согласованным с руководителями экспедиции действиям греков в Морее. Заветная вольтеровская тема о Греции как колыбели европейской цивилизации, которая должна быть освобождена от власти невежественных и непросвещенных неверных осезаемо присутствует в письмах обоих корреспондентов. Как и в переписке фернейского мудреца и императрицы, тема защиты женщин от произвола невежественных мусульман, пренебрегающих их интеллектом и достоинством, занимает значительное место и интерпретируется сходным образом.

Свои многосторонние и глубокие знания о России Дюваль черпал преимущественно из книг. В то же время философ имел

⁷ На сходство проблематики, связанной с Русско-турецкой войной 1768–1774 гг., в переписке Вольтера и Екатерины II и в письмах Дюваля и Соколовой обращает также внимание Е. Гречаная (Гречаная 2010: 122).

имел возможность часто встречаться с образованными русскими, находившимися при австрийском дворе и посещавшими нумизматический кабинет, которым он заведовал. Со многими из них, и в первую очередь с российским послом, «замечательным князем Дмитрием», Д. М. Голицыным, его связывала сердечная дружба, несмотря на разницу в социальном статусе. Другим его каналом для получения сведений на интересующие его темы были французы и австрийцы, пребывавшие в России. Оба корреспондента далеко не всегда рассчитывали на почтовые сообщения и преимущественно пользовались оказиями — посредством уезжающих в ту или другую сторону знакомых. Благодаря российскому послу и даже самой Екатерине II, нередко это были также дипломатические каналы. Императрица часто помогала своей любимице находить нужные книги, эстампы, монеты, медали, щедро посылая их через посредство Соколовой скромному Дювалю. Екатерина II следила за развитием переписки своей фрейлины с директором кабинета медалей австрийского императора. «В своих письмах А. И. Соколова сообщает, что послания Жамре Дюваля читает императрица, и они распространяются в копиях при дворе. В свою очередь, она явно ориентирует свои письма к нему на европейских читателей, так как Дюваль находился в постоянном контакте со многими гостями из европейских стран, которые посещали кабинет медалей», — констатирует Е. Гречаная (Гречаная 2010: 121).

Дюваль читал о России все, что попадалось ему под руку. Благодаря своим разносторонним интересам, он получил относительно полное представление о прошлом и настоящем России. Он был убежденным русофилом, что, однако, не мешало ему быть критически настроенным и отстаивать свое собственное мнение. Показательно в этом смысле его отношение к спорному труду аббата Шаппа д'Отроша «Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 г.» («Voyage en Sibérie, fait par ordre du Roi en 1761»), опубликованному в 1768 г. К этому труду Дюваль многократно возвращается по

самым разным поводам до конца своей жизни. Философ не спешит присоединиться к дружному хору порицателей книги. Он видит ряд противоречий с тем, что, как он уже сам убедился, существует в действительности, или с тем, что, как он знает, последовательно искореняется. Несмотря на это, Дюваль склонен справедливо оценить как правдивые некоторые утверждения ученого аббата, например, о невежестве духовенства, которое ведет за собой невежество масс. Эта тема отчетливо присутствует в письмах, посвященных чумному бунту в Москве. Скромное положение Дюваля ставит его в гораздо более благоприятное положение, чем известных философов. В отличие от известных философов Дюваль оказывается в более выгодном положении: для него не составляет труда найти дополнительную информацию, более категорически заявить свое мнение, не идеализируя политику русского престола в той или иной области. Дюваль критически воспринимает также анонимный «Антидот» (1770), полемический ответ аббату Шаппу самой Екатерины II. Тут интересно отметить мнение Соколовой, которая прочла по настоянию корреспондента и то, и другое сочинения. Анастасия не очарована ни тем, ни другим, ставя между ними знак равенства.

То, что объединяет позицию Дюваля с мнениями авторитетных европейских философов, — это его отношение к Екатерине II. В его оценках императрицы нет противоречия с ее идеализированным образом Северной Минервы, богини, покровительницы просвещения и знаний, справедливой законодательницы, пекущейся о страждущих, бедных, несчастных, защитницы христиан и воительницы за воскрешение Греции как колыбели цивилизации. Эпитеты, которыми собеседник Соколовой награждает в письмах российскую императрицу, сходны с теми, которые щедро используют Вольтер и другие французские просветители. И в его глазах Россия под руководством Северной Минервы постепенно превращается в знамя европейского Просвещения; страна преодолевает

терзающие

терзающие ее язвы, проводя такие реформы и инициативы, которые могут быть примером для остальных стран. Славословия Екатерине II в рассматриваемой переписке не являются только благодарностью за щедрые жесты государыни в сторону скромного философа. Они основываются на хорошем знании им важнейших документов ее правления — официальных вариантов «Наказа» на русском и французском языках, но также его подпольного французского издания из Ивердона, уставов Воспитательного дома и Смольного института и др. Восхищение Дюваля вызывают некоторые действия государыни, говорившие об ее просвещенности и об ее усилиях цивилизовать свою страну: осповививание, суд над Салтычихой и пожизненный приговор над ней, отмена многих телесных наказаний и их ограниченное приложение в отдельных случаях, отказ от смертной казни.

Таким образом, в переписке Валентина Жамре Дюваля и Анастасии Соколовой создается идеальный образ России, созвучный с идеями и иллюзиями европейского Просвещения, несмотря на усилия философа-самоучки быть объективным. Его собеседница поддерживает эту иллюзию своей осведомленностью и широкими интеллектуальными интересами. Такими же высокопросвещенными были те русские, с которыми Дювалю приходилось общаться или же случайно встречаться. В этой связи, интересным исследовательским вопросом является аутентичность писем: насколько их изначальный вид был сохранен при публикации и не были ли они отредактированы, если иметь ввиду, что, хотя и изданные через десять лет после смерти Дюваля, они появились при жизни не только его корреспондентки, но также ее сиятельной покровительницы. Так или иначе, публикация переписки Кохом, а также специальное отношение Екатерины II к Дювалю, обыкновенному и незнатному придворному служителю ее политических партнеров, говорит об исключительном умении императрицы пользоваться любой представившейся возможностью продемонстрировать достижения своего государства и укреплять свой личный имидж.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бобринский 1877 — Бобринский А. Г. Дневник графа Бобринского, веденный в кадетском корпусе и во время путешествия по России и за границу [Извлечение] // Русский архив. 1877. Кн. 3. Вып. 10. С. 16-165.
- Гречаная 2010 — Гречаная Е. П. Когда Россия говорила по-французски: русская литература на французском языке. М., 2010.
- СИРИО 1867 — Письма Императрицы Екатерины II к Г-же Жоффрен // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. I. СПб., 1867.
- СИРИО 1878 — Письма Императрицы Екатерины II к Гримму (1774-1796) // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. XXIII. СПб., 1878.
- СИРИО 1885 — Письма Гримма к Императрице Екатерине II // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. XLIV. СПб., 1885.
- Courbet 2011 — Correspondance de Valentin Jameray-Duval. Tome I, 4 novembre 1722 — 21 décembre 1745 [Texte imprimé]: bibliothécaire des Ducs de Lorraine // édition critique établie par A. Courbet. Paris, 2011.
- Courbet 1999 — Courbet A. Le bibliothécaire du Grand-duc de Toscane, Valentin Jameray-Duval (1695-1775) et sa correspondance de Florence // Incontro internazionale di studio (22-24 settembre 1994; Firenze). Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII. Firenze, 1999. P. 355-383.
- Courbet 2007 — Courbet A. Valentin Jameray-Duval (1695-1775), bibliothécaire des ducs de Lorraine, un destin exceptionnel // Les Cahiers du château de Lunéville. 2007. № 3. P. 30-33.
- Diderot 1966 — Diderot D. Correspondance. T. XIII: Juin 1773 — Avril 1774 // recueillie par G. Roth; établie et annotée par G. Roth, J. Varloot. Paris, 1966.
- Duval 1784 — Oeuvres de Valentin Jamerai Duval, precedes des memoires sur sa vie. T. I-II. S. Petersbourg; Strasbourg, 1784.

Кирилл Михайлович Александров

«ВЫ — ДОСТОЙНЕЙШИЙ ИЗ ВСЕХ».

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА 1933 Г. ПРОТОПРЕСВИТЕРА
ГЕОРГИЯ ШАВЕЛЬСКОГО И ГЕНЕРАЛА ОТ
КАВАЛЕРИИ ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА КРАСНОВА
ПРОФЕССОРУ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ ГОЛОВИНУ

Зимой 1933 г. русская эмиграция торжественно отметила 25-летие профессорства Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина — Георгиевского кавалера и доблестного офицера Великой войны, академического ученого, основателя и руководителя Зарубежных высших военно-научных курсов (ЗВВНК). Зимой 1908 г. в Санкт-Петербурге, после защиты диссертации на тему «Исследование боя. Исследование деятельности и свойств человека как бойца», Головин стал экстраординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба, а спустя год — её ординарным профессором.

Имя Н. Н. Головина неразрывно связано с историей Императорской Николаевской военной академии, службой Генерального штаба, военным образованием в России и в Зарубежье. Научные заслуги и трудолюбие Головина ценили не только ученики и соратники по ЗВВНК, чины Русского Обще-Воинского Союза (РОВС) и других воинских организаций, но и такие профессора как экономист и металлург Н. Т. Беляев — член правления Русской Академической Группы в Париже, филолог Н. К. Кульман — декан Русского историко-филологического факультета (отделения) в Сорбонне и другие коллеги (Александров 2013: 34–35). В Санкт-Петербурге в последние годы материалы о жизни и творчестве ученого публикуются в сборниках Головинских чтений (Труды I 2011; Труды II 2012; Труды III 2013).

В богатой коллекции Н. Н. Головина, которая хранится в фондах Архива Гуверовского Института Стэнфордского уни-

верситета (Hoover Institution Archives, Stanford University), отложились поздравительные адреса и приветственные письма эмигрантов юбиляру (Н.А. Golovin N.N.). Мы предлагаем вниманию читателей три письма, написанные современниками и единомышленниками ученого, бывшими, помимо личных достоинств, носителями национальной культурной традиции.

Имена авторов, отметивших таланты и качества профессора Головина, не нуждаются в представлениях. Накануне Великой войны и всероссийской революционной катастрофы протопресвитер Армии и Флота Георгий Шавельский, умный и тонкий дипломат, лишенный какого-либо провинциализма, был одним из самых ярких служителей Православной Российской Церкви, понимавшим необходимость решительных перемен в церковно-государственных отношениях. В своем искреннем пастырском служении он небезуспешно стремился реформировать институт военного духовенства и вернуть ему подлинный смысл свидетельства о Христе на поле брани подданным Всероссийского Императора и христианам по крещению, по долгу присяги взявшим в руки оружие.

Георгиевский кавалер, генерал от кавалерии П. Н. Краснов состоял в дружеской переписке с Головиным и поддерживал его научную деятельность в Париже. Широкую известность Краснову, кроме офицерской службы, участия в Великой войне и Белом движении, принесло литературное творчество. Он плодотворно писал в жанре военной прозы, занимался очерками и мемуаристикой. До 1933 г. в эмиграции вышли в свет следующие произведения Петра Николаевича: «Казачья самостоятельность» (Берлин, 1921; очерк), «От двуглавого орла к красному знамени 1894–1921» (Берлин, 1921; роман в восьми частях; 2-е изд: 1922; роман в четырех томах), «Амазонка пустыни: у подножья Божьего трона» (Берлин, 1922; 2 изд.; роман), «Степь» (Берлин, 1922; рассказы), «Опавшие листья» (Берлин, 1923; роман), «Тихие подвижники. Венок на могилу неизвестного солдата Императорской российской армии» (Варшава, 1924; очерк), «Понять — простить» (Берлин, 1924; роман),

роман), «Единая-неделимая» (Берлин, 1925; роман в четырех частях), «Все проходит» (Берлин, 1926; повесть), «Душа армии: очерки по военной психологии» (Берлин, 1927), «Картины Императорской России, 1896–1917» (Париж, 1927; очерк), «Largo» (Париж, 1930; роман), «Выпашь» (Париж, 1931; роман), «Подвиг» (Париж, 1932; роман) (Shmelev 2007: 52–54). С поздравлениями к Николаю Николаевичу обращался талантливый прозаик, бытописатель казачьего Дона и старой русской армии.

Публикуемые письма написаны корреспондентами Головина на фоне трагических событий, происходивших на родине. В предшествующем 1932 г. по официальным данным органы ОГПУ арестовали 410 433 человека (в том числе за «контрреволюционные преступления» 195 540), из них были осуждены к расстрелу 2 728 человек (Док. № 223. Справка Спецотдела МВД 2004: 609). К зиме 1933 г. в СССР в спецпоселках для раскулаченных, тюрьмах, колониях, лагерях, на этапах находились более 1,8 млн. человек (в том числе не менее 1,4 млн. человек — жертвы прямых политических репрессий, включая раскулаченных) (Ивницкий 2004: 75; Смирнов 1998: 32–36). Для сравнения: на 1 января 1911 г. в пенитенциарной системе Российской империи (тюрьмы, арестные дома, исправительные отделения, каторга, пересылка) находились 174 733 осужденных *по всем составам преступлений*, в том числе политических 1331 (Беляев 1983: 92).

В конце 1932 г. по разным регионам СССР прокатились тотальные хлебозаготовки. Партийные и советские активисты, выкачивая хлеб из деревни, по оценке доктора исторических наук О. В. Хлевнюка, «действовали как шайка разбойников, которая вторглась в чужую страну» (Хлевнюк 2010: 135). В итоге зимой 1933 г. в СССР начался искусственный голод, использованный властью в качестве репрессивного инструмента для того, чтобы сломить крестьянское сопротивление сталинской коллективизации. Беспрецедентный голодный мор, превратившийся в государственную тайну, унес жизни более 6 млн. человек на Украине, в Западной Сибири, Казахской

АССР, Поволжье, Северо-Кавказском крае (Андреев, Дарский, Харькова 1993: 48; Уиткрофт 2001: 885). За рубежом эмигранты не представляли подлинных масштабов катастрофы, но протопресвитер Георгий Шавельский, судя по содержанию первого письма, отчетливо понимал, что родина находится во власти страданий, беды и безраздельного горя, несравнимых даже с периодом гражданской войны.

В заключение обратим внимание читателей на некоторые существенные замечания авторов писем. Протопресвитер Георгий Шавельский приветствовал Головина «как блестящего выразителя лучших традиций и успехов» русской науки, «как самоотверженного ученого и лучшего русского человека», а генерал Краснов справедливо подчеркнул невозможность каких-либо достижений «без знания и умения», служению которым посвятил свою жизнь Николай Николаевич¹.

Письма публикуются по новой орфографии с сохранением стилистических и орфографических особенностей оригинала. Сокращения раскрыты и пропущенные окончания заключены в квадратные скобки.

Протопресвитер Георгий Шавельский — профессору
Н. Н. Головину²

Глубокочтимый Николай Николаевич.

От всей души приветствую Вас с новым годом и наступающими праздниками. Пошли Вам Господь все лучшее!

Мы³ тут, празднуя академический юбилей⁴, вспоминали особенно Вас, как одного из самых достойных представителей воен-

¹ Дерзнем полагать, что в полной мере настоящие слова могут быть отнесены и в адрес профессора Петра Евгеньевича Бухаркина, чей юбилей венчает этот сборник.

² Рукопись.

³ На территории Болгарии находился III отдел РОВС (начальник на 1933 — Генерального штаба генерал-лейтенант Ф. Ф. Абрамов) и София была одним из центров русской военной эмиграции в Европе.

⁴ 26 ноября (ст. ст.) 1932 г. в праздник Георгиевских кавалеров исполнилось 100 лет со дня торжественного открытия в Санкт-Петербурге Императорской военной академии (с 1855 — Николаевская академия Гене-

ной академической науки (а я считаю, что Вы — достойнейший из всех), сумевшего и в изгнании высоко держать знамя науки и возвеличивать русское имя. В истории академии Ваше имя и Ваши труды займут самую блестящую страницу. И радуюсь за Вас и горжусь Вами.

Российский хаос и русское горе достигли, — сужу по письмам оттуда, — неизобразимых пределов. Не близок ли конец? Одного лишь прошу у Господа, чтобы Он сподобил меня потрудиться на родной земле.

Сейчас, кроме всех прежних занятий, у меня есть еще новое. С 1го сент.[ября]⁵ я — директор здешней Рус.[ской] гимназии. Увлекаюсь новым делом. Живое и интересное дело.

Неужели Вы не сможете побывать у нас? Не только русские, но и болгарские Ваши ученики с радостью встретили бы Вас.

Еще раз желаю Вам всего, всего лучшего. Всегда молюсь за Вас.

Всей душой преданный Вам
Протопр.[есвитер] Г. Шавельский

4. I. 1933. София

Протопресвитер Георгий Шавельский — профессору
Н. Н. Головину⁶

Глубокочтимый, дорогой Николай Николаевич.

Среди множества приветствий, которые со всех концов света дойдут до Вас ко дню Вашего юбилея, примите и мое скромное,

рального штаба, с 1909 — Императорская Николаевская военная академия). Академический юбилей широко отмечался в русской эмиграции.

⁵ 1932.

⁶ Рукопись. Письмо написано на именном бланке. В левом верхнем углу типографский оттиск: «ПРОТОПРЕСВИТЕРЪ Г. I. ШАВЕЛЬСКІЙ». В правом верхнем углу типографский оттиск: «Софія, (далее вписано от руки) 3 февраля (далее типографский оттиск) 19 (далее вписано от руки) 33». Ниже типографский оттиск: «ул. Просп. (от руки зачеркнуто и написано поверх от руки) Графъ Игнатъевъ 48». Ниже по диагонали от руки написано Н. Н. Головиным: «отвечено».

но глубокое и задушевное. Приветствую Вас как блестящего выразителя лучших традиций и успехов русской военной науки, как самоотверженного ученого и лучшего русского человека.

Давно я знаю Вас и искренне чту. После последней нашей встречи⁷, Ваш наружный блеск изменился — это удел всех. Но душа Ваша и Ваш порыв к постижению истины, как слышу от других, и читаю между строк Ваших писем, остались прежними.

Да хранит и укрепляет Вас Господь на многие и многие годы!

Всегда преданный Вам

Протопресвитер Георгий Шавельский

Генерал от кавалерии П. Н. Краснов — профессору
Н. Н. Головину⁸

24-го февраля 1933-го года.

№ 79.

дер.[евня] Сантени⁹.

Дорогой Николай Николаевич,

Примите от Лидии Федоровны¹⁰ и меня наши самые искренние и сердечные поздравления с двадцатилетием¹¹ Вашей непрерывной профессорской деятельности, Вашего святого горения огнем военной науки, Вашего служения святому искусству побеждать и победою спасти Родину. Ваши заветы, поставленные Вами в 1910-м году: «чего я хочу», «как могут помешать моей

⁷ К сожалению, нам не удалось установить при каких обстоятельствах состоялась встреча.

⁸ Машинопись. После даты и местопребывания корреспондента по диагонали от руки написано Н. Н. Головиным: «ответа не требует».

⁹ В 1933 — деревня юго-восточнее Парижа, в которой поселились Красновы не позднее 1924. Ныне юго-восточный пригород Парижа.

¹⁰ *Краснова* [урожденная баронесса *фон Грюнейзен*, в первом браке *Бакмансон*] *Лидия Фёдоровна* (1870–1949) — камерная певица (меццо-сопрано), жена генерала от кавалерии П. Н. Краснова.

¹¹ Рукой автора над словом «двадцатилетием» написано «пяти».

воле»¹² жизненны и необходимы не только в военном искусстве, но и во всяком деле, и деле политическом прежде всего. Без них никакой и нигде не может быть победы. Какой страшный удар наносится этим гнилому «непредрешенчеству»¹³. Надо знать, чего хочешь и смело идти, преодолевая все препятствия к той цели, которую себе поставил.

Позвольте пожелать Вам еще много двадцатипятилетних служить военной науке и сеять семена победы в рядах той нивы, которую же Вы и вспахиваете на Ваших Зарубежных Высших Военных Курсах, готовя урожай для грядущей России. Пусть, неослабевая, звучит Ваш мудрый голос и зовет нас к победе, немислимой без знания и умения.

Передайте наш привет и поздравление и Вашей неутомимой спутнице¹⁴ на трудном и ответственном профессорском пути, на который Вас поставил Господь Бог, давший Вам талант и глубокие знания. Имя Ваше станет в ряду имен, создавших военную науку, и как нам всем дорого, что оно такое подлинно Русское, связанное с именами Суворова и Петра Великого.

Искренне уважающий Вас П. Краснов¹⁵.

¹² Речь идет о принципах, сформулированных Н. Н. Головиным при обучении слушателей Императорской Николаевской военной академии, и возможно, изложенных в опубликованной в 1910 диссертации на звание ординарного профессора.

¹³ Популярная со времен гражданской войны политическая концепция, в соответствии с которой национальные силы не должны были предрешать государственное и социальное устройство России до падения советской власти, чтобы создать как можно более широкий фронт антибольшевистского сопротивления.

¹⁴ Головина [урожденная Сороко] Александра Николаевна (1875–1943) — жена Генерального штаба генерал-лейтенанта Н. Н. Головина.

¹⁵ Настоящее предложение написано автором письма от руки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Александров 2013 — Александров К. М. Николай Николаевич Головин: последние годы жизни // Труды III Международных исторических чтений, посвященных памяти профессора, Генерального штаба генерал-лейтенанта Н. Н. Головина (1875–1944). Санкт-Петербург, 18–20 окт. 2012. СПб., 2013. С. 33–102.
- Андреев, Дарский, Харькова 1993 — Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Население Советского Союза 1922–1991. М., 1993.
- Беляев 1983 — Беляев В. Н. Россия в начале XX века. Ч. 4. Преступность и пенитенциарная система // Посев (Франкфурт-на-Майне). Ежекв. вып. II. 1983. С. 91–94.
- Док. № 223. Справка Спецотдела МВД 2004 — Док. № 223. Справка Спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осужденных органами ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ СССР в 1930–1953 гг. // История сталинского ГУЛАГА. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов. Т.1: Массовые репрессии в СССР. М., 2004. С. 608–609.
- Ивницкий 2004 — Ивницкий Н. А. Судьба раскулаченных в СССР. М., 2004.
- Смирнов 1998 — Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. Справочник // сост. М. Б. Смирнов. М., 1998.
- Труды I 2011 — Труды I Международных исторических чтений, посвященных памяти профессора, Генерального штаба генерал-лейтенанта Н. Н. Головина (1875–1944). Санкт-Петербург, 27 нояб. 2010. СПб., 2011.
- Труды II 2012 — Труды II Международных исторических чтений, посвященных памяти профессора, Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина (1875–1944). Белград, 10–14 сент. 2011. СПб., 2012.
- Труды III 2013 — Труды III Международных исторических чтений, посвященных памяти профессора, Генерального штаба генерал-лейтенанта Н. Н. Головина (1875–1944). Санкт-Петербург, 18–20 окт. 2012. СПб., 2013.

- Уиткрофт 2001 — Уиткрофт С. О демографических свидетельствах трагедии советской деревни в 1931–1933 гг. *Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. 1927–1939: в 5 т. Т. 3: Конец 1930–1933. М., 2001. С. 266–287.*
- Хлевнюк 2010 — Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.
- НИА. Golovin N. N. — Hoover Institution Archives, Stanford University. Golovin N. N. collection. Box 13. Folder “Awards, certificates, congratulatory letters, etc.”
- Shmelev 2007 — Shmelev A. The Gering Bibliography of Russian Émigré Military Publications. New York, 2007.



*Милена Всеволодовна Рождественская,
Татьяна Всеволодовна Рождественская*

«НА ПАЛУБЕ РАЗБОЙНИЧЬЕГО БРИГА...»: **РОМАНТИЧЕСКАЯ НОТА В ТВОРЧЕСТВЕ ВСЕВОЛОДА РОЖДЕСТВЕНСКОГО (ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ 1920–1930-Х ГГ.)¹**

В 1919 г. молодой Всеволод Рождественский (1895–1977) написал стихотворение, начинающееся со строки, вынесенной в название статьи. Оно вошло в сборник «Золотое веретено» 1921 г. (Рождественский 1921: 44–45), который считается настоящим началом его поэтического пути, хотя тремя годами ранее Рождественский уже выпустил две стихотворные книжечки — «Деревенские ямбы» и «Лето». Приведем текст стихотворения в сокращении:

На палубе разбойничьего брига
Лежал я, истомленный лихорадкой,
И пить просил. А белокурый юнга,
Швырнув недопитой бутылкой в чайку,
Легко переступил через меня.
Тяжелый полдень прожигал мне веки,
Я жмурился от блеска желтых досок,
Где быстро высыхала лужа крови,
Которую мы не успели вымыть
И отскоблить обломками ножа.

<...>

Вчера, как выволокли из каюты,
Так и оставили лежать на баке.
Гнилой сухарь сегодня бросил боцман
И сам налил разбавленное виски

¹ Надеемся, что разнообразные литературные интересы Петра Евгеньевича Бухаркина, его любовь к петербургской ветви русской поэзии оправдают в его глазах тему данной статьи.

В потрескавшуюся мою гортань.
 Измученный, я начинаю бредить,
 И снится мне, что снег идет в Бретани,
 И Жан, постукивая деревяшкой,
 Плетется в старую каменоломню,
 А в церкви слепнет узкое окно.

В России в это время идет Гражданская война, в Петрограде холод и голод, все сдвинуто с привычных мест и понятий, — и такие оторванные от реальности стихи! Они насквозь пронизаны книжными пристрастиями поэта, от Р.Л. Стивенсона и любимейшего им Жюль Верна до современника Александра Грина и старшего товарища, а позднее учителя по Второму «Цеху поэтов» Николая Гумилева. Именно его памяти («Гуму») 13 лет спустя Рождественский посвятит не менее, на первый взгляд, романтическое стихотворение «Индийский океан»²:

Две недели их в море трепало...
 Океана зеленая ртуть
 То тугою стеною стояла,
 То скользила в зеленую муть,
 И скрипучее солнце штурвала
 Вчетвером не могли повернуть. <...>

Романтическая нота, зазвучавшая уже в ранних стихах Вс. Рождественского, стала доминантой всего его последующего творчества. Этой нотой Рождественский отстаивал свое право называться поэтом, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. За «книжность» и «эстетизм» его часто упрекала тогдашняя критика. Но достоверно знаем, что именно ранние стихи поэта, такие как «Манон Леско», «Нет, не Генуя, не Флоренция», «Во времена дворянских привилегий» или «Корсар» надолго остались в памяти благодарных читателей. В те годы Рождественского привлекала острая

² В печатном варианте посвящение было снято (Рождественский 1933: 56–59). Восстановлено в сб.: (Рождественский 2005: 55).

сюжетность и любовная интрига европейских, особенно французских, авантюрно-приключенческих романов (аббат Прево, Франсис Жамм, Анри де Ренье), итальянская комедия дель арте, и, конечно, поэтическая атмосфера античной культуры и родных царскосельских парков. Уже в конце жизни В. А. Рождественский писал:

Я вообще люблю этот жанр, веселый и действенный жанр авантюрно-плутовского романа вроде «Жиль-Блаза», «Кола Брюньона» и незабвенной харчевни королевы «Гусиные лапки» Анатоля Франса³.

Доказательством этого, помимо стихов, служит обширная переписка, которую Рождественский вел на протяжении всей своей долгой жизни. Его эпистолярное наследие насчитывает свыше 600 писем, и лишь малая часть их опубликована. Как человек, рожденный в XIX в., он отвечал практически на все письма. Часть переписки при жизни была передана им самим, а впоследствии и нами, в различные государственные хранилища (ИРЛИ, ИМЛИ, РНБ, ГЛМ и др.), но многие остаются в семейном архиве. Понимая всю необъятность материала и обозначенной темы, в данной статье мы остановимся лишь на письмах двум наиболее частым адресатам В. А. Рождественского в конце 1920-х — начале 30-х гг. — Дмитрию Сергеевичу Усову в Москву⁴ и Евгению Яковлевичу Архиппову в Новороссийск⁵. Подлинники писем хранятся в Отделе рукописей РГАЛИ (Москва), частью в семейном архиве, а часть писем В. А. Рождественского к Д. С. Усову опубликована (Усов 201). На наш взгляд, предлагаемые фрагменты писем служат хорошим комментарием не только к конкретным стихам Рождественского тех лет, но и к общей атмосфере и настроению,

когда

³ Письмо Г. В. Глекину 1976 г. Личный архив В. А. Рождественского.

⁴ Усов Дмитрий Сергеевич (1896–1943) — переводчик, театральный критик, поэт, искусствовед.

⁵ Архиппов Евгений Яковлевич (1882–1950) — историк литературы, поэт, библиограф.

когда они писались. В эти годы отец много путешествовал. «Муза дальних странствий» манила его. Часто его поездки к югу (в Ростов, на Кавказ и в Крым) были связаны с гастролями существовавшего тогда в Ростове-на-Дону Передвижного театра-студии А. Н. Морозова, в которой он заведовал литературной частью и читал лекции для студийцев. С 1927 г. после личного знакомства и завязавшейся дружбы он начинает ездить в Коктебель к Максимилиану Волошину. Главные темы в его письмах друзьям этого времени — творчество, обмен книгами, литературные, музыкальные впечатления, культурная жизнь тогдашнего Петербурга-Ленинграда. Поэтому в письмах В. А. Рождественского почти нет быта. Догадаться о времени и месте часто можно только по упоминающимся именам. Это была, как кажется, почти сознательная позиция поэта — уйти от все более ожесточающейся советской действительности в область высокого творчества, чтобы сохранить себя и свой поэтический мир. Так, он пишет Е. Я. Архиппову в сентябре 1926 г. после их встреч в Новороссийске:

Окружающая жизнь так не соответствует тонкой пряже наших бесед. Я всегда хочу говорить с Вами единственным, неповторимым для других голосом, а его так трудно порою бывает найти.

И далее:

Недавно вспоминал я Вас в Царском, в обществе Валентина Иннокентьевича Анненского⁶. Мы собрались у Э. Ф. Голлербаха⁷ прослушать его новую большую статью: «Царское Село как литературный комплекс». После страниц об Ин. Анненском стали вспоминать его друзей, теперь уже очень

⁶ Валентин Кривич (Валентин Иннокентьевич Анненский, 1880–1936) — поэт, искусствовед, художественный критик, библиограф и библиофил. Сын И. Ф. Анненского.

⁷ Голлербах Эрих Федорович (1895–1942) — поэт, художник, царское сёл, автор и составитель поэтической антологии «Город Муз» (Л., 1927. 2-е изд. Л., 1930).

немногих, и Ваше имя было помянуто особой благодарностью. В Царском живет сейчас и Анна Ахматова. Я не успел повидаться с нею, но знаю, что здоровье ее лучше, что она много гуляет и после большого перерыва снова начала писать стихи. М. Л. Лозинский⁸ сделал на днях в Инст<итуте> Ист<ории> Искусств блестящий доклад о сонетах Эредиа⁹, и, по просьбе Академии Худ<ожественных> Наук повторяет его в Москве. Найдено 6 новых писем Пушкина к А. П. Керн. В Эрмитаже открыта выставка древних печатей и гемм. Вот новости, которые могут быть Вам интересны. Все остальное носит слишком эфемерный, нестойкий характер и не живет дольше завтрашнего дня¹⁰.

Вместе с тем, рассказывая в письмах этих лет о подробностях литературной жизни и книжных новинках, Рождественский называет сочинения и нового поколения своих современников — ленинградских литераторов Михаила Козакова, Николая Баршева, Бориса Лавренева, дает характеристику каждому из них¹¹.

В начале 1930-х гг. в составе писательских бригад для написания литературных очерков он ездит на строительства

⁸ Лозинский Михаил Михайлович (1886–1955) — поэт, переводчик, член «Цеха Поэтов».

⁹ Жозе Мария де Эредиа (1842–1905) — французский поэт. В. А. Рождественский перевел его стихи.

¹⁰ Письма и очерк в Приложении приводятся по машинописным копиям из семейного архива, сверенным с подлинниками.

¹¹ Козаков Михаил Эммануилович (1897–1954) — писатель и драматург, член литературного объединения второй половины 1920-х гг. «Содружество», автор наиболее известного романа «Крушение империи»; Баршев Николай Валерианович (1888–1938), писатель, поэт, член объединения «Содружество». В 1927–28 гг. напечатал книги «Гражданин вода», «Обмен вещами». Он писал: «Крестными отцами моими считаю Всеволода Рождественского и Валентина Кривича. Это они убедили меня, что мне нужно писать» (КП 1926). Лавренев Борис Андреевич (1891–1959) — писатель и драматург. Наиболее известны его повести 1920-х гг. «Ветер», «Рассказ о простой вещи», «Сорок первый», «Седьмой спутник», пьеса «Разлом».

электростанций — Днепрогэса и Волховстроя, что также находит отклик в его стихах и переписке. Даже откликаясь на эти «заказные» темы, Рождественский вносит романтическую ноту в восприятие действительности¹². На пути из Ленинграда на Юг или с Юга он часто гостит у Д. С. Усова и его жены Алисы Гуговны¹³ в их комнатках в Новодевичьем монастыре в Москве. Этот уютный дом поэт называл в письмах «моя Итака», ощущая себя неутомимым Одиссеем, вернувшимся после дальних странствий в свой привычный романтически-книжный мир:

Московская Итака

Еще, давясь, хватала тьму собака,
 И спины гор мне виделась в окно,
 А уж дымилась блюдечком Итака
 И ставила костяшки домино.
 Еще журчал и прыгал полдень птичий,
 А пестрые листки календаря
 Уже кружил с утра Новодевичий
 И мокрая ерошилась заря.
 Москва! Москва! Обрушен книжной полкой
 Афиш, приятств, бессонниц и бесед,
 Я не могу еще добиться толку
 Преодолеть сумятицу и бред.
 Еще першит в груди от кипятковой

¹² В одном из писем от 1/4 июля 1930 г. Рождественский писал: «Днепрострой — не правительственный циркуляр. Днепрострой — творимая легенда». Цит. по: (Рождественский 1985: 522). Жанр путешествия, тема освоения не только новых пространств, но и «нового» человека, в советской литературе этого времени позволяли многим писателям (например, Паустовскому), как и Рождественскому, не изменять романтической природе своего творчества. Судя по воспоминаниям современников, отец проявлял искренний интерес к «преобразованию действительности» и пытался лирически осмыслить этот новый опыт.

¹³ Алиса Гуговна Усова (урожд. Левенталь, 1895–1951) — вторая жена Д. С. Усова.

Асфальтовой транзитной суеты,
 Очередей, автобусного рева,
 Но прошлый мир захлопнул книгой ты.
 И в комнату, где дыней зреют ночи,
 Где тигром день разлегся на полу,
 Вхожу опять, как в твой прозрачный почерк,
 К чашкам фраз, подушкам и теплу.

Москва, X. 32 (Рождественский 1933: 100–101).

Всю зиму в Ленинграде Рождественский занимался черновой литературной работой, чтобы обеспечить себе летнюю поездку к морю. Море стало одной из главных тем и мотивов его поэзии и переписки тех лет, как и положено настоящему романтику. После своих странствий он часто в письмах друзьям давал подробный «отчет» о них. Например, 9 сентября 1926 г. он писал Е. Я. Архиппову:

Подводя итоги, скажу, что прошлое лето обогатило меня многим и многим. Я видел много людей, города, я много жил около моря и теперь часто вижу его во сне.

Характерно при этом, что сам поэт никогда не участвовал ни в каких дальних морских плаваниях, но любое его летнее путешествие в то время непременно заканчивалось морем, Черным морем. Вот строки из письма 1927 г.:

Я очень жду лета, дорогой Евгений Яковлевич. Лета и моря <...> Я жду, когда вновь оно расколыхает <так! — *M. P., T. P.*> мою душу, а до тех пор «Одиссея» не сходит с моего стола, и я нет-нет читаю оттуда несколько строчек, которые часто дают мне ритмическое колышание на весь день. А нести в себе этот ритм необходимо — ибо жизнь у нас суетлива и все впечатления смешивает в какой-то пестрый шум, очень утомительный и грустный для меня.

Вместе с морскими мотивами в письмах Рождественского естественно возникает и тема Крыма. В стихах и письмах он создает свой особый «крымский текст», свою Киммерию, не
 только

только под влиянием личности и стихов Максимилиана Волошина, но и текст, отразивший общую мифологему Крыма в русской литературе XX в. (Люсый 2003; Крымский текст 2008). Это и стихи о Крыме, и упоминания в письмах Е. Я. Архипову и Д. С. Усову о встречах с художником К. Ф. Богаевским в Феодосии, с Андреем Белым в Коктебеле, о последнем общении с Волошиным и прощании с ним и т. д. (Милена и Наталья Рождественские 1997). Однако постепенно в приподнятое романтическое восприятие жизни и искусства в конце 1920-х — начале 30-х гг. вплетается нота тревоги и озабоченности дальнейшей его судьбой в новой советской действительности. Поэт по-прежнему занят литературно-очерковой и критической работой, не всегда приносящей удовлетворение — ведь приходится отрывать время от собственного творчества. И больше всего его волнует судьба поэзии.

Мне кажется, — писал В. А. Рождественский Д. С. Усову 9 мая 1927 г., — что Поэзия, такой, какой мы до сих пор ее знали, живет свои последние дни. Новые способы постижения Мира открываются перед смятенным Человечеством. Конечно, никогда не иссякнет творческая способность воображения, памяти, но все будет уже иначе — ни Гомер, ни Байрон неповторимы. Останется только одно, вечное: Поэзия — противопоставление всякому коллективу. Поэзия — дерзкий, самочинный способ постижения вселенной, утверждение индивидуализма во что бы то ни стало, какой угодно, иногда даже трагической ценой. В этом конечно и великий ужас и высокая страсть. Ибо, в то время, когда все человечество будет и счастливо и безмятежно пастись на необиблейских холмах, поэт захочет сохранить себя и свое — и от того погибнет во имя слепой Справедливости. И гибель его будет тем страшней, что останется безответной.

Как ни старается В. А. Рождественский не замечать окружающего мира, мир все же врывается в область личного творчества, предъявляя свои жесткие законы. Поэт воспринимает их трагически, как конец всех привычных представлений

о прекрасном. Но при этом, по своему природному оптимизму, он все же пытается найти в новых «ритмах» что-то положительное.

Мое молчание, столь долгое, совсем не извинительно, и, пожалуй, даже необъяснимо, — пишет он Е. Я. Архиппову 15 февраля 1930 г. — Виною всему, вероятно, какая-то окружающая меня глухота и пустотность — в которой я не нахожу резонанса тем звукам и мыслям, высокими знаками которых общались мы с Вами и каждый из нас — с предшествовавшей нам эпохой. Новую музыку мира стараюсь я слушать и досажаю на себя — и только на себя! — за то, что кажется мне она почти всегда какофоничной, несмотря на то, что я твердо убежден в том, что и у нее есть своя мелодия, не может не быть. Трудно писать об этом — не находишь точных и простых слов. И тем более не находишь стихов — хотя конечно Поэзия, и только поэзия, могла бы опередить здесь обычную речь. Я думаю — вся трудность моей жизни заключена в том, что я честно ищу резонанса к эпохе (в высоком, конечно, смысле этого слова!).

Как известно, начало 1930-х гг. — это эпоха больших промышленных строек, глобальных государственных ломок и ломок человеческих судеб. Литература становится все более подконтрольной. 18 ноября 1930 г. в письме к Е. Я. Архиппову Рождественский сетовал:

Литература обратилась в огромную «весьма почетную канцелярию». Вопросы творчества отошли на второй план. Получилось нечто вроде римской церкви — по Ренану¹⁴. И в творчестве своем я уже окончательно потерял свободу. Пишу сейчас «на основе собранного материала» (Днепрострой, Керчь).

И все-таки он ищет оправдания вынужденной ситуации:

¹⁴ Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский философ и писатель, историк религии, автор знаменитого сочинения «Жизнь Иисуса». Член Французской Академии.

Есть все же и хорошее в такого рода некрасовщине. Это неразрывно и непосредственно связывает меня с жизнью, а жизнь, как Вы знаете, любил я всегда — не только в версальских садах.

Совсем отказаться от лирики, от романтической ноты в ней поэт уже не может. Лирика же официально осуждается. В письме к Д. С. Усову от 6 ноября 1930 г. Рождественский с грустью писал:

Надо отказаться от всего <...> надо вгрызаться в трезвый и будничный век — без лирики, без всякого сердца, которое только мешает и мучит. Всякая «культура» сейчас обременительный и большой груз. Она выветрилась, исчезла. Наша эпоха полая. Она требует, чтобы ее заполняли — безжалостно и жадно. И выходит так, что мы должны ее накормить собственным телом, собственной кровью. И много *честного* выхода нет. Можно, конечно, закрыть глаза, можно загородиться красивой ширмой эстетического спокойствия, можно ушиться готовым лозунгом — но все это будет не то и не так. Прекрасные сны моей юности: Пушкин, Античность. Как они далеки сейчас от меня!

И далее:

Стать похожим на всех, и на место фантазий, иллюзий, привычек к «культуре» (так страшно предавшей всех нас, русских людей!) поставить будничный разум и завести его, чтобы ходил, как часы.

К счастью, стать «похожим на всех» не получилось — В. А. Рождественский слишком лирик, и романтика и теперь не покидает его строк, даже если это неопубликованные строки социального заказа, случайно сохранившиеся в черновой тетради:

Ток бежит по жилам Волховстроя,
Ширит вены песнею поэт,
Но в поэме этой нет героя
И конца в поэме тоже нет.

29 июня 1933 г. в связи с выходом новой книги стихов «Земное сердце» (Рождественский 1933) отец писал Э.Ф. Голлербаху:

Поэзия современников давно уже кажется мне сухой, шелкающей и оставляет металлический вкус во рту. Голая, декламационная интонация оратора, повторяющая общие места — неужели в этом заключается «лирика», то есть весь, еще не открытый до конца комплекс интонаций, переходов, полутонов и оттенков живого человеческого голоса. Право, мне хотелось бы, чтобы от нашей действительно прекрасной эпохи у потомков осталось впечатление как от живых людей, которые умели и побеждать, и бороться, и любить, и различать цвета, и слышать запахи, и братски ощущать земное величие природы. Голые схемы и диаграммы в поэзии — это ее младенческий лепет, а стилистические замысловатости часто маска творческого бессилия. Поэты разучились видеть и свежо чувствовать первое впечатление, зерно замысла. Образы выращивают они в инкубаторе или развивают по логической схеме. А чаще всего этих образов нет у них вовсе, и ораторской ловкостью подменяют они динамику живой эмоции. Они не знают ни обычной разговорной речи, ни шепота, ни полуслова, ни даже крика ненависти или восторга. <...> Им ведом только один стилистический жест: рука, протянутая к собранию и нудные ноты не то поучения, не то приказания. Я уже не говорю о том, что все лучи проходят у них через мозг: ни глаз, ни ушей, ни языка, ни кончиков пальцев давно нет¹⁵.

И далее о своей новой книге:

Мое «Земное Сердце» никак никого и ничему научить не может. Роль автора в данном случае очень скромна: мне хотелось бы напомнить немногим непредубежденным читателям о прекрасных и несправедливо забытых возможностях русского поэтического языка, когда он пытается быть простым и точным¹⁶.

Этим

¹⁵ РО РНБ. Ф. 207. Э.Ф. Голлербах. № 73. Лл. 30–31.

¹⁶ Там же.

Этим путем, отправная точка которого нам видится в давней акмеистической выучке поэта, и развивалось его дальнейшее творчество: от книжной экзотики ранних стихов через мучительные искания нового лирического начала, через испытание гражданственной лирикой последующих военных лет — к зрелым философским раздумьям поэтического сборника со знаменательным названием «Психея», вышедшего в 1977 г. уже после кончины поэта. Позднее В. А. Рождественский писал своему постоянному московскому корреспонденту с середины 1950-х гг. Г. В. Глекину по поводу полученных им машинописных копий писем Е. А. Архиппову и Д. С. Усову:

Читая свои письма к ним, писавшиеся в те годы, я вижу себя как бы со стороны, еще не отстоявшего от той эстетской манеры, которая была свойственна эпохе заката типично петербургского эстетизма, у которого были не только свои пристрастия, но и свой язык, который сейчас может показаться только манерным. К простоте и естественности мировосприятия я выбирался с большим трудом. И дорогой жизни было для меня общение с А. Блоком (к сожалению, только три последние его года) и поездк[и] по стране, выводящие за черту узко-личного круга. <...> И вообще эти вернувшиеся ко мне письма напоминают о многом, восстанавливают частично хронологию событий и некоторых стихов.

Но и завершая свой путь, В. А. Рождественский оставался по-прежнему верен романтическим пристрастиям юности, о чем могут свидетельствовать эти строки:

Мы все рождены для скитаний под ветром крутых перемен.
И пусть за кормою в тумане останется остров Сирен!
Из сети соблазна и мрака спаслась нашей дружбы ладья,
О где ты, Итака, Итака, — последняя пристань моя!

(Рождественский 1977: 214)

В качестве Приложения публикуем очерк В. А. Рождественского о Новороссийске 1927 г. по машинописной копии из семейного архива как образец «заказного» репортажа, в ко-

тором звучит, казалось бы, не вполне уместная в подобном жанре романтическая нота, и поэт остается верен себе.

Город нрд-оста и цемента

(Новоросийск)

Перед самой европейской войной брошены были на весы Одесса и Новоросийск. Весы колебались. Старая умудренная долгими годами средиземной торговли, обставившая себя европейскими домами, скверами, вилами сахарозаводчиков, Одесса с тревогой смотрела на своего черноморского восточного соседа, скромно раскидавшего казачьи и греческие домики по бесплодным глинистым сланцам Цемесской бухты.

На низком берегу рос и ширился гигантский элеватор, к цементному заводу бежали вагонетки свежеполоманного камня, а у высоких пристаней отстаивались океанские гиганты с флагами всех наций. Железная дорога связывала глухой доселе уголок с северокавказской магистралью. Городу прочила блестящее будущее, и сам он начинал подчищаться, подтягиваться, заводить магазины, бульвары и довольно дерзко поглядывать в сторону Одессы. Ударилa война и остановила его рост; белогвардейское самоуправство в тылу революции в общей сложности почти на два года отрезало Новоросийск от советской жизни. Городу выпала печальная и горькая участь быть базой для генеральских армий, их азиатским «окном в Европу». В Новоросийске же разыгрался финал «Русской Вандей», Цемесские пристани были свидетельницами грандиозного бегства на кораблях всех стран и всех флагов.

Жизнь налаживалась медленно, но упорно. Теперешний Новоросийск, советский Новоросийск, неузнаваем. Сейчас это самый грандиозный из наших южных экспортных портов и в числовом отношении уступает только Ленинграду. За зерном, за цементом, за «макухой» приходят сюда, привозя в обмен сельскохозяйственные машины, и Америка, и Европа. Непрерывной струей бежит по бесконечному ремню в черные утробы пароходов полноевесное кубанское зерно. Шлюпки и моторные катера

бороздят

бороздят цемесские воды, огражденные широким молом от открытого моря. Весь день стоит в порту ржавый хрип лебедек и ругань на всех европейских языках, а по вечерам шелестят советские газеты в интернациональном клубе моряков и гладко бритые немцы спорят с курчавыми обезьяноподобными итальянцами «о Ленине и его стране». А на противоположном берегу бухты, у подножия частью лысых, частью лесистых гор, дымят цементные заводы: ближе «Пролетарий», подальше «Октябрь». Синеватый слоистый дым долго висит в ущельях, не имея силы переброситься через Махотский хребет. Зерно и цемент — вот две силы, составляющие Новороссийск. Основные же цвета Новороссийска — белесовато-серый и светло-зеленый — цвет цемента и цвет моря. Город в сущности небольшой, около 70.000 жителей, но он так безжалостно разорван осушенным Цемесским болотом, так щедро раскидана к юго-востоку фабричными поселками, к юго-западу собственно городом и рыбацкой окраиной «Станичка», что когда подъезжаешь ночным парходом, лента электрических огней производит незабываемое впечатление. Есть в просторах Новороссийска что-то от Ленинграда, от огней Троицкого моста и уходящей в бесконечность Невы.

Все портовые города похожи друг на друга. Новороссийск же несет в себе нечто неповторимое и незабываемое впечатление неуютя, простора, ветров и качающихся в море огней. Цемесская бухта величественнее Севастопольской. Горы, окружающие ее (начало Кавказского хребта), уже суровы и смотрят исподлобья, летний зной высушивает их до-желта и делает похожими на спины лежащих верблюдов. Море в прозрачные сентябрьские дни мутно-зеленого, какого-то мыльного цвета, волна тяжелая и спокойная, идущая во всю ширину залива, небо напоминает выгоревший на солнце закавказский шелк. Неприютно в Новороссийске зимой, в пору дождей и ветров (снега здесь почти не бывает). Городская жизнь едва теплится в учреждениях и на базарах. «Станичка» — спит глубоким обывательским сном. И только на другом берегу бухты не умолкают заводы да стучат ундервуды в портовых конторах. Но самое замечатель-

ное и самое неповторимое что есть в Новороссийске — это его Норд-осты. Новороссийск не мыслим без Норд-оста, так же как Ялта без солнца, Саратов или Оренбург без пыли и Ленинград без туманного дождя. Стоит прекрасный день, волны лениво плюхаются об устои пристаней, горы ясны каждой своей складкой, дымки далеких костров (жгут уголь) высокой синеватой струйкой поднимаются к небу, на перекрестках пыльных улиц спят собаки и чистильщики сапог, в учреждениях завывающе расстегивают ворот толстовки, а берег возле купальни усеян загорающими телами. Белые домики, покрытые черепицей, и акации тихих греческих окраин придавлены тяжелой периной зноя, белесая пыль хрустит на зубах мальчишки, обгладывающего жареную кукурузу. И вдруг — в эту мутную, тугую тишину, почти без всякого предупреждения о себе, сваливается Норд-ост. Он падает с севера, из-за голой, песочного цвета перемычки между горами. Пыль летит с откоса в море, волны взлетают на мол, бухта кипит и бесится, пароходы и лодки, едва успевшие отойти подальше от каменных стенок, беспорядочно пляшут на якорях, люди медленно продираются сквозь ветер, а вся главная улица хлопает оборванными вывесками, как гигантская жестяная птица. Собака, вставшая против ветра, превращается в ежа, поднятый ветром песок застилает туманом перспективу улиц и бьет подобно граду в оконное стекло.

Милиционеры надевают автомобильные очки, обыватели поплотней запирают двери и окна. Так продолжается сутки, три дня, неделю. Потом ветер падает, обессиленный, в море, и весь Новороссийск, из которого выдуты сор и дым, отдыхает в упительной прозрачности и свежести не по южному хрустального воздуха. Так ведет себя Норд-ост летом. Так было в начале сентября, когда бухта кипела белой пеной, океанский пароход «Курск» двое суток не мог войти в порт, а на «Станичке» летели черепицы с вросших в землю рыбацких домиков... Зимний же Норд-ост не знает предела своей ярости. Были случаи, когда он уносил крыши, валил телеграфные столбы, опрокидывал вагоны и паровозы. Если накануне прошел дождь и город с утренним

морозом



морозом оделся в скользкую стальную броню гололедицы, рабочие и служащие, вышедшие из дому, после долгой борьбы с ветром, не пускающим их дальше соседнего угла, возвращаются домой усталыми и озлобленными, так и не дойдя до цели. Можно вообразить, что же делалось в такие дни в открытом море.

Норд-ост — это морская, строптивая душа Новороссійска. Город зерна и цемента с полным правом мог бы носить имя этого яростного ветра. Ветер этот в извечную лень и расслабленность южного человека вносит начало севера — крепость, энергию, стойкость в борьбе и упорство мысли. Не потому ли так лихорадочно строится и растет Новороссійск.

По своему морскому значению он обогнал уже Одессу; целым стадом уродливых землечерпалок копает он на месте прежнего малярийного болота глубокие «ковши» для океанских кораблей, прокладывает водопроводы из далеких горных водохранилищ, в десяток месяцев умудряется возвести многоэтажное здание гигантского холодильника и уже приступает к оборудованию НОВОРЭСА, мощной электрической станции, которой суждено залить ночным светом не только город и берега Цемесской бухты, но и соседние станицы.

Новороссійску суждено стать поэмой труда. Он дождется своего Верхарна. Через пять-шесть лет он разделит с многошумным Ростовом экономическое владычество на Советском юге, а пока лихорадочно торопит свой рост, и жестокий северовосточный ветер, как свечу, раздувает его несокрушимую волю.

Всеволод Рождественский

Новороссійск

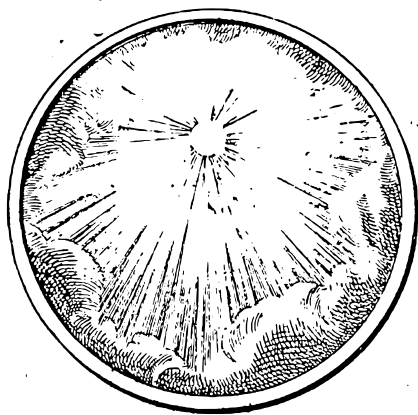
Сентябрь 1927 года

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- КП 1926 — Красная панорама. 1926. № 24.
- Крымский текст 2008 — Крымский текст в русской культуре. Материалы международной научной конференции. СПб., 2008.
- Люсый 2003 — Люсый А. П. Крымский текст в русской литературе. СПб., 2003.
- Милена и Наталья Рождественские 1997 — Милена и Наталья Рождественские. «Коктебель для меня — Итака» / Крымский альбом. Историко-краеведческий литературно-художественный альманах. 1997. Феодосия; Москва, 1997. С. 190–206.
- Рождественский 1921 — Рождественский В. А. Золотое веретено. Пг., 1921.
- Рождественский 1933 — Рождественский В. А. Земное сердце. Книга лирики. 1929–1932. Л., 1933.
- Рождественский 1977 — Рождественский В. А. Психея. Л., 1977.
- Рождественский 1985 — Рождественский В. А. Стихотворения. Л., 1985. (Б-ка поэта. Большая серия)
- Рождественский 2005 — Рождественский В. А. «Я в этой книге жил когда-то...» Избранное. Стихотворения. Из писем военных лет. СПб., 2005.
- Усов 2011 — Усов Д. С. «Мы сведены почти на нет...» / вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Ф. Нешумовой. М., 2011. Т. 1: Стихи; Переводы; Статьи. Т. 2: Письма.



ЧАСТЬ VII
БОГОСЛОВИЕ



Протоиерей Георгий Митрофанов

«ТРИ РАЗГОВОРА» В. С. СОЛОВЬЕВА —
АНТИТОЛСТОВСКИЙ МАНИФЕСТ ИЛИ
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЗРЕНИЕ

Произведение В. С. Соловьева «Три разговора» с полным основанием следует признать религиозно-культурным завещанием замечательного русского христианского философа грядущим поколениям христиан всего мира, оставленным им на пороге столь же апостасийно-зловещего, сколь и гуманистически успешного XX в. При этом появление именно этого, пронизанного подлинным христианским эсхатологизмом произведения в качестве завершающего вывода творчества В. С. Соловьева стало совершенно закономерным результатом его духовно-религиозных исканий, в которых обманчивая величественность философских умозрений часто сочеталась с пронизывающей остротой пророческих прозрений. Наиболее глубокий исследователь творчества В. С. Соловьева и его близкий друг Е. Н. Трубецкой следующим образом определил место «Трех разговоров» в духовном наследии философа. Философское учение В. С. Соловьева

Во все периоды своего развития... было *философией конца*: ибо оно рассматривало не только весь *мировой* прогресс, но и весь *мировой процесс* в непосредственном отношении к его концу или смыслу, причем этот *конец-цель*, во всей своей полноте должен раскрыться *в конце времен*, за пределами земной действительности. Но только в конце жизни Соловьева и именно в его «Трех разговорах» философия конца впервые является перед нами во всей своей чистоте, последовательности и цельности. В этом заключается ближайший результат пережитого философом крушения утопий (Трубецкой 1995: 275).

Действительно, упомянутое Е. Н. Трубецким «крушение утопий» во многом определило проблематику первой части про-

изведения «Три разговора», в то время как его заключительная часть «Повесть об Антихристе» представляла собой художественно представленный набросок религиозно-эсхатологического прозрения, которое определяло мирозерцание В. С. Соловьева последних лет его земной жизни. Весьма примечательно, что уже достаточно давно преодолевший к этому времени увлечения как славянофильской, православно-монархической, так и западнической, католическо-монархической утопиями В. С. Соловьев лишь фрагментарно вкладывал в уста участников «Трех разговоров», прежде всего генерала и политика, отдельные постулаты обеих утопических мировоззренческих парадигм. В то же время никогда не разделявший идей толстовства философ в выступлениях третьего участника «Трех разговоров», князя, попытался достаточно подробно представить читателю позицию основателя учения о непротивлении злу насилием Л. Н. Толстого.

Причина этого обстоятельства кроется в том, что на рубеже XIX–XX вв. толстовство воспринималось В. С. Соловьевым как единственно имевшая шансы на успех в российском обществе и вместе с тем в высшей степени искусительная религиозно-мировоззренческая альтернатива как материализму и агностицизму, так и подлинно христианскому вероучению. Именно поэтому, рассматривая всесторонне и весьма критично толстовское учение, вложенное им в уста князя, В. С. Соловьев определял эту очередную утопию русского национального самосознания как мировоззренческого предтечу грядущего в мир Антихриста.

По Соловьеву, существенное в толстовстве и в явлении антихриста — не в том, что у них различно, а в том, что есть между ними общего, — писал Е. Н. Трубецкой. — Существенная черта того и другого явления заключается в злонамеренном отрицании Христа и фальсификации Его дела. Формы же фальсификации отнюдь не должны быть непременно всегда одинаковы;

наоборот, они должны быть непременно различны в зависимости от условий времени, в соответствии с настроением и уровнем развития той человеческой среды, которую требуется ввести в соблазн (Трубецкой 1995: 278).

Конечно, будучи одним из многих религиозных лжеучений толстовство в какой-то определенный исторический момент и в какой-то конкретной стране могло стать наиболее искусительным религиозно-мировоззренческим соблазном для определенной части общества. И всегда отличавшийся поразительной терпимостью по отношению к самым различным формам инакомыслия В. С. Соловьев в своей по преимуществу справедливой критике толстовства все же перешел допустимую для него именно как христианского мыслителя мировоззренчески полемическую грань. Как справедливо подчеркивал наиболее всесторонне осмысливший соловьевскую критику толстовства Е. Н. Трубецкой:

Об *особой* близости к антихристу толстовства в отличие от многих других вероучений можно было бы говорить в том случае, если бы оно не заключало в себе никакой, даже *относительной* правды и если бы истина была в нем только личной. В действительности, однако, в религиозной проповеди Толстого есть черты положительные и ценные. Есть зерно истины даже в том его анархизме, против которого всего больше восстает Соловьев. Толстой совершенно прав в том, что государственная жизнь несовместима с евангельским совершенством и что, следовательно, конечный идеал христианства анархичен. И это должно быть вменено ему в заслугу, несмотря на те ошибки, которыми у него извращается эта мысль <...> В учении Толстого действительно живет антихрист, изображенный Соловьевым, но он не исчерпывает собою религиозной сущности великого писателя: ибо сам Толстой выше и больше своего учения и своего антихриста (Там же: 284–285).

Однако для самого В. С. Соловьева значительно более важным представлялся другой, потрясший его самого вывод, который

торый он сделал на страницах произведения «Три разговора», но уже в «Повести об Антихристе». И вывод этот заключался в том, что, как формулирует его Е. Н. Трубецкой,

Из собственного изложения Соловьева <...> обнаруживается, что каждое христианское исповедание таит в себе своего антихриста <...> Разве не фальсифицируют христианство те, кто утверждают, что дороже всего в нем — духовный авторитет или священное предание, или же, наконец, свободное исследование? Самозванством грешат едва ли не все, кто считает себя преимущественно перед прочими подлинными носителями духа Христова (Трубецкой 1995: 283).

Но во многом именно на этом выводе строилось все повествование «Повести об Антихристе», но прежде чем обратиться к его осмыслению следует в самых общих чертах обозначить то состояние земной истории, в котором человечество, по мнению В. С. Соловьева, должно будет встретить Антихриста, пришедшего в мир.

Конечно, описание растянувшейся на многие годы широкомасштабной войны японо-китайско-монгольского Востока с секуляризованным христианским Западом, завершившейся пятидесятилетней оккупацией последнего, не может не разочаровать своей геополитической умозрительностью и военнотехнической некомпетентностью. Хотя нечто подобное тому, что предчувствовал В. С. Соловьев все же имело место в Европе с той лишь разницей, что мировых войны было две, а оккупационную миссию по отношению к значительной части Европы довелось выполнять не японо-китайско-монгольскому Востоку, а коммунистической России, впрочем, основательно в этот исторический период ставшей напоминать неоязыческую Евразию. И все же главные геополитические последствия XX в. по отношению к развитию Европы В. С. Соловьев определил весьма достоверно:

Европа в двадцать первом веке представляет союз более или менее демократических государств — европейские соединенные штаты (Соловьев 1911: 197).

При этом философ все еще продолжал надеяться на то, что России суждено будет хотя бы в это время стать органичной и неразрывной частью христианской Европы, которая окажется способной предоставить Папе Римскому Санкт-Петербург в качестве места его постоянной резиденции.

Однако духовное состояние этого технократически бурно развивавшегося и вбиравшего в себя все новые народы мирового сообщества, по мнению В. С. Соловьева, должно было становиться все более секуляризованным, хотя и религиозно взыскующим.

Предметы внутреннего сознания — вопросы о жизни и смерти, об окончательной судьбе мира и человека, осложненные и запутанные множеством новых физиологических и психологических исследований и открытий, — остаются по-прежнему без разрешения, — писал В. С. Соловьев. — Выясняется только один важный отрицательный результат: решительное падение теоретического материализма. Человечество навсегда переросло эту ступень философского младенчества. Но ясно становится, с другой стороны, что оно также переросло и младенческую способность наивной, безотчетной веры. Таким понятиям, как Бог, сделавший мир из ничего и т. д., перестают уже учить и в начальных школах. Выработан некоторый общий повышенный уровень представлений о таких предметах, ниже которого не может опускаться никакой догматизм. И если огромное большинство мыслящих людей остается вовсе не верующими, то немногие верующие все по необходимости становятся и мыслящими, исполняя предписание апостола: будьте младенцами по сердцу, но не по уму (Соловьев 1911: 197).

При этом доминирующей тенденцией общественного развития должно было стать стремление большинства людей к максимальному потреблению утилитарных благ, тем более что материально-технические возможности для производства этих благ в качестве товаров оказывались в это время поистине безграничными. Именно поэтому пожизненный президент европейских

ропейских соединенных штатов, избранный к тому времени римским императором, выдвинул в своем манифесте весьма узнаваемо звучащую сейчас программу развития общества массового потребления, которая со временем должна была разрешить все возможные конфликты и противоречия.

«Народы земли! Я обещал вам мир, и я дал вам его. Но <...> кому при мире грозят бедствия нищеты, тому и мир не радость. Придите же ко мне теперь все голодные и холодные, чтобы я насытил и согрел вас». И затем он объявляет простую и всеобъемлющую социальную реформу <...> Теперь благодаря сосредоточению в его руках всемирных финансовых и колоссальных поземельных имуществ он мог осуществить эту реформу по желанию бедных и без ошутительной обиды для богатых. Всякий стал получать по своим способностям, и всякая способность — по своим трудам и заслугам. Новый владыка земли был прежде всего сердобольным филантропом, и не только филантропом, но и филозоом. Сам он был вегетарианцем, он запретил вивисекцию и учредил строгий надзор за бойнями; общества покровительства животных всячески поощрялись им. Важнее этих подробностей было прочное установление во всем человечестве самого основного равенства — равенства всеобщей сытости (Трубецкой 1995: 285).

Справедливо определив характерную для многих современных ему теорий секуляризованного прогрессизма тенденцию видеть цель исторического развития в «равенстве всеобщей сытости», сам В. С. Соловьев к моменту написания им «Повести об Антихристе» уже пребывал, по словам Е. Н. Трубецкого, «в полном отрешении от всяких земных утопий», и прежде всего — от *утопии прогресса*» (Там же: 285). В это время всемирная история должна была завершиться и одновременно разрешиться для В. С. Соловьева уже и «не во вселенской теократии, а непосредственно во втором пришествии Христовом» (Там же: 288). И особое значение в этом контексте должно было приобрести духовное состояние тех, кто в усло-

виях приближающегося конца всемирной истории не только не покинул историческую, земную Церковь, но, оставаясь в ней, продолжал позиционировать себя в качестве христиан. Поэтому не столько мировоззренческие заблуждения последователей отлучившего себя от земной Церкви Христовой и отлученного Святейшим Синодом от Православной Российской Церкви Л. Н. Толстого, сколько духовные умонастроения конкретных представителей основных конфессий исторического христианства стали предметом глубоких опасений и последних надежд русского философа.

Воспроизводя во многом условную картину искушения представителей исторического христианства Антихристом, великим демагогом и филантропом, В. С. Соловьев провидчески увидел, что не воссоединение христиан как таковое, а объединение их вне Христа, на основе своих собственных, пусть и освященных исторической древностью мифологем, будет обрекать миллионы христиан на массовое отступничество от Христа накануне Его второго пришествия. На страницах «Повести об Антихристе» В. С. Соловьев устами самого Антихриста в столь же художественно выразительно, сколь и церковно-исторически условно формулирует традиционные мировоззренческие соблазны главных конфессий христианства, которые веками препятствовали и в момент пришествия в мир Антихриста могли окончательно воспрепятствовать основной массе христиан сделать правильный выбор между Христом и Антихристом.

Любезные христиане! Я знаю, что для многих и не последних из вас всего дороже в христианстве тот духовный авторитет, который оно дает своим законным представителям, — не для их собственной выгоды, конечно, а для общего блага, так как на этом авторитете зиждется правильный духовный порядок и нравственная дисциплина, необходимая для всех <...> Торжественно объявляем согласно нашей самодержавной воле: верховный епископ всех католиков, папа римский, восстанавливается отныне на

престоле

престоле своем в Риме со всеми прежними правами и преимуществами этого звания и кафедры, когда-либо данными от наших предшественников, начиная с императора Константина Великого <...>

Знаю я, что между вами есть и такие, для которых всего дороже в христианстве его священное предание, старые символы, старые песни и молитвы, иконы и чин богослужения <...> Знайте же, возлюбленные, что сегодня подписан мною устав и назначены богатые средства всемирному музею христианской археологии в славном нашем имперском городе Константинополе, с целью собирания, изучения и хранения всяких памятников церковной древности, преимущественно восточной, а вас я прошу завтра же избрать из среды своей комиссию для обсуждения со мною тех мер, которые должны быть приняты с целью возможного приближения современного быта, нравов и обычаев к преданию и установлениям святой православной церкви!

<...> Известны мне, любезные христиане, и такие между вами, что всего более дорожат в христианстве личною уверенностью в истине и свободным исследованием Писания <...> Сегодня вместе с тем музеем христианской археологии подписал я учреждение всемирного института для свободного исследования Священного Писания со всевозможных сторон и во всевозможных направлениях и для изучения всех вспомогательных наук, с полутора миллионами марок годового бюджета (Соловьев 1911: 210–212).

Зловещая картина готовности большей части христиан искушиться антихристовыми соблазнами на последнем вселенской соборе, нарисованная В. С. Соловьевым, представляется особенно убедительной на фоне сходства описанного им собора с весьма многочисленными сегодня гуманитарно-бесчеловечными форумами и конференциями, на которых любовь к человеку и человечеству часто утверждается не Христа ради, а Христу вопреки. При этом вариативность антихристовых соблазнов в нашу склонную подменять под-

линную христианскую веру многообразием взаимоисключающих и вместе с тем взаимно сосуществующих идеологем эпоху делает положение христиан особенно уязвимым, подчас обрекающим их на духовную смерть уже в их земной жизни. Только пребывание в Церкви Христовой может помочь христианам не только распознать Антихриста, но и пройти через неизбежную для этого мира смерть и завещанное им Христом воскресение, как это произошло на страницах «Повести об Антихристе» с двумя ее главными героями, папой Петром II и епископом Иоанном. Именно поэтому, подводя заключительный итог пророческому прозрению В. С. Соловьева о последних судьбах исторического христианства, Е. Н. Трубецкой писал:

Свободная от всякого *смешения* с миром, церковь осуществляет на земле целость жизни тем единственным путем и способом, который ведет к действительному исцелению, — *через преодоление смерти...* В меру этой веры во Христа и в Церковь остался до конца верен своему идеалу целостной жизни и Соловьев. Победа над смертью через воскресенье двух свидетелей Христовых и соединение церквей вокруг воскресших — вот и все, что остается в «Трех разговорах» (Трубецкой 1995: 296).

Забвение земными Церквями своего главного призвания — быть Царством не от мира сего, растворенность их в пусть и многообразной, и притягательной цивилизационно-культурной ткани онтологически пронизанной грехом земной истории обрекают христиан или на забвение Христа как таковое, или, что оказывается неизмеримо страшнее, на отождествление Христа и Антихриста. Именно это отнюдь не единократно происходящее в истории эсхатологическое искушение земной Церкви представил В. С. Соловьев в качестве последнего духовно-исторического теста на подлинность христианских веры неизбежно малого остатка действительных христиан последних времен.

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

- Соловьев 1911 — Соловьев В. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 10.
СПб., 1911.
- Трубецкой 1995 — Трубецкой Е. Н. Мирозерцание В. С. Соловьева.
Т. II. М., 1995.



Протоиерей Евгений Горячев

«КРЕСТ — ХРАНИТЕЛЬ ВСЕЯ ВСЕЛЕННАЯ...»

«Распятого за нас при Понтии
Пилате, и Страдавшего, и
Погребенного...»

Четвертый догматический
тезис православного Символа
Веры.

Символика культа немногословна и как бы намеренно несговорчива в отношении посторонних. Если к идейному содержанию религиозного феномена у наблюдателя нет личного «посвященного» отношения (если он не участник священнодействия, а всего лишь зритель, взирающий на происходящее извне), его умозаключения по поводу наблюдаемой реальности, скорее всего, поверхностны. Все иначе, когда осмысление культовой символика совершается людьми, находящимися внутри ритуального круга, — для настоящих приверженцев традиции, очевидно, все по-другому, но... Иногда религиозный феномен и указывающий на него символ настолько сложны, что их достоверная интерпретация крайне затруднительна даже для посвященных. В христианстве, например, таким содержательным своеобразием обладает Крест Иисуса Христа — Распятие. И, тем не менее, пытаться говорить об этом «спасительном орудии смерти» подобает в первую очередь все-таки христианам. Настоящая статья является именно такой попыткой¹.

¹ Поскольку уважаемый профессор П.Е. Бухаркин никогда не скрывал своих христианских убеждений, включение в научный сборник, посвященный его 60-летию, статьи такого специфического содержания не представляется нам чем-то неуместным.

Начнем с вполне современной церковной зарисовки. На исповедь к священнику пришла молодая и очень красивая девушка. Она сказала, что не может больше оставаться православной христианкой и должна уйти из Церкви. Священник спросил о причине. «Понимаете, все, что я читаю дома или слушаю в храме на проповедях, заставляет меня от многого отказываться, и конца этому аскетизму не видно. А я? Посмотрите на меня. Разве я могу прожить без той радости, которую мне обещают мои юность и красота. Время торопит, и если я потрачу свою молодость на бесконечные посты и этические запреты православия, о чем я буду вспоминать, когда состарюсь?» Конечно, у всех пастырей для таких случаев есть свои духовные «заготовки». Можно, например, сказать о том, что не только скорбь о грехах и аскетическая сосредоточенность присутствуют в Православии, что есть и ликование о Боге, пережив которое, уже не успокоишься и ни с чем его не перепутаешь. Или, например, о том, что Бог не пошлет испытаний выше наших сил и т.д. Но священник произнес другое. «Хорошо, сделайте, как Вы хотите, только прежде чем окончательно уйдете, постойте у Распятия. Всмотритесь в него как можно внимательнее, а потом скажите Тому, Кто там изображен, то, что сказали сейчас мне, и тогда уходите». Девушка задумалась, видимо, мысленно проделывая то, о чем ее попросили, а потом вдруг произнесла: «Я все поняла. Я остаюсь. Остаюсь в Церкви». Она не объяснила, что именно она поняла, а священник не переспросил, но... Когда в жизни христианам бывает невыносимо, они делают то же самое, — начинают пристально всматриваться в Распятие. И, поверьте, это всегда не напрасно.

В Кресте Христовом есть какая-то неприступная, непостижимая для человеческого ума тайна, но одно понятно даже самым простым из нас. Видимо, человек оказался в такой греховной «пропасти», в таком отчаянном положении, что для того, чтобы ему помочь, Спасителю пришлось пройти через ЭТО. И поэтому возле Распятия как-то стыдно упрекать свое-

го Бога за те трудности, которые случаются с нами на пути к Нему. Впрочем, этот пастырский случай не исключает для нас возможности поговорить о Страстях Христовых значительно пространнее, теперь уже не только в психологическом, но и в интеллектуальном ключе.

— РАСПЯТОГО... —

Цицерон полагал, что казнь на кресте является одним из самых ужасных человеческих изобретений (Цицерон 1962: 283–285). Распятый умирает мучительно долго; всякий раз, пытаясь вдохнуть достаточно воздуха, он опирается на гвозди, пробившие его руки и ноги в области нервных окончаний; наконец, когда все силы заканчиваются (иногда спустя трое суток), человек умирает от удушья. Поэтому перебить голени распятому было, как ни странно, актом милосердия, а не жестокости. Смерть в этом случае наступала почти сразу, буквально в течение нескольких минут. Христос, чрезвычайно ослабленный страданиями предшествующих суток, умер, как мы помним, в сам день казни, в пятницу, за несколько часов до начала субботнего покоя. При этом, согласно пророчеству, «кость Его не сокрушилась», в то время как смерть двух распятых с Ним разбойников солдаты профессионально ускорили (Ин.19: 32–33, 36).

Для иудеев эта казнь считалась не только самой ужасной, но и самой позорной. Дело в том, что из всех казней, предписанных Моисеевым законодательством, самой распространенной была смерть от побития камнями. Кровь — символ жизни — священна. Даже проливаемая санкционировано, по приговору религиозного суда, кровь должна сберегаться; кровопролитие во время казни должно было быть по возможности минимальным, поэтому «камни смерти» в библейской культуре были предпочтительней, например, того же повсеместно практикуемого у язычников обезглавливания. Повешение, как известно, вовсе бескровно, но для евреев оно проклято:



проклято: «Проклят всякий повешенный на дереве» (Втор. 21: 23). Распятие — древнейшая казнь, изобретенная, по-видимому, еще в Месопотамии и получившая затем широкое распространение на всем Ближнем Востоке, была, в конце концов, усовершенствована римлянами, которые и принесли ее вместе с орлами своих легионов на землю Израиля (Элуэлл, Камфорт 2005: 1080). Казнь эта приравнивалась иудеями к повешению. Следовательно, Христос, распятый язычниками, прошел через квинтэссенцию боли и позора одновременно. И вот здесь начинаются споры.

Христианская Церковь называет мучения, перенесенные Богочеловеком в последние дни Его земной жизни, непревзойденными, беспримерными, неповторимыми, причем как в физическом, так и в духовном плане. Но у многих скептиков часто возникал и продолжает возникать вопрос: в чем же эта «непревзойденная неповторимость»? Ведь то, чего не знал по обстоятельствам своего времени Цицерон, теперь хорошо знает любой мало-мальски просвещенный образованный человек. Стоит прочесть одну-две монографии по истории пыток, и сразу же станет понятно, что есть такие этнические изуверства, которые невыносимо даже описывать, не то, что их переносить². Кроме того, людей в истории распинали задолго до Иисуса, распинали при Иисусе и, хотя это грустно признавать, продолжают распинать и по сей день (Zarrokh 2008: 10), правда, намного реже, но ведь распинают, причем не всегда за дело, то есть заведомо невиновных. Так в чем же тогда уникальность именно Евангельского распятия? Краткий христианский ответ на этот вопрос действительно краток: люди все время распинали и до сих пор распинают людей, и только однажды они распяли Богочеловека. Если же говорить подробнее, то беспримерность Страстей Христовых, как догматическое *credo* Церкви, можно выразить и пояснить двумя богословскими цитатами. Одна из них принадлежит философу, другая святому.

² См., например: (Скотт 2002: 59).

Люди различной моральной высоты страдают различной мерой страданий. Кто страдал больше: Гаршин и Чехов или целые тысячи упитанных сытых людей? Или, кто страдал больше: все люди вместе взятые или Тот, Кто принял в душу Свою все страдания мира, у Кого от борения и муки выступил кровавый пот на челе? Можно не верить в Христа как в Бога, но всякий должен признать, что в Гефсиманском саду и на Голгофе открылась такая бездна страдания, которой не было раньше и которой больше уж не было (Эрих 1991: 205–206).

Преподобный Силуан Афонский (†1938) высказывался на эту же тему еще более выразительно: «Чем совершеннее любовь, тем святее жизнь; чем горячее любовь, тем пламеннее молитва; чем полнее любовь, тем полнее познание; чем больше любовь, тем больше страданий душе»³. Недостигаемая моральная высота, непостижимая мера любви, присутствующие в личности Иисуса из Назарета, — вот то, что позволяет христианам настаивать на уникальности Его богочеловеческих страстей не только духовного, но и телесного свойства, ибо двойственность природы (даже у обычного человека) предполагает влияние души на тело и наоборот.

— РАСПЯТОГО ЗА НАС... —

Есть одна психологическая закономерность, связанная с идеей чего-то для нас нежелательного. Чем неприятнее дело, тем сильнее нам хочется от него уклониться. Зная, что где-то нас унижат, оскорбят, причинят боль (контора содобеспечения, компания хулиганов-одноклассников, зубной врач и т. д.), мы стремимся туда только вынужденно и никогда добровольно.

³ В оригинале эта фраза звучит иначе: «Чем больше любовь, тем больше страданий душе; чем полнее любовь, тем полнее познание; чем горячее любовь, тем пламеннее молитва; чем совершеннее любовь, тем святее жизнь» (Софроний 2007: 153). Наша стилистическая правка не меняет общего смысла высказывания, но лишь подчеркивает тему страданий.

Есть, конечно, феномен мазохизма, но сейчас мы говорим о норме, а не о патологии. А норма проста: подальше от неприятного, подольше без мучительного. Так думают все люди, и если бы нам грозила самая большая неприятность на свете — жесточайшая насильственная смерть, естественно, мы всеми силами старались бы ее избежать или хотя бы отсрочить. А теперь посмотрим, как это человеческое свойство применимо к Основателю христианства.

Иисус Христос, так же как и все люди, чувствовал боль, так же как и все живущие, ужасался пространства приближающейся к Нему смерти («Душа Моя скорбит смертельно...» (Мр. 14: 34), «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия...» (Мф. 26: 39)), но при этом Он не только не уклонялся от самого страшного в Своей жизни времени, но утверждал, что именно «на час сей» Он и пришел в мир (Ин. 12: 27). С точки зрения христиан здесь вновь начинается область сакрально-непостижимого. Даже религиозные люди (неверующие в данном случае не в счет) никогда не смогут понять до конца, как одно трагическое злодеяние — грехопадение человека, упраздняется другим, еще более трагичным — распятием Сына Божьего?! Фраза: «Для того, чтобы был жив человек, однажды придется умереть Богу» парализует и одновременно покоряет наше сознание магией своей величественной невмещаемой глубины. Одно мы можем утверждать со всей определенностью: Господь Иисус Христос не только «грядет на вольную страсть», не только говорит, что нет никаких внешних или внутренних причин, заставляющих Его поступить со Своей жизнью так, а не иначе («Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин. 10: 18)), но и свидетельствует о том, что все это делается Им во имя нашего спасения (Ин. 14: 3). Отсюда такое невероятное снисхождение Мучимого и Распинаемого к Своим мучителям и распинателям: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят» (Лук. 23: 34).

СТРАДАВШЕГО...

Часто светские люди, сталкиваясь с необъяснимыми и чрезмерными с их точки зрения страданиям, восклицают: «Если бы Бог был, этого бы не случилось. Но если Он все-таки есть и это случилось, значит, Он абсолютно безжалостен»! Действительно, тайна иных индивидуальных или коллективных страданий бывает столь же непостижима, как и тайна самого Распятия. Бог не отвечает людям на каждый заданный ими вопрос о причине тех или иных человеческих бедствий. Мы верим, что правильные ответы где-то есть и однажды прозвучат во всеуслышание, но в этой жизни наши собственные ответы почти всегда гадательны. Однако Предвечный Бог делает здесь, во времени нечто большее, чем то, о чем мы Его спрашиваем. Не отвечая нам прямо о причинах конкретных несчастий, Христос, воплотившись, входит в самую гущу всех человеческих бед, входит в «боль и стон этого мира», как один из нас, становится рядом с человеком и на место человека в моменты самых больших и ужасных страданий.

Возьмем хотя бы один пример. Первые христиане, пребывая в Духе Святом, часто презирали страх истязаний и насильственной смерти даже перед лицом самых бесчеловечных и профессиональных мучителей. Впрочем, была и иная, чисто рациональная попытка объяснить природу этого религиозного бесстрашия. Некоторые исследователи эпохи мучеников считали, что на твердость многих, пострадавших от императорских гонений, повлияла не чудесная Божественная помощь, а лишь их собственное языческое происхождение и воспитание. Дескать, с детства, приученные к крови и боли язычники (ср. историю Муция Сцеволы), ставшие христианами, долго не теряли этого навыка и в Церкви. Ограниченные рамками настоящей статьи, мы не можем сейчас пространно и авторитетно включиться в этот исторический спор, но мы можем объективно утверждать, что в более поздние эпохи большинство христиан шло на смерть и пытки уже не столь героически.

геройски. Мученики других эпох, в том числе и самой недавней, тоже не отрекались от своего Бога и в истязаниях и перед расстрелом, но при этом боялись они расстрела и истязаний так же, как и все остальные простые смертные⁴.

Иногда, сравнивая самого Иисуса Христа с первыми церковными мучениками, нам кажется, что они (страшно произнести) были даже в чем-то мужественнее и героичнее. Ведь они терпели то ужасное, о чем нам ужасно и рассказывать, но при этом, порой даже подсмеиваясь над своими палачами⁵, в то время как Христос на кресте стонет от боли, просит пить, наконец, произносит слова, свидетельствующие о крайней степени Своего отчаяния: «Около девятого часа возопил Иисус громким голосом: <...> Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27: 46).

Мы убеждены, что такое сравнение неуместно, поскольку именно такая «немошная» смерть Христа важнее для христиан всякого беспрецедентного стоического мужества; ибо на самом деле этот «испуганный» образ умирания Богочеловека явлен, по мнению Церкви, исключительно «нас ради человек». Все люди, за редким исключением, боятся страданий, боятся смерти; религиозные люди, помимо этого, ужасно страшатся богооставленности. И вот все эти страхи Христос берет на Себя, пропускает через Себя, делает их Своими. Поэтому после того, как произошли Новозаветные события, в этом мире больше нет ни одного заслуженного человеческого ужаса, который бы, увы, незаслуженно, но ради этих же людей не испытал бы на Себе Господь Иисус Христос!

Однако и здесь древнее лукавство (Иов. 1: 9) диктует скептикам свои многочисленные сомнения. «Допустим, — говорят

⁴ С художественной точки зрения убедительным доказательством этого тезиса является образ нехраброго священника, несущего свое пастьерское служение в революционной Мексике. См.: (Грин 1992).

⁵ Один христианский святой, истязаемый мучителями на медленном огне, вместо просьбы о снисхождении, вдруг сказал этим людям: «Переверните на другую сторону — мясо подгорает».

некоторые светские моралисты, — все так и есть, как учит ваша христианская Церковь, допустим. Но ведь Иисус заранее знал не только о своем страдании, но и о конечном счастливом избавлении от него — воскресении из мертвых (Мф.17: 22–23). Так не достойнее ли вашего чудотворца из Назарета любой простой человек, который ничего не знает о своем будущем и даже ничего от него не ждет для себя лично, но при этом все равно шагает на амбразуру, бросается за ребенком под колеса поезда и пр., словом, страдает и жертвует своей жизнью за других, лишь потому, что не может поступить иначе?»

Вопрос нелегкий, но и небезответный. Несомненно, Бог учтет всякое бескорыстное самопожертвование, однако следует помнить, что и высшая жертва собственной жизнью может, в конечном итоге, не спасти человека. Если в основе самоотдачи лежит, например, тщеславие — «на миру и смерть красна», — а не любовь, то нет такому жертвователю «в том никакой пользы» (1 Кор. 13: 3). Но допустим, и мотив, и сам поступок нравственно безупречны, в чем же тогда разница между Крестом Христовым и, образно выражаясь, амбразурой Александра Матросова? Разница колоссальная! Все самые искренние и чистые герои мира (своего рода объединенная ЖЗЛ) не могут дать другим людям ничего, кроме красивого жертвенного поступка и дальнейшей памяти о нем. Это много, никто не спорит; но, увы, и тех, кто спасен чьим-то самопожертвованием, и тех, кто даже спустя тысячелетия помнит чужую отвагу и восхищается ей, равно как и самих великих героев, ждет в итоге только одно — состояние открытое Одиссеею мертвым Ахиллом: «Лучше быть последним поденщиком на земле, чем царем над теньями»⁶. А отнюдь не мифический царь Соломон, размышляя о том же самом,

задавался

⁶ Ср. это с гомеровским текстом: «О Одиссеей, утешения в смерти мне дать не надейся; √ Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле, √ Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой засушенный, √ Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый» (Гомер 2000: 131).

задавался вопросом: что толку во всем этом, если «всему и всем — одно»? (Екл. 9: 2)⁷. Без того, что делают Спасительные Страсти Христовы для подлинного человеческого будущего, все прочие тварные дерзновения словно пригоршня пыли, брошенная навстречу ураганному ветру!..

~ И ПОГРЕБЕННОГО... ~

Сын Божий идет на Крест в соответствии с таинственным Божьим замыслом (Ин. 8: 28-29), но при этом в пространство смерти входит Тот, Кто «смерти не сотворил», ибо Он — Сама Жизнь, онтологически противоположная смерти. И поэтому только Бог ведает то, что это для Него означало...

~ ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ... ~

И наконец, последнее, о чем не следует забывать, говоря на эту тему.

Сын Человеческий идет, как написано о Нем, по горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается... (Мр. 14: 21).

Христовы Страсти спасительны, но не для всех. Висеть на Кресте и прибывать ко Кресту не одно и то же... Каждая литургия заканчивается одинаковым утверждением: «Христос Истинный Бог наш... помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец». Это не просьба — «помилуй» и не надежда — «надеюсь, что спасет», это именно утверждение — «помилует и спасет», потому что Он Благ и Человеколюбив. Что это — ошибка? А как же подвиг, как же последний «неведомый путь между страхом и надеждой»⁸? Нет, конечно. Нет никакой ошибки. Это чистая правда. Бог спасет все, что может

⁷ По учению Церкви с момента грехопадения первых людей и вплоть до принесения спасительной Христовой Жертвы рай как блаженное бытие человека с Богом был для любого смертного невозможен (Быт. 3: 23-24).

⁸ «Иду в незнаемый я путь, иду меж страха и надежды...» (Толстой 1977: 237-238).

быть спасено, потому что Его природа — абсолютное Добро. Он просто не может иначе. И поэтому Господь действительно спасет и помиует всех нас, если только все мы (или только некоторые из нас) не станем активно сопротивляться и мешать Ему в этом!.. «Я приму вас всех, с вашими беззакониями и страстями, с вашей суетностью и несовершенством... Я приму вас всех. Но как вы посмотрите Мне в глаза?!»

Имена Понтия Пилата, Иуды, Каиафы, образы иудеев, требующих распятия своего Машиаха, и римских солдат, совершающих эту отвратительную казнь, уже давно сделались нарицательными. «Не я ли, Господи?» (Мф. 26: 22) — по-прежнему звучит в нашем мире, по-прежнему вырывается из миллионов человеческих уст, но ответа нет, во всяком случае такого, который бы сразу записывал отдельного вопрошающего в «сыны погибели». Ответа нет. Бог уже все сказал и все сделал. Больше того, мы уже, в общем-то, все о себе знаем через голос нашей христианской совести, и лишь с небольшой отсрочкой ждем, когда это знание окончательно подтвердят божественные глаза Распятого...

— СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ —

- Библия 1983 — Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, в русском синодальном переводе с приложениями. Брюссель, 1983.
- Гомер 2000 — Одиссея / пер. В. А. Жуковского. М., 2000.
- Грин 1992 — Грин Г. Сила и слава / Грин Г. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2. М., 1992.
- Скотт 2002 — Скотт Д. История пыток. М., 2002.
- Софроний 2007 — Софроний (Сахаров), пером. Старец Силуан. СПб., 2007.
- Толстой 1977 — Толстой А. К. Иоанн Дамаскин / Толстой А. К. Стихотворения. М., 1977. (серия «Поэтическая Россия»)

- Цицерон 1962 — Цицерон Марк Туллий. Речь в защиту Гая Ра-
 бирия, обвиненного в государственном преступлении *ℳ* Цице-
 рон Марк Туллий. Речи: в 2 т. Т. 1: 81–63 гг. до н. э. М., 1962.
- Элуэлл, Камфорт 2005 — Элуэлл У., Камфорт Ф. Большой Библей-
 ский словарь. СПб., 2005.
- Эри 1991 — Эри В. Ф. Сочинения. Идея катастрофического прогресса.
 М., 1991. (Приложение к журналу «Вопросы Философии»)
- Zarrokh 2008 — Zarrokh E. Case Study in Iranian Criminal system.
 [Электронный документ] *ℳ* Munich Personal Repec Archive. 2008.
 URL: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7263/> (дата обращения
 02.03.2015).



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Александров Кирилл Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Энциклопедического отдела Института филологических исследований Санкт-Петербургского государственного университета, докторант Санкт-Петербургского Института истории Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), alexandrov_k@inbox.ru

Алексеева Надежда Юрьевна, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), alexen.fay@rambler.ru

Аникина Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), anikina.tatiana@mail.ru

Вачева Ангелина, доктор филологии, доцент кафедры русской литературы Софийского университета им. св. Климента Охридского (София, Болгария), avacheva@slav.uni-sofia.bg

Веселова Александра Юрьевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), aveselova@inbox.ru

Виролайнен Мария Наумовна, доктор филологических наук, зав. отделом пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), virolainen@mail.ru

Власов Сергей Васильевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры французского языка Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), vlasovsv7@gmail.com

Водолазкин Евгений Германович, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), evodolazkin@mail.ru

Волков Сергей Святославович, кандидат филологических наук, зав. отделом «Словарь языка М. В. Ломоносова» Института лингвистических исследований Российской академии наук, доцент кафедры прикладной и математической лингвистики Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), sergejvolkov2006@yandex.ru

Горячев Евгений Геннадьевич, протоиерей, священник Тихвинской епархии Московского патриархата Русской православной церкви, настоятель Благовещенского собора в г. Шлиссельбурге, председатель Отдела образования Тихвинской епархии, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии (Санкт-Петербург, Россия), hesed@bk.ru

Гуськов Николай Александрович, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), kako@mail.ru

Дёмин Антон Олегович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), idamante@yandex.ru

Дюринг Михаэль, Dr. habil., профессор, зав. кафедрой славянской культурологии и славянского литературоведения университета К. Альбрехта (Киль, Германия), dueringm@slav.uni-kiel.de

Екуч Ульрике, Dr. habil., профессор Института славистики университета Э. М. Арндта (Грейфсвальд, Германия), jekutsch@uni-greifswald.de

Зубков Кирилл Юрьевич, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета, младший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), k_zubkov@inbox.ru

Илчева Радослава Велчева, доктор филологии, доцент Института литературы Болгарской Академии наук, направление «Сравнительное литературоведение» (София, Болгария), rilcheva@abv.bg

Карева Наталия Владимировна, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), natasha.titova@gmail.com

Карпов Александр Анатольевич, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского

государственного университета, зав. кафедрой истории русской литературы (Санкт-Петербург, Россия), aleksandrkarpofov@yandex.ru

Кочеткова Наталья Дмитриевна, доктор филологических наук, зав. Отделом русской литературы XVIII века Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), kndmail@mail.ru

Круглов Василий Михайлович, доктор филологических наук, зав. Большой словарной картотекой Института лингвистических исследований Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), vmkruglov@rambler.ru

Кукушкина Елена Дмитриевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), horazoo7@mail.ru

Ланно-Данилевский Константин Юрьевич, Dr. habil., доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, urij-danilevskij@yandex.ru

Левитт Маркус, Ph. D., профессор кафедры славянских языков и литератур Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес, США), levitt@usc.edu

Маргграфф Уте, Dr. phil., научный сотрудник Института славистики университета Э. М. Арндта (Грейфсвальд, Германия), ute.marggraff@uni-greifswald.de

Матвеев Евгений Михайлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук, старший преподаватель кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), ematveev@list.ru

Мейер-Фраатц Андреа, Dr. habil., профессор кафедры славянской филологии университета Фридриха Шиллера (Иена, Германия), andrea.meyer-fraatz@uni-jena.de

Митрофанов Георгий Николаевич, протоперей, кандидат философских наук, доктор богословия, священник Санкт-Петербургской

епархии Московского патриархата Русской православной церкви, настоятель храма свв. апп. Петра и Павла в Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования, профессор Санкт-Петербургской духовной академии (Санкт-Петербург, Россия), mitrophanov@yandex.ru

Николаев Сергей Иванович, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), sergej_nikolaev2@mail.ru

Отрадин Михаил Васильевич, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), leupina@mail.ru

Пономарева Марина Валерьевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), marinus.ponomarus@gmail.com

Рождественская Милена Всеволодовна, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), milena.rozh@gmail.com

Рождественская Татьяна Всеволодовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия) (Санкт-Петербург, Россия), rogd@hotmail.ru

Росси Лаура, доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы Департамента иностранных языков и литератур Миланского государственного университета (Милан, Италия), laura.rossi@unimi.it

Руднев Дмитрий Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), rudnev@mail.ru

Рубинс Мария Олеговна, доктор филологии, доцент кафедры русской литературы факультета славяноведения и Восточной Европы Лондонского университета (Лондон, Великобритания), m.rubins@ucl.ac.uk

Симанков Виталий Иванович, аспирант кафедры славистики Браунского университета (Провиденс, США), vitaliy_simankov@brown.edu

Соловьев Андрей Юрьевич, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русская литература», Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука-СПИКФ» (Санкт-Петербург, Россия), an.solovjov@gmail.com

Тверьянович Ксения Юрьевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия), ksutver@gmail.com

Тираспольская Анна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка для гуманитарных и естественных факультетов Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), anna@kadr.school.spb.ru

Федорак Назар Любомирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры украинской литературы им. М. Возняка Львовского национального университета им. Ивана Франко (Львов, Украина), pfedorak@ukr.net

Хольтц Бритта, магистр, аспирант кафедры славянского литературоведения философского факультета университета им. Э. М. Ардта (Грейфсвальд, Германия), bholtz@uni-greifswald.de

Чердаков Дмитрий Наилевич, старший преподаватель кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), dcherdakov@mail.ru

Шнайдер Натали, магистр, аспирант кафедры славянского литературоведения философского факультета университета им. Э. М. Ардта (Грейфсвальд, Германия), natalie-schneider@yandex.ru

Яковлев Владимир Васильевич, кандидат исторических наук, зав. Энциклопедическим отделом Института филологических исследований филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), enc_otd@rambler.ru

АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Александров К. М. «Вы — достойнейший из всех». Неизвестные письма 1933 г. протопресвитера Георгия Шавельского и генерала от кавалерии Петра Николаевича Краснова профессору Николаю Николаевичу Головину

Впервые публикуемые письма из Гуверовского архива, принадлежащие перу протопресвитера Георгия Шавельского и генерала от кавалерии П. Н. Краснова, адресованы генерал-лейтенанту Н. Н. Головину в связи с 25-летием его профессорской и военно-научной деятельности. Авторы подчеркивают значение трудов профессора Н. Н. Головина для отечественной науки и русской культуры, отдают должное личным качествам ученого.

Ключевые слова: Головин, Краснов, Шавельский, военно-научные курсы, эмиграция, русское зарубежье, русская военная культура, наука в изгнании

Алексеева Н. Ю. Пример из риторики Ломоносова в стихах Державина

В статье рассматривается использование Державиным примера из риторики Ломоносова. Перевод Ломоносова фрагмента из «Метаморфоз» Овидия Державин использовал в двух одах: «На рождение в Севере порфиородного отрока» и в «Осени во время осады Очакова».

Ключевые слова: Ломоносов, Державин, Овидий, риторика, образец, ода, заимствование, перевод

Аникина Т. Е. Об эвфонии в верлибре

Статья посвящена вопросу звуковой организации верлибра в русской и чешской стиховой традиции как самой тонической и самой силлабической из традиций славян. Основываясь на мысли чешского исследователя Й. Грабака, что стихосложение, являясь замкнутой системой, обладает свойством смены первичных и вторичных признаков, можно предположить, что для верлибра звукопись из вторичных признаков переходит в признак первичный и является обязательным структурирующим элементом этого вида стиха, в то время как равно-

мерное распределение ударений и равное количество слогов становятся признаками вторичными.

Ключевые слова: верлибр, эвфония стиха, аллитерация, чешское стихосложение

Вачева А. Россия в переписке Валентина Жамре Дюваля и Анастасии Соколовой (1761–1774)

В статье рассматривается недостаточно комментированная в научной литературе переписка французского философа-самоучки Валентина Жамре Дюваля и фрейлины Екатерины II Анастасии Ивановны Соколовой (де Рибас). Занявшая 13 лет (1761–1774) и охватывающая 125 писем, корреспонденция представляет собой непревзойденный источник для изучения восприятия образа России в Западной Европе во второй половине XVIII столетия. Содержание писем охватывает все значительные российские исторические, общественные и культурные события и созвучно с идеями и иллюзиями европейского Просвещения.

Ключевые слова: Валентин Жамре Дюваль, Анастасия Соколова, Екатерина II, Россия, переписка, XVIII в.

Веселова А. Ю. Духовная поэзия А. Т. Болотова

В статье рассматривается та часть поэтического наследия Болотова, которую сам автор называл духовной поэзией. Анализируется состав сборников, основные жанровые разновидности духовных стихов Болотова, их идейно-философское содержание и приемы стихосложения.

Ключевые слова: А. Т. Болотов, русская литература XVIII в., духовная поэзия, переложения псалмов, молитвы

Виралайнен М. Н. Продуктивность непереводимости

Присутствие в рамках одной культуры нескольких непереводимых друг на друга языков, гетерогенность языкового поля культуры увеличивает потенциал ее продуктивности в том случае, если языковые границы, с одной стороны, признаются мощным барьером, с другой стороны, берутся приступом.

Ключевые слова: продуктивность, непереводимость, перевод, языки культуры, гетерогенность, диглоссия, двуязычие

Власов С. В. «Слово о витийстве» В. К. Тредиаковского в сопоставлении с античной и западноевропейской риторической традицией XVI–XVIII веков

В статье дается источниковедческий анализ взглядов В. К. Тредиаковского на основные понятия риторики в сравнении с античной и западноевропейской риторической традицией XVI–XVIII вв. Указываются источники представлений Тредиаковского о «витиеватом и тонком стиле», а также его передовых взглядов на проблему синонимии, выявляется оригинальность позиции первого русского профессора элоквенции по отношению к традиционному учению о трех стилях и о происхождении тропов, вскрывается скрытая полемика Тредиаковского с Б. Лами по поводу происхождения индивидуальных писательских стилей.

Ключевые слова: В. К. Тредиаковский, «Слово о витийстве», Ш. Роллен, «витиеватое и тонкое» красноречие, теория синонимов аббата Жирара, полемика Тредиаковского с аббатом Лами.

Водолазкин Е. Г. Палея Гурия Рукинца и «подпоручик Киже» отечественной лексикографии

Настоящее исследование посвящено одному из типов Палей, содержащемуся в уникальной рукописи, владельцем которой был некий Гурий Рукинц из Кирилло-Белозерского монастыря. В статье представлено исследование источников этого текста, а также методов его создания. В связи с Палеей речь идет также о любопытном лексикографическом недоразумении — слове «модлязычень».

Ключевые слова: древнерусская литература, священная история, Палея, хронографы, Кирилло-Белозерский монастырь

Волков С. С., Матвеев Е. М. Об одной иллюминации середины XVIII века: Я. Штелин — В. И. Лебедев — М. В. Ломоносов

В статье представлен анализ текстов, связанных с иллюминацией в честь годовщины коронации императрицы Елизаветы Петровны, которая была представлена в Петербурге 25 апреля 1751 г. Предметом исследования стали проект иллюминации Я. Штелина, перевод В. И. Лебедевым этого проекта на русский язык, стихотворные надписи Я. Штелина и М. В. Ломоносова, описание состоявшегося празднества, опубликованное в «Санкт-Петербургских ведомостях». Особое внимание уделено

семантике и референциальной отнесенности слова «аллея» в текстах В. И. Лебедева и М. В. Ломоносова, а также встречающимся у Я. Штелина немецким эквивалентам данной лексики.

Ключевые слова: панегирическая традиция, иллюминация, стихотворная надпись, Я. Штелин, В. И. Лебедев, М. В. Ломоносов, садовая культура, перевод, немецкий язык

Горячев Е. Г., прот. «Крест — хранитель всея вселенная»

Крест является одним из самых важных и одновременно таинственных символов христианства. Воплотившийся в человеческое тело Господь Иисус Христос сознательно идет на крестную смерть, чтобы спасти таким жертвенным способом отпавшее от Бога человечество, и дать возможность всем, кто пожелает, вновь воссоединиться со своим Создателем.

Ключевые слова: ритуал, символ, крест, казнь, страдания, жертва, традиция, спасение, полемика, история

Гуськов Н. А. «Свобода и покой»: к истории поэтической формулы

В статье рассматривается возникновение и функционирование в русской литературе XVIII — начала XIX в. поэтической формулы «свобода и покой» и ее синонимических вариантов. Омонимическое выражение нескольких освоенных в России топосов античной и европейской культуры привело к смешению и трансформации этих топосов и автоматизации поэтической формулы, обновленной в творчестве Пушкина и Лермонтова, которые заложили новую традицию ее употребления.

Ключевые слова: русская литература, литература XVIII в., литература первой половины XIX в., топос, тема свободы, тема покоя, горацианская поэзия, политическая поэзия

Дёмин А. О. Вокруг державинского перевода «Федры» Расина

В статье приводятся малоизвестные факты, свидетельствующие об актуальности державинского перевода «Федры» Расина для литературного процесса начала XIX в.

Ключевые слова: драматургия, перевод, Державин, Гнедич, Шиллер, Расин

Дюринг М. Формирование канона в Советском Союзе: Дж. Свифт как классик детской литературы

Процесс советской канонизации Свифта прошел три уровня. Первый уровень (критическая рецепция) доказывает, что идеологический подход к творчеству Свифта начинается уже в 1917 г. и заканчивается в 1939 г. На втором уровне происходит рецепция произведений Свифта советскими переводчиками. Появляются образцовые советские переводы, в частности, «Путешествий Гулливера», которые были канонизированы государственными издательствами при помощи чрезвычайно высоких тиражей. Третий уровень рецепции Свифта — создание дополнений к «Путешествиям Гулливера». Их авторы пользовались аллегорическим потенциалом оригинала.

Ключевые слова: Свифт, канонизация, критическая рецепция, «Путешествия Гулливера», переводы для детей

Екуч У. Литературный перевод между поэзией и прозой. О переводе «Неожиданного свидания» И. П. Гебеля Василием Жуковским

В 1818 г. В. А. Жуковский обращается к переводу короткого рассказа И. П. Гебеля «Неожиданное свидание». 13 лет спустя он снова вернулся к тексту, завершил и опубликовал его. В статье выявлено соотношение художественных принципов оригинального немецкого прозаического текста и перевода Жуковского, выполненного гекзаметром.

Ключевые слова: литературный перевод, гекзаметр, стих и проза, повествование, календарный рассказ, календарь

Зубков К. Ю. «Солнце правды»: метафорика поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» и литературный контекст

Работа посвящена анализу поэтического языка поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» как в контексте современной Некрасову поэзии (М. П. Розенгейм, В. Г. Бенедиктов), так и в связи с литературной традицией, восходящей к М. В. Ломоносову. Особое внимание уделяется творческой истории поэмы.

Ключевые слова: Некрасов, поэтика, литературный контекст, ода

Илчева Р. Меч и лира. К вопросу о поэтическом творчестве в среде русской военной эмиграции в Болгарии

Объектом внимания являются 66 стихотворений, опубликованных на страницах семи изданий военной эмиграции в Болгарии в 20–30-е гг.

XX в. Авторы, в большинстве случаев не связанные профессионально с литературой, однозначно сориентированы на предшествующие и легко узнаваемые литературные и культурные модели. Тексты представляют собой пример консервирования литературной традиции в чужой языковой среде.

Ключевые слова: военная эмиграция, Галлиполи, литературные традиции, культурные модели

Карева Н. В. Первые издания в России грамматики французского языка и их источники (трактатка категории глагольного времени в «Новой французской грамматике» В. Е. Теплова и «Explication de la Grammaire Française» П. де Лавалья)

В статье представлены биографические сведения о В. Е. Теплове и П. де Лавале, очерчивается круг французских и немецких источников их грамматик, делаются выводы о педагогических установках и переводческих стратегиях обоих авторов.

Ключевые слова: XVIII в., французский язык, Академия наук, В. Е. Теплово, П. де Лаваль, категория глагольного времени

Карпов А. А. «Медный всадник» Пушкина в переложении Платона Смирновского

В статье характеризуется дебютный сборник П. С. Смирновского «Повести и рассказы» (СПб., 1838). Особое внимание уделено повести «Утопленник», представляющей собой переработку сюжетной части поэмы Пушкина «Медный всадник».

Ключевые слова: классика, массовая литература, рецепция, стихи, проза

Кочеткова Н. Д. Топос «тишины» в поэзии Карамзина

Русские поэты XVIII в., следуя за Ломоносовым, обращаются к теме мира («тишины»). Этот топос приобретает новые коннотации в одах Хераскова и особенно в поэзии Карамзина.

Ключевые слова: русская поэзия XVIII в., традиции, тема мира, М. В. Ломоносов, М. М. Херасков, Н. М. Карамзин

Круглов В. М. О характере нормы в русском языке первой четверти XVIII века

Работа посвящена истории русского литературного языка. Анализируются основные особенности нормы первой четверти XVIII в. В печат-

ных и рукописных текстах этого времени наблюдается (1) варьирование языковых единиц в пределах одного текста и (2) расширение сферы употребления стилистически маркированных синтаксических конструкций. Варьированием отмечено и использование заимствованных слов, в частности, слов *шkipер* и *штурман* в русском переводе «Устава морского Людовика XIV» (1715).

Ключевые слова: история русского языка, история литературного языка, норма, XVIII в., Петровская эпоха.

Кукушкина Е. Д., Симанков В. И. Трагедия Н. Н. Сандунова «Сидней и Энни» и репертуарная политика Петровского театра в 1780-е годы

В статье предпринимается попытка пролить свет на источники малоизученной трагедии Н. Н. Сандунова «Сидней и Энни» (1787–1789). В частности, впервые проводится сопоставление с одной из вставных новелл, входящих в многотомное сочинение Ж.-Б.-К. Делиля де Салья «De la Philosophie de la Nature» (1770), а также с трагедий И. А. Феслера «Sydney» (1788). Несмотря на многочисленные параллели, выявленные между трагедией Сандунова и западноевропейскими источниками, авторы, тем не менее, предпочитают воздержаться от поверхностных обобщений и не считают возможным вынести однозначный вердикт.

Ключевые слова: Н. Н. Сандунов, Сидней и Энни, Ж.-Б.-К. Делиль де Саль, И. А. Феслер, полковник Кирке

Лапто-Данилевский К. Ю. Из наблюдений над рукописями переводов Вяч. Иванова

Статья содержит уточнения к уже напечатанным переводам Вяч. Иванова из «Бхагавадгиты»; публикуются неизвестные переводы из Вергилия, Овидия, Ювенала; отвергается принадлежность Вяч. Иванову одного перевода из Солона.

Ключевые слова: русская литература первой трети XX в., модернизм, рецепция античности, история перевода

Левитт М. О великости Екатерины II

В статье идет речь о том, как «величие» Екатерины II мыслилось в контексте культуры ее эпохи. С одной стороны, императрице нужно было заявить о своей добродетели, чтобы утвердить монаршую власть.

С другой стороны, ей угрожало обвинение в «ложной славе», в желании наслаждаться хорошей репутацией при жизни.

Ключевые слова: величие, Екатерина II, великий человек, философ, титулатура, репутация, Просвещение, бессмертие

Маргграф У. Образ самозванца в пьесе А. С. Пушкина «Борис Годунов»: формирование и функция авто- и гетеростереотипов

В статье рассматривается образ черта в романтической драме А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825) в контексте мифологической дохристианской и христианской культурной традиции. Различные варианты текста, представленные в Собрании сочинений 1948 г., служат доказательством, что Пушкин, сознательно трансформируя и синтезируя известные ему фольклорные и библейские мифы, использует их не только для того, чтобы придавать своим персонажам многозначность, но и для того, чтобы создать глубокую связь между отдельными сценами и сделать их комплексными. Ставя знаковые системы русской, польской, литовской, украинской, французской и немецкой культур в связь друг с другом, Пушкин в завуалированной форме показывает, что скепсис по отношению к «Чужому» или «Другому» есть совместное «приданое» всех народов. Одновременно эстетически уплотненная картина текста помогает пролить свет на исторически конкретное живое значение каждого из использованных отдельными персонажами стереотипов, что позволяет заинтересованному зрителю их разрушить.

Ключевые слова: мифология черта, Пушкин, «Борис Годунов», стереотипы, «свой — чужой», аксиология, Смута, интертекстуальность, христианская мифология, языческая мифология

Мейер-Фраатц А. Неоднозначность и амбивалентность как эстетическое самоутверждение: русская литература XX века в свете диалогизма М. Бахтина

Понятия диалогичности Михаила Бахтина тесно связано с понятиями неоднозначности и амбивалентности. В данной статье на примере четырех произведений русской литературы XX в. показано, как можно понять теорию Бахтина в данном смысле и каким образом она представляет собой параллель с поэтикой таких авторов, как Даниил Хармс, Евгений Замятин и Андрей Платонов, а также писателей второй

половины XX в., в частности, Андрея Битова. В то время как в случае Хармса ингерентная, имманентная неоднозначность текста приводит к диалогу между учеными, тексты Платонова и Замятина тесно связаны с проблемой дистопии, для которой характерно внедрение диалогичности в «монологически» представленный в произведении мир. Последний пример — «Пушкинский дом» Андрея Битова — тесно связан с постмодернистской поэтикой неоднозначности.

Ключевые слова: неоднозначность, амбивалентность, Бахтин, диалогичность, постмодернизм

Митрофанов Г. Н., прот. «Три разговора» В. С. Соловьева — анти-толстовский манифест или эсхатологическое прозрение

В статье раскрывается главный пафос трактата В. С. Соловьева «Три разговора». Показано, что основное внимание В. С. Соловьев уделяет не полемике с толстовством, а тому, чтобы предостеречь христиан от объединения вне Христа, на основе своих собственных, пусть и освященных исторической древностью, мифологем.

Ключевые слова: религиозная философия, В. С. Соловьев, Е. Н. Трубецкой, толстовство, эсхатология, Церковь

Николаев С. И. Жить по Плутарху

В статье анализируется восприятие в России «Изречений...» Плутарха в обработке польского писателя XVI в. Б. Будного, русский перевод которых был впервые опубликован по повелению Петра I в 1711 г. Автор статьи разбирает примеры цитирования перевода Петром I и М. В. Ломоносовым.

Ключевые слова: русская литература XVIII в., античная литература, перевод, компаративистика

Отрадин М. В. «Забавное» сделать комическим. Юмор в романе И. А. Гончарова «Обрыв»

Сегодняшнее прочтение «Обрыва», наименее изученного из романов И. А. Гончарова, невозможно без ответа на вопрос, какую роль в этом произведении играет трагокомическое начало.

Ключевые слова: юмор, сюжет, комическое, субъективизация, трагическое, характер, роман, повествование, автор, страсть

Пономарева М. В. Державинская «река времен» в стихотворении А. Кушнера: трансформация образа

Статья посвящена анализу стихотворения А. Кушнера «Поднимаясь вверх по течению реки времен...», его связям и полемике с последним стихотворением Г. Р. Державина, трансформации державинских образов.

Ключевые слова: Г. Р. Державин, А. Кушнер, анализ текста, река времен, топика

Рождественская М. В., Рождественская Т. В. «На палубе разбойничьего брига...»: романтическая нота в творчестве Всеволода Рождественского (из эпистолярного наследия 1920–1930-х гг.)

Статья посвящена романтической составляющей поэзии Всеволода Рождественского. Проведено исследование его эпистолярного наследия конца 1920 — начала 1930-х гг. Публикуется очерк 1927 г. «Город норд-оста и цемента» (о Новороссийске).

Ключевые слова: В. А. Рождественский, романтика, стихи, переписка, лирика

Росси Л. Утаенная любовь М. Н. Муравьева

Имя М. Н. Муравьева редко ассоциируется с любовными переживаниями, и даже его любовные стихотворения чаще всего рассматриваются скорее как литературные упражнения, чем как выражение истинного чувства. На основе неизданных стихотворений и писем статья проливает свет на неразделенную любовь Муравьева к молодой А. М. Мордвиновой, ставшей женой его двоюродного брата Н. Н. Муравьева.

Ключевые слова: М. Н. Муравьев, А. М. Мордвинова, Н. Н. Муравьев, биография, легкая поэзия, неизданные стихотворения, неизданные письма

Рубинс М. «Мысль семейная», инфантицид и десакрализация материнства в литературе русского зарубежья: ответ Л. Толстому

В статье прослеживается процесс деконструкции толстовского мифа о счастливом детстве в произведениях русского зарубежья 1920–1930-х гг. в контексте модернистского письма, а также западных дискурсов детства и материнства. Также анализируются инновационные нарративные стратегии, выработанные в данном корпусе эмигрантских текстов и предвосхитившие «женскую литературу» конца XX в.

Ключевые слова: Русское Зарубежье, культ детства, «женское письмо», дискурс тела, модернизм

Руднев Д. В. Связочные глаголы со значением общего мнения в русском языке XVIII века

В статье рассматривается история связок со значением общего мнения в русском языке XVIII в. Делается вывод о том, что активизация этой группы связок была обусловлена становлением научного стиля. Проанализированы изменения в сочетаемости связок общего мнения в течение XVIII в., обусловленные общими процессами, которые происходили в составном именном сказуемом.

Ключевые слова: русский язык, история языка, стилистика, грамматика, связка, составное именное сказуемое

Соловьев А. Ю. «Чувствительный эпизод» в русских сентиментальных путешествиях

Так называемый «чувствительный эпизод» — история о трагическом или трогательном происшествии, включаемая в произведения жанра сентиментального путешествия как рассказ какого-либо лица. В статье рассматривается как повествовательный прием. Выдвигается предположение о его участии в формировании образа повествователя у Н. М. Карамзина и его последователей.

Ключевые слова: Н. М. Карамзин, П. И. Шаликов, В. В. Измайлов, П. И. Макаров, литература путешествий, повествование, сентиментализм

Тверьянович К. Ю. «Блистательный Санкт-Петербург» Николая Агнивцева: о «трivialности» и «настоящей поэзии»

В статье рассматриваются основные тематические и композиционные особенности стихотворений Н. Я. Агнивцева (1928–1932) из сборника «Блистательный Санкт-Петербург» (1923). Анализ метрико-строфических структур, важнейших тем и композиционных приемов показывает, что автор сборника мастерски владеет поэтическим ремеслом и, во многом опираясь на традицию петербургского текста, создает оригинальный образ города, основанный на контрастном противопоставлении и приращении «высокого» (исторического, литературного и т. д.) и «низкого» (повседневного, бытового).

Ключевые слова: русская поэзия, поэзия серебряного века, Н. Я. Агнiewicz, поэтика, стиховедение, петербургский текст, образ Петербурга в русской литературе

Тираспольская А. Ю. Этюд Н. М. Карамзина «Ночь»: некоторые наблюдения над поэтикой лирической прозы

Статья посвящена наблюдениям над некоторыми аспектами поэтики малозученного лирического этюда Н. М. Карамзина «Ночь» (1792). Особое внимание уделяется изучению способов организации «субъективно-лирического» диегетического повествования, выявлению основных отличительных черт «напряжённого лиризма» повести, позволяющих нарратору, эмоционально вовлекая реципиента в повествуемый мир, держать внимание читателя в постоянном напряжении. В качестве другой характерной особенности лирического этюда выделяется последовательное слияние изображаемых в нём «мифологического» и «идиллического» пространств.

Ключевые слова: Карамзин, лирический этюд в прозе, диегетический нарратор, «идиллическое» пространство, античная мифология

Федорак Н. Некоторые особенности перехода от барокко к романтизму в украинской литературе

Рубеж XVIII–XIX вв. в истории украинской литературы занимает особое — поворотное — место и имеет исключительное значение для ее дальнейшего развития. За этот довольно короткий по времени, но весьма насыщенный в литературной жизни отрезок своего развития украинская литература преодолела путь от барокко к романтизму. Примечательно, что произошло это без каких-либо внутренних разногласий и конфликтов, чему прежде всего способствовал личный авторитет и харизма в народном сознании таких выдающихся ее деятелей, как Григорий Сковорода, Иван Котляревский и Тарас Шевченко.

Ключевые слова: барокко, романтизм, классицизм, украинская литература, литературная традиция, «сродность», бурлеск, общее благо

Хольту Б. «Весна» Томсона в поэзии Волковой, Урусовой и Буниной

В конце XVIII в. в России заметно усилилось влияние английской литературы. Большим авторитетом у русских поэтов и поэтесс пользовалась, в частности, описательная поэма «Времена года» Дж. Томсона, которая вызвала множество русских переводов и подражаний. В статье

рассматриваются четыре стихотворения, озаглавленные «Весна», авторами которых были Анна Волкова, Екатерина Урусова и Анна Буннина — женщины-поэты, ставшие почетными членами «Бесед любителей русского слова».

Ключевые слова: русско-английские литературные связи, Дж. Томсон, женское авторство, А. Волкова, Е. Урусова, А. Буннина

Чердаков Д. Н. Проблема именования и этимологическая рефлексия в докомпаративистском русском языкознании

Проблема правильности имени, известная со времен античности, была усвоена древнерусской культурой в религиозно обусловленном аспекте ее смысла, но не в аспекте формы, связанной с приемами этимологизирования как способами аргументации. Европейская практика докомпаративистского этимологизирования начинает усваиваться с середины XVII в., когда религиозно понятая безусловность именования утрачивает филологическую актуальность. Будучи отточена в исторических сочинениях XVIII в., эта этимологическая «техника» в начале следующего столетия, во многом благодаря А. С. Шишкову, наполняется новым лингвистическим смыслом, уже вполне светским, но ориентированным на традиционную для Древней Руси ценность книжно-славянского начала и возвращающим ее к проблеме правильности имени.

Ключевые слова: история языкознания, именование, номинация, языковой знак, конвенциональность, этимология, Древняя Русь, Средневековье, XVIII век, А. С. Шишков

Шнайдер Н. «Ума забавы»: женское образование и литературное творчество в России XVIII века

В центре внимания статьи — представительницы прекрасного пола, их стремление во второй половине XVIII в. выйти за рамки социальных ролей, предписанных им обществом, и преодолеть предубеждения относительно их участия в образовательной и литературной сферах.

Ключевые слова: конец XVIII в., женское образование, женское авторство, топос скромности.

Яковлев В. В. Погодинская летопись — памятник новгородского летописания XVIII века

Одним из памятников летописания XVIII в. является Новгородская Погодинская летопись. Она была создана в первой четверти XVIII в.

(конец 1710-х — начало 1720-х гг.). В дальнейшем, вплоть до начала XIX в., летопись неоднократно переписывалась. На сегодняшний день известно более 30 списков, некоторые из них были дополнены известиями середины — второй половины XVIII в. Летопись не опубликована и любопытна как свидетельство неугасаемого интереса в течение всего XVIII в. к уже вроде бы ушедшим формам исторического повествования. Ее следует рассматривать, с одной стороны, как памятник XVIII в., с другой, как завершающий этап древнерусской летописной традиции.

Ключевые слова: летописание, текстология, источниковедение, Новгород, XVIII в., Новгородская Погодинская летопись

SUMMARIES

Alexandrov K. “You Are the Worthiest of All”. Unknown Letters from Protopresbyter Georgiy Shavel'skiy and General of the Cavalry Pyotr Nikolaevich Krasnov to Professor Nikolay Nikolaevich Golovin (1933)

This is the first publication of letters from Hoover Institution Archives (Stanford University) which were written by protopresbyter Georgiy Shavel'skiy and General of the Cavalry P.N. Krasnov and addressed to professor N.N. Golovin for the 25th anniversary of his military-scientific activity. Authors emphasize N.N. Golovin's works for native science and Russian culture, they also praise personal qualities of the scientist.

Alexeeva N. A Poetical Example from Lomonosov's “Brief Guide to Rhetoric” in Derzhavin's Poetry

The article focuses on G. R. Derzhavin's adoption of one poetical example from M. V. Lomonosov's “Brief Guide to Rhetoric”. Lomonosov's translation of the fragment of Ovid's “Metamorphoses” was used in two odes by Derzhavin: “Na rozhdenie v Severe porfirorodnogo otroka” (“On porphyrogenitos boy's birthday in the North”) and “Vo vremya vzyatiya Ochakova” (“During the seizure of Ochakov”).

Anikina T. On Euphony in Vers Libre

The paper focuses on the problem of sound and rhythmic structure in Russian and Czech poetic tradition. According to Czech linguist J. Hrabák, versification is a closed system where primary and secondary indicators can change their roles. Based on this hypothesis, we can suppose that sound devices are mandatory structural element in vers libre and they become a primary indicator in this kind of poetry. As for even distribution of stresses and equal number of syllables in a line, these indicators migrate to the group of secondary ones.

Cherdakov D. The Problem of Naming and Etymological Reflexions in Pre-comparative Russian Linguistics

An ancient problem of “correctness” and non-arbitrariness of names was relevant for Old Russian culture, but the etymological practices

that were originally a way of argumentation in the discussion of this issue were hardly used in medieval Russian linguistics. European pre-comparative etymological methods began to penetrate into Russia since the second half of the 17th century and flourished during the following century, though received a theoretical basis only at the beginning of the 19th century in A. S. Shishkov's works, where he again linked them with the problem of linguistic arbitrariness.

Düring M. Canon Formation in the Soviet Union: The Case of Swift as Author of a Children's Classic

Jonathan Swift's canonization process in the early Soviet Union was carried out on three levels. The first, i.e. the critical reception, proves that the Dean's works had been taken into service for the new state from the very beginning in 1917. In 1939, this process seems to have been finished. The second level, i.e. the soviet translations of Swift's works, illustrates that it was the aim of cultural officials to replace prerevolutionary translations by paradigmatic soviet ones, especially of "Gulliver's Travels", which were canonized by state publishing houses editing extremely high numbers of copies. The third level, i.e. the literary supplements of "Gulliver's Travels", proves that soviet authors made use of the allegorical subtext of Swift's masterpiece to criticize developments in the soviet culture of the age.

Dyomin A. On Derzhavin's Translation of the Racine's "Phèdre".

The article quotes little-known facts testifying the urgency of Derzhavin's translation of the Racine's "Phèdre" for the Russian literary history at the beginning of 19th century.

Fedorak N. Some Features of Transition from Baroque to Romanticism in Ukrainian Literature

The border of the 18th-19th centuries in the history of Ukrainian literature is crucial for its further development. During this relatively short period of time which was very rich in "literary life" Ukrainian literature came from the Baroque to Romanticism. It is noteworthy that there were no internal disagreements and conflicts, primarily thanks to personal authority and charisma of prominent figures of this period — Hryhoriy Skovoroda, Ivan Kotlyarevskiy and Taras Shevchenko.

Goryachev E., archpriest. “The Cross, The Preserver of the Universe”

The Holy Cross is one of the most important and at the same time mysterious symbols of Christianity. With the Cross, Jesus Christ – the Son of God having become man – accomplished salvation for the whole humanity. The Cross looses people from their sins.

Guskov N. “Freedom and Repose”: on the History of the Poetical Formula

The article focuses on the appearance and development of the poetical formula “freedom and repose” and its synonymous variants in the Russian literature of the 18th and early 19th centuries.

Holtz B. “The Seasons” of Thomson in the Poetry of Volkova, Urusova and Bunina

In the last third of the 18th century the influence of English literature rose noticeably in Russia. Russian poets and poetesses, for instance, were very much affected by James Thomson’s descriptive poem “The Seasons” (1726–1730), which was followed by a series of translations and adoptions by Russian poets and poetesses. The essay examines points of difference and similarity in four poems entitled “Spring”, written by Anna Volkova, Ekaterina Urusova and Anna Bunina, all of them honorary members of the “Colloquy of Lovers of the Russian Word”.

Ilicheva R. The Sword and the Lyre. On the Question of Poetic Works by the Russian Military Emigrants in Bulgaria

The article focuses on 66 verse texts, published in seven editions of the military emigration in Bulgaria in the 1920s and 1930s. Written by authors who in most cases are not professional writers, they are connected with previous and easy to recognize literary and cultural patterns. The texts are an example of conserving the literary tradition in a foreign language environment.

Kareva N. The First French Language Manuals Printed in Russia and Their Sources (Verb Tenses in “Новая французская грамматика” by V. Teplov and “Explication de la Grammaire Française” by Pierre de Laval)

This article contains some facts from the biographies of Vassily Teplov and Pierre de Laval, and presents French and German grammar

treatises, used by them during the preparation of the first two French language manuals printed in Russia. As a result, we state several theses concerning educational and translation strategies of the both authors.

Karpov A. A. S. Pushkin's "Bronze Horseman" in "Tales and Stories" (1838) by Platon Smirnovskiy

This article considers Platon Smirnovskiy's debut collection "Tales and Stories" (1838) with a special focus on "The Drowned man", a prosaic version of "The Bronze Horseman", freely retelling the basic plot of Pushkin's poem.

Kochetkova N. The Topos of Peace ("тишина") in the Karamzin's Poetical Works

Russian poets of the 18th century treated the theme of peace ("тишина") following M. V. Lomonosov. This topos acquires some new connotations in the odes by M. M. Kheraskov and especially in N. M. Karamzin's poetical works.

Kruglov V. On the Language Standards in the Russian Language of the First Quarter of the 18th Century

The paper addresses the history of the Russian standard language. It contains the analysis of the basic features of the norm in the first quarter of the 18th century. Both the handwritten and the printed texts of this period demonstrate (1) variation of the linguistic units within a single text and (2) extension of the stylistically marked syntactic constructions usage. Variation also concerns the borrowed foreign words, for instance the words *škiper* and *šturman* in the Russian translation of the "Maritime Ordinance of Louis XIV" (1715).

Kukushkina E. Simankov V. Nikolay Sandunov's Tragedy "Sydney and Jenny" and the Repertoire Politics of Petrovskiy Theatre in the 1780s

The article strives to suggest an insight into the origin of "Sydney and Jenny" (1787-1789), a haunting and gruesome tragedy by Nikolay Sandunov. As yet no attempt has been made to bring this tragedy in comparison with Delisle de Sales's "De la Philosophie de la Nature" and Ignaz Aurelius Feßler's "Sydney". While every effort is made to present

the evidence in as exhaustive a way as possible, the authors, however, find it necessary to refrain from making rough and ready generalizations.

Lappo-Danilevskiy K. Observations on Manuscripts of Translations by Vyacheslav Ivanov

The article examines Vyacheslav Ivanov's 1884 translation from the "Bhagavad-Gita". It also includes his formerly unknown translations from Virgil, Ovid and Juvenal. Ivanov's previously assumed authorship of one translation from Solon is rejected.

Levitt M. On Catherine's II Greatness

From practically the very first days of her rule, Catherine's greatness has been the subject of controversy. This article focuses on the question of what being great meant for Catherine herself, as understood within the context of her era. It analyzes Catherine's position in debates over greatness in which Voltaire, Diderot, Falconet, Jaucourt, Marmontel and others took part.

Marggraff U. Mytological Differences in the Characteristics of Grigory Otrepyev (Samozvanets) in A.S.Pushkin's Romantic Drama "Boris Godunov" (1825): Auto- and Heterostereotypes

Text variants printed in the Complete Edition of the Works by Pushkin (Moscow, 1948) prove, that Pushkin had knowingly taken up pagan and Christian myths, transformed and synthesized them in order to make his characters more ambiguous, to grant individual scenes of his text deeper bonds between each other and to give these scenes a more complex form. By comparing sign systems of different cultures, he shows, that scepticism against "foreigners" or "others" is a common legacy of all peoples/nations. At the same time the aesthetic compression does contribute to recognize the historical concrete conditionality of the stereotypes used by the individual characters. This enables the reader to deconstruct them, if he or she is open to it.

Meyer-Fraatz M. Ambiguity and Ambivalence as Esthetic Self-Assertion: Russian Literature of the 20th Century in the Focus of M. Bakhtin's Dialogism

Mikhail Bakhtin's term "dialogism" is closely connected with the terms "ambiguity" and "ambivalence". Describing dialogism, hybridity and

polyphony in his study “Slovo v romane” (“The word in the novel”) he creates a poetics of ambiguity and ambivalence. The current study demonstrates on the examples of four Russian writers of the 20th century how Bakhtin’s theory forms a parallel with the poetics of contemporary writers such as Daniil Kharms, Evgeniy Zamyatin and Andrey Platonov as well as writers of the second half of the century such as Andrey Bitov. Whereas in the case of Kharms the inherent ambiguity of the text leads to a sort of dialogue among scholars, the cases of Zamyatin and Platonov are closely linked with the problem of dystopia, for which the penetration of dialogism into a monological world is typical. The last case, Andrey Bitov’s novel “The Pushkin House”, is closely linked with postmodernist ambiguity.

Mitrophanov G., archpriest. “Three Conversations” by V. Solovyov – an Anti-Tolstoy Manifesto or an Eschatological Insight?

The article focuses on the main idea of “Three conversations” by V. Solovyov. The treaty includes polemics with the teachings of Tolstoy, but its most important aim is to warn the Christians against association on the basis of old mythologems but without Christ.

Nikolaev S. Do as Plutarch Did

The article examines Russian perception of Plutarch’s “Sayings...” in literary editing made by B. Budny, Polish writer of the 16th century. The Russian translation of “Sayings...” was published according to the order of Peter the Great in 1711. The examples of this translation citation by Peter the Great and M. V. Lomonosov are examined.

Otradin M. “Amusing” is Getting Comic: Humour in “The Precipice” by I. A. Goncharov

Comic element is obvious in each of the three novels of I. A. Goncharov. In “The Precipice” humour acts as a subdominant in the construction of the artistic world. Fruitful seems Konstantin Leonatiev’s idea about tragicomic talent of Goncharov. The creative possibilities of Rayskiy can be comprehended through three storyline’s motives: self-knowledge, knowledge of the “other” and the knowledge of the great world of people. The comic element shows that Rayskiy is an objectified

hero: his removal from the author of the novel reduces, but never disappears. The humour allows to follow the unfolding of a “dispute” between Rayskiy as a writer and the author of “The Precipice”.

Ponomareva M. Derzhavin’s “River of Time” in A. Kushner’s Poem: Transforming the Imagery

The article concerns A. Kushner’s poem “Going upstream the river of time...”, its connection and polemic with the last poem by G. Derzhavin, the ways of transformations of Derzhavin’s imagery.

Rozhdestvenskaya M., Rozhdestvenskaya T. “On the Deck of the Pirate Brig...”. The Romantic Feel in the Writing of Vsevolod Rozhdestvenskiy (from the Epistolary Heritage of the Late 1920s — Early 1930s)

The article covers the romantic aspect in Vsevolod Rozhdestvenskiy’s poetry and epistolary intercourse of the late 1920s — early 1930s. The poet’s sketch about Novorossiysk dated 1927 has been published.

Rossi L. M. N. Muravyov’s Secret Love

M. N. Muravyov’s image is generally associated with quiet family life and even his love poems are regarded more as literary exercises than expressions of his genuine feelings. The article presents a short series of unpublished poems dedicated to a young girl named Alexandrina and some unpublished letters that reveal the real identity of their addressee.

Rubins M. The “Family Thought”, Infanticide and Desacralization of Motherhood in Russian Émigré Narratives: Response to Tolstoy

The article focuses on the process of deconstruction of Tolstoy’s “happy childhood myth” in the prose works of Russian émigré writers of the 1920–1930s in the context of modernist writing and Western discourses of childhood / motherhood. Furthermore, it also addresses innovative narrative strategies articulated in this corpus of émigré texts, which foreshadowed women’s fiction of the late 20th century.

Rudnev D. History of Copular Verbs Meaning Common Opinion in the Russian Language of the 18th Century

The article investigates the history of copular verbs meaning common opinion in the Russian language of the 18th century. It is concluded that the spread of this group of copulas was due to the emergence of the

scientific style. The changes in the distribution of copular verbs meaning common opinion during the 18th century were caused by general processes that occurred in the compound nominal predicate.

Schneider N. “The Mind Play”: Women’s Education and Writing at the End of the 18th Century

The focus of consideration is the fair sex, the Russian women’s efforts in the second half of the 18th century to go beyond the social roles assigned to women by society and to overcome prejudices regarding their participation in the fields of education and literature.

Solovyev A. A “Sentimental Episode” in the Russian Literary Travel of Late 18th – Early 19th Centuries

The article focuses on the function of the so-called “sentimental episode” (a tragical or touching story told to the narrator by some person) in the structure of literary travel written by N. Karamzin and his followers. Here is given an interpretation of it’s role in the creating of narrator’s image.

Tiraspolskaya A. The Sketch “Night” by N. M. Karamzin: Some Supervisions above the Poetics of Lyric Prose

The article focuses on poetics of insufficiently known lyric prosaic study “Night” (1792) by N. M. Karamzin. The special attention is paid to the organization of “subjectively-lyric” diegetic narration and to the basic distinguishing features of “tense lyricism” which help the narrator who emotionally involves his recipient into the narrated world to grab the reader’s attention. Another characteristic feature of the lyric sketch is the confluence of “mythological” and “idyllic” spaces.

Tveryanovich K. “Brilliant St. Petersburg” by Nikolay Agnivitsev: On “Triviality” and “Genuine Poetry”

The paper considers basic poetic principles of perhaps the most known and controversial collection by Russian Silver Age poet and dramatist. The analysis of versification, themes and images of the book results in the conclusion that the poems are masterfully crafted and highly original in their interpretation of the traditional image of St. Petersburg that elevates “trivial” themes to the level of “genuine poetry”.

Vachera A. Russia, as Depicted in the Correspondence between Valentine Jamerai Duval and Anastasia Sokolova

The article concerns the correspondence between Valentine Jamerai Duval, a French self-taught philosopher, and Anastasiya Sokolova (de Ribas), Catherine II's lady-in-waiting, which has been so far insufficiently commented in scholarly publications. Lasting for 13 years and comprising 125 letters, the correspondence is an unparallel source to study how the image of Russia was perceived in Western Europe in the second half of 18th century. The letters' contents touches all significant historical, social and cultural events in the past and then-contemporary Russia, being consonant with ideas and delusions of European Enlightenment.

Veselova A. Bolotov's Spiritual Poetry

More than half of A.T. Bolotov's poetry the author himself called the spiritual one. We analyze the structure of the poetic collections, the genres of Bolotov's spiritual verses, their ideological and philosophical content and techniques of versification.

Virolainen M. Productivity of Untranslatability

The presence of several untranslatable languages in the context of one culture and heterogeneity of culture language field increase the potential of this culture's productivity only when language boundaries, on the one hand, are considered to be a strong barrier and, on the other hand, are constantly "taken by assault".

Vlasov S. "An Oration on Eloquence" by V.Trediakovskiy in Comparison with Ancient and Western Rhetorical Tradition of the 16th-18th Centuries

The paper provides an analysis of the sources of V.Trediakovskiy's views on the basic concepts of rhetoric in comparison with the ancient and Western rhetorical tradition of the 16th-18th centuries. The paper analyses the sources of Trediakovskiy's ideas on the "figurative and subtle style" as well as his advanced views on the problem of synonymy, reveals his original position on the traditional doctrine of the three styles and of the origin of the tropes, shows Trediakovskiy's hidden polemic with B.Lamy about the origin of the individual writing style.

Vodolazkin E. Palaya of Gury Rukinets and a Mistake of Russian Lexicography

The present research dwells upon one of the types of Palaya (genre devoted to *historia sacra*), the unique manuscript, that was in possession of a certain Gury Rukinets from Kirillo-Belozerskiy monastery. E. Vodolazkin examines sources of the text and methods of its creation. In connection with Palaya the research discovers a curious lexicographical mistake — a word “*модлязычень*”.

Volkov S., Matveev E. On One Illumination of the Mid-18th Century: J. Stählin, V. I. Lebedev and M. V. Lomonosov

The article focuses on several texts by J. Stählin, V. I. Lebedev and M. V. Lomonosov connected with the illumination festival in honour of Empress Elizabeth coronation anniversary, which was held in St. Petersburg on 25 April 1751. Special attention was paid to semantics (including referential aspects) of the word “*алия*” and its German lexical equivalents.

Yakovlev V. Pogodin Chronicle — a Novgorod Chronicle of the Beginning of the 18th Century

Novgorod Pogodin chronicle is one of the chronicles of the 18th century. It was created in the first quarter of the 18th century (the end of 1710s — the beginning of 1720s). Later, up to the beginning of the 19th century, the chronicle was rewritten several times. At present more than 30 copies of the chronicle are known, some of them were supplemented with the information of the middle — the second half of the 18th century. The chronicle is not published and is of interest as a document that shows the use of almost vanished form of historical literature in the 18th century. It should be regarded, on the one hand, as a literary monument of the 18th century, and on the other hand, as a final stage of Old Russian chronicle tradition

Yekutch U. Literary translation between poetry and prose. On Vasily Zhukovskiy’s translation of J. P. Hebel’s “Unexpected Meeting”

In 1818 Zhukovskiy began his hexameter translation of J. P. Hebel’s short story “Unexpected Reunion”. 13 years later he returned to the text again, completed and published it. The article points out some aspects

of the source text and analyzes their rendering in Zhukovskiy's verse translation.

Zubkov K. "The Sun of Truth": Metaphorical Structure of N. A. Nekrasov's Poem "Silence" and Literary Context

The paper concerns the poetical language of N. A. Nekrasov's poem "Silence" which is analyzed both in the context of contemporary poetry (M. P. Rosengeim, V. G. Benediktov) and in regard to literary tradition that dates back to M. V. Lomonosov. Special attention is paid to the history of the text of the poem.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ГИМ** — Государственный исторический музей
- НИОР БАН** — Научно-исследовательский отдел рукописей Библиотеки Российской академии наук
- НИОР РГБ** — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
- ОПИ ГИМ** — Отдел письменных источников Государственного исторического музея
- РАИ** — Римский архив Вяч. Иванова
- РГАДА** — Российский государственный архив древних актов
- РГАЛИ** — Российский государственный архив литературы и искусства
- РНБ** — Российская национальная библиотека
- РО ИРЛИ** — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
- РО РНБ** — Рукописный отдел Российской национальной библиотеки
- СПбГТБ** — Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека
- СПФ АРАН** — Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
- ТОДРЛ** — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
- ЧОИДР** — Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских
- DFG** — Deutsche Forschungsgemeinschaft

Научное издание

Petra Philologica: профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину ко дню шестидесятилетия / отв. ред. Н. А. Гуськов, Е. М. Матвеев, М. В. Пономарева. (Литературная культура России XVIII века. Вып. 6). — СПб.: Нестор-История, 2015. — vi, 626 с.

Подписано к печати 18 октября 2015 г.

Формат 60х90 1/16

Гарнитура Елизаветинская

Усл. печ. л. 39, 5. Уч.-изд. л. 35, 9. Тираж 400 экз.

Технический редактор: А. В. Андреев

Дизайн обложки: . . .

В оформлении издания использованы эмблемы из книги «Символы и эмблемата» (1705), репродукция картины Э. Дега «Автопортрет в мягкой шляпе» (1858).

Фотография П. Е. Бухаркина М. Пономаревой.

Отпечатано в типографии издательства «Нестор-История»

Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21

тел./факс: (812)6220123

menager_nestor@list.ru